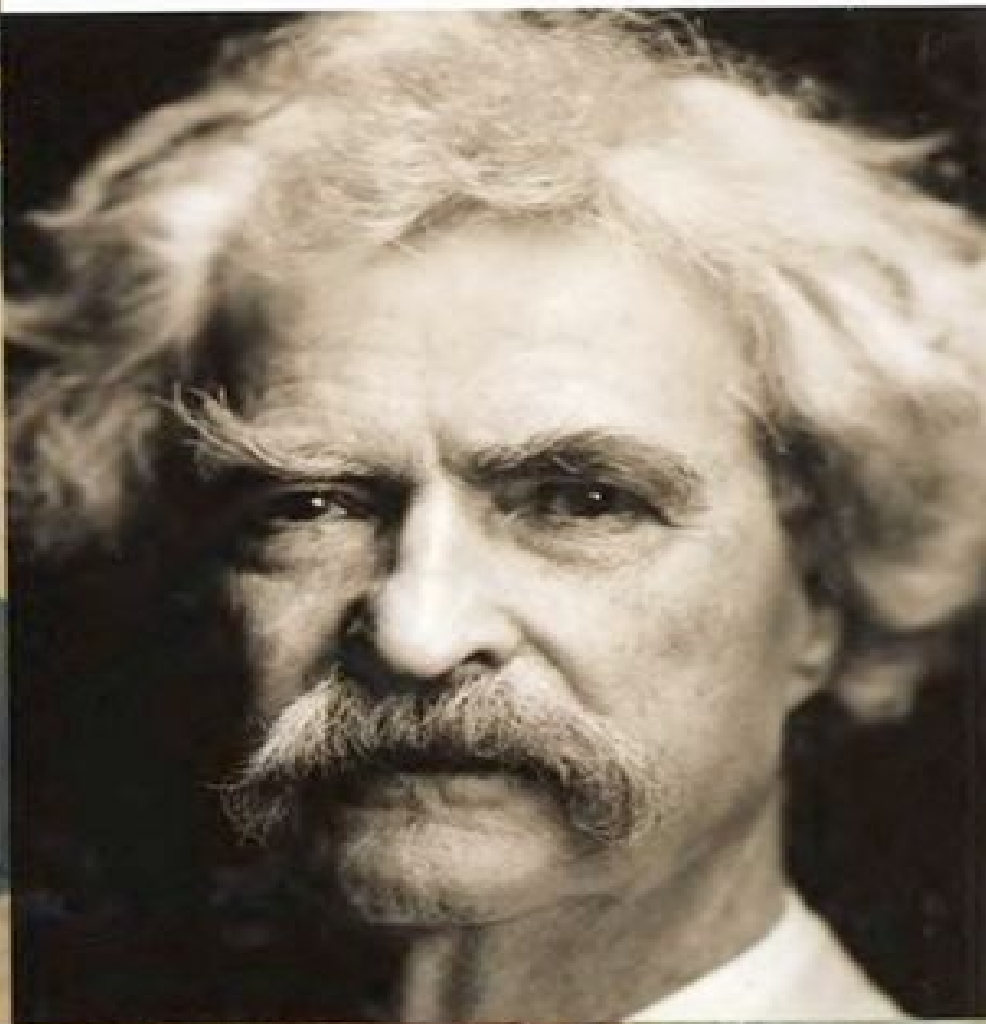
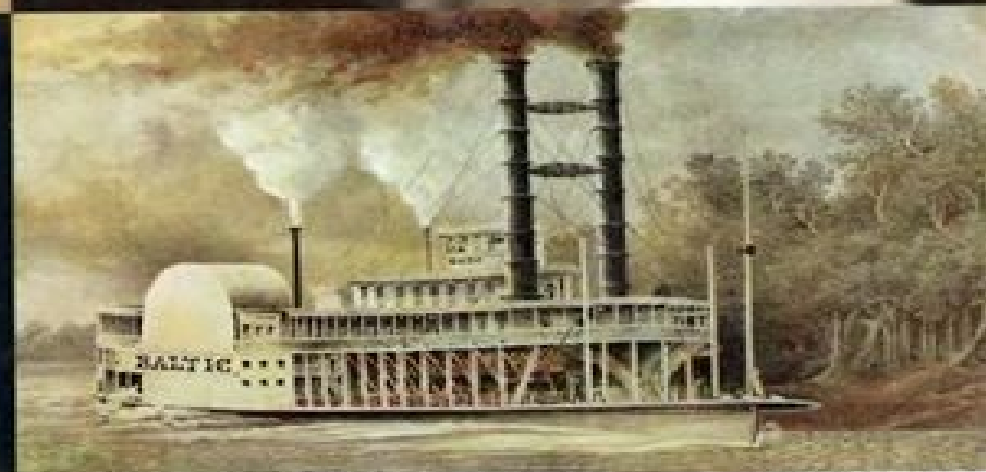


# МАРК ТВЕН



Максим  
Чертанов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Остроты Марка Твена (1835–1910) не поддаются исчислению, а прижизненная популярность — описанию: именно его называют первым блоггером и первой литературной звездой. В России Твен известен, прежде всего, как юморист и автор великолепных детских книг, но этим его дар не исчерпывается: он писал любовные романы, детективы, научную фантастику и богословские трактаты. Он изобретал подтяжки, шпильки, календари, детские кровати; дважды становился миллионером и разорялся; его обожали короли и революционеры, атеисты и священники; ради него отменялись правила уличного движения. Родившийся с приходом кометы Галлея и вместе с ней покинувший Землю, Марк Твен не перестает будоражить публику: он — единственный писатель, умудряющийся «с того света» издавать новые книги. Об этих и еще более удивительных эпизодах биографии американского классика рассказывает автор.

---

- [Максим Чертанов](#)
  - [Часть первая](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
  - [Часть вторая](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
  - [Часть третья](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
  - [Часть четвертая](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
    - [Глава 5](#)
    - [Глава 6](#)
    - [Глава 7](#)
    - [Глава 8](#)
    - [Глава 9](#)
    - [Глава 10](#)

- [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
  - [Глава 14](#)
  - [Основные даты жизни и творчества Марка Твена](#)
  - [Литература](#)
    - [Произведения М. Твена](#)
    - [Литература о М. Твене и его творчестве](#)
  - [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)

- [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
-

**Максим Чертанов**  
**Марк Твен**

# Часть первая

## Юг

Пушкин научился русскому языку от своей няни, белой «мэмми», и рабов, трудившихся на плантации его отца.

*Джоэл Огастес Роджерс. Sex and Race*

**Скарлетт О'Хара, «Go Down Moses», генерал Ли, банджо, блюз, залитые солнцем хлопковые поля, «Хижина дяди Тома», Фолкнер, Фланнери О'Коннор, Братец Лис и Братец Кролик, Луи Армстронг, кукурузные оладьи, барбекю, аристократизм, изящество, юбки с воланами, томные креолы, метис-надсмотрщик, окровавленные спины, виски, Библия, Элвис Пресли.**

## Глава 1

### Том Сойер и все-все-все

Говорят, что это он придумал биржевые термины «быки» и «медведи»; говорят, именно он сказал: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра», и «Бросить курить очень просто — я делал это тысячи раз», и «Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения», и «Если вы заметили, что оказались на стороне большинства, это верный признак, что пора меняться». Ему приписывают (ошибочно) все знаменитые изречения, от «лжи, большой лжи и статистики» до «патриотизма — последнего прибежища негодяев». Анекдотам о нем счет ведется на сотни, и если не знаете, кто сочинил ту или иную остроту, называйте его — в двух случаях из трех не ошибетесь. Но для Америки он не «юморист» и не «детский писатель»; как у нас Пушкин, там он — ВСЁ; нет, у широкой публики он не «в моде» (да и у нас «в моде» отнюдь не Пушкин), но он — икона; месяца не проходит, чтобы не появилась новая работа, посвященная его малоизвестному тексту, его политическим взглядам или цвету хвоста его кошки; его называют первой всемирной суперзвездой и первым блоггером. Трудов о его творчестве немало и в России. Но о нем самом давно пора писать новые книги — не потому, что прежние были «советские», а потому, что многого о нем мы раньше не знали; и еще потому, что все, сказанное им о ком-то другом, вдруг оказалось — о нас...

Марк Твен говорил, что среди его английских предков был некий Клементс, который стал членом парламента при Кромвеле и подписал смертный приговор королю, а потом сам был казнен; такой человек существовал, но его родство с нашим героем не подтверждается. Самый ранний предок, которого удалось отыскать, был Ричард Клементс (1506–1671); первым эмигрировал в Штаты Роберт Клементс (1595–1658), его внук Эзекиел из Массачусетса в 1765-м перебрался в Вирджинию, где в 1770-м родился Сэмюэл Клеменс, представитель восьмого поколения Клементсов, чья фамилия к тому времени стала на одну букву короче. Человек он был небогатый, но начитанный и умный; в 1793-м он женился на Памеле Гоггин, в 1798-м у них родился первенец, Джон Маршалл, а в 1805-м Сэмюэл, произведя на свет еще четверых детей, умер. Джон, окончив школу, служил клерком на металлургической фабрике в

Линчбурге, ночами читал книги, переехал в графство Адер, штат Кентукки, изучал право в Колумбии, в 1823-м встретил двадцатилетнюю Джейн Лэмптон, дочь вдовца Бенджамина Лэмптона и покойной Маргарет Кейси (также выходцев из Англии). Как рассказала в старости Джейн своему сыну, она любила другого мужчину, произошла ссора, вышла за Клеменса «назло». Свадьба состоялась 6 мая 1823 года: Европа к тому времени успела пережить десятки революций, инквизицию, Наполеоновские войны, а Америка была молода: штатов всего 27, население — 14 миллионов, а на месте многих современных городов разгуливали волки.

О том, каким был Джон Маршалл Клеменс, известно мало: его знаменитый сын редко говорил о нем, воспоминания другого сына потерялись, до внуков он не дожил. Его земляки рассказали первым биографам, что он был суров, бесстрашен, принципиален, умен, но не гибок; педантичен, щеголеват, не чужд снобизма, казался старше своих лет. Твен писал о нем: «Очень гордый, замкнутый и сухой человек»; «Мой отец был добрым и вежливым человеком, очень степенным, даже строгим, человеком щепетильной честности, неукоснительно справедливым и прямым»<sup>[1]</sup>; он не помнил, чтобы отец когда-либо смеялся. Джон много кочевал и предпринимал бесконечные попытки разбогатеть, но это не свидетельствует о каком-то особенном авантюризме: так вели себя почти все граждане юной страны, сулившей каждому золотые горы.

Джейн в юности была хохотушкой, кокеткой. Внучка, прожившая с ней 25 лет, рассказывала: «Бабушка любила всякие развлечения. В 75 лет она танцевала. В ее комнате всегда была обстановка ярко-красного цвета; она была современна и носила юбки короче, чем принято». Друг другу, по мнению Твена, его родители не подходили: «...были внимательны друг к другу, но в их отношениях не было ничего нежного, отсутствовали какие-либо заметные проявления любви. Манеры у отца были суровые. Мать же была человеком сердечным. Мне казалось естественным, что ее душевная теплота не находит выхода в той атмосфере, которую создавал отец». Еще о матери: «У нее было хрупкое маленькое тело, но большое сердце, — такое большое, что и чужое горе и чужие радости находили в нем и отклик и приют. <...> Ее интерес к людям и животным был теплый, сердечный, дружеский. В самых безнадежных случаях она всегда находила в них что-нибудь такое, что можно было оправдать и полюбить, даже если она сама наделила их этим. Она была естественным союзником и другом всех одиноких». Джейн также была остроумна, со склонностью к черному, циничному юмору, и умела хорошо говорить — то и другое сын унаследовал. «Бессознательным пафосом речи она обладала от природы.



Когда при ней обижали или позорили беззащитного человека или животное, в ней пробуждалась жалость или негодование, и тогда не было оратора красноречивей. Очень редко это красноречие было пламенным и грозным, чаще — кротким, сострадательным, трогательным и проникновенным, и таким неподдельным и выражавшимся так благородно и просто, что я много раз видел, как оно вознаграждалось невольными слезами».

Имущества у молодых супругов было мало: с обеих сторон по два не то по три раба и почти никаких средств. Через год после свадьбы они в поисках заработка перебрались в малоосвоенный штат Теннесси, в городок Гейнсборо на реке Камберленд, там в 1825-м родился первенец, Орион. Потом двинулись в Джеймстаун, центр только что основанного графства Фентресс, — Джон надеялся, что это будущая столица штата, служил там клерком в суде. В Теннесси земля была дешевая — меньше цента за акр, — но многообещающая: железная руда, корабельные сосны, почвы пригодны для виноградарства; Джон Клеменс считал, что цена вырастет в 10 или 100 тысяч раз, и купил 30 тысяч акров земли (Твен ошибочно утверждал, что 75 тысяч акров) за 500 долларов<sup>[2]</sup>.

«Когда мой отец уплатил эти огромные деньги, он остановился в дверях джеймстаунского суда и, оглядев свои обширные владения, сказал: «Что бы со мной ни случилось, мои наследники обеспечены; сам я не доживу до той минуты, когда эти акры превратятся в серебро и золото, но дети мои до нее доживут». Вот так, из самых лучших побуждений, он возложил на наши плечи тяжкое проклятие ожидаемого богатства. <...> Это была печальная ошибка, но, к счастью, он об этом не узнал. Она усыпила нашу энергию, сделала из нас визионеров-мечтателей и тунеядцев: мы все собирались разбогатеть в следующем году — для чего же работать? Хорошо начинать жизнь бедняком, хорошо начинать ее богачом — и то и другое здорово! Но начинать жизнь бедняком в надежде на богатство... Тот, кто этого не испытал, не может себе представить, что это за проклятие».

Клеменс построил в Джеймстауне добротный дом. Семья считалась зажиточной, ее главу называли «аристократом», франтом, носил он самое модное джинсовое пальто. Но город не развивался, юридической практики не было, приходилось разъезжать, Джон часто болел, поездки требовали расходов. Он решил переквалифицироваться: открыл магазин, продавал смолу, скипидар, ламповое масло. В 1827-м родилась дочь Памела, в 1828-м или 1829-м — сын Плезант (умер в младенчестве), в 1830-м — дочь Маргарет. Денег требовалось все больше, а было их все меньше —

торговля не шла. Пришлось продавать рабов — осталась лишь молодая рабыня Дженни. В 1831-м переехали в соседний поселок Три Развилки Волка на реке Волчьей (реки были единственными транспортными артериями), спустя год — на другой берег реки, где Клеменсу предложили работу на почтовой станции. Он опять построил дом, открыл лавку, но называли его «судья» или «сквайр». В 1832 году родился сын Бенджамин.

Подкопили денег, но в 1834-м в результате финансового кризиса Джон разорился. Тогда вмешался Джон Куэрлс, муж сестры Джейн, живший во Флориде, штат Миссури. Земли свободные, население штата менее двухсот тысяч, единственный город — Сент-Луис (10 тысяч жителей), а Флорида — деревушка в двадцать домов. Но место выглядело перспективным: рядом Миссисипи, громадная река с развивающимся судоходством, и Соляная река, вот-вот начнут строить железную дорогу, а земля пока дешева. Куэрлс, человек предприимчивый, открыл магазин, купил ферму, владел тридцатью рабами, перевез к себе родственников, в том числе отца Джейн, позвал и ее, а ее мужу предложил пай в своем магазине и рекомендовал возобновить юридическую практику.

О продаже теннессийской земли не было и речи — Клеменс верил в грядущее богатство. За магазин и дом выручили 100 долларов, купили фургон, ехали три недели, прибыли во Флориду в июне 1835-го. Построили дом — две комнаты, кухня под навесом. Приобрели несколько сотен акров земли, рассчитывая продать ее, когда железная дорога пройдет через Флориду. 30 ноября 1835 года родился слабый семимесячный ребенок, которого назвали в честь деда Сэмюэлом, а второе имя — Ленгхорн — дали в честь друга семьи. Клеменсов было уже семеро (плюс рабыня) — теснота, построили другой дом, тоже одноэтажный, но посolidнее, на Главной улице (других улиц в поселках типа Флориды не было). Из романа «Позолоченный век»: «Хокинс обставил свой дом «магазинной» мебелью, купленной в Сент-Луисе, и молва о ее великолепии широко разнеслась по округе. Даже ковер для гостиной был привезен из Сент-Луиса, хотя остальные комнаты довольствовались половиками местного изготовления. Вокруг дома Хокинс первым в поселке поставил настоящий дощатый забор; мало того — он его выбелил! Что же касается клеенчатых занавесок на окнах, то на них красовались такие величественные замки, какие можно увидеть только на оконных занавесках и больше нигде на свете. Восторги, которые эти чудеса вызывали у соседей, радовали Хокинса, но он не мог не улыбаться при мысли о том, сколь жалкими и дешевыми они покажутся по сравнению с теми, какие украсят особняк Хокинса в будущем, когда теннессийские земли принесут свои отчеканенные на монетном дворе

плоды».

Дела торгового товарищества шли неважно, оно распалось, Клеменс открыл свою лавку, Ориона взял в работники. Занимался адвокатской практикой от случая к случаю, но удачно, в 1837-м был избран мировым судьей. С другими флоридскими бизнесменами пытался лоббировать в законодательных органах строительство железной дороги и открытие судоходства по Соляной, но ничего не вышло: дорогу стали строить через городок Париж, а навигация на реке из-за этой дороги потеряла смысл. В июне 1838-го родился последний ребенок, Генри, а в августе умерла девятилетняя Маргарет — тогда Сэм Клеменс впервые увидел, как родители обнялись, утешая друг друга. Остаться во Флориде не захотели (отец Джейн к тому времени тоже умер; из бабушек и дедушек Сэма в живых оставалась только мать Джона Маршалла, жившая в Кентукки; она умерла в 1844-м, Сэм ее не знал). Продали земли на пять тысяч долларов и в ноябре 1839-го уехали: по семейной легенде, Сэма забыли, хватились лишь час спустя и, воротясь, обнаружили спокойно игравшим в грязи.

Странно, даже как-то неприятно было бы узнать, что «Илиада» или «Винни-Пух» — книги автобиографические, обнаружить, что замок Эльсинор и крыша, на которой живет Карлсон, существуют на самом деле; признать их реальностью означало бы унижить фантазию... Но городок Санкт-Петербург из «Приключений Тома Сойера» существует — это Ганнибал, поселок на западном берегу Миссисипи, в 150 милях от Сент-Луиса, столицы штата Миссури. Основан он в 1819 году, официально станет городом лишь в 1845-м, но уже в 1839-м был более цивилизован, чем те места, где жили Клеменсы раньше. Население его в 1839 году составляло 1034 человека (это много), а к концу 1840-х благодаря развитому судоходству возросло до 3,5 тысячи человек; два магазина, четырнадцать лавок, аптека, две лесопилки, скотобойня, школы (начальная и средняя), три церкви. Пароходы доставляли почту каждый день, паром возил пассажиров, а в 1852-м открылась железнодорожная станция. Клеменсы поселились в съемном доме, в дополнение к деньгам, вырученным за землю, взяли кредит, купили за 7,5 тысячи долларов несколько участков и зданий (для торговли и сдачи в аренду), еще две тысячи долларов потратили на товары, магазин открыли на Главной, естественно, улице, Орион стал клерком. Дела опять шли неважно, но не по вине Джона: экономику страны лихорадило, после финансовой паники 1837 года Штаты погрузились в депрессию, длившуюся до 1843-го. Но пока арендаторы что-то платили, сам Джон выплачивал кредит, и казалось, что жизнь наладилась.

Старшие дети ходили в школу, учились прекрасно: Орион — добряк, увлекающийся, мечтательный; любимица отца Памела — более практичная, но тоже увлекающаяся, вдумчивая, независимая. Младшие: Бенджамин — примерный, ласковый, общий любимец, только болезненный, зато малыш Генри — здоровяк; Сэм был хрупким ребенком: малорослый, худой, копна рыжих кудрей, которые он ненавидел, большие серые глаза, нежное личико, девичий рот, веснушки, странная, медленная улыбка. «Мне рассказывали, что я был болезненный, вялый ребенок, как говорится — не жилец на этом свете, и первые семь лет моей жизни питался главным образом лекарствами. Как-то я спросил об этом мою мать, когда ей шел уже восемьдесят восьмой год.

— Должно быть, ты все время беспокоилась за меня?

— Да, все время.

— Боялась, что я не выживу?

После некоторого размышления, — по-видимому, для того, чтобы припомнить, как было дело:

— Нет, я боялась, что ты выживешь».

Джейн, как уже говорилось, отличалась циничным остроумием, хотя не исключено, что Твен выдумал этот диалог. По рассказам родных, был он «странным» ребенком, задумывался, ходил во сне (началось это в трехлетнем возрасте, закончилось лет в десять), не терпел, когда его запирали, убегал из-под любых замков; как большинство будущих писателей, умел сочинять истории и этим привлекал других детей. Из маленьких Клеменсов он был самым беспокойным: влипал в неприятности, несколько раз тонул; «Кому суждено быть повешенным, не утонет», — якобы сказала мать, но все же решила как можно раньше отдать его под присмотр. В начальную школу, которой заведовала Элизабет Горр, он стал ходить в четыре с половиной года, в апреле 1840-го. Дети до десяти лет занимались вместе, но по разным учебникам, преподавали им английский язык, арифметику, немного историю и географию, а также музыку. В первый же день мисс Горр побила Сэма, и школу он возненавидел (делая исключение для учительницы Мэри Энн Ньюкомб, что была к нему добра и, как он говорил впоследствии, приохотила его к чтению), хотя именно там обзавелся другом на все детские годы, Джо Гартон (прототип Джо Гарпера и отчасти Тома Сойера); дружил также с девочкой Элен Кершеваль (прототип Эми), влюбился в другую девочку, Арселию Пенн-Фоукс.

Прогуливал безбожно — это продолжится и в других школах. Сюзи Клеменс (дочь Твена): «А как весело папе было притворяться мертвым, чтобы не нужно было идти в школу!» «Он всегда был добросердечным, —

вспоминала Джейн Клеменс, — но при этом очень непослушным и вредным, и, как мы ни старались, нам никак не удавалось заставить его посещать школу. Это очень беспокоило отца и меня, и мы были убеждены, что он никогда не преуспеет в жизни так, как его братья, потому что он не был здравомыслящим, как они. <...> Часто отец шел за ним до самой школы, чтобы его проконтролировать, но он прятался за большим деревом на пути к школе и кружил вокруг него так, что отец терял его из виду. В конце концов отец и учителя сказали, что бесполезно пытаться учить Сэма, потому что он не желает учиться. Но я была другого мнения. Он всегда хорошо успевал по истории, и читать ему никогда не надоедало, но он совершенно не мог сидеть в классе за учебниками». В правописании и сочинениях Сэм был первым учеником, одним из первых — в пении (все Клеменсы были музыкальны).

В начальной школе был случай, по словам Твена, определивший его отношение к религии. Горр на уроках читала главы из Евангелия и комментировала их: «Во время одной из таких пояснительных бесед она остановилась на тексте: «Просите, и дастся вам», — и сказала, что если человек очень хочет чего-нибудь и усердно об этом молится, то его молитва, без сомнения, будет услышана. <...> Мисс Горр я верил на слово и нисколько не сомневался в результатах. Я помолился и попросил имбирного пряника. Дочь булочника Маргарет Кунимен каждый день приносила в школу целую ковригу имбирного пряника; раньше она ее прятала от нас, но теперь, как только я помолился и поднял глаза, пряник оказался у меня под руками, а она в это время смотрела в другую сторону. Никогда в жизни я так не радовался тому, что моя молитва услышана, и сразу уверовал. Я во многом нуждался, но до сих пор ничего не мог получить; зато теперь, узнав, как это делается, я намеревался вознаградить себя за все лишения и попросить еще чего-нибудь. Но эта мечта, как и все наши мечты, оказалась тщетной. Дня два или три я молился, полагаю, не меньше, чем кто-либо другой в нашем городе, очень искренне и усердно, — но ничего из этого не вышло. <...> Что-то в моем поведении встревожило мать; она отвела меня в сторонку и озабоченно стала расспрашивать. Мне не хотелось сознаваться в происшедшей со мной перемене: я боялся причинить боль ее доброму сердцу, — но в конце концов, обливаясь слезами, я признался, что перестал быть христианином. Убитая горем, она спросила меня:

— Почему?

— Я убедился, что я христианин только ради выгоды, и не могу примириться с этой мыслью, — так это низко.

Она прижала меня к груди и стала утешать. Из ее слов я понял, что если я буду продолжать в том же духе, то никогда не останусь в одиночестве». Твен говорил, что именно после этого у него «начались сомнения, постепенно приведшие к убеждению, что все религии — ложь и надувательство». Упрощал, конечно.

Протестантская религия делится на сотни ветвей, по некоторым вопросам различающихся принципиально. До 1848 года Джейн Клеменс и ее дети принадлежали к методистской церкви, после — к пресвитерианской. Пресвитерианство — разновидность кальвинизма, отличающегося от прочих протестантских вероучений доктриной двойного предопределения, которая в упрощенном виде выглядит так: в результате первородного греха все люди плохие, Бог не обязан их спасать, но по своей воле дарует спасение избранным, причем делает это до того, как они родились, а остальные до рождения обречены на проклятие. Так что спасение нельзя ни заслужить, ни вымолить, ни потерять. На первый взгляд из доктрины следует, что можно напропалую грешить, раз от поступков ничего не зависит, но это не так. Деяния — не причина, а следствие: человек, предопределенный к спасению, попросту не может вести себя плохо, и все у него ладится (особенно бизнес — кальвинистская этика тесно связана с предпринимательством), а если он поступает дурно и все у него валится из рук, то он наверняка проклят; грех страшен не потому, что мешает спасению (ему невозможно помешать), а потому, что является признаком родового проклятия (с которым невозможно бороться).

Чтобы кальвинисты от безнадежности не спились и не переменили веру, проповедники, как правило<sup>[3]</sup>, оставляли им лазейки, связанные с неисповедимостью Божьего промысла, так что для взрослых это довольно комфортная и спокойная религия. Твен: «Пресвитеранцы никогда не ведут себя как фанатики... Мы встаем утром в воскресенье, надеваем все лучшее, что у нас есть, и весело идем на главную улицу города; мы спокойно входим в церковь, и встаем, и садимся, и снова встаем, и поем гимны по книге, и отмечаем строфы карандашом, чтобы ничего не пропустить, и сидим серьезно и тихо, когда проповедник читает проповедь, и украдкой поправляем платья и шляпки, и зеваем, и следим взглядом за пролетевшей мухой... Ничего безумного, ничего фанатичного; все спокойно. Никогда не услышишь, чтобы пресвитерианин из религиозного фанатизма кого-нибудь зарезал». Но для ребенка, который еще не научился вспоминать о Боге, лишь когда это удобно, и посредством софизмов убеждать себя, что самый омерзительный его поступок богоугоден, все иначе: ему страшно и религия для него отождествляется с пыткой.

Методизм отрицает двойное предопределение: человек может достичь спасения верой и делами. До восьми лет Сэм посещал методистскую воскресную школу «Старый корабль Сиона», где его учил местный каменщик Ричмонд, «добрый и внимательный», потом перешел в пресвитерианскую, где познал страх, и называл ее тюрьмой. А еще в воскресной школе грозили тюрьмой настоящей — исправительным заведением, куда якобы отправляли непослушных белых детей...

Протестантство предполагает доскональное изучение (в том числе — детьми) текста Библии, которую в своей последней книге, «Письма с Земли», Твен охарактеризовал так: «В ней есть великолепные поэтические места; и несколько неглупых басен; и несколько кровавых исторических хроник; и несколько полезных нравоучений; и множество непристойностей; и невероятное количество лжи». По его мнению, Ветхий Завет, где говорится об изнасилованиях, кровосмешении, половых извращениях и массовых убийствах, для ребенка книга неподходящая: «У меня осталось чувство горечи по отношению к тем, кто призван был охранять мои юные годы, а вместо этого не только разрешил мне, но заставил меня прочесть от первой до последней страницы полный текст Библии еще до того, как мне исполнилось пятнадцать лет. <...> Во всех протестантских семьях мира ежедневно и ежечасно Библия творит свое черное дело распространения порока и грязных порочных мыслей среди детей. Она совершает этой пагубной работы больше, чем все другие грязные книги христианского мира, вместе взятые, — и не просто больше, а в тысячу раз больше».

Отец Сэма был «вольтерьянцем», в церковь не ходил, Библию не читал, что не мешало ему пользоваться уважением в обществе: протестанты терпимы. Дядя, Джон Куэрлс, был универсалистом: верил, что в конце времен все души будут спасены. Но религия считалась женским делом, мужчины воспитанием детей не особенно занимались, Джон только выписывал для них «Парли мэгэзин», научно-популярный журнал, где публиковались статьи по геологии, географии, химии и детям в мягкой форме давалось понять, что библейские рассказы не следует понимать буквально; в остальном все делалось, как хотела Джейн. Немного странно, что жизнерадостная и добрая женщина стала кальвинисткой (возможно, под влиянием своей матери), и Твен отмечал, что некоторые ее идеи были еще более неортодоксальны, чем у мужа и зятя.

«О ней говорили, что она, благочестивая пресвитерианка, может попасться на удочку и замолвить доброе словечко за самого Сатану. И такой опыт был проделан. Начали поносить Сатану, заговорщики один за

другим язвительно упрекали, беспощадно бранили его, жестоко обличали, — и наконец доверчивая жертва заговора попала в западню. Она согласилась, что обвинение справедливо, что Сатана действительно погряз в пороках, как они говорили; но разве к нему отнеслись справедливо? Грешник есть грешник, и больше ничего; и Сатана такой же грешник, как все другие. Почему же все другие спаслись? Неужели только собственными усилиями? Нет, таким образом никто не мог бы спастись. К их слабым усилиям присоединились горячие, взывающие о милости молитвы, которые возносятся ежедневно из всех церквей в христианском мире и из всех сострадательных сердец. А кто молится за Сатану? Кто за тысячу восемьсот лет просто, по-человечески, помолился за того из грешников, которому было больше всего нужно, — за нашего собрата, который больше всех нуждается в друге и не имеет ни единого, за того из грешников, который имеет явное и неопровержимое право, чтоб за него молились денно и нощно, по той простой и неоспоримой причине, что он нуждается в этом больше других, как величайший из грешников?» Жалость и любопытство к «величайшему грешнику» у сына Джейн сохранятся надолго. «Представители всех религий дурно говорят о нем, но нам никогда не удастся выслушать его самого...»

1840-й был тяжелым годом: торговля не шла, арендаторы не платили, деловые партнеры обманывали Джона Клеменса, пользуясь его доверчивостью. Нужно было продать какую-нибудь ценную вещь, таковая нашлась — Джейн, которую считали «почти членом семьи». Красивая светлокочая рабыня ценилась дорого.

В 1774 году на Первом континентальном конгрессе предложение отменить работорговлю встретило сопротивление со стороны южных колоний, и им (впоследствии — штатам) было позволено ее сохранить, а Второй континентальный конгресс в 1793-м принял закон о беглых рабах, разрешавший возвращать их хозяевам даже с территории штатов, где рабство было отменено; запрещалось укрывать беглецов или препятствовать их аресту. Штат Миссури, чья территория была куплена у Франции в 1803 году, не относится и никогда не относился к Югу: он принадлежит региону Северо-западных центральных штатов (так называемый «кукурузный пояс»), но граничит с южным штатом Арканзас, населялся преимущественно выходцами с Юга и частично перенял южную культуру. В состав федерации Миссури вошел в 1821 году; вхождение сопровождалось первым серьезным конфликтом между Югом и Севером. Конгрессмен Толмедж предложил поправку, которая запрещала ввоз рабов



и предполагала их постепенное освобождение в новом штате; она прошла в палате представителей, но была заблокирована южанами в сенате. В 1820-м по инициативе конгрессмена Клея удалось достигнуть так называемого Миссурийского компромисса: чтобы сохранить равновесие представителей в сенате, Миссури будет рабовладельческим штатом, а другая новая территория, Мэн, — нет. Одновременно был пересмотрен и закон о беглых рабах: по 36-му градусу северной широты проложили условную границу, разделяющую рабовладельческую и «свободную» области; пересекая черту, беглец был спасен. Миссури находился на границе: соседний штат Иллинойс, расположенный на другом берегу Миссисипи, был свободным.

Хлопок, главную сельскохозяйственную культуру Юга, в Миссури почти не выращивали, плантаций в Ганнибале и его окрестностях не было, рабы выполняли обязанности домашней прислуги или батраков, обращение с ними считалось мягким. «Жестокости были очень редки и непопулярны. Делить негритянскую семью и продавать ее членов разным хозяевам у нас не любили, и потому это делалось не часто...» ««Работоторговца» у нас ненавидели. На него смотрели как на дьявола в человеческом образе, который скупает и продает незащитных людей в ад, — потому что у нас и белые и черные одинаково считали южную плантацию адом...» «Я живо помню, как видел однажды человек десять чернокожих мужчин и женщин, скованных цепью и лежавших вповалку на мостовой, — в ожидании отправки на Юг. Печальнее этих лиц я никогда в жизни не видел».

Христианство в целом рабство поддерживало, рабам внушали, что их положение — свидетельство проклятия, для проповедей отбирались многочисленные фрагменты Библии, где о существовании рабства говорится как о вещи само собой разумеющейся<sup>[4]</sup>. Но поскольку в протестантстве нет централизованной власти, отдельные проповедники могли учить иному. Несмотря на то что аболиционизм в Миссури квалифицировался как уголовное преступление, пасторы-мятежники в Ганнибале не были редкостью: еще до приезда Клеменсов, в 1836-м, основатель пресвитерианской церкви Дэвид Нельсон был изгнан за аболиционистские проповеди. В 1841–1842 годах пресвитерианская церковь в вопросе о рабстве раскололась надвое — большинство прихожан, включая Джейн Клеменс, пошли в ту церковь, где рабовладение одобряли. В тот же месяц, когда Клеменсы продавали Дженни, методистский пастор продал своему коллеге ребенка, отнятого у матери, — никто не видел в этом ничего особенного, правда, когда второй пастор перепродал ребенка на плантации, поступок его не одобрили.

Свободомыслящий Джон Клеменс тоже считал рабовладение нормой.

В 1841-м он, будучи присяжным, приговорил к двенадцати годам тюрьмы нескольких рабов, пытавшихся бежать. «Он наказал меня всего дважды и никого другого из нашей семьи не коснулся пальцем, но он то и дело давал тычок-другой нашему безобидному мальчишке-невольнику Льюису — и к тому же за самые пустячные упущения или простую неловкость. Мой отец с колыбели жил среди рабов, и затрещины, которыми он их награждал, объяснялись отнюдь не его характером, а нравами времени. Когда мне было десять лет, я видел, как один человек в ярости швырнул железным брусом в невольника только за то, что тот что-то сделал недостаточно проворно, — словно это было преступление. Брусок попал рабу в голову, и тот упал наземь. Через час он умер. Я знал, что хозяин имел право убить своего невольника, если ему хотелось, и все же я чувствовал в этом что-то ужасно обидное и несправедливое, но почему — этого я тогда не смог бы объяснить. Никто в поселке не одобрил этого убийства, хотя, разумеется, все помакивали».

Кроме Дженни, у Клеменсов был пожилой (то есть дешевый) раб «дядюшка Нед»: его, солидного и благонравного, не били, но Дженни была дерзка, ленива — добрейшая Джейн бралась за кнут, а когда рабыня вырвала кнут из рук хозяйки, примчался муж, привязал провинившуюся к телеге и основательно отколотил. Новых рабов не покупали — денег не было, но брали в аренду у соседей: 45-летнюю повариху, 25-летнюю служанку, 15-летнюю «девчонку на побегушках» и 10-летнего Сэнди. «Мальчик был веселого нрава, простодушный и кроткий и, должно быть, самое шумливое создание на свете. Целыми днями он насвистывал, пел, вопил, завывал, хохотал — и это было сокрушительно, умопомрачительно, совершенно невыносимо. Наконец в один прекрасный день я вышел из себя, в бешенстве прибежал к матери и пожаловался, что Сэнди поет уже целый час, не умолкая ни на минуту, и я не могу этого вытерпеть, так пусть она велит ему замолчать. Слезы выступили у нее на глазах, губы задрожали, и она ответила приблизительно так:

— Если он поет, бедняжка, то это значит, что он забылся, — и это служит мне утешением; а когда он сидит тихо, то я боюсь, что он тоскует, — и это для меня невыносимо». «И все же, как она ни была добросердечна и сострадательна, мне кажется, она едва ли сознавала, что рабство есть неприкрытая, чудовищная и непростительная узурпация человеческих прав. Ей ни разу не пришлось слышать, чтобы его обличали с церковной кафедры, наоборот — его защищали и доказывали, что оно священо... По-видимому, среда и воспитание могут произвести совершенные чудеса. В большинстве случаев наши рабы были убежденные сторонники рабства».

Средства, вырученные за рабыню, вложили в недвижимость, сдаваемую в аренду. Но арендаторы и прочие должники задерживали плату, и к весне 1841-го Джон разорился. Предложил кредиторам мебель, посуду, корову, «дядюшку Неда». Его уважали; большинство кредиторов согласилось на отсрочку. Он съездил в Сент-Луис, просил товаров в кредит, но там его не знали и отказали. Поехал в Теннесси — там ему многие были должны. Дешево купил раба, рассчитывая по пути (в Новом Орлеане) перепродать, но выручил всего 50 долларов, а с должников ничего не получил, об одном из них писал жене: «Для него эта сумма является непосильной, и у меня совести не хватает его принуждать... Я не знаю, что делать... <...> Будущее представляется то радужным, то мрачным, но чаще мрачным, как ты понимаешь. Я бы хотел, во-первых, какой-нибудь постоянной и полезной работы, а во-вторых, чтобы за нее хоть что-нибудь платили...» Работа нашлась — в Комиссии по контролю за дамбами на реке, но начальство обнаружило ошибки и уволило Клеменса. Дети ходили без обуви — в вязаных чулках. Арендовать рабов накладно, ведь их надо кормить, но без этого нельзя: без рабов жила только «белая шваль» вроде семейства Блэнкеншипов (в романе — Финнов). В мае 1842 года — очередное несчастье: умер десятилетний Бенджамин, родители вторично обнялись на людях. «Она [мать] держит меня за руку, и мы стоим на коленях у постели умершего брата, который был двумя годами старше меня, и слезы катятся без удержу по ее щекам. Она стонет. Это немое свидетельство горя, вероятно, было ново для меня, потому что оно произвело на меня сильное впечатление — впечатление, благодаря которому эта картина и до сих пор не потеряла силы и живет в моей памяти».

Джон попытался вернуться к юридической практике, нашел нескольких клиентов, Джейн стала брать жильцов на пансион. Решили, что семнадцатилетнему Ориону пора кормить семью, он уехал в Сент-Луис, поступил учеником в типографию, первые месяцы не оплачивались, но вскоре он стал рабочим и получал жалованье — 10 долларов в неделю, немало по тем временам, 3–5 долларов отсылал домой. Джон был избран мировым судьей, плата нерегулярная, но все же дела улучшились. Для сокращения расходов решили младших детей на лето отсылать на ферму дяди Куэрлса. В 1843-м Сэм провел там первое лето — это был рай, который продлится еще пять лет.

У Куэрлса и его жены было восемь детей; люди веселые, общительные, атмосфера в доме праздничная. «Жизнь, которую я вел там с моими двоюродными братьями, была полна очарования, таким же остается

и воспоминание о ней. Я могу вызвать в памяти торжественный сумрак и таинственность лесной чащи, легкое благоухание лесных цветов, блеск омытых дождем листьев, дробь падающих дождевых капель, когда ветер качает деревья, далекое постукивание дятлов и глухое токование диких фазанов, мелькание потревоженных зверьков в густой траве, — все это я могу вызвать в памяти, и оно оживает, словно наяву, и так же радостно». Дважды в неделю дети ходили в местную школу, расположенную в лесу: «Все школьники приносили с собой обед в корзинке — сдобные булки, пахтанье и другие вкусные вещи. Вот об этой стороне моего воспитания я всегда вспоминаю с удовольствием». (Твен не был чревоугодником, но о еде у Куэрлсов написал столько, что ясно — дома он ходил полуголодным.) Куэрлсы его тоже вспоминали с удовольствием — как рассказывала одна из кузин, он «всегда был склонен к проделкам и забавам. Он хулиганил больше, но наказывали его реже, чем других мальчиков. Он был настолько открыт и дружелюбен, что все его любили и, зная, что напакостить он способен больше, чем остальные дети вместе взятые, прощали ему то, чего бы не простили никому другому... Он был очень рассеян. Часто его обнаруживали бродящим во сне, и несколько раз он едва избежал опасных травм».

Ферма сильнее, чем Ганнибал, напоминала настоящий Юг: изящная мебель, роскошная южная кухня, рабы по вечерам рассказывают истории с привидениями, поют душераздирающие «спиричуэлс», отношения между белыми и черными «домашние», фамильярные, хотя всяк знает свое место. (Южане по сей день колют северян тем, что последние на самом деле относятся к неграм с куда большей брезгливостью.) «Мы имели верного и любящего друга, союзника и советчика в лице дяди Дэна, пожилого негра, у которого была самая ясная голова во всем негритянском поселке и любвеобильное сердце». «Негры были нам друзья, а с ровесниками мы играли как настоящие товарищи. Я употребляю выражение «как настоящие» в качестве оговорки: мы были товарищами, но не совсем, — цвет кожи и условия жизни проводили между нами неуловимую границу, о которой знала и та и другая сторона и которая делала полное слияние невозможным».

Осенью 1843 года Сэм перешел в школу Уильяма Кросса, там встретил «Беки Тэтчер» — Лору Хокинс, ее семья только что переехала в Ганнибал, жила по соседству с Клеменсами. Лора впоследствии рассказывала, что обстоятельства знакомства в «Томе Сойере» полностью совпадают с реальными. Через год Сэм вернулся в школу Горр, Лора перешла туда же. «Он писал мне записочки, приносил в школу яблоки и клал на мою парту.

Однажды его в наказание посадили к девочкам: он сел рядом со мной. Казалось, что наказания он даже не заметил. Он отличался от других детей, затрудняюсь сказать, чем именно, теперь мне кажется, что он обладал естественной утонченностью. Он пренебрегал учебой, совершал всевозможные пакости, но я никогда не слышала от него грубого слова». (Сэм как раз славился пристрастием к «грубым словам», но, видимо, не при дамах.)

В 1844 году Клеменсы наконец зажили хорошо. Богатый родственник Джона из Сент-Луиса предоставил в его пользование участок по адресу Хилл-стрит, 206, построили новый дом, Памеле купили фортепьяно, она давала уроки музыки, зарабатывала не много, но регулярно. Джон опять стал делать инвестиции — в разведение тутового шелкопряда. Как судью его уважали и побаивались: он не только выносил беспристрастные решения, но, если истец с ответчиком пытались продолжить разборки на улице, мог выйти и утихомирить их. Этот благополучный год и следующий, 1845-й, литературоведы считают временем действия «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна» — Сэму было соответственно 9 и 10 лет. Его болезненность и младенческие странности прошли, приятелям он запомнился обычным маленьким бандитом, подвижным и ловким. (Девочки находили его скромным и застенчивым.) «Мальчишкой он был таким же, как все, — вспоминал одноклассник. — Он был хулиган, любил приключения и плавал как утка; я не знаю лучшего пловца». (Мальчишка, живущий на реке, обязан плавать: Сэм учился долго и трудно, несколько раз тонул и был спасен лишь чудом, но своего добился.) Однажды сбежал из дома, удалось пробраться на пароход, прятался (иногда рассказывал, что нашел его кто-то из экипажа, иногда — что он сам с воплем выбежал к пассажирам, потому что ему приснился пожар), сняли его с парохода в Луизиане, отец приезжал за ним. Много читал — Майн Рида, Фенимора Купера, Дефо, приключенческие и нравоучительные истории, талантливо пересказывал, сочинял сам, но хотел быть не писателем, а, разумеется, пиратом.

Сэм Клеменс и Том Сойер — почти одно и то же лицо; рассказы однокашников и родных это подтверждают. Ловил жука в церкви, байками отвлекал братьев и сестер от вечерней молитвы; покраска забора, скупка билетиков за примерное поведение — все было. Рыбу ловили, на кладбище ночью ходили, в индейцев играли, перед девочками «козыряли», знаменитая пещера тоже существует, хотя Сэм никогда в ней не терялся. Пристрастие к табаку — это уже Гек: «Рослая девица лет пятнадцати, в коленкоровом платье и широкополой шляпе, какие тогда носили, спросила

меня, потребляю ли я табак, — то есть жую ли я табачную жвачку. Я сказал, что нет. Она посмотрела на меня презрительно и немедленно обличила перед всеми остальными:

— Глядите, мальчишке семь лет, а он не умеет жевать табак!

По взглядам и комментариям, которые за этим последовали, я понял, что пал очень низко, и жестоко устыдился самого себя». К десяти годам курил сигары, на всю жизнь сохранив привычку к дешевым и крепким. Кота «болеутолителем» тоже лечил, правда, испытал сильнейшее раскаяние, так как обожал кошек и преклонялся перед их характером. «Из всех божьих созданий только одно нельзя силой принудить к повиновению — кошку. Если бы можно было скрестить человека с кошкой, это улучшило бы людскую породу. Но повредило бы кошкам». Количество котов в доме колебалось от десяти до двадцати: они сидели под стулом Сэма, когда он ел, спали в его постели, два-три котенка сопровождали его на ферму Куэрлса. «Если среди этих горшков и ящиков оставалось свободное местечко, то его в погожий денек непременно захватывала кошка и, растянувшись во всю длину, погружалась в блаженный сон, выставив пушистое брюшко на солнце, уткнув нос в согнутую лапку. И это был уже совершенный домашний очаг, ибо кошка служила символом и безошибочным свидетельством того, что под этой крышей царят довольство и покой. Говорят, что и без кошки — откормленной, избалованной, привыкшей к почитанию — бывают идеальные дома; быть может, не спору, но чем это доказано?»

Он обожал и животных, которые считаются «противными», страшными: «Летучая мышь чудесно нежна и шелковиста на ощупь, ее очень приятно гладить, и я не знаю животного более благодарного за ласку, если с ним обращаться умеючи». Нежность унаследовал от матери: «Как-то на улице в Сент-Луисе она удивила дюжего возчика, который избивал свою лошадь тяжелым кнутовищем: она отняла у него кнут»; «По какому-то неуловимому признаку каждый бездомный, загнанный, грязный, беспутный кот сразу узнавал в ней свою покровительницу и защитницу и шел за ней до самого дома». На ферме его научили охотиться, сперва это доставляло удовольствие, потом возникло омерзение. Из автобиографического фрагмента «Убийца»: «Она [птица] свалилась со своей ветки, проковыляла, хромая, и упала к моим ногам; ее песенка оборвалась, ее жизнь погасла ни за что, я бессмысленно погубил ее и ощущал все, что чувствует убийца, — печаль и раскаяние, когда до него доходит, что он сделал и что вернуть ничего уже нельзя». (Том Сойер не убивал животных, Гек делал это только ради пропитания, а потом, в книге «Том Сойер за границей», и вовсе

перестал.)

Все персонажи романов о Санкт-Петербурге обнаруживаются в Ганнибале. Джим — «дядюшка Дэн»; Сид Соьер — Генри Клеменс: «Мне кажется, что ей [матери] трудно было бы выдержать его неизменное благонравие, правдивость и послушание, если бы я не вносил в эту монотонную жизнь некоторого разнообразия. <...> Одной из его обязанностей было докладывать о моем поведении, когда в том возникала нужда, а сам я не удосуживался это сделать, и эту свою обязанность он выполнял неукоснительно». По словам Твена, все эпизоды, связанные с Сидом, списаны с натуры. Геком Финном автор назвал Тома Блэнкеншипа, младшего сына городского пьяницы Бена: он не ходил в школу, одевался в обноски, «пользовался ничем не ограниченной свободой и был единственным по-настоящему независимым человеком на всю округу; поэтому он наслаждался постоянным тихим счастьем, а мы все ему отчаянно завидовали. Он нам нравился. Мы любили водить с ним компанию, а так как это строжайше запрещалось нашими родителями, дружба с ним ценилась еще выше, и во всем городке не было мальчика популярнее его». Омерзительный отец Гека — отчасти Блэнкеншип-старший, отчасти другой городской пьяница, Финн. Однокашники Сэма Клеменса, однако, считали прототипом Гекльберри другого мальчика, который в школе учился и происходил из нормальной семьи, но был похож на Гека характером, — Барни Фартинга. Кто же прав?

На самом деле писатель никого ниоткуда не «списывает»: он не снимает гипсовые слепки с мертвых лиц, а свободно мнет глину воспоминаний, создавая в итоге живое существо, более реальное, чем все его «прототипы», и притом бессмертное. Ни дядюшка Бен, ни дядюшка Дэн, ни другие знакомые Сэму негры не убегали, но в 1847 году в Ганнибале Бен Блэнкеншип обнаружил беглого раба, который безуспешно пытался переплыть реку, чтобы попасть в Иллинойс. Бен мог его выдать и получить награду в 50 долларов, но не сделал этого, потому что ему показалось выгодней сохранить беглеца для себя: все лето тот жил на болоте и ловил для Блэнкеншипа рыбу; осенью его обнаружили ловцы, он пытался скрыться и утонул, его тело через несколько дней обнаружили дети, среди которых был и Сэм Клеменс. Индеец Джо, по мнению большинства исследователей, — это Джо Дуглас, скотовод, который никаких злодейств не совершал и в пещере не умирал (хотя как-то раз там заблудился), просто наружность у него была зловещая. Сам Дуглас, впрочем, утверждал, что поселился в Ганнибале, когда Марк Твен оттуда уже уехал.

Когда автор описывал Сиду, он вспоминал не только брата Генри, но и Теодора Доусона, сына учителя, который был «чрезвычайно хорошим, сверхъестественно хорошим, оскорбительно хорошим, омерзительно хорошим — и пучеглазым, — и я утопил бы его, подвернись подходящий случай». В самом Томе находят черты не только Сэма, но и Джо Гарта и других приятелей — Джорджа Батлера, Джона Бриггса; Бекки — не портрет Лоры Хокинс, а обобщенная возлюбленная, ибо Сэм был столь же ветреным, сколь и страстным. Он называл имена как минимум шести девочек, которых «обожал» примерно в то же время, что и Лору; влюблялся и во взрослых. Девятнадцатилетнюю Мэри Миллер он полюбил в девять лет и впоследствии вспоминал: «Она была не первой моей возлюбленной, но первой, кто разбил мне сердце»; спустя полгода ее сменила двадцатилетняя Артемизия Бриггс, которая была не так жестока, но тоже отказалась от помолвки.

И в «Томе» и в «Геке» есть эпизоды, где мальчики инсценируют собственную смерть, и вообще в обеих книгах чрезвычайно много похорон, убийств и крови. Выдумка, преувеличение? Нет: в годы Сэмова детства Америка вправду была такой, как ее показывают в вестернах. Перестрелка на улице была рядовым явлением, и в самом безобидном месте в любой момент могла обнаружиться парочка покойников; в знаменитой пещере эксцентричный хирург из Сент-Луиса держал труп своей дочери. Однажды Сэм прогулял школу, домой возвращаться побоялся, решил заночевать в офисе отца и там наткнулся на мертвеца (человек был убит из мести). Видел он и другие случаи насильственной смерти. «Убийство бедняги Смарра в полдень на Главной улице наделило меня еще и другими снами, и в них всегда повторялась все та же безобразная заключительная картина: большая семейная библия, раскрытая на груди старого богохульника каким-то заботливым идиотом, поднимается и опускается в такт тяжелому дыханию, усиливая своим свинцовым весом муки умирающего»; «Был один невольник, которого убили глыбой шлака за какую-то пустяковую провинность, — я видел, как он умирал. И молодой эмигрант из Калифорнии, которого ударил охотничьим ножом пьяный собутыльник, — я видел, как жизнь красной струей изливалась из его груди. И случай с двумя буйными молодыми братцами и безобидным стариком дядюшкой: один из братьев давил старику коленями на грудь, а другой пытался застрелить его из револьвера системы Аллена, который никак не стрелял». Безоговорочно доверять воспоминаниям Твена, однако, не следует — подобно Хемингуэю, он много сочинял, только мотивация у них была разная: второй хотел казаться героем, первый «для красного словца»



придумывал жуткие или комические истории, в которых подчас даже не был действующим лицом (а если и был, то старался обрисовать себя как можно хуже).

Некоторые страшные происшествия, впрочем, подтверждены, как, например, смерть Джима Финна. В ноябре 1845 года пьяница был заключен в тюрьму, просил у прохожих табаку и спичек; Сэм принес спички — ночью тюрьма сгорела. «Покойный... угнетал мою совесть сто ночей подряд и заполнил их кошмарными снами — снами, в которых я видел так же ясно, как наяву, в ужасной действительности, его умоляющее лицо, прильнувшее к прутьям решетки, на фоне адского пламени, пылавшего позади; это лицо, казалось, говорило мне: «Если бы ты не дал мне спичек, этого не случилось бы; ты виноват в моей смерти». Я не мог быть виноват, я не желал ему ничего худого, а только хорошего, когда давал ему спички, но это не важно, у меня была тренированная пресвитерианская совесть, и она признавала только один долг — преследовать и гнать своего раба в любом случае и под любым предлогом, а особенно когда в этом не было ни толку, ни смысла».

Нынешних детей мы стараемся оберегать от столкновений со смертью, нам не нравится, когда они играют в похороны (в войну почему-то можно); многие современные критики пишут, что Твен был ненормально одержим смертью, не учитывая, что в те времена она подстерегала любого, в том числе ребенка, на каждом шагу. Дети тонули, умирали от всевозможных болезней. В 1845-м разразилась эпидемия кори, матери сходили с ума, заболел Билл Боуэн, приятель Сэма. Сэм совершил странный поступок: «Не помню, пугала ли меня сама по себе корь, но я очень устал жить в постоянном страхе смерти. Я мучился от этого день и ночь, и мне хотелось, чтобы вопрос поскорей решился тем или иным образом». Он пробрался к Боуэнам, в спальню больного, — мать Билла поймала его и выдворила вон. Он залез снова, мать снова пришла и за шкуру отволокла его домой, где он был наказан. Этот случай, вспоминал Твен, привел его «на порог смерти». Я больше не ощущал никакого беспокойства, ни малейшего интереса к чему бы то ни было; напротив, полное равнодушие — необычайно приятное, сладостное, восхитительное ощущение покоя. В тот период я ничего так не любил, как умирать». Попыток забраться в дом Боуэнов он больше не делал, но постоянно играл в «покойника». А это уже «Том Сойер»: «Он воображал, будто лежит при смерти и тетя Полли склоняется над ним, вымаливая хоть слово прощения, но он отвернется к стене и умрет, не произнеся этого слова. Что она почувствует тогда? И он вообразил, как его приносят мертвого домой, вытащив из реки: его кудри

намокли, измученное сердце перестало биться. Как она тогда упадет на его бездыханный труп и слезы у нее польются рекой, как она будет молить Бога, чтоб он вернул ей ее мальчика, тогда она ни за что больше его не обидит! А он будет лежать бледный и холодный, ничего не чувствуя, — бедный маленький страдалец, претерпевший все мучения до конца!»

Каждый из нас тешил себя подобными мыслями; но для Сэма Клеменса все усугублялось религией. Дети гибли не просто так, а из-за грехов, трагические происшествия были знамениями. «Все это было измышлено провидением ради того, чтобы заманить меня на дорогу к лучшей жизни. Это звучит крайне наивно и самонадеянно, но для меня здесь не было ничего странного: это вполне согласовалось с неисповедимыми и мудрыми путями провидения, как я их понимал. Меня бы не удивило и даже не слишком польстило бы мне, если б Господь истребил все население городка ради того, чтобы спасти одного такого отступника, как я. <...> Это сущая правда — я принимал все эти трагедии на свой счет, прикидывая каждый случай по очереди и со вздохом говоря себе каждый раз: «Еще один погиб из-за меня: это должно привести меня к раскаянию, терпение Господне может истощиться». Однако втайне я верил, что оно не истощится. То есть я верил в это днем, но не ночью. С заходом солнца моя вера пропадала, и липкий холодный страх сжимал сердце. Вот тогда я раскаивался. То были страшные ночи — ночи отчаяния, полные смертной тоски. После каждой трагедии я понимал, что это предупреждение, и каялся; каялся и молился: попрошайничал, как трус, клянчил, как собака, — и не в интересах тех несчастных, которые были умерщвлены ради меня, но единственно в своих собственных интересах». Эта черта у него останется на всю жизнь: во всем плохом, что случится вокруг, он будет считать себя виновным.

Период процветания Клеменсов уже летом 1846 года закончился. Значительную роль в этом сыграл бизнесмен Айра Стаут, в 1843-м проигравший Клеменсу дело в суде; теперь он предъявил к оплате векселя на три тысячи долларов. Оплатить их было нечем. Стало лопаться терпение и у других кредиторов, а с собственных должников строгий судья взыскивать так и не научился. В сентябре он поехал в Теннесси, хотел продать землю, но предложенная сумма — три тысячи долларов — его не устроила: она могла спасти его, но не детей. Он боролся: в ноябре выдвинул свою кандидатуру на должность секретаря окружного суда — должность престижная и с твердым окладом, он считался фаворитом; возглавил Комитет по строительству железной дороги между Ганнибалом и

Сент-Джозефом. 17 декабря Стаут подал новый иск, требуя продажи имущества, но дом спасли, фиктивно продав сент-луисскому родственнику, а тот сдал его Клеменсам практически бесплатно. В январе 1847 года Джона избрали председателем Библиотечного общества Ганнибала, которое намеревалось организовать в городке высшее учебное заведение, а в феврале — секретарем суда. 11 марта окружной суд в Пальмире принял решение взаимно зачесть их со Стаутом претензии и закрыть дело; казалось, начинается новая жизнь, счастливая, обеспеченная.

Джон несколько раз ездил в Пальмиру, погода была промозглая, он заболел пневмонией и умер 24 марта. Здоровье его всегда было слабым, а медицина, особенно фармакология, находилась в зачаточном состоянии и «лечила» преимущественно ядами: Джон много лет принимал «пилюли Кука», которые могли убить любого здоровяка, так как содержали хлорид ртути. По воспоминаниям Твена, близости с отцом у него никогда не было: они «едва замечали существование друг друга» и «соблюдали вооруженный нейтралитет». (Известную фразу «Когда мне было 14, мой отец был так невежествен, что я едва мог его выносить, но когда мне стукнуло 21, я удивился, обнаружив, как поумнел старик за эти семь лет» ему приписывают ошибочно.) Ничего плохого отец ему не делал, почти не наказывал, но мало, как казалось Сэму, им интересовался. Но теперь ребенок испытал очередной приступ раскаяния: и в этой смерти был виноват он, холодно относившийся к отцу.

Врач произвел вскрытие. Некоторые изыскатели предполагают, что этого требовала вдова, подозревавшая у мужа сифилис или наркоманию. Это перенос современных представлений на прошлое: тогда вскрытия полагались независимо от того, по какой причине человек умер, нет никаких подтверждений тому, что Клеменс страдал венерическим заболеванием, а о наркомании никто не слыхивал, ибо до начала XX века все нынешние наркотики считались лекарствами. Орион наблюдал за процессом, и Сэм, как считают многие, тоже: существует дневниковая запись от 10 октября 1903 года, где говорится, что в 1847-м он «подсмотрел через замочную скважину, как вскрывали моего дядю», а никакой дядя у него в том году не умирал — только отец. Как это любопытство согласуется с раскаянием и жалостью? Да прекрасно согласуется — у детей.

14 апреля Сэма отдали в школу Доусона, скучного педагога — похожий описан в «Томе Сойере». Там он «впервые увидел евреев и с трудом преодолевал страх перед ними», обзавелся близким другом, Джоном Бриггсом, положил глаз на семнадцатилетнюю Мэри Нэш, а также безуспешно подговаривал приятелей бежать на войну с Мексикой — из-за

Техаса, который в 1836 году отделился от Мексики. (Войну США выиграли и получили лишний штат, но, поскольку он был рабовладельческим, раскол в Союзе усилился.) Доучиться ему не удалось. Орион и Памела, преподававшая музыку во Флориде и Париже, присылали деньги, Джейн пускала жильцов, но на жизнь не хватало, летом и двенадцатилетнему Сэму пришлось работать: учеником приказчика, кузнеца, аптекаря. «Лекарства, которые я составлял, оказались не особенно удачны, в результате на слабительные был большой спрос, нежели на содовую воду, и мне пришлось уйти». Осенью и зимой он ходил в школу урывками, потом переболел корью, а весной 1848 года мать решила, что пора ему приобрести профессию.

В Ганнибал переехал из Пальмиры Джозеф Эмент, издатель газеты «Миссури курьер»; он купил «Ганнибал газетт», объединил издания и назвал новую газету «Ганнибал курьер». Сэма взяли учеником наборщика, без оплаты, но можно было жить и столоваться в доме Эмента. Ко всеобщему удивлению, работал он лучше взрослых: внимательный, выносливый, руки ловкие, соображает быстро. В 1849-м он окончательно бросил школу — с грехом пополам окончивший шесть классов, он один из самых «необразованных» великих писателей. Но когда исчезло принуждение к учебе — появился интерес. По собственной инициативе брал уроки немецкого у местного сапожника, пытался учить французский, читал Дефо, Сервантеса, Диккенса, увлекся средневековой историей и Жанной д'Арк.

В пресвитерианской церкви к тому времени сменился проповедник — новый, Джозеф Беннет, был аболиционистом, и Сэм впервые задумался о рабстве. Религиозная жизнь Ганнибала бурлила: помимо трех обычных церквей имелись масонские ложи и общины нетрадиционных религий — евангелисты, проповедовавшие на улице, спиритуалисты, кэмпбеллиты, которые верили, что спасти душу может любой человек, а ребенок до тринадцати лет не может быть грешником, ибо не отличает дурное от хорошего; наслушавшись их, вспоминал Марк Твен, «все спасли свои души за неделю, кроме меня». Были жуткие случаи: в неоконченном фрагменте «Сельские жители в 1840–1841» Твен вспоминает человека, отрубившего себе руку «за то, что она согрешила», но в целом атмосфера была терпимой, и подросток ходил слушать всех проповедников по очереди, пока не встретил богохульника, затмившего их всех, — восемнадцатилетнего Уэйлса Маккормика, одного из учеников Эмента (типографскому рабочему было трудно почитать Бога: в одном месте печатались брошюры для всех церквей, яростно поносивших друг друга); набирая проповедь, Маккормик

для экономии места обозначил главное действующее лицо инициалами «И. Х.», а когда заказчик возмутился, исправил на «Иисус Н. Христос».

Вскоре Сэм начал выполнять обязанности корректора и даже помощника редактора. Он привык читать газетные статьи, усвоил стиль передовиц, которые впоследствии будет блистательно пародировать. (Но хотел быть не журналистом, а актером — так увлек его гастролировавший негритянский балаган.) Он работал хорошо, но бесплатно — так продолжаться не могло, и в сентябре 1850 года его принял наборщиком Орион, который продал часть теннессийской земли, взял кредит, вернулся в Ганнибал, купил еженедельник «Джорнэл» с типографией и основал газету «Ганнибал вестерн юнион». Публиковались в ней анекдоты, отрывки из романов, местные новости, политические передовицы (Орион примыкал в тот период к демократической партии). Сэм легко выполнял работу двух взрослых мужчин, должен был получать 3,5 доллара в неделю, но опять не получал ничего и никогда этого брату не простил. «Я был по отношению к Сэму тираническим и несправедливым, — признавал впоследствии Орион. — Он работал прекрасно. Быстро и аккуратно, как настоящий профессионал. Каким бы количеством работы я его ни нагружал, он справлялся с нею очень быстро, а я за это нагружал его еще больше. Насколько неаккуратен был Генри, настолько идеально работал Сэм».

16 января 1851 года Сэмюэл опубликовал свое первое произведение (во всяком случае, первое, о котором известно): «Храбрый пожарный» («The Gallant Fireman»), коротенькую юмореску о том, как молодой человек (прототип — приятель-наборщик Джим Вулф) жаждал стать героем на пожаре, а спас только метлу да швабру. Он послал историю в газету «Филадельфия пост», и ее напечатали, правда, без подписи и без гонорара; по словам Твена и его первого биографа Альберта Пейна, он отправлял туда же другие скетчи и их публиковали, но газета этого не подтверждает.

Осенью Памела вышла замуж за Уильяма Моффета, зажиточного предпринимателя из Сент-Луиса. А у Ориона дела шли плохо: в городе было слишком много газет. Чтобы привлечь читателей, он снизил стоимость подписки с обычных двух долларов в месяц до одного, но ганнибальцы жалели и доллара, предпочитая платить дровами и капустой. Выходила газета нерегулярно, иногда, если редакторам было лень, не выходила вовсе. Чтобы не платить аренду, типографию перевезли в дом Клеменсов, но это не решило проблем, а добавило новые — корова по ночам опрокидывала набор и съедала тираж (так, во всяком случае, рассказывал Твен). Орион не был хорошим руководителем, следовал противоречивым советам, каждый подписчик (их было всего несколько

десятков) мог указывать, что печатать в газете. В декабре 1851 года он поехал в Теннесси с намерением продать еще часть земли (так и не продал), а шестнадцатилетний Сэм остался за главного редактора и пустился во все тяжкие.

Первое хулиганство — заметка о том, как редактор конкурирующей газеты пытался утопиться от несчастной любви, за ней последовали ядовитые пародии и карикатуры. «На этот раз «Ганнибал джорнэл» («Ганнибал вестерн юнион» много раз менял название. — М. Ч.) шел нарасхват, чего раньше никогда не случалось. Весь городок пришел в волнение. Ранним утром в редакции появился Хиггинс с охотничьей двустволкой в руках. Обнаружив, однако, что тот, кто нанес ему такое неслыханное оскорбление, всего лишь младенец (как он меня окрестил), он ограничился тем, что отодрал меня за уши и удалился. Но, видно, он решил махнуть рукой на свою газету, потому что той же ночью навсегда покинул городок. Портной явился с утюгом и парой ножниц, но тоже отнесся ко мне с полным презрением и в ту же ночь отбыл на юг. Двое горожан — жертвы памфлета — прибыли с угрозами возбудить дело о клевете, но в негодовании покинули редакцию, увидев, что я собой представляю». Тираж газеты, однако, на несколько экземпляров увеличился.

Следующая сохранившаяся публикация, юмореска «Денди пугает скваттера» («The Dandy Frightening the Squatter»), появилась 1 мая 1852 года в бостонском юмористическом журнале «Карпет-Бэг»: городской щеголь, чтобы произвести впечатление на дам, угрожает скваттеру ножом и пистолетами, а тот попросту дает ему кулаком в глаз. Никакой особой индивидуальности эта крошечная работа, как и предыдущая, не обнаружила. Первая вещь, которую было за что отметить, «Экспонат № 1» («Historical Exhibition — A No. 1 Ruse»), вышла в «Джорнэл» 15 сентября под псевдонимом «У. Эпаминонд Адраст Блаб» и предвосхищала описание мошеннических выступлений Короля и Герцога в «Гекльберри Финне»: заезжий лектор громко рекламирует «выставку диговин», а демонстрирует обыкновенную свиную ногу.

Следующий год Орион часто был в отлучках, газету издавал младший брат, к чему горожане уже привыкли. Он безбожно врал, сообщая в заголовках об ужасных происшествиях («500 человек пропали без вести!»), пародировал передовицы и советы домохозяйкам. 13 мая 1852 года опубликовал поэму в прозе «Рыжая» (Oh, She Has a Red Head!) под псевдонимом «Сын Адама», гимн во славу рыжеволосых: Христос был рыж и Адам с Евой тоже, во всяком случае, до грехопадения. Некий «Рамблер» разместил два стишка, «Тайная любовь» («Love Concealed») и

«Сердечная жалоба» («The Heart's Lament»), посвященные неким красоткам, а некий «Грамблер» их жестоко раскритиковал — за обоими псевдонимами скрывался, разумеется, один автор. Он развлекался — и при этом добросовестно пытался вытянуть умирающую газету.

Орион хотел печатать романы в отрывках, но не нашел писателя, который продал бы ему свое творение за предлагаемые пять долларов; в сентябре 1853 года «Ганнибал джорнэл» прекратила существование и была продана за 500 долларов. Орион перебрался в Маскетин, штат Айова, основал газету «Маскетин джорнэл». Но Сэма это уже не волновало: в июне, когда отношения с братом накалились до предела, он сам уехал — в Сент-Луис к Памеле, как сказал матери, а на самом деле — путешествовать. Накануне написал знакомой девушке Энн Руффнер: «Прощай, мой друг, прощай, как ни тяжело мне вымолвить это слово; покоряюсь судьбе». Матери дал слово не пить и не играть в карты. С курением она давно смирилась.

## Глава 2

### Том Сойер и большая река

Был он среднего роста, ловкий, ладный; в наше время считался бы очаровательным — идеально сложен (никогда не будет заниматься спортом и соблюдать диету, но ни унции лишнего жира не наживет), роскошная копна медных кудрей, загнутые ресницы, красиво очерченный рот, — но по существовавшим в то время канонам мужской красоты был почти уродом. Тогдашний свой характер описал в 1876 году в письме знакомому, Фрэнку Берроузу: «Неопытный дуралей, самовлюбленная задница, навозный жук в человеческом облике, надрывающийся над своим куском дерьма, воображающий, что способен изменить мир и сделать это единственно правильным образом», «...невежественность, нетерпимость, самодовольство, глупость, тупоголовость — и трогательное непонимание всего этого».

В Сент-Луисе он провел два месяца, жил у сестры, устроился наборщиком в газету «Ивнинг ньюс», заработал на проезд до столицы. Дорога — пароход, почтовый дилижанс, поезд, другой поезд, пароход и снова поезд — заняла неделю, зато сэкономил 12 долларов. 24 августа прибыл в НьюЙорк, гигантский город с полумиллионным населением, поселился в пансионе, несмотря на безработицу, нашел место в типографии «Грей энд Грин», получал четыре доллара в неделю, гордо сообщал матери, что это его «первая настоящая работа и самая честная».

В краю янки все было не так, как дома. Писал родным: «Лучше б я был черным — здесь, на Востоке, ниггерам живется лучше, чем белым». Ходил на Всемирную выставку — каждый день ее посещали шесть тысяч человек, вдвое больше, чем население Ганнибала. Ходил в театры на Бродвее, в библиотеку, что насчитывала невероятное количество книг — аж четыре тысячи. По неясной причине 20 октября уволился и переехал в Филадельфию, тоже город не маленький — 400 тысяч жителей, поступил наборщиком в газету «Инкуайрер», работал сдельно, по ночам и выходным, платили хорошо, слал деньги матери, ходил по библиотекам и музеям. По просьбе Ориона изредка присылал корреспонденции для «Маскетин джорнэл» за подписью «W» (всего восемь текстов с конца 1853-го по начало 1855 года), грамотные и развязные, как у профессионального журналиста тех лет: «Филадельфия — одно из самых здоровых мест в Союзе. Воздух чист и свеж — почти как в деревне. Смертность за неделю



— 147 человек. Город основан около 1862 года. Первые поселенцы прибыли годом раньше на «Саре и Джоне» капитана Смита. <...> По субботам в салунах царит «непринужденное веселье». Непринужденно и весело выбирают председателя, который предлагает гостям петь или декламировать, и всегда находится множество певцов и чтецов, так что можно повеселиться за небольшие деньги».

Он жаловался Памеле, что устал не спать ночами и портить зрение, что в Филадельфии холодно и одиноко. В январе 1854 года устроил каникулы — съездил на пару недель в Вашингтон, побывал в Капитолии, видел сенаторов, похожих, как писал Ориону, на стадо обезьян. Вернувшись, служил наборщиком в газетах «Леджер» и «Норз Америкэн», в мае все бросил, вновь посещал НьюЙорк, в июне навестил Ориона в Маскетине, предложение брата работать в его газете отверг, предпочтя сент-луисскую «Ивнинг ньюс». Там его с радостью приняли обратно, и бродяга осел в Сент-Луисе почти на год. Контроля со стороны сестры не желал, квартировал у знакомых, выходцев из Ганнибала, сдружился с другим жильцом, упомянутым Берроузом, столяром и книгочеем. Продолжал слать Ориону заметки, становившиеся все ядовитее: 16 февраля 1855 года в «Маскетин джорнэл» вышла его статья о нищей вдове с пятью детьми, которая ни у кого не могла допроситься помощи, а проповедник в местной церкви призывал собирать средства «для несчастных, невежественных язычников, населяющих дальние страны».

Женившись в декабре 1854 года на Мэри Элеонор Стоттс из Кеокука (штат Айова), Орион в июне 1855-го переехал к родственникам жены и в кредит приобрел типографию. Сэм его опять навестил и на сей раз согласился на должность наборщика с окладом пять долларов в неделю. Но все пошло как прежде — дела были плохи, брат не платил, подарил половину пая, но пай ничего не стоил. Уже в августе Сэм писал Генри, что собирается в Южную Америку. Но не собрался. Он сам не знал, чего хочет. Дарования в нем дремали; лишь 17 января 1856 года он обнаружил одно из них — талант эстрадного рассказчика, — произнеся спич на банкете печатников. Изредка писал какой-нибудь пустяк для Ориона, но связывать жизнь с литературой не думал. И возлюбленной у него не было.

Об отношениях холостого Твена с женщинами (а холост он был до тридцати пяти лет) почти ничего не известно; на этом основании даже пишут, что женился он девственником (довольно странно для человека, бегавшего за юбками с пяти лет). Это опять-таки перенос современных представлений на викторианство: не жил ни с кем открыто — значит, не жил вовсе. Тогда на приличной девушке можно было только жениться;

холостяки проводили время с замужними или «доступными» женщинами — одни об этом распространялись, другие помалкивали, Сэм, очевидно, принадлежал ко вторым, лишь накануне свадьбы обмолвясь, что «теперь об интрижках с горничными не может быть и речи». Тогда, в Кеокуке, он много времени проводил в обществе юных родственниц и подруг жены Ориона, потешал их анекдотами, выделял одну, Энн Тейлор, студентку Веслеянского колледжа Айовы в Маунт-Плезант, с которой потом переписывался, но это было больше похоже на интеллектуальную дружбу.

Денег от брата он так и не дождался и в августе 1856 года опять решил путешествовать. Писал Генри, что с неким Уордом (чью личность не удалось установить) уезжает в Бразилию; с компаньоном что-то не срослось, и в сентябре он один двинулся в Цинциннати, намереваясь скопить денег и в Новом Орлеане сесть на морской пароход. По пути навестил Памелу, тут пришла хорошая идея — воротился в Кеокук и предложил Джорджу Ризу, редактору газет «Сатердей пост» и «Кеокук дейли пост», присылать для его изданий путевые заметки, тот обрадовался (в дотелевизионную эру рассказы о путешествиях были весьма популярны) и назначил хороший гонорар: пять долларов за очерк. 24 октября Сэм добрался до Цинциннати, нашел работу в типографии «Райтсон». Отправил Ризу три юморески под псевдонимом «Томас Джефферсон Снодграсс»: неотесанный провинциал, оказавшись в городе, то и дело влипает в дурацкие истории. Тексты были не особенно смешные, но в них проявилась обаятельная черта его будущей юмористики: в первую очередь он всегда смеялся над собой (как у меня ничего не получалось, и как я развалил какое-нибудь дело, и какой я был болван).

В этот период, по его словам, состоялось важное знакомство — с Макфарлейном, соседом по мебелирашкам, который целыми днями читал энциклопедии и Библию и был «философом и мыслителем». «За четырнадцать или пятнадцать лет до того, как мистер Дарвин поразил мир «Происхождением человека»... Макфарлейн считал, что животная жизнь на земле развивалась на протяжении бесчисленных веков из микроскопических зародышей или, быть может, даже одного микроскопического зародыша, брошенного создателем на земной шар на заре времен, и что это развитие шло по восходящей шкале к совершенству, пока не поднялось до человека; а потом эта прогрессивная схема разладилась и пришла в упадок! Он говорил, что человеческое сердце — единственное дурное сердце во всем животном царстве; что человек единственное животное, способное питать злобу, зависть, ненависть, помнить зло, мстить; единственное животное, у которого развился

низменный инстинкт, называемый «патриотизмом»; единственное животное, которое грабит, преследует, угнетает и истребляет своих сородичей по племени; единственное животное, которое похищает и порабощает представителей чужого племени».

Рассказ о Макфарлейне сделан в последние годы жизни Твена. Изыскатели не сумели отыскать следов этого загадочного человека — один Макфарлейн в типографии «Райтсон» работал, но был не сорокалетним мудрецом, а ровесником Сэма, — так что многие считают, что автор его выдумал и приписал ему собственные поздние взгляды. Иные говорят, что Твен просто спутал фамилию, а в доказательство того, что он действительно обсуждал философские вопросы с соседом по квартире, приводят, например, опубликованное в «Кеокук пост» 18 ноября 1856 года эссе «Пансионат в Цинциннати»: жильцы рассуждают о том, есть ли Бог и божественная справедливость (нету), и правильно ли, что у человека есть душа, а у лошади нет (неправильно). Эссе лишь предположительно принадлежит Сэму Клеменсу, однако в тот же период он несколько раз писал о лошадиной душе Энн Тейлор. За зиму 1857 года он скопил достаточно денег для путешествия (рассказывал, будто нашел 50 долларов на улице, — может, и нашел) и 28 февраля отправился на пароходе «Пол Джонс» вниз по Миссисипи до Нового Орлеана; познакомился с лоцманом Хорэсом Биксби и ехать в Бразилию раздумал.

«Когда я был мальчиком, у моих товарищей в нашем городишке на западном берегу Миссисипи была одна неизменная честолюбивая мечта — поступить на пароход. <...> Сначала я хотел быть юнгой, чтобы можно было выскочить на палубу в белом переднике и стряхнуть за борт скатерть с той стороны, с которой меня могли увидеть все старые друзья; потом меня больше стала привлекать роль того палубного матроса, который стоял на сходнях со свернутым канатом, потому что он особенно бросался в глаза». Но была и более высокая мечта: лоцманство. В те годы, когда берегового освещения рек не было, дно изобиловало мелями, а грузовые пароходы круглосуточно сновали туда-сюда, провести судно по извилистой реке мог только человек высочайшей квалификации, полностью державший в руках жизнь людей и сохранность товара. «В ясную звездную ночь тени бывают такие черные, что, если ты не будешь знать береговых очертаний безукоризненно, ты будешь шарахаться от каждой кучки деревьев, принимая их черный контур за мыс; ровно каждые пятнадцать минут ты будешь пугаться насмерть. Ты будешь держаться в пятидесяти ярдах от берега, когда надо быть в пятидесяти футах от него. Пусть ты не можешь различить коряги, но ты точно знаешь, где она, — очертания реки

тебе об этом говорят, когда ты к ней приближаешься. А потом, возьми совсем темные ночи. В абсолютно темную ночь река выглядит совсем иначе, чем в звездную. Берега кажутся прямыми и чертовски туманными линиями; и ты бы принимал их за прямые линии, но ты не так прост. Ты смело ведешь судно, хоть тебе и кажется, что перед тобой непроницаемая отвесная стена (а ты знаешь отлично, что на самом деле там поворот), — и стена пропускает тебя».

Профессия престижная, чрезвычайно высоко оплачиваемая (250–1000 долларов в месяц, не забудьте умножить на 20; другие рабочие за пять лет зарабатывали меньше) — как в наше время авиадиспетчер; у лоцманов были оплачиваемые отпуска, профсоюзы. И — власть. «Достаточно было пароходу выйти в реку, и он поступал в единоличное и бесконтрольное распоряжение лоцмана. Последний мог делать с ним все что угодно, вести его как и куда заблагорассудится и идти у самого берега, если считал такой курс наилучшим. Все поступки лоцмана были абсолютно свободны; он не советовался ни с кем, ни от кого не получал приказаний и вспыхивал, как порох, при самой невинной попытке подсказать ему что-либо. <...> Он являлся каким-то новым королем, свободным от опеки, абсолютным монархом, — абсолютным на деле, а не только на бумаге». Биксби, опытный лоцман, потом должен был вести судно в Сент-Луис; Сэм упросил взять его в ученики, плата за учение 500 долларов, 100 сразу (их дал муж Памелы), остальное в рассрочку. С 4 по 11 марта Сэм ходил учеником на «Поле Джонсе», далее, с апреля по декабрь, на шести других пароходах; учил его сперва Биксби, потом, когда тот перебрался на Миссури, другой лоцман, Зеб Ливенворт.

Лоцману нужны сообразительность, хорошая память, хладнокровие, решительность, физическая выносливость, острое зрение, молниеносная реакция. Все это у Сэма было. В книгах «Жизнь на Миссисипи» и «Старые времена на Миссисипи» он по своей манере описал себя в период ученичества как полного придурка, но на самом деле лоцманы были им довольны и учился он с наслаждением. «Со временем поверхность воды стала чудесной книгой; она была написана на мертвом языке для несведущего пассажира, но со мной говорила без утайки, раскрывая свои самые сокровенные тайны с такой ясностью, будто говорила живым голосом. <...> Среди книг, написанных людьми, не было ни одной, столь захватывающей, ни одной, которую было бы так интересно перечитывать, так увлекательно изучать изо дня в день». Сам он в ту пору книг не писал и вроде не собирался, но завел типично литераторскую записную книжку, куда заносил наблюдения над людьми, — на реке он «увидел все

человеческие типы, какие встречаются в литературе».

В 1858 году он начал получать зарплату, но обучение продолжалось. Весной, работая на роскошном грузо-пассажирском пароходе «Пенсильвания», договорился, что туда примут брата Генри — помощником счетовода. Жизнь на «Пенсильвании» благодаря наличию пассажиров была веселой: дамам не зазорно танцевать с лоцманами, а горничные годятся для «интрижек»; Сэм в кают-компании пел, играл на фортепьяно, травил байки и был бы счастлив, если бы не новый начальник, Уильям Браун, с которым сразу начался конфликт. В мае во время остановки в Новом Орлеане он познакомился с четырнадцатилетней Лорой Райт, дочерью судьи из Миссури, и провел с ней три дня — они танцевали на палубах, бродили по магазинам. Писатель Рон Пауэрс утверждает, что Лора на всю жизнь сформировала идеал Твена — полуженщина, полуребенок, не «нимфетка», а нечто воздушное и невинное, вроде ангела; в 1898 году Твен написал рассказ «Моя платоническая возлюбленная», явно навеянный ею. Долго считалось со слов самого Твена, что он больше не общался с Лорой, но на самом деле он писал ей (письма были уничтожены после ее смерти) и даже, вероятно, приезжал к ее родителям в 1860-м, но получил от ворот поворот. (Она потом вышла за другого лоцмана.) 5 июня, в очередной раз поскандалив с Брауном, Сэм нанялся на другой пароход. А 13-го неподалеку от Мемфиса на «Пенсильвании» взорвались четыре котла. Множество людей погибло, злодей Браун был убит на месте. «Я убивал его каждую ночь в течение многих месяцев, и не устарелыми, привычными и элементарными способами, а новыми и высокохудожественными — такими, которые просто поражали дерзостью замысла и жутким характером всей обстановки, в которой я осуществлял его». Желание исполнилось — но на «Пенсильвании» остался Генри Клеменс.

За несколько дней до трагедии Сэм видел смерть брата во сне; возможно, именно это обстоятельство навсегда определило его веру (хотя и не слишком твердую) в разного рода «сверхчувственные восприятия». Он узнал о катастрофе лишь двое суток спустя, в рейсе, еще два дня шли до Мемфиса. Генри получил тяжелые ранения и ожоги, невыносимо страдал, врачи сказали — не выживет. Письмо к Молли (домашнее имя Мэри, жены Ориона) от 18 июня: «Дорогая Молли, раньше, чем ты получишь это письмо, мой бедный Генри — моя гордость, моя любовь, мой ненаглядный мальчик, который был всем для меня, — закончит свою безупречную жизнь, и мир для меня погрузится во тьму. Боже! — это невозможно выдержать. Бесчувственный, отчаявшийся, погибший, погибший, пропащий грешник, я лежал ничком и молил, молил так, как никто никогда

не молил, чтобы Господь поразил меня, но пощадил моего брата, чтобы он излил свой праведный гнев на мою голову, но проявил милосердие к безгрешному мальчику. Эти ужасные три дня превратили меня в старика. <...> Люди жмут мне руку, и поздравляют меня, и называют меня «удачливым», потому что я не был на «Пенсильвании», когда она взорвалась! Да простит им Господь, ибо они не ведают, что говорят». Генри умер 21 июня. Приехал Орион, братья доставили тело в Ганнибал, оттуда вернулись в Сент-Луис к Памеле. Сэм окончательно уверовал, что «притягивает» несчастья; Орион вспоминал, что он ходил по комнате и плакал всю ночь.

«Неужели я буду когда-нибудь снова весел и счастлив? Да. И скоро. Потому что знаю мой характер. И знаю, что характер — хозяин человека, а он — его беспомощный раб», — напишет он много лет спустя после другой беды. Он всегда мучился страшно, но «отходил» быстро; гибель «Пенсильвании» не была чем-то из ряда вон выходящим — ежегодно один-два парохода взрывались на Миссисипи, — но его это не пугало и остаток года он провел в рейсах. 9 сентября получил лицензию лоцмана; в это время Биксби вернулся на Миссисипи, и они стали партнерами. Сэмюэл Клеменс был одним из самых осторожных лоцманов — за 18 месяцев не принес нанимателям ни цента ущерба. Биксби: «Сэм никогда не попадал в аварию, кроме одного случая, когда он сел на мель и просидел несколько часов из-за дыма от горящего тростника, но при этом никто не пострадал. Конечно, была и удача, потому что даже с лучшими лоцманами случались неприятности. Сэм был великолепным лоцманом».

Следующий, 1859 год был самым удачным. Любимая и престижная работа, всеобщее уважение, свобода, громадный заработок — развился вкус к шикарным ресторанам, туфлям из крокодиловой кожи. (Обещание не пить и не играть давно было нарушено.) Он посылал деньги не только матери, но и Ориону, продолжавшему бедствовать; теперь Сэм был как бы старшим и писал брату покровительственно: «Я хочу, чтобы ты держал свои планы и проблемы при себе, не разбалтывая каждому встречному, чтобы, в случае, если потерпишь неудачу, никто не знал об этом. Прежде всего (между нами) не рассказывай о своих проблемах маме; она ночь не спала, получив твое последнее письмо, и до сих пор беспокоится. Пиши ей только о хорошем. Ты знаешь, что она никогда не успокоится, если будет думать, что от нее что-то скрывают, и начинает суесться, когда подозревает что-нибудь, но это не важно. Я уверен, лучше скрывать от нее плохое. Она иногда ругает меня за то, что я показываю ей только светлую

сторону моей жизни, но, к сожалению, лучше ей с этим смириться, поскольку я знаю, что неприятности, из-за которых я попереживаю и забуду, будут долго нарушать ее покой. Шли ей хорошие новости, а мне — плохие».

Он не только шлялся по ресторанам, но и учился. Записался на курсы французского, не понравилось, стал изучать его сам — по детским книжкам, потом по Вольтеру, читал хорошо, но говорить так и не смог. Прочел исторические труды Маколея, увлекся астрономией, посещал обсерваторию; возможно, именно тогда узнал, что его рождение совпало с событием, которое случается каждые 76 лет, — близ Земли прошла комета Галлея (единственная короткопериодическая комета, видимая невооруженным глазом), и ощутил к космической бродяжке родственную нежность. Пробовал писать, Биксби говорил, что он «всегда набрасывал что-то, когда не стоял за штурвалом». Философствовал. Его эмоциональное развитие несколько запоздало — честолюбивые мечты о величии, которых не было в 15 лет, пришли в 25. Из записной книжки: «Как относиться к жизни. Относитесь к ней так, как если бы она была — а она и есть — серьезное и важное дело. Воспринимайте ее, как если бы вы родились, чтобы сделать ее праздником, как если бы весь мир ждал вашего появления. Воспринимайте ее как громадную возможность действовать и достигать, делать большие и хорошие дела, помогать и ободрять страдающих собратьев. Всегда находится человек, который выделяется из толпы, работает честно, стойко, уверенно и становится прославленным — своей мудростью, интеллектом, умениями, величием. Мир изумляется ему, восхищается, боготворит, и он служит примером того, что могут сделать люди, имеющие цель в жизни. Чудо есть сила, возвышающая немногих посредством их усердия, прилежания и настойчивости, которые подстегивает смелый и решительный дух».

Примеры были перед глазами. Он любил читать биографии, автобиографии, заинтересовался жизнью Бенджамина Франклина — этот отец-основатель Соединенных Штатов, как и он сам, из-за бедности не окончил школу, мальчишкой работал в типографии, образование получал, читая книги. Другой человек, чья юность тоже напоминала его собственную, увлек еще сильнее: философ Томас Пейн, прибывший в Америку из Англии в 1774 году, а два года спустя призывавший к восстанию против англичан; написанные им прокламации Вашингтон приказывал читать вслух перед войсками. После образования Соединенных Штатов благодарный конгресс назначил Пейна секретарем Комитета по иностранным делам, но скоро уволил за критику уже новой власти. Пейн

был во Франции, когда там происходила революция, и опубликовал в ее защиту знаменитый трактат «Права человека», ни с чем не сравнимый по радикализму; Англия объявила его государственным преступником. Правдолюбцев нигде не любят: после якобинского переворота Пейна бросили во французскую тюрьму как «британского шпиона». Америка упростила его отпустить, но, прибыв в Штаты, этот неблагодарный вновь стал обличать несправедливость; в 1803 году он опубликовал проект Организации Объединенных Наций, над которым все посмеялись, и умер в забвении в 1809-м; лишь после победы над Гитлером Америка воздала ему почести. Каждая его строка и сейчас звучит актуально. «Некоторые авторы настолько смешали понятия «общество» и «правительство», что между ними не осталось никакого или почти никакого различия; между тем это вещи не только разные, но и разного происхождения. Общество создается нашими потребностями, а правительство — нашими пороками; первое способствует нашему счастью положительно, объединяя наши благие порывы, второе же — отрицательно, обуздывая наши пороки; одно поощряет сближение, другое порождает рознь. Первое — защитник, второе — каратель»; «Когда все остальные права попораны, право на восстание становится бесспорным». Эти мысли Твен потом повторит почти дословно.

Ненавидели Пейна, в частности, за неортодоксальные религиозные взгляды (наиболее полно высказанные в трактате «Век разума»). Полудеист, полуквакер<sup>[5]</sup>, он верил в Бога как первопричину всего сущего, признавал высшим авторитетом человеческой жизни внутренний «глас Божий», считал, что «религиозные обязанности состоят единственно в справедливости поступков, милосердии и стремлении сделать наших братьев счастливыми», Христа называл «реформатором и революционером», отвергал церковь: «Все национальные институты церквей, еврейские ли, христианские ли, или же мусульманские, — кажутся мне не более чем изобретениями человеческими, созданными для устрашения и порабощения человека, для монополизации власти и дохода». Критиковал Библию, прежде всего с моральной точки зрения: «книга лжи, безнравственности и кощунства», «история безнравственности и злобы, послужившая развращению и озверению человечества»; «Когда мы читаем непристойные истории, описания сладострастных походов, жестоких и мучительных наказаний, неутомимой мстительности, которыми заполнено более половины Библии, нам скорее следовало бы назвать ее словом демона, а не словом Божьим».

Сэм был согласен с каждым словом. Писал Ориону: «Не понимаю, каким образом человек, не лишенный юмора, может быть верующим, —



разве что он сознательно закроет глаза своего рассудка и будет силой держать их закрытыми». Он полюбил Пейна на всю жизнь, постоянно перечитывал; он повторит в своих работах все его постулаты: критику «глупого библейского понятия геоцентрической вселенной», которому Пейн противопоставлял идею множественности миров, оригинальные представления о бессмертии: «Сознание существования или знание, что мы существуем, не необходимо приурочено к одной и той же форме или к одной и той же материи даже в этой жизни»; «Мысль способна существовать, не повреждаясь, на нее не действует перемена вещества»; «Мысль, когда она произведена, как я сейчас произвожу мысль, которую излагаю пером, способна стать бессмертной и является единственным произведением человека, которое имеет эту способность».

Перед смертью Марк Твен сказал своему биографу, однофамильцу Томаса Пейна: «Я читал его, когда был учеником лощмана, читал с сомнением и боязливо, но был поражен его мощью и бесстрашием». По Пейну, «малодушие — удел ничтожных; тот, чье сердце твердо, чьи поступки совершаются в согласии с его совестью, будет отстаивать свои принципы до конца своей жизни». Твен усвоил мысли Пейна, но его участь повторить не желал и потому никогда не смог сравниться с ним в смелости. Он хотел быть не гонимым, а любимым людьми, как Франклин, который когда-то был соратником Пейна, но «вовремя остановился» и умер в почете.

Читал он и беллетристику: восхищался Свифтом и Сервантесом, не выносил Вальтера Скотта, скучал над Готорном, довольно высоко ценил Диккенса, любил (потом разлюбил) Эдгара По, не брезговал Дюма, бесконечно презирал Джейн Остин, Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс) и прочих женщин-литераторов; впоследствии он полюбит Кипплинга, но вообще будет все меньше интересоваться вымыслами, предпочитая что-нибудь познавательное. Что же касается прямых литературных влияний, то ему очень нравился британский юморист Томас Худ, который публиковал серии комиксов, иронизируя над всем и вся (включая похищение детей и торговлю трупами); своим идеалом Твен наряду с «Дон Кихотом» называл книгу английского писателя XVIII века Оливера Голдсмита «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке» и осознанно ей подражал.

Твен усвоил стиль Голдсмита, чья проза производит впечатление написанной без помарок, словно она излилась на бумагу «в один присест», подражал ему в письмах Ориону, перемежая изящные зарисовки с едкими замечаниями. 17 мая опубликовал в газете «Нью Орлеан дейли креснт» под псевдонимом «Сержант Фантом» фельетон «Речные мыслители» («River

Intelligence») — пародию на пространные статьи, которые всюду печатал старый лоцман Исая Селлерс, и приобрел репутацию человека, которому лучше не попадаться на язык.

В июле он гостил у Ориона, в августе опубликовал юмореску «Заметки лоцмана» («Pilot's Memoranda») в газете «Сент-Луис Миссури рипабликен», гонораров не получал, но все больше зарабатывал основной профессией и не собирался ее менять. Вступил в профсоюз, чем очень гордился, а также в масонскую ложу «Полярная звезда Сент-Луиса», где состояли все лоцманы (в последующие годы прошел положенные степени, потом еще лет десять участвовал в заседаниях; можно выискать упоминания о масонстве в некоторых его работах, но обрядность его скоро перестала привлекать). Всю зиму он ходил (лоцманы не «плавают») на пароходе «Сын Алонсо», где уже как равный воссоединился с Биксби, рассказывал домашним о головокружительных обедах, которые они закатывали. В Новом Орлеане посетил знаменитую гадалку, та сказала, что он служит на корабле, занимается самообразованием и много курит, его это потрясло (вообще-то все его приятели ходили к этой гадалке и могли о нем рассказать, а курильщика нетрудно опознать по запаху); она предсказала два брака, 10 детей, 86 лет жизни (если бросит курить) и богатство, и он воодушевился. Но тут-то все и рухнуло. Война...

Рабовладение было скорее поводом для раскола, чем его причиной: аграрный Юг и промышленный Север (не только традиции и мораль, но прежде всего разные способы хозяйствования обуславливали противоположное отношение к рабству: на заводе был невыгоден раб, на плантации — вольнонаемный) представляли собой две разные цивилизации, которые не могли сосуществовать в рамках одного государства. Много лет полыхал конфликт из-за тарифной политики: Юг импортировал промышленные товары и требовал свободной торговли, Север стремился с помощью тарифов оградить свою развивающуюся промышленность от конкурентов. К середине XIX века Север вдвое превосходил Юг по численности населения, втрое — по протяженности железных дорог, ему принадлежало 90 процентов промышленности; из-за низкого роста населения и миграции в осваиваемые западные земли южные штаты теряли позиции в конгрессе. В 1850 году был принят ряд очередных компромиссных решений и Юг получил уступку — новый закон о беглых рабах позволял преследовать их даже на Севере. В 1854-м конгресс постановил, что каждый новый штат может сам выбирать, будет ли он рабовладельческим. Но в 1860-м избранный президентом республиканец Авраам Линкольн объявил, что все новые штаты будут свободными: это

означало для Юга перспективу остаться в меньшинстве и проигрывать в конгрессе по всем вопросам, кроме того, южные штаты боялись, что Линкольн захочет отменить рабство повсеместно.

20 декабря о выходе из Союза объявила Южная Каролина, за ней — Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана (юридическим оправданием стало отсутствие в конституции США прямого запрета на выход); в феврале 1861 года они заявили о создании Конфедерации южных штатов, вскоре к ним присоединились Техас, Виргиния, Арканзас, Теннесси, Северная Каролина. Они приняли конституцию и избрали президентом бывшего сенатора от Миссисипи Джефферсона Дэвиса, который заявил, что на территории Конфедерации «рабство будет существовать вечно». В Союзе осталось 23 штата (включая рабовладельческие Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд). Линкольн объявил южные штаты мятежными, провозгласил морскую блокаду их побережья, призвал в армию добровольцев (позднее ввел воинскую повинность). Боевые действия начались 12 апреля сражением за форт Самтер в бухте Чарлстон, на территории Конфедерации. Силы были заведомо неравны, но началась война с преимуществом Юга, который к ней давно готовился, дела федералов шли скверно, судоходство сворачивалось, пароходы конфисковывались для военных нужд. 25 апреля Сэм Клеменс потерял работу лоцмана, не подозревая, что это навсегда. Он не знал, куда себя деть; навестил Памелу, потом вернулся в Ганнибал.

Джордж Оруэлл: «Есть одно странное место в «Жизни на Миссисипи», которое выдает сокровенную слабость Марка Твена. В одной из первых глав этой преимущественно автобиографической книги он просто взял и поменял время событий. Свои приключения на лоцманской службе он описывает так, словно был семнадцатилетним парнишкой — на самом же деле ему тогда было уже под тридцать (25. — М. Ч.). Ниже в той же книге упоминается о его славном участии в Гражданской войне. Марк Твен начал сражаться — если он вообще сражался — на стороне южан, но скоро перешел на другую сторону. Такое поведение простительно мальчишке, а не взрослому человеку, — отсюда и подмена в хронологии. Суть, однако же, в том, что он примкнул к северянам, как только понял, что они победят». Оруэлл Твена ненавидел и написал о нем массу необоснованных гадостей. Но тот действительно побывал «и у красных, и у белых», хотя о «славном участии» никогда не говорил.

«Одиноким форпост рабовладельческой культуры на Севере», как назвал его историк Террелл Демпси, Миссури был со всех сторон окружен свободными штатами и полон аболиционистов: Линкольн получил в нем

большинство. Новый губернатор Миссури, сепаратист Джексон, хотел вывести штат из Союза, созвал совещание представителей графств, но своего не добился (население не желало отмены рабства, но ему было экономически невыгодно бросить надежный Союз). Каждый штат имел свою милицию; Джексон реорганизовал ее в Национальную гвардию Миссури в январе 1861 года «на всякий случай». Зима прошла тихо. В апреле Линкольн потребовал от Джексона три тысячи человек в союзную армию, тот отказал и начал готовиться к войне: приказал «гвардии» стать лагерем на окраине Сент-Луиса и вывесить флаг Конфедерации. Конфедераты прислали в лагерь Джексона оружие, а федералы организовали в Сент-Луисе свою милицию и захватили 700 человек Джексона, который продолжал морочить всем голову — 15 мая он издал приказ о мобилизации в свою гвардию и одновременно сделал предложение федералам: он не трогает их, они — его (но получил отказ от Натаниела Лайона, командующего федеральными войсками в Сент-Луисе). Он выпускал прокламации, призывая давать союзным войскам «отпор», но при этом уверял жителей Миссури, что не собирается выходить из Союза, и требовал «повиноваться всем конституционным требованиям Федерального правительства». Миссурийцы, в том числе гвардейцы, были сбиты с толку — так за кого они и что им делать?

Ганнибал, где за Линкольна не голосовали, был, в свою очередь, «форпостом рабовладельческой культуры» внутри Миссури и накануне войны походил на Берлин перед падением Стены — рабы толпами бегали в соседние штаты, вооруженные патрули контролировали реку, подозрительных белых хватали и допрашивали. Много ганнибальских мужчин, особенно молодых, вступило в гвардию Джексона. У Сэма Клеменса никаких политических взглядов в ту пору не было, но его друзья были «за губернатора», и он считал их «нашими». Предположительно приписываемая ему заметка в сент-луисском «Дейли Миссури стейт джорнэл»: «Четверо федеральных гвардейцев дезертировали в субботу ночью, неизвестно куда. <...> Здесь примерно 250 федералов, и правительство требует еще. Наши парни отозвались на призыв губернатора, 50 человек уже уехали, остальные ждут здесь, чтобы выступить, когда будет необходимо». (Долгое время Твену также пытались приписать авторство серии очерков об армейской службе, опубликованных в первой половине 1861 года в «Нью Орлеан дейли креснт» под псевдонимом «Квинтус Курциус Снодграсс», но это ошибка: события, описанные в очерках, не соответствовали обстоятельствам его жизни и он даже не мог знать о них.)

К 15 мая, когда Джексон, преследуемый федералами, бежал из Джефферсон-Сити, Сэм проводил время с друзьями детства и товарищами-лоцманами. Один из них, Граймс, вспоминал, что их вызвали в Сент-Луис к союзному генералу Грею, который предложил им вести суда по Миссури (чтобы ловить мятежного губернатора), они отказались, сославшись на незнание реки, потом для отвода глаз согласились стать помощниками лоцманов, а сами сбежали домой. Никто их не искал, федералы без их помощи настигли Джексона и 17 июня близ Бунвилла разбили его отряд. В Ганнибал вошло несколько федеральных отрядов; в ответ стихийно формировались группы местных жителей, вооруженных дробовиками, но слабо понимавших, от кого следует обороняться.

Клеменс, Граймс, братья Боуэн и еще несколько молодых людей с охотничьими ружьями ушли в лес к юго-западу от Ганнибала, отыскивали там подчиненного Джексону полковника Джона Роллза, который привел их к присяге с расплывчатой формулировкой: «защищать законы штата и федеральные законы». Разбили лагерь, сами себе назначили должности: капитан, первый лейтенант, второй лейтенант (Клеменс), сержант и трое или четверо рядовых, спали в лесу, чего-то ждали, Сэм повредил лодыжку, все были простужены, лагерь затопило, они пошли в сельский дом, встретили командующего войсками штата генерала Харриса, тот приказал вернуться в лес, они не послушались. Дисциплины в так называемой гвардии не было никакой. Вооруженных столкновений тоже не было. 23 июня Лайон объявил амнистию всем, кто вернется домой и сложит оружие; подавляющее большинство «джексоновцев» так и поступило. Через пару недель маленький отряд развалился и все пошли кто куда: Боуэн был арестован федералами и присягнул им, Граймс пробился к отряду Джексона (который вскоре был смещен с должности), Клеменс просто ушел домой.

Свой опыт он описал в рассказе «Частная история одной неудачной кампании» («The Private History of a Campaign that Failed») весьма расплывчато. Говорил, что «был солдатом две недели в начале войны и все время удирал как крыса», что «узнал про то, как отступают, больше, чем человек, который изобрел отступление». О своих чувствах предпочитал не распространяться. В 1901 году он, давно уже республиканец и «северянин» по убеждениям, сказал в речи, посвященной Линкольну: «Мы, южане, не стыдились; как и северяне, мы сражались за те знамена, которые любили». До этого никто от него не слышал о любви к южным «знаменам». Почему же он пошел в тот отряд? Да как-то так, скорее всего: все пошли, и я пошел, а потом все ушли и я ушел... В гражданских войнах так обычно и бывает.

Тем временем Орион Клеменс, еще до войны сменивший демократическую партию на республиканскую, неожиданно получил перспективное назначение. Во время войны в состав США 36-м штатом вошла отделившаяся от штата Юта территория Невады, мало освоенный, бурно развивавшийся регион, где в 1850-х годах обнаружили месторождения золота и серебра. Губернатором Невады стал Джеймс Най, ему нужен был помощник (секретарь штата); Эдвард Бейтс, юрист из Сент-Луиса, работавший в правительстве Линкольна, знал Ориона (тот в 1840-х годах недолго служил в его фирме) и рекомендовал его. Орион был назначен на должность, оклад 1800 долларов в год, только добраться до Невады не на что. В первых числах июля он списался с Сэмом, и тот согласился поехать с ним и оплатить дорожные расходы. «Я был молод, неискушен и от души завидовал брату. Мало того что на его долю выпали богатство и власть, — он отправится в долгий, дальний путь, узнает новый, неизведанный мир. <...> Что я выстрадал, думая о привалившем ему счастье, не описать пером. И когда он с полным хладнокровием, словно речь шла о пустяке, предложил мне должность личного секретаря, я не сомневался, что небо и земля прейдут и небосклон свернется точно свиток! Это был предел моих желаний». Остаться в Неваде надолго, впрочем, он не собирался: хотел пожить, пока война не кончится, а потом вернуться к лоцманству.

Встретившись в Сент-Луисе, братья вдвоем (жена и шестилетняя дочь Ориона пока остались дома) 18 июля отправились пароходом в Сент-Джозеф. «Я вооружился до зубов при помощи маленького семизарядного смит-вессона, пули которого напоминали гомеопатические пилюли, и только выпустив все семь зарядов, можно было получить дозу, потребную для взрослого мужчины. Но это меня не смущало. Я считал, что обладаю вполне действенным оружием. У него оказался только один изъян: попасть из него в цель было совершенно невозможно».

## Часть вторая

### Запад

*...терракотовый пейзаж, краснолицые, голубоглазые ковбои, чопорная, но прехорошенькая учительница, только что прибывшая в Гремучее ущелье, конь, вставший на дыбы, стихийная паника скота, ствол револьвера, пробивающий со звоном оконное стекло, невероятная кулачная драка, во время которой грохается гора пыльной старомодной мебели, столы употребляются как оружие, сальто спасает героя, рука злодея, прижатая героем к земле, все еще старается нащупать оброненный героем охотничий нож...*

*Набоков. Лолита*

*Лассо, ранчо, пончо, скалы, пустыни, Брет Гарт, жевательная резинка, Шварценеггер, кольт, Голливуд, старательская хижина, мустанги, джинсы, Лас-Вегас, отвага, простодушие, Фенимор Купер, мормоны, шулера, дилижансы, индейцы, томагавки, скальпы, Силиконовая долина.*

## Глава 1

### Том Сойер и волшебная лягушка

До Карсон-Сити, столицы Невады, добирались из Сент-Джозефа дилижансами, дорога трудная и небезопасная (налетчики, грабившие пассажиров, были обычным явлением); кучера-«дальнобойщики» и кондукторы восхищали Сэма почти так же, как лоцманы. Заехали в Солт-Лейк-Сити, там Сэм купил мормонскую Библию, серьезно изучил (потом напишет толковые очерки о мормонах); встречали индейцев, которые оказались совсем не похожи на героев Фенимора Купера. 14 августа прибыли в Карсон-Сити — население 1400 человек, дома деревянные. Губернатор жил в резиденции (тоже деревянной), братья поселились в гостинице, потом сняли квартиру. Местные их недолюбливали. «Законодателей найти оказалось нетрудно — даже за три доллара в сутки, хотя содержание стоило четыре с половиной, — ибо честолубие не чуждо невадцам, как и всем прочим смертным, и среди них было сколько угодно безработных патриотов; но совсем иное дело — добыть помещение для Законодательного собрания. Город решительно отказался дать ему приют безвозмездно или разрешить правительству снять помещение в долг».

Наконец один сознательный гражданин подарил Законодательному собранию свой дом, и оно заработало: «заседало два месяца и только и делало, что раздавало частным лицам разрешения на постройку дорог с правом взимать дорожные сборы». (А как же война? А она Неваду мало затрагивала; впрочем, невадцы «болели» за северян.) Орион публиковал бюллетени сената и палаты представителей, оплачивая работу из своего жалованья. Сэму делать было решительно нечего — только копить наблюдения, на основе которых он потом напишет книгу. Завели массу приятелей, совершали вылазки на природу, разбивали лагерь, пьянствовали. Мода на Диком Западе была не такой, как на Юге: франтовские сюртуки, крокодиловые туфли и кошачью чистоплотность пришлось забыть, их сменили грязная шерстяная рубаха, ковбойские сапоги, шейный платок и трехдневная щетина (вкупе с рыжей всклокоченной головой это придавало Сэму совершенно «дикий» вид).

Вскоре он заболел «серебряной лихорадкой». «Кругом только и говорили, что о таких чудесах. Том такой-то продал свой пай в «Аманде Смит» за сорок тысяч долларов, а полгода назад, когда он открыл жилу, у него ни гроша не было за душой. Джон Джонс продал половину пая в



«Плешивом орле» за шестьдесят пять тысяч и уехал в Штаты за семьей». Клеменсы решили разбогатеть. Оформили товарищество, на деньги, припасенные Сэмом, закупили акции двадцати приисков. Из письма матери: «Надеюсь, что вы все к нам приедете когда-нибудь. Но я не соглашусь принять вас, пока мы не сможем сделать это подобающим образом. Места здесь неправдоподобно богатые... <...> Никогда не бывает дождя, роса не выпадает. Цветы не растут, и ни одного деревца, чтобы порадовать глаз. Из птиц одни вороны... Мы окружены песками, и со всех сторон такие огромные горы, что, когда смотришь с них с презрением на ничтожную деревеньку Карсон-Сити, охватывает желание протянуть руку, положить эту деревеньку в карман и уйти прочь. <...> Если бы дьяволу позволили покинуть ад и жить в Неваде, он бы некоторое время тоскливо озирался, а потом попросился домой...»

Устав ждать, Сэм решил искать серебро самостоятельно. Нашел компаньонов, купили фургон, тонну провианта. 29 ноября группа из четырех человек (одному 60 лет, двоим по 20 и Сэмюэлу Клеменсу 26 лет), двух лошадей и двух собак отправилась в Юнионвиль на реке Гумбольдт. Путешествие Сэм описал с уже привычным юмором: если он покупал револьвер, тот не стрелял, новые часы не ходили, лошадей пришлось нести на себе. Можно сразу предположить, что и на руднике он потерпел фиаско. Так и было.

Выносливый, жилистый, Сэм работал киркой и лопатой хорошо, только ничего не добыл, как, впрочем, и большинство старателей. «Странная это была жизнь. Какая-то оргия нищих. Весь округ бездействовал — ничего не добывалось, не обрабатывалось, не производилось, — и на всех приисках не нашлось бы денег на покупку сносного участка в восточных штатах, а между тем со стороны могло показаться, что люди купаются в деньгах. С первым лучом рассвета они толпами выходили из поселка, а под вечер возвращались, таща на себе добычу, попросту говоря — камни. Карманы у всех были набиты ими, они усеивали пол в каждой хижине; снабженные ярлыками, они рядком красовались на полках». В конце января 1862 года Сэм заехал к брату, потом с новыми компаньонами отправился попытать счастья на другом руднике — «Аврора», район Эсмеральда, 100 миль к югу от Карсон-Сити. Опять — ничего. Вроде нашли жилу, но опоздали сделать заявку, конкуренты перехватили. Но он был упрям. Еженедельно требовал у Ориона денег на покупку инструмента, провианта и долей в приисках. «Не покупай ничего, пока я здесь, копи деньги для меня. Домой тоже не посылай. Думаю, я потрачу твой заработок за квартал прежде, чем ты

получишь его»; «Не покупай ничего, никакой земли. Моя спина надорвана, руки в мозолях. Но я знаю, кое-что получится»; «Пришли 100 или 50 долларов, присылай все, что сможешь сэкономить»; «Ты обещал, что предоставишь мне вести все дела с рудниками и денежными вложениями!».

Весной он от безысходности пошел чернорабочим на обоганительную фабрику, получал десять долларов в неделю. На «Авроре» пробыл до августа, вечерами писал под псевдонимом «Джош» пустяковые юморески в местные и миссурийские газеты. Одна из них, пародировавшая библейский стиль изложения («Но пса м-ра Тайлоу, Керни, мы презрели, и повелели Тому откусить хвост его и уши его, и предали его несчастьям и карам, и жизнь сделалась бременем для него, и впал он в печаль, и Гас и я сказали аминь, и было все согласно тому пророчеству...»), привела к ссоре с матерью, и несколько месяцев он домой не писал, потом был прощен. Орион, добросовестно, как подобает чиновнику, посещавший церковь, наброски и непочтительные письма брата тем не менее хранил и даже послал некоторые из них Джозефу Гудмену, редактору газеты «Вирджиния-Сити территориел энтерпрайз». Гудмену (он, как и Сэм, начинал типографским наборщиком) понравились два текста: пародия на заезжего лектора и юмореска о праздновании 4 июля, и он сообщил Ориону, что может предложить «Джошу» работу репортера с окладом 25 долларов в неделю. Орион только что выписал к себе жену и дочь, деньги нужны были позарез, и он советовал Сэму согласиться. Тот с месяц колебался, приезжал в Карсон-Сити, побывал еще на одном прииске — опять впустую — и в конце августа решился. Продал свои акции в пятнадцати компаниях на общую сумму около тысячи долларов. Он понимал, что «сжигает мосты» и навсегда меняет профессию. Памеле: «Я никогда не вернусь домой или на реку и никогда не буду лоцманом».

Сэм приехал в Вирджиния-Сити, большой (13 тысяч жителей), шумный город: игорные дома, проститутки, салуны, пробки на дорогах, «политические клики, торжественные шествия, уличные драки, убийства, продажа виски через каждые пятнадцать шагов, дюжина пивоварен, с полдюжины тюрем и полицейских участков, работающих в полную силу, поговаривали даже о постройке церкви». «Энтерпрайз» — газета молодая, но преуспевающая; совладельцы, Гудмен и Денис Маккарти, — совсем юнцы, штат состоял в основном из таких же (27-летний Клеменс оказался едва ли не старше всех), журналистика задиристая, разоблачения должностных лиц и язвительные пародии нравились подписчикам. Атмосфера в редакции была демократичная, хозяйева, журналисты и наборщики «вместе пили пиво и горланили военные песни до рассвета».

Сэм делил квартиру с наборщиком Стивом Джиллисом, тремя годами моложе, известным любовью к розыгрышам и дракам (но Сэм превзошел его в умении виртуозно ругаться).

Новому репортеру предстояло заменить собиравшегося уезжать Уильяма Райта (псевдоним — Дэн де Куилл); тот вспоминал, что они хорошо сработались: «Мы разделялись, когда было много событий, но часто ходили за новостями вместе, каждый выбирал то, в чем был наиболее способным». Убийства, грабежи и другие веселые происшествия случались часто, но все же не каждый день; иногда приходилось вымучивать материал. «Прошло пять часов, а моя записная книжка оставалась чистой. Я поговорил с мистером Гудменом. Он сказал:

— В периоды затишья, когда не случалось ни пожаров, ни убийств, Дэн отлично обходился сеном. Не прибыли ли обозы из-за Траки? Если прибыли, вы можете писать об оживлении и так далее в торговле сеном. Понимаете? Особой сенсации это не вызовет, но страницу заполнит и к тому же произведет впечатление деловитости.

Я снова пошел рыскать по городу и обнаружил один-единственный несчастный воз с сеном, который тащился из деревни. Зато я выжал его досуха. Я умножил его на шестнадцать, привел его в город из шестнадцати разных мест, размазал его на шестнадцать отдельных заметок и в результате поднял такую шумиху вокруг сена, какая Вирджинии никогда и не снилась».

За два года Сэмюэл опубликовал в «Энтерпрайз» около двухсот заметок<sup>[6]</sup> на всевозможные темы: прииски, индейцы, балы, концерты, экзамены, пожары, убийства; когда не находилось информационного повода, рассуждал о чем в голову взбредет: «Кто такой янки? Не француз, не датчанин, не испанец. Джордж Трейн в недавней речи в Лондоне доказывал, что настоящий янки — англичанин. В Англии они нас всех, северян и южан, называют янки. Они говорят, что словечко «янки» ввели в обиход индейцы, называя так англичан, приехавших в Америку. Yengeese (young-geese) — Yengees — Yankee. Таким образом, янки — это Джоны Були. Американцы — Джоны Були. Пуритане, роялисты — все янки... Очень трудно сказать, кто же тогда не янки».

Если новостей нет, их можно выдумать, как делал шестнадцатилетний Сэм в Ганнибале. 4 октября в «Энтерпрайз» появилась первая из знаменитых твеновских «уток» («утки» ввел в моду де Куилл, публиковавший псевдонаучные истории о вечных двигателях и рассказы о том, как в шахтах вместо подпорок используют обглоданные кости) — «Окаменевший человек» («The Petrified Man»). На реке Гумбольдт нашли

труп, судья Сьюел не то Соуэл (судья с похожей фамилией существовал) установил, что человек умер «от окаменения». В течение месяца десять невадских и калифорнийских газет перепечатали заметку, причем большинство читателей не поняли, что над ними издеваются.

В ноябре Клеменс получил серьезное задание: освещать сессию Законодательного собрания в Карсон-Сити. Най уехал на несколько месяцев в Вашингтон, Орион был «и. о.» губернатора, его дом, где поселился брат, стал центром светской жизни — балы, праздники, Сэмюэл — душа общества, все отмечали его остроумие, которое, правда, находили слишком грубым. (С Наем из-за этого остроумия отношения не сложились — несколько лет спустя он откажется представить Твена на лекции в Нью-Йорке и назовет «паршивым сепаратистом».)

30 декабря 1862 года Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении». Свободными объявлялись рабы во враждебных Союзу штатах. Раньше европейские страны были недовольны действиями северян, в первую очередь блокадой портов южных штатов, парализовавшей торговлю Юга с Европой, Англия и Франция собирались признать Конфедерацию, но прокламация изменила характер войны: теперь борьба велась не за единство Союза, до которого европейцам не было дела, а за отмену рабства (хотя для Линкольна, как он признавал, значение имело только первое) — и Европа, включая Россию, поддержала Север. Клеменс о войне ничего не писал — то ли стыдился воспоминаний, то ли в глубине души продолжал сочувствовать южанам, — и в Новый год, когда все говорили о решении Линкольна, писал обычные юморески: «1 января — день, когда вы ежегодно начинаете вести праведную жизнь. Спустя неделю вы, как обычно, сворачиваете в ад». 3 февраля под заметкой (отчет о бале у губернатора) впервые появилась подпись «Марк Твен». Потом автор объяснял, будто позаимствовал псевдоним у лоцмана Исая Селлерса, но тот никогда таким именем не пользовался. Другая версия: «*mark twain*» — лоцманский термин, означающий «отметь два», то есть две морские сажени (3,7 метра), — глубина, указывающая «безопасную воду» для судна; третья: в салунах Вирджинии было принято говорить «отметь два», когда сидящий за столиком объявлял, что к нему должен присоединиться товарищ.

По окончании сессии Сэмюэл возвратился в Вирджинию, получил прибавку до 40 долларов в неделю, потом до 50, опять купил акций рудников, начал играть на деньги. Вернулся и де Куилл, они поселились вместе, болтались по салунам, воевали с конкурентами из других газет. Марк Твен становился популярен — о нем писали, его грубые остроты моментально разлетались по городу; 6 июля он произнес спич на открытии

нового отеля. Его называли «символом города», попрекали ленью, кражей новостей у других газет и пьянством, иногда «любя», иногда злобно, как в конкурирующей с «Энтерпрайз» газете «Ивнинг буллетин» от 5 августа 1863 года: «Этот туповатый, пустоголовый, непробиваемый невежда, этот жулик-репортеришка Марк Твен». Но ругань врага — лучшая похвала. Он начал также публиковаться в сан-францисской газете «Морнинг колл», ездил туда, присматривался — не сменить ли Неваду на Калифорнию? Матери и сестре писал, что стал «популярнее, чем кто-либо на всем тихоокеанском побережье»: «Я чувствую себя королем всюду, куда ни войду», называл себя «ленивым, бесполезным, праздношатающимся бродягой» и «самой тщеславной задницей в Неваде». К пятнадцати годам он был взрослым, а после двадцати пяти словно начал впадать в детство. Но это была, возможно, лишь маска.

В августе он взял отпуск, ездил на местный курорт, а 20 сентября в калифорнийском еженедельнике «Голден эра» появился рассказ, который считают первым примером «чистой» твеновской беллетристики, — «Как лечить простуду» («Curing a Cold»). (Сразу оговоримся: количество рассказов, фельетонов и заметок Твена таково, что лишь для их перечисления нужен отдельный том; в данной книге будут упоминаться лишь некоторые тексты, а читатель, желающий получить информацию обо всех, может обратиться к специальным библиографическим изданиям.) Прием опробованный: я — болван, за что ни возьмусь — все наперекосяк, нелепости громоздятся друг на друга. «Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую ножную ванну и лег в постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посоветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял и этому совету. Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения — «питать простуду и морить лихорадку». Я страдал и тем и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться, а затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко ограничиваюсь полумерами, и потому поел я довольно плотно. Я удостоил своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание, а затем осведомился, очень ли жители Вирджиния-Сити подвержены простуде. Я ответил, что, пожалуй, да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску».

28 октября — новая утка в «Энтерпрайз»: «Кровавая резня в Карсон-Сити» («A Bloody Massacre near Carson»; издавалась под разными названиями). Некий Хопкинс ехал по улице верхом, со снятым скальпом и

перерезанным горлом, потом упал замертво у дверей салуна. Шериф (реальное лицо, названное по фамилии) поехал к нему домой и обнаружил зарезанными жену и семерых детей. Оказалось, что бедняга вложил все деньги в акции лопнувшей фирмы. Хопкинс в Карсон-Сити жил, это был тишайший холостяк; в заметке говорилось, что он выехал из соснового леса между Карсон-Сити и соседним городом; никакого леса и никакого города там не было, но читатели поверили, все газеты, включая главного конкурента, «Ивнинг буллетин», перепечатали сенсацию, а когда разобрались, пришли в бешенство. Подписчики требовали увольнения шутника, тот впал в отчаяние, был уверен, что погубил Гудмена, тот отмахнулся: «дураки не поумнеют». Но через пару месяцев дураки поумнели: газеты вновь стали перепечатывать «Кровавую резню» и называть ее «великолепным розыгрышем», а число подписчиков «Энтерпрайз» возросло.

Близилась очередная сессия Законодательного собрания Невады, которая готовилась из «территории» стать штатом (это давало в сенате два дополнительных голоса партии Линкольна), Клеменс — теперь и уже навсегда Твен — опять поехал писать отчеты. 11 декабря было организовано сообщество журналистов «Третья палата» (американская традиция, которая продолжалась и в XX веке), где разыгрывались пародии на дебаты и голосования. Вступительную речь перед «законодателями» произносил Марк Твен: «Джентльмены, ваши поступки ничем не отличаются от тех, что совершали ваши предшественники. Вы занимались проблемами, в которых ничего не смыслите, обсуждали любые вопросы, кроме тех, что были важны, и голосовали, сами не зная за что...» 22 декабря он съездил в Вирджинию, чтобы встретиться с известным сатириком Чарлзом Брауном, который писал и выступал на сцене под псевдонимом Артемиус Уорд. Ровесник Клеменса, он был уже знаменит, его сценический образ — малограмотный, но сообразительный балаганщик, странствующий с выставкой восковых фигур: он высмеивает религиозное сектантство, продажных политиков и все, что попадает на язык.

Американцы называют публичные выступления Твена и его предшественников «лекциями»; по-русски это звучит некорректно. (Как назвать то, что делает Жванецкий? Наверное, сатирическим эстрадным монологом, хотя и это не самое удачное выражение.) Юная Америка обожала лекторов, повсюду разъезжали, собирая полные залы, географы, химики, астрономы, медики, а также псевдоученые и шарлатаны всех мастей. Уорд их пародировал — с важным видом нес околесицу. Говорил он

в манере «меланхолического придурка», коверкал слова — что-то среднее между Хазановым времен «кулинарного техникума» и Яном Арлазоровым. Сэм был о нем наслышан, но на выступление попал впервые, «мотал на ус», показал мэтру несколько скетчей (кто-то смешно упал с лошади, кто-то подрался), Уорд, «в гроб сходя, благословил» (у него был туберкулез), обещал посодействовать публикации грубияна с Запада на культурном Востоке и слово сдержал: два очерка Твена в феврале 1864 года появились в «НьюЙорк санди меркьюри».

27 января 1864 года «Третья палата» избрала Твена «губернатором»; его первым делом стал сбор средств для строительства нового здания Первой пресвитерианской церкви, к которой принадлежали Орион и его семья. Сэм к тому времени уже не был усердным прихожанином и к пресвитерианству у него накопилось много претензий, но он любил невестку и племянницу и за дело взялся охотно, писал, произносил речи. Сам он иногда посещал Первую унитарийскую церковь: унитарийство, отрицающее таинства, догмат о Троице и учение о грехопадении, было одной из самых либеральных конфессий, близкой к деизму, и, вероятно, в какой-то степени находился под влиянием ее пастора Генри Беллоуза. Но он был в хороших отношениях и с Горацио Стеббинсом, пастором Первой пресвитерианской. Полжизни критиковавший религию, он всегда дружил со священниками, и они его обожали, возможно, потому, что видели человека заинтересованного, сомневающегося и страстного: такого особенно приятно обратить на истинный путь, как порядочной женщине особенно приятно покорить мужчину с репутацией донжуана, а он делает вид, будто вот-вот поддастся и станет «хорошим».

В конце января Твен выступал в школе, где училась его племянница Дженни. А 1 февраля Дженни умерла. Сразу после похорон ее дядя начал войну с гробовщиками, которую будет вести всю жизнь. 5 февраля он опубликовал в «Энтерпрайз» гневную статью о местном «вымогателе-стервятнике», наживающемся на человеческом горе, и заодно набросился на газету «Карсон-Сити индипендент», которая «попустительствовала» тому, что в городе всего одно похоронное бюро. Редактор «Индипендент» был миролюбив, и конфликт вскоре угас, но с пера Марка Твена продолжали течь ядовитые чернила. Общественные организации собирали пожертвования для солдат-северян, в мае дамы Карсон-Сити организовали благотворительный бал в пользу Санитарной комиссии США, которой руководил Генри Беллоуз. Твен в передовице «Энтерпрайз» объявил, что собранные деньги разворовываются при участии газеты «Вирджиния-Сити юнион». Возмущенные дамы направили редактору «Энтерпрайз» открытое

письмо, к их протесту присоединилась «Юнион», взаимные угрозы, оскорбления и брань заполнили страницы обеих газет, и вскоре вражда с Лейрдом, владельцем «Юнион», дошла до такой степени, что коллеги Твена предупредили его: дуэли не избежать.

Журналистские дуэли были обычным делом, Гудмен стрелялся с редактором той же «Юнион», оба остались живы, вообще до убийства доходило редко, но и такой исход был не исключен. «И мы дожидались вызова, дожидались целый день. А его все не было. День близился к концу, час проходил за часом, и все сотрудники приуныли. Они пали духом. Зато я возликовал и с каждым часом чувствовал себя все лучше и лучше. Они этого не понимали, зато понимал я. Такая уж у меня натура, что я могу радоваться, когда другие теряют надежду. Потом мы сообразили, что нам следует пренебречь этикетом и самим послать вызов Лейрду. Когда мы пришли к этому заключению, сотрудники начали радоваться, зато я веселился гораздо меньше».

Получив вызов, Сэм начал «упражняться в стрельбе и запоминать, каким концом револьвера следует целиться в противника». Дуэль в его описании выглядела так: секундант, Стив Джиллис, известный своей меткостью, убил птицу, в этот момент появились противники и, вообразив, что это Марк Твен так здорово стреляет, в ужасе бежали. (Джиллис рассказывал то же самое, но это лишь доказывает, что они сочиняли историю вместе.) Далее, по словам Твена, он, расхрабрившись, начал посылать вызовы всем подряд, но противники отказывались, боясь его грозного секунданта. Как все было в действительности, установить невозможно. Конфликт с дамами пыталась уладить Молли Клеменс, видимо, под ее нажимом Твен отправил одной из активисток благотворительного общества, миссис Катлер, примирительное письмо; в частных беседах он говорил, будто был пьян, когда писал передовицу, но публично извиняться отказался. Муж миссис Катлер прислал письмо с оскорблениями, но дуэли не было. По словам Джиллиса, они с Твеном послали вызов, но Катлера не оказалось в городе, а тут их предупредили, что по новому закону штата дуэль карается тюремным сроком, и оба друга (у Джиллиса тоже были неприятности) предпочли сбежать из Карсон-Сити. На самом деле неизвестно, почему Твен уехал. Вероятно, ему просто все наскучило. «Мне хотелось посмотреть Сан-Франциско. Мне хотелось уехать куда угодно. Мне хотелось... Впрочем, я сам не знал, чего мне хотелось. Мной овладела «весенняя лихорадка», и скорее всего мне просто хотелось чего-то нового». (С «Энтерпрайз» он не расстался и оклад не потерял, став сан-францисским корреспондентом газеты.)



Неясно, как к этой истории отнесся Орион. Его репутации она наверняка повредила. Отношения между братьями вообще были сложные, и они написали друг о друге немало гадостей. Орион называл младшего брата «двурушником», Сэм изображал старшего бестолковым неудачником, которого никто не уважал. На самом деле Орион, как и его отец, славился честностью и сумел занять твердую позицию, когда чуть не вспыхнула война с соседним штатом Калифорния из-за спорной границы. Осенью 1864 года он баллотировался на должность секретаря штата Невада — по утверждению Сэма, не получил ни одного голоса, а в действительности был после выигравшего кандидата вторым с незначительным отрывом; он был избран в Законодательное собрание штата и стал председателем одного из комитетов, но денег на жизнь ему не хватало, и в 1866-м он, выйдя в отставку, вернулся в Кеокук, где тоже не смог добиться успеха. После смерти Дженни детей у них с Молли больше не было. Он, конечно, был неудачником. Но разве это причина не любить человека? Единственное зло, какое Орион сделал Сэму, — в юности обманывал его с деньгами, да и то не по злему умыслу. Возможно, младшего брата отвращали в старшем черты, которых он со страхом замечал в себе: «Если оставить в стороне его основные принципы, можно сказать, что он [Орион] был зыбок, как вода. Одним-единственным словом его можно было повергнуть в пучину скорби, а следующим снова вознести до небес. Слово осуждения могло разбить его сердце; слово одобрения могло сделать его счастливее ангела. <...> Была у него еще одна примечательная черта, и она-то порождала те, о которых я только что говорил. Я имею в виду его жажду одобрения. Он до того жаждал одобрения, до того тревожно, словно юная девица, стремился заслужить одобрение всех и каждого без разбора, что готов был мгновенно отречься от своих понятий, взглядов и убеждений, лишь бы его одобрил любой, кто был с ними не согласен. <...> Он всегда был правдив; все его слова и поступки были искренни и честны. Но в пустяках, в вопросах мелких и незначительных — как, например, религия и политика — у него не было ни одного мнения, которое устояло бы перед неодобрительным замечанием хотя бы со стороны кошки. Он вечно мечтал; он родился мечтателем, и время от времени из-за этого получались неприятности».

2 июня Сэм прибыл в Сан-Франциско. По его рассказам, они с Джиллисом несколько месяцев ничего не делали, ходили по балам и играли на бирже. В действительности уже 6 июня оба начали работать в газете «Морнинг Колл» — Сэм репортером, Стив наборщиком. Платили Твену 35 долларов в неделю, потом 50. Работа ему не нравилась (больше рутины,

меньше свободы, отношения с начальством не сложились), и он впоследствии, вводя в заблуждение биографов, рассказывал, что писать было не о чем и что он валял дурака, а на самом деле опубликовал в «Колл» с июня по октябрь 1864 года 290 (а по оценке некоторых исследователей — 470!) заметок и при этом дважды в неделю посылал тексты в «Энтерпрайз» — работоспособность поразительная.

Писал обо всем: опять пожары, убийства, суды, концерты, политические интриги, нечестные гробовщики; появилась и новая постоянная тема — китайцы. Одно время он жил в китайском квартале (они с Джиллисом многократно переезжали с квартиры на квартиру) и симпатизировал тамошним обитателям: «Народ безобидный, если только белые оставляют их в покое или обращаются с ними не хуже, чем с собаками», «смирны, миролюбивы, покладисты, трезвого поведения и работают с утра до вечера». Но большинство белых его отношения не разделяли, китайца могли на улице забросать камнями, власти обращались с иммигрантами сурово, если в суде белый свидетельствовал против них, ему верили на слово, чему Твен бывал свидетелем. Вообще суды и полиция были сильно коррумпированы; пытался с ними воевать, но большинство критических материалов редакция «Колл» отклонила, позволив «добить» только нечестного коронера. Лишь годом позже, когда откроется газета «Сан-Франциско драматик кроникл», Твену удастся на ее страницах заявить, да и то анонимно, что «полицейские — самые страшные бандиты» и «граждане подвергаются опасности произвола и вымогательства со стороны шефа полиции Бурка и его приспешников в большей степени, нежели со стороны тех, от кого они призваны нас защищать».

Сан-Франциско был меньше и скучнее Вирджинии, но имел одно преимущество — там жило много писателей и издавались прекрасные литературные журналы, открывшие Америке Брет Гарта, Артемиуса Уорда, Иду Менкен, Амброза Бирса и других. Один из таких журналов, «Голден эра», регулярно перепечатывал твеновские публикации в «Энтерпрайз» (40 публикаций с 1863 по 1866 год), другой, «Калифорниен», редактором которого был упомянутый Брет Гарт, в сентябре 1864-го принял Твена в штат с окладом 12 долларов в неделю: там у него за три года вышло около 50 небольших вещей. В общем, был востребован и денег хватало, писал матери: «Я сейчас живу беззаботно и хотел бы так продолжать. Я больше не работаю по ночам. Я сказал «Колл», чтобы платили мне 25 долларов в неделю и давали только дневную работу, так что встаю в 10 утра и заканчиваю работать в 5 или 6 вечера. Ты спрашиваешь, работаю ли я ради денег? Вряд ли. Что, по-твоему, я стал бы делать с этими деньгами здесь?»

С деньгами он находил что делать — играл на бирже, в рулетку, покупал акции — но ему не везло. В октябре он бросил «Колл», зато стал отправлять больше материалов в «Энтерпрайз». Невада регулярно читала его истории о калифорнийцах, Калифорния — о невадцах: смешные и страшные случаи, описания нравов.

Его раннюю беллетристику и журналистику трудно отделить друг от друга; критерием может служить разве что его собственный выбор, который он сделал несколько лет спустя, отбирая тексты для сборника рассказов. Среди них опубликованный 22 октября в «Калифорниен» «Невезучий жених Аурелии» («Aurelia's Unfortunate Young Man»), история в жанре «черного юмора» о девушке, чей возлюбленный переболел оспой, потерял руку, ногу, вторую ногу, оставшуюся руку, оба глаза и скальп, а Аурелия все его любила; рассказ от 12 ноября «Убийство Юлия Цезаря раскрыто» («The Killing of Julius Caesar Localized») — пародия на полицейские отчеты с перевранными цитатами из Шекспира, и от 3 декабря — «Солдат Лукреции Смит» («Lucretia Smith's Soldier»), пародия на сентиментальные романы: девушка отказала приказчику из галантерейного магазина, потому что он «не мужчина», тот пошел на войну, героиня узнала о его ранении, примчалась в госпиталь, месяц обихаживала человека с забинтованной головой, а потом обнаружила, что это не ее жених, а незнакомец.

В декабре у Джиллиса случился очередной конфликт с полицией, он уехал в Вирджинию и стал опять работать в «Энтерпрайз», звал Сэма, но тот возвращаться не захотел: брат Стива, Джим Джиллис, у которого Сэм гостил неделю на руднике в Тулумне, вновь заразил его лихорадкой, только уже не серебряной, а золотой, двинулись в Калаверас, месяц копались на «прииске Ангела», ничего не нашли. 26 февраля Сэм прибыл в Сан-Франциско и нашел письмо от Уорда, предлагавшего написать рассказ для сборника «Зарисовки Дикого Запада», который должен был выйти в издательстве «Карлтон». Но сроки уже прошли. Он устроился на оклад в «Сан-Франциско драматик кроникл», продолжал писать для «Энтерпрайз», «Голден эры», «Калифорниен» и нового журнала «Оверленд мансли», но без прежнего энтузиазма: успеха ждал с другой стороны.

У него были горы акций рудников, фондовая биржа ползла вверх, вот-вот грянет баснословное богатство. Но в 1865 году акции упали: кончилась война. Конфедерация прекратила существование, Линкольн был переизбран на второй срок, а 14 апреля его убили. Сэм Клеменс всех этих событий словно не заметил: его беспокоила только биржа. «Я стал нищим. Мои акции не стоили бумаги, на которой были напечатаны». Он страстно

ругал Ориона, который отказался продать землю в Теннесси. Писательским трудом он наживет состояние, потеряет его, заработает другое, но всю жизнь будет считать, что через литературу путь к богатству лежать не может и надо искать окольные пути; в этом, по его словам, был «виноват» отец, заморочивший детям голову теннессийскими миллионами. Но пока литература и в самом деле не сулила особых богатств: да, неплохо, но лоцманом он мог заработать больше; ему уже тридцать, ровесники прославились, а он, хотя и опубликовал за минувший год несколько сотен заметок, всего лишь начинающий беллетрист, «перекати-поле», ни дома, ни семьи, ни желанья ими обзаводиться, одни «интрижки с горничными» — какой-то вечный мальчик.

Детские книжки и церковные проповеди учили, что плохой мальчик будет наказан жизнью, а хороший преуспеет; он решил, что пора выводить детей из этого губительного заблуждения, и в 1865 году опубликовал несколько рассказов, в которых разъяснил, как бывает на самом деле; кульминация серии — «Рассказ о дурном мальчике» («The Story of the Bad Little Boy») — появилась в «Калифорниен» под Рождество, когда принято печатать истории о торжестве добра над злом: «Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной настойкой — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить! — девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька. <...> Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью разможил им все головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата».

Если ваш ребенок поинтересуется, что же бывает с теми, кто хорошо себя ведет, отошлите его к публикации 1870 года — к «Рассказу о хорошем мальчике»: «Когда он увидел, как Джим Блейк рвет чужие яблоки, и подошел к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ о том, как другой воришка упал с яблони соседа и сломал себе руку, Джим действительно свалился, но не на землю, а на него, Джейкоба, и сломал руку не себе, а ему,

а сам остался цел и невредим». В финале всюду сующий свой нос герой оказался взорван динамитом: «Добродетельный мальчик пулей пролетел через крышу и взмыл к небу вместе с останками пятнадцати собак, которые тянулись за ним как хвост за бумажным змеем. Большая часть его, правда, застряла на верхушке дерева в соседнем округе, но все остальное рассеялось по четырем приходам, так что пришлось произвести пять следствий, чтобы установить, мертв он или нет и как все это случилось». Это вам не какой-нибудь «Гарри Поттер» с его слюнявой моралью, не розовые сопли европейской политкорректности, это — настоящая, ядреная американская «чернуха», прародительница «Семейки Адамс»...

Ни у одного крупного юмориста не найдешь столько убийств, сколько у Марка Твена. Трупы он громоздит штабелями, не зная жалости ни к дамам, ни к собакам, ни к младенцам. «Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клочок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось — пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное дело и я считаю неэтичным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю. Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел».

Твен не был родоначальником жанра — он следовал традиции. Черный юмор родился на так называемом фронтире — границе освоенных и диких земель (постоянно смещавшейся). Когда Твен начинал, американский Восток, усвоивший европейскую культуру, был цивилизленным, приглаженным; грубый старательский Запад рождал столь же грубые шутки. Это не особенность американской культуры, а закономерность, общая для всех: молодому юмору свойствен грубый, жестокий, балаганный характер. Европейский, в том числе русский, юмор когда-то был таким же, но за длительное время между балаганом и появлением газет мы успели изрядно рафинироваться, а в Америке газеты появились раньше, чем родился балаган. Герои этого балаганно-былинного юмора — баснословные силачи,

головорезы, карточные шулера — это те же Панчи и Джуди, те же Микулы Селяниновичи и Иваны-дураки, только в ковбойских шляпах; та же и тематика: одного излупили палкой, другому отрезали голову...

Некоторые хорошие мальчики все же умудряются дожить до совершеннолетия, и из них даже получаются священники (как, впрочем, и из плохих). 6–13 мая 1865 года «Калифорниен» разместил первую большую сатирическую вещь Твена о церкви — «Важная переписка» («Important Correspondence»): автор якобы ведет переговоры по поводу вакансии настоятеля собора (имеется в виду англиканская церковь):

«Мое письмо его Преподобию Беркуту: Сан-Франциско, март 1865 г. Дорогой доктор! Мне стало известно, что Вы телеграфировали церковному совету собора Милосердия свой отказ приехать в Сан-Франциско на пост настоятеля, не согласившись на предложенные Вам условия — 7000 долларов в год; в связи с этим я решил сам обратиться к Вам с письмом. Скажу Вам по секрету (это не для разглашения, пусть никто ничего не знает!), собирайте свои манатки и спешите сюда, я устрою все наилучшим образом. Совет схитрил, он понимал, что Вас 7000 долларов не устроят, но он думал, что Вы назначите свою цену и с Вами можно будет поторговаться. Теперь уж я сам займусь этим делом, растормошу всех священников, в результате Вы здесь за полгода заработаете больше, чем в Нью-Йорке за целый год. <...> Во-первых, здесь грандиозное поле действия: грешников — хоть пруд пруди. Достаточно закинуть сеть, и улов Вам обеспечен; просто удивительно — самая что ни на есть скучная, затасканная проповедь пригонит к Вам не меньше полдюжины кающихся. Поверьте, Вас ждет весьма оживленная деятельность при очень скромных усилиях с Вашей стороны». Доктор Беркут благодарил, но отвечал, что уже нашел себе место за 10 тысяч, то же и двое других, кого приглашал автор, зато явилось множество незваных: «Все они будут рады жалованью в 7000 долларов в год».

Издевался над жадными священниками не атеист: в Сан-Франциско Твен вновь стал прихожанином пресвитерианской церкви и высказывал свои сомнения тамошнему пастору, Чарлзу Уодсворту. Он не раз замечал, что сам хотел быть проповедником, многие исследователи полагают, что это говорилось всерьез. Он вспоминал, что перед тем, как принять предложение Ориона ехать в Неваду, выбор был — «тюрьма или пасторство», а в 1862-м, когда начал работать в «Энтерпрайз», — что «никогда не был так близок к тому, чтобы сделаться пастором». В автобиографии писал, что «когда-то играл с идеей» стать священником — не из благочестия, а потому, что «проповедник не мог быть проклят». 19

октября 1865 года писал Ориону: «У меня в жизни было только две амбиции. Одна — водить суда, другая — проповедовать Евангелие. Я преуспел в первом и потерпел неудачу во втором, потому что не смог поддерживать на высоте свои акции на этом рынке, то бишь религии».

Тринадцатая поправка к Конституции США, вступившая в силу 18 декабря, запретила рабство; 4 июля 1865 года негры в Сан-Франциско впервые вышли на парад вместе с белыми. Непривычное зрелище Твен описал в «Энтерпрайз»: «Завершали процессию два ряда самых гордых, самых счастливых негодяев, каких я видел вчера, — ниггеров. Или, пожалуй, я должен был сказать — «проклятых ниггеров», как мы их обычно зовем.... «Паршивые негритосы» — другое имя, которое дали им белые собраты, не могущие смириться с тем фактом, что петть в раю или гореть в аду придется всем вместе, — расплывались в широчайших, благодарнейших улыбках... Если белый улыбался им в ответ, они приходили в восторг, и отвечивали бесконечные поклоны, и улыбались еще шире, рискуя вывихнуть челюсти». Какой-то кошмар неполиткорректности...

«Я ниже и презренней червяка», жаловался он брату; а между тем нью-йоркское литературное общество «Круглый стол» в октябре 1865 года назвало его «одним из наших самых блистательных юмористов», «если не убьет свой дар свехурочной работой». Кажется, он наконец смирился с тем, что быть ему писателем. Ориону в том же письме, после слов о проповедничестве: «...но у меня было призвание к литературе, причем низшего сорта — к юмористике. Тут нечем гордиться, но это мой самый сильный козырь, и если бы я прислушался к максиме, которая утверждает, что нужно приумножать те два или три таланта, которыми Всевышний тебя одарил, я давно бы перестал братья за занятия, к которым от природы непригоден, и стал бы всерьез писать, чтобы смешить божьих тварей. Бедное, жалкое занятие! Хотя Всевышний сделал свое дело, подарив мне эту способность — могучий двигатель, когда его движет пар образования, — но я его не получил, и все поршни, цилиндры и валы вращаются слабо и без пользы... Ты видишь во мне талант юмориста и настоятельно советуешь мне его развивать... теперь, когда редакторы газет на далеком Востоке меня ценят, а ведь они не знают меня и не могут быть ослеплены пристрастностью, я действительно начинаю верить, что во мне что-то есть... Я перестану заниматься пустяками, перестану тосковать о невозможном и начну стремиться к славе, недостойной и преходящей...»

Он решился все-таки написать для Уорда рассказ. В поселке Ангела слышал старательскую байку: у одного человека была лягушка, которую

тот на спор заставлял далеко прыгать, но однажды он проиграл пари, потому что противник накормил лягушку дробью и она отяжелела. Хотел сделать юмореску, но сюжет показался нестоящим, теперь вспомнил и написал довольно длинный текст. Уорд пришел в восторг, но включить работу в сборник было уже невозможно, и издатель Карлтон отдал ее в нью-йоркскую газету «Сатердей пресс», где она была напечатана 18 ноября 1865 года (газета обанкротилась, то был ее предпоследний выпуск) под названием «Джим Смайли и его скачущая лягушка» («Jim Smiley and His Jumping Frog»; впоследствии рассказ издавался под разными названиями, из которых самое известное «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».

Рассказчик встречает «старого болтуна» Саймона Уилера, который долго и нудно толкует про некоего Смайли, любителя пари («Я питаю смутное подозрение, что никакого Леонидаса У. Смайли вообще не существовало, что это миф»), перескакивая с одного на другое: «У этого самого Смайли была кобыла» <...> «Так вот, у этого самого Смайли были и терьеры-крысоловы, и петухи, и коты, и всякие другие твари, видимо-невидимо» <...> «Потом у него была прыгающая лягушка...» — тут так же скучно и бестолково рассказывается основной анекдот, об «ударности» которого Уилер не подозревает и без остановки, с той же унылой серьезностью, движется дальше: «Так вот, у этого самого Смайли была рыжая корова, и у этой самой коровы не было хвоста, а так, обрубок вроде банана, и... <...> Однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я откланялся и ушел...»

Твен, что называется, «проснулся знаменитым». Серьезные критики восторгались, историю перепечатали десятки газет по всему атлантическому побережью, рецензент из «Сан-Франциско Алта» с гордостью сообщал, что «Лягушка» «привела НьюЙорк в экстаз, и можно сказать, что он [Твен] произвел впечатление. Меня раз пятьдесят спрашивали об авторе, газеты копировали рассказ тут и там. Это безусловно лучший рассказ дня. Не может ли «Калифорниен» попытаться удержать Марка? Нельзя позволить ему так блистать, пока калифорнийская печать не выжала из него все что можно». В 1867 году, когда рассказ вышел в Англии, критик Том Худ писал, что это «одна из самых смешных историй, какие мы читали в последнее время... слишком длинная, чтобы привести ее целиком, и слишком короткая, чтобы портить пересказом. Твен не пользуется жаргоном, не искажает слова, его уникальный юмор не в этом...». А в чем? Что в этой истории особенного?

«Лягушка» далеко не шедевр (и автор, кстати, ее в грош не ставил),



«Рассказ о дурном мальчике» гораздо остроумнее, но для Твена она очень характерна. Он многократно говорил, что терпеть не может сюжетов — писать нужно так, словно выхватываешь из жизни кусок где попало. В эссе 1895 года «Как рассказывать истории» он назвал «юмористический рассказ» сугубо американским изобретением — в противоположность британскому «комическому» и французскому «остроумному» рассказу: «Юмористический рассказ может быть очень длинным, блуждать столько, сколько вздумается рассказчику, ни к чему не вести и ничем не закончиться». «Лягушка» словно и не рассказ, а фрагмент — центр тяжести смещен, история не окончена, рассказчик плюнул и ушел на середине — будто читаешь листок, случайно выпавший из блокнота. Собственно лягушка тут вообще не имеет значения, единственное, что «цепляет» читателя, — манера, в которой Уилер рассказывает свои побасенки: «... рассказчик должен выдерживать такой тон, словно он и не подозревает, что в его рассказе есть что-то смешное». Твен ранее уже использовал в юморесках этот тип рассказчика и говорил, что позаимствовал его у какого-то человека: «Это был тупой и невежественный человек; у него не было ни способностей рассказывать смешные истории, ни намерения делать это; в его устах этот анекдот звучал как простое изложение фактов; причем наисерьезнейшее; он был абсолютно серьезен, потому что имел дело с фактами, которые следовало изложить; в его рассказе не было ни капли юмора».

Вероятно, не все ньюйоркцы были столь умны, чтобы оценить оригинальную писательскую манеру, и многих «Лягушка» поразила просто потому, что старательский юмор был для них в новинку; сборник Уорда, вышедший почти одновременно с «Лягушкой», тоже произвел в столице фурор, а ведь в Калифорнии подобных историй публиковалось — пруд пруди (Твен этот сборник обругал). Восток привык к утонченной, изящной и скучной литературе; Запад был (или казался) туп, груб и дик и охотно преувеличивал свою дикость, в душе посмеиваясь над доверчивыми олухами из столицы. Знаменитый автор «Лягушки» не обольщался успехом, писал матери: «Подумать только, человек написал немало вещей, которые он, не стыдясь, может считать вполне сносными, а эти нью-йоркские господа выбирают самый что ни на есть захудалый рассказ...», жаловался, что по-прежнему не знает, что делать: поехать бы куда-нибудь, все равно куда, а то, может, опять в лоцманы податься?

## Глава 2

### Том Сойер и мир

После войны речное судоходство восстанавливалось медленно, зато развивалось морское. Появилось нечто доселе неслыханное — туристические круизы по морю. Грузо-пассажирский пароход «Аякс» отправлялся из Сан-Франциско на Сандвичевы (Гавайские) острова<sup>[7]</sup> за сахаром, Сэму не удалось попасть на первый рейс, но он записался на второй, договорившись с газетой «Сакраменто юнион», что напишет путевые заметки. Чарлз Уэбб, издатель «Калифорниен», составил сборник его рассказов, предложил издательству «Карлтон», получил отказ, обещал издать книгу за свой счет, но автор в успех не верил. В ожидании путешествия продолжал сотрудничать в разных изданиях, публикуя по два-три текста в день, ввязался (под настоящей фамилией, которой обычно не подписывался) в полемику о нетрадиционных религиях, подвергавшихся нападкам: «Мы не возражаем, когда сумасшедшие встречаются среди приверженцев старых, законных, правильных религий, но не позволяем этого нетрадиционным». Он задумывал написать собственную Библию — начнет уже летом, отметив в записной книжке: «Разговор плотников, строящих Ноев ковчег и потешающихся над старым пророком, — он сломает себе шею в этом сумасшедшем круизе, но его денежки не хуже любых других». (Пытался продолжить историю в 1873 году, но так и не закончил.)

«Аякс» вышел из порта 7 марта 1866 года. Записные книжки: «Священник (обращаясь к капитану, который клянет матросов, бегущих с корабля на стоянках). Не бранитесь, капитан. Этим ведь не поможешь. Капитан. Вам легко говорить «не бранитесь», но вот послушайте: наберите команду плыть в рай и попробуйте сделать стоянку в аду на какие-нибудь два с половиной часа, просто взять угля, и будь я проклят, если какой-нибудь сукин сын не сбежит»; «Словили двух альбатросов. Оба одного размера — 7 футов и 1 дюйм в размахе крыла. Крепко привязали одному к ноге деревянную чурку ипустили летать — низкое издевательство «царя природы» над беззащитными птицами. Когда люди делали свое злое дело, птица глядела на них с укором огромными человеческими глазами». А вот — чеховское: «Пароходный писарь трудится над списком для таможенных властей, причем составляет его по своему произволу: «Мисс Смит, 45 лет,

из Ирландии, модистка» (на самом деле это молодая и богатая дама). «Марк Твен, из Терра дель Фуэго, кабатчик»».

18 марта прибыли в Гонолулу, город на острове Оаху, там Твен провел три недели, от первоначального плана вернуться домой отказался и остался на островах на четыре месяца. Регулярно отсылал очерки (всего 25 — они войдут в отредактированном виде в книгу «Налегке»), впервые обнаружив своеобразный поэтическо-иронический дар: «...вместо обычной герани, калл и прочих растений, изнемогающих от пыли и бледной немочи, я увидел тут роскошные клумбы и заросли цветов — свежих, сверкающих великолепными красками, как луг после дождя; вместо золотых рыбок, извивающихся в своих прозрачных сферических тюрьмах, благодаря стеклянным стенам которых они теряют природный свой цвет и очертания, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размере, — вместо всего этого я видел кошек, кошек и котят: кошек длиннохвостых и куцых, слепых и кривых, лупоглазых и косых серых кошек, белых кошек, черных кошек, рыжих кошек, полосатых кошек, пятнистых кошек, ручных кошек, диких кошек, кошек-одиночек и целые группы кошек — взводы, роты, батальоны, армии, полчища — миллионы кошек, — и все до единой были гладки, упитанны, ленивы и сладко спали».

Гавайи, населенные выходцами из Полинезии, открыл миру Джеймс Кук в 1777 году, а в 1779-м он был убит и, по слухам, съеден (по мнению Твена, посетившего его условную могилу, поделом: Кук обманывал и обижал туземцев); после этого белые начали появляться там лишь в середине XIX века, привлеченные сахарным тростником<sup>[8]</sup>. В 1866 году Гавайи еще были независимым королевством (монарх Камеамеа V) с конституцией европейского образца, в правительство входили несколько американцев и европейцев. Твен заинтересовался тамошней политикой, нашел объект для критики — американского министра финансов Харриса, которого называл демагогом и «недостойным звания американца». На островах было много христианских миссионеров — их деятельность он считал благотворной. «В те дни с женщины строго взыскивали, чтобы она «знала свое место». «Место» же ее сводилось к тому, чтобы она делала всю работу, молча сносила бы тычки и подзатыльники, поставляла бы пищу в дом, а сама довольствовалась бы объедками своего господина и повелителя. <...> Миссионеры нарушили этот удобный жизненный уклад. Они освободили женщину и уравнили ее в правах с мужчиной. У туземцев был еще романтический обычай закапывать своих детей живьем в тех случаях, когда семья начинала непомерно разрастаться. Миссионеры и тут вмешались, положив конец этому обычаю».

Твен совершил несколько поездок по островам в компании священника Райсинга из Невады, они осматривали сахарные плантации, спускались в кратер действующего вулкана Килауэа. Твен хромал, простудился, но был в восторге. Отлеживаясь в отеле в Гонолулу, свел знакомство с американским дипломатом Энсоном Берлингемом, направлявшимся на службу в Китай, и его сыном, редактором журнала «Скрибнерс», который читал и хвалил «Лягушку». На Берлингема-старшего новый знакомый произвел приятное впечатление, и он предложил ему работать в Китае (Твена захватила эта идея, он хотел ехать, но так и не собрался), но, найдя его несколько вульгарным, дал важный совет: «У вас громадные способности; я верю в ваш дар. Что вам нужно — это утонченный круг общения. Ищите друзей среди людей умных и с характером. Совершенствуйте свою работу и себя самого. Никогда не общайтесь с теми, кто ниже вас; всегда тянитесь вверх».

21 июня к островам пристала лодка с потерпевшими кораблекрушение моряками с парохода «Шершень»: они провели в море без пищи 43 дня, были помещены в больницу в Гонолулу. Твен оказался первым американским журналистом, взявшим у них интервью, отправил текст в «Сакраменто юнион»; 19 июля отплыл в Штаты, на том же пароходе были люди с «Шершня», он сделал более подробный материал, но случилось недоразумение: солидный журнал «Харперс мэгэзин», опубликовавший статью о «Шершне» в декабрьском номере, заплатил хорошо, но переврал фамилию автора.

13 августа Твен вернулся в Сан-Франциско и затосковал. «Снова дома. Нет, не дома — в тюрьме, с ужасным ощущением потерянной свободы. Город с его тяжелым трудом и заботами кажется таким тесным и унылым. Господи, помоги мне снова оказаться в море!» Потом, вспоминая о тех днях, писал: «И вот я вновь очутился в Сан-Франциско, в том же положении, что и раньше, — без средств к существованию и без работы». Это неправда, он был востребован и продолжал публиковаться. Много лет спустя после его смерти обнаружили записку, относящуюся, как считают большинство исследователей, к августу–сентябрю 1866 года: «Я приставил пистолет к голове, но у меня не хватило мужества нажать на курок. Много раз я жалел, что мне не удалось, но никогда не жалел о том, что пытался». Из-за чего? Вероятно, он считал себя неудачником: в 31 год по-прежнему «никто и звать никак», земля в Теннесси падает в цене, а брат упрямо отказывается ее продать, они нищие... Если и была какая-то более интимная причина, об этом ничего не известно.

Выручил Джон Маккомб, редактор газеты «Алта Калифорния», посоветовавший выступать с рассказами о Гавайях. Система лекториев

заменяла радио, телевидение и Интернет, лучшие лекторы были популярны, как телезвезды, и хорошо зарабатывали. Твен снял помещение сан-францисского оперного театра, за свой счет отпечатал хулиганскую афишу: «Двери раскрываются в 7.30, неприятности начнутся в 8» и 2 октября, сильно волнуясь, прочел свою первую лекцию «Наши дружба-туземцы с Сандвичевых островов». Успех был не оглушительный, но вполне приличный, и Денис Маккарти из «Энтерпрайз» предложил организовать гастрольный тур по Калифорнии и Неваде.

Увы, тогда не было возможности записать выступления на пленку, а на бумаге эффект не передается. «Так вот, я и говорю, он купил этого старого барана у одного человека в округе Сискью... Вот я и говорю, он стоял вот здесь, под горкой, нагнувшись вот так, и шарил в траве, а баран стоял повыше на горке, а Смит — Смит стоял вот тут... нет, не тут, а немножко подальше, шагах, может, в пятнадцати; значит, дедушка нагнулся пониже, вот так, а баран стоит наверху и смотрит, знаете ли, а Смит... Нет, баран нагнул голову вот так... а Смит из Калавераса... Нет, это не мог быть Смит из Калавераса...» Что тут смешного? А что смешного в том, что один человек говорит «Нормально, Григорий», а другой отвечает «Отлично, Константин», или в том, что раки вчера были по пять рублей, а сегодня по три? Твен был артистом — и многие профессиональные актеры говорили, что он зарыл в землю свой главный талант.

Если с кем-то сравнивать его выступления, то, может быть, с Эдвардом Радзинским — по живости и занимательности, с ранним Хазановым — по стилю; он умел «представлять в лицах», подобно Райкину, но редко использовал этот прием; его маска унылой серьезности была точь-в-точь как у Юрия Никулина, «замогильная» манера говорить — как у Аркадия Арканова; в сочетании с легкомысленной наружностью «рыжего клоуна» эффект получался особенно сильный. Сохранилось много отзывов о его выступлениях — мрачный, озабоченный, перепуганный, под мышкой неизменная, как портфель Жванецкого, тетрадь, «растрепанная, как мокрая курица», в которую он никогда не заглядывал. Выражение его лица репортеры характеризовали как «каменное безразличие», отмечали, что «ни один мускул на лице не двигался»; он был «выразителен, как могила» и «торжествен, как гробовщик». Выходил на эстраду «еле волоча ноги», «не сознавая, где находится», а обнаружив, что публика смотрит на него, разыгрывал приступ тупого изумления (вариант: сидел за фортепьяно, а когда занавес открывался, приходил в ужас и пытался сбежать) или мучительной застенчивости, от которой начинал заикаться; говорил тихо, что заставляло людей вслушиваться, и, как его мать, растягивал слова —

нормальные люди так не говорят. Отчет репортера в 1887 году: «Он стоял неподвижный и тихий, как нераскрытая устрица. Аудитория была так же недвижна. После длинной паузы, во время которой каждый зритель мучительно недоумевал, что с ним случилось, он сказал: «Хм!!» — и тотчас вновь впал в задумчивость. Прошла целая минута, в течение которой он стоял неподвижно и молча, уставившись куда-то прямо перед собой. Наконец кто-то робко зааплодировал. Марк Твен просиял улыбкой. «Благодарю, — сказал он, — я вас-то и ждал, чтобы начать»».

К своему искусству он относился серьезно, много писал о том, как надо читать, как держать паузу, для запоминания изобрел систему — раскладывал на обеденном столе предметы (ножи, солонки, масленки) в определенном порядке, каждая обозначала какую-то мысль или реплику; впоследствии издавал пособия для чтецов. Кроме текстов, подготовленных для эстрады, он будет потом читать отрывки своих книг, всегда наизусть. «Тот, кто рассказывает без книжки, имеет все преимущества: когда он доходит до хорошо знакомой фразы, которую он произносил в течение ста вечеров подряд, — до фразы, после которой или перед которой есть пауза, то лица слушателей скажут ему, где кончить эту паузу. Для одной аудитории эта пауза должна быть короче, для другой — длиннее, для третьей — еще длиннее; рассказчик должен варьировать длину паузы соответственно степени различия между аудиториями. Эти вариации так неуловимы, так тонки, что их можно, пожалуй, сравнить с делениями прибора Пратта и Уитни, измеряющего величины до одной пятимиллионной дюйма». Искусством эстрадного рассказа он овладевал постепенно, но главное было заложено природой и проявилось сразу: «Я пустился во все тяжкие и стал заправским лектором».

Тур начался 11 октября в Сакраменто, далее через шахтерские поселки в Неваду, с остановками в Карсон-Сити и Вирджинии; слухи о новом «лекторе» его обгоняли, и к концу тура (27 ноября) он уже был «чертовски популярен». Текст у него был всего один, про Гавайи, он отказывался повторять его в одном городе дважды, хотя в Вирджинии очень просили. По легенде, рассказанной им и Стивом Джиллисом, чтобы заставить его читать повторно, Джиллис организовал фальшивое нападение «бандитов», и Твен выступил с рассказом о том, как его ограбили; Де Куилл и Гудмен подтверждают, что повторное выступление в Вирджинии было, но не о грабеже, а о путешествии из Сент-Луиса в Неваду. Заработал он за полтора месяца 1200 долларов, по условиям контракта получил лишь 500, но и это было неплохо. Хотел продолжать, но Маккомб предложил отправиться в новый круиз — морем на юг вдоль тихоокеанского побережья, посуху

пересечь Никарагуанский перешеек, атлантическим побережьем — на север, в НьюЙорк; гонорар 20 долларов за очерк, после поездки можно слать статьи о Нью-Йорке, а там, глядишь, еще какой-нибудь круиз подвернется.

Первый текст был сдан еще до отъезда — как репортер собирается в путь с вымышленным компаньоном. 15 декабря он отплыл на пароходе «Америка» из Сан-Франциско, а 20-го отправил первый из 53 путевых очерков в «Алту». На пароходе состоялось знакомство с человеком, о котором Твен будет думать до самой смерти и «выведет» его в нескольких книгах — шкипером Эдгаром Уэйкменом. Человек непьющий (редкость для моряка), невежественный, справедливый (приказал повесить помощника, который убил негра), нежный и трогательный, хотя грубый с виду, несравненный рассказчик, чья манера отличалась от твеновской, — «с сильным, энергичным голосом, странным построением фраз, пренебрежением грамматикой и необычайно бурной жестикуляцией; он может сделать самую превосходную историю из ничего». Поездка была тяжелой, на пароходе началась холера, умерли несколько пассажиров. 12 января прибыли в НьюЙорк, Твен писал, что город изменился, цены бешеные («холостяк может прожить на 40–50 долларов в неделю, но, Боже, помоги женатым»), всюду пробки, трамваи битком набиты, и мужчины не уступают места дамам. Тем не менее проторчал там почти полгода. Основная работа — очерки для «Алты», которые автор, кокетничая, называл «самыми глупыми письмами, когда-либо отправленными из Нью-Йорка». Писал о нравах калифорнийцев в столице, о футболе и бейсболе, театрах и полицейских участках, две темы заинтересовали надолго: воспитание слепых детей (бывал в приютах, где малыши безуспешно пытались поднять тяжелые, отпечатанные шрифтом Брайля Библии) и обращение людей с животными — восхищался тем, что в городе есть места, где можно напоить лошадей и собак, протестовал против методов цирковой дрессировки. Один раз не удержался и написал о предмете неподобающем — клубе, куда допускались проститутки, представив дело так, будто он, человек в высшей степени благопристойный, долго не мог понять, в какое заведение попал, да и сейчас сомневается.

Ревниво слушал ораторов, учился. Был на лекции писательницы Анны Дикинсон, молодой и красивой, оценил ее высокое дарование. Другие образцы находил в церкви, проповеди описывал с профессиональной точки зрения — как сценические выступления: один пастор не умеет держать паузу, другой позволяет органу себя заглушать. Лучшим считал Генри Бичера из Плимутской конгрегационалистской церкви (конгрегационализм

— ветвь пресвитерианства, утверждающая абсолютную автономию церковной общины) — тот был так популярен, что пробиться на проповедь еле удалось: «Его речь искрилась метафорами и представляла собой восхитительную мозаику, где были причудливо смешаны поэзия, пафос, юмор и сатира». Бичер собирался весной на пароходе «Квакер-Сити» в круиз по Средиземноморью с заходом на Святую землю, чтобы писать книгу о жизни Иисуса; Твен записался на тот же пароход, «Алта» дала согласие, гонорар прежний.

Бичера он ценил прежде всего как артиста, аналогичное восхищение у него вызвал человек совсем иного рода — Финеас Тейлор Барнум, которого называли «королем надувательства», антрепренер, основатель американского цирка. Барнум издавал газеты, организовывал передвижные выставки, демонстрировал сиамских близнецов, лилипутов, бородатых женщин, но был не только шоуменом: в 1860-х годах дважды избирался от республиканской партии в Законодательное собрание штата Коннектикут, выступал за наделение негров избирательными правами. В начале 1867 года, когда Твен посетил его выставку, Барнум баллотировался в конгресс (провалится, но потом будет мэром Бриджпорта, причем весьма успешным); Твен написал в «Алту», что выставка дрянь, но Барнум человек выдающийся. Его также впечатлила шумиха, устроенная Барнумом вокруг автобиографии, — опубликовав несколько редакций (с 1854 по 1869 год), он каждый раз объявлял, что теперь читатели узнают всю правду. Автобиография была исключительно откровенной для того времени и считалась скандальной; к концу XIX века ее общий тираж в Северной Америке занимал второе место после Нового Завета. Все это Твен «мотал на ус».

1 марта он зарегистрировался пассажиром на апрельский рейс «Квакер-Сити», 5-го уехал в Сент-Луис к Памеле (туда переселилась и мать), 25-го начал небольшой гастрольный тур по Среднему Западу, включая Кеокук и Ганнибал, 9 апреля возвратился в НьюЙорк, но круиз отложили до июня. Знакомый по Неваде, Фрэнк Фуллер (бывший секретарь штата Юта), уговорил выступить в столице, помог с организацией — сняли зал Кооперативного союза. Артист сильно трусил: в эскизе 1895 года «Фрэнк Фуллер и моя первая нью-йоркская лекция» («Frank Fuller and My First New York Lecture») два ньюйоркца разговаривают: «Кто это такой Марк Твен? — Да бог его знает. Понятия не имею». «Лекция» прошла 6 мая с успехом, Твен дал еще несколько выступлений, посыпались предложения от антрепренеров, но он уже был связан обязательствами с «Алтой». Появилась и другая перспектива: Уильям Моррис Стюарт, новоиспеченный



сенатор от Невады (были они шапочно знакомы), предложил место личного секретаря, можно было начать политическую карьеру, осесть, перестать быть бродягой. Но тоже отказался: неинтересно.

Бытует легенда, что в мае Сэм Клеменс был арестован — то ли за курение в неподобающем месте, то ли за вмешательство в драку. Но другое майское событие куда важнее: вышла его первая книга — «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса и другие истории»; отпечатана в типографии «Грей энд Грин», издатель — Уэбб, распространитель — фирма «Америкэн ньюс компани», авторское посвящение — «Джону Смиты», чтобы все Джоны Смиты купили. Вошли в нее 26 рассказов и фельетонов, из лучших — «Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона» («A Touching Story of George Washington's Boyhood»), характерная для Твена история со смещенным центром тяжести и откровенным издевательством над публикой: автор пространно рассказывает о том, что бывает, когда соседи сводят вас с ума, играя по ночам на музыкальных инструментах. А где же Джордж Вашингтон?! «Все это я написал, имея в виду две цели: во-первых, примирить людей с несчастными горемыками, которые чувствуют в себе музыкальный талант и еженощно сводят с ума своих соседей, пытаюсь вынырнуть и развить его; во-вторых, я хотел подготовиться должным образом к рассказу О Маленьком Джордже Вашингтоне, Который Не Умел Лгать, и о Яблоне — или там Вишне, — не помню точно, хотя мне только вчера рассказали этот замечательный случай. Однако, пока я писал столь длинное и всесторонне разработанное вступление, я позабыл суть этого рассказа; но уверяю вас, он очень трогательный».

Продавался сборник плохо. Автор писал домой: «Я не думаю, что эта книга будет стоить хотя бы цента. Я опубликовал ее просто в целях рекламы и даже не надеялся, что из нее выйдет что-нибудь путное». Книга действительно не бог весть что, но, заметим сразу, Твен редко находил достоинства у своих книг. За два дня до отплытия, 10 июня, он отправил матери грустное письмо: «Я такой никчемный, что мне кажется, я никогда не сделал и не добился ничего, о чем стоило бы вспоминать. Я помню только свое недостойное поведение по отношению к Ориону и всем вам и, чтобы заглушить угрызения совести, вечно бегаю с места на место. Если б я мог сказать, что сделал хоть одну хорошую вещь для кого-нибудь из вас, вещь, которая заставила бы вас обо мне хорошо думать (я не говорю о вашей любви, в которой я уверен, независимо от того, заслуживаю я ее или нет, которую я ощущал всю жизнь, хотя Бог знает, как редко я ее заслуживал), я мог бы вернуться домой и остаться навсегда, и мне не было

бы дела до людской похвалы или брани. Известность, во всяком случае, не приносит мне никакого удовлетворения и никак не помогает в моих делах. Я хотел было собрать хвалебные рецензии и прислать вам, но работа была дрянная и я бросил это. Вы видите, что под моей веселой наружностью прячется дух, который гневается на меня и открыто выражает мне свое презрение. Я могу убежать от этого в море и там быть спокойным и счастливым...»

«Квакер-Сити», пароход водоизмещением 19 тонн (в десятки раз меньше, чем нынешние морские пассажирские суда), тогда считался огромным и роскошным. Мог идти под паром и парусами, скорость 10 узлов, салоны обиты бархатом. В круиз отправились 70 пассажиров, предполагалось, что едет масса знаменитостей, было много шума, толпы провожающих, но в последний момент все «звезды» — проповедник Бичер, герои Гражданской войны Шерман и Хендершот, актриса Мэгги Митчелл — отказались ехать, и Твен оказался знаменитостью едва ли не первого ранга. Сразу начал писать очерки для «Алты» и «НьюЙорк геральд трибюн», с которой тоже заключил контракт, — почти все они в отредактированном виде войдут в книгу «Простaki за границей».

Попутчики, в основном скучные пожилые богомольцы, его раздражали. «Почтенные участники плавания не отличались ни веселым нравом, ни резвостью. Они не играли в жмурки, они и не помышляли о висте, они не увиливали от скучных дневников, ибо — увы! — почти все они даже писали книги. Они никогда не затевали шумных игр, почти не разговаривали, никогда не пели, если не считать вечерних молитв. Наш так называемый «увеселительный корабль» напоминал синагогу, а «увеселительная поездка» — похороны без покойника». Но несколько приятных людей нашлось, среди них и старцы, и девицы, со всеми Твен потом долго переписывался: он никогда не подбирал друзей ни по полу, ни по возрасту. Корабельный доктор Абрахам Джексон и сосед по каюте, финансист из Нью-Йорка Дэниел Слоут, были немного постарше, чем он, банкир Солон Северанс с женой Эмили — его ровесники, Мойзесу Бичу, бывшему владельцу «НьюЙорк сан» — 67 лет, его дочери 17, столько же Чарлзу Лэнгдону, сыну промышленника. Был, по рассказам попутчиков, у Твена флирт с дамой, 35-летней Джулией Ньюэлл из Висконсина: незамужняя, эмансипированная, она оставила воспоминания о Твене, сперва нелицеприятные: «Он довольно симпатичный парень, но говорит, отвратительно растягивая слова, что раздражает. Пока неясно, намеревается ли он быть во время поездки шутом», потом назвала «очень смешным» и охотно с ним танцевала, но вышла в итоге за доктора Джексона.

Другая женщина его оценила лучше — 39-летняя Мэри Фербенкс, жена издателя «Кливленд геральд», путешествовала одна и писала для мужниной газеты путевые очерки; была в молодости учительницей, говорила по-французски и тем выручала в Европе других пассажиров. Молодых людей, включая 33-летнего Сэма, взяла под материнскую опеку: «Мы были детьми г-жи Ф. Она заботилась, чтобы мы по воскресеньям посещали церковь и выходили по утрам на молитву, и пришивала пуговицы к нашей одежде, заботливая и терпеливая, как настоящая мать»; «...она была самой утонченной, интеллигентной, образованной дамой на судне, а также самой доброй и прекрасной. Она читала мне лекции, прогуливаясь со мной по палубе лунными вечерами, и излечила меня от нескольких дурных привычек. Я ей навек обязан». К общим мужским «дурным привычкам» — сигары, карты, выпивка (современных представлений о вреде табака и алкоголя тогда не существовало, но протестанты, как и наши старообрядцы, их осуждали по религиозным мотивам: потворство плоти, греховное наслаждение) — добавлялись специфические привычки «дикаря с Запада»: одеваться как попало, браниться, класть ноги на стол, плевать на тротуар (палубу); их обладателю было приятно, что добродетельная и утонченная женщина его перевоспитывает.

Первую остановку «Квакер-Сити» сделал на Азорских островах, о жителях которых Твен писал, как было принято в XIX веке, без всякой политкорректности: «Члены семьи — ослы, мужчины, женщины, дети — едят и спят в одной комнате, все они грязны, покрыты паразитами и истинно счастливы. Азорцы лгут, надувают иностранцев, ужасающе невежественны и не почитают своих покойников. Последнее показывает, как мало они отличаются от ослов, с которыми делят постель и стол». Пересекли Гибралтар, попали в Танжер: «По улицам проходят стройные бедуины, величавые мавры, гордые историей своего народа, уходящей во тьму веков; евреи, чьи предки бежали сюда много столетий назад; смуглые рифы с гор — прирожденные головорезы; подлинные, без всякой подделки, негры... <...> Мне удалось увидеть лица некоторых мавританок (они тоже доступны человеческим слабостям и, чтобы вызвать восхищение собаки-христианина, готовы приоткрыть лицо, когда рядом нет мужчин мавров), и я преклонился перед мудростью, которая заставляет их скрывать столь непростительное безобразие. Своих детей они носят в мешке за спиной, как и другие дикари во всем мире».

4 июля, после трехдневного перехода вдоль берегов Испании, прибыли в Марсель, оттуда — в Париж, оттуда — железнодорожные вылазки в другие города. Твен хвалил вежливых официантов и проводников,

возмущался неуютными гостиницами. На экскурсии ходили с Джексонсом и Ньюэлл, иногда со Слоутом и Мэри Фербенкс, видели что положено: Булонский лес, Всемирную выставку, Нотр-Дам, замок Иф, Лувр, Пер-Лашез, могилы Абеяра и Элоизы (Твен назвал Абеяра подлым, трусливым соблазнителем — истории незаконной любви никогда его не будут привлекать). Вообще пуританин в нем взбунтовался — при виде канкана «от стыда закрыл лицо руками. Но глядел сквозь пальцы...» — и он, заочно обожавший Францию и с ходу назвавший ее прекраснейшей в мире страной, французов невлюбил. В книге высказался деликатно: «Мне кажется, что французская мораль не слишком чопорна и пустяки ее не шокируют», а в записных книжках резче: «нация с грязными мыслями» и «пороками, неизвестными в цивилизованных странах». (Американцы обладали теми же «пороками», что и французы, только предавались им втихую.) Тем не менее Наполеона III назвал «представителем высшей современной цивилизации, прогресса, культуры и утонченности», противопоставив его находившемуся тогда во Франции Абдул-Азизу, султану Османской империи, — «представителю нации, по своей природе и обычаям нечистоплотной, жестокой, невежественной, консервативной, суеверной, представителю правительства, тремя грациями которого являются Тирания, Алчность, Кровь».

Следующая страна — Италия, с 14 июля по 11 августа: Генуя, Венеция, Болонья, Неаполь, подъем на Везувий, Рим.

Восхищался красотой соборов и дворцов, но отметил с брезгливостью, как много нищих и грязи, чего в Штатах не бывает. (То же корбило Джулию Ньюэлл: «Худшей вони и грязи я еще не видела. Неудивительно, что Колумбу захотелось открыть новый мир».) С неприязнью писал о католичестве с его «варварской» пышностью и «чудесами»; когда в Генуе туристам показывали прах Иоанна Крестителя, съезвил: «Мы уже видели прах Иоанна Крестителя в другой церкви. Нам трудно было заставить себя поверить, что у Иоанна Крестителя было два комплекта праха». Возмущался в нем не только пуританин-протестант, но и американец-демократ: прекрасны картины старых мастеров, но: «Постоянное тошнотворное восхваление знатных покровителей заслоняло в моих глазах ту прелесть красок и выразительность, которая, как говорят, отличает эти картины».

В общем, романская культура ему не понравилась, и он навек невлюбил всех католиков и «латинос»: темнота, невежество, антисанитария. У Америки есть недостатки, но по сравнению с заграницей она — рай. «Я видел страну, над которой не нависла тень святой матери-

церкви, но люди там все-таки живут. <...> Я видел простых мужчин и женщин, которые умеют читать; я видел даже, как маленькие дети простых крестьян читают книги; я бы сказал даже, что они умеют писать, только боюсь, что вы мне не поверите. Я видел там простых людей — не князей и не священников, — и все же земля, которую они обрабатывали, принадлежала им. Она не была арендована ни у сеньора, ни у церкви. Я готов присягнуть, что говорю правду. В этой стране вы могли бы три раза выпасть из окна третьего этажа и все-таки не раздавить ни солдата, ни священника. Они там попадают удивительно редко. В тамошних городах на каждого солдата приходится десяток штатских, и столько же — на каждого священника или проповедника. С евреями там обращаются как с людьми, а не как с собаками». Если и были у него до поездки мысли пожить в Европе, теперь он их оставил и написал сенатору Стюарту, что согласен на должность секретаря.

Грецию почти не видел — не разрешили сойти на берег из-за карантина, за взятку удалось посмотреть Афины, но лишь краем глаза. Турция — сплошной ужас: калеки, нищие, грязь, торговля женщинами, турецкие бани — антисанитарная мерзость, население — порочные дикари. «Для грека, турка или армянина вся добродетель заключается в том, чтобы аккуратно посещать храм Божий в день субботний и нарушать десять заповедей во все остальные дни. Они и от природы склонны ко лжи и обману, а постоянными упражнениями достигают в этом искусстве совершенства». «Если есть на свете угнетенный народ, так это тот, который изнывает здесь под тиранической властью Оттоманской империи. Очень бы я хотел, чтобы Европа позволила России слегка потрепать турок, — не сильно, но настолько, чтобы нелегко было отыскать Турцию без помощи водолазов или магов с волшебной палочкой». Далее — Россия, экзотическая страна, где мало кто бывал: ждем оценки со страхом, но получаем лишь одно замечание: «Русские обычно с подозрением относятся к чужеземцам и терзают их бесконечными отсрочками и придирадками, прежде чем выдадут паспорт». Однако американцы с паспортными проблемами не столкнулись, лучших друзей, чем США и Россия, тогда в мире не было: параллельная отмена рабства и крепостного права, взаимное сочувствие реформам; в разгар Гражданской войны русские военные корабли прибыли в Америку, тем самым напугав англичан, в ответ США поддержали Россию в «польском вопросе».

21 августа остановка в Севастополе: «печальное зрелище — разрушенные до основания дома, лес разбитых труб» (только что закончилась Крымская война). ««Квакер-Сити» завалили горами

реликвий. Их тащили с Малахова кургана, с Редана, с Инкермана, из Балаклавы — отовсюду. Тащили пушечные ядра, сломанные шомполы, осколки шрапнели — железного лома хватило бы на целый шлюп». Потом пошли в Одессу заправиться углем — «и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) — просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг новенькое, с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины... Куда ни погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России. Мы прошлись немного, упиваясь знакомой картиной, — но вот перед нами выросла церковь, пролетка с кучером на козлах — и баста! — иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей».

В Одессе на «Квакер-Сити» явился консул США и сообщил, что Александр II, живший в то время с семьей в резиденции в Ливадии, желает видеть путешественников. 25 августа помчались обратно в Ялту: «О боже! Какая поднялась возня! Созываются собрания! Назначаются комитеты! Сдуваются пылинки с фрачных фалд!» Написали послание императору: «Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться Вашему Императорскому Величеству, кроме желания заявить наше признательное почтение Государю Империи, которая в счастии и несчастьи была неизменным другом страны, к которой мы исполнены любовью. <...> Америка обязана многим России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий».

В полдень были во дворце, через пять минут появился Александр, первый монарх, которого удалось увидеть вблизи. «Право же, странно, более чем странно сознать, что вот стоит под деревьями человек, окруженный кучкой мужчин и женщин, и запросто болтает с ними, человек как человек, — а ведь по одному его слову корабли пойдут бороздить морскую гладь, по равнинам помчатся поезда, от деревни к деревне поскачут курьеры, сотни телеграфов разнесут его слова во все уголки

огромной империи, которая раскинулась на одной седьмой части земного шара, и несметное множество людей кинется исполнять его приказ. <...> Вот он передо мной — человек, который может творить такие чудеса, — и однако, если я захочу, я могу сбить его с ног. <...> Каждый поклон Его Величество сопровождал радушными словами. <...> В них чувствуется характер, русский характер: сама любезность, и притом неподдельная. Француз любезен, но зачастую это лишь официальная любезность. Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах и в тоне, — поэтому веришь, что она искренна. Как я уже сказал, царь перемежал свои слова поклонами.

— Доброе утро... Очень рад... Весьма приятно... Истинное удовольствие... Счастлив видеть вас у себя!

Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть, и в печку»<sup>[9]</sup>.

Вся царская семья произвела приятное впечатление. О царе: «Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. <...> В его глазах нет и следа той хитрости, которую все мы заметили у Луи-Наполеона». Императрица Мария Александровна любезна, великая княжна Мария очень понравилась и, возможно, напомнила Лору Райт: «Ей четырнадцать лет, она светловолоса, голубоглаза, застенчива и миловидна. <...> Глядя на доброе лицо императора и на его дочь, чьи глаза излучали такую кротость, я подумал о том, какое огромное усилие над собою пришлось бы, верно, сделать царю, чтобы обречь какого-нибудь преступника на тяготы ссылки в ледяную Сибирь, если бы эта девочка вступилась за него. Всякий раз, когда их взгляды встречались, я все больше убеждался, что стоит ей, такой застенчивой и робкой, захотеть, и она может забрать над ним огромную власть. Сколько раз ей представляется случай управлять самодержцем всея Руси, каждое слово которого закон для семидесяти миллионов человек! Она просто девочка, я видел таких сотни, но никогда еще ни одна из них не вызывала во мне такого жадного интереса».

Император лично показал гостям дворец и оранжереи. Потом отправились в Ореанду, во дворец князя Михаила Николаевича, младшего брата Александра — «славный парень, а жена его — одна из самых любезных дам в этом любезном обществе»; «у него такая царственная наружность, как ни у кого в России. Ростом он выше самого императора, прямизною стана настоящий индеец, а осанкой напоминает одного из тех

гордых рыцарей, что знакомы нам по романам о крестовых походах. По виду это человек великодушный — он в два счета столкнет в реку своего врага, но тут же и сам прыгнет за ним и, рискуя жизнью, выудит его на берег» — там к завтраку вновь появилось царское семейство, присутствовали также «князь Долгорукий и веселый граф Фестетикс»: первый, вероятно, генерал-губернатор Москвы Владимир Долгоруков, второй — либо представитель известного венгерского рода, либо Твен так переврал фамилию Фредерикса, будущего министра двора. На следующий день, 27 августа, прием у генерал-губернатора графа П. Е. Коцебу, там были «барон Врангель. Одно время он был русским послом в Вашингтоне» (Фердинанд Врангель, известный путешественник, был не послом, а наместником Аляски; возможно также, что Твен спутал престарелого барона с его сыном), «барон Унгерн-Штернберг, главный директор русских железных дорог» (Карл Карлович Унгерн-Штернберг, дед «кровавого барона», был не директором железных дорог, а их строителем): «Теперь у него работают около десяти тысяч каторжников. Я воспринял это как новый вызов моей находчивости и не ударил лицом в грязь. Я сказал, что в Америке на железных дорогах работают восемьдесят тысяч каторжников — все приговоренные к смертной казни за убийство с заранее обдуманном намерением. И ему пришлось прикусить язык».

Днем экскурсия по Ялте — «Место это живо напомнило мне Сьерра-Неваду», вечером — бал, ночью отплыли в Константинополь, пассажиры и экипаж продолжали обсуждать впечатления, все, что написано Твеном об этом обсуждении, конечно, выдумка, но она показывает, что американцы ощущали запоздалый стыд за свое восхищение варварским монархом. «Потом перемазанный с головы до пят палубный матрос, изображавший консула, вытащил какой-то грязный клочок бумаги и принялся по складам читать: «Его императорскому величеству, Александру II, русскому императору. Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества...»

Император. Так за каким чертом вы сюда пожаловали?

«...кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое...»

Император. А ну вас с вашим адресом...»

С 30 августа по 7 сентября — Константинополь, там 5 или 6 сентября Чарлз Лэнгдон показал Сэму фотографию своей сестры, в которую тот



заочно влюбился, с 10 сентября началось посещение библейских мест, главная цель путешественников. Поездка по Сирии через Баальбек и Дамаск была тяжелой, лошади и мулы измучились, но благочестивые паломники гнали их нещадно, вызвав у Твена приступ гнева. Зато сирийцы, не в пример прочим «дикарям», понравились: «Народ здесь по природе умный и добросердечный, и, будь он свободен, будь ему доступно образование, он жил бы в довольстве и счастье».

В Назарете полагалось ощутить религиозное благоговение — у Твена, который воспринимал Христа как живого человека, возникло иное чувство. «Он посетил отчий дом в Назарете и повидал своих братьев Иосию, Иуду, Иакова и Симона; можно было ожидать, что имена этих людей — они ведь родные братья Иисуса Христа — будут изредка упоминаться; но кто хоть раз встречал их в газете или слышал с церковной кафедры? Кто хоть раз поинтересовался, каковы они были в детстве и юности, спали ли они вместе с Иисусом, играли ли с ним в тихие и в шумные игры, ссорились ли с ним из-за игрушек и разных пустяков, били ли его, разозлившись и не подозревая, кто он такой? <...> Кто спросил себя, что творилось в их душах, когда они видели, что брат их (для них он был всего лишь брат, хотя для других был он таинственный пришелец, Бог, видевший лицом к лицу Господа в небесах) творит чудеса на глазах пораженных изумлением толп? Кто задумался, просили ли они Иисуса войти в дом, сказали ли, что мать и сестры горюют о его долгом отсутствии и будут вне себя от радости, когда вновь увидят его? Кто вообще хоть раз подумал о сестрах Иисуса? А ведь у него были сестры, и воспоминание о них, должно быть, не раз закрадывалось ему в душу, когда чужие люди дурно обращались с ним, когда он, бездомный, говорил, что негде ему преклонить голову, когда все покинули его, даже Петр, и он остался один среди врагов».

Такой «человеческий» подход раздражал других туристов, начались ссоры. Паломники восхищались всем, что видели, Твен считал их восторги надуманными. Вот море Галилейское — для него «мутная лужа», для них «великолепие». «Но почему нельзя сказать правду об этих местах? Разве правда вредна? Разве она когда-либо нуждалась в том, чтобы скрывать лицо свое? Бог создал море Галилейское и его окрестности такими, а не иными». Туристы, начитавшиеся путеводителей, были романтически настроены в отношении арабов — для Твена арабы вмиг перестали существовать, когда он обнаружил, что они жестоки с лошадьми.

Иерусалим довершил разочарование: «Всюду отрепья, убожество, грязь и нищета — знаки и символы мусульманского владычества куда более верные, чем флаг с полумесяцем. Прокаженные, увечные, слепцы и

юродивые осаждают вас на каждом шагу; они, как видно, знают лишь одно слово на одном языке — вечное и неизменное «бакшиш». Но и христиане не лучше — они не уважают Христа»; «У каждой христианской конфессии (за исключением протестантов) под крышей храма святого Гроба Господня есть свои особые приделы, и никто не осмеливается переступить границы чужих владений. Уже давно и окончательно доказано, что христиане не в состоянии мирно молиться все вместе у могилы Спасителя»; «История полна им, этим старым храмом святого Гроба Господня, пропитана кровью, которая лилась потому, что люди слишком глубоко чтили место последнего упокоения того, кто был кроток и смиренен, милостив и благ!»; «Когда стоишь там, где распяли Спасителя, приходится напрягать все силы, чтобы не забыть, что он не был распят в католической церкви». Эти замечания окончательно испортили отношения с паломниками.

Со 2 по 7 октября — Египет, пирамиды, Сфинкс: «Весь его облик исполнен достоинства, какого не встретишь на земле, и доброты, какой никогда не увидишь в человеческом лице. Это камень, но кажется, что он чувствует. И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит. <...> Он воплощает в себе неотъемлемое свойство человека — силу человеческого сердца и разума». С 18 по 25 октября были в Испании — Севилья, Кордова, Кадис (красота, темнота, гадость, грязь), с 1 по 15 ноября на Бермудских островах, 19 ноября возвратились в НьюЙорк. Там Твен обнаружил, что его дорожные письма имели успех. Передовица «НьюЙорк геральд»: «Во вчерашнем номере «Геральд» мы опубликовали самое уморительное письмо, написанное самым уморительным американским талантом, Марком Твеном, о самом уморительном из всех современных паломничеств». И уже через два дня Элиша Блисс, директор хартфордского издательства «Америкэн паблишинг компани», предложил выпустить книгу. «Я мог бы устранить главные недостатки построения и неуклюжие выражения, сделав книгу, лучше которой я в настоящий момент все равно не напишу, — отвечал Твен. — Если такая книга Вас устроит, пожалуйста, дайте мне знать, сообщите размеры и характер книги; срок, к которому она должна быть закончена; предполагаются ли иллюстрации; в особенности же Ваши условия и сколько я могу надеяться получить от издания. Последнее особенно меня интересует, до такой степени, что мне это даже странно». Но контракт с Блиссом он не заключил, не будучи уверен, что сможет написать книгу: заниматься ею он мог только в свободное время, ибо поступил на службу к сенатору.

Проработал Твен в Вашингтоне всего три месяца и ничего хорошего, кроме шапочного знакомства с генералом Грантом (в ноябре того изберут

президентом), не получил. Должность секретаря ему не подходила, политики не нравились (из письма Ориону: «Сколько жалких умов в этом конгрессе!»), отношения со Стюартом не сложились. Тот в 1908 году опубликовал мемуары, отозвавшись о своем секретаре дурно: «Еще в Неваде он печатал всякую всячину про знакомых людей и всем причинял неприятности. Его никогда не заботило, правда или нет то, что он писал, лишь бы было что писать, и естественно, что его не любили»; «Это был господин малопочтенной наружности. Он был облачен в потрепанный костюм, который висел на его тощей фигуре, ни о каком покрое и речи быть не могло. Сноп лохматых волос вылезал из-под повидавшей виды бесформенной шляпы, словно труха из старого дивана колониальных времен. В углу рта торчал зловонный и обсосанный окурок сигары. У него был весьма зловещий вид». Этот тип якобы сам напросился в секретари, жил в губернаторском доме, курил, все пачкал, ничего не делал, только писал свою книжку. Однако, похоже, злой сенатор был не так далек от истины, ибо секретарь сам поведал миру о своей деятельности в рассказах, относящихся к жемчужинам его юмористики: «Факты о моей отставке» («The Facts Concerning the Recent Resignation», «НьюЙорк трибюн», февраль 1868) и «Когда я служил секретарем» («My Late Senatorial Secretaryship», «Гэлакси», май 1868).

«Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что пришла почта с тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.

— Я считал вас достойным доверия, — заговорил сенатор.

— Так точно, сэр.

— Я передал вам письмо, — продолжал сенатор, — от нескольких моих избирателей из штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин-рэнче. Я велел вам составить ответ половчее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей, что почтовая контора им не нужна.

У меня отлегло от сердца. Я сказал:

— И только, сэр? Это я выполнил.

— Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько пристыдить!

«Джентльмены! На кой черт сдалась вам почтовая контора в Болдвин-рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со вложением денег, то легко догадаться, где будут застревать эти деньги! Все мы тогда не оберемся неприятностей. Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже ваших

интересов и считаю, что ваша затея — просто чепуха с бантиками. Что вам действительно необходимо — так это удобная тюрьма, удобная, вместительная тюрьма; и еще — бесплатная начальная школа. От них вам и впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие меры приму незамедлительно. С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.».

Вот что вы ответили моим избирателям! Теперь они грозят меня повесить, если я когда-нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что они свое слово сдержат!»

Он продолжал писать очерки для «Алты» и «Энтерпрайз», начал публиковаться в «Чикаго трибюн», «Гэлакси» и — большой успех — был оформлен вашингтонским корреспондентом «НьюЙорк трибюн», одной из самых влиятельных газет США: с издателем «Трибюн» Хорэсом Грили, одним из основателей республиканской партии, отношения были неважные (в ноябре 1868 года Твен опубликовал фельетон о нем в журнале «Дух времени»), но отказаться от услуг популярного журналиста газета не захотела. Зарабатывал неплохо, кое-какие деньги капали за «Лягушку», ходил по званым вечерам, стал модным тамадой, на обеде в «Вашингтонском клубе корреспондентов» его застольная речь была признана «лучшей из всех речей, когда-либо произнесенных человеком». Но по-прежнему жил как на вокзале, не строя планов, ощущал себя неприкаянным бродяжкой; не жил, а только собирался: вот когда-нибудь продадим теннессийские земли, разбогатеет, и... Но все переменялось, когда на Рождество он поехал в НьюЙорк встретиться с Дэниелом Слоутом.

В 1861 году Сэмюэл писал матери и сестре: «Я всегда хотел устроиться так (покуда не женюсь), чтобы смотать удочки и сбежать, как только запахнет жареным». В 1862-м — Молли, невестке: «Я никогда не женюсь, пока не смогу позволить себе иметь достаточно прислуги, чтобы моя жена могла быть только тем, чем я хочу ее видеть: компаньоном. Я не хочу спать с женщиной, которая будет кухаркой, горничной и поломойкой. Я могу спать со служанками, пока холост, но когда я женюсь, с этим будет покончено». В 1866-м — Биллу Боуэну, старому другу: «Женитьба — дерьмо. Я слишком стар, чтобы жениться. Мне почти 31, и у меня седые волосы. Женщинам я вроде нравлюсь, но, черт их дери, они в меня не влюбляются». И наконец, за несколько дней до встречи с будущей женой, 12 декабря 1867 года в письме Мэри Фербенкс: «Если б я был устроен, я бы бросил все глупости и заморочил бы голову какой-нибудь девице, чтоб она вышла за меня. Но я не был бы ее «достойн». Нет такой приличной девушки, которой я был бы достоин. Она была бы недостойна сама».

Достойных девушек при его работе репортера попадалось мало, куда больше недостойных. В июне 1865 года он опубликовал в «Энтерпрайз» заметку «Еще одна несчастенькая» («Just One More Unfortunate») о шестнадцатилетней девушке, которую наблюдал в тюрьме: казалась «невинным ребенком», а на самом деле «полгода жила с ниггером»; знала всех проституток и мошенниц, «назвать ее шлюхой — значит польстить». Наивные копы прослезились, слушая рассказ девушки, и хотели отправить ее в училище, автор возмущался: какое училище для этой твари? «Она уже получила образование и могла бы возглавлять Университет Порока». «О женщины, вам имя — притворство!»

На «Квакер-Сити» он встретил приличных женщин, которые вроде бы не притворялись. Но по сравнению с ними он был «плохой». Викторианский стереотип: мужчина — дьявол, зверь, пьет, распутничает и бранится, женщина (порядочная) — ангел, который должен его перевоспитывать. Такого отношения Клеменс требовал от всех новых знакомых. Мэри Фербенкс 2 декабря 1867 года: «Я был самым худшим богохульником и самым безрассудным человеком из всех, кто плыл на «Квакер-Сити»... Но я постоянно стараюсь излечиться от дурных привычек, например от жевания табака. Ваши сомнения, мадам, не могут поколебать мою веру в такое преобразование.

И пока я помню Вас, моя добрая, нежная матушка (да храни Вас Господь!), я не забуду Ваши бесценные уроки». Через неделю: «Я становлюсь все лучше и лучше... Жду следующей проповеди». Эмили Северанс: «Я всегда буду с благодарностью помнить уроки, которые вы обе (с Фербенкс. — М. Ч.) дали мне — Вы вашим мягким способом и она своим тираническим и властным». Он просил «уроков» даже от семнадцатилетней Эммы Бич: «Ваши выговоры так искренни и так приятны, что я не могу не желать получить их еще больше! Пожалуйста, мисс Эмма, пришлите мне еще выговоров, и честное слово, я сделаю все что могу, чтобы извлечь из них пользу». (Трудно разобрать, вправду ли он хотел быть «улучшенным» или просто наслаждался вниманием, которое женщины проявляли к нему, а может, издевался...) Но «матери» и «сестренки» — одно, жена — другое: не может хорошая девушка, «ангел», жить с ним, грубым и порочным.

А в это время ангел его терпеливо дожидался. Оливия Лэнгдон, чью фотографию Твену показывал ее брат Чарлз, родилась в 1846 году. Ее отец Джервис Лэнгдон, сын фермера, родился в 1809-м, в почтенном семействе из Новой Англии, в 16 лет начал работать в торговле, в 1832-м женился на Оливии Льюис, дочери фермера. Торговал древесиной, продвигался по

службе, к 1843 году стал партнером в фирме «Эндрюс и Лэнгдон», в 1855-м переключился на более перспективную отрасль — угольную, купил несколько шахт, основал транспортный бизнес, разбогател, жил в городе Эльмира (штат НьюЙорк, близ границы с Пенсильванией) и к концу 1850-х годов был одним из виднейших его граждан. Кроме Оливии и Чарлза, в семье была приемная дочь Сьюзен, на десять лет старше Оливии, относились к ней как к родной. Семья просвещенная и передовая: муж и жена — активные аболиционисты, Джервис был близким другом знаменитого борца за права негров Фредерика Дугласа, принял его в дом, когда тот бежал от рабства. В 1846 году Джервис вместе с другими прихожанами пресвитерианской церкви вышел из нее в знак протеста против рабовладения и основал Первую независимую конгрегационалистскую церковь (известную также как Парковая церковь); с 1854 года проповедником в ней стал Томас Бичер, брат знаменитого Генри Бичера (не менее знаменитая Гарриет Бичер-Стоу — их сестра). Правила в церкви были пуританские, прихожанам не позволялось пить вино и ходить в театр, но обстановка домашняя: столовая, бильярд, детская игровая комната, Твен впоследствии говорил, что это первая церковь, бывшая для детей домом, а не тюрьмой.

Сюзи, внучка Джервиса Лэнгдона, знавшая деда только по рассказам: «Мама любила дедушку больше всех на свете. Он был ее кумир, а она его». Оливию сначала учили дома — чтение, история, география; в 9 лет отдали в престижную школу «Колледж Эльмиры», обещавшую девочкам образование, «которое может сравниться с образованием для мальчиков»: греческий и латынь, история и математика в большом объеме, в то же время подчеркивалось, что образование «должно подготовить девочку к уходу за мужем и семьей и ни в коем случае не служить стимулом к профессиональной карьере».

В 16 лет Оливия упала, катаясь на коньках, и была, как считали окружающие, «частично парализована»: не ходила, сидеть могла только с помощью веревок. Что с ней было — никто не знает. Медицина пребывала тогда в диком, с нашей точки зрения, состоянии, хирургия делала успехи, но диагностика — пещерный век, о неврологии никакого понятия, в вопросах женского здоровья — чудовищные предрассудки. Викторианская этика провозглашала, что девицы есть (и должны быть) существа хилые, болезненные, падающие в обмороки; в результате у каждой второй девушки из «приличной семьи» были анемия, анорексия, неврологические и психические заболевания. Лечили так: лежать месяцами в темной комнате с закрытыми окнами, под присмотром сиделок, ничего не делать, нельзя

даже читать или шить, а главное, нельзя общаться с родными, потому что это «нервирует». При отсутствии движения, свежего воздуха и нормального питания удивительно, как кто-то выживал. Оливия так пролежала два года, но выздоровела — крепкая, видимо, была девушка. Перепробовали множество докторов, наконец осенью 1864 года обратились к модному врачу Джеймсу Ньютону, уплатили астрономический гонорар — 1500 долларов. Опыты Ньютона часто кончались скандалами, Твен его называл шарлатаном, но признавал, что Оливию тот вылечил. Сделал он это как Христос с Лазарем: велел встать и пойти, и оказалось, что ходить больная может; рассудил очень здраво, что надо не лежать, а двигаться. К моменту встречи с будущим мужем Оливии было 22 года. Красивая, хрупкая, большеглазая брюнетка, она давно выздоровела, но считалась больной и потенциальной старой девой; была романтична, много читала, любила то, чего Твен не жаловал: Джейн Остин, Теккерея, Готорна.

Чарлз Лэнгдон все уши отцу прожужжал про знаменитость, с которой познакомился, и Джервис пригласил Твена отобедать в отеле «Сент-Николас» в Нью-Йорке 27 декабря, потом последовало приглашение познакомиться с семьей. В первую годовщину встречи Сэм писал Оливии: «Я пережил сильнейшую внутреннюю борьбу в день, когда увидел Вас... я пытался удержаться, чтобы не полюбить Вас всем сердцем. Моим изумленным глазам Вы казались духом, который спустился с небес, чем-то таким, чему следует поклоняться почтительно и на расстоянии». (Оливия нигде не упоминала, какое впечатление произвел на нее новый знакомый.) События развивались стремительно: 31 декабря Твен обедал у Лэнгдонов, в тот же день пошел с ними на выступление Диккенса, гастролировавшего в США («он читал с неподдельным чувством и воодушевлением в сильных местах и производил потрясающее впечатление»), 1 января 1868 года наносил визит знакомой, миссис Берри, вместе с Чарли Лэнгдоном, а там оказалась Оливия с подругой. Из письма матери: «Я зацепился в первом же доме, куда пришел (в Новый год тут полагалось ходить ко всем с визитами), там была сестра Чарли Лэнгдона (красивая девушка) и мисс Хукер (тоже красивая девушка), племянница Генри Уорда Бичера. Мы рано отправили стариков домой, наказав не присылать за нами до полуночи, и тогда я успокоился и вволю поиздевался над этими девушками. Собираюсь несколько дней провести с Лэнгдонами в Эльмире, когда будет время». Он прожил в Нью-Йорке еще неделю: был представлен Генри Бичеру и Гарриет Бичер-Стоу, встретился с Мозесом и Эммой Бич, но в основном торчал у Лэнгдонов. С Оливией разговаривал трижды, но ни матери, ни кому-либо еще о ней больше не писал.

Пришлось возвращаться в Вашингтон. Там — несколько «обеденных» речей, перепалки с сенатором, опубликовал «Факты о моей отставке» и «Человек, который остановился у Гэдсби» («The Man Who Put Up at Gadsby's») — юмореску о вашингтонских бюрократах, впоследствии включенную в книгу «Пешком по Европе». Долго думал над советом Генри Бичера заключить с Блиссом контракт на книгу, 21 января решился и поехал к нему в Хартфорд, интеллигентный город в штате Коннектикут, самом сердце региона Новая Англия. (Блисс вспоминал, что гость был одет ужасно, потрепан, неопрятен; надо думать, он и к Лэнгдонам являлся таким же неряхой.) Договорились: автор получит пять процентов роялти (был вариант с одноразовой выплатой гонорара, Твен по совету журналиста Альберта Ричардсона его отверг и впоследствии говорил, что единственный раз в жизни принял разумное деловое решение). В Хартфорде он провел не больше недели — и приобрел друга на всю оставшуюся жизнь. Он квартировал в доме Блисса, рядом была конгрегационалистская церковь Холма Приюта — пошел послушать проповедь (ходил на всех проповедников как в театр: наслаждаться и учиться) и заслушался.

Джозеф Хопкинс Туичелл, тремя годами моложе Твена, сын священника-конгрегационалиста, окончил Йельский университет и Объединенную теологическую семинарию, в Гражданскую служил капелланом. Попал под влияние известного теолога-либерала Хорэса Бушнелла, восставшего против кальвинистского предопределения, и перенял у него необычные идеи: духовная истина может быть выражена только средствами поэзии, Бог познается через интуицию, а значит, все догматическое богословие — ерунда. Однако он окончил еще одну семинарию, Эндоверскую, прежде чем в 1865 году стал пастором в только что построенной церкви Холма Приюта (будет занимать эту должность 45 лет). Церковь была в высшей степени либеральной, но, расположенная в престижном районе, посещалась в основном обеспеченными людьми и интеллигенцией, и Твен окрестил ее «Церковью Святых Спекулянтов». Но молодой проповедник был хорош. Не порывая формально с кальвинизмом, он упирал на милосердие Божие и оставлял надежду всем; красавец, спортсмен, весельчак, поэт, говорил образно, шутил остроумно и мягко. Жена Блисса представила ему Твена, они сразу ощутили взаимную симпатию. Туичелл, «один из лучших людей на свете», был чрезвычайно веротерпим: протестантский пастор, он принимал участие в благотворительной деятельности католических миссий и ходил на лекции по эволюционной теории. Это было для тогдашнего Твена даже чересчур



смело.

Твен был приглашен на обед к Туичеллу и его жене Джулии Хармони: они поженились два года назад, по любви, в доме царила атмосфера счастья и уюта. Джулия спросила гостя, почему он не женится. Из воспоминаний Туичелла: «Марк не отвечал, но, опустив глаза, казалось, глубоко задумался. Потом поднял глаза и голосом, дрожавшим от серьезности (что вызывало невероятную симпатию и доверие к его словам), произнес: «Я все время об этом думаю. Я люблю самую прекрасную девушку в мире. Я не думаю, что она пойдет за меня. Я в это не верю. Это не для нее. Но все равно, если она этого не сделает, я буду убежден, что лучшее в моей жизни — это любовь к ней, и буду горд тем, что хотя бы пытался ее добиться»».

В феврале он расстался с сенатором Стюартом, к обоюдному облегчению. Ему предлагали чиновничьи должности в сенате — в молодых государствах толковые люди ценятся на вес золота — он все их отклонил, писал Ориону, что Вашингтон ему осточертел. Джон Росс Браун, знакомый журналист, собирался с дипломатической миссией в Китай, звал с собой, но теперь существовала Оливия, и уезжать далеко от нее Сэм не хотел. В марте он узнал, что с будущей книгой проблемы: «Алта» заявила, что владеет авторскими правами на письма с «Квакер-Сити», переписка ничего не решила. Надо ехать в Сан-Франциско, а заодно там можно заработать денег выступлениями.

Взял у Блисса аванс, отправился морем через Никарагуанский перешеек, опять повстречался с капитаном Уэйкменом. Именно тогда была рассказана знаменитая история о том, как капитан побывал в раю. Твен начал писать ее сразу по прибытии в Калифорнию: он нарек героя Стормфилдом и, кроме рассказа Уэйкмена, использовал книгу Элизабет Фелпс «Приоткрытые Врата», где излагались нетрадиционные представления о рае: если человек не сумел проявить свои таланты на этом свете, его оценят на том. Книжка была по-женски сентиментальной, у Твена получалась пародия, а он хотел чего-то другого и оставил начатую историю. Он будет работать над ней еще сорок лет.

Разногласия с «Алтой» он утряс, обещав и впредь писать для газеты, но задержался на Западе на три месяца: с 22 апреля по 2 июля гастролировал в Калифорнии и Неваде, докладывал Блисссу, что залы полны и он уже к 1 мая «загреб» 1600 долларов. Составлял книгу, получившую в конечном итоге название «Простаки за границей» («Innocents Abroad»), казалось, что все просто, материал давно готов, но у него еще не было опыта работы над большими книгами, дело шло тяжело, часть очерков выбросил, оставшиеся переделал, добавил массу старинных легенд и

библейских историй. «Я работал каждую ночь с одиннадцати или двенадцати до самого утра, и раз за шестьдесят дней я написал двести тысяч слов, то на одну ночь приходится по три тысячи слов. Конечно, это ничто для сэра Вальтера Скотта или Стивенсона или многих других людей, но для меня это не так уж мало».

Он говорил, что терпеть не может романов с их искусственными сюжетами; повествование должно течь произвольно, «как в жизни», так что жанр путевых заметок для него был «самое то». Но и в этом жанре существовали каноны. О путешествиях было принято рассказывать в романтическом, приподнятом тоне: осматривали великие произведения искусства и архитектуры, их величие сразу осознали, если чем-то положено восхищаться, то восхищались. Твеновский же «простак», как Иван-дурак, ко всему подходит непредвзято, без романтизации: если видит грязную лужу, то так честно и пишет, и не пытается морочить голову читателю, делая вид, что разбирается в искусстве. «Я прихожу к заключению, что если я с торжеством решаю, что наконец-то обнаружил по-настоящему прекрасную и достойную всяческой похвалы старинную картину, то мое удовольствие при виде ее — неопровержимое доказательство, что эта картина вовсе не прекрасна и не заслуживает никакого одобрения. В Венеции это случалось со мной несчетное число раз. И всегда гид безжалостно растаптывал мой зарождающийся энтузиазм неизменным замечанием:

— Это пустяки, это Ренессанс.

Я не имел ни малейшего представления, что это еще за Ренессанс, и поэтому мне всегда приходилось ограничиваться ответом:

— А! В самом деле, я как-то сразу не заметил. <...>

Наконец я сказал:

— Кто такой этот Ренессанс? Откуда он взялся? Кто позволил ему наводнять Венецианскую республику своей отвратительной мазней?»

Автор-«простак» на самом деле человек не простой: он знает историю, владеет изящным слогом и романтике не чужд. «Венеция — надменная, непобедимая, великолепная республика, чьи армии на протяжении четырнадцати столетий вызывали невольное восхищение всего мира, где бы и когда бы они ни сражались, чей флот господствовал над морями, чьи купеческие корабли, белея парусами, бороздили самые далекие океаны и заваливали ее пристани товарами из всех частей света, — Венеция впала в бедность, безвестность и печальную дряхлость. <...> Древняя праматерь всех республик — едва ли подходящая тема для пустого острословия или бездумной болтовни туристов. Есть что-то святотатственное в том, чтобы

тревожить ореол романтики прошлого, которая рисует ее нам в дали веков, как бы сквозь цветную дымку, скрывая от нашего взора ее упадок и запустение. Нет, лучше отвернуться от ее лохмотьев, нищеты и унижения и помнить ее только такой, какой она была, когда потопила корабли Карла Великого, когда смирила Фридриха Барбароссу или развернула победные знамена на стенах Константинополя». (Не забудьте, это пишет человек, не окончивший даже средней школы.) Этот «простак» — существо окультуренное. Но дар художника позволяет ему видеть вещи не так, как их полагается видеть, заранее зная из книг, что они должны означать, а так, как видит ребенок, как Толстой, любивший тот же прием, видит балет («одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую»), — и это как бы не замутненное культурой зрение очень ему пригодится, когда он станет писать свои главные книги.

«Простак» — не только повествователь, но и американец вообще, ясным и наивным взглядом снимающий шелуху с древних цивилизаций, красотой маскирующих пороки. «Простак» — создания довольно вульгарные: «Куда бы мы ни прибыли — в Европу ли, в Азию или в Африку — всюду мы производили сенсацию и, осмелюсь прибавить, несли с собой голод и опустошение. Никто из нас до этого нигде не бывал, все мы приехали из глухой провинции; в путешествии этом для нас была захватывающая прелесть новизны, и мы дали волю всем своим природным инстинктам — не церемонились, не связывали себя никакими условностями. Всем и каждому мы спешили дать понять, что мы американцы — американцы, не кто-нибудь! Убедившись, что лишь немногие чужеземцы слыхали о существовании Америки, а весьма многие знали лишь, что это какая-то варварская страна где-то на краю света, которая недавно с кем-то воевала, мы посокрушались о невежестве Старого Света, но ни на йоту не усомнились в собственной значительности». И все же критики не сомневаются, что Твен превознес Америку в противовес Старому Свету: да, мы неотесаны, зато свободны и телом чисты — а вы, погрязшие в сословном неравенстве, условностях и нечистотах, вы, у которых на каждом шагу музей, а бедняки не знают мыла, — чем вы лучше?..

Не так давно вырвавшиеся из-под опеки Британии, американцы испытывали по отношению к Европе двойственные чувства: гордились тем, что построили новое общество без сословных предрассудков, где граждане равны, но и ощущали свою культурную неполноценность. Вот-вот на

литературную сцену выйдет Генри Джеймс: значительную часть работ он посвятит столкновению культур, признает своих земляков невинными и «неиспорченными», но все же сделает выбор в пользу Европы, ибо «невинность» оборачивается ограниченностью, инфантилизмом, духовной узостью; лишь за океаном «простодушный дикарь» может развиваться в полноценную личность. Такой же выбор сделает романистка Эдит Уортон, сбежит даже Брет Гарт, певец Дикого Запада, а позднее американские писатели в Европу валом повалят: Гертруда Стайн, Эзра Паунд, Томас Элиот, Хемингуэй, Фицджеральд. Для них переезд — сознательный отказ от провинциальной страны, где скучно и тесно. Твен, один из немногих и единственный из гигантов, выбрал родину — и та (не сразу) ответила ему обожанием и преклонением.

Несколько глав он дал Брет Гарту для журнала «Оверленд мансли», публикация вызвала скандал: непочтительность к святым местам, издевательство над религией. 20 мая в сан-францисской «Морнинг колл» появилась анонимная статья (авторство установить не удалось) «Марк Твен в церкви», где говорилось, что Твен по возвращении из Святой земли «бегал от священников, как собака от загонщика, чтобы они не задали ему выволочку», а потом пришел в церковь и униженно просил прощения за то, что оскорбил Господа. Он, однако, считал, что Христа оскорбили другие — те, для кого важен не Он, а дешевые реликвии, разрекламированные людьми, и 23 мая написал ответ — «К вопросу о неприкосновенности» («I Rise to a Question of Privilege»): «Если б я мог, я бы разнес в пух и прах все палестинские безделушки, чтобы людям было не на что там глазеть, и они видели бы лишь Голгофу, что заставляет забиться чаще самое бесчувственное сердце. Я оставил бы ее, чтобы она поведала о Нем, о том, кто страдал, и затмила бы все прочие «святые места», чья святость весьма сомнительна». Статью согласились взять «Сан-Франциско ньюс леттерс» и «Калифорния Эдвертайзер», но автор сам передумал ее печатать (она опубликована лишь в 2009 году): в нем уже понемногу начал проявляться страх, которого не знал Томас Пейн, — страх испортить репутацию и отношения с людьми.

Брет Гарт сказал, что книга груба, рекомендовал смягчить отдельные выражения — Твен послушался (он на удивление охотно позволял коллегам и друзьям себя править): Вифезда стала «водой», а не «сточной ямой», и т. д. Один фрагмент, который Гарт велел выкинуть, также не публиковался до 2009 года: «Врата дьявола» («The Devil's Gate») — так называется шахтерский поселок, жителям которого надоело, что все осуждают это имя, и они переименовали его в «Пасть Иеговы». Гарт, однако, руководствовался

не только соображениями пристойности. Он сказал, что история приведена «ни к селу ни к городу», — а Твен действительно всю жизнь страдал тем, что вставлял в книги десятки не идущих к делу анекдотов. У него в отличие от большинства писателей не было проблем с тем, чтобы выбросить лишнее: он родился мастером малой формы и почти каждый раз, когда брался за объемную книгу, обнаруживал, что она получается слишком тощей, и начинал запихивать в нее все что под руку попадет.

2 июля он в последний раз выступал в Сан-Франциско, сам написал листовки, в которых некие «почтенные граждане» требовали его изгнания из страны, — знал толк в рекламе. Но успех и без этого был грандиозный. В НьюЙорк отправился снова морем — всегда предпочитал месяц плыть по воде, чем три дня ехать посуху. 4 августа предоставил Блиссу рукопись — опять проблемы, многое из того, что оставил Брет Гарт, считал нужным убрать издатель. Описание того, как паломники воровато отламывают у памятников куски, — нехорошо. Шутка «Побывав на Ближнем Востоке, Господь вряд ли захочет вернуться туда еще раз» — кощунство. Название, которое предлагает автор, — тоже кощунство: «Путь новых паломников», пародия на «Путь паломника» Беньяна, книгу, высоко чтимую верующими. Твен, позволявший кромсать свои работы друзьям, но не издателям, проявил упорство и настоял, чтобы его название осталось хотя бы как подзаголовок. Дирекция «Америкэн паблишинг компани» все равно отказывалась издавать неприличную книгу, но Блисс путем шантажа сумел ее отстоять.

Еще в Сан-Франциско Твен получил от Джервиса Лэнгдона письмо с приглашением «заглядывать» и в течение августа — ноября 1868 года, курсируя между Хартфордом, Нью-Йорком и Эльмирой, навестил семью Оливии пять раз. В первый раз пробыл неделю, начал робко ухаживать. Его поразило, как ласковы были друг с другом и детьми Джервис и его жена: в своей семье он ничего подобного не видел. В театр ходить было не положено, но дома по вечерам музицировали, смеялись. Одновременно с ним у Лэнгдонов гостила их молодая родственница Хэтти Льюис, вспоминавшая: «Моя кузина Оливия и я немного волновались: как нам развлекать холостяка, да еще писателя! Нам было неясно: как он будет себя вести? Будет ли он все время шутить? И должны ли мы делать то же? Я чувствовала, что имею одно преимущество перед кузиной. Она была богата, красива и умна, но у нее не было чувства юмора и она не понимала шуток, пока ей их не разъяснят. Но скоро я обнаружила, что мое чувство юмора ничего не значило в сравнении с достоинствами кузины. М-р Клеменс очевидно предпочел ее серьезность моей несерьезности». У мисс

Льюис был острый глаз: Твену действительно больше всего в Оливии нравилось ее серьезное, «положительное» отношение к жизни («Миссис серьезность» — так он ее будет потом звать), и его не смущало, что к его остроумам она остается холодна.

У советских твеноведов почему-то сложилась традиция унижать Оливию — ограниченная, фанатично религиозная ханжа, мешала мужу критиковать буржуазную действительность, — и потому большая часть автобиографических фрагментов, в которых Твен рассказывал о жене, на русский не переводилась. Девушка в самом деле казалась скучноватой и большого количества поклонников не имела, несмотря на красоту. Но в нее надо было всмотреться. «У нее был непринужденный смех девочки. Она смеялась редко, но когда это случалось, то звучало музыкой». «Она была стройна, и красива, и ребячлива — и она была женщиной и девочкой одновременно. Она осталась такой и в последний день ее жизни. Под серьезной и сдержанной наружностью пылали неугасимые костры дружелюбия, энергии, преданности, энтузиазма и безграничной любви. Она была слаба здоровьем, но ее поддерживала сила духа, ее оптимизм и храбрость были неистребимы. Совершенная искренность, абсолютная правдивость были у нее врожденными. Она судила о людях уверенно и точно. Ее интуиция почти никогда ее не обманывала. В ее суждениях о характерах и поступках друзей и посторонних всегда было место милосердию. Я сравнивал ее с сотнями людей и остаюсь в убеждении, что я никогда не знал человека с таким чудесным характером. Она всегда была жизнерадостна и умела передать свою жизнерадостность другим. В течение девяти лет, что мы жили трудно, в бедности и долгах, она всегда умела вывести меня из отчаяния, найти свет среди туч и заставить меня увидеть его. <...> Это была странная комбинация — я говорю о нашем браке — ее характер и мой. Она изливала свою привязанность в бесчисленных поцелуях, нежностях и ласковых словах, обилие которых всегда меня изумляло. Я вырос в обстановке, где не поощрялись ласки и нежные речи, и ее нежность обрушилась на меня, как летом морские волны обрушиваются на Гибралтар».

Нежность, однако, проявилась не сразу. Оливия потом призналась мужу, что в ту первую неделю все от него смертельно устали. Он объявил Чарльзу, что влюблен в его сестру, — тот возмутился; сделал предложение самой девушке — она отказала. Ее родители и подруги были в ужасе. Жених невозможный: беден, профессия сомнительная, репутация тоже, одет как чучело, дымит как паровоз, говорят, что он алкоголик, не умеет вести себя за столом, в церковь ходит нерегулярно, говорит с жутким

южным акцентом. Его рыжие кудри, необычная красота и подвижная, изящная фигура тоже вызывали неодобрение: мужчина в 33 года должен иметь благообразное лицо, холеную бородку и небольшое, но респектабельное брюшко, а это что за фитюлька? Но на прощание Оливия пролепетала, что будет относиться к нему как сестра. Это давало слабую надежду. Письмо от 7 сентября — первое после отказа:

«Я не раскаиваюсь, что любил Вас, люблю и буду любить. <...> Я прошу Вас писать мне иногда как другу, который, как Вы понимаете, будет делать все, чтобы быть достойным Вашей дружбы, или как брату, который ставит честь сестры так же высоко, как свою, ее желания для него закон, ее невинные суждения для него выше, чем вся людская мудрость... Пишите мне изредка хоть что-нибудь — тексты из Евангелия, если не придумаете ничего другого, или о вреде курения, или цитируйте Ваш сборничек проповедей — да что угодно. Мне достаточно знать, что это от Вас. Моя благородная сестра, Вы так добры и так прекрасны — и я так горжусь Вами! Дайте мне маленькое местечко в Вашем большом сердце — совсем маленькое — и если я не сумею заслужить его, то навек останусь бездомным бродягой! Если Вы и матушка Фербенкс будете время от времени ругать и бранить меня, я буду идти своим путем без страха...»

Отвергнутые, учитеесь, письмо профессиональное — надо быть камнем, чтобы не растрогаться, и душой, чтобы отказаться от лестной и ни к чему (как будто) не обязывающей роли наставницы, а ненавязчивое упоминание о «матушке Фербенкс», которая, как знала Оливия, совсем не годилась Сэму в матери, вызовет ревность. Девушка приняла предложенную роль и в тот же день отвечала, что «будет молиться за него каждый день» и просит его «молиться с нею вместе». Он: «Ничьи слова никогда не трогали меня так, как Ваши... Прошу, продолжайте молиться за меня, ибо я слабо надеюсь, что эти молитвы не могут быть совсем напрасны. В одном отношении, по крайней мере, это должно быть не напрасно — я исправлюсь и со временем стану достойным Ваших молитв и Вашей доброты и сестринской заботы. Более того (мне было нелегко заставить себя написать эти слова, которые, однажды произнеся, нельзя взять обратно), я буду присоединять мои молитвы к Вашим, раз Вы об этом просите, и буду делать это со всей имеющейся у меня верой и энтузиазмом, хотя я понимаю, что мои молитвы не могут иметь большой ценности». Он все время подчеркивал, что Оливии предстоит исправлять его еще долго-долго... В любви искренность, кокетство и расчет неотделимы друг от друга.

Из книги Сюзи: «Вскоре папа опять приехал на Восток, и они с мамой

поженились». Комментарий Твена: «На самом деле все шло далеко не так гладко. Было сделано три или четыре предложения и столько же получено отказов. Я разъезжал по стране с лекциями, но успевал время от времени заглядывать в Эльмиру и возобновлял осаду». Второй отказ был в середине сентября, после чего ухажер помчался в Кливленд к «матушке Фербенкс» — советоваться. Придумал план: надо как-то задержаться у Лэнгдонов надолго. «Сколько я ни ломал голову, все мои выдумки казались слишком прозрачными; я даже себя не мог обмануть, а уж если человек не может обмануть самого себя, едва ли ему поверят другие. Но наконец удача пришла, и с совершенно неожиданной стороны. То был один из случаев — столь частых в прошедшие века, столь редких в наши дни, — когда в дело вмешалось провидение». Провидение приняло облик лошади, которая понесла, когда он, в третий раз изгнанный, собирался уезжать: прикинулся, что подвернул ногу, добрым самаритянам пришлось нести раненого в дом, где он пролежал десять дней. Ему опять отказали, но он почувствовал, что дело движется. Теперь самое умное — на время исчезнуть. Пусть она соскучится.

Он колесил из Нью-Йорка в Хартфорд, улаживал дела с книгой, писал рассказы. В октябре написал то, что можно считать наброском к «Тому Сойеру», — «Дневник мальчика» («Boy's Manuscript»; при жизни не публиковался), первую из череды историй о детстве в Ганнибале: восьмилетний Билли влюбился во взрослую девушку и мечтает сломать ногу на ее пороге, точь-в-точь как 33-летний Сэмюэл. В ноябре английская газета «Лондон Бродвей» (в Англии уже вышла «Лягушка» и Твен становился популярным) опубликовала «Людоедство в поезде» («Cannibalism in the Cars») — людей занесло снегом и они решают, кого съесть, — пародия на процедуру выборов: «Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придирается к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересует нас прежде всего, объем, вес и масса — теперь это самые высокие достоинства». «Чернокожий слуга генерала Вашингтона» («General Washington's Negro Body-Servant») — пародия на сентиментальные рассказы, сюжет заимствован у Барнума, который купил слепую восьмидесятилетнюю рабыню и демонстрировал ее, рассказывая, что ей 161 год и она была нянечкой Вашингтона. Твен лишь заменил женщину на мужчину.



Блисс предложил новый тур «лекций» — надо продвигать «Простаков». Твен выговорил условие, что будет выступать в Эльмире, 17 ноября начал турне по Востоку, открыл его в Кливленде и там, не исключено, получил от «матушки Фербенкс» какой-то умный совет, ибо его четвертое предложение Оливия приняла. Миссис Клеменс не оставила мемуаров, и о том, почему она переменила решение, можно судить лишь по письму подруге Элис Хукер: «Эта большая любовь медленно, постепенно проникала в мое сердце — и завладевала мною всецело». Родители, однако, продолжали говорить «нет»: Джервис был серьезно болен, подозревал, что дни его сочтены, Оливия унаследует четверть миллиона долларов, жених, кроме того, что был плох сам по себе, мог оказаться искателем приданого. Состоялся тяжелый разговор с будущим тестем, тот упрекал Сэма за тайные ухаживания. Но долго противиться желанию дочери родители не смогли (ей уже 23 года, а другого-то жениха нет) и согласились на тайную помолвку, состоявшуюся 26 ноября.

Туичеллу, 28 ноября: «Услышь громкий звук бубна и дай себе волю на всю катушку! — я бился, и я выиграл бой! Я победил! Отвергнутый трижды — изгнанный однажды — принятый наконец — и любимый! — клянусь духом великого Цезаря, если бы в городе была церковь с достаточно высоким шпилем, я бы пошел и перепрыгнул через него! Я осаждал ее родителей 48 часов, и в конце концов они не смогли выдержать осаду и сдались, и они дали условное согласие — то есть если ее чувства останутся неизменными, и я докажу, что не совершил ничего преступного и постыдного в прошлом и буду хорошо вести себя в будущем и остепенюсь, я смогу получить солнце их семьи, ангела их домашнего очага. (Гром аплодисментов!) Она ощутила первые симптомы чувства вечером воскресенья — в понедельник, день моей лекции, болезнь проявилась — вторник и вечер вторника она избегала меня и была со мной лишь вежлива, потому что ее родители сказали «НЕТ» категорически (почти!) — в среду они сдались и вышли с поднятыми руками — в среду вечером она сказала и повторяла, и повторяла, и повторяла, что любит меня, но жалеет об этом и надеется, что это пройдет, — в четверг я рассказывал ей о прекрасном браке Вашем с Вашей женой, и мой энтузиазм показал во мне лучшие чувства, и к моим глазам подступили слезы — и она вскочила и сказала, что счастлива и горда, что любит меня! — в пятницу вечером я уехал (чтобы не давать повода к сплетням) — и ее последние слова были: «Напишите немедленно и пишите так часто, как только можете!» Ур-ра!!! (Взрыв аплодисментов.) <...> Я так счастлив, что мне хочется кого-нибудь оскальпировать...»

В тот же день Мэри Фербенкс: «С этого дня я не притронусь к спиртному (хотя не давал обещания), я не сделаю того, что причинит боль Вам и Ливии, — и я буду искать общества хороших людей — я буду христианином. Я буду подниматься все выше к солнцу, что сияет в небесах моего счастья, до тех пор, пока все грубое во мне не растает в тумане и не останется там, внизу... Я буду достойным. Ливи верит в меня... Я верю в себя... Я верю в Бога — и через тучи я вижу звезду надежды, поднимающуюся в спокойной синеве». Памеле: «Когда я окончательно остепенюсь, когда стану христианином, когда докажу, что я хорош, устойчив, надежен, ее родители снимут свои возражения и она сможет выйти за меня». И наконец невесте: «Никогда еще я не читал лекции, в которой было бы столько ошибок. Все время было: Ливи, Ливи, Ливии, Ливи! На одну фразу о вандалах приходилось десять о Вас. Ничего не значащая лекция была потеряна, скрыта, разбита и похоронена под бесконечной вселенной Ливи!!!»

С 17 ноября 1868-го по 20 марта 1869 года он выступил пятьдесят раз в сорока двух городах, каждую ночь проводя в дороге. Получал 100 долларов за вечер — не самая высшая такса, первоклассные звезды — Генри Бичер, Анна Дикинсон, другая женщина-писатель Фанни Кембл, активист Общества трезвости Джон Гоф, юмористы Петролеум В. Нэсби (псевдоним Дэвида Росса Локка) и Джош Биллингс (псевдоним Генри У. Шоу), зоолог Луи Агассис — получали от 200 до 400 долларов. Но все же это были большие деньги, и он уже видел, что сумеет со временем достать конкурентов. Матери: «Я играл против восточного фаворита, Фанни Кембл, в Питсбурге. У нее было 200 человек, а у меня чуть не 1500». Люди выходили на улицы — увидеть его, газеты обсуждали его знаменитые паузы и ужимки. Посетил Ганнибал, Сент-Луис, Кеокук, снова Кливленд, там купил для невесты кольцо, писал ей ежедневно: «Я благодарю Бога, что Вы не совершенны. Бог запрещает, чтобы Вы были ангелом. Я не гожусь в мужья ангелу и не буду годиться. Но я смогу постепенно достичь Вашей высоты».

Доказать Лэнгдонам, что жених не совершил ничего «преступного и постыдного» и способен «исправиться», должны были какие-нибудь почтенные люди. Оливия-старшая обратилась к Мэри Фербенкс: для нее и мужа «была неожиданностью и почти шоком речь м-ра Клеменса о его любви», «наши родительские сердца в первый момент отвергли мысль о незнакомце, желающем похитить наше сокровище». Она признавала, что жених «талантлив» и «чувствителен», но просила Мэри сказать, что он за человек и «намеревается ли сделаться добрым христианином». Миссис

Фербенкс ответила, что Твен человек хороший, и обещала, что он непременно станет христианином, если уже не стал, ибо в нем произошли «серьезные перемены». Семья невесты, не исключая ее саму, считала жениха чем-то вроде клоуна, стыдилась его юморесок и вульгарных «лекций», он и сам стыдился, говорил, что его книги дрянь. «Не читайте ни слова из «Лягушки», Ливи. Не надо. Мне крайне неприятно упоминание об этой позорной книге. Я был бы рад знать, что все экземпляры сожжены. Я никогда не буду писать ничего подобного». «Бедная девочка, — писал он позже Мэри Фербенкс, — любой, кто мог убедить ее, что я не был юмористом, обеспечил бы ее вечную благодарность! Она думает, что юморист — это нечто ужасное». Мэри прислала Лэнгдонам свою статью из мужниной газеты, где говорилось, что Твен «доказал, что можно быть юмористом, не будучи клоуном. Он возвысил свою профессию и вызывает у аудитории более высокие чувства, нежели просто желание посмеяться».

Вопреки расхожему мнению о злонамеренности тещ растопить сердце тестя, обожающего дочь, бывает куда трудней. Сэм, кажется, искренне полюбил Джервиса, видел в нем что-то вроде отца, восхищался его умом, силой, удачливостью, перенимал его политические взгляды (в особенности на «негритянский вопрос»), писал ему: «Вы прекраснейший человек в мире!» — но тот еще больше настораживался. В конце декабря Лэнгдон прислал Твену гневное письмо, укоряя за «недостойное поведение в гостинной». Из ответа неясно, что натворил жених — то ли похлопал тестя по плечу, то ли целовался с невестой. «Мое письмо, боюсь, оскорбит Вас снова, но, право же, у меня не было никакого злого умысла, никакого легкомыслия, никакого недостатка почтения. Намерение было самым добрым... Не я тороплю мою любовь — моя любовь торопит меня... Я думаю, что м-с Лэнгдон была копией своей дочери в 23 года... и я прошу Вас вспомнить прошлое и понять мое поведение. В Вашем возрасте, став, подобно Вам, объектом всеобщего уважения, я тоже буду призывать молодых людей к умеренности и сдержанности, это непременно так будет, но сейчас... нет, мне не кажется, что я сделал что-то неприличное. <...> Вы смешиваете бьющую через край радость с преступной фривольностью. Это немного несправедливо — возможно, я сказал что-то бестактное, но ничего худшего тут не было. Инцидент в гостинной не мог огорчить Вас больше, чем меня самого. Но я принимаю Ваш упрек, не пытаюсь защищаться, и раскаиваюсь в причиненной обиде так сильно, как если бы она была намеренной».

Джервис не ответил, Сэм опять ему писал, изложил свою биографию: «Боюсь, большая часть моей жизни на тихоокеанском побережье не

соответствует требованиям утонченной восточной цивилизации, но там это не считалось предосудительным». Лэнгдон потребовал рекомендаций от уважаемых граждан Калифорнии. Твен предложил странный список, в котором не было ни одного друга, — «они стали бы лгать ради меня». Бывший губернатор Калифорнии Джонсон, действующий губернатор Блэйсделл, журналист Свен из газеты «Сан-Франциско Минт», три священника, из людей более-менее близких — Брет Гарт и Джозеф Гудмен. «Я думаю, что никто из тех, к кому я Вас отсылаю, не сможет сказать, что я совершил что-то подлое или преступное. Они скажут, что двери, что были открыты для меня семь лет назад, открыты и теперь; друзья, которые были у меня семь лет назад, все еще мои друзья; всюду, где я бывал, я могу с чистой совестью появиться снова; я никогда никого не обманывал, не вводил в заблуждение и не должен никому ни цента... Все остальное, что они обо мне скажут, будет плохое». Большая часть рекомендательных писем, полученных Лэнгдоном, не сохранилась, но если судить по имеющимся, ничего хорошего в них не было. Преподобный Стеббинс сообщил, что «Марк довольно-таки сумасбродный, но, кажется, безвредный». Преподобный Уодсворт назвал его «нежелательным зятем», еще один пастор, Джеймс Роберте, написал: «Я лучше бы похоронил свою дочь, чем выдал ее за такого парня».

«Когда с чтением писем было покончено, наступила долгая пауза, заполненная торжественной печалью. Я не знал, что сказать. Мистер Лэнгдон, по-видимому, тоже. Наконец он поднял свою красивую голову, устремил на меня твердый, ясный взгляд и сказал:

— Что же это за люди? Неужто у вас нет ни одного друга на свете?

Я ответил:

— Выходит, что так.

Тогда он сказал:

— Я сам буду вам другом. Женитесь. Я вас знаю лучше, чем они».

В жизни все было сложнее. Лэнгдон, кажется, признал, что будущий зять не преступник, но по-прежнему видел в нем «плохого христианина». Тот вину признавал: «Я сейчас исполняю все христианские обязанности, но вижу, что мне недостает главного компонента благочестия — «особого нравственного чувства», то есть внутреннего убеждения, что все, что я делаю, я делаю из любви к Спасителю». Однако далее продолжал: «Я встал на верную дорогу и надеюсь преуспеть. Люди, подобные мне, обретали Бога, и почему я не могу?» Гастрольный тур — не самая подходящая обстановка для обретения благочестия: днем потешал публику, вечера проводил в неуютных гостиницах, в громяющих поездах, Сочельник

встречал в Лэнсинге (напился в компании старых знакомых, растроганно писал матери об Иисусе и волхвах), Рождество в Шарлотте, Новый год в Экроне. Невесте: «В минувшем году я был готов приветствовать любой ветер, который унес бы мой кораблик за границу, все равно куда — в новом году я ищу и желаю дома и стабильности... Я, доселе бездомный, в этот последний день умирающего года обрел бесценный дом, убежище от всех невзгод в Вашем горячем сердце».

Он написал ей за время разлуки более ста писем. Говорил о будущем доме: «Рисуйте, пожалуйста, картины нашего семейного счастья, с окном-фонариком, с камином в гостиной, и цветы, и картины, и книги...» Этот дом он противопоставлял внешнему миру: «Пусть большой мир изнемогает в трудах и борьбе и нянчит свои игрушечные страсти, пусть сверкает и грохочет и порывами ветра ударяет в наши окна и двери, но никогда не переступит нашего священного порога». Он уже не только требовал, чтобы Оливия наставляла его, но и сам начал ее наставлять: она не должна иметь с «большим миром» ничего общего, не должна читать ни Свифта, ни Шекспира, пока кто-то старший не скажет ей, какие абзацы можно прочесть без ущерба для ее чистоты. «Я хотел бы, чтобы Вы всегда оставались чистой как снег, неиспорченной, не затронутой чужими грязными мыслями». (Все эти глупости в браке моментально пройдут.)

Он с горечью признавался, что почти отчаялся обрести религиозное чувство. Но тем временем Лэнгдоны, обнаружившие, что дочь не может без него жить, капитулировали окончательно и дали понять, что скоро возможна официальная помолвка. «Ливи, давайте считать, что Бог предназначил нас друг для друга... Будем надеяться и верить, что мы пройдем всю долгую жизнь рука об руку, как одно целое, в любви и поклонении Ему. <...> Я благодарю Вас, Ливи, за Ваше религиозное рвение — и с каждым днем благодарю все больше, потому что с каждым днем я лучше могу это понять и оценить. Я еще «темный», я вижу, что все еще полагаюсь в жизни на собственные силы и собственное представление о том, что хорошо, — но не всегда, Ливи, не всегда. Иногда, смутно, временами, я ощущаю присутствие Спасителя... Я боюсь, что отверг бы веру, которая свалилась бы на меня внезапно, она должна прийти постепенно, шаг за шагом...» (Процитированное письмо завершалось веселым рассуждением о том, что Оливия ничего не смыслит в стряпне и это его радует: заведут кухарку.) Он все совершенствовался: 16 января писал невесте, что поссорился с человеком, а потом раскаялся и просил прощения, — это благодаря ей. 19-го: «Вы искорените все мои недостатки, когда мы поженимся, и воспитаете меня, и сделаете из меня образцового

мужа и украшение общества — не правда ли, моя дорогая, несравненная?» 26-го: «Раньше я был тем, что Вам ненавистно... Но теперь я не такой; все, за что я борюсь и буду бороться, — это достигнуть самой высшей степени христианского совершенства». В этом бесконечном самоуничижении уже можно уловить нотку иронии. «Сказать по правде, я Вас так люблю, что способен вести себя плохо лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие, слушая, как Вы меня ругаете...»

Помолвка состоялась 4 февраля 1869 года. Туичеллу: «Я теперь уже не так много вздыхаю, стенаю и вою, нет, я ощущаю себя безмятежным и самодовольным — и я чувствую огромную жалость ко всем остальным...» Но он привык считать себя виноватым и уже через несколько дней писал родителям невесты, что раскаивается в том, что «украл» их дочь и разрушил их семейное счастье, и «стонал и выл» так, что они начали побаиваться, как бы он не передумал.

## Часть третья

### Северо-Восток

*Мы покорно уложили свои поцарапанные чемоданы в автомобиль и поехали в Гартфорд, штат Коннектикут, где провел свои зрелые годы великий американский писатель Марк Твен. Здесь нас сразу же честно предупредили: — Имейте в виду, Гартфорд — это еще не Америка.*

*Когда мы все-таки стали допытываться насчет местонахождения Америки, гартфордцы неопределенно указывали куда-то в сторону.*

*Ильф и Петров. Одноэтажная Америка*

***Гарвард, Йель, Лонгфелло, Бостонское чаепитие, «отцы-пилигримы», кленовый сироп, готические крыши, маленькие церквушки, трудолюбие, бережливость, изобретательность, салемские ведьмы, Готорн, русские березки, Солженицын, слег, медведи, Стивен Кинг.***

## Глава 1

### Том Сойер и брюква

Где жить и откуда взять денег? Первоначально Твен хотел обосноваться в Кливленде, «под крылом» Мэри Фербенкс. Ее муж соглашался продать одну восьмую долю «Кливленд геральд» за 25 тысяч долларов — дороговато. В Хартфорде удобно жить рядом с Блиссом и Туичеллом, можно приобрести долю в газете «Куранты», но тоже дорого. Он интересовался газетами во всех городах, всюду требовалось больше десяти тысяч, за тур он заработает восемь, но Лэнгдоны не хотят, чтобы он выступал, а ведь надо и на жизнь что-то оставить. Еще до помолвки писал матери: «Ливи думает, что мы сможем прожить на очень скромные средства и при этом не нужно будет читать лекции. Я отлично знаю, что она сможет прожить на маленький доход, но не уверен, смогу ли я». После помолвки — матери и Памеле: «Мои дорогие, прилагаю 20 долларов для мамы. Я рассчитывал, что смогу выслать вперед 35, но вместо этого оставил ее вообще без денег. Я не хотел этого. Но, видите ли, когда человек собирается жениться, он становится скареным и экономит деньги до того момента, когда они станут необходимы. Я стремлюсь занять такое положение, чтобы хорошо содержать семью своими силами, потому что я так долго сам тащил свою лодку, что теперь не могу позволить никому помогать мне, — мой будущий тесть так добр, что хотел бы дать нам старт в жизни, но я не хочу идти этим путем... Я могу обойтись без помощи, и у меня будет жена, которая останется со мной как солдат и в победах, и в поражениях, и никогда не станет жаловаться. <...> Она будет хорошей, рассудительной маленькой женошкой, без сомнения. Я вовсе не защищаю ее перед вами заранее и не прошу, чтобы вы ее любили — потому что в этом нет надобности — вы просто не сможете не полюбить ее. (Смогут. — М.Ч.) Я предупреждаю вас, что каждый, кто сходится с нею, становится ее рабом навсегда. Я готов утверждать это под присягой. Ее отец, мать и брат постоянно ласкают ее, как будто она их возлюбленная, а не родня. Она имеет безграничную власть над своим отцом, но никогда не использовала ее кроме как для помощи другим людям...»

Завершив тур 20 марта в Шэроне, он прибыл в Эльмиру и оставался там до середины мая, иногда выезжая к Блисссу. Процесс «перевоспитания» продолжался, но к его христианским чувствам взывали уже реже, сосредоточившись на «дурных привычках». Год спустя после свадьбы он



сказал Туичеллу, что «перестал бы носить носки или класть сахар в кофе, если б Оливия сочла это безнравственным».

Его называют подкаблучником, но основано это мнение на его собственных словах. На самом деле он всю жизнь делал что хотел. Неясно, много ли он в молодости пил: сам, естественно, рассказывал, будто с утра до вечера валялся по канавам; много лет до брака и в браке имел обыкновение перед сном выпивать стаканчик виски, но однажды решил, что можно без этого обойтись, — и в дальнейшем спокойно обходился. Сигары же остались его усладой. Он начал сопротивляться еще до свадьбы: «Для меня курение — как указательный палец на левой руке: если бы Вы всерьез потребовали его отрезать и я видел, что Вы действительно этого хотите, и предполагалось бы, что этот палец неким загадочным образом портил мою жизнь, и я бы понял, что Вы не можете быть счастливой, пока я его не отрезал, даю слово, что отрезал бы его... Никто не убедит меня, что умеренное курение губительно. Но я брошу эту приятную и безвредную привычку сразу, как только Вы скажете, что хотите этого. Это будет жертва — точно такая же, как если бы я попросил Вас не ходить в церковь, зная, что никакие аргументы не смогут убедить Вас». Оливия была пристыжена и оставила его в покое. В марте он продолжал твердить, что плох, страдает от этого и «сделает все, чтобы быть ее достойным», — но к маю тон переменялся: «Мы знаем друг друга достаточно хорошо, чтобы терпеть наши слабости и даже глупость (мою)...»

Весной пришли гранки «Простаков». «Читая вместе с невестой корректуры книги и идя навстречу ее буржуазно-респектабельным вкусам, он [Твен] провел дополнительную, смягчающую правку». Оливия в самом деле редактировала работы мужа, «цепляясь» к каждому слову (в случае с «Простакми» ее поправки не сохранились, но в дальнейшем мы увидим, какие слова ей не нравились), но она была далеко не единственным человеком, которому Твен предлагал нещадно править себя; редакторы называли его самым покладистым автором на свете, и он настаивал на своем лишь в редких случаях — когда из его работ пытались сделать что-то уж совсем невообразимое. (Дозволяя правку «цензурного» характера, он не терпел попыток править его тексты стилистически — ругался из-за каждой запятой, всех корректоров называл идиотами и имел на то право, поскольку обладал безошибочным, идеальным чувством слова.) Книга с иллюстрациями знаменитых художников Фэя и Коха и с посвящением матери вышла в июле, распространялась по подписке — так тогда работало большинство американских издательств: агенты еще до публикации ходили по домам, собирая заказы и аванс.

Стоили «Простаки» три с половиной доллара, первый тираж 25 тысяч экземпляров (5 тысяч разлетелись за месяц), вскоре последовал второй, а за три года было продано 100 тысяч экземпляров (для книги о путешествиях это был рекорд, державшийся до 1910 года). Книга была пиратским образом издана в Англии, переводилась на множество языков (первый русский перевод — в 1897-м, с цензурными купюрами); американский консул в Гонконге рассказывал, что немедленного перевода потребовал китайский мандарин. Блисс заработал на «Простаках» 70 тысяч долларов за первый год, автор получил 12 тысяч, потом говорил, что его облапошили, и Блисса возненавидел. (С 1869 по 1879 год Блисс издал пять книг Твена общим тиражом 338 тысяч экземпляров.) Опасения «Америкэн паблишинг компани» не оправдались, публика была от свежей авторской манеры в восторге, рецензенты хвалили, никто не нашел ничего кощунственного, только критик Холланд назвал юмор низкопробным, а великий в ту пору и полузабытый ныне писатель Оливер Уэнделл Холмс сказал, что это «не литература». Брет Гарт объявил Твена «самым выдающимся американским юмористом», а утонченный критик Уильям Дин Хоуэлс, заместитель редактора бостонского «Атлантик мансли», приветствовал появление нового таланта — «самобытного» и «восхитительно нахального».

«Талант», однако, не верил, что писанием книг можно зарабатывать. Он собирался в новый лекционный тур, нашел компаньона, знаменитого комика Нэсби. Нотут Джервис Лэнгдон порекомендовал купить долю в газете «Буффало экспресс». Город Буффало, где Твен однажды бывал проездом, находился недалеко от Эльмиры, один из трех совладельцев газеты продавал свою долю за 25 тысяч долларов: он был редактором, а теперь Твен мог занять эту должность. Зять сказал, что заработает недостающие 15 тысяч выступлениями, но тесть настоял, чтобы покупка совершилась немедленно: он даст займы. Сделку оформили 12 августа 1869 года, Твен поселился в Буффало на временной квартире. Бродяга остепенился вмиг: он, оказывается, только и ждал случая стать серьезным человеком, начальником. Его первые рабочие недели описал репортер «Экспресса» Берри (очерк опубликован в 1873 году в журнале «Глоуб»): «Никто не ненавидел бездельников так, как м-р Клеменс, и никто не был более безжалостен к ним. Он энергично нападал на людей, которые без дела толклись в помещении редакции. Однажды вечером он застал в своем кабинете полдюжины незнакомых мужчин: они курили, положив ноги на столы, и не было ни одного свободного стула. М-р Клеменс с отвращением оглядел их и произнес в своей особенной манере, растягивая слова:

— Э-это реда-акция «Экспресса»?

— Да, сэр, — отвечали собравшиеся.

— Хм... Ска-ажите, принято ли здесь, чтобы редакторы сидели?

— Да, конечно, — отвечали озадаченные курильщики. — А что?

— А то, — медленно произнес м-р Клеменс, — что я являюсь одним из этих самых редакторов и мне пришло в голову, что я мог бы тут присесть...

Немедленно все стулья освободились, и люди, несколько смущенные, попытались обратить все в шутку, говоря: «Ах этот Клеменс, он всегда такой шутник». Но было что-то в его глазах, говорившее, что он вовсе не шутит... <...> Первые два месяца работы м-ра Клеменса в «Экспрессе» были чрезвычайно занятыми. С 8 утра до 10–11 вечера, иногда до полуночи он сидел за столом: писал передовицы, скрупулезно правил все тексты и добавлял в них остроумные параграфы. Дело было летом... Без пиджака, иногда даже без жилета, он сидел, развалившись на стуле, одна нога (разутая) на столе, другая в корзине для бумаг; воротничок, манжеты и галстук на полу вперемишку с бумагами, а шляпа валялась там, где упала с его головы».

Начальный период работы в «Экспрессе» был кратким — в конце октября надо ехать в тур, — но Твен успел дать понять, что не собирается быть только «клоуном». В первом же номере он опубликовал передовицу о вреде монополизма в угольной промышленности, обещал «не защищать интересы какой-либо партии, но писать правду и разоблачать несправедливость всюду, где она есть». Юмористику не бросил, разразился серией пародий и скетчей; в одном из рассказов тех дней, «Венере Капитолийской» («Legend of the Capitoline Venus»), усматривают выпад в сторону Джервиса Лэнгдона: скульптор хочет жениться на дочери богача, тот требует заработать за полгода 50 тысяч долларов, герой отбивает руки у одной из своих статуй, выдает ее за старинную находку и благополучно женится.

Отметим опубликованную 21 августа «Ниагару» («A Day at Niagara»), с которой началась долгая история «разоблачения» индейцев. «Благородный краснокожий всегда был моим нежно любимым другом. <...> Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни в горах и лесах, благородстве его души и величественной манере выражать свои мысли главным образом метафорами...» Наши литературоведы объясняли, что Марк Твен лишь высмеивал книжные штампы, но это не совсем так. Настоящий индеец появился чуть позднее в «Гэлакси», в рассказе «Благородный краснокожий» («The Noble Red Man»): «Нищий, грязный полуголый бродяга... Близость к

цивилизации его еще сильнее развратила. Он подл, низок, вероломен и злобен во всех отношениях... Ему свойственна главная черта всех дикарей — жадный потребительский эгоизм, его сердце — выгребная яма лжи, предательства, низменных и дьявольских инстинктов... Трусливый хвастун, он нападает исподтишка и тогда, когда его численность в 5 или 6 раз превосходит численность неприятеля; он убивает беспомощных женщин и младенцев, и режет мужчин спящими в кроватях, и потом всю жизнь хвастает этим». Современных американских критиков Твен поставил в труднейшее положение: надо доказывать, что классик не презирал, а уважал коренное население страны, но написанное пером не вырубишь и томагавком... «Дикарей» он, как мы уже поняли, вообще не жаловал (в тот период), но тут особенно разошелся — за что так? Нет свидетельств, что он лично когда-либо вступал в серьезные конфликты с каким-нибудь индейцем. Но еще в детстве он о них наслушался, а на Западе и посмотрелся.

«Индейские» войны велись с 1770-х годов: такие конфликты сопровождали любое освоение земель и всегда в конце концов кочевые племена бывали побеждены. В 1850-х годах началось освоение Калифорнии, пошли вооруженные столкновения: по мнению тогдашних белых, краснокожие «первые начали», нападая на мирных переселенцев, искавших лишь клочка земли, которой хватало на всех, и никого не собиравшихся убивать; индейцы были иного мнения. Случаи, о которых пишет Твен — убийства и скальпирования индейцами женщин и детей, — действительно имели место (в том числе между разными племенами индейцев задолго до появления белых); белые обучились у противника и при «зачистках» проявляли аналогичную жестокость. В 1851 году губернатор Калифорнии заявил, что «между расами будет вестись война на уничтожение, пока индейцы не вымрут». Но найти цивилизованное решение пытались, в 1860 году Законодательное собрание штата создало комитет для расследования преступлений как индейцев против белых, так и наоборот. Комитет пришел к выводу, что расовой войны нет и быть ей не с чего, а индейцам нужно выделять землю, ассигнования и защищать их права в законном порядке. Соответствующие законы принимались, но в общественном мнении краснокожие оставались исчадиями ада вплоть до прекращения столкновений в 1890-х годах.

В городах было немало «частично цивилизованных» индейцев: эти, как правило, много пили, избегали работы (а какую работу может делать, к примеру, охотник-эвенк в Москве?), занимались попрошайничеством, выглядели неряшливо и произвели на Сэма ужасное впечатление — в

отличие от трудолюбивых и чистеньких китайцев (заметим, что его самого в тот период характеризовали как распущенного неряху). Газеты были полны сообщений о жестоких нападениях индейцев, и хотя многие политики пришли к выводу, что спокойнее и выгоднее с аборигенами дружить, обыватель, кровожадный, как всюду (они нас взрывают/режут — поубивать этих черных/красных), этого мнения не разделял. Тогдашний Сэмюэл Клеменс был стандартным обывателем и повторял расхожие мнения. Под конец жизни он признает, что белые виноваты перед индейцами (о Дне благодарения — благодарим за то, что мы успешно уничтожили коренное население страны), но симпатизировать аборигенам не сможет. Он полюбит некоторые разновидности «дикарей», но индейцы и «латинос» всегда будут ему антипатичны — «политкорректоры» могут хоть в лепешку расшибиться, но ничего приемлемого на эту тему не найдут. Публичные люди тогда говорили о представителях других народов то, что думали, а думали, как правило, плохо («жидки» и «полячки» Достоевского); ни к чему хорошему это не привело, но такие уж были времена.

В те же месяцы в «Экспрессе» появилась знаменитая «Журналистика в Теннесси» («Journalism in Tennessee»): «Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал:

— Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

— Ага, — сказал он, — это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец. <...> Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками. Он сказал:

— Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете».

Чарлз Лэнгдон отправлялся в октябре в кругосветное путешествие, обещал присылать для «Экспресса» дорожные письма, но написал только два, остальные Твен сочинил сам — о Калифорнии и Неваде, положив тем самым начало новой книги, но писать ее не собирался: он был должен тестю 22 тысячи долларов и планировал заработать их гастролями в течение двух лет. 1 ноября отправился в тур, после которого планировалась свадьба, накануне застраховал свою жизнь на 10 тысяч, писал Памеле, что получателем страховки будет мать, а не невеста, которая «вовсе об этом не просила» — надо думать, сестра и мать подозревали невестку во всех грехах. До 4 января 1870 года он прочел тридцать «лекций» в двадцати городах Востока, потом еще пятнадцать в Нью-Йорке и завершил гастрольи 21 января.

Антрепренер Джеймс Редпат, основатель Бюро Бостонского лицея, собрал под эгидой этой организации созвездие ораторов: кроме упоминавшихся выше с ним работали философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон, аболиционистка Джулия Хоув, писатель Генри Торо. Прибыв в Бостон (центр культуры янки), Твен нанес визит критику Хоуэлсу — поблагодарить за рецензию — и приобрел второго пожизненного друга. Их биографии похожи: Хоуэлс подростком работал в типографии, стал журналистом, занимался самообразованием, только преуспел намного раньше коллеги; оставил 100 томов поэзии и прозы, открыл Америке Тургенева и Толстого и сделал больше, чем кто-либо, для «раскрутки» Марка Твена. Человек он был интеллигентный, деликатный, осторожный, умудрялся дружить одновременно с Твеном и Генри Джеймсом, которые друг друга на дух не переносили. Он никогда не скрывал, что обожает Твена, поэтому современные изыскатели его книге «Мой Марк Твен» доверять не склонны: не может быть, чтобы великий писатель был таким «нормальным», Твен сказал много злого о человечестве, объяснить это можно лишь тем, что он был невротиком (ведь на самом-то деле мы, человечество, хорошие), Хоуэлс наверняка знал за другом странности, но скрыл. По той же причине не верят и другим, знавшим Твена лично, хотя они все характеризовали его примерно так же, как Хоуэлс. Да, он обладал тем, что называют тонкой душевной организацией, повышенной возбудимостью, обостренным восприятием страдания, своего и чужого, был «тонкокож» — но писателей, которые такими не были, можно по пальцам пересчитать. Так, может, Хоуэлс просто написал правду, тем более что Твен у него далеко не ангел?

«Из всех литераторов, каких я знал, Клеменс был самым антилитературным в поведении и манерах». «Он ходил тогда в котиковом

пальто, из какого-то каприза или любви к эффектам, и, с шапкой густых рыжих волос и щеткой таких же огненных усов, выглядел экстравагантно. Это было проявлением не тщеславия, а тонкого чувства костюма, которое наш строгий век воспрещает мужчинам и позволяет женщинам; он наслаждался этими выходками, задевавшими других». (Обручившись, Сэмюэл вмиг превратился из неряхи обратно в щеголя.) «Он сверкал на вас продолговатыми сине-зелеными глазами из-под густых бровей, которые с возрастом разрастались как птичье оперение, и улыбался вам в лицо со сдержанной любезностью, в которой было что-то отчужденное...» «Он был самым нежным человеком... главной чертой его была утонченность. Случайные знакомые, вероятно, заметили бы в нем только пристрастие шокировать людей ругательствами и богохульствами, потребность любыми способами выражать свой дух противоречия, они могли бы возненавидеть его, но те, кто знал его близко, — знали как самого серьезного, человеческого и совестливого человека. <...> Он был мальчишкой до конца дней, с сердцем мальчишки и головой мудреца; иногда был «хорошим мальчиком», иногда «плохим», но всегда упрямым...» «Я знал и других правдивых людей, но никого столь абсолютно, столь навязчиво правдивого. Он, конечно, лгал, чтобы не огорчить других, но его первое побуждение всегда было высказать все что он думает». «Он был безмерно щедр и безмерно доверчив, но когда его великодушием злоупотребляли или его доверие предавали, его охватывало пламя мстительных подозрений, которое никто не мог охладить; этот огонь должен был выгореть сам. Он был рад оказать услугу, но если ему казалось, что кто-то хочет его использовать, Клеменс презирал его безмерно. Во время этих приступов злобы или подозрительности он не слышал никаких доводов рассудка, но в промежутках между пароксизмами гнева он их воспринимал».

Хоуэлс, конечно, мог ошибаться, некоторые из его высказываний спорны. «Он [Твен] не любил беллетристику, а некоторых беллетристов ненавидел: были писатели, чьи имена он произносил так, будто выплевывал. Голдсмит был одним из них (Твен неоднократно замечал, что восхищается Голдсмитом. — М. Ч.), но больше всех он ненавидел мою любимицу, Джейн Остин. Он как-то сказал мне: «Вы, кажется, воображаете, что женщина способна писать» — и не облил меня презрением лишь потому, что мы были друзьями и он скорее жалел меня за мой дурной вкус». «У него, кажется, не было любимых беллетристов... Он читал современные романы, которые я рекомендовал, но это не доставляло ему удовольствия. Он терпеть не мог театр... (Твен постоянно ходил в театр, сам писал пьесы и играл в них, переводил чужие, дружил с актерами

и состоял в актерских клубах. — М. Ч.) <...> Кажется, поэзия тоже мало его занимала, и он вообще не интересовался общепризнанными шедеврами. (Твен, по его собственным словам, любил поэзию Браунинга и Кипплинга. — М. Ч.) Ему нравилось обнаруживать новое, и иногда он открывал что-то новое в шедевре, который был известен абсолютно всем, кроме него; и когда вы тыкали ему в нос его невежество, он наслаждался тем сильнее, чем резче вы его попрекали».

Свадьба состоялась 2 февраля в Эльмире, церемонию провели Томас Бичер и Туичелл. Гостей около сотни, почти все со стороны невесты. Приехали Памела, недавно овдовевшая, с дочерью Энн, и Мэри Фербенкс. Мать жениха объяснила свое отсутствие тем, что не была на свадьбах других детей и не хотела делать исключения. Нелюбовь к невестке сохранится и после знакомства, но там хотя бы известны причины: замкнутость Оливии Джейн примет за высокомерие, ее будет раздражать, что жена сына не понимает шуток. О причинах же заочной неприязни можно только догадываться: мисс Лэнгдон чужачка, янки с Востока, прихожанка какой-то странной церкви и, главное, — богачка, а Клеменсы горды. Брак по расчету подозревали многие: Амброз Бирс, пересекавшийся с Твеном в середине 1860-х в Калифорнии, писал в «Сан-Франциско ньюс леттерс», что коллега выбрал предмет любви уж слишком удачно. (Отношения двух сатириков были натянутыми — вероятно, из-за литературного соперничества.)

На следующий день выехали в Буффало, где Сэмюэл снял квартиру, но тесть преподнес сюрприз: подарил дом на Делавэр-авеню, полностью обставленный, с посудой и двумя слугами (Оливия о подарке знала заранее). Сюзи Клеменс: «Дедушка сам поехал в Буффало с мамой и папой. И когда они подъехали к дому, папа сказал, что в таком пансионе, наверно, надо платить очень дорого. А когда секрет открылся, папа был так рад, что даже описать невозможно». Рад-то был, но долг Джервису все возрастал — это неприятно. В новом доме молодожены прожили до марта 1871 года и, как сказал потом Твен, «натерпелись горя и ужаса». Но сперва ничто ужаса не предвещало. Оба были счастливы, обоим виделось что-то «невзаправдашнее» в том, что они семейные люди и ведут хозяйство, Сэм писал тестю и теще, что Оливия не знает, «продают ли бифштексы на фунты или на ярды», пытался бросить курить, промучился три недели и плюнул. Знакомых было мало — только семья Дэвида Грея, коллеги из «Экспресса», Твен предлагал матери с сестрой жить в Буффало, они не захотели, но потом согласились переехать в соседний город Фредония.

В мае Оливия забеременела; Твен в этот период работал, по словам



коллег, как ломовая лошадь: редакционные статьи, переписка, рассказы. Опубликовал в «Экспрессе» пародийный «Средневековый роман» («A Medieval Romance»): барон воспитал дочь как мужчину (для получения наследства), и девушка должна жениться на своей кузине. Границы между беллетристикой и журналистикой у Твена не было: одинаково смешны «История с привидениями» («A Ghost Story»), где экспонат убежал из музея, чтобы поболтать, и «Странный сон» («A Curious Dream»), в котором мертвецы жалуются на плохие условия: в Буффало было неблагоустроенное кладбище, и публикация Твена способствовала его обустройству. Писал о процессе над убийцей знакомого журналиста Ричардсона: суд признал состояние аффекта; алкоголизм убийцы и мотив преступления — ревность — послужили смягчающими обстоятельствами; оправдательный вердикт привел Твена в ярость, и с тех пор он отзывался о юстиции с презрением.

«Гэлакси», престижный нью-йоркский журнал, предложил ему должность редактора юмористического отдела, а также постоянную колонку со свободным выбором тем, оклад 2400 долларов в год. С мая 1870 года по август 1871-го Твен опубликовал там более шестидесяти произведений, начав с «Политэкономии» («Political Economy») — как уже догадывается читатель, о заявленном предмете там нет ничего, кроме заключительной фразы: «Политическая экономия является основой любого хорошего правительства», и продолжив рассказом, который многие считают самым смешным в мире: «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» («How I Edited an Agricultural Paper Once»). «Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде — фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило.

Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.

Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил: <...>

— А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?

— Н-нет, сколько помню, не занимался.

— Я это почему-то предчувствовал, — сказал почтенный старец,

надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. — Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали? «Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его». Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?

— Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево...

— Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!

— Ах вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. <...>

Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен».

Один из знаменитых твеновских приемов: толстокожий рассказчик описывает, что видит, серьезно, не подозревая, какой комический эффект дает соединение преувеличения с преуменьшением: «с грохотом выскочили в окно, разбив стекла» — «меня это удивило»; «растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов» — «мне показалось, будто он чем-то недоволен». Невежеством героя в области сельского хозяйства в конце концов обеспокоился главный редактор — и получил ответ профессионального журналиста: «Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету». (Прототип героя — не только автор, но и его политический недруг Хорэс Грили, издатель «Нью-Йоркера» и кандидат в президенты, опубликовавший трактат о фермерстве.)

В семью пришло первое горе: Джервис Лэнгдон умирал от рака желудка. Если здоровых девушек тогдашняя медицина заставляла годами лежать, то онкологическому больному предписывала путешествовать. В марте Джервис совершил поездку по стране, казалось, ему стало лучше, но письмо, которое получил его зять, мог написать только человек, понимающий, что все кончено: «Сэмюэл, я люблю Вашу жену и она меня любит. Я думаю, это только справедливо, чтобы Вы это знали, но Вам не стоит злиться. Я любил ее раньше, чем Вы, и она любила меня раньше, чем

Вас, и эта любовь не прошла. Я не вижу для Вас иного выхода, кроме как смириться с этим». (Джервис ошибся, его зятю не пришлось ни с чем «смиряться» — Оливия любила мужа беспредельно.)

По возвращении состояние больного резко ухудшилось. Дочь и зять приехали в Эльмиру в начале июня. Лечения никакого не было. Сидели с Джервисом по очереди, у Сэма были две вахты, дневная и ночная, всего семь часов. «Остальные семнадцать часов сестры (Оливия и Сьюзен. — М. Ч.) делили между собой, причем каждая упрямо и великодушно старалась забрать у другой часть дежурства. И никогда-то одна не будила другую, чтобы та ее сменила. Будили только меня... Каждое утро, за час до рассвета, в кустах под окном заводила свою унылую, жалобную песню какая-то птица неизвестной мне породы. Друзей у нее не было, она страдала одна, прибавляя свои муки к моим. Она не смолкала ни на минуту. Ничто в жизни, кажется, не доводило меня до такого отчаяния, как жалобы этой птицы. <...> Я был здоровый, крепкий мужчина, но, как и всякий мужчина, страдал недостатком выносливости. А эти молоденькие женщины не были ни здоровыми, ни крепкими — и все же, приходя сменить их на дежурстве, я не помню, чтобы хоть раз застал их сонными, невнимательными... Я восхищался ими — и стыдился собственной бездарности». (Другие члены семьи, однако, вспоминали, что он был заботливой и толковой сиделкой.)

Блисс настойчиво просил новую книгу; когда опять показалось, что больному лучше, Твен съездил в Вашингтон и 15 июля заключил с Блиссом контракт на книгу о Неваде и Калифорнии — «Налегке» («*Roughing It*»).

6 августа Джервиса не стало. Сэм телеграфировал Памеле, что умер «отец», написал на его смерть евлогию в «Экспресс». Оливия была в депрессии. Поддержать ее в Буффало приехала подруга, Эмма Най, — лишь тогда муж смог начать работать и уже через неделю писал Блисссу, что книга «прославится на всю страну в первый же месяц после выхода». Издатель рассчитывал продать за год стотысячный тираж. Но бедствия не прекращались — Най заболела тифом и умерла в доме Клеменсов 29 сентября. Оливии стало совсем худо, приехала другая подруга, потом Оливия отправилась провожать ее на вокзал, в экипаже ее «растрясло», муж сходил с ума от страха. 7 ноября она родила восьмимесячного мальчика, названного в честь деда Лэнгдоном, и тот немедленно «написал» письмо Туичеллам: «Дорогие дядя и тетя, мне теперь 5 дней. Я болел... Я не толстый и не здоровый. При рождении я весил 4 с половиной фунта в одежде и замечу, что большая часть этого веса пришлась на одежду... Они все говорят, что я выгляжу очень старым и мудрым — и меня самого

беспокоит, что я никогда не улыбаюсь. Жизнь представляется мне серьезной вещью, и мой опыт говорит мне, что она состоит в основном из икоты, колик и ненужного мытья. Моя мама очень радостная, я думаю, что она счастлива, хотя не понимаю отчего». «Вчера у меня родился сын, — сообщал счастливый отец в газете «Фредния Цензор», — он уже готовится выступать с лекциями о молоке».

Возиться с малышом приезжали Сьюзен Крейн и Мэри Фербенкс (которую Лэнгдон в письме называл «бабулей») — но не мать и не сестра Твена. Сам он оказался неплохой нянькой. Туичеллу 19 декабря: «Скажите Хармони, что я умею держать ребенка и делаю это довольно ловко, хотя иногда мне кажется, что у него отвалится голова. Мне не нужно его успокаивать — он никогда не кричит. Он всегда о чем-то думает». Из Буффало, где было столько горя, решили уехать, остановились на Хартфорде, где теперь жили не только Блисс и Туичелл, но и Орион Клеменс, которого Блисс по просьбе Сэма взял на должность редактора, и подруга Оливии Элис Хукер. Но ребенок был очень слаб, переезд пришлось отложить.

Осенью 1870 года Твен после небольшого перерыва вновь «расписался». Опубликовал в трех номерах «Гэлакси» сатирический текст «Друг Голдсмита снова на чужбине» («Goldsmith's Friend Abroad Again») — письма китайца, который приехал в Америку в надежде увидеть свободную и добрую страну, а подвергается унижениям и несправедливостям: идея, возможно, заимствована не только у Голдсмита, но и у Бирса, который в 1868 году напечатал в «Сан-Франциско ньюс леттерс» аналогичный текст; «Позорное преследование мальчика» («Disgraceful Persecutions of a Boy»): правосудие по-разному относится к китайцам и белым, которым «все позволено»; к злым белым Твен отнес перуанцев, мексиканцев и прочих «латинос». Началась Франко-прусская война — отозвался лишь юмореской «Карта Парижа» («Map of Paris»), гораздо важнее были ноябрьские выборы губернатора штата НьюЙорк, послужившие темой для фельетона «Как меня выбирали в губернаторы» («Running for Governor»).

«Достойный кандидат! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громовую речь на митинге независимых, не явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось, что его сшиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые из всех сил старались принять на веру эту жалкую оговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они избрали своим кандидатом.

Но вчера же вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализовавшаяся скотина не была Марком Твенем! <...> К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания: «Что скажете насчет убогой старушки, какая к вам стучалась за подаванием, а вы ее ногой пнули?» Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался».

Жанры и темы были самые разные: политические фельетоны «Подлинная история великого говяжьего контракта» («The Facts in the Case of the Great Beef Contract») и «Подлинная история Джорджа Фишера» («The Case of George Fisher»), уже упоминавшаяся «История хорошего мальчика», очаровательные юморески «Мои часы» («My Watch»), «Как выводить кур» («To Raise Poultry»). В статье «О запахах» («About Smells») Твен напал на известного пресвитерианского пастора Толмеджа, который протестовал против того, чтобы бедняки посещали его церковь — их неряшливость оскорбляет чувства приличных людей. Твен напомнил Толмеджу об апостолах, что «исцеляли самых жалких нищих и ежедневно общались с людьми, от которых разило невыносимо» (сам он, правда, предъявлял то же обвинение индейцам и другим «дикарям»), и о происхождении Иисуса, сына плотника. Толмедж был влиятельным человеком, но на публичную полемику не решился.

Сам Твен в первые месяцы брака пытался быть «хорошим христианином». Гудмен, приезжавший в гости, был «огорошен», увидев, что он участвует в утренней молитве. Хоуэлс: «Я спросил его, ходит ли он в церковь, и он простонал: «О да, хожу. Это меня убивает, но хожу»». Но вскоре сказал жене, что с него довольно. Хоуэлс пишет, что Твен не препятствовал религиозности жены — может и так, но не попасть под влияние мужа та не могла и уже в 1872 году говорила Туичеллу, что «слишком далеко ушла от христианской веры, чтобы вернуться к ней». По словам Альберта Пейна, Оливия сказала мужу, что утратила веру, в 1876 году, и тот чувствовал себя страшно виноватым. Известна ее фраза (со слов Твена): «Если ты будешь проклят, я хочу быть проклята с тобой». Детей, однако, воспитывали в традиционной религиозности — чтобы не отличались от других.

Атеистом Твен так и не стал. Его тогдашняя идеология, выраженная в эссе 1870 года «Бог: древний и современный» («God: Ancient and Modern»; при жизни не публиковалось), близка к деизму. Библейский Бог, «чьим единственным занятием была забота о горстке грубых кочевников», обращался с ними как человек: то баловал сверх меры, то злился,

наказывал и мучил; впадая в ярость, он терял разум и уничтожал не только тех, кто его обидел, но и младенцев и скот. Верить в такого бога — «значит верить в раздражительное, мстительное, жестокое и капризное существо; верить в истинного Бога — верить в существо, которое не раздает никаких обещаний, но сама безотказная и неизменная работа механизмов созданной им Вселенной является доказательством того, что он по крайней мере постоянен в своих целях; его неписанные законы, насколько они касаются человека, равны и беспристрастны... Мы не вправе требовать большего».

Он сформулировал свое кредо в известном фрагменте, который предположительно относят к началу 1880-х годов, но, судя по содержанию, текст мог быть написан и в 1870-х: «Я верю в Бога всемогущего. Я не верю ни в то, что он когда-либо посылал через кого-нибудь весть человечеству, ни в то, что он сообщал ее сам изустно, ни в то, что он являлся когда-либо и где-либо в образе, видимом глазам смертных. <...> Я верю, что Вселенная управляется строгими и неизменными законами. Если во время чумы семья одного человека погибла, а семья другого уцелела, это результат действия закона, Бог же не вмешивался в такую мелочь, помогая одному или карая другого. Я не понимаю, каким образом вечные загробные муки могут служить благой цели, и поэтому не верю в них. <...> Может быть, загробная жизнь существует, а может быть, и нет. Если мне суждено жить снова, то уж наверное для чего-то более разумного, а не для того, чтобы барахтаться вечность в огненном озере за нарушение путаных и противоречивых правил, которые считаются (без доказанных оснований) божественными установлениями. Если же за смертью следует полное уничтожение, то сознавать его я не буду, и, следовательно, это меня совсем не трогает. Я верю, что моральные законы человеческого общества порождены опытом этого общества. Для того чтобы человек понял, что убийство, воровство и прочее вредны как для совершающего их, так и для страдающего от них общества, не требовалось нисхождения Бога на землю. Если я нарушаю эти законы морали, то не вижу, почему я этим оскорбляю Бога — ибо что для него мои оскорбления? С тем же успехом я мог бы попытаться запачкать какую-нибудь планету, швыряя в нее грязью».

И Ветхий и Новый Завет сочинены людьми, а значит, можно написать их по-другому: осенью 1870 года Твен делал новые наброски к собственной Библии — фрагменты из дневника Сима: «Пятница: день рождения папы. Ему 600 лет. <...> Пришли все видные представители семейства. Осматривали верфь для ковчега, пустую и заброшенную из-за того, что вышло недоразумение с плотниками из-за оплаты». Над трудами Дарвина и его последователя Томаса Хаксли (Гексли), прочитанными Твеном в тот

период, тоже можно и должно смеяться — в «Гэлакси» вышла пародийная статья «Книжный обзор» («A Book Review»). Хаксли писал, что в «детстве» разных народов антропологи находят общие черты, позволяющие предположить, что все произошли от одного предка, Твен передразнивал: «Изучив небезызвестных Каина и Авеля (обозначим их  $K$  и  $A$ ), мы получаем следующее. Обозначим язык, который использовал Каин, как « $x$ =» а язык, используемый Авелем, как « $x$ ». Также обозначим язык, который не использовал Каин, как « $y$ =», а язык, используемый Авелем, как « $y$ ». Тогда:  $l=x+y$  и  $j=x+y$ . Далее шли две страницы уравнений, из коих вытекала заключительная формула: « $Cx = ax, = cl + al$ . Таким образом мы доказали, что как Каин, так и Абель использовали слова языка « $x$ »». (В другой работе того периода — «Две краткие лекции по науке» («A Brace of Brief Lectures on Science») Твен аналогичным образом издевался над палеонтологией.)

Расовый вопрос, однако, занимал его всерьез. Дарвин в «Происхождении человека» не утверждал определенно, являются ли расы «видами» или «подвидами», приводя доводы в пользу обеих концепций, но настаивал на том, что естествоиспытатели, которые признают принцип эволюции, «не будут сомневаться в том, что все человеческие расы произошли от одного первоначального корня». Твену эта мысль, похоже, не нравилась — иметь что-либо общее с индейцами он не желал. В «Налегке» он писал об индейцах племени гошут (вероломные, подлые, грязные существа «с умом малого ребенка»): «И бушмены и наши гошуты, по всем признакам, несомненно, происходят от той самой обезьяны, или кенгуру, или крысы, которую дарвинисты считают Адамом животного царства». Впрочем, этот неполиткорректный фрагмент имеет характерную для Твена парадоксальную концовку: «Ходят слухи, что в правлении железнодорожной компании Балтимор–Вашингтон и среди ее служащих много гошут, но это неверно. Есть, правда, некоторое сходство, которое может ввести в заблуждение непосвященных, но оно не обманет сведущих людей, наблюдавших оба племени. <...> Пусть мы не находим в сердце своем сочувствия и христианского сострадания к этим несчастным голым дикарям, но по крайней мере не будем обливать их грязью».

Как большинство самоучек, Твен не считал нужным придерживаться какого-либо «направления» и у каждого автора брал то, что нравилось. Хаксли, может, и врет насчет «общего предка», зато Дарвин абсолютно верно написал, что умственные и нравственные качества человека имеются у других млекопитающих — эта мысль позволяет не «унизить» человека, но очеловечить животное и наделить его правами. Французский философ

Ипполит Тэн определил расу как «совокупность врожденных и передаваемых по наследству склонностей, связанных с особенностями темперамента и телесной конституции»: это лучше, чем у Дарвина, но там, где Тэн ожесточенно критикует революцию во Франции, он ошибся, а прав Томас Карлейль, чью громадную «Французскую революцию» Твен прочел в тот же период. Карлейль осуждал «зверства» и «безумие» революции, но в отличие от большинства историков понимал, что ее вызвала не чья-то злая воля, а «голод, нагота и кошмарный гнет». Карлейль, однако, был расистом, выступал против освобождения негров — вот тут мы его отбросим. Человек, не получивший систематического образования, не может не быть эклектиком, зато он лишен предрассудков: другим мыслителем, который «помог разобраться» во французской революции, был... Дюма-отец. А что такого? Чем он хуже Вальтера Скотта, которого тогда считали серьезным, «взрослым» писателем и которого Твен не выносил?

Книга, начавшаяся легко, застопорилась, автор отвлекался, написал «в стол» ряд фрагментов о теннессийских землях отца (которые положили начало автобиографии), думал написать «Автобиографию Старого Парра» (британец, якобы проживший с 1483 по 1635 год), с Блиссом хотел составить сборник рассказов, но проект пришлось отложить из-за проблем с авторскими правами. В Южной Африке открыли алмазные месторождения, журналист Райли, знакомый по Сан-Франциско, согласен туда поехать, соберет материал, получится книга: Райли, профинансированный Твеном, отбыл 7 января. Сам Твен зимой 1871 года регулярно бывал в Вашингтоне. Заинтересовался процессом осужденного за убийство Эдварда Рулоффа, знатока языков, философа-самоучки, написал в «Трибюн», что казнь такого человека — потеря для общества. Дал несколько выступлений. Юморист Дон Пайет: «Его лицо печально, и, когда все вокруг шумят о нем, он продолжает пребывать в торжественной невозмутимости. Его голос — самый необычный, какой я когда-либо слышал». За обедом с Пайетом принесли телеграмму — Твен весь почернел и спешно откланялся. Оливия заболела тифом.

«Иногда у меня появляется надежда, — сообщал он Блиссу 15 февраля, — как например, сейчас, — но чаще я не верю в хороший конец». Писать не мог, телеграфировал в «Гэлакси», чтобы его уже набранный фельетон выбросили — он не может вынести мысль о том, что смешил публику, когда его жена умирала. Редакция, однако, ответила, что снимать материал поздно, и вышла шуточная «Автобиография» («Mark Twain's (Burlesque) Autobiography»), где рассказывалось о выдуманных предках:



барон Мюнхаузен, Навуходоносор и валаамова ослица. В марте Оливия поправилась, и Твен написал другой вариант автобиографии — приводим его полностью: «Я родился 30 ноября 1835 года и все еще жив».

Было принято два решения: во-первых, ехать в Хартфорд, во-вторых, больше никогда не писать ничего для газет — только книги. (Можно написать какую-нибудь юмореску, сказал Сэм Ориону, но не меньше чем за 500 долларов. Он не мог и представить, что когда-то ему будут предлагать тысячи за страницу.) В апрельском номере «Гэлакси» последний раз вышла его колонка: извинялся перед читателями за плохие тексты — он писал их, когда его близкие умирали: «Пожалуйста, поставьте себя на мое место и оцените ужасный гротеск ситуации. Думаю, что значительную часть «юмористики», которую я написал за этот период, можно вставить в надгробную речь, не нарушив торжественности обряда». Долю в «Экспрессе» продали с убытком — за 15 тысяч, выставили на продажу дом, попросили хартфордских знакомых подыскать жилье, а сами уехали к Сьюзен, муж которой, Теодор Крейн, стал управляющим предприятиями Джервиса Лэнгдона; Сьюзен унаследовала от отца ферму «Каменоломня» близ Эльмиры, и там Клеменсы будут отныне проводить почти каждое лето. В спокойной деревенской обстановке опять пошла работа — Твен каждый вечер читал женщинам, включая служанок, отрывки из книги, 8 августа сдал текст Блиссу. (Издатель, которого автор потом назовет грабителем, уберег его работу от пиратства, порождавшегося отсутствием международных законов об авторском праве, заключив договор с лондонским издателем Джоном Рутледжем об одновременной публикации по обе стороны океана.)

В отличие от «Простаков» в новой книге много выдуманных эпизодов, поэтому ее называют первым большим опытом Твена в беллетристике; герой тоже частично выдуманный — подчеркивается, что это не тридцатилетний автор, а мальчик, но глаз и язык у него чересчур острые для юнца, и читателя это сбивает с толку. В «Простаках» хронологический порядок выдержан, в «Налегке» — не очень; автор перескакивает с одного на другое, заполняет пространство анекдотами, а когда не знает, куда сунуть тот или иной кусок, выносит его в «Приложения». Хоуэлс: «Он не давал поработить себя связности повествования, за которую мы, остальные, так цепляемся. Другими словами, он писал, как думал, как думают все — не придерживаясь логики, несвязно, без оглядки на то, что было сказано раньше и что должно последовать». «Бессвязный» метод, принципы которого Твен сформулирует позднее, поначалу был вынужденным. Он торопился, не умел компоновать, книга получилась громадной (80 глав),

рыхлой и неоднородной: «Да, в общем и целом в моей книге немало полезных сведений. Меня это очень огорчает, но, право же, я тут ничего поделывать не могу: видимо, я источаю фактические данные так же естественно, как ондатра — драгоценный мускус. Иногда мне кажется, что я отдал бы все на свете, лишь бы удержать при себе свои знания, но это невозможно. Чем усерднее я конопачу все щели, чем туже завинчиваю крышку, тем обильнее из меня сочится мудрость». Тут же пересказываются старательские байки, не всегда смешные. Главная тема — «Дикий Запад»; критикуя книжных индейцев Купера и золотоискателей Брет Гарта, Твен сам нарисовал такой же мифологично-анекдотичный образ калифорнийца. «Нас познакомили с несколькими гражданами Карсон-Сити — и на почтовом дворе, и по пути из гостиницы к дому губернатора, — в частности с неким мистером Гаррисом, восседавшим верхом на коне; он начал было что-то говорить, но вдруг прервал самого себя:

— Простите, одну минуточку, — вон там свидетель, который показал под присягой, что я участвовал в ограблении калифорнийской почтовой кареты. Наглое вмешательство в чужие дела, сэр, — я ведь даже незнаком с этим субъектом.

Он подъехал к свидетелю и стал укорять его при помощи шестизарядного револьвера, а тот оправдывался таким же способом. Когда все заряды были выпущены, свидетель вернулся к прерванному занятию (он чинил кнут), а мистер Гаррис, вежливо поклонившись нам, поскакал домой; из его простреленного легкого и продырявленного бедра струйки крови стекали по бокам лошади, что, несомненно, служило к ее украшению. Впоследствии каждый раз, когда Гаррис при мне стрелял в кого-нибудь, я вспоминал свой первый день в Карсон-Сити».

Оливия унаследовала почти 300 тысяч долларов, громадное состояние (Амброз Бирс писал: «Теперь Марк Твен убедился, что заключил выгодную сделку»), но муж решил беречь его для «исключительных случаев» и даже отказался воспользоваться этими средствами для выплаты долга за долю в «Экспрессе» наследникам Джервиса: заработает сам. (Но Оливия могла отдать эту ничтожную сумму сестре и брату, не спрашивая мужа? Да — если бы они бедствовали. Но они были также богаты, как она сама, а для ее мужа было делом чести вернуть долги из заработанного, а не свалившегося с неба.) Твен договорился с Редпатом о новом лекционном турне. В сентябре Райли вернулся из Южной Африки, но книга не получилась: журналист был болен и вскоре умер, собранные им материалы Твен использовать не стал. Клятву не писать для газет он взял обратно, написал

несколько статей, в частности об Артемиусе Уорде. Безобидных юморесок в тот период не было — язвил и колол жестоко, опубликовав 27 сентября в нью-йоркской «Трибюн» «Пересмотренный катехизис» («The Revised Catechism»): «Каково предназначение человека? — Быть богатым. — Как? — Нечестно, если сможете; честно, если придется. — Кто есть Бог, единый и истинный? — Деньги есть Бог. Бог, Баксы и Биржа — Отец, Сын и Дух триединые...» Но все это были маловажные занятия — он наконец-то нашел настоящий способ делать деньги.

В сентябре 1871 года миру было представлено первое из многочисленных твеновских изобретений. Придумал он его, когда одевался: эластичные ремни, крепившие брюки к жилету посредством петель и пуговиц, — прототип современных подтяжек. Нарисовал схему, 9 сентября приехал в Вашингтон получать патент, представил изобретение прессе: «элегантность, комфорт и удобство в использовании». Газета «Нэшнл рипабλικен» сообщала, что сперва все приняли это за шутку, но «наш знаменитый юморист» был абсолютно серьезен, хотя и не обошелся без острот: идея подтяжек, по его словам, пришла в голову, когда он смотрел на кандидата в президенты Грили, с которого сваливались брюки. В патентном бюро сказали, что есть конкурент, от обоих потребовали дополнительных описаний — профессиональный писатель победил и 19 декабря получил патент за номером 122 992. Но «баксов» не заработал — не дошли руки заняться внедрением.

Оливия с июля была вновь беременна. Маленький Лэнгдон болел, отставал в развитии, казалось, что виноват Буффало, заторопились в Хартфорд. 1 октября сняли у Изабеллы Бичер-Хукер, второй сестры Бичеров, дом на Форд-стрит, в квартале «Задворки», где жили писатели. Оставив жену на попечение Бичеров и Туичеллов (и заказав для нее скамью в церкви Туичелла), Твен 16 октября отправился на гастроли, начав с Вифлеема, штат Пенсильвания, и полгода кочевал меж Бостоном и Чикаго, изредка заезжая в Хартфорд. Давал по 6–10 выступлений в неделю, получал за вечер 100–150 долларов (часть прибыли ораторы жертвовали церквям и библиотекам). Бостон, культурная столица Востока, был штаб-квартирой Редпата, где собирались лекторы: бывал там Брет Гарт, с которым у Твена начали портиться отношения; с другим знакомым, Джошем Биллингсом, Твен, напротив, сошелся ближе, хотя тот был старше на 17 лет. Познакомился с Томасом Бейли Олдричем, своим ровесником, романистом и драматургом; его относят к числу друзей Твена, но это преувеличение: настоящих друзей было всего двое — Туичелл и Хоуэлс.

Многие пробовали записывать тексты твеновских выступлений, но

передать эффект не получалось, рассказывали только о его потрясающих паузах; газеты называли его «великим комиком», «королем юмора». «Дейли морнинг кроникл», Вашингтон, 23 октября: «Исключительный и удивительный человек будет выступать сегодня в Линкольн-Холл. <...> Его юмор ясен и остер как ни у кого. Он так же хорош на сцене, как в книгах и статьях. Он никогда не утомителен, не скучен, никогда не останавливается, чтобы объяснять свои шутки, он всегда легок и естествен; притворяющийся растерянным и сомневающимся в своих силах, он очарователен... он — гордость нашего народа». «Чикаго пост»: «Худой, глаза пронизательные, как буравы, кудрявые усы, пышные кудри, печальное выражение лица; он озирается, словно человек, который только что отошел от смертного одра своей тещи и ищет пономаря. <...> Вот он потирает руки, как бейсболист, вот поглаживает ладонь пальцами, как менестрель, загадывающий хитрую загадку, а вот упер кулаки в бока словно на аукционе; и вот уже машет растопыренными руками, будто отгоняя комаров; кажется, он никогда не сумеет сладить со своими руками...» «Америкэн стандарт», Джерси-Сити: «Он не может не быть смешным. Половина эффекта происходит от того, что он словно не замечает, как смешон».

Несмотря на бешеный успех, Твен в очередной раз заявил, что больше выступать на сцене не будет. Работу он назвал «адской»: разъезды, неудобства, простуды, разлука с семьей. Была и более глубокая причина. Впоследствии он вспоминал: «На протяжении сорока лет, что я выступаю перед публикой в качестве профессионального юмориста, вместе со мной трудились на том же поприще еще семьдесят восемь моих американских коллег. Все эти семьдесят восемь начинали вместе со мной, порой добивались славы, но после сошли на нет. <...> Почему они оказались недолговечны? Потому что были только лишь юмористами. Только юмористы не выживают. Ведь юмор — это аромат, украшение. <...> Юмористу не следует быть проповедником, он не должен становиться учителем жизни. Но если он хочет, чтобы его книги получили бессмертие, он должен и проповедовать, и учить».

В феврале 1872 года на обеде у Хорэса Грили в Нью-Йорке он наконец познакомился со своим кумиром — Барнумом, в конце того же месяца в Вашингтоне завершил турне и вернулся домой к выходу «Налегке». Книга расходилась хорошо, но не с таким успехом, как «Простаки», за год вместо ожидаемых ста тысяч продали около сорока тысяч, автор винил издателя. (При заключении договора Твен хотел половину чистой прибыли, Блисс предложил 7,5 процента роялти, что за десять лет составило бы ту же сумму, но лишь при условии, что в издательской отрасли не произойдет

революционных изменений — а они произойдут: снизится себестоимость книг, и в итоге автор получит меньше четверти чистой прибыли.) Завершалась она послесловием: «Напрасно думает читатель, что он отделался и что в этой книге нет никакой морали. Мораль есть, и вот какая: коли вы дельный человек — сидите дома и с помощью прилежания и настойчивости добивайтесь своего; а бездельник — так уезжайте, и тогда волей-неволей вам придется работать». Это писал уже не мечтатель-южанин, не свободолюбивый калифорниец, а человек в высшей степени практический — настоящий янки из Коннектикута.

## Глава 2

### Том Сойер и лихие 70-е

Юморист Эли Перкинс<sup>[10]</sup>, «НьюЙорк уикли реформер», 29 февраля 1872 года: «Преподобный Марк Твен — турок. Он родился в Ирландии. Его отец подвергался гонениям за то, что занимался патриотическим земледелием — выращивал стручковую фасоль. Несмотря на тиранию Англии, его фасоль успешно продавалась, и Марка в раннем возрасте отдали в ученики к кочегару, где он изучал искусство фотографии. Его отец, известный как Благородный Папаша Твен, говорит, что Марк прославился на весь мир успехами в кочегарском деле и был приглашен сопровождать Наполеона в кампании при Миссисипи. Впоследствии молодой Твен сделал карьеру в Крыму при генерале Скотте. В битве при Инкермане он пропал без вести, что вызвало большое горе в полку, но потом его нашли за пустой бочкой». Как у Барнума, биографии и автобиографии начали множиться еще при жизни; Оливия вырезала все, что писали о муже, наклеивала в альбом, бутылка с клеем падала и пачкала все кругом. (К чему об этом говорить? Скоро увидите...) Популярность на родине была большая, но популярность комика, а не серьезного писателя. Мэтры — Лонгфелло, Лоуэлл, Холмс — снисходительно называли его забавным. Хоуэлс признавал большой талант, благосклонно высказывались критики Чарлз Нортон, Фрэнсис Чайлд, но для большинства Марк Твен был комик, клоун.

19 марта 1872 года в Эльмире родилась девочка, которую назвали Сюзи в честь тетки. «Новый ребенок цветет, растет сильным и красивым». Лэнгдону было полтора года, и он еще не ходил; женщины чувствовали неладное, но отец не хотел этого видеть: «Бледный как снег, но кажется здоровым, очень упитанный, всегда весел и приветлив, говорит «папа» и точно знает, кто его папа, — медсестра Маргарет». 5 мая родители оставили детей на попечение Сьюзен-старшей, чтобы навестить Мэри Фербенкс, с ними поехала Джейн Клеменс — так наконец встретились свекровь и невестка. Вернулись через две недели: дочь была здорова, сын кашлял, тем не менее по совету врача его ежедневно водили гулять. Вскоре Лэнгдон заболел дифтерией. Вернулись в Хартфорд, но врачи спасти ребенка не смогли, он умер 2 июня. Твен сказал Хоуэлсу, что убил сына. «Его мать доверила его мне, и я взял его на прогулку в открытом экипаже. Было сырое, холодное утро, но он был тщательно укутан в меха и в руках

осторожного человека ему ничто не угрожало. Но я скоро замечтался и забыл о нем. Мех свалился с его ног. Вскоре кучер это заметил, я укутал его снова, но было уже поздно. Ребенок простудился. Я поспешил домой, я был убит тем, что наделал, и боялся последствий. Я всегда чувствовал стыд за то предательское утро и не позволял себе думать о том, что можно было не допустить случившегося. Не знаю, сумел бы я тогда набраться смелости признаться в этом». Сьюзен Крейн впоследствии говорила, что, во-первых, ее зять сразу же рассказал о случившемся, во-вторых, никто никогда не думал винить его: Лэнгдон болел непрерывно, вся семья, включая мать, испытала что-то вроде облегчения, когда малыш-«не жилец» — «отмучился». Твен продолжал считать себя убийцей, пал духом, Оливии страдать было некогда — болела малышка Сюзи, потом ее саму скрутил ревматизм. В июле семейство уехало в курортный городок Нью-Сейбрук, штат Коннектикут, где можно было лечиться гидротерапией. На ванны тогда была мода, ими лечили все болезни, Оливии сырость на пользу не пошла, Твен был издерган и не мог работать. Неожданное утешение принесло изобретательство: наблюдая, как жена возится с бутылками клея, он придумал альбом, страницы которого покрывались бы липким составом, как на современных конвертах, сообщил Ориону, что теперь-то деньги потекут рекой. После этого пришел в себя и стал работать.

Не установлено точно, когда Твен начал писать «Тома Сойера», но большинство исследователей полагают, что это было летом 1872 года и что сперва он собирался писать пьесу. У него уже были материалы: рассказ «Экзамен» («Examination Day»), начатый «Дневник мальчика», разогнался быстро, но устал, точнее, как говорил сам, устала книга: «На четырехсотой странице книга неожиданно и решительно остановилась и отказалась двинуться хотя бы на шаг. Прошел день, другой, а она все отказывалась. Я был разочарован, огорчен и удивлен до крайности, потому что я знал очень хорошо, что книга не кончена, и я не понимал, отчего я не могу двинуться дальше. Причина была очень простая: мой резервуар иссяк, он был пуст, запас материала в нем истощился, рассказ не мог идти дальше без материала, его нельзя было сделать из ничего».

Кроме того, нужно было срочно ехать в Англию: биться с пиратом. Пирата звали Джон Хоттен, грабил он американцев без зазрения совести, но обладал хорошим вкусом, открыл своим соотечественникам Уорда, Брет Гарта, Лоуэлла, Холмса, несколько раз издал «Простаков», причем сперва выпускал книгу без указания автора (что было в те времена обычной практикой, но в отношении литератора известного переходило всякие границы). Блисс, заключив договор с Рутледжем, спас «Налегке», но

Хоттен продолжал выпускать ранние работы Твена. Поездка должна была принести и другую пользу: можно сделать новую книгу путевых очерков, рабочее название «Джон Буль», а также прочесть несколько «лекций» в Лондоне, рекламируя «Налегке». Бросать жену было совестно, но Оливия сама гнала мужа, писала Мэри Фербенкс: «Англия его вдохновит».

Отплыл Твен 21 августа, прибыл в Ливерпуль, оттуда поездом до Лондона. «Первые часы пребывания в Англии меня восхитили, привели в экстаз. Это лучшие слова, какие я мог найти, но они не точны, они недостаточно сильны, чтобы передать очаровательное видение сельской Англии». Рассказывал, что сосед по купе, британский джентльмен, всю дорогу читал «Простаков», но ни разу не улыбнулся; автор вспоминал все, что слышал о британском чувстве юмора, и приходил к ужасному выводу, что оно, должно быть, сильно отличается от американского. Оно и вправду отличалось — рецензент влиятельного еженедельника «Спектейтор» писал, что рассказы Твена «возможно, будет любопытно прочесть тем, кто мало знает об американских обычаях», но в целом они — «забавная, но бессмысленная сатира» и «экстравагантная чепуха»; рецензент верно сформулировал секрет твеновского юмора — «доверчивость и серьезность, с которой он рассказывает, простодушная серьезность, с которой он движется к логичному, но абсолютно бессмысленному выводу», — но не считал это достоинством. Рецензии на «Простаков», впрочем, были добрыми: автора называли вульгарным, но отмечали, что в его вульгарности нет пошлости.

Твен поселился в отеле «Лэнгем», облюбованном американцами, встретился с Рутледжем, опубликовал пару гневных статей против Хоттена, но быстро утих — так ему все нравилось. С юмором у большинства англичан все оказалось в порядке, литературный Лондон его обласкал — приемы, обеды, литературные «тусовки», встречи со знаменитыми земляками, среди которых путешественник Стэнли, приятные знакомства: юморист Том Худ, чьим творчеством восхищался юный Сэм Клеменс, великий актер Генри Ирвинг, два «христианских писателя», Монкер Конвей и Чарлз Кингсли (священники по-прежнему его обожали); Чарлз Рид, старейший британский романист, даже предложил написать что-нибудь в соавторстве (не напишут). В Лондоне тогда жил Амброс Бирс — по иронии судьбы он тоже женился на богатой; встречались несколько раз на обедах. Твена приглашали в престижные лондонские клубы: «Клуб белых братьев», «Клуб дикарей», «Клуб пилигримов». Его манера держаться притягивала и обезоруживала. Поэт Джоакин Миллер, знакомый по Сан-Франциско: «Он был застенчив, как девица, хотя время уже преподнесло его вискам белые



цветы, и никак не мог поверить, что он так популярен, что каждый мечтает пожать ему руку». Жене Твен писал, что соскучился по тишине, и замечал не без яда, что неудобоваримые английские обеды напоминают ему дом (Оливия не обижалась: чувство юмора у нее все же было).

Британский антрепренер Джордж Долби организовал выступления в Лондоне. Если в Штатах Твенom восхищалась публика, а интеллектуалы его не принимали, в Англии все наоборот: широкой публике он был известен мало. Вспоминал один из слушателей, Н. Хэвейс: «Аудитория была невелика и не слишком восторженна. Мы еще не привыкли к его специфическому юмору, в нем не было ничего, чтобы взять нас штурмом, как Артемиус Уорд... Его внешность была самая обычная. Он говорил ужасно медленно, тягуче, и не смотрел на аудиторию. Казалось, он чувствует себя не в своей тарелке. Не было взрывов хохота, никаких эффектов, которые сопровождали выступления Уорда. За исключением одного красивого описания плюща на здании Оксфордского университета, он не сказал ничего стоящего. Я не извлек из его выступления никакой информации, ни одной шутки, которую стоило запомнить. Мы терпеливо ждали, когда же он закончит вводное слово и начнет выступать. И вдруг он поклонился и ушел! Выступление было окончено. Я посмотрел на часы; я никогда не был так озадачен. Его выступление длилось час и двадцать минут. Мне казалось, что прошло не более десяти минут. Если вы когда-нибудь выступали публично, то поймете, что это значит. Марк Твен — потрясающий спикер. Если бы он хотел сказать что-то важное, он сделал бы это великолепно; но в искусстве часами болтать ни о чем он превосходит всех наших парламентских ораторов».

Он обдумывал возможность привезти семью в Англию, но Оливия сообщила, что нездорова Сюзи; встревожился, кинулся домой. Корабль «Батавия», на котором он плыл, попал в ураган, зато наткнулся на шлюпку с потерпевшими кораблекрушение. Твен сделал материал о спасенных и теперь, в отличие от истории с «Шершнем», никто уже не мог перепутать его фамилию. 12 ноября он прибыл в НьюЙорк: за время его отсутствия генерал Грант был переизбран президентом, победив противного Хорэса Грили. Редпат просил гастролей — Твен отвечал, что выступать будет, лишь умирая с голоду и только за 500 долларов за вечер. Сел писать книгу об Англии, но ничего не вышло, остались лишь заметки. Матери писал, что не может работать от страха за дочь. Занимался больше чужими делами: хотел помочь капитану Уэйкмену издать автобиографию (тот ее не написал), был озабочен скандалом, разразившимся вокруг его домовладелицы.

Изабелла Бичер-Хукер, жена юриста, увлеклась «женским движением»

под влиянием Анны Дикинсон в 1861 году и в 1869-м организовала в Хартфорде общество борьбы за женское избирательное право, участвовала в разработке закона, позволявшего женщинам иметь собственность (английские и американские законы в отношении женщин были жестокими по сравнению, например, с Россией). В 1871 году Изабелла претендовала на роль лидера Национального союза суфражисток, но не прошла. Твен ее недолюбливал и вообще до женитьбы относился к женской эмансипации с презрением. В 1867 году в калифорнийской «Алте» и сент-луисском «Миссури демократ» опубликовал цикл фельетонов, направленных против предоставления избирательных прав женщинам: они «любят побрякушки и громкие слова»; «они стали бы болтать о политике вместо того, чтобы обсуждать моды, и забросили бы домашнее хозяйство, чтобы ходить на приемы и пьянствовать с кандидатами, а мужчины бы нянчили детей, пока их жены ходят голосовать», они, чего доброго, пожелают сами баллотироваться на разные должности, вследствие чего мужчины «превратятся в служанок Миссис Губернатор и будут вынуждены танцевать с Миссис Шеф Полиции»<sup>[11]</sup>. «Предоставление женщинам права голоса заставит всех нормальных мужчин бояться за свою страну». Он даже придумал «миссис Марк Твен»: это злобная карга, которая поносит мужа за нападки на женщин, тот пытается взорвать сцену, где выступает его жена, а суфражистки его ловят, чтобы вывалить в смоле и перьях.

Познакомившись с Оливией, он не переменял позицию, но сменил аргументы: «Я не желаю видеть, чтобы женщины голосовали и что-то там лепетали о политике и агитации. Это немыслимо. Меня шокировало бы, если б ангел спустился с небес и предложил с ним хлопнуть по рюмочке (хотя я, разумеется, согласился бы), но еще больше потрясло бы меня, если б один из наших земных ангелов торговал вразнос выборными голосами в толпе оборванных негодяев». Он не терпел женщин-писателей: Джордж Элиот скучна, Джейн Остин глупая снобка, Мария Корелли (популярная европейская романистка) — «бесстыжая дура»; скрепя сердце он признавал ораторский талант Анны Дикинсон, которой до сих пор платили больше, чем ему, но не выносил ее романов. Дикинсон была знакома с Лэнгдонами, Оливия перед свадьбой много писала о ней жениху, говорила, что завидует Анне, что хочет тоже участвовать в общественной жизни, тот отвечал: «Занимайтесь тем, к чему Вас предназначил Бог, и не пытайтесь стать иной: Вы не можете делать то, что делает Анна, но она, ручаюсь жизнью, не способна исполнить Ваше предназначение» (то есть быть женой и матерью). Оливия, однако, взглядов тоже не переменяла и продолжала участвовать в деятельности хартфордских феминисток, особенно в

отсутствие мужа. И вот он, вернувшись, обнаружил своего ангела в центре скандала.

Генри Уорд Бичер, которым Твен восхищался, в проповедях осуждал соратницу Изабеллы Бичер, суфражистку Викторию Клафлин Вудхилл — первую женщину, которая работала биржевым брокером и баллотировалась в президенты. Вудхилл выступала за право женщин на развод и протестовала против двойной морали, позволявшей мужчине иметь любовниц; она также, увы, связалась со спиритуалистами и наряду со здравыми пропагандировала завиральные идеи. Она издавала журнал «Уикли» (опубликовавший «Коммунистический манифест» Маркса); в ноябре в «Уикли» вышла статья, где утверждалось, что проповедник Бичер, поборник морали, спал с Элизабет Тилтон, женой своего друга и прихожанина Теодора Тилтона. Бичер пошел в контратаку, Вудхилл была арестована по обвинению в «публикации непристойностей», провела в тюрьме месяц, затем была оправдана судом, но президентом ее, разумеется, не избрали. Церковь Бичера оправдала, а Тилтонов отлучила, но репутация пастыря была сильно подмочена. Гарриет Бичер-Стоу и еще одна ее сестра, Мэри Бичер-Перкинс, защищали брата, но Изабелла Бичер-Хукер заявила, что поддерживает обвинения против него. Изабелла была подругой матери Оливии и соседки Клеменсов Сьюзен Уорнер, так что Оливия тоже встала на сторону Изабеллы. Между супругами состоялось несколько тяжелых разговоров, и Твен запретил жене посещать приятельницу. Но история на этом не закончилась.

Тилтон подал в суд на Бичера по обвинению в прелюбодеянии. Весной 1875 года состоялся процесс. Твен, веривший в невиновность Бичера, посещал заседания вместе с Туичеллом — и заколебался: «Двойственность его позиции его погубила. Невиновный или виновный, он делал неправильные заявления». Присяжные не смогли вынести вердикт: по тогдашним законам главное действующее лицо, Элизабет Тилтон, как жена истца не имела права давать показания. Твен не успокоился, много говорил о деле Бичера, хотел писать о нем книгу, но все меньше верил в его невиновность. Отчасти этот процесс, отчасти доводы жены привели к тому, что Твен переменял свои взгляды на права женщин: он возобновил отношения с Изабеллой Хукер, оказывал ей финансовую поддержку и выступал на организуемых ею собраниях. Из записных книжек: «Никакая цивилизация не может быть совершенной, если в ней отсутствует полное равенство прав женщин и мужчин». В этом отношении Оливия его действительно «исправила».

В начале 1873 года Редпат продолжал приставать с гастрольями, обещал

400 долларов за вечер, Твен отказал, но пару раз бесплатно выступал в Хартфорде по просьбе Туичелла и другого знакомого проповедника — Хоули. Газеты умоляли написать что-нибудь, отказывал почти всем, сделал исключение для нью-йоркской «Трибюн» (очерки о Гавайях) и «Алты» (рассказ о благочестивом мальчике «Бедняжка Стивен Джерард» («Poor Little Stephen Girard»). Большие публичные вечера его утомляли, но выступать на частных вечеринках он обожал и не мыслил жизни без приятных мужских обедов: стал членом старейшего нью-йоркского клуба «Лотос» и хартфордского литературного клуба «Вечер понедельника», где 31 марта произнес первую речь: «Разнузданность печати» («License of the Press»): «У нас свободная печать, даже более чем свободная, — это печать, которой разрешено обливать грязью неугодных ей общественных деятелей и частных лиц и отстаивать самые чудовищные взгляды. Она ничем не связана. Общественное мнение, которое должно бы удерживать ее в рамках, печать сумела низвести до своего презренного уровня. Существуют законы, охраняющие свободу печати, но, по сути дела, нет ни одного закона, который охранял бы граждан от печати! <...> Не стоило бы в этом признаваться, но я и сам печатал злостные клеветнические статьи о разных людях и давно заслужил, чтобы меня за это повесили».

Сюзии наконец-то была здорова, Оливия спокойна, к ужину приглашали друзей: Туичеллов, Хоуэлсов, соседей — Трамбуллов (Джеймс Трамбулл — историк, основатель «Вечера понедельника») и Уорнеров (Чарльз Дадли Уорнер — юрист, журналист и писатель). Хоуэлс: «Как другие блестящие рассказчики, Клеменс любил слушать других, никогда не перебивал, немедленно замолкая, едва кто-нибудь раскрывал рот, и даже притворяясь, что заинтересован. <...> Он разыгрывал людей ради забавы. Однажды, помню, он вышел в гостиную в белых шлепанцах из телячьей шкуры, шерстью наружу, и изображал хромого негритянского дядюшку к восторгу собравшихся, но не всех, ибо миссис Клеменс испустила отчаянный вопль: «Мальчишка!» Она так его звала, и это имя подходило ему как никакое другое». Уорнер: «Дом Клеменсов был единственным, где вечером никогда ничем не были заняты и всегда ждали гостей. Клеменс был идеальным хозяином; посиделки затягивались за полночь, рассказы лились рекой».

В январе Уорнер и Твен начали вместе работать над книгой. По легенде, было так: за обедом они обзывали современные романы «бабскими», их жены предложили написать что-нибудь «мужское», если сумеют. Твен еще никогда романов не писал, презирал этот жанр (выдумки, слащаво, искусственно), но у него был давний замысел — рассказать о кузене своей матери Джеймсе Лэмптоне, авантюристе и мечтателе,

носившемся с безумными коммерческими прожеками. Тема одинаково подходила для романа и для пародии на роман. Определились с жанром: помесь семейной саги с авантурным триллером и мелодрамой, назвали книгу «Позолоченный век» («The Gilded Age: A Tale of To-Day»).

В период «Простаков» твеновская Америка была «хорошая», «чистая»; считается, что с «Позолоченного века» писатель начал относиться к своей стране критически. «Позолоченный век» — конец 1860-х и начало 1870-х, период после Гражданской войны, в некоторых отношениях похожий на наши «лихие 90-е», когда каждый был одержим жаждой богатства, а политики занимались коммерческими аферами; «лихие 70-е» разрушили семью Хокинсов, героев саги. «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина в 1874 году опубликовали роман под названием «Мишурный век», предупредив, что это сатира исключительно на американскую жизнь и никакую иную, боже упаси. Аферы, которыми занимаются конгрессмены-мошенники, были взяты из американской жизни (дело железнодорожной компании «Кредит Мобильер»), но Щедрин знал, что его читатели все поймут (хотелось бы верить, что когда-нибудь в России вырастет поколение читателей, которое не сможет понять): «Едва ли теперь человек может пройти в конгресс, не прибегнув к таким средствам и уловкам, которые сделали бы его недостойным звания конгрессмена; конечно, бывают и исключения; но, знаете ли, будь я юристом, я не мог бы заняться политикой, не повредив своему положению. Люди наверняка усомнились бы в моем бескорыстии и в чистоте моих намерений. Да что говорить, ведь если какой-нибудь член конгресса голосует честно и бескорыстно и отказывается, пользуясь своим положением, запустить руку в государственную казну, так об этом кричат по всей стране как о чуде».

Первые 11 глав писал Твен, 12-ю Уорнер, потом писали поочередно, иногда оба предлагали варианты одной главы, а жены выбирали лучший; все, что связано с Хокинсами, в основном создано Твеном, а описание жизни в Нью-Йорке, быт юристов и конгрессменов — Уорнером, который знал эту среду. История начинается в 1840-х годах в Теннесси: неудачливый сквайр Хокинс (Джон Маршалл Клеменс) в надежде разбогатеть купил землю, потом по приглашению родича, полковника Селлеса (Джеймс Лэмpton), переехал в Миссури. У Хокинсов есть сын Вашингтон (Орион) и двое усыновленных детей: мальчик Клай (Сэм) и девочка Лора (не Памела — был другой прототип). Годы шли, Хокинс и Селлес неоднократно разорялись, но сквайр так и не решился продать землю и умер. Далее Уорнер ввел новых персонажей: сенатора Дилуорти, коррумпированного жулика и демагога (прототипом считают конгрессмена Помроя из Канзаса,

процесс над которым — за взяточничество — шел в то время, когда писался роман), и мошенника Селби. Лора, оказавшаяся герцогиней по рождению, вышла за Селби, уже женатого, тот ее бросил, а Дилуорти «подобрал» и перевез в столицу, где она и Вашингтон стали его помощниками. Клай, не испорченный мечтами об успехе, уехал в Австралию, трудился, помогал семье.

Лора стала профессиональным лоббистом, была влиятельна и жила благополучно, пока вновь не встретила Селби: возобновился роман, и в конце концов она любовника застрелила. Дилуорти подкупом добился ее оправдания, но его самого обвинили в мошенничестве и не переизбрали в конгресс, так что жить Лоре и Вашингтону было не на что. Лора хотела выступать с рассказами о своем судебном процессе, ее освистали, и она с горя умерла; Вашингтон же наконец отрекся от мечты о легкой наживе и решил работать. Параллельно с этим сюжетом развивалась история Филипа Стерлинга, который честно трудился, женился на порядочной девушке Руфи и добился успеха. Мораль (или пародия на нее): даже в «лихие 70-е» надо зарабатывать деньги честно, а не то лишишься последней рубашки — если только ты не родился мошенником (или конгрессменом, что, по Твену, одно и то же). Есть и другая мораль: ангелу негоже лезть в грязные мужские игры.

У Лоры имя и наружность первой юношеской любви Сэма Клеменса, но характер не имеет с той ничего общего: скорее это шарж на Викторию Вудхилл и Изабеллу Хукер. Описание ее судебного процесса, как и процесса Дилуорти, взято из жизни: в начале 1870-х годов за убийство любовника судили Лору Фэйр из Сан-Франциско, оправдали по причине «аффекта», она пыталась выступать публично, была жестоко осмеяна. С романной Лорой контрастируют другие героини: добродетельная Руфь, которая училась и мечтала стать врачом, но, повстречав мужчину, одумалась, и Алиса, тоже добродетельная, но чересчур умная и посему обреченная на девство. Однако совсем изничтожить «зарвавшееся бабье» Оливия Клеменс и Сьюзен Уорнер не позволили.

«— По-моему, если бы народ хотел, чтобы в конгрессе заседали достойные люди, таких бы и выбирали. Наверно, — с улыбкой прибавил Филип, — для этого в голосовании должны участвовать женщины.

— Что ж, я охотно голосовала бы, если бы понадобилось. Ведь пошла бы я на войну и делала бы все, что только в моих силах, если бы иначе нельзя было спасти родину! — сказала Алиса с таким жаром, что Филип удивился, хоть и думал, будто хорошо ее знает. — Будь я мужчиной...

Филип громко рассмеялся:

— Вот и Руфь всегда говорит: «Будь я мужчиной...» Неужели все девушки хотят изменить своей половине рода человеческого?

— Нет, — возразила Алиса, — мы только хотим изменить другую половину рода человеческого. Мы хотим, чтобы изменилось большинство молодых людей, а то их совсем не заботят вещи, о которых им следовало бы заботиться».

В 1874 году Твен опубликовал в газете «Лондон стандарт» статью в защиту суфражисток «Восстание умеренности» («The Temperance Insurrection») — женщины страдают от бесправия и чувствуют справедливое презрение к мужчинам: «Они видят, как их отцы, братья и мужья бессмысленно сидят на диване и позволяют подонкам выдвигать бесчестных кандидатов». «Я хочу, чтобы женщин наконец возвысили до положения негров, пришлых дикарей, отсидевших тюремный срок преступников, и позволили голосовать». А в рассказе «Странная республика Гондур» женщины не только голосуют, но и управляют государством.

Толстый роман соавторы написали менее чем за три месяца, издавать будет Блисс, деньги потекут рекой, пора обзаводиться домом. Клеменсы купили участок на Фармингтон-авеню, 351, по соседству с Гарриет Бичер-Стоу, наняли модного нью-йоркского архитектора Эдварда Поттера и начали строиться: Оливия делала чертежи и объяснялась со строителями, муж ругал Блисса за то, что тот плохо продает его книги (дом в конечном итоге обошелся в 40 тысяч долларов, уплаченных из гонорара за «Позолоченный век» и частично из средств Оливии), подумывал стать акционером «Америкэн пабблишинг компани» или основать свое издательство. Писал мало, вновь обратился к истории капитана Уэйкмена-Сормфилда, показал Хоуэлсу, тот рекомендовал печатать, но автор видел, что это «не то». 17 мая он вновь отправился в Англию: заключать контракт с Рутледжем на «Позолоченный век» и писать «Джона Буля»; с ним ехали дочь, жена и подруга жены Клара Сполдинг.

В Лондоне его популярность росла: в комплектах игральных карт с фотографиями знаменитостей он был Королем Бубен, консервативный клуб «Атенеум», пренебрегший им в прошлый приезд, теперь принял в свои члены. Жили в том же «Лэнгеме», апартаменты каждый день полны гостей: Сполдинг запомнила Тургенева, Роберта Браунинга, уже упоминавшегося Чарлза Кингсли (тот, даром что священник, пропагандировал теорию эволюции и внушал Твену почтение к Дарвину), политиков Чарлза Дилка и лорда Хоутона, художника Джона Милле и даже знаменитого медиума Хоума, который умел летать, но в гостиную Клеменсов сделать это

отказался, сославшись на нездоровье. В свободное от обедов время Твен посещал судебный процесс, материалы которого потом использует: самозванец Тичборн претендовал на наследство лорда-однофамильца, получил 14 лет за мошенничество и охотно дал Твену интервью. Больше всего на свете хотел увидеться с Карлейлем — но умирающий старец не принимал визитеров. Приходилось довольствоваться обществом Уилки Коллинза, Герберта Спенсера, Антони Троллопа, Артура Хелпса (популярного детского писателя); трудно назвать знаменитостей, с которыми он не встречался.

В те дни в Лондоне была еще одна модная фигура — шах Персии Насреддин, о котором Твен написал в «НьюЙорк геральд» пять очерков под названием «Шах» («O'Shah»): общего восторга не разделял и противопоставил персу куда более интересного человека, также гостившего в Лондоне, но не привлечшего внимания публики, «красивого, могущественного гиганта» — будущего Александра III: «Мы определенно не в своем уме. Мы едва замечаем молодого колосса, который будет править страной в 70 миллионов, самой могущественной империей из существующих, но таращимся на варвара, который управляет в пустыне 10-ю миллионами оборванцев, который никогда ничего не сделал, чтобы заслужить наше восхищение или благодарность, за исключением того, что за год уморил голодом миллион своих подданных».

Еще важное дело — 24 июня запатентован альбом для вырезок, оформлял документы знакомый Твена по «Квакер-Сити» Дэн Слоут, он же займется внедрением, автору идеи причитается лишь треть прибыли, но и она сулит богатство. Выход английского издания «Позолоченного века» по техническим причинам откладывался (а раз книга не выходит в Англии, то Блисс и дома ее выпустить не может: только одновременный выпуск спасет от пиратов), придется задержаться в Лондоне до осени. Жена плохо себя чувствовала, любви мужа к Англии не разделяла, лондонский шум не выносила, и в конце июля поехали в Шотландию, поселились в тихом отеле, но Оливии стало еще хуже. Обратились к эдинбургскому врачу Джону Брауну — Твен знал его как автора детских книг, — тот поставил больную на ноги и стал другом семьи. Пожили немного у шотландского писателя-священника Джона Макдоналда (знакомого по Штатам), посетили Ирландию (никому не понравившуюся), в конце лета вернулись в Лондон, потом съездили в Париж, чтобы сделать покупки для будущего дома. Оливия снова ждала ребенка, тосковала, писала матери, что сил у нее больше нет, но вернуться домой нельзя: муж должен выступать с отрывками из «Позолоченного века». «Я бы ни минуты не колебалась и мы



бы уехали, если бы речь шла только о деньгах, но если для его репутации будет лучше, чтобы он задержался, тогда, конечно...»

Как-то вечером Клеменсы были в театре и там услышали, что банк «Джей Кук энд компани», в котором они держали сбережения, приостанавливает выплаты, — то был первый день очередного финансового кризиса, разразившегося в США. «Джей Кук» спекулировал на финансировании строительства Тихоокеанской железной дороги и разорился, за ним обвалились более шести тысяч предприятий, фондовая биржа закрылась на десять дней, началась паника. Твен провел бессонную ночь: они погибли, виноват во всем, разумеется, он.

Состояние Оливии, вложенное в акции, пока не пострадало, но наличных не было даже на оплату номера в отеле; наутро Твен объявил, что желает скорей начать «лекции». Выступал он в Ганноверском зале, читал в основном старое, о Гавайях, делал это через силу, но слушатели безумствовали от восторга, газеты посвящали ему передовицы, зал не вмещал и трети желающих. Оливия пыталась храбриться, но была совсем больна. В конце октября Твен все бросил, повез ее и Сюзи домой (о том, чтобы она путешествовала одна, не могло быть и речи), сдал на руки Ориону, который доставит ее в Эльмиру (сам Орион в тот период был уже уволен из «Америкэн пабблишинг компани» и жил в Кеокуке, где брат купил ему птицеферму), и в тот же день помчался обратно в Англию, прихватив в качестве компаньона журналиста Чарлза Стоддарда. Два месяца выступал в Лондоне ежедневно, а то и дважды в день, отклонив даже предложение лорд-мэра пообедать; от тура по Англии отказался — нигде не было залов достаточной вместимости. Отдохнул только на Рождество — посетил Стоунхендж и гостил три дня в замке лорда Солсбери. Тут наконец вышел «Позолоченный век», и автор 13 января 1874 года отплыл домой.

Разошлась книга прекрасно, правда, отзывы критиков были кислые — никто не понял, что это пародия, — но это чепуха, главное — доход. Честным трудом, как декларировалось в романе, автор вернул половину денег, пропавших с «Джеем Куком», капитал Оливии был в порядке, альбом для вырезок вот-вот принесет миллионы: можно успокоиться. Твен изредка выступал, принимал гостей; его книги переводили на французский, датский, русский, немецкий, мир писал о нем, читатели заваливали его письмами (большей частью дурацкими), в апреле у Блисса вышел сборник старых рассказов, тоже принесший неплохой доход. Кризис оказался вялотекущим: за пять лет он обесценит угольные акции Оливии более чем вдвое, но в 1874-м этого ничто не предвещало. В апреле Клеменсы уехали в «Каменоломню», где их ждал сюрприз: Сьюзен построила для зятя домик-

студию, где он мог уединиться. Работал, правда, мало, никакого «Джона Буля» опять не написал (и никогда не напишет), закончил лишь фантастический рассказ о путешествии с кометой «Приятное и увлекательное путешествие» («A Curious Pleasure Excursion»), опубликованный в июле в «Геральд», больше читал, сделал заметку: «Я люблю историю, биографии, путешествия, интересные и курьезные случаи, науку, ненавижу романы, стихи и богословие».

Двумя авторами он увлекся в то лето. Первый — британский историк Уильям Леки, специализировавшийся на этических и религиоведческих вопросах: называл пагубным влияние римской церкви на европейскую цивилизацию, считал, что характер и мораль человека определяются средой, при этом выделяя два вида морали — «стоическую», для которой характерно врожденное понимание добра и зла, и «эпикурейскую», в соответствии с которой человек совершает хорошие поступки потому, что это приятно; его труды по истории Англии послужат основным источником для «Янки при дворе короля Артура». Другой, тоже британец, — Стивен Лесли, литератор и публицист, бывший священник, утративший веру в Бога, но верящий в человеческую мораль. Оба были в той или иной степени сторонниками эволюционной этики, учения о том, что мораль не противоречит естественному отбору, а, напротив, является его важнейшим фактором: человечество развивается постольку, поскольку расширяются добрые чувства человека, направленные когда-то на свою семью, потом на племя, а в идеале — на все человечество (по Леки, и животные со временем должны быть включены в «круг доброжелательной привязанности», то есть стать теми, кого немислимо убивать и есть). Оба писателя были плодовиты, Твен читал с утра до вечера, раскачиваясь в гамаке; в соседнем гамаке качался и читал то же самое Теодор Крейн, муж Сьюзен, обсуждали, ругались (Крейны были религиозны), жен к беседам не допускали: ангелам эта премудрость ни к чему.

8 июня родилась вторая дочь, Клара, наконец-то здоровый и крепкий восьмифунтовый ребенок, «американский гигант», по словам отца, и рыжий, как он. Сюзанне не могла выговорить слово «бэби» и называла сестру Бэй — так ее и стали звать (*Bay* — «рыжик»; саму Сюзанну звали «Модок» — так называется одно из индейских племен). Твен — Туичеллу: «Модок была в восторге и сразу дала сестре свою куклу, она совсем не эгоистична. Она очарована малышкой. Она бежит на воздухе почти все время, стала крепкая, как сосенка, и коричневая, как индеец. Она — закадычный друг всех цыплят, кур, уток и индюков». Новую дочь Твен, разумеется, опять едва не убил — он ведь был самый ужасный отец в мире, во всем

виноватый злодей и эгоист: «Она спала на подушках в кресле-качалке. Я забыл о ее присутствии, если вообще заметил его. Я занимался игрушечным механическим фургоном и, когда увидел, что он вот-вот столкнется с креслом, отпихнул кресло ногой. Бэй от удара упала на пол, и ее голова оказалась в двух дюймах от железной решетки, правда, вместе с подушкой. Так что она была в трех дюймах от некролога» (из неопубликованного текста «Детские записи» («Children's Record»), написанного, когда Кларе была неделя от роду).

4 июля 1874 года в «Журнале литературы, науки и искусства» издателя Эпплтона появилась статья критика Ферриса — второй после хоуэлсовского серьезный материал о работах Твена. «Его юмор самого высокого класса, среди современных американских авторов он, быть может, уступает одному Брет Гарту. По остроумию не уступает никому. Если Марку Твену и недостает тонкости и пафоса Гарта, он превосходит его по широте, разнообразию и непринужденности. Его зарисовки необычайно причудливы. Он пишет серьезно, поэтично — и вдруг мы натываемся на гениальный гротеск и буйную россыпь шуток. Он понимает ценность паузы в искусстве. Утомительно читать автора, у которого все страницы пересыпаны остротами и он постоянно подчеркивает, что развлекает нас. Главное обаяние Твена — его легкость. Кажется, будто он пишет для собственного удовольствия; он как школьник, желающий повеселиться, и он заставляет читателей веселиться вместе с ним».

Дочки здоровы, жена тоже, дом строится, деньги за «Позолоченный век» капают, альбом для вырезок приносит прибыль; отец семейства, настроенный как никогда оптимистично, вложил 23 тысячи долларов в акции фирмы, которой владел его знакомый по Неваде Джон Джонс: он всю жизнь будет вести бизнес с родственниками и друзьями, чего, как известно, делать не следует. Теперь он смог вернуться к «Тому Сойеру»: «Рукопись пролежала в ящике стола два года, а затем в один прекрасный день я достал ее и прочел последнюю написанную главу. Тогда-то я и сделал великое открытие, что если резервуар иссякает — надо только оставить его в покое и он постепенно наполнится, пока ты спишь, пока ты работаешь над другими вещами, даже не подозревая, что в это же самое время идет бессознательная и в высшей степени ценная мозговая деятельность».

Его обычный распорядок: писал до обеда и после обеда, иногда до 50 страниц в день, перед сном читал написанное всему семейству. 25 июня прервал работу на 20 дней — ездил в Хартфорд поругаться со строителями, в августе недельный перерыв — с женой поехал к матери и Памеле. Визит прошел ужасно, невестка казалась нелюдистой, скучной, заносчивой, мать и

сестру раздражало, что Сэмюэл во всем принимает сторону жены, обхаживает ее как больную, а она, может, и не больна, а прикидывается. Были ссоры. Кто виноват во всем? Разумеется, Сэмюэл Клеменс, который вдобавок обидел (или вообразил, что обидел) кого-то из местных; и он просил, просил, просил прощения, но со злющим своим языком ничего поделать не мог. Письмо от 15 августа из Эльмиры:

«Дорогие мама и сестра, я уезжал из Фредонии, сгорая от стыда, слишком угнетенный, чтобы посмотреть вам в глаза и попрощаться как следует, потому что понял, как ужасно мое поведение навредило вашему положению в городке. Я должен был пойти к тому кретину с мозгами устрицы и просить прощения за мою непростительную грубость к нему... Я в ужасе от слов Памелы о том, что эти люди приходили познакомиться с Ливи, а та их никак не поощрила. Я боюсь, до этих тупиц не доходит, что их внимание нежелательно. Я уехал, чувствуя, что в обмен на вашу заботу о нашем удобстве и о том, чтобы сделать наш визит приятным, я подло отплатил вам, причинил вам боль и бросил вас. И разумеется, мне воздалось — совесть терзает меня с того самого мгновения, и не было и четверти часа, чтобы я не мучился».

Одна из причин конфликта: женщины просили поддерживать Ориона, у которого с птицефермой ничего не вышло. «Я не могу «поощрить» Ориона. Никто не может сделать это, потому что прежде, чем вы получите это письмо, он будет гоняться за каким-нибудь новым миражом. Как можно поощрить заниматься литературой человека, который чем старше становится, тем хуже пишет? Поощрить его безумные потуги стать юристом? Я не могу поощрить его быть проповедником — он все время меняет религию. Я не могу поощрить его делать что-либо, кроме как заниматься фермой. Если вы просите ему сочувствовать, я делаю это. Но поощрить ртуть невозможно — вы за ней не угонитесь. <...> Если получится, я хотел бы назначить ему пособие, делая вид, что это ссуды, и тогда он мог бы быть счастлив, и не считал меня благодетелем, и спокойно прожектерствовал...» (Вскоре Сэмюэл стал выплачивать брату такое пособие, но мать это не удовлетворило.)

Супруги съездили в НьюЙорк за покупками и 19 сентября въехали в новый дом, предварительно обзаведшись кошками: «Что мне нужно от жизни, кроме жены, которую я обожаю? Кошку, старую кошку с котятами». Дом, однако, был недостроен: поток наличных временно иссяк, заимствовать из капитала жены Твен отказался, так что часть комнат оставалась без отделки. Выглядело строение необычно, Хоуэлс и Туичелл назвали его «уникальным», большинство считало уродливым. Два этажа,

общая площадь — 14 тысяч футов, форма асимметричная, стиль — готический, с башенками, стены из красного и черного кирпича, выложенного мозаикой, кровля еще пестрее, угловые комнаты со шпилями и открытыми верандами, на ограде — орнамент из бабочек и цветов. Помещения — анфиладой: какходишь (не с улицы, а под прямым углом к ней) — громадная закрытая веранда, потом такой же гигантский зал, за ним две гостиные, библиотека, столовая, круглый музыкальный салон, спроектированный соседкой, Гарриет Бичер-Стоу; она же много лет спустя поможет устроить оранжерею. Внизу одна спальня, остальные наверху, там же ванны, детские, кабинет, бильярдная. Комнату, предназначавшуюся под кабинет, решили отдать под детскую игровую (позднее — классную), а хозяин перебрался писать в бильярдную, к которой вела отдельная лестница. Дом постоянно достраивался — как только появлялись свободные деньги — и в конце концов стал роскошным: резные камин, венецианские зеркала, тисненные обои, утварь в спальнях и ваннах из кожи и серебра; столовую декорировал Тиффани: апельсинового цвета обивка расписана серебром, камин отделан полированной медью; обои для детских со сказочными мотивами нарисовал английский художник Вальтер Крейн.

Больше всего людей изумляло то, что кухня выходила на улицу. Хозяин отвечал: это для того, чтобы кухарке не нужно было никуда бежать, когда по улице пойдет цирк. Слуг планировалась дюжина, на деле получилось шесть постоянно живших в доме и несколько приходящих; суммарное жалованье — две тысячи долларов в год, очень много по тем временам. Иные слуги держались десятилетиями, как Джордж Гриффин, негр, бывший раб: пришел помыть окна и остался в качестве дворецкого, Твен его обожал (в 1893 году Гриффин сопровождал его в деловой поездке как компаньон, а не лакей, люди глядели на них косо — «Их взгляды смутили Джорджа, но не меня, он вполне годился мне в товарищи; в некоторых отношениях он был мне равен, а в иных — превосходил меня»), жена терпеть не могла — выпивал, играл в карты, брал у хозяина займы и с честными глазами врал, что хозяев нет дома, когда Твену не хотелось никого принимать. Супруги Патрик и Элен Макелер, лакей и горничная, служили еще у Джервиса Лэнгдона и проработали в доме его дочери 36 лет. С 1874 года жила в доме няня, Розина Хэй. Зато без конца менялись повара — Оливия ничего не смыслила в кухне и все боялась не угодить гостям, и вообще, по мнению Твена, нормально поесть можно было на Юге, но не у янки. Особым гурманом, впрочем, он не был, обожал пироги с черникой, которые мог есть каждый день; завтракал очень плотно на английский

манер (4–5 блюд), к ланчу не выходил, вечером обедал с гостями, от позднего ужина отказывался, на ночь пил виски, потом от этой привычки отказался. Сигару не выпускал изо рта с утра до ночи. На здоровье все это вроде бы не сказывалось, был подтянут, ловок, по лестнице не всходил, а взлетал; из физических упражнений признавал только пешую ходьбу.

Часто гостил Хоуэлс, спальня на первом этаже была за ним зарезервирована; хозяин приходил к нему, когда все укладывались спать, курили и болтали «обо всем в небесах, и на земле, и в воде, и под землей», по выражению Хоуэлса, который «обалдевал после двух дней таких разговоров». С Туичеллом ежедневно совершали прогулки по 10 и 20 километров, иногда ехали поездом до соседнего городка Блумфилд, а обратно возвращались пешком. Однажды затеяли идти пешком до Бостона, шагали весь день, потом все-таки сели на поезд и успели к ужину у Хоуэлсов, на следующий день обедали с Олдричем, репортеры с восторгом описывали «литературную прогулку» — Твен уже чихнуть не мог, чтобы об этом не написали в газетах.

Вернувшись домой, писал Хоуэлсу: «Миссис Клеменс готова браниться и впадает в непристойную ярость, когда я рассказываю, как хорошо мы без нее провели время». Подшучивал над женой довольно безжалостно, любил вызывать ее гнев, выходя на улицу в тапочках, она поднимала крик — возможно, лишь затем, чтобы доставить ему удовольствие, так как, хотя и не все шутки понимала, все же обладала чувством юмора, проявившимся в описанном Твеном эпизоде: утром он брился в ванной, чертыхаясь и бранясь (был уверен, что жене не слышно через стенку), вошел в спальню — и «ангельские губки», передразнивая его интонации, воспроизвели весь поток нецензурных ругательств. (И он перестал ругаться? Нет: перестал это скрывать.) «Со стороны я мог бы назвать этот брак одним из самых совершенных», — говорил Туичелл; Хоуэлс писал, что Оливия «обладала не только прекрасным характером, но и исключительным умом. <...> Замечательный такт, с каким она обращалась с мужчиной, который был и хотел быть самым несносным существом на свете, она соединяла с откровенностью, и Клеменс принимал ее руководство покорно и с радостью». На самом деле трудно сказать, кто кем руководил в этом идеальном, столь редком для писателей браке.

Хоуэлс, недавно ставший редактором «Атлантик мансли», попросил что-нибудь для него написать — в ноябрьском номере появилась «Правдивая история» («A True Story», другое название «Auntie Cord»), основанная на рассказе бывшей рабыни Мэри Энн Корд, пожилой женщины, служившей кухаркой у Крейнов; автор спрашивает: отчего она

всегда весела, неужто не испытала в жизни горя? — а та рассказывает историю своей семьи. Были муж и семеро детей — и вот их стали продавать поодиночке. «Одушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост — черный силуэт на звездном небе.

— Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост — вот как эта веранда, — двадцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к нам, и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: «Этот слишком старый», или: «Этот слабоват», или: «Этому грош цена». И продали моего старика и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать; а мужчина и говорит мне: «Замолчишь ты, проклятая плакса?!» — и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: «Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему». Но Генри прижался ко мне и шепчет: «Я убегу и буду работать — и выкуплю тебя на волю». О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди, а я билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев».

В войну героиня служила кухаркой у южан, потом у северян, ее младший сын Генри сбежал от хозяина, устроился парикмахером, в конце концов они встретились, но остальные члены семьи пропали без следа. «О нет, мистру<sup>[12]</sup> Клеменс, я не испытала в жизни горя. Но и радости тоже». Хоуэлс назвал рассказ «одним из тех проявлений человечности, которые искупают вину Юга перед неграми». Он видел ясно, что называть автора «комиком» — значит не смыслить вообще ничего. Но его мнения почти никто не разделял. «Юморист» (как «фантаст») — это клеймо.

«Атлантик» был журнал престижный, но бедный: знаменитым авторам, везде получавшим не меньше пяти центов за слово, платили два. Твен обычно торговался свирепо, но условий Хоуэлса не оспаривал и на протяжении многих лет отдавал ему свои лучшие вещи. Печатался и в других изданиях: в том же ноябре в «НьюЙорк таймс» вышла еще одна негритянская история, «Общительный Джимми» («Sociable Jimmy») — о мальчишке, служившем в парижском отеле. Хоуэлс просил «чего-нибудь в таком же духе», Твен ответил, что пока ни на что не способен, ибо «в голове беспорядок» и даже «Том Соьер» опять застопорился. Туичелл посоветовал сделать книгу о лоцманах — идея была воспринята с восторгом, и позднее осенью 1874 года Твен начал писать очерки «Старые

времена на Миссисипи» («Old Times on the Mississippi»).

Он хотел совершить поездку по местам, о которых пишет, но не нашел компаньона, а одному ехать скучно; пришлось полагаться на память. Весь декабрь мотался в Бостон (там увидел новшество — пишущую машинку «ремингтон», попытался писать на ней, но скоро бросил), посещал литературные вечеринки в «Атлантик», где бывали классики — Лонгфелло, Холмс, Эмерсон, Уиттьер, — и при этом успел выдать первую порцию текста уже в январский номер. «Старые времена» публиковались до августа 1875 года и получили прекрасную прессу. Из «очерковых» книг Твена эта самая цельная — минимум не идущих к делу баек — и самая поэтичная.

«Мне до сих пор вспоминается изумительный закат, который я наблюдал, когда плавание на пароходе было для меня внове. Огромная пелена реки превратилась в кровь; в середине багрянец переходил в золото, и в этом золоте медленно плыло одинокое бревно, черное и отчетливо видимое. В одном месте длинная сверкающая полоса перерезывала реку; в другом — изломами дрожала и трепетала на поверхности рябь, переливаясь, как опалы; там, где ослабевал багрянец, — возникала зеркальная водная гладь, сплошь испещренная тончайшими спиралями и искусно наведенной штриховкой; густой лес темнел на левом берегу, и его черную тень прорезала серебряной лентой длинная волнистая черта, а высоко над лесной стеной сухой ствол дерева вздымал единственную зеленую ветвь, пламеневшую в неудержимых лучах заходящего солнца».

И тут же художник, умеющий видеть вещи под разным углом зрения, демонстрирует, как романтическое восприятие любителя уступает место профессиональному: «Повторись тот закат — я смотрел бы на него без всякого восхищения и, вероятно, комментировал бы его про себя следующим образом: «По солнцу видно, что завтра будет ветер; плывущее бревно означает, что река поднимается, и это не очень приятно; та блестящая полоса указывает на скрытый под водой каменистый порог, о который чье-нибудь судно разобьется ночью, если он будет так сильно выступать; трепещущие «зайчики» показывают, что мель размыло и меняется фарватер, а черточки и круги там, на гладкой поверхности, — что этот неприятный участок реки опасно мелеет. Серебряная лента, перерезающая тень от прибрежного леса, — просто след от новой подводной коряги, которая нашла себе самое подходящее место, чтобы подлавливать пароходы; сухое дерево с единственной живой веткой простоит недолго, а как тогда человеку провести здесь судно без этой старой знакомой вехи?»».

Завершив «Старые времена», Твен положил начало юмористическому



циклу о злоключениях супругов Мак-Вильямс — то бишь Клеменс. (В отличие от большинства писателей он считал, что все самое интересное не завершается свадьбой, а начинается ею.) Первый рассказ, «Мак-Вильямсы и круп» («Experience of the McWilliamses with Membranous Croup»), вышел в 1875 году.

«— Милочка, на твоём месте я бы не позволил ребёнку жевать сосновую щепку.

— Милый, ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ребёнка щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание; я хочу сказать: замужние женщины.

Я ответил:

— Дорогая, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребёнок.

Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороге и опять легла на колени. Миссис Мак-Вильямс сдержалась (это было заметно) и сказала:

— Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь: все доктора как один говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике.

— Ах, тогда я просто не понял, в чём дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник и что наш домашний врач посоветовал...

— А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник?

— Дорогая, ты сама мне подала эту мысль.

— Ничего подобного! Никогда я этой мысли не подавала!

— Ну что ты, милая! И двух минут не прошло, как ты сказала...

— Ничего я не говорила! Да всё равно, если даже и сказала! Девочке несколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь. И она будет жевать сколько захочет. Да, будет!

— Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу три воза самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребёнок в чём-нибудь нуждался, когда я...

— Ах, ступай, ради бога, в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чём споришь и что говоришь.

— Очень хорошо, пусть будет по-твоему. Но я не вижу логики в твоём последнем замечании, оно...

Я не успел ещё договорить, как миссис Мак-Вильямс демонстративно

поднялась с места и вышла, уводя с собой ребенка».

Жена воображает, что у ребенка круп, изводит мужа противоречивыми указаниями, не дает ему спать, впадает в панику — при этом не теряя практичности: «Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, которая ответила громким воплем и получила бы за это пинок, если бы он не достался стулу.

— Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка!

— Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся.

— Кстати уж посмотри, цел ли стул... По-моему, сломался».

В конце концов обнаружилось, что девочка подавилась сосновой щепкой, с которой начался рассказ. Современные критики называют рассказ сексистским (жена — идиотка), тогдашние просто наслаждались, и сама жена не думала обижаться, ведь той же зимой ее муж, чьи «сексистские» взгляды она изменила, выступал в «Вечере понедельника» с речью о женском избирательном праве: «Все наши требования к избирателю сводятся к тому, чтобы его фигура раздваивалась книзу... Он может бесполезно копать землю, может быть законченным негодяем; даже если он только что вышел из тюрьмы, его голос весит столько же, сколько голос президента, епископа или профессора. Мы хвалимся «всеобщим» избирательным правом. Но мы лжем».

В январе в Хартфорде состоялась премьера пьесы по «Позолоченному веку» — «Полковник Селлерс». Прошлой весной роман инсценировал журналист Гилберт Денсмор без согласия авторов, те были взбешены, пришлось выкупать свою же вещь у вора, Твен ее переписал, сделав главным героем Селлерса, симпатичного авантюриста и прожектера, и она шла на сцене более десяти лет, принесла еще больше денег, чем роман. Блистал в пьесе знаменитый актер Генри Реймонд (получавший по договору половину прибыли — Твен постепенно пришел к убеждению, что это грабеж, и с Реймондом рассорился), был еще один актер, молодой и никому не известный — на автора он произвел сильное впечатление, и тот насильно всучил ему три тысячи долларов на учебу в театральной школе: то был Уильям Джиллет, будущая звезда англосаксонского мира. Весной Твен взялся вновь за «Тома Сойера», ходил на процесс по делу Генри Бичера, в апреле ездил с Хоуэлсом в Кембридж на празднование столетия битвы при Лексингтоне<sup>[13]</sup>, дома увлекся бейсболом, каждую неделю посещал матчи. В Эльмиру на лето не поехали — болела Сюзи. К 5 июля был готов черновой вариант «Тома». Поначалу автор хотел его продолжать. Но передумал.

«Я закончил историю и не буду писать о том, что стало с парнем, когда он вырос, — докладывал он Хоуэлсу. — Считаю, этого нельзя делать ни в какой форме, кроме автобиографической, как «Жиль Блаз». Я, возможно, ошибся, что не писал от первого лица. Если б я теперь продолжил писать о повзрослевшем герое, он вышел бы фальшивым, как все литературные однодневки, и читатель отнесся бы к нему с презрением. Это — вовсе не детская книга. Ее должны читать взрослые. Она написана для них». Друг отвечал, что читал «Тома» всю ночь, захлеб, но взрослой книгой его не считает: «Я думаю, Вы должны ее рассматривать как историю для мальчиков, хотя взрослые тоже будут наслаждаться ею». Автор не спорил — он почти никогда не возражал Хоуэлсу. «Миссис Клеменс согласна с Вами, что книга должна быть издана как книга для мальчиков — без всяких затей; и я тоже так думаю».

Он предоставил Хоуэлсу править роман, сам начал делать инсценировку, но бросил, предложив сделать это тому же Хоуэлсу и соглашаясь на все вплоть до «полного изменения сюжета», сам вместо этого написал «Удивительную республику Гондур» («The Curious Republic of Gondour»), небольшой трактат об управлении государством. Всеобщее (мужское) избирательное право привело к тому, что власть попала в руки «необразованных и не платящих налоги классов»; гондурцы решили ввести избирательный ценз, при котором как богатые, так и образованные (даже если они бедны) мужчины и женщины имели не один голос, а несколько. (Почему такое почтение богатым? Они платят налоги и содержат государство.) Таким образом, парламент Гондура стал состоять из умных и ответственных людей, правительство тоже — ибо чиновники сдают экзамены и отбираются по умственным и моральным качествам. Платят им много, поэтому они не берут взяток. Все это человечество в том или ином виде уже проходило, избирательные цензы были еще в Древней Греции, и все всегда сводилось к богатству, но не к честности и уму; образованные читатели «Атлантик», в октябрьском номере которого анонимно (потому что от Марка Твена ждут только шуточек) был опубликован трактат, по-видимому, это знали и дискуссии, на которую надеялся автор, не завели. Написал он также юмореску «Разговор с интервьюером» («An Encounter with an Interviewer») — опубликует лишь через три года:

«— Сколько вам лет?

— В июне будет девятнадцать.

— Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. <...>  
Когда вы начали писать?

— В тысяча восемьсот тридцать шестом году.

- Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет?
- Не знаю. Действительно, что-то странно.
- Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы встречались?
- Аарона Барра<sup>[14]</sup>.
- Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет.
- Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете?
- Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы познакомились с Барром?
- Это вышло случайно, на его похоронах...»

В августе с семьей съездил отдыхать на мыс Бейтмена (Род-Айленд), Блосс в это время выпустил сборник из 63 рассказов Твена «Старые и новые истории». Осенью правил «Тома Сойера», пытался писать новые вещи, но выдохся — начинал и бросал. Зато занялся делом, мотивы которого были сугубо частными (обеспечить детей), но цель — благородной: защита прав писателей.

Первый закон об авторском праве, Статут королевы Анны, был принят британским парламентом в 1710 году. Автор обладал правами на свое произведение на протяжении 14 лет и имел право продлить его на столько же. Конгресс США принял аналогичный закон в 1790-м; с 1870 года функции регистрации и охраны авторского права сосредоточились в Библиотеке конгресса. В 1831-м срок начального действия копирайта был продлен до 28 лет с правом пролонгации на 14 лет. В 1853-м Гарриет Бичер-Стоу подала в суд на издателя, который без спросу перевел на немецкий «Хижину дяди Тома», и проиграла процесс. Международного закона о копирайте не было, по миру свирепствовали пираты, особенно славилась грабежами американских писателей Канада. К середине 1870-х годов Твена успели изрядно обокрасть, кроме того, он не желал мириться с тем, что авторское право не наследуется.

Историки считают Твена первым профессиональным писателем Америки — до него все были джентльменами: не торговались, сожалели о «коммерциализации» литературы, свои произведения обычно публиковали в периодике, потом выпускали книгу — просто «для красоты», при этом соглашались на любые условия; института литагентов не было, и джентльмены не видели в нем нужды. Твен, как правило, начинал сразу с выпуска книги, чтобы выжать из нее максимальный доход, а периодическим изданиям отказывал (в случае со «Старыми временами» для Хоуэлса было сделано исключение). Неудивительно, что именно он

первым поднял шум вокруг копирайта. Составил ходатайство в конгресс: 1) отказаться от пиратства и тем показать пример другим странам; 2) приравнять авторское право к любой собственности и сделать его бессрчным или, на худой конец, увеличить до 42 лет с возможностью пролонгации и распространить на прямых наследников. «Если бы законы нашей страны имели хоть что-то божеское, вместо того чтобы запихивать Бога в конституцию, жизнь была бы лучше». Он попросил Хоуэлса, Лоуэлла, Уиттьера, Холмса и других мэтров подписать обращение, планировал, заручившись их поддержкой, направить текст всем американским литераторам и собрать тысячу подписей. Но мэтры, за исключением преподобного Горацио Бушнелла, не подписались: одним требования Твена казались неприличными, другим — утопическими, ходатайство так и не попало в конгресс.

Осенью он свозил жену в Бостон — познакомить с «мэтрами». Ей исполнилось 30 лет. «Ливи, любимая, шесть лет прошло с тех пор, как я добился первого большого успеха в жизни — Вас... Каждый день, прожитый нами вместе, укрепляет меня в мысли, что мы никогда не расстанемся. Вы дороже мне сегодня, моя девочка, чем в прошлом году, а в прошлом — чем годом ранее; с каждым годом Вы все дороже мне, и я не сомневаюсь, что так будет всегда. Давайте же с нетерпением ждать следующих годовщин, с их старостью и сединой, без страха и горя, веря, что наша любовь сделает эти годы благословенными». Самому ему стукнуло сорок, а он все еще не создал ничего по-настоящему значительного; 5 ноября сдав Блисссу окончательный текст «Тома Сойера», был уверен, что написал всего лишь «книжку для мальчиков».

## **Часть четвертая**

### **Америка**

*Нужна не только решимость, но страстное желание защищать Америку с ее многоликостью, ее разбродом, ее идейными и эстетическими шатаниями, защищать ее гедонизм, ее щедрость, ее этническую пестроту... Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы унижить Америку, а значит, унижить все законы Эллады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все, что еще осталось достойного защиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу.*

*Василий Аксенов. В поисках грустного бэби*

**Кока-кола, статуя Свободы, Windows, Хемингуэй, Фицджеральд, Чарли Чаплин, Четвертое июля, Уолл-стрит, Гарлем, «Макдоналдс», «Звездные войны», бейсбол, жевательная резинка, Диснейленд, День благодарения, индейка, IN GOD WE TRUST; кукуруза, «Оскар», небоскребы, Марк Твен.**

## Глава 1

### Том Сойер и «Том Сойер»

Поскольку нам предстоит обильное цитирование, начнем с переводов. «Приключения Тома Сойера» («The adventures of Tom Sawyer») печатались в петербургском журнале «Семейные вечера» в 1877 году, отдельным изданием вышли у Суворина в 1886-м, переводы были тяжеловесные, с «отсебятиной», первый приемлемый вариант, сделанный Л. Н. Гольдмерштейном, появился в 1898 году в «Южно-Русском издательстве»; в советский и постсоветский период также опубликованы разные варианты, самых известных два: Корнея Чуковского и Нины Дарузес. Читатели по сей день спорят, называя один перевод прекрасным, другой ужасным и наоборот. На самом деле оба перевода великолепны — и оба неадекватны. Проблема в том, что Гек, Джим и другие персонажи изъясняются не на литературном английском языке, а на смеси просторечия и диалектов, нарушая грамматические формы. Переводчики это проигнорировали. Разберем на примере.

«— Say, Jim, I'll fetch the water if you'll whitewash some.

— Can't, Ma'rs Tom. Ole missis she tole me I got to go an' git dis water an' not stop foolin' 'roun with anybody. She say she spec' Ma'rs Tom gwyne to ax me to whitewash an' so she tole me go 'long an'tend to my own business — she 'lowed she'd 'tend to de whitewashing.

В крошечном фрагменте Твен употребил более десятка «неграмотных» форм: *ma'rs* вместо *mister*, *ole* вместо *old*, *ax* вместо *ask* и т. д. Переводчики справились с ними следующим образом.

Чуковский:

«— Слушай-ка, Джим. Хочешь, побели тут немножко, а за водой сбегаю я.

— Не могу, масса Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит: «Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой». Она говорит: «Я сама, говорит, пойду посмотреть, как он будет белить»».

Дарузес:

«— Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко.

— Не могу, мистер Том. Старая хозяйка велела мне поскорей сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, мистер

Том, верно, позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не совался не в свое дело, а уж насчет забора она сама позаботится».

Национальный колорит — то, за что ценят книгу сами американцы, — убит полностью. Не подумайте, что великие переводчики не видели проблему. Чуковский о «Гекльберри Финне» (там проблема еще глубже — весь текст написан на жаргоне, да не на одном, а, как отметил сам автор, на семи): «Будьте вы хоть талантом, хоть гением, вам никогда не удастся воспроизвести в переводе ни единого из этих семи колоритных жаргонов, так как русский язык не имеет ни малейших лексических средств для выполнения подобных задач». «На каждую сотню произнесенных им [Джимом] слов приходится (я подсчитал) четыре десятка таких, которые резко нарушают все нормы грамматики. <...> Как воспроизвести эти искажения по-русски? <...> Неужели ввести в перевод такие словечки, какочинно, ось, завсегда, жисть, куфарка, калидор, обнаковенно, идёть? Это было бы нестерпимой безвкусицей. <...> Прокурору очень легко говорить: «переводите просторечие просторечием», но пусть попробует применить этот демагогический лозунг на практике».

По мнению Чуковского, необходимо отказаться от попыток передать авторское просторечие и переводить так, как это сделала Н. Дарузес в случае с «Гекльберри Финном», — «чистейшим, правильным, нейтральным языком, не гонясь ни за какими жаргонами»; «и, в сущности, какое мне дело, что в подлиннике вся эта книга от первой до последней страницы написана от лица полуграмотного, темного, диковатого малого, не имеющего никакого понятия о правильной речи. В переводе этот «дикарь» говорит книжным, грамматически правильным языком культурных, интеллигентных людей. Правда, это выходит иногда как-то странно: читаешь, например, сделанное им описание природы, и кажется, что читаешь Тургенева... Но разве дело в таких мелочах? Разве эти мелочи помешали советским читателям, особенно детям, полюбить твеновский роман всей душой? Они читают этот перевод с восхищением и не требуют никакого другого».

Но, может быть, нынешние дети требовательнее советских? Может, их интерес к романам Твена падает, потому что персонажи говорят «как-то странно»? И найти соответствия «вывихам и изломам» можно? Например, так:

«— Слышь, Джим, давай я притащу воды, а ты тут побели маленько.

— Не могу, м'аса Том. Старый миссис, она сказал, чтоб я шел прямо за водой и ни с кем не болтал по пути. Она говорил, м'аса Том будет звать тебя белить, и велел мне ничего не слушать и делать свое дело, а с забором она



сам разберется»<sup>[15]</sup>.

Может быть, и осовременить речь допустимо? В 2007 году М. Извекова, переводившая повесть «Заговор Тома Сойера», вложила в уста Тома выражение, какого Чуковский бы не допустил: «Если делать все правильно и с умом, то за три дня можно весь город *на уши поставить*». А три переводчицы книги «По экватору» попытались передать австралийские особенности английского языка: «*Пинжак* я почистила, газета на *туалетном* столе, и если госпожа готова, я велю подать *афтанабиль*». И не кривил ли Чуковский душой — самую чуточку! — когда писал, что сделать речь Джима безграмотной нельзя было только по художественным причинам? Может, и по идейным? Не должны «положительный образ негра» и «положительный образ беспризорника» изъясняться, как какое-нибудь, извините, *чмо*! И незачем учить советских детей коверкать свою речь, еще подражать начнут? А что таким образом пропала половина эмоциональной составляющей твеновских книг — полюбите Джима «черненьким», безграмотным, полюбите его за то, что он благороден и добр, а «беленьким» его всякий полюбит, — ну что ж поделаешь... Родители, не жалеющие времени для своих детей, не слабо вам попробовать перевести для них книгу, пусть кощунственно — «Превед, Джим», «многобукфф», «афftarжжот» — Марк Твен не такой человек, чтобы обижаться... Переводчик Сергей Ильин обещает адекватного «Тома Сойера»: «Из этих двух переводов можно было бы сделать один хороший». Но в 2011 году нового перевода как не было, так и нет, и твеновские «многобукфф» далее цитируются в переводе (если не указано иное): «Том Сойер» — Чуковского, «Гекльберри Финн» — Дарузес.

Твен — Хоуэлсу, 23 ноября 1875 года: «Прилагаю гранки. Я и не замечал, до чего неуклюже у меня сталкиваются слова и как часто стоят три слова там, где вполне хватило бы одного, а ведь я всегда стараюсь этого избегать». 18 января 1876 года: «Не было на свете человека благодарнее меня, когда позавчера, заставив себя сесть (при все еще скверном самочувствии) за отвратительную, ненавистную работу — наводить глянец на «Тома Сойера», я раскрыл пакет и обнаружил Ваши карандашные пометки. Это было великолепно и избавило меня от всех трудов. Вместо того чтобы читать все насквозь, я просто отыскивал Ваши пометки и делал требуемую поправку».

На основании этих писем и слов Твена о том, что жена также редактировала его роман, долго считалось, что из-за этой парочки ханжей «Том» претерпел значительную правку. Твен, как уже отмечалось, бывал

покладист сверх меры — по словам того же Хоуэлса, «достаточно было просьбы любого знакомого, чтобы он переделал или выкинул самый прекрасный абзац», — но литературоведы не нашли принципиальных различий между первоначальным вариантом и выправленным. Хоуэлсу не понравилось словечко в истории с пуделем, усевшимся на жука. «Раздался безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви; перед самым алтарем перебежал к противоположному проходу, стрелой пронесся к дверям, от дверей — назад; он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его боль; наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со скоростью и блеском светового луча». Первоначально у Твена собака неслась «*with his tail shut down like a hasp*», то есть «с хвостом, захлопнувшимся, как дверца» — Хоуэлс назвал это выражение «превосходным, но несколько непристойным», автор согласился. Другое замечание критика касалось эпизода, когда Бекки заглянула в атлас по анатомии: «На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура голого человека». Хоуэлс счел недопустимой всю сцену, но в случае, если автор будет настаивать на ней, требовал убрать выражение «совсем голый» (*stark naked*) или хотя бы оставить просто «голый» (очень большая разница!)<sup>[16]</sup>. Твен его вычеркнул — но потом передумал и вставил обратно. Сценку он, правда, изрядно отредактировал, убрав, например, рассуждение Тома — не из-за «неприличия», а скорее наоборот, из-за слащавости: «Но эта картинка, она... она... словом, она бы не интересовалась ею так, если бы знала, что это плохо. Уверен, что нет. Вот если бы она была Мэри, а Элф Темпл увидел, как она разглядывает такую картинку, и разболтал всем — вот тогда бы ей было по-настоящему худо. Тогда... тогда, клянусь, я отколотил бы его».

Иногда автор был к себе строже, чем критики. Хоуэлсу: «Но одно выражение Вы, пожалуй, проглядели. Когда Гек жалуется Тому на строгости в доме вдовы, он говорит, что слуги совершенно извели его, без конца цепляются и требуют, чтобы он вел себя как благовоспитанный мальчик, и кончает он свои жалобы так: «...и уж чешут меня и причесывают до чертиков» (*and they comb me all to hell*)<sup>[17]</sup>. Когда-то давно я читал эту главу миссис Клеменс, и эти слова не смутили ее; в другой раз я воспользовался случаем прочесть это место ее тетушке и матери (обе — ревностные дочери церкви, так сказать), но и они ничего не заметили. Я очень обрадовался: ведь что может быть естественнее этих слов для такого мальчишки (а я допустил совсем немного вольностей в его речи); когда же

и Вы тоже ничего не возразили, я вовсе обрадовался, но и испугался, — а вдруг Вы просто не обратили внимания. Вы заметили? По-Вашему, эти слова уместны? Они меня ничуть не тревожили, пока я думал, что моя книга для взрослых. Но с тех пор как все безоговорочно решили, что она предназначена для мальчиков и девочек, это ругательство подчас не дает мне спать по ночам».

Наши переводчики, включая дореволюционных, спокойно употребляли выражения «чертовски», «черт меня побери». Но у каждой культуры свои «заморочки»: в Америке твеновских времен употребить в книге для детей слово *hell* («черт», «ад») было почти равнозначно тому, как если бы русскоязычный детский писатель воспользовался матом (при этом слово *devil* («дьявол») вполне допустимо). Чтобы спать по ночам, автор заменил выражение «*to hell*» («адски») на «*to thunder*» («зверски»)<sup>[18]</sup>. Запретное словечко у него появляется лишь однажды, да и то потому, что это цитата: «Она... говоря фигурально, вооруженная смертью, мчалась на бледном коне, «а за нею все силы ада» (*hell following after*)».

«Заставьте Блисса поторопиться!» — писал Хоуэлс, имея в виду, что роман нужно выпускать немедленно. Но Твен не торопился — из-за пиратов. В январе он отдал выправленную рукопись знакомому, Монкеру Конвею, чтобы тот отвез ее в Лондон и прорекламировал; британские издатели стали из-за нее драться, победило издательство «Чатто и Уиндус», с которым Твен теперь будет работать постоянно. Английское издание вышло в свет 9 июня 1876 года. Увы, это мало помогло. Канадское издательство «Белфорд» тотчас выпустило 100 тысяч экземпляров, причем не для себя, а для продажи по низкой цене в США. К 8 декабря, когда у Блисса наконец вышло американское издание, автор уже был, как обычно, ограблен, хуже того — книгу почти не заметили. Лишь постепенно она становилась бестселлером и признавалась шедевром.

Литературы о детях во второй половине XIX века издавалось много: реалистические дети Диккенса, романтические дети Фрэнсис Бернетт, ребенок противопоставлялся «испорченному» обществу взрослых с его условностями и ложью. Но это не детские книги — для детей в Америке писались другие, где торжествовали скучные «хорошие дети», а плохие наказывались. Популярен был Горацио Элджер, автор романов о бедных, но добродетельных мальчиках, которые упорно трудились и с Божьей помощью преуспевали в жизни. Луиза Мэй Элкотт, писавшая больше о девочках, упоминала и мальчиков: Бен, персонаж повести «Под сиренью», был вынужден бежать из дому, его собака стащила чужую еду, но он кроток и все время извиняется: «Какие-то дровосеки отобрали мой узелок. Может,

если бы этого не случилось, все было бы немного лучше. Вот, только это. Извините, что Санчо взял его. Я хотел бы вернуть эту вещь обратно, если бы я только знал, чья она». Это модель поведения Сида Соьера: Тому бы и в голову не пришло полчаса расшаркиваться из-за подобной ерунды.

Викторианская трактовка Хорошего и Плохого Мальчика не соответствует современной, во всяком случае литературной. Викторианские Хорошие — примерные, застегнутые на все пуговицы, доносчики, трусы. Плохие — не подлецы, а нормальные дети, которые любят бегать, драться, могут надерзить. Плохие Том и Гек по нашим понятиям скорее Хорошие: они раскрывают преступление и спасают невинного человека. (Полемизировать с людьми, простодушно считающими, что «Том Соьер» вредная книга, ибо ее герои курят и плохо ведут себя на уроках, — дело благородное и нужное, но здесь мы не можем тратить на это время.)

Роман Твена написан «в пику» книгам о Хороших Мальчиках, но он не был первым. Томас Олдрич в 1869 году издал роман «История плохого мальчика»<sup>[19]</sup>, где рассказчик, Том Бэйли, представляется: «я обычный мальчик», а не «херувим». Бэйли участвовал в драках, кражах, убегал из дому; некоторые пассажи весьма напоминают твеновские. «В школе сидят на длинных скамейках мальчики и девочки. Все прилизанные, чистенькие, в праздничных платьях и курточках. У мальчиков постные лица, а девчонки расправляют оборочки и бантики. Этим только дай нарядиться. За бантик они согласны даже катехизис зубрить. Возле Переца Виткомба есть свободное место. Я усаживаюсь рядом с ним. Разговаривать нельзя, мы только киваем друг другу головой. Пастор Гаукинс два часа толкует нам о спасении души, и мы слово в слово повторяем за ним, как надо вести себя и как верить, чтобы быть праведниками.

— Непокорных ждет Божья кара, — кончает свои объяснения пастор. — Праведные же войдут в селения Господни. Им предстоит вечное воскресение.

— Перец! Перец! — толкаю я Виткомба в бок. — Никогда не будем спасать свои души. Ты только подумай: вечное воскресение! Уж лучше прыгать у чертей на раскаленной сковородке».

Хоуэлс объявил, что Олдрич «сказал новое слово в литературе». Но еще в 1848 году Бенджамин Шиллабер опубликовал серию рассказов о Плохом Мальчике Айке Партингтоне, который хотел быть не честным тружеником, а пиратом, хулиганил, бродяжничал и был, по словам автора, «общечеловеческим мальчиком». Твен читал истории об Айке (был знаком с Шиллабером с середины 1860-х), возможно, позаимствовал кое-что и

оттуда — тетка Айка сильно напоминает тетю Полли; читал и Олкотт (терпеть ее не мог — взаимно), и, разумеется, Олдрича. «Я думал отказаться от моей книги. Но Олдрич сказал, что это глупо. Он полагал, что мой мальчик из Миссури никоим образом не соперник его мальчику из Новой Англии, и, конечно, был прав». Но Олдрич ошибся. И он, и Шиллабер, хотя и расцвечивали свои работы местным колоритом (оба были родом из Портсмута, где поселили Мальчиков, — процветающий район до Гражданской, обедневший после, морской порт с вытекающей отсюда романтикой), все же написали «общечеловеческих мальчиков», без национальной принадлежности: их мальчики просто резвые, просто шаловливые, — «мальчики вообще». Твен создал не «общечеловеческих», а Американских Мальчиков, и даже не Мальчиков, а — Американцев.

Литература США третьей четверти XIX века была преимущественно регионалистской: казалось, между писателями Юга и Севера, Дикого Запада и Среднего Запада мало общего, упор делался на местный колорит. Твен жил на Юге, жил на Западе, жил на Востоке, впитал особенности разных культур и, органично соединив их, как считается, первым описал Всеамериканский Характер и создал Всеамериканский Роман. «Отцом американской литературы» и «первым подлинно американским художником» назвал его Льюис Менкен; Брандер Мэттьюз сказал, что никакой другой писатель не выразил столь полно всего разнообразия американского опыта; Хемингуэй и Фолкнер сошлись во мнении, что Твен породил американскую литературу; Арчибальд Хендерсон, Куприн и Чуковский писали, что он был воплощением Америки; Бут Таркингтон назвал его ее душой; Альберт Пейн — «американцем в каждой мысли, в каждом слове»; Бернард Девото доказывал, что именно у Твена «американская жизнь стала литературой», ибо он «более других писателей был знаком с национальным опытом в самых различных его проявлениях»; «он написал книги, в которых с непреложной правдивостью была выражена самая суть национальной жизни».

Том и Гек — две грани Американского Характера, и обе землякам любви. Один — энергичный, практичный, харизматичный лидер. Другой — «невинный дикарь», философ-«простак» с ясным взглядом, воплощенный дух Свободы, и оба — рыцари в лучшем смысле слова: сражаются с несправедливостью и защищают обиженных. Но у любого национального характера имеется и темная сторона; по мнению современных американских литературоведов, есть она и у Тома. Как Санкт-Петербург — не только пастораль вечного детства, но и город Глупов, населенный пошлыми и жестокими обывателями, так и Том — не только «зеркало

национального характера», но и пародия на него; предприимчивый ловкач, он, возможно, станет таким, как герои «Позолоченного века».

Советские литературоведы особой «американскости» в Томе и Гек не находили (нельзя же признать, что Американский Характер столь обаятелен) и, всюду ища «критику буржуазного строя», делали исключение для «Тома Сойера», предпочитая трактовать его как романтическую песнь об идеальном мире детства. «Книга о Томе — это рассказ об идиллически счастливой, проникнутой поэзией жизни детей на лоне природы. <...> С безупречной правдивостью автор воспроизводит внутренний мир юных человеческих существ, которые еще не утратили душевной чистоты и поэтической прелести»<sup>[20]</sup>. Некоторые американцы с этим согласны. Томас Элиот: «Для нас, выросших на фрейдизме и психотерапии, Том Сойер — ностальгия по упрощенной концепции детства, которая если когда-то и была, то исчезла, во всяком случае, для более или менее образованной части населения». Тех, кто придерживался иного мнения, наши критики даже упрекали: «Американское буржуазное литературоведение не прочь рассматривать образ Тома Сойера в плане (сколь ни странным это может показаться), близком к вульгарно-социологическому. В герое книги выпячиваются черты маленького дельца, он предстает своего рода миниатюрной «моделью» типичных американских бизнесменов. Разве не мечтает Том разбогатеть? Разве не ищет он выгоды от окраски забора? Разве не скупает он билетки, позволяющие завоевать почетное место в воскресной школе? Но не расчетливость мальчика, конечно, ключ к чарам, которые таит в себе произведение Твена»<sup>[21]</sup>.

«Ключ к чарам», естественно, в другом — в умении Тома превратить жизнь в сказку, фейерверк, карнавал приключений, из пыли создавать алмазы. Гек этого делать не умеет — прозаическая личность. Но при более пристальном взгляде их противоположность выворачивается наизнанку: Гек — мечтатель и бунтарь («Да ведь все так живут, Гек. — Ах, Том, какое мне до этого дело! Я — не все...»), а Том играет по правилам (как делают взрослые) и навязывает эти правила другу. «Отшельники должны непременно носить жесткое рубище, посыпать себе голову пеплом, спать на голых камнях, стоять под дождем и...

— А зачем они посыпают себе голову пеплом, — перебил его Гек, — и зачем наряжаются в рубище?

— Не знаю... Такой уж порядок. Если ты отшельник, хочешь не хочешь, а должен проделывать все эти штуки. И тебе пришлось бы, если бы ты пошел в отшельники.

— Ну нет! Шалишь! — сказал Гек.

— А что бы ты сделал?

— Не знаю... Сказал бы: не хочу — и конец.

— Нет, Гек, тебя и слушать не будут. Такое правило. И как бы ты нарушил его?

— А я бы убежал, вот и все.

— И был бы не отшельник, а олух! Осрамился бы на всю жизнь!»

Михаил Свердлов: «Том так же требует беспрекословного подчинения приключенческим книжкам, как проповедник — авторитету Святого Писания. Получается, что игры Тома Сойера в чем-то похожи на порядки взрослых: он так же приказывает Геку, что ему делать и во что верить. А Гек — свободный человек. <...> Гек ничего заранее не отвергает, но и ничего не принимает на веру». Том и Гек — вариация архетипической пары «Дон Кихот — Санчо Панса»: сходство, возможно, вовсе не нечаянное. Твен построил книгу по сервантесовскому образцу: плутовской роман-странствие, где эпизоды сюжетно не связаны, где постоянно высмеивается «высокая» литература. Он не умел (или думал, что не умеет) писать иначе как пародируя; он взял сюжет, над какими всегда издевался: демонический убийца, сокровища, интриги, пещеры, тайны, сыщики, в финале добро побеждает зло.

Пародируется все: речь директора школы — «Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и слушать меня возможно внимательнее. Вот так! Так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно; боюсь, что ей чудится, будто я сижу там, на ветке, и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. (Одобрительное хихиканье.) Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько веселых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру»; проповедь — «Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его все просили декламировать стихи, и, когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать: «Никакие слова не выразят наших восторгов: это слишком прекрасно, слишком прекрасно для нашей бренной земли». После того как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собраниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень дотянется до Страшного суда, — дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке, даже в больших городах,



несмотря на то, что в стране издается уйма всевозможных газет»; речи на похоронах — «Поднялся спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми; многие приписывали эту печальную честь себе, причем слова их более или менее опровергались показаниями прочих свидетелей; когда же наконец было дознано, кто последний видел покойных и разговаривал с ними, эти счастливы преисполнились важности, а все остальные глазели на них, разинув рты, и завидовали. Один бедный малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости:

— А меня Том Сойер здорово отколотил как-то раз!»

В «настоящих романах», кроме морали, Твена бесила сентиментальность — в год публикации «Тома» он писал знакомому, что от «слащавых сожалений о былых днях» и прочей «слюнявой гнили» у него «начинаются колики в животе». В своем «ненастоящем» романе он их изничтожил — под видом школьных сочинений: «Главной особенностью этих сочинений была меланхолия, любовно вынянченная и выпестованная, кроме того — сущее наводнение всяких красивых слов и к тому же — манера носиться с каким-нибудь любимым выражением до тех пор, пока оно не навязнет в зубах и не потеряет всякий смысл; а особенно заметна и неприятна была надоедливая мораль, которая помахивала куцым хвостом в конце каждого сочинения».

Все идеалы, все устои высмеял, разрушил, оплевал: так нежной акварелью написан «Том Сойер» или каленым железом? Если бы герои были взрослыми, никто не сомневался бы во втором. Но в душе ребенка невинная романтика, «пошлая гниль» и здравый смысл уживаются абсолютно естественно. Вот Том искусственный, загоняющий чувство в схему, Том — Дон Кихот:

«— Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?

— А что это такое?

— Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж?

— Нет.

— А хотела бы?

— Пожалуй... Не знаю. А как это делается?

— Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, — понимаешь, никогда, никогда, никогда! — и потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать!

— Целуемся? А для чего целоваться?

— Ну, для того, чтобы... ну, так принято... Все это делают».

А вот он же — естественный, рассудительный, Санчо Панса:

«— Что за глупый народ — девчонки! Никогда не секли в школе!



Велика важность, что высекут! Все они — ужасные трусихи и неженки. Понятно, я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Доббинсу про эту дуреху... Я могу расквитаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости. Но она все равно попадетсЯ. Доббинс спросит, кто разорвал его книгу. Никто не ответит. Тогда он начнет, как всегда, перебирать всех по очереди; спросит первого, спросит второго и, когда дойдет до виноватой, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девчонок все можно узнать по лицу — выдержки у них никакой. Ну и высекут ее... наверняка... Попалась теперь Бекки Тэчер, от розги ей не уйти!

Подумав немного, Том прибавил:

— Что ж, поделом! Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я, — пусть побывает в моей шкуре сама!»

И, наконец, Том — благородный, искренний романтик (вновь Дон Кихот, но в лучших проявлениях): «Ребекка Тэчер (Том взглянул на ее лицо: оно побелело от страха), ты разорвала... нет, гляди мне в глаза... (она с мольбой подняла руки) ты разорвала эту книгу?

Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и громко крикнул:

— Это сделал я!»

Автор называл романтизм «сопливым» и «грязным», но Н. А. Корзина в работе «Марк Твен и романтизм» доказывает, что он прямо следует романтической литературной традиции: «Общеизвестно, что романтизм видит в ребенке мудреца, философа, которому открыто сокровенное знание о мире, его сути, о его чудесной природе. Геку и Тому дано как бы особое знание жизни, ее иной, чудесной стороны».

«Глубокое безмолвие леса было проникнуто восхитительным чувством покоя. Ни один листок не шевелился, ни один звук не нарушал раздумья великой Природы». Прочти Твен эти «раздумья великой Природы» в чужой книге — плевался бы; в «Томе Сойере» за этими почти пародийными словами следует один из самых поэтических фрагментов: «Далеко в глубине леса крикнула какая-то птица; отозвалась другая; где-то застучал дятел. По мере того как белела холодная серая мгла, звуки росли и множились — везде проявлялась жизнь. Чудеса Природы, стряхивающей с себя сон и принимающей за работу, развертывались перед глазами глубоко задумавшегося мальчика. Маленькая зеленая гусеница проползла по мокрому от росы листу. Время от времени она приподнимала над листом две трети своего тела, как будто приплюхиваясь, а затем ползла дальше.

— Снимает мерку, — сказал Том.

Когда гусеница приблизилась к нему, он замер и стал неподвижен, как

камень, и в его душе то поднималась надежда, то падала, в зависимости от того, направлялась ли гусеница прямо к нему или выказывала намерение двинуться по другому пути. Когда гусеница остановилась и на несколько мучительных мгновений приподняла свое согнутое крючком туловище, раздумывая, в какую сторону ей двинуться дальше, и наконец переползла к Тому на ногу и пустилась путешествовать по ней, его сердце наполнилось радостью, ибо это значило, что у него будет новый костюм — о, конечно, раззолоченный, блестящий пиратский мундир! Откуда ни возьмись, появилась целая процессия муравьев, и все они принялись за работу; один стал отважно бороться с мертвым пауком и, хотя тот был впятеро больше, поволок его вверх по дереву.

Бурая божья коровка, вся в пятнышках, взобралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том наклонился над ней и сказал:

Божья коровка, лети-ка домой,  
В твоём доме пожар, твои детки одни.

Божья коровка сейчас же послушалась, полетела спасать малышей, и Том не увидел в этом ничего удивительного: ему было издавна известно, что божьи коровки всегда легкомысленно верят, если им скажешь, что у них в доме пожар; он уже не раз обманывал их, пользуясь их простотой и наивностью».

Ребенок-романтик видит чудо там, где его не видят взрослые-антиромантики, загоняющие его в клетки, — школу, которую Том называет тюрьмой, церковь, где все искусственное и даже сидеть у окна не позволяют, чтобы оторвать ребенка от Природы; дети мечтают о бегстве в свободу и, когда водой смывает плот, им это «доставило радость: теперь было похоже на то, что мост между ними и цивилизованным миром сожжен».

Романтическое любовное помешательство взрослого Дон Кихота выглядит нелепо, у ребенка оно прекрасно: «Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она сохранила равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он все ближе и ближе подходил к цветку; наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими пальцами, поскакал

на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой свое сокровище». «Не эта ли комната очастливлена светлым присутствием его Незнакомки? Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты и встал под самым окном. Долго он смотрел на это окно с умилением, потом лег на спину, сложив на груди руки и держа в них свой бедный, увядший цветок. Вот так он хотел бы умереть — брошенный в этот мир равнодушных сердец: под открытым небом, не зная, куда преклонить бесприютную голову; ничья дружеская рука не сотрет смертного пота у него со лба, ничье любящее лицо не склонится над ним с состраданием в часы его последней агонии. Таким она увидит его завтра, когда выглянет из этого окна, любуясь веселым рассветом, — и неужели из ее глаз не упадет ни единой слезинки на его безжизненное, бедное тело, неужели из ее груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде этой юной блистательной жизни, так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью?»

Но детскую романтику, как и взрослую, уничтожает жестокая и скучная действительность: «Окно распахнулось. Визгливый голос служанки осквернил священное безмолвие ночи, и целый поток воды окатил останки распростертого мученика!» Так воспел Твен романтизм или поиздевался над ним? Ни то ни другое; он просто написал роман. Литературоведы редко бывают беллетристами — иначе бы первые не пытались так упорно загонять в классификационные ячейки то, что делают вторые. Писатель придумывает историю, а уж потом будет видно, чем она станет для людей — может, совсем не тем, о чем он думал, когда писал ее.

По результатам библиотечного исследования, проведенного в Новосибирске в первом десятилетии XXI века, «в 10–13 лет популярностью у детей пользуются «Гарри Поттер», «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Властелин колец» Д. Р. Толкина». Малость приврали, конечно: Твена дети читают, во всяком случае, если их родители культурные люди, но его популярность ни в какое сравнение с Роулинг идти не может. Одна из причин — та, по которой массовое сознание «Идиоту» предпочитает анекдот, а анекдоту — бутерброд: чем одномернее вещь, тем употребительнее, и дети здесь не исключение. Хуже того, для них художественные достоинства книги значат еще меньше, чем для взрослых, поэтому бесполезно доказывать, что «Сойер» лучше «Поттера» потому, что первый — алмаз, а второй — стекляшка. «Сойер», увы, устарел — вот и все. Многие родители так считают. Но — в чем устарел? Может, если найдем, в чем именно, — отыщем способ вернуть великий роман нашим детям? Припомним, как они ведут себя, выйдем на улицу, чтобы за ними подглядеть — не все же время они сидят у компьютера, — и перечтем

знакомые страницы, помня, что Том и Гек — вовсе не 12–13-летние мальчики, как иногда ошибочно считают, а 9–10-летние, и поищем ситуации и оттенки чувств, которые устарели.

«— Убирайся отсюда!

— Сам убирайся!

— Не желаю.

— И я не желаю.

Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперед под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не дается ни тому ни другому. Толкаются они долго. Разгоряченные, красные, они понемногу ослабляют свой натиск, хотя каждый по-прежнему остается настороже... И тогда Том говорит:

— Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату — он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу — он отколотит!

— Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, еще старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор (Оба брата — чистейшая выдумка.)».

Что, скажите, устарело в данной ситуации? Слово «щенок», которое следовало бы заменить на «козел»? А вот чистый поток сознания, где даже нет нужды делать скидку на неадекватный перевод или несовременную лексику: «Том сидел, надувшись, в углу и растравлял свои раны. Он знал, что в душе тетка стоит перед ним на коленях, и мрачно наслаждался этим сознанием: он не подаст и виду, — будто бы ничего не замечает. Он знал, что время от времени она посылает ему тоскующий взор сквозь слезы, но не желал ничего замечать. Он воображал, будто лежит при смерти и тетя Полли склоняется над ним, вымаливая хоть слово прощения, но он отвернется к стене и умрет, не произнеся этого слова. Что она почувствует тогда? И он вообразил, как его приносят мертвого домой, вытащив из реки: его кудри намокли, измученное сердце перестало биться. Как она тогда упадет на его бездыханный труп и слезы у нее польются рекой, как она будет молить Бога, чтоб он вернул ей ее мальчика, тогда она ни за что больше его не обидит! А он будет лежать бледный и холодный, ничего не чувствуя, — бедный маленький страдалец, претерпевший все мучения до конца! Он так расчувствовался от всех этих возвышенных мечтаний, что глотал слезы и давился ими, ничего не видя, а когда он мигал, слезы текли по щекам и капали с кончика носа». Что устарело? У наших детей — не так? А у нас самих — не так?

«Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром,

так как этим днем начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще тяжелее. Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть; тогда он останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать!» У наших — не так? Их не привлекает пример мальчишки, который «был вольная птица, бродил где вздумается», «Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина», «Никто не запрещал ему драться», «Он мог не ложиться спать хоть до утра», «Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно»? «Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам «хорошо воспитанные» мальчики из почтенных семейств», — а наши мальчики из почтенных семейств не хотят «не ложиться спать хоть до утра»? А ночью пойти на кладбище и подслушать разговор убийц — не хотят? Неужели они такие трусы?

А наше собственное поведение — сильно ли оно изменилось? «Мистер Уолтерс «козырял» по-своему, суетливо выказывая свое усердие и свою расторопность: его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог их обрушить. Библиотекарь тоже «козырял», бегая взад и вперед с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы «козыряли» по-своему, нежно склоняясь над детьми, — которых они незадолго до этого дергали за уши, — с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково глядя по головке послушных. Молодые учителя «козыряли», проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду — рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к нему (с очень озабоченным видом). Девочки, в свою очередь, «козыряли» на разные лады, а мальчики «козыряли» с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жеваной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он «козырял» на свой лад». «Он начал было вести дневник, но за три дня не случилось никаких происшествий, и он бросил» — замените «дневник» на «блог»...

Устарели отношения Тома с Бекки? Лишь поцеловались — а все современные *девятилетние* дети ведут половую жизнь? (Отношения между мальчиком и девочкой у «современной» Роулинг, кстати, так же

целомудренны.) Устарели — ссоры, ревность? «В это время у ворот мелькнуло еще одно платье, и у Тома екнуло сердце. Миг — и он уже был во дворе, неистовствуя, как индеец: он кричал, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор с опасностью для жизни, кувыркался, ходил на голове — словом, совершал всевозможные геройские подвиги, все время при этом поглядывая в сторону Бекки — смотрит ли она? Но она, казалось, не обращала на все это никакого внимания и ни разу не посмотрела в его сторону. Неужели она не замечает его? Он стал совершать свои подвиги поближе к ней. Он носился вокруг нее с боевыми криками, сорвал с кого-то кепку и забросил ее на крышу, врезался в толпу мальчишек, расшвырял их в разные стороны, растянулся на земле перед самым носом у Бекки и чуть не сбил ее с ног. Она отвернулась, вздернула нос и сказала:

— Пф! Некоторые воображают, что они интереснее всех... и всегда петушатся...

Щеки у Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и, понурый, раздавленный, медленно побрел прочь».

Вернулись к тому, с чего начали: устаревшая лексика, она одна виновата, особенно в переводах, из-за нее «Том Сойер» недополучает любви? Многие родители считают именно так. Диалог с форума, где обсуждается детская литература: «У Чуковского диалоги косные, неестественные, дети говорят языком восьмидесятилетних старцев, используя какие-то старославянские обороты. Откуда только он выкопал эти покрытые мхом выражения: «получишь от меня на орехи», «я тебя вздую», «я был такой скверный мальчишка», «ты — суций ангел» и т. д. А ведь это слова девятилетних пацанов!» — «У Чуковского прекрасный перевод, а дети говорят как раз так, как было принято говорить в те времена. А через 15 лет кто-то обвинит Дарузес, что ее диалоги нафталиновые и надо переводить — «Ты такой клевый Том», «Я тебе вмажу» и пр. — по-вашему, так?»

Но обратите внимание на диалоги Роулинг — чем они современнее? Стандартизированные, выхолощенные, причем не по вине переводчиков<sup>[22]</sup> — они и в подлиннике такие; твеновские диалоги намного динамичнее, без атрибутирования реплик и потому звучат даже более «современно».

«— Ладно, проваливай!

— Эй ты, слушай: если ты не уймешься, я расшибу тебе голову!

— Как же, расшибешь! Ой-ой-ой!

— И расшибу!»

«— А ну, давай сюда, — потребовал Гарри, — или сейчас слетишь с

метлы еще похуже!

— Вот еще! — сказал Малфой, пытаясь презрительно фыркнуть, но по нему было видно, что он испугался».

«— Не смей меня идиотом обзывать! — сказал Невиль. — Я думаю, что с вас достаточно нарушать правила! И вообще, ты сам меня учил за себя постоять!

— Чудесно, но не против нас же! — гневно закричал Рон. — Невиль, ты понятия не имеешь, во что ты ввязался.

— Ну давай! Попробуй ударь меня! — выговорил Невиль, сжимая кулаки. — Я готов!»

Дело не в лексике — устарел антураж? Ребенок желает читать только об узнаваемых предметах: мобильные телефоны, компьютеры, казино? Но среда обитания толкиновских эльфов куда дальше от современной, чем твеновская... Толкин и Роулинг писали сказки — не в этом ли разница? В каком-то смысле Гарри — прямой наследник Тома: ребенок, чистый душой, пытается вырваться из мира взрослых в волшебный мир. Но Гарри этот мир преподносят на тарелочке, а Том волшебство творит сам. Вот две сцены:

«— Как ты думаешь, Гекки, — начал он шепотом, — нравится покойникам, что мы пришли сюда?

Гекльберри шепнул в ответ:

— Кто их знает, не знаю! А жутко здесь... Правда? <...>

— Это дьяволы, теперь уж наверняка! — шепнул Гекльберри и вздрогнул. — Целых три! Ну, мы пропали!»

«— Смотрите во-он туда, — сказал Хагрид. — Видите, на земле светится что-то? Серебристое такое? Это будет кровь единорога. Единорог, значит, здесь бродит, и чтой-то его сильно поранило.

— А что, если нас сперва разыщет то, что ранило этого единорога? — спросил Малфой, на этот раз и не пытаясь скрыть ужас в своем голосе. <...>

— Может, это мы кентавра там слышали? — сказал Гарри.

— Разве оно на копыта похоже было? Не, я так полагаю, это и есть то, что единорогов губит, — никогда я ничего похожего не слыхал».

Единороги Роулинг реальны — Том Сойер создает «дьяволов» силой мысли. Творческое воображение Роулинг подменила волшебной палочкой. Как может ребенок не предпочесть «настоящих» чудовищ умозрительным? Фантастика, сказка — любимые детские жанры; «беда» Твена не в том, что он устарел, а в том, что он выбрал путь реализма. Фантастическое решение привлекает больше, и не только потому, что оно «интереснее». Дети (да и

многие взрослые) прямо проецируют переживания и действия героя на себя. Меня обижают, не понимают, мучают, я должен драться — но у Гарри есть в помощь палочки и зелья, а у Тома — только ум, смелость и быстрые ноги. Легче уйти в готовую иную реальность, чем возиться, творя ее из ничего. Будь «Поттер» издан одновременно с «Сойером» — дети и тогда предпочли бы его. Твен написал не «детский» роман. С этим ничего не поделаешь. Никакой перевод не спасет.

Автор данной книги прочел Роулинг взрослым, удовольствия получил примерно столько же, сколько от телефонного справочника, но не сомневается, что, попадись она ему в соответствующем возрасте, — был бы в восторге. Перечтя же Твена — испытал наслаждение куда более сильное, чем в детстве. Ну да, неплохо бы, конечно, чтобы наши дети любили классику, но они предпочитают другое, а через сто лет это другое забудут, потому что появится новое. Сокрушаться по этому поводу бессмысленно.

Да и что мы все печемся об этих маленьких негодях?! Позаботимся лучше о себе. Если ребенок не хочет открывать «Тома Сойера» — его проблемы; а вот если взрослый человек не удосужился его перечесть — это громадная, невосполнимая потеря. Зашвырните книжку, которую сейчас держите в руках, в самый дальний угол, спасибо и на том, что досюда дочитали, и немедленно доставайте Марка Твена с пыльной полки; бросьте все дела, отключите телефоны и никаким растреклятым детям не позволяйте себя отвлекать; а если они поинтересуются, чем это вы так заняты, отвечайте, что читаете самую ужасную в мире книжку, которая учит курить, ругаться, ловить кайф, прогуливать школу, врать родителям и издеваться над священниками, и пусть вас, черт побери, повесят, если вы кому-либо позволите хоть одним глазом в нее заглянуть; а они, если им нечем заняться, пускай читают принятый в 2010 году федеральный закон, которым запрещается информация, «побуждающая детей к употреблению наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной или спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятию азартными играми, проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, либо к иным противоправным действиям»; равно как и «провоцирующая детей на совершение действий, ставящих в опасность их жизнь и здоровье». И пусть их не утешает оговорка, что данный запрет не распространяется на «продукцию, имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества»: если перечень таковой продукции составят — как знать, сочтут ли «Тома» достойным включения в



него?

## Глава 2

### Том Сойер и готтентотенштоттертроттельмуттераттентетер

Мысль о «Гекльберри Финне» возникла у Твена еще до того, как он сдал «Тома Сойера». Но сразу за большой роман он не взялся, требовалась передышка. В первые дни 1876 года задумал пародию на детектив, жанр, который особенно презирал, — «Убийство, тайна и свадьба» («A Murder, a Mystery, and a Marriage»; набросок опубликован в 1945-м). В Миссури появляется француз, хочет жениться на богатой, выдает себя за дворянина, совершает убийство, «подставив» соперника, его разоблачают, и тут выясняется, что мошенник был компаньоном Жюля Верна, а тот его всячески оскорблял, стало быть, он и виноват во всем. (Верна был тогда еще жив.) Скелет истории Твен написал за день и предложил Хоуэлсу опубликовать две первые главы, а потом пусть несколько писателей (Генри Джеймс, Брет Гарт, Лоуэлл) напишут варианты продолжения. Из этой идеи ничего не вышло, он пытался протолкнуть ее еще 20 лет, но реализовалась она лишь в 2001 году: победила в состязании Кэролайн Корсмейер, профессор университета Буффало. Еще он написал скетч «Режьте, братцы, режьте!» («Punch! Brothers, Punch!», другое название «A Literary Nightmare», опубликован в феврале в «Атлантик мансли»), который нельзя цитировать, а то навязчивая песенка сведет с ума; фельетон о коррупции «Письмо ордену рыцарей Святого Патрика» («Speech at a Dinner of the Knights of St. Patrick»): святой «узнал, что военный министр ведет такой невероятно экономный образ жизни, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов из своего жалованья в восемь тысяч», и убил его, а потом перебил и весь конгресс.

Он также сделал рассказ из собственной речи в «Вечере понедельника» — «Кое-какие факты, проливающие свет на недавний разгул преступности в штате Коннектикут» («The Facts Concerning the Recent Carnival of Crime in Connecticut») — моралистов сей текст тоже может свести с ума. Начинается он серьезно: «Карлик (совесть. — М. Ч.) напомнил мне, как я обрушивался на своих детей и наказывал их за провинности, о которых минимальное разбирательство показало бы мне, что их совершили другие, а не они. Он напомнил мне, как я предательски позволил, чтобы моих старых друзей оклеветали в моем присутствии, и

был слишком труслив, чтобы сказать слово в их защиту. Он напомнил мне о многих бесчестных вещах, которые я совершил; о многих, которых я добился, чтобы совершили дети или другие люди, не несущие ответственности; о многих, которые я планировал, обдумывал и страстно желал совершить, и от совершения которых меня удерживал только страх последствий» — а кончается по-твеновски: герою удалось совесть прогнать, и он зажил счастливо. «Ничто в мире не смогло бы меня убедить снова занять совесть. Я привел в порядок все свои неуплаченные счета и перестроил для себя мир заново. Я убил тридцать восемь человек за первые две недели — всех из-за старых счетов. Я сжег дом, который портил мне вид. Я выудил у вдовы с несколькими сиротами их последнюю корову, очень хорошую, хотя, по-моему, и не чистой породы. Я совершил также десятки разных преступлений и чрезвычайно наслаждался своей работой, в то время как раньше, вне всякого сомнения, у меня от этого разрывалось бы сердце и поседел бы волосы. В заключение я хочу заявить на правах рекламы, что медицинские колледжи, которым нужны отборные нищие для патологоанатомических театров, оптом или в розницу, могут найти широкий ассортимент хорошо препарированных бомжей у меня в погребе, потому что я хочу очистить свой склад и готовиться к весеннему торговому сезону».

Друзья говорили, что из этого рассказа вышла бы хорошая проповедь, — ему это льстило. Он продолжал заниматься «параллельным богословием» — написал «Отрывки из дневника Мафусаила» («*Passages from Methuselah's Diary*»). На первый взгляд это безобидная попытка очеловечить библейских персонажей, которые играют в бейсбол и ходят по премьерам: «Новый лицедей Луц, чьей славой полнится ныне страна, так растрогал толпу, предивно играя Адама в классической древней и несравненной пьесе «Изгнание из Эдема» (ничего ей подобного в нынешние времена уж не пишут), что все громко рыдали и не раз подымались на ноги, крича, и стояли столь долго, что казалось, вовеки не кончат рукоплескать. Но тут вошел Иевел, недряхлеющий сводный брат прапрапрадеда моего Еноса, поднял брови и стал глядеть вокруг с состраданием, словно бы говоря: «И вот это они называют актерской игрой!» Так делает он всегда и ничего не хвалит, а только лишь старинное и глупое, которого никто, кроме него, не видел; все же современное поносит, называя его пошлым и бездарным, и сам не получает ни от чего удовольствия и другим не дает». Но Твен умел соединять юмор с лирической страстностью. Раб Мафусаила просит отпустить его на волю, тот отпускает, но без жены и детей.

«Тут Цуар встал и, поклонившись, ушел согбенный, словно поразило его великое горе. И не было легкости в сердце моем, хотя я поступил по закону. И я был бы рад, если бы мог поступить иначе. Я пошел взглянуть, а страже не велел идти за мной, и увидел, что они обнимают друг друга, но ничего не говорят, и лица их словно окаменели, а на глазах ни единой слезинки, а малютки возятся у их ног, споря из-за пойманной бабочки. Я вернулся к себе, и радость жизни покинула меня, и дивился я этому, ибо они — только рабы, прах под моими ногами. <...> Эти бедняги пришли ко мне, и Цуар с отчаянием на лице, которое не вязалось с его словами, сказал: «Господин мой, я пришел по закону и обычаю объявить, что я люблю моего господина, мою жену и моих детей и отказываюсь от свободы, а потому да будет мое ухо проколото шилом перед судьями, дабы я и близкие мои по этому знаку навек вернулись в рабство, потому что лучше уж эта доля или даже смерть, чем разлука с теми, кто мне дороже хлеба, и солнечного света, и дыхания жизни». Не знаю, правильно ли я поступил, но сердце мое не могло этого стерпеть, и вот я сказал: «Это суровый закон и жестокий. Я даю свободу всем вам, чтобы совесть моя больше меня не тревожила»».

Его портреты воспроизводились на игральных картах, открытках, рекламных плакатах. По Америке и Европе кочевали имитаторы и мошенники, выдававшие себя за него. Газеты воспроизводили каждое его слово, печатали снимки: «Марк Твен и коты», «Марк Твен покупает лошадь», «Марк Твен покупает сигары», мэр Хартфорда назвал его «самым выдающимся гражданином». Представить размер и характер этой славы трудно — не с кем сравнить; недаром в современной Америке Твена считают «первой супер-мегазвездой». Попробуйте вообразить Жванецкого, Майкла Джексона, Вольтера, Марадону и ныне действующего президента США или России в одном лице... Не было одного — признания его «настоящим писателем».

Множились анекдоты о нем — теперь не разобрать, что было на самом деле, что он сам придумывал, а что придумывали другие. Как-то раз Марк Твен явился к Бичер-Стоу без воротничка и галстука, жена, узнав об этом, пришла в ужас, тогда он отправил воротник и галстук соседке почтой. Как-то раз Марк Твен, будучи редактором газеты, получил пачку плохих стихов под заголовком «Почему я живой?» и ответил автору: «Потому что прислали стихи по почте, а не пришли в редакцию лично». Как-то раз Марк Твен, болея, попросил у сиделки еды и получил ложечку бульона; проглотив его, сказал: «Вот я и поел, а теперь принесите мне что-нибудь почитать, почтовую марку, что ли...» На вопрос, поет ли он, Марк Твен отвечал: «Те, кто меня слышали, говорят, что нет». Как-то раз Марк Твен

написал об одном человеке: «Он не заслуживает даже того, чтобы плюнуть ему в лицо», тот потребовал опровержения, Марк Твен согласился: «Он заслуживает того, чтобы плюнуть ему в лицо».

Рассказы о его потрясающих «обеденных» речах передавались из уст в уста; сам он говорил, что ему «обычно требуется больше трех недель, чтобы подготовить блестящую импровизированную речь» и что «подлинный экспромт всегда хуже заранее придуманного», но окружающие свидетельствовали, что он с легкостью импровизировал на любую тему. Его ум был настроен так, чтобы рождать афоризмы — «неожиданные бракосочетания двух идей, которые до свадьбы даже не были знакомы», — исчислению они не поддаются. «Говорите правду, и вам не придется ничего запоминать». «Милостью божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться». «Единственный способ сохранить здоровье — есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется». «Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу». «Самый подходящий момент начать статью наступает, когда вы ее успешно закончили. К этому времени вам становится ясно, что именно вы хотите сказать». «Банк — это учреждение, где можно занять деньги, если есть способ убедить, что ты в них не нуждаешься». «Всегда честно признавай свои ошибки, это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые». «Создать человека — это была оригинальная мысль. Но создать после этого овцу — значит повторяться».

26 апреля 1876 года он дебютировал как актер — в любительской постановке модного водевиля «Долг любящего», игру его хвалили, в том числе профессиональные актеры: Генри Ирвинг говорил, что он ошибся, выбрав перо, а не подмостки. Всю жизнь он дружил с актерами, помогал деньгами нуждавшимся, в 1907 году был одним из основателей фонда для бедствующих артистов; актрисы — единственные женщины, чью профессиональную деятельность он уважал. В пуританской Америке, однако, актерская профессия считалась не вполне приличной: в 1871 году пастор отказался читать панихиду по актеру Джорджу Холланду — Твен на страницах «Гэлакси» разразился потоком страстных статей в защиту артистов. Он посещал театры Нью-Йорка, Филадельфии, Лондона и Берлина, был знаком со всеми звездами, написал 11 пьес самостоятельно и 10 в соавторстве и при этом так убедительно говорил, что ненавидит театр, что Хоуэлс ему поверил.

Лето 1876 года Клеменсы провели в «Каменоломне», Оливия была здорова, Сюзи окрепла, состязалась с Кларой в лазании по деревьям — та, не столь ловкая, постоянно была в синяках. Отец семейства взялся за «Гекльберри Финна», написал 400 страниц и, как в случае с «Томом», взял тайм-аут. Прочел книгу Шарлотты Йонг об Эдуарде I и его кузене де Монфоре — загорелся писать роман из английской истории, стал изучать источники, к «Принцу и нищему» вплотную пока не подобрался, одно цеплялось за другое, уводило в сторону: открыл мемуары Сэмюэля Пипса, государственного чиновника XVII века, заинтересовался старинным языком, недопустимо грубым с точки зрения людей XIX века, и, чтобы повеселить себя и Туичелла и подразнить Хоуэлса, написал эссе «1601», имитируя диалоги елизаветинских времен.

Хоуэлс: «Он обладал юго-западной, линкольновской, елизаветинской смелостью языка, которую нельзя назвать грубой, не впадая в ханжество; я часто был шокирован местами в его письмах, которые не смел сжечь и не смел перечитывать. Я думаю, в этом отношении в нем было что-то шекспировское или бэконовское». Хоуэлса смущал даже собачий хвост, «захлопнувшийся, как дверца», но язык Твена, устный и письменный, тогда многие находили чересчур смелым. По приобретенной в детстве и развившейся в среде старателей привычке (а может, и из сознательного протеста против условностей) Сэмюэл Клеменс обожал крепкие выражения, слуги рассказывали, что он, пока брился, успевал произнести столько трехэтажных ругательств, сколько иной не выдумает за месяц. Его знакомый Вуд, принявший участие в тайной публикации «1601», говорил, что «вульгарнейшие и богохульнейшие слова были обычным языком Марка», но «каждый видел, что он использует их свободно, естественно и красочно». Как сказал сам Твен, «если в «1601» есть хоть одно пристойное слово, значит, я его проглядел»; тщательно выпалывая *hell* из «Тома Сойера», безделушку «для взрослых» он напичкал всевозможными *ass*, *bitch* и *shit*.

В Америке этот текст по сей день квалифицируется как порнография. На русский он не переводился, но наш читатель (к своему разочарованию) порнографического в нем не найдет; шокировать может лишь то, какие темы для обсуждения избирали образованные, утонченные люди. Виночерпий Елизаветы I воспроизводит беседу за утренним туалетом королевы, которую окружают ее фаворит Уолтер Рейли, Фрэнсис Бэкон, Шекспир, поэт Фрэнсис Бомон и придворные дамы; кто-то испортил воздух, и общество, соревнуясь в островах, битый час обсуждает это происшествие. «Королева. Верите ли, в свои 68 лет я еще не слыхивала

такого пука. Сдается мне, по громкости и шумности этого звука, что его издал мужчина; и что живот, в коем он таился, ныне съежился и прилип к спине, ибо из него исторглось столь многое...»

Непристойность не в том, *что* показывают, а в том, *как* смотрят: елизаветинские вельможи не подозревают, что потомкам их речь покажется «грязной», затронутая тема для них не хуже любой другой, от нее они плавно переходят к творчеству Сервантеса и «некоего Рубенса, который входит в моду», затем говорят о сексуальных обычаях разных народов, смеются над Америкой, где «остаются девственниками до 30 лет», и шутливо предлагают пятнадцатилетней фрейлине посетить эту «страну дураков». *«Королева.* Как это понравится моей маленькой леди Элен? Не отослать ли нам тебя туда, где ты сбережешь свой животик? *Леди Элен.* Если угодно вашей милости, моя старая нянька говаривала, что служить Богу можно и не держа ноги вечно сжатыми; вот я и собираюсь послужить ему этим способом, в чем ваше величество служит мне примером. *Королева.* Богу понравится такой ответ, дитя мое. *Леди Элис.* Подожди, пока у тебя не вырастут волосы пониже пупка. *Леди Элен.* Ах, они уже два года как растут, и теперь их больше, чем я могу прикрыть ладошкой. *Королева.* Слышал, мой милый Бомонт? Не хочет ли твой птенчик слететь в это сладкое гнездышко?» — и в том же духе продолжается невинная светская беседа.

Текст не предназначался для публикации. Преподобный Туичелл был от него в восторге, считая искусной стилизацией, четыре года держал рукопись у себя, показывал близким знакомым, в 1880 году отдал ее Джону Хею, будущему госсекретарю США, а тот в письме к искусствоведам Александру Ганну назвал эссе шедевром: «Марк Твен сделал серьезную попытку вернуть нашу литературу и философию к трезвому и целомудренному елизаветинскому стандарту. Но современный вкус слишком испорчен для чего-либо столь классического». В 1882 году друг Туичелла Вуд, лейтенант из Военной академии Вест-Пойнт, отпечатал 50 экземпляров текста в типографии на роскошной бумаге, старинным шрифтом, разумеется анонимно, и распространил среди знатоков. Потом был еще ряд подпольных переизданий — открыто напечатать «1601» стало возможным лишь после судебных процессов 1959–1966 годов, легализовавших публикацию «Тропика Рака» и «Любовника леди Чаттерлей», — но некоторые американские искусствоведы продолжают сомневаться, что любимый классик мог написать подобную мерзость. Свое авторство он, однако, признал в письме Чарлзу Орру, библиотекарю из Кливленда, причем заметил, что «1601» — не «попытка вернуть литературу

в целомудренные времена», а обыкновенное хулиганство.

Летние работы он завершил «Рассказом коммивояжера» («The Canvasser's Tale») — историей о человеке, коллекционировавшем эхо, которая вышла в рождественском номере «Атлантик». В Хартфорде почти не писал, некогда: гости, ужины, люди умоляют выступить то в Бостоне, то в Филадельфии, то в Нью-Йорке. Клубов ему все было мало: в пик «Вечеру понедельника» основал дамский клуб «Утро субботы». (С его слов известно, что он также учредил «Клуб скромных людей», в котором остался единственным членом, клуб «Кружок», до того неформальный, что даже ни разу не собирался, и другие в том же роде.) Но больше всего в ту осень интересовался политикой. Близилась президентские выборы, кандидат от республиканцев — юрист, ветеран войны, губернатор Огайо Ратефорд Хейз, от демократов — губернатор штата НьюЙорк Сэмюэл Тилден. Напомним, что тогда все было «наоборот»: демократическая партия — реакционная, поддерживаемая сельскими жителями, католиками, Югом, республиканская — прогрессивная партия городского Севера. Тилден был известен как порядочный человек: боролся против контролировавшей НьюЙорк полумафиозной организации «Таммани-Холл» («банда Таммани», как ее еще звали) и посадил в тюрьму ее лидера, коррупционера Уильяма Твида. Хейз тоже обещал бороться с коррупцией, оба были неплохие люди, но выборная кампания оказалась грязной, с оскорблениями, подкупом и запугиванием избирателей. Твен после войны стал республиканцем, потому что республиканцами были его покойный тесть, брат и все хартфордские и бостонские друзья, на собраниях выступал в поддержку Хейза; сторонники Тилдена безуспешно пытались его пригласить. «Если выберут Тилдена, — писал он Хоуэлсу, — вся страна покатится прямехонько в то место, которое я не мог бы назвать вслух при миссис Хоуэлс».

5 марта 1877 года Хейз стал президентом — не вполне честно. Он получил на 19 голосов меньше Тилдена, но было 20 спорных голосов и все достались ему. Историки считают это сделкой: в обмен на спорные голоса республиканцы обязались вывести остатки войск из южных штатов и оказать Югу экономическую помощь. Когда первоначально объявили о победе Тилдена, Твен пришел в ужас, но потом, вместо того чтобы радоваться успеху своего кандидата, назвал выборы «одним из самых хладнокровных надувательств, какими республиканская партия когда-либо морочила американский народ: кражей президентского кресла у мистера Тилдена». Впрочем, современные историки полагают, что если бы выборы проводились честно, то есть при наличии у черного населения южных штатов



реальной возможности (а не только права, закрепленного 15-й поправкой к Конституции) голосовать, Хейз победил бы и без подтасовок.

В дни выборов у Клеменсов гостил Брет Гарт — они с Твеном работали над пьесой «А Синь» («Ah Sin, The Heathen Chineese») о хитроумном китайце-прачке, уже воспетом Гартом в поэме «Китайский язычник». Пародийная мелодрама предназначалась для актера Чарлза Парслоу, известного ролями китайцев; Гарт почти написал ее, но признал, что не силен по части диалектов, и попросил помощи. После совместной работы соавторы, как нередко бывает, рассорились; Твен поносил Гарта всю оставшуюся жизнь. С пьесой это было не связано. Что же натворил Гарт?

По словам Твена, он занимал и не отдавал деньги, пил, буянил, оскорбил дам — членов «Утра субботы». Он также проявил политическую беспринципность: обещал голос обоим кандидатам в обмен на должность консула в Германии (и получил ее). Но главное, возможно, — его отношение к собственной семье. Гарт жил отдельно от супруги и детей и не содержал их; для Твена мужчина, бросивший жену, не был человеком. Вдобавок Гарт сделал некое ироническое замечание в адрес Оливии. Всего этого было достаточно, чтобы проявились бешеная вспыльчивость и неугасающая мстительность, о которых предупреждал Хоуэлс. Многие годы Гарт во всеуслышание назывался подлецом, лжецом, вором, предателем, пьяницей, тряпкой, негодяем и безродным космополитом; испуганная Оливия писала мужу: «Мальчишка! Хочу Вас предостеречь от одной вещи: не говорите гадостей о м-ре Гарте, не ругайте его публично, лучше бы Вы помалкивали, не позволяйте никому поймать Вас в ловушку». Но тот пропустил слова жены мимо ушей. Хоуэлс: «Он зашел дальше Гейне, который сказал, что прощал врагов, но только после их смерти. Клеменс не прощал и мертвым врагам; их смерть, казалось, усугубляла их преступления...» Это не совсем так: в интервью 1895 года (спустя 20 лет после ссоры) Твен заявил, что «ненавидит» Гарта, но после смерти последнего в 1902-м сказал несколько лестных слов о его творчестве. Под конец жизни он признал, что ненависть не имела оснований, но не потому, что Брет Гарт не был плох, а потому, что он не был виноват в своих пороках: «Закон его природы был сильнее установлений человеческих, и он должен был ему повиноваться». Тогда же признал за коллегой такие преимущества, какие редкий писатель согласится признать: Гарт весь вечер пил, а за ночь одной левой написал рассказ, «лучше которого я никогда не слышал» («Тэнкфул Блоссом»); «Он работал быстро, по-видимому, не задумываясь, не колеблясь ни минуты; то, что он сделал в час-полтора,

стоило бы мне нескольких недель тяжелого напряженного труда, а по прочтении оказалось бы никуда не годным».

Пьесу закончили к середине декабря, потом случилась ссора, Гарт уехал, прислал покаянное письмо, Твен в Нью-Йорке встретился с ним (для подписания контракта) почти мирно, премьера состоялась в Вашингтоне в мае 1877 года — был провал. Твен потом говорил, что своим вмешательством испортил пьесу: его манеру балансировать на грани пародии театральная публика не приняла. В наступившем году он ни за что крупное не брался (делал это обычно только летом), писал фрагменты о семье и детстве (известные как «Ранние годы во Флориде»), говорил, что хочет написать «абсолютно честную автобиографию», хотел делать ироническую «Автобиографию Проклятого Дурня» («The Autobiography of a Damn Fool»), но оставил эту идею из-за возражений жены и предложил воспользоваться ею Ориону.

16 мая на неделю съездили с Туичеллом (без жен) на Бермудские острова: «первые настоящие каникулы», «самое радостное путешествие — ни страданий, ни мук совести». Летом Клеменсы перебрались в «Каменоломню», туда же приехал недавно женившийся Чарлз Лэнгдон с семьей. Твен написал в «Атлантик» серию очерков о Бермудах — хвалил прелести тихой жизни без газет и железных дорог, а также умелое британское правление. Для того же «Атлантик» сочинил очередную пародию на «настоящий» роман — «Любовь Алонсо Фиц-Кларенса и Розанны Этельтон» («The Loves of Alonzo Fitz Clarence and Rosannah Ethelton»), знаменитую тем, что влюбленные разговаривают по телефону через океан — в реальности это станет возможным лишь в 1915 году. Сам Твен с телефоном познакомился весной в Хартфорде — агент Грэма Белла предложил ему акции телефонной компании, он отказался, решив, что дело нестоящее, но дома телефон установил и, хотя называл его дьявольским изобретением, пользовался им охотно. Из воспоминаний Кэти Лири, служанки: «У нас телефон работал не очень хорошо. Это раздражало м-ра Клеменса, иногда он говорил, что выбросит его. Однажды он стал звонить докторше, миссис Тафт, было плохо слышно, и он сказал: «Уберите к чертовой матери эту гребаную хреновину, она меня задолбала», и стал очень страшно ругаться. И вдруг услышал в трубке голос миссис Тафт, которая говорила: «Доброе утро, мистер Клеменс». Он сказал: «О, миссис Тафт, я только что подошел к телефону и слышу, как Джордж, наш дворецкий, бранится. Я непременно поговорю с ним об этом»».

Собственное изобретение Твена, альбом для вырезок, стараниями фирмы Дэна Слоута («Слоут, Вудмен и К<sup>о</sup>») начало приносить доход — к

1878 году прибыль составила 12 тысяч долларов, в год продавалось до 50 тысяч альбомов; к началу XX века Слоут выпускал уже 57 разновидностей альбома и Твен получил как минимум 50 тысяч долларов. Но он-то ждал миллионов... Он начал и бросил пьесу-пародию «Капитан Саймон Уилер, детектив-любитель» («Captain Simon Wheeler, The Amateur Detective»). Набрасывал план «Принца и нищего». Идей было много. Из заметок того лета: «Эдуард VI и нищий мальчик случайно меняются местами накануне кончины Генриха VIII. Принц в лохмотьях — бедствует, а нищий, ставший принцем, терпит муки дворцовой жизни вплоть до самого дня коронации в Вестминстерском аббатстве, когда все разъясняется». «Человек, назначенный надзирателем к умалишенным, по ошибке попадает в дом, где живут здоровые люди. Дело происходит в Англии, и они называют его «смотрителем», так как уверены, что он — новый смотритель охотничьих угодий, которого им прислали. А тот, кого они ждали, тем временем управляет сумасшедшим домом и находится в большом затруднении». И опять о рае капитана Стормфилда: «Разные отделы рая. В каждый особый вход. У одного входа встречают кабатчика: артиллерийский салют, сонмы ангелов, факельное шествие. Он воображает, что ему суждено стать украшением райского общества. Но вот торжества окончились, и он впадает в ничтожество. Что еще обиднее — ему приходится три недели подряд отбывать повинность: день и ночь с факелом в руках орать в честь каких-то подонков, которых он вообще послал бы охотно к черту».

23 августа негр Джон Льюис, работавший в усадьбе (он был свободнорожденным и имел собственную ферму), спас жизнь жене и дочери Чарлза Лэнгдона, остановив понесших лошадей; герой получил единоразовое вознаграждение от Лэнгдона и пенсию от Клеменсов. Твен назвал Льюиса «достойнейшим из людей» и, как считается, частично списал с него Джима в «Геке Финне». В сентябре Клеменсы вернулись в Хартфорд, где случилось другое происшествие, комическое: шатался у дома подозрительный человек, думали — грабитель, а он оказался любовником горничной, жениться не хотел, но сделал это под давлением хозяина дома и Туичелла. Позднее Твен сделает из этого историю, но тогда он был занят другой работой — «Рассказом предпринимателя» («The Undertaker's Tale»). Почтенное религиозное семейство Кадавров, гробовщиков, молится, чтобы бизнес шел хорошо, но люди вокруг, увы, здоровы, и семья на грани разорения; наконец Бог внял молитвам и наслал эпидемию холеры. Прочел жене и Хоуэлсу — те умолили не печатать (публикация состоялась лишь через 100 лет). Не в первый и не в последний раз Твен подбирался к важной для него мысли: когда мы молимся — о чем

мы молимся *на самом деле*? Ведь божество, если оно существует, не может быть таким глупым, чтобы за словами не разгадать наших истинных желаний...

Он продолжал переписывать историю Стормфилда, но ни один вариант его не удовлетворял. «Атлантик» той осенью получил от него только «Рассказы о великодушных поступках» («Magnanimous Incident Literature»), сборник анекдотов о том, к каким последствиям приводят добрые дела: «Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории. Когда несчастный просит у вас помощи и вы сомневаетесь, к какому результату приведет ваша благотворительность, дайте волю вашим сомнениям и убейте просителя». В одной из историй рассказывается, как некто остановил понесших лошадей и спас женщин: «Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героическом поступке своему мужу (который любил читать книжки), и он, проливая слезы, выслушал трогательный рассказ, а потом, возблагодарив совместно с дорогими его сердцу того, кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченным, послал за храбрым юношей и, вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал:

— Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюссон, и если вам понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макспаддена бьется в груди благодарное сердце».

Фергюссон приводит в дом Макспаddenов своих родственников-пьяниц, те садятся им на шею и превращают жилище в хлев; Макспадден в конце концов изгоняет их со словами: «Да, вы спасли мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте!» Вот и гадай: то ли героический негр Льюис не был таким уж чудесным человеком и восхваления Твена в его адрес были неискренни, то ли автор просто не смог обуздать свой язык; во всяком случае, и Льюису, и Чарлзу Лэнгдону рассказ вряд ли доставил удовольствие. Твен вообще был из тех, кто «для красного словца не пожалеет и отца», и «ничего святого» не признавал: вот характерный эпизод из переписки с матерью. Старушка просила сына: «поцелуй [*kiss*] Сюзи за меня», а написалось у нее *kill* — «убей». Ответ сына: «Я сказал Ливи, что мама стара и мы должны исполнять малейшую ее прихоть, как бы трудно это ни было; так что я позвонил Дауни [слуге], и мы с Ливи, обливаясь слезами, держали нашу детку, пока он отпиливал ей голову».

Бестактности он совершал ежечасно, но раскаивался отчаянно. 17 декабря на обеде в честь 70-летия поэта-классика Уиттьера произнес речь о трех пьянчужках, которые вваливаются в старательскую хижину и

называют себя именами мэтров: Лонгфелло, Эмерсона и Холмса. Выступление сопровождалось гробовым молчанием. Лонгфелло и Холмс не обиделись, Эмерсон немного обиделся, но скоро отошел, сам Твен готов был повеситься. Хоуэлсу: «Со временем мой стыд не уменьшается, а растет. Он все растет и растет. Этот поступок прибавился к списку моих дурных поступков, счет которым я веду с семи лет, и все эти поступки, независимо от давности, продолжают преследовать меня. Я опозорился на всю страну, лучше мне не появляться на людях. «Атлантику» повредит, если я буду в нем публиковаться. <...> Кажется, я был не в своем уме, когда сочинял ту речь и не заметил своего неуважения к тем людям. И как я опозорил Вас, который представлял меня так любезно! Мысли об этом жгут меня огнем». И как ни успокаивали его, не мог утешиться лет десять — потом, правда, заявил, что не понимает, почему из-за безобидной речи «поднялся такой сыр-бор».

В начале 1878 года Редпат вновь предложил гастроли — в прошлом году Твен давал понять, что может согласиться, теперь отказал: он не может смотреть людям в глаза. Сидел дома, принимал только близких, играли в бильярд — он всегда любил это занятие, теперь увлекся так, что катал шары ночи напролет, доводя соперников до изнеможения. Больше обычного бывал с детьми (Сюзи пять с половиной, Кларе четыре года). «Достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и двор. Дня не хватает даже на одного ребенка. Пока вы в здравом уме, не просите Бога послать вам близнецов. Близнецы равнозначны постоянному бунту. А между тройняшками и революцией, в сущности, нет никакой разницы». «Обычный ребенок — это целый сборник вопросов-головоломок. На какое уважение могут рассчитывать родители, которых можно уличить в невежестве в двух случаях из трех? Поэтому имеет смысл время от времени отвечать на какой-нибудь легкий вопрос, дабы убедить детей в том, что вы можете это сделать, если захотите. Когда же они пристанут с чем-нибудь потруднее, можно ответить: «А тебе что за дело?» Или просто: «Заткнись!» Так вы воспитаете в детях независимость, уверенность в себе и выдержку, которая избавит их от искушения раскроить вам череп и узнать, как можно при познаниях столь обширных таить это все в себе». Записывал их смешные словечки, как Чуковский. «Клара: Почему нельзя?»

— Потому что я сказала нет.

— Но ты же не сказала, почему нет».

«Самое последнее страстное желание Сюзи — иметь плохие зубы и очки, «как у мамы»». «У Сюзи тесные ботинки. Мать: «Сюзи, думай о Господе». — «Мама, я не могу в этих ботинках»».

Хоуэлсу: «Хочу рассказать новости о Сюзи. Ее часто мучают сны: ее последний навязчивый кошмар — что ее съели медведи. Она серьезный и вдумчивый ребенок, как Вы знаете. Прошлой ночью ей опять приснилось это. Утром, рассказав сон, она несколько минут стояла, погруженная в размышления, и наконец сказала: «Мама, жалко, что я в этом сне никогда не бываю медведем, а только человеком». <...> Я хотел бы однажды забраться в голову ребенка и понять, что за процессы там происходят».

Кроме детей, ничто не радовало. В апреле он сообщал матери: «Почти все время я беспокоен и раздражен. Это все из-за дел, из-за неприятностей, из-за мучительных для меня писем от доброжелательных незнакомцев, на вежливые ответы которым я должен тратить полдня... Дома я не могу писать. От этого страдают мои доходы. Так что я решил забрать своих в какой-нибудь тихий уголок в Европе и там жить, не двигаясь с места, пока не закончу хоть одну из полдюжины начатых и брошенных книжек». Ехать решили в Германию, семья взялась учить немецкий. Памела просила взять с собой ее семнадцатилетнего сына Сэма, Твен племянника любил, но отказался: «Ни к чему хорошему это не приведет. После того как Сэм проживет в Европе самостоятельно и оботрется и обобьется, думаешь, он по-прежнему будет отказываться от виски и стесняться ходить по барам?» Зато уговорил Туичелла летом приехать в Европу — у того не было средств, но Твен, хотя и нечасто давал людям деньги, умел делать это с таким тактом, что соглашались самые щепетильные.

Для будущей книги надо искать издателя: Элиша Блисс оказался «мошенником», последний сборник ««Режьте, братцы, режьте!» и другие рассказы» издал в марте 1878 года Дэн Слоут, но он тоже «жульничал» — все эти подлецы одинаковы. Твен подписал контракт с Франком Блиссом, сыном Элиши, открывшим свое издательство. Хоуэлс просил присылать очерки для публикации в «Атлантик» — его Твен жуликом не считал, но ответил отказом: невыгодно, он заработает больше, если сначала выпустит книгу.

11 апреля отплыли: семью сопровождали Клара Сполдинг, дворецкий Гриффин и няня Розина Хэй. Прибыли в Гамбург 25-го, поселились в Гейдельберге, сняли дом.

В Германии Твена ценили выше, чем на родине. Его гротесковый, фантазмагоричный юмор был немцам по душе. Переводили его с 1872 года, издатель Таухниц платил автору роялти, хотя по закону не был обязан это делать, Твен был ему благодарен. Он прилично знал немецкий; в Берлине его носили бы на руках, но он нуждался в тишине, выступил только 4 июля перед гейдельбергскими студентами. Он тоже полюбил Германию, хотя

издевался над немцами безбожно (как и другой германофил — Джером Джером). Полюбил тихость, размеренность, чистенькие домики, герани на окнах, все то, что Марк Алданов назвал «безобидной, уютной глупостью». Пороки французов и итальянцев раздражали — недостатки немцев умиляли.

«— Кто здесь погребен?

— Никто.

— Почему же стоит памятник?

— Это не памятник. Это печка.

Мы стояли, обнажив головы. Теперь мы надели шляпы. Печка вышиной в восемь футов. Посреди утолщение в три с половиной на два с четвертью фута, вроде женского бюста. Наверху — украшения».

«Помещение банка в Гамбурге раньше, видимо, служило конюшней. Если бы наши банкиры были такими же скромными, быть может, и банки реже бы лопались».

Корней Чуковский, 1955: «Вчера читал «Tramp Abroad» — и с прежним восторгом «The Awful German Language». Эта глава кажется мне одним из лучших произведений Твена. Никогда ни одна филологическая статья не вызывала такого хохота. Написать веселую статью о лингвистике — сделать грамматику уморительно смешной — казалось бы, невыполнимое дело, и, однако, через 50 лет я так же весело смеялся — читая его изыскания». Эссе, которое насмешило Чуковского, — «Об ужасающей трудности немецкого языка», приложение к книге «Пешком по Европе» («Tramp Abroad»)<sup>[23]</sup>: «Самое обычное рядовое предложение в немецкой газете представляет собой неповторимое, внушительное зрелище: оно занимает пол газетного столбца; оно включает в себе все десять частей речи, но не в должной последовательности, а в хаотическом беспорядке; оно состоит из многоэтажных слов, сочиненных тут же, ко мгновенному наитию, и не предусмотренных ни одним словарем — шесть-семь слов наращиваются друг на дружку просто так, без швов и заклепок...»<sup>[24]</sup> Из другой статьи, «Красоты немецкого языка» («Beauties of German Language», 1880): «Немецкое длинное слово создано противозаконным способом, это гнусная фальсификация, подделка. Словари его не признают, и в словарях его нечего искать. Оно получилось из соединения целой кучи слов воедино, и при этом без всякой надобности: это выдумка лентяев и преступление против языка. <...> Дрезденская газета «Охотник», которая думает, что в Южной Африке водятся кенгуру (*Beutelratte*), говорит, что готтентоты (*Hottentoten*) сажают их в клетки (*Kotter*), снабженные крышками

(*Lattengitter*) для защиты от дождя. Поэтому клетки называются «латтенгиттерветтеркоттер», а сидящие в них кенгуру — «латтенгиттерветтеркоттербейтельраттен». Однажды был арестован убийца (*Attentater*), который убил в Штреттертротеле готтентотку (*Hottentotenmutter*), мать двух глупеньких, заикающихся детей. Эта женщина по-немецки называется «Готтентотенштоттертроттельмуттер», а ее убийца — «Готтентотенштоттертроттельмуттераттентетер». Убийцу посадили в клетку для кенгуру — «бейтельраттенлаттенгцттерветтеркоттер», откуда он через несколько дней убежал, но был случайно пойман каким-то готтентотом, который с сияющим лицом явился к судье.

— Я поймал кенгуру, — «бейтельратте», — сказал он.

— Какого? — спросил судья. — У нас их много.

— Аттентетерлаттенгиттерветтеркоттербейтельратте.

— Какого это — «аттентетер», о ком ты говоришь?

— О «Готтентотенштоттертроттельмуттераттентетер».

— Так почему же ты не сказал сразу: «Готтентоттенштоттертроттельмуттераттентетерлаттенгиттерветтеркоттербейтельратте».

1 августа в Баден-Бадене Твен встретился с Туичеллом, двинулись в пеший поход по швейцарским и французским Альпам; остальные Клеменсы путешествовали тем же маршрутом, но на поезде, изредка пересекались; семью Твен обожал, но никогда, по собственному признанию, не был так счастлив, как на холостяцких каникулах. Из писем Туичелла жене: «Марк — чудной парень... Больше всего его восхищает зрелище сильных и быстрых горных потоков, он кидает в воду палки и камни, прыгает и вопит от радости, ведет себя как мальчишка». «В нем есть кое-что грубое. Но я никогда не встречал человека, столь внимательного к чувствам других. Ему кажется неучтивым проходить вблизи от гуляющего человека, потому что того это может обеспокоить. Он робеет до дрожи при виде незнакомцев; терпеть не может спрашивать дорогу. Его чувствительность распространяется и на животных. Если нам случается ехать в повозке, он думает только о лошади. Он не может видеть, как используют кнут... Он чрезвычайно внимателен ко мне во всех — или почти во всех отношениях».

Недостаточно внимателен к другу Твен, вероятно, был в дискуссиях о вере. Религия — его любимая тема: толковал о ней с родней, слугами, каждым встречным. Клара Клеменс писала в книге «Мой отец Марк Твен», что отец и тетка Сьюзен (святая Сью, как Твен ее звал) беседовали на эту тему каждое утро и тетка «была настолько шокирована его оригинальными доводами, что даже не обижалась». В 1878 году Твен был стопроцентным



деистом, говорил, что верит в Бога как создателя Вселенной, управляющего ею посредством законов физики; Оливия давно перестала, по ее словам, «верить в ортодоксального библейского Бога, который следит за каждой человеческой душой», и разделяла взгляды мужа, Хоуэлс — тоже. Но Туичелл был хоть и не ортодоксом (даже посещал с Твеном бостонский атеистический клуб «Радикал»), но все-таки священником... Их разговоры не записаны, но сохранились письма Твена: «Я нисколько не верю в Вашу религию. Я лгал всякий раз, когда пытался притворяться. Минутами, иногда, я был близок к тому, чтобы уверовать, но тотчас это чувство меня покидало. Я не верю, что хоть одно слово в Вашей Библии было вдохновлено Богом в большей степени, чем какая-либо другая книжка. Я считаю, что все это дело рук человеческих от начала до конца — искупление и все прочее. Проблемы жизни, смерти, вечности гораздо сложнее и глубже, чем написано в Вашей книге».

Но, едва расставшись с другом (прогулка завершилась в начале сентября в Лозанне), он уже изнывал от раскаяния: «Я был так подавлен вчера на вокзале, и утром, проснувшись, не мог поверить, что Вы действительно уехали и кончилась наша чудесная прогулка. О, мой дорогой! Это были такие роскошные каникулы, и я так благодарен Вам за то, что Вы приехали. Я стараюсь забыть все случаи, когда я плохо обращался с Вами и обижал Вас; я хочу думать, что Вы меня простили, и помнить только очаровательные часы прогулок и те времена, когда я не был недостоин Вашей дружбы, которая для меня важнее всего в мире после Ливи». Туичелл простил, разумеется: он был из тех священников, которые считают, что быть порядочным человеком важнее, чем ходить в церковь, и надеются, что Бог рассуждает так же.

От первоначального плана сидеть на одном месте и работать Твен отказался — решил показать Европу жене, которая еще никогда не путешествовала. 16 сентября поехали в Италию, провели там два месяца: Венеция, Флоренция, Рим, опера, музеи, покупки, в частности кровать XVI века (или подделка). Из записных книжек: «Вздыбленные лошади на картинах старых мастеров походят на кенгуру». «Марсов зал в Питти, тициановский портрет Неизвестного. Боже, какими дряблыми, пустоголовыми и напыщенными выглядят все мученики, ангелы и святые рядом с этим царственным человеком». «Понтий Пилат мучился укорами совести и утопился в Люцернском озере. Это объясняет, почему гору называли Пилат». 15 ноября прибыли в Мюнхен, поселились в пансионе, где проживут больше трех месяцев, лишь на пару дней съездив в Берлин, и Твен наконец взялся за работу. Его, возможно, мучила вина перед Хоуэлсом

за отказ присылать очерки, поэтому он слал в «Атлантик» все, что не влезало в будущую книгу: пародию «Дуэль Гамбетты» («Gambetta Duel»), веселую историю «Похищение белого слона» («The Stolen White Elephant»).

«— Теперь расскажите мне, что ваш слон ест и в каком количестве.

— Ну, если говорить о том, что он ест, так он ест решительно все. Он способен сожрать человека, сожрать Библию. Одним словом, он ест все, начиная с человека и кончая Библией.

— Хорошо, превосходно. Но это слишком общее указание. Мне нужны подробности — в нашем ремесле больше всего ценятся подробности. Вы говорите, он любит человечину; так вот, сколько человек он может съесть за один присест или, если угодно, за один день? Я имею в виду — в свежем виде.

— А ему все равно, в каком они будут виде — в свежем или несвежем. За один присест он может съесть пять человек среднего роста.

— Прекрасно! Пять человек — так и запишем. Какие национальности ему больше по вкусу?

— Любые, он непривередливый. Предпочитает знакомых, но не брезгует и посторонними людьми.

— Прекрасно! Теперь перейдем к библиям. Сколько библий он может съесть за один присест?

— Весь тираж целиком.

— Это слишком неопределенно. Какое издание вы имеете в виду — обычное, *in octavo*, или иллюстрированное, для семейного чтения?»

Другой рассказ, первоначально предназначавшийся для книги и опубликованный «Атлантиком» — «Великая революция в Питкерне» («The Great Revolution in Pitcairn»). История основана на фактах: на необитаемом острове в Тихом океане в 1790 году высадилась мятежная команда корабля «Баунти», с собой моряки привезли таитян с соседних островов. Через несколько лет таитяне-мужчины взбунтовались и перебили большинство белых, таитянки — жены моряков — за это убили своих братьев, а потом оставшиеся моряки убивали друг друга, пока не остался один, Джон Адамс, ставший правителем острова. В 1808 году к берегу пристал корабль капитана Фолджера, от которого мир узнал о трагедии: к тому времени община состояла из Адамса, восьми таитянок и двадцати пяти детей-полукровок. Сейчас Питкерн — государство со статусом заморской территории Великобритании, самое маленькое государство в мире — населяют его около 50 человек, но у них есть парламент; это первая территория в составе Британской империи, где было введено избирательное право для женщин.

Робер Мерль сделал центром романа «Остров» взаимоотношения белых с таитянами, восстание и всеобщую бойню, Твена заинтересовал другой эпизод: в 1832 году в Питкерн прибыл некто Джошуа Хилл, выдал себя за представителя английских властей, установил диктатуру, насаждал крайние формы протестантства (в 1838-м обман раскрылся и Хилл был изгнан). «Он стал необычайно популярен, и на него взирали с почтением, ибо он начал с того, что забросил мирские дела и все свои силы посвятил религии. С утра до ночи он читал Библию, молился и распевал псалмы либо просил благословения. Никто не мог так умело, так долго и хорошо молиться, как он». Мошенник убедил питкернцев, что Англия их угнетает, организовал переворот, провозгласил себя императором, ввел налоги, армию, титулы, все заседали в комиссиях, а землю пахать бросили и стало нечего есть. «Тем временем, как всякий пророк мог предвидеть, родился социал-демократ. Когда император ступил на золоченую императорскую тачку у дверей церкви, социал-демократ пырнул его пятнадцать или шестнадцать раз гарпуном, но, к счастью, с таким типично социал-демократическим умением бить мимо цели, что не причинил ему никакого вреда».

Занимала Твена также телепатия — он начал писать статью «Передача мысли на расстоянии» («Mental Telegraphy»), но отложил (в 1884-м сказал, что не решился публиковать — засмеют). Приводил примеры: садился писать кому-нибудь письмо одновременно с адресатом, иногда они с женой одновременно произносили какую-нибудь фразу. (Телепатия тогда рассматривалась не как «паранормальное явление», а как научное, вроде гипноза, и ею увлекались лучшие умы человечества, включая ученых-естественников.) От «путевой» книги беспрестанно отвлекался, собирал ее с огромным трудом, злился, писал Хоуэлсу: «Хорошую юмористику можно написать только в покое, а мне осточертели путешествия, и отели, и опера, и Великие Художники...» Наконец построил книгу так: рассказчик и его друг начитались путеводителей, наслушались легенд и мечтали обойти Европу пешком, но единственное пешее путешествие, которое они совершили, — 47 миль вдоль стен комнаты в поисках двери. Насобирав анекдотов, фольклора, потом пришлось выкидывать — фрагменты были хороши, но совершенно не шли к делу (потом пристроит их в другие книги).

Матери, 1 декабря: «Вчера я прожил полжизни и начал двигаться к старости. Это не произвело на меня никакого впечатления». Затосковали в Мюнхене, весну решили провести в Париже, где жили многие земляки и знакомые: Олдрич, хартфордский юрист Джидни Бане, поэт Фрэнк Милле,

супруги Чемберлен, с которыми подружились во Флоренции. В Париж прибыли 28 февраля, погода была скверная, все не нравилось. «Во Франции нет зимы, лета и нравственности. В остальном это прекрасная страна».

Не в пример другому великому земляку, Хемингуэю, Твен французов, как и всю «латинскую расу», терпеть не мог (делая исключение лишь для Жанны д'Арк). Ненависть эта труднообъяснима. Он называл их бесчувственными, холодными, лицемерными, жестокими. Написал фрагмент «Французы и команчи», в книгу не включенный и опубликованный лишь в 1962 году: два нелюбимых им народа объединяла страсть «резать и жечь друг друга». В тот период Клеменсы читали диккенсовскую «Историю двух городов», где говорится об ужасах французской революции, глава семьи читал также об ужасах недавно отшумевшей Парижской коммуны («Коммунизм — идиотство. Они хотят поделить собственность. Предположим, они это сделали. Но нужны мозги, чтобы удержать полученные деньги. Вскоре деньги вернутся в руки прежнему владельцу и коммунист снова будет беден. Придется заново делить каждые три года»). На самом деле англичане и американцы тоже, бывало, «резали и жгли друг друга», и вообще все народы преимущественно этим и занимались, но досталось лишь одному: «Так придем же все, как один, на помощь французу, проникнемся бескорыстной любовью к этому презираемому и униженному звену между человеком и обезьяной, поднимем его и сделаем нашим братом!»

Ни с какими французами Твен не ссорился и не дружил, так что личных причин для неприязни вроде бы не было. Увы, напрашивается единственное объяснение — он их не любил за то, что они были к нему абсолютно равнодушны. Почему? Во-первых, его разговорный французский был плох и он никогда во Франции не выступал. Во-вторых, как он сам заметил, французам был чужд его юмор. В 1872 году литератор Тереза Бланк перевела «Лягушку» на французский, опубликовала эссе о Твене в «Ревю де Монд», перевела и «Простаков», оценили книгу низко — американец смеется, а над чем — непонятно, гордится невежеством, корчит из себя демократа, а в России царь с ним поговорил, так он сошел с ума от восторга. Далее французы добросовестно его переводили и издавали, но так и не поняли, над чем смеяться, — безвкусное шутовство. Как признают они сами (например, А. Фулье в книге «Психология французского народа»), «француз лишен сильного воображения. Его внутреннее зрение не отличается интенсивностью, доходящей до галлюцинации, и неистощимой фантазией германского и англосаксонского ума»; «Мы более

рассуждаем, нежели воображаем». Твеновский гротеск, нанизывание одной нелепицы на другую «с интенсивностью, доходящей до галлюцинации», вероятно, казались французским читателям чем-то тяжеловесным, многословным; к чему столько громоздить, когда мысль можно выразить одним хлестким *bon mot*? Твеновские афоризмы — вот что могло бы иметь во Франции успех, но их там никто не публиковал.

Работалось неважно — опять опера, музеи, обеды и прочие скучные и ненавистные вещи, без которых Твен не мог существовать. Летал на воздушном шаре (тогда все летали), встречался с Таухницем, с президентом Леоном Гамбеттой, в мае трижды виделся с Тургеневым: «Одна знаменитость, которая интересовала меня более всего, был известный Тургенев, великий как своими свершениями в литературе, так и своим отважным до самопожертвования патриотизмом» (имеется в виду литературный вклад Тургенева в дело освобождения крестьян); записал, что Иван Сергеевич подарил ему свою книгу, но не уточнил какую и не сказал, понравилась ли она ему.

Одна из претензий Твена к французам — «безнравственность», но она же его привлекала, как и других американцев, собиравшихся в парижском «Клубе живота» (основанном скульптором Огюстом Сен-Годеном): там он в апреле произнес речь, на какую не отважился бы даже в самом либеральном американском клубе, — «Искусство мастурбации» (в 1942 году нелегально было издано 50 экземпляров текста, фрагменты печатались в «Плейбое»). «Робинзон Крузо говорит: «Невозможно выразить, как я благодарен этому тонкому искусству»». «Цезарь в своих «Записках» говорит: «Одиноким она — компаньон; отвергнутым — друг; старым и немощным — благодетель; бедные с ней становятся богатыми, ибо могут позволить себе это величественное развлечение». Также этот великий мыслитель отметил: «Иногда я даже предпочитаю ее содомии»». «Бригем Янг, бесспорный авторитет, сказал: «Если сравнивать сами знаете с чем, то это похоже на сравнение солнечного зайчика с молнией»». Это — самое приличное, остальное лучше не цитировать.

Об этой своей выходке он в книге умолчал, но много рассуждал о пристойности и непристойности. Живописи дозволено все, литературе — ничего, и ханжество с каждым годом усиливается, раньше все читали Боккаччо и Рабле, а теперь даже Филдинг и Смоллетт считаются неприличными. «Логика критиков непостижима. Если я напишу: «Она была голая» — и затем приступлю к подробному описанию, критика взвояет. Кто осмелится читать вслух подобную книгу в обществе? Однако живописец поступает именно так, и на протяжении столетий люди

собираются толпами, смотрят и восхищаются». Непонятно, хорошо ли, по его мнению, что смотрят и восхищаются: тициановскую «Венеру Урбино» он назвал «богиней скотства», «самой непристойной, отвратительной и бесстыдной картиной на свете» (почему-то он решил, что Венера на этой картине мастурбирует: воображение человека, чье детство исковеркано пуританством, не может не загрязниться, он сам это признавал), что, учитывая его протесты против ханжей и речь в «Клубе живота», было довольно непоследовательно.

Парижская погода доконала семейство: жена простудилась, у мужа разыгрался ревматизм. 10 июля через Бельгию и Голландию отправились в Лондон, прибыли 20-го, обнаружили ту же слякоть, да и англичане, у которых раньше не находилось недостатков, начали раздражать. «Уже несколько лет в нашей литературе установился обычай хвалить все английское, хвалить от души. Это не находит отклика в Англии и потому прекратится». Зато в Лондоне, в отличие от Парижа, Марка Твена восторженные толпы носили на руках — там его признали «настоящим» и сравнивали с Диккенсом. Новые знакомства: встречались с Генри Джеймсом на обеде (впоследствии видались еще два или три раза), остались холодны друг к другу; Твен говорил, что, осилив книгу Джеймса, ее никогда не станешь перечитывать, Джеймс — что твеновский юмор предназначен для примитивных людей. Зато с Брэмом Стокером, который был в ту пору секретарем Генри Ирвинга, завязалась дружба, Стокер впоследствии помогал Твену в издательских делах. Неделю гостили в замке Реджинальда Чолмондели, дяди популярной романистки. 19 августа состоялась встреча с Чарлзом Дарвином в его доме, о которой, к сожалению, ни тот ни другой не оставили подробных воспоминаний; Твен писал только, что чувствовал себя рядом с великим человеком так же неловко, как с генералом Грантом, а Дарвин признавался, что лучшим отдыхом от тяжелого дня всегда были для него книги Твена. В июле у шотландца Макдоналда встречались с Льюисом Кэрроллом, подробности тоже неизвестны, за исключением того, что британец показался американцу чересчур скромным. 23 августа Клеменсы отплыли в НьюЙорк, были дома 3 сентября; газеты писали, что великий комик за время путешествия весь поседел.

Конец 1879 года — жизнь в Хартфорде, суетная, но благополучная, дом — полная чаша, обеда на двести персон. Дочерям пора было ходить в школу, но по настоянию отца решили обучать их дома. В октябре Твен ездил в Эльмиру, произнес речь об Адаме и предложил установить прародителю человечества памятник (ранее с таким предложением

выступал Бирс); в ноябре в Чикаго выступил на банкете в честь Гранта, вернувшегося в Штаты после двухлетнего пребывания за границей, там познакомился с Робертом Ингерсоллом — юристом, общественным деятелем, королем ораторов; его речи Твен называл «божественной музыкой». Ингерсолл тоже славился афоризмами: «Любовь — единственный священник», «Невежество — единственное рабство»; он был антиклерикалом, атеистом, либералом, прямым последователем Томаса Пейна — и при этом не изгоем, а благополучным человеком, которого обожали магнаты и президенты; его семейная жизнь сложилась идиллически, и враги безуспешно пытались отыскать у него какой-нибудь грешок. То был вдохновляющий пример: можно, оказывается, проповедовать то же, что и Пейн, и не быть наказанным.

3 декабря, Бостон — речь в честь Оливера Уэнделла Холмса, те же гости, что на злополучном обеде двухлетней давности, на сей раз все пристойно. 7 января 1880 года Твен закончил «Пешком по Европе». Половина книги посвящена Германии, половина — остальным странам. Европа описана с точки зрения тех же «простаков», которым кажутся забавными дикие европейские обычаи: немецкие студенческие корпорации, дуэли, опера, угодничество перед титулованными особами, но все тонет в потоках вставных новелл, не имеющих отношения к теме. Отдал книгу Блиссу, но не сыну, как намеревался, а все-таки отцу, вышла она 13 марта. Пресса встретила ее холодно: вторичная работа, да, есть чудесные фрагменты, как, например, история о сойке: «Вы, может, скажете, что сойка — птица? Ну что ж, в некотором смысле она, пожалуй, птица, тем более у нее и перья, и опять же и в церковь она не ходит; зато во всем остальном она такой же человек, как мы с вами. И я объясню вам — почему. У сойки такие же способности, инстинкты, такие же чувства и интересы, как у человека. У сойки нет ничего святого, как у любого конгрессмена. Сойка и соврет, сойка и украдет, сойка и обманет и продаст вас ни за грош; сойка четыре раза из пяти нарушит клятву. Сойке вы ни в жизнь не втолкуете, что есть такая штука, как священный долг. Опять же я скажу, сойка ругается похлеще любого джентльмена на приисках. Вы скажете, кошка ругается? Оно конечно, кошка ругается; но дайте сойке случай выложить все свои запасы — и куда там ваша кошка!» Однако в целом получилось непонятно что. Автор не унывал и не спорил — он редко вступал в дискуссии о своих работах. Он уже приступил к «Принцу и нищему».

## Глава 3

### Том Сойер и Том Кенти

Сюзи Клеменс: «Одна из последних папиных книг — это «Принц и нищий», и конечно же это самая лучшая его книга... Я никогда не видела такого разнообразия чувств, как у папы. Например, «Принц и нищий» полон трогательных мест, но почти всегда в них где-то прячется юмор. Вот в главе про коронацию, когда так волнуешься и маленький король только что получил обратно свою корону, папа вводит разговор про печать и как нищий говорит, что «щелкал ею орехи». Это так смешно и хорошо!» Твен, почти никогда не упоминая похвалы в адрес своих книг, на сей раз воспроизвел слова не только дочери, но и соседки — Бичер-Стоу: «Лучшей книги для детей еще не было». Полное название романа «Принц и нищий: история для молодых людей всех возрастов» («The Prince and the Pauper: A Tale for Young People of All Ages»); в отличие от «Тома Сойера» она изначально адресовалась детям. Хоуэлсу, как всегда, было предложено искать в тексте непристойности, тот, как всегда, нашел, автор отвечал с покорностью, смахивающей уже на издевку: «Выбрасывайте. Предоставляю Вам полную свободу, и чем больше Вы выбросите, тем больше я буду доволен и благодарен Вам. Без колебаний переделывайте все, что Вам вздумается».

Идею написать о молодом гуманном короле Твен вынашивал с начала 1870-х годов: сперва хотел писать о современнике, будущем Эдуарде VII, потом понял, что роман должен быть историческим, к лету 1876 года выбрал героя — Эдуарда VI Тюдора (1537–1553). Он многократно прерывал работу и вышел на финишную прямую только после окончания «Пешком по Европе». Изучил тьму исторических хроник, использовал в качестве источников Шекспира и даже ненавистного Скотта, но с фактами обошелся вольно: реальный Эдуард VI, хотя и вззошел на престол десятилетним мальчиком, особой гуманностью не отличался, да и правила за него в основном регенты. Но Твен писал не диссертацию, его занимало другое: почему бы король мог стать добрым? Наверно, потому, что изведал страдания простых людей. Как заставить его их изведать? Да очень просто...

Твен обожал мотивы двойничества, близнецовости, зеркальности, подмены; современные литературоведы, заикнувшись на психоанализе, делают вывод, что его сознание было раздвоено, о чем он и написал роман,



— но найдите хоть одного художника, который бы не был раздвоен, растроен, а то и расшестерен, а являл бы собою тупой и гладкий монолит! Для писателей, кроме завзятых реалистов, двойничество — эффективный способ решать сюжетные проблемы, вечная тема, такая же «вкусная», как ревность, зависть, измена и убийство. А поскольку «Принц» писался для детей, то уж совсем маловероятно, чтобы автором двигали мысли о раздвоении личности, скорее он хотел выразить детскую мечту: ах, побыть бы царем или президентом хоть несколько дней — чего б только я ни наделал...

Была, конечно, в романе и взрослая тема, причем та самая, какую видели литературоведы советские: «осудить монархическое устройство общества». Твен — как и, к примеру, Герберт Уэллс, — корень общественных зол видел в наследственной передаче власти: оба не дожили до времен, когда тиранами оказались отнюдь не монархи, и не имели материала для наблюдений. «Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший, он будет царствовать! Слушайте дальше и разгласите повсюду: всякий говорящий о его недуге посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу!»

Еще постоянный твеновский мотив: издевательство над «слюнявым» и «грязным» романтизмом. У многих было книжное представление о «старых добрых временах» — Твен постарался его развеять, описав царившие в те времена темноту, несправедливость и жестокость, особенно судебную, когда неимущий человек не мог себя защитить не только практически, но и теоретически. Ах, зато как красиво, как пышно жили!.. Но у Тома Кенти — англичанина, но стопроцентного янки, предприимчивого, как Том Сойер, и здравомыслящего, как Гек Финн, — пышность вызывает лишь недоумение: так янки относятся к монархизму. «Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше изумился он, узнав, что из этих денег двадцать тысяч еще не уплачено. И окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти что пуста, а его тысяча слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалованья.

Том с горячим убеждением сказал:

— Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу

позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз насупротив рыбного рынка у Билингсгейта...»

Со временем, однако, Том привыкает — как привыкнет другой янки к обычаям рыцарей Круглого стола. Но начиненный романтическими бреднями маленький король, попав в реальную жизнь, привыкнуть к ее ужасам не может. Сильнейшая сцена романа — казнь двух женщин по обвинению в колдовстве. Инквизиция была не только в Испании — другие европейские страны отличались не меньшим зверством во славу своего милосердного Бога: «Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками; сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась; она кричала, что хочет умереть вместе с матерью; и, прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее; пылающий край платья оторвали и бросили в сторону; а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук сторожей; но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым»».

Бесправные бедняки страдают, король видит их страдания и от жалости становится добрее. Но в твеновском описании этих бедняков есть и другая сторона, которую предпочитают не замечать ни наши исследователи, ни американские: «простые люди» в массе своей так же малопривлекательны, как и придворные. Омерзительный — как отец Гека Финна — отец Тома Кенти; страшные шайки нищих, всевозможный сброд, за редким исключением злой (добры только женщины); если страдания и учат милосердию, то далеко не всякого; можно родиться в трущобах и стать жестоким тираном. А вот самый любопытный персонаж — Гэмфри, «мальчик для порки»:

«— Моя спина — хлеб мой, о милостивый мой повелитель! Если она не получит ударов, я умру с голода. А если вы бросите учение, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоняйте меня!

Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал:

— Не огорчайся, милый! Я закреплю твою должность за тобой и за всеми твоими потомками.

Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул:

— Встань, Гэмфри Марло! Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты, и твои потомки будут великими пажами для порки при всех принцах английской державы. <...>

— Спасибо, благородный повелитель! — воскликнул Гэмфри в порыве горячей признательности. — Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты. Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марло, будут счастливы». Может не стать королей, не быть даже тиранов — но холопы существуют всегда...

Орион Клеменс бросил птицеферму, пытался открыть юридическую практику, работал страховым агентом, занимался журналистикой — все неудачно; брат выплачивал ему ежемесячно 500 долларов в форме займов и отчитывал как мальчишку. Мать писала Сэму: «Мое единственное горе — что два моих сына относятся друг к другу не как братья», продолжала просить помочь Ориону. 26 февраля 1880 года Сэмюэл сообщил старшему брату, что у него есть два литературных проекта, до которых не доходят руки, и предложил за них взяться: один — «Автобиография труса», другой — «Исповедь неудачника». «Мой план был прост — взять достоверные факты моей жизни и рассказать их просто, без всяких украшений и изменений, с той только разницей, что каждый мой мужественный поступок (если я их когда-нибудь совершал) я превратил бы в трусливый, а каждый свой успех — в неудачу. <...> Есть еще один замысел, намного сильнее, но это очень сложно, подозреваю, тут надо быть гением: рассказать историю жалкого труса, который не сознает, что он трус, историю неудачника, который остается в блаженном неведении того, что он неудачник, и не подозревает, что читатель считает его неудачником. <...> Главная прелесть мемуаров Казановы заключается в полной откровенности, с какою он смакует каждую подробность, рассказывает о себе самые грязные, гнусные и постыдные вещи, считая, что они вызовут восхищение и одобрение читателей. То же должен проделать и твой трус.

Твой трус должен быть, не сознавая этого, самым подлым и гнусным образчиком человеческой породы, но он должен иногда вставлять несколько слов, осуждающих безнравственность или безбожие, чтобы читатель рассердился».

Задумка блистательная — примером ее частичной реализации может служить манновская «Исповедь авантюриста Феликса Круля», — но для Ориона она была чересчур сложна. Сэмюэл понял это, лишь взявшись за собственную биографию: «Я вспомнил полторы, если не две тысячи случаев из своей жизни, которых стыжусь, и ни один из них пока не согласился быть перенесенным на бумагу». Но поначалу казалось, что дело пойдет. Орион ответил, что начнет «Автобиографию труса» «в течение часа», а к концу недели вышлет первые главы.

Всю весну он слал их еженедельно — Сэмюэл взмолился делать это пореже, но, кажется, был доволен результатом. 6 мая: «Дорогой братишка, это образцовая автобиография. Продолжай развивать характер так же постепенно, незаметно и как бы бессознательно. Читатель, возможно, до сих пор не понимает, пишет ли это такой простак, каким кажется. Так и держи его. Если в конце читатель скажет: «Этот малый — болван, но я так и не понял, сознает ли он это» — твоя работа будет триумфом». Давал брату профессиональные советы: «Остерегайся правки. Я видел места в последнем фрагменте, где правка нанесла огромный ущерб. Только не ищи их, а то опять начнешь переделывать и будет еще хуже. Опасно редактировать книгу, когда она идет полным ходом. Многие из нас таким образом портили свои книги. Имей в виду: если вспомнил что-либо, чему надлежало быть в предыдущей главе, не возвращайся к ней, а вписывай туда, где ты сейчас находишься. Непоследовательность — не помеха».

Первую часть рукописи Твен 9 июня предложил для публикации Хоуэлсу. Тот отвечал: «Душа автора слишком обнажена: это шокирует. Я не могу рисковать репутацией «Атлантик», и если Вы захотите опубликовать это где-либо еще, надеюсь, Ваша любовь к голой правде не помешает Вам уничтожить слишком интимные страницы. Не позволяйте никому даже взглянуть на страницы о вскрытии...» (имеется в виду вскрытие Джона Маршалла Клеменса). Твен, как обычно, Хоуэлса послушался, но у него не хватило духу сказать о неудаче брату. Орион продолжал писать «Автобиографию» до 18 января 1882 года, отдал брату — тому пришлось ответить, что книгу не издадут. 15 февраля 1883 года Орион попросил вернуть рукопись, чтобы уничтожить ее, но Сэмюэл не вернул: то ли боялся, что брат ее опубликует, то ли не терял надежды издать ее самому или как-то использовать. Куда же делась эта книга? Исследователи ломают

голову. Известно, что она существовала до 1907 года, так как Альберт Пейн, ставший биографом Твена в 1906 году, на нее ссылался и частично использовал в ранних главах собственной книги. (Орион к тому времени умер.) По словам Пейна, Твен сказал ему, что уничтожил большую часть «Автобиографии труса»; остальное потерял сам Пейн. Многие подозревали, что Пейн солгал: он, подобно Хоуэлсу, не желал публикации «слишком интимных страниц»; в 1937 году Бернард Де Вото, ставший хранителем твеновского архива после Пейна, пытался найти рукопись, но не сумел; в 1952-м Диксон Вектер, новый хранитель, разыскал и опубликовал небольшие фрагменты, но они были те самые, на которые уже ссылался Пейн, и не содержали ничего особенного.

В октябре 1881 года Сэмюэл объявил Ориону, что займы больше давать не будет, взамен основал фонд в 20 тысяч долларов, на доход от которого станет жить старший брат. Выходило около 80 долларов в месяц — прожить можно, хотя, наверное, Твен мог бы и побольше расщедриться. Но он, возможно, не забыл, как брат «обирал» его в юности; учтем также, что ферму Орион «профукал», займы не возвращал, ничего не зарабатывал и прямо отказывался продать теннессиjsкие земли.

Кроме написания своей книги и редактирования Орионовой, Твен занимался бизнесом. В феврале 1880 года он начал инвестиции в изобретение, которое запатентовал Дэн Слоут, — «каолатайпирование», процесс для печати иллюстраций. Раньше их делали путем ручной гравировки — вырезали или вытравили на металлической доске рисунок, способ трудоемкий. Слоут заменил гравировку отливкой: рисунок делается по глине, в углубления заливается жидкий металл, получается рельефное изображение. Твен полагал, что этот способ — если в качестве металла взять медь — можно использовать также для печати книжных обложек, обоев, набивных тканей и т. д. Путь был тупиковый, ибо уже начал применяться дешевый метод фотогравирования (доска покрывалась светочувствительным желатином, на нее фотографировалось изображение, подвергалось действию света, и на изолированный слой наносилась литографская краска), но тогда казался перспективным. Слоут выпустил тысячу акций «Каолатайп Энгрейвинг компани», Твен купил 800 за 20 тысяч долларов и был назначен президентом фирмы. Приглашал Элишу Блисса, тот отказался, тогда взяли третьим компаньоном металлурга Чарлза Шнайдера, который должен был проводить опыты с медью, но оказался жуликом: каждый раз, когда нужно было демонстрировать результаты, ему мешали пожар или потоп. Но энтузиазма Твен не терял и продолжал

вкладывать в проект по три-четыре тысячи ежемесячно.

Времени у него хватало на все, вел светскую жизнь, дом был полон гостей, своих и иностранцев, приезжавших посмотреть на знаменитость: как правило, ожидали увидеть грубого ковбоя и бывали приятно удивлены. Генри Драммонд, британский ученый, евангелист: «Он забавнее, чем все его книги, и, к моему удивлению, очень респектабельный человек, эстет...» С июля по октябрь — Эльмира, Твен заканчивал «Принца и нищего», отвлекаясь на «Гекльберри Финна» и рассказы для «Атлантик»: «Эдвард Миллс и Джордж Бентон» («Edward Mills and George Benton») — вариация на тему «хороших и плохих мальчиков», «Мак-Вильямс и молния» («Mrs McWilliams and the Lightning») — продолжение шуточной семейной саги.

26 июля родилась третья и последняя дочь, Джин, «самый толстый и здоровый из наших младенцев». Туичеллу, 29 августа: «Любопытно, как изменился список привязанностей наших детей с появлением нового существа. 4 недели назад на первом месте была Мама. Теперь: Джин — Мама — Мотли (кошка) — Фройляйн (другая кошка) — Папа... Когда-то я у них котировался наравне с кошками, но, когда они повзрослели, я больше не выдерживаю конкуренции».

Еще до рождения ребенка Оливия наняла новую служанку, 24-летнюю ирландку Кэти Лири, которая почти всех Клеменсов переживет и в 1925 году расскажет о них в мемуарах. Кэти брали как горничную для хозяйки, но она стала обслуживать всех — шила, вязала, смотрела за детьми, делала массаж. Относились к ней как к члену семьи (свою семью она так и не заведет), лечение она получала такое же, как Клеменсы, Оливия давала ей книги и заставляла обсуждать прочитанное, с Твеном препирались из-за религии (Кэти: «Нет, вы не можете быть атеистом. Вы верите в Бога, что бы там ни говорили»), она самовольно наводила порядок в его кабинете, он злился, фыркал, топал ногами, они ругались и мирились каждый день.

Кэти описала быт в Эльмире: в 10 утра Твен завтракал очень плотно (4–5 котлет), шел в студию и работал до 5 часов, пропуская ланч, перед обедом гулял, в 6 обедали, потом он читал вслух домочадцам (в том числе ей) написанное за день, перед сном играл в шахматы или карты с Теодором Крейном. В Хартфорде гуляли до завтрака, завтракали в 11, и Твен уходил в бильярдную работать, за ланчем сам не ел, но за стол садился и смешил детей, к обеду Оливия выходила в вечернем туалете независимо от того, были ли гости, играл граммофон, зажигали свечи; потом переходили в библиотеку, дети ложились в 9, родители вдвоем пили чай или пунш, в 10 уходили в спальню. «Мистер Клеменс был очень нежным отцом. Он редко уезжал из дома вечерами, чаще читал детям вслух до сна, потом читал

миссис Клеменс — чаще всего стихи Браунинга. Все любили шарады и театральные представления. По субботам в классной комнате устраивали сцену, мы все помогали. Играли сцены из «Ромео и Джульетты» или пьесы, которые сами писали. Часто ставили «Принца и нищего», для этого оборудовали из гостиной и библиотеки зал на 84 места, приглашали соседей. Дети сходили с ума, а мистер Клеменс был счастливее всех и играл лучше всех. Нам с Джорджем тоже давали роли. Счастливее тех лет у нас не было...» «Мистер Клеменс большую часть времени проводил в бильярдной, писал или играл в бильярд. Однажды я вошла и увидела дым. Я позвала Патрика (слугу) и Джона О'Нила (садовника), и мы начали разбирать камин. Мистер Клеменс продолжал играть сам с собой в бильярд и не обращал на все происходящее никакого внимания. Наконец мы разобрали камин, появилось много огня и дыма. Тогда мистер Клеменс наконец заметил, что что-то случилось, побежал в угол, где хранились огнетушительные шашки, взял одну и бросил в огонь, потом вернулся к столу и продолжал играть. Вбежала миссис Клеменс и сказала: «Дом горит!» — «Знаю», — сказал он, не прерывая игры».

Дети росли, Сюзи к восьми годам стала мечтательной, утонченной, шестилетняя Клара — практичной, самостоятельной, «сорванцом» — лазала, расшибала голову. Сюзи писала, рисовала, философствовала. Гувернантка, мисс Фут, рассказала ей о верованиях индейцев, которые имели много богов, после чего Сюзи перестала молиться и, когда мать спросила почему, ответила: «Если мы знаем, что индейцы верили неправильно, то, может, и мы тоже. Поэтому теперь я молюсь только об одном — чтобы там были Бог и рай — или что-нибудь получше». Была при этом страстной, вспыльчивой и колотила Клару так, что на той живого места не было. Она рассказала, как наказывали детей: воспитание без битья считалось невыносимым, мать шлепала девочек, но без раздражения, и Сюзи искренне раскаивалась; на Клару не действовали ни шлепки, ни попытка запереть ее в уборной. Был у Оливии оригинальный метод: если ребенка побили за то, что он не убрал игрушки, то убирать их уже не было нужно, так как в противном случае получилось бы двойное наказание. В 1886 году Твен поведал об этом методе в журнале «Христианский союз», превознося мудрость жены, — та пришла в ярость и долго с ним не разговаривала.

Однажды умер котенок: Сюзи заботило, попадет ли он в рай, а Клару — приличные ли будут похороны. Коты окружали детей с рождения. Сюзи: «Мама любит мораль, а папа любит кошек». «У нас один раз был серый котенок, которого он назвал «Лентяй» (папа всегда ходит в сером, чтобы

шло к его волосам и глазам), и он таскал его на плече, это было очень, очень красиво, когда серая кошечка крепко спала, уткнувшись в серый папин пиджак и волосы. Он давал нашим разным кошкам ужасно смешные имена, например: Бродяга, Абнер, Пятнашка, Фройляйн, Лентяй, Буффало Билл...» (Были также кошки Сатана, Грех и т. п.) Отец рассказывал детям истории, одну из которых, «Кошачья сказка» («A Cat Tale»; при жизни не публиковалась), записал: там была кошачья республика и коты разговаривали на особом языке: «котологизмы» (неологизмы), «котохизис» (катехизис) и т. д. Жили на ферме и другие животные: куры, ослики, собаки; последних Твен не любил за лай и не уважал за подобиюстрастие: «По какому праву собаку называют «благородным» животным? Чем более вы к ней жестоки и несправедливы, тем сильнее она будет подлизываться и рабски обожать вас; но стоит вам один раз несправедливо обидеть кошку, она никогда не простит вам этого».

Оливия с Джин остались в «Каменоломне» до зимы, Твен со старшими дочерьми в октябре вернулся в Хартфорд, чтобы выступить на митингах (год выборов): сам Грант приехал, чтобы поддержать кандидата от республиканцев Джеймса Гарфилда, который Твену очень нравился. Завязавшиеся отношения с Грантом будут очень полезны. Но тогда же Твен повстречал другого человека, который его почти погубит...

Джеймс Уильям Пейдж родился в 1842 году, был инженером, получил патент на типографский станок. Типографская технология со времен Гутенберга мало изменилась — набирали вручную, в час выходило не более тысячи букв. Литейные и наборные машины развивались независимо друг от друга: типографская революция была возможна лишь при условии их соединения в одном агрегате. Пейдж такой агрегат запатентовал в 1872 году, а в 1875-м переехал в Хартфорд, объединился с фирмой «Фарнхем Тайпсеттинг компани» и арендовал цех на оружейном заводе Кольта, чтобы работать над изобретением. Твен услышал о Пейдже в конце 1880 года от Дуайта Бьюэла, директора «Фарнхем Тайпсеттинг», посетил цех; машина обещала невероятное богатство, тотчас были инвестированы 5 тысяч долларов.

1881 год начался со скарлатины у детей, было много волнений, однако Твен нашел время обеспокоиться судьбой аболициониста Фредерика Дугласа, лишившегося государственной должности; он написал избранному президентом Гарфилду, тот предоставил Дугласу другой пост. В феврале был окончен «Принц и нищий». Где издавать? Блисс-старший недавно умер, младший был недостаточно солиден. Посыпались предложения, Твен выбрал издательство «Джеймс Осгуд и К<sup>о</sup>», с



владельцем которого был шапочно знаком, и издал у него в 1877 году сборник рассказов. Осгуд печатал самых лучших писателей и всех друзей Твена; последнего, однако, мог бы насторожить тот факт, что издатель, когда-то владевший «Атлантик мансли» и другими журналами, неоднократно разорялся. Но Сэмюэл Клеменс, считавший себя бизнесменом, на такие вещи не обращал внимания и кроме публикации романа затеял с Осгудом совместный проект: издание «Библиотеки американского юмора», которую должен был редактировать Хоуэлс.

Весной Твен начал писать роман «Гамлет» («Burlesque Hamlet») — о книготорговце, который волшебным образом попал в замок Эльсинор, но затею бросил: не до писулек, есть дела посерьезнее, вот-вот деньги посыплются мешками, вагонами. Пока что, правда, деньги только исчезали, одна «Каолатайп компани» съедала по три тысячи ежемесячно. Бизнес-проектов накопилось столько, что нужен был управляющий. С родственниками в таких делах лучше не связываться — но Твен совершал все возможные ошибки. В апреле у него гостил Чарлз Уэбстер, 29-летний муж племянницы Энни, инженер; предложил сделать инвестиции в фирму «Фредония индипендент уотч компани», торговавшую часами вразнос, Твен согласился, в свою очередь показал Уэбстеру свой бизнес и 29 апреля назначил его бизнес-управляющим.

Уэбстер стал вице-президентом «Каолатайп компани» и в первую же неделю объявил, что Слоут и Шнайдер обманывают компаньона и живут за его счет. Бешенство Твена не поддавалось описанию. Он сообщал Уэбстеру, что мечтает увидеть Шнайдера в тюрьме и немедленно начнет судебный процесс, «а потом займемся Дэном». Так и не выяснено, воровал ли Слоут, но Шнайдер 18 мая свою вину признал; Уэбстер писал дяде, что тот раскаивается и хочет покончить с собой. Твен обрушился на Слоута, грозил судом, требовал вернуть деньги, в том числе те, которые, по его мнению, Слоут ему недоплатил за альбом для вырезок. Тут Слоут взял да и умер, но Твен не успокоился и, точь-в-точь как говорил Хоуэлс, продолжал поносить врага и в могиле. Но в каолатайпирование он верил, стал искать новых партнеров, Уэбстеру поручил оценку активов, внес дополнительно 10 тысяч долларов — всего он уже инвестировал в этот проект около 30 тысяч. Добавил еще пять тысяч в часовую компанию (там пообещали выпустить марку часов «Марк Твен»). Уэбстера называл ангелом-хранителем, превозносил его деловые качества, платил громадный оклад, а 18 июля свалил на него и издательские дела; племянник был зачислен в фирму Осгуда, где возглавил отдел подписки.

Пейдж в апреле сказал, что закончил машину, но тотчас заявил, что ее

надо еще немножко усовершенствовать. Станок и так уже состоял из 18 тысяч деталей и был очень сложен в обслуживании, но Пейдж был перфекционистом. Уэбстер предупредил об опасности, Твен не внял. Уэбстер предупреждал и о другом: над аналогичными станками работают многие, как бы не опоздать. Твен не слушал ничего. Сорил деньгами: в марте за 12 тысяч купил земельный участок, чтобы расширить свой сад. В том же месяце отправил за свой счет учиться в Европу молодого скульптора Карла Герхардта — то была одна из наиболее удачных инвестиций: Герхардт преуспел и, вернувшись на родину в 1884 году, лепил бюст Твена.

4 июня Клеменсы поехали отдохнуть в Брэнфорд, штат Коннектикут, пробыли там два месяца, Твен познакомился с писателем Джорджем Кейблом (за это время был ранен выстрелом президент Гарфилд), август — сентябрь провели в Эльмире (Гарфилд 19 сентября умер, и президентом стал Честер Артур). Работалось плохо, истории начинались и бросались, как, например, «Второе пришествие» («The Second Advent», фрагмент опубликован в 1972 году): Спаситель, рожденный на сей раз крестьянкой Нэнси Хопкинс из местечка Блэк Джек в Арканзасе, расхаживает в джинсах и ковбойских сапогах, творит чудеса, собирает апостолов, но все они погибают, затравленные толпой, недовольной их экспериментами с климатом. Предположительно к этому периоду относится набросок «Библейские цитаты» («Bible citations in proof of real Devil»): комментируя строки из Матфея о попытке Сатаны искушать Христа, предлагая ему «все царства мира», Твен замечает, что в таком случае Америку открыл именно Сатана и что с его стороны было «и непорядочно и глупо» предлагать собственность, которая ему не принадлежала.

Хоуэлс ушел из «Атлантик», и Твен больше там не печатался: отрывок из «Принца и нищего» опубликовал в хартфордском журнале «Базар бюджет», «Занимательное приключение» («A Curious Experience»), рассказ о приключениях мальчика на Гражданской — в «Сенчюри». В октябре навестил мать и Памелу — жену с собой не взял. Был издерган — хартфордский дом ремонтировался, все раздражало, на декабрь назначен выход «Принца», проклятые канадцы опять ограбят, издатели и пальцем не шевельнут, чтобы защитить автора (претензии были абсолютно справедливы — теперь в каждом издательстве есть отдел авторских прав, а тогда это никому и в голову не приходило). Он изобретал схемы защиты, ездил в Вашингтон, пытаясь через знакомых лоббистов протолкнуть законопроекты в конгресс, — все без толку, коллеги-белоручки его не поддерживали. Единственный способ обмануть канадцев — приехать в их

страну, там пожить столько, чтобы считаться резидентом, и зарегистрировать авторское право. 26 ноября Твен поехал в Канаду с Осгудом, провел там несколько недель, был обласкан, подружился с поэтом Луи Фрешеттом, но вернулся такой же взвинченный и злой, и не зря: канадцы выпустили два пиратских издания «Принца» одновременно с легальными изданиями Осгуда в США и «Чатто и Уиндус» в Англии в декабре 1881 года. Утешало лишь то, что роман получил великолепную прессу и переиздавался каждый год: это одна из самых издаваемых книг Твена. Автор хотел делать инсценировку, но не собрался (пьесу для домашнего театра написала Оливия, Твен играл Гендона, девочки — Тома и принца) — бизнес отвлекал.

Дела обстояли так: с «Каолатайп компани» Твен уже терял терпение и был недоволен Уэбстером, с часовой компанией начал что-то подозревать, в Пейджа верил безоговорочно; и все платил, платил и платил. Кроме основных проектов были и другие: никогда еще он не выбрасывал на ветер столько денег, сколько в 1881–1882 годах. В Хартфорде знакомый, Фрэнк Фуллер, основал отделение фирмы «НьюЙорк Вейпорайзер компани» по производству паровых генераторов, Твен попросил инженера Ричардса с кольцовского завода осмотреть изобретение, тот сказал, что это не изобретение, а туфта, после чего Твен отдал Фуллеру пять тысяч долларов: он верил только тем, кто обещал миллионы. 32 тысячи он потерял на акциях «Хартфорд инжиниринг компани», которая производила паровые шкивы, 25 тысяч безвозвратно ушли на новую модель телеграфа, 20 тысяч были вложены на убыточные железнодорожные акции, по пять тысяч — в нью-йоркские часовые и страховые фирмы; единственное предложение, которое реально могло его озолотить — телефоны Белла, — он в свое время счел чепухой... Жена его энтузиазма не разделяла, за единственным исключением: увы, она верила в Пейджа.

Он решил, что делу Пейджа не хватает размаха: нужно привлечь инвесторов и клиентов. С Уильямом Хэмерсли, президентом «Фарнхем Тайпсеттинг», решили создать новую фирму с капиталом в 300–500 тысяч, прибылей ожидали до двух миллионов в год. Поиск инвесторов Твен поручил Уэбстеру, тот сказал, что привлечь их можно только после того, как машина будет испытана независимыми экспертами. 2 декабря 1881 года прибыли эксперты, среди которых представители «НьюЙорк таймс», «Харперс» и других видных изданий. По воспоминаниям Уэбстера, они были очарованы, сказали, что машина «такая умная, что вот-вот заговорит», но требовали дополнительных испытаний — надежна ли она. Твен, к тому времени начавший подозревать, что Уэбстер и Пейдж — как и

все кругом — его обманывают, нанял для проверки юридическую фирму «Александр энд Грин», получил ответ: компаньон и управляющий честны, а вот машина не готова к рыночному использованию. Твен проигнорировал второй вывод, восприняв лишь первый, и инвестиции пошли уже на десятки тысяч. Сохранился его бизнес-портфель за май 1882 года: акции и доли в 23 предприятиях на общую сумму 100 тысяч долларов (более двух миллионов по-нынешнему), в среднем по пять тысяч ежемесячно; самые крупные взносы — в «Каолатайп компани», «Хартфорд инжиниринг компани» и «Фарнхем Тайпсеттинг», были и крошечные, как 25-долларовый взнос в швейный кооператив. Летом 1882 года он, слава богу, развязался с одним из предприятий: учредители часовой фирмы из Фредонии, хоть и выпустили часы «Марк Твен», оказались жуликами, был судебный процесс, и деньги Клеменсам после долгих дрызг вернули.

Изредка он в те месяцы умудрялся работать. В рождественском номере «Харперс мэгэзин» за 1881 год — «Мак-Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров» («The McWilliamses and the Burglar Alarm»), последний рассказ серии, в котором автор смеялся не над женой, а над собой: изобретения приносят только проблемы. В начале 1882-го собирался делать книгу о злодеяниях знакомого журналиста Уитлоу Рида, который, как ему кто-то сказал, написал о нем гадости; жена уговорила сперва проверить, много ли гадостей написано, оказалось, что нисколько, затея была оставлена, и с Ридом помирились. Но что-то писать нужно, ведь пока литература — единственный источник Баксов; Осгуд в июне издаст сборник «Похищение белого слона и другие рассказы», но этого мало. Посоветовавшись с Осгудом и Хоуэлсом, Твен решил, что можно расширить «Старые времена на Миссисипи», и 10 апреля подписал контракт на новую книгу — «Жизнь на Миссисипи» («Life on the Mississippi»).

За материалом отправился 18 апреля — с Осгудом и журналистом Розуэллом Фелпсом. 28-го были в Новом Орлеане, где Твен познакомился с человеком, которого считал лучшим детским писателем, — Джоэлом Чандлером Харрисом, автором «Сказок дядюшки Римуса», которые тот начал публиковать в 1879 году. Как и Твен, Харрис подростком работал в типографии, не получил образования; был знатоком негритянских диалектов — Твен у него учился. Хотели вместе отправиться в лекционный тур, но обнаружилось, что Харрис не годится — слишком застенчив (впоследствии переписывались, видались, но друзьями не стали). В мае Твен, Осгуд и Фелпс пошли по реке в Миннесоту. «Романтика речного судоходства умерла. Лоцман уже не бог Ганнибала. Молодежь больше не щеголяет речным жаргоном. Они мечтают теперь о железных дорогах...»

На день заехал к Ориону в Кеокук, с 14 по 17 мая был в Ганнибале. Писал жене: «Целый день бездельничал, бродил по старым местам и разговаривал с седыми стариками, которые были мальчиками и девочками 30 или 40 лет назад. <...> Этот мир, который я видел цветущим и юным, теперь печален и стар; его нежные щеки покрылись морщинами, глаза потухли и походка уже не бодра. Когда я приеду в следующий раз, все обратится в пепел и пыль...» Из друзей детства кто умер, кто развелся, кто пил — почти у каждого что-нибудь было не в порядке. Лучше б не приезжал... Обрато до Миннесоты, оттуда поездом в НьюЙорк, в конце мая были дома. Твен засел за книгу — так и прошло лето; Джин болела, поэтому в «Каменоломню» выехали только в августе, а к октябрю уже вернулись в Хартфорд.

Хоуэлс опубликовал в сентябрьском номере «Сенчюри» статью о Твене — его мучило, что друга так и не признали серьезным писателем; на обедах в «Атлантик» Твен сидел не во главе стола, с мэтрами, как Эмерсон, Лонгфелло, Холмс, Олдрич, сам Хоуэлс, а среди «прочих». «Юмор Марка Твена так же прост по форме и прям по направлению, как государственная деятельность Линкольна или военная — Гранта. <...> Я считаю, что Марк Твен превосходит всех американских юмористов универсализмом. Он редко прибегает к патетике, но прекрасно ею владеет, как можно видеть по рассказу о старой рабыне; поэтических высот он достигает даже тогда, когда кажется, что он просто смешит. <...> Считать его сатириком — значит смотреть на вещи поверхностно; но ему вряд ли удастся утвердиться в умах людей как моралисту: он слишком долго их смешил, они не верят, что он говорит серьезно, и ждут шуточек. <...> Рассказ «Кое-какие факты, проливающие свет на разгул преступности в штате Коннектикут», конечно, юмористический; но в основе этого юмора лежит глубокое познание человеческой природы. Готорн и Беньян гордились бы такими мощными аллегориями, такой силой гротеска... Рассказ не нашел отклика, на который я надеялся, и я не настаиваю, чтобы читатели считали Твена моралистом, но предупреждаю, что если они не заметят его страстной правдивости, его отвращения к злу, притворству и фальши, горячей ненависти к подлости и несправедливости, — они окажутся очень далеки от истинного понимания Марка Твена».

Не получила настоящего признания на родине и «Жизнь на Миссисипи». Немецкий критик Пауль Линдо писал, что она великолепна и все ею восхищаются, британец Томас Харди говорил Хоуэлсу, что не может понять, как американцы не видят, что Твен не просто юморист, а большой писатель. Теперь «Жизнь на Миссисипи» в Америке признана классикой, многие американцы считают ее лучшей работой Твена, Томас Вулф назвал

ее вершиной национальной литературы: в его романе «Домой возврата нет» на вопрос, кто из писателей мира достиг совершенства, герой отвечает: «Толстой в «Войне и мире», Шекспир в «Короле Лире», Марк Твен в первой части «Жизни на Миссисипи»».

Автору книга далась тяжело. Хоуэлсу (в конце октября): «За сегодня сделал 9000 слов, все украдены из других книг... Больше красть нечего, придется писать...» Хоуэлс был тогда в Европе, звал все бросить и приехать на отдых, Осгуд предлагал возобновить выступления — Твен от всего отказался. С ужасным скрипом он окончил книгу в январе 1883 года, напихав в нее чего ни попадя: пересказ «Старых времен», детские воспоминания, записанные годами ранее, фрагменты, выброшенные из других книг и здесь так же мало уместные, хотя и блестящие, как, например, переработанная история о богомольных гробовщиках, радующихся смертям; глава из недописанного «Гекльберри Финна» (кто хочет видеть, как Твен редактировал свои работы, сравните этот вариант с тем, что в романе); бесконечные поношения в адрес Вальтера Скотта.

И все же книга, к которой не лежала душа, получилась очень мощной. Подобно толстовскому дубу, твеновская река — живое существо. Она — позвоночник и душа нации; ее (нации и реки) главные черты — любовь к свободе и беспощадно ясный взгляд: «Военные инженеры правительственной комиссии взвалили на свои плечи труд переделки Миссисипи — труд, который по размерам уступает только труду создания этой реки. Они строят повсюду прибрежные дамбы, чтобы отклонять течение, дамбы, чтобы его сузить, и другие дамбы, чтобы его удерживать; и на много миль вдоль Миссисипи они вырубают лес на пятьдесят ярдов в глубину, чтобы срезать берег до уровня низкой воды, спустив его в виде ската, как крышу дома, и укрепить камнем; и во многих местах они подперли разрушающийся берег рядами свай. Но тот, кто знает Миссисипи, тотчас же определит — не вслух, а про себя, — что десять тысяч Речных комиссий со всеми золотыми россыпями мира в качестве подспорья не смогут обуздать эту незаконную реку, не покорят ее, не ограничат, не скажут: «Ступай туда» или: «Ступай сюда», не заставят ее слушаться; они не спасут берег, который она обрекла на гибель; они не запрут ей путь такой преградой, которой бы она не сорвала, не растоптала, не высмеяла».

Книга состоит из трех частей: сперва рассказывается история становления Америки (вокруг реки) до появления автора на свет («Со времени обследования реки Ла Салем до того времени, когда стало возможным назвать ее проводником чего-то вроде регулярной и оживленной торговли, семь королей сменились на троне Англии, Америка

стала независимой страной, Людовик XIV и Людовик XV успели сгнить и умереть, французская монархия была сметена алой бурей революции, и уже заговорили о Наполеоне»), потом — «романтический» период в жизни реки, когда в гармонии с нею жили свободолюбивые лоцманы, и нынешний, «промышленный» период: стал взрослым и потерял романтический взгляд автор, также повзрослели и сделались прозаичнее река и Америка. Советские критики, естественно, писали, что Твен разочарован обуржуазившейся рекой, но это не совсем верно: да, ему жаль беззаботной юности, но и взросление имеет преимущества, жизнь в целом стала намного лучше. Грустно, что из-за железных дорог умирает паромство, что Миссисипи обезлюдела — но взамен на Юг пришли чистота улиц, развитая промышленность и культура, которой не было в «старые добрые времена». Любой процесс имеет обратную сторону: даже такое прогрессивное явление, как отмена рабства, на практике приводит к тому, что бывшим рабам негде работать и не на что жить. Плохого много — нет единого управления рекой (Твен в приложении изложил концепцию контроля за берегами и дамбами), не создана система защиты населения от наводнений, и все же единственно возможный путь — вперед, а не назад, и это хорошо.

Кое-что, правда, не меняется, пороки старой Америки сохранились в новой (а может, не только в ней?): «Если верить словам этих наших горластых предков, наша страна была единственной свободной страной из всех стран, над которыми когда-либо восходило солнце, наша цивилизация — самой высокой из всех цивилизаций; у нас были самые большие просторы, самые большие реки, самое большое всё на свете, мы были самым знаменитым народом под луной, глаза всего человечества и всего ангельского сонма были устремлены на нас, наше настоящее было самым блистательным, будущее — самым огромным...» «Каждый, кто хотел быть на хорошем счету у своих сограждан, выставлял напоказ свою религиозность и всегда имел наготове набор елейных фраз». «Среди членов конгресса можно было найти несколько светлых умов — талантливых государственных деятелей, людей высоких устремлений и безупречной репутации; было там двадцать-тридцать человек независимых и мужественных, множество негодяев, а среди остальных ничем не приметных людей — несколько честных малых. Но в общем это учреждение было притоном для воров и чем-то вроде приюта для умственно отсталых». «В те незапамятные дни мы считались народом, состоящим из долготерпеливых, угнетенных, обиженных, глотающих любое оскорбление, добродушных, всё терпящих моральных трусов,

которые готовы были выносить что угодно». «Редко случалось, что человек боролся со злом в одиночку. Реформаторы и бунтари либо выступали целой толпой, либо сидели дома. Одиноким защитникам правды вызвали мало сочувствия и много насмешек». «Мы во всем виним угнетателей, однако виноват главным образом не угнетатель, а угнетенный гражданин: в республике нет места угнетателям, если граждане выполняют свой гражданский долг и каждый в отдельности восстает, обличая всякую попытку ограничить его права».

Твен боялся недобрать объем, в результате перебрал и с обычным равнодушием предложил издателю выбросить из книги все что захочется. Осгуд убрал несколько фрагментов, в том числе главу, которая, по его мнению, могла оскорбить южан (белых); она восстановлена при публикации в 1944 году. «Юг свободен — половина Юга. Белая половина по-прежнему далека от освобождения». Южане все как один голосуют за демократов — но не может быть так, чтобы все думали одинаково; на Юге политические убийства «несогласных» — обычное дело, и суды оправдывают убийц — почему? Южанин, взятый в отдельности, не хуже северянина, преступников полно там и там, но почему-то на Севере они не могут терроризировать целый город, а на Юге несколько головорезов держат в страхе целые штаты. Что же не так с нами (американскими южанами XIX века, разумеется)? «Просто пассивны? Равнодушны? Лишены общественного самосознания?» И на Севере и на Юге человек труслив и слаб; он боится раскрыть рот, когда пьяный грубиян в трамвае оскорбляет женщину. Но люди Севера «научились объединяться для поддержки закона и для охраны граждан от террора и остракизма по политическим мотивам» — на Юге они на это не способны; и покуда они не научатся объединяться, так и будут по кухням поругивать власть и голосовать за одну и ту же партию.

Осгуд планировал издать «Жизнь на Миссисипи» в мае 1883 года, но были задержки из-за иллюстраций: сначала Твен предложил печатать их методом каолатайпирования, но отказались художники, потом Оливия обнаружила, что на нескольких рисунках ее муж по собственному желанию изображен мертвым (его обычный юмор), и потребовала их убрать. Марк Твен приехал в Канаду ради регистрации авторского права: его принимал генерал-губернатор, канадцы носили его на руках и падали ниц, но книгу все равно выпустили пиратским образом. В июле она вышла и на родине.

23 мая на заседании Королевского литературного и научного общества в Оттаве он произнес речь об Адаме, прародителе человечества,



заслуживающем памятника, впервые публично высказав мысль, которая уже никогда его не оставит: благо для человека — не жизнь, а смерть, «убежище, утешение, лучший и самый доброжелательный и дорогой друг, благодетель грешных, покинутых, старых, утомленных и разбитых сердец». Слушатели были удивлены. Откуда такая грусть? Приступы меланхолии и отчаяния для Твена были характерны с детства, горя и смертей он уже перенес немало. Но вообще-то сатирики (лучшие из них) почти всегда печальны и смеются по Гоголю — «сквозь слезы», глаз у них уж очень острый, на мир они глядят без розовых очков и в отличие от нас, толстокожих, затыкающих уши, чтобы не слышать чужого плача, так глубоко ощущают боль, что вынуждены усмехаться, дабы не зарыдать. «Сокровенный источник юмора — не радость, а горе», — напишет Твен в 1896 году в книге «По экватору»; в 1905 году в интервью «НьюЙорк санди уорлд» он скажет: «Что высекает искры юмора? Попытка сопротивляться печали, бремя которой мы все несем. Юмор? Это тяга к гармонии. Маятник качнулся в сторону горя — и должен вернуться к радости».

Летом он попытался отключиться от деловых забот, взвалив их на Уэбстера, писал ему: «Я не желаю говорить о бизнесе, это меня убивает. Ненавижу бизнес». Завершил «Гекльберри Финна», фонтанировал идеями. Написал фантасмагорию «Тысяча вторая ночь» («1002nd Arabian Night»): мальчика воспитывали девочкой, а девочку мальчиком, они выросли и полюбили друг друга. Хоуэлс сказал, что это непристойно, а слово Хоуэлса — закон: безобиднейший рассказ при жизни не публиковался. Пробовал вернуться ко «Второму пришествию»: «Люди не верят, что звезда двигалась, говорят, что волхвы были под мухой», к капитану Стормфилду, которому «рассказывают о человеке, который всю жизнь стремился к райскому блаженству. Когда же наконец попал в рай, встретил там своего соседа, которого, по его убеждению, следовало отправить прямехонько в ад. Был настолько этим рассержен, что спросил, как пройти в ад, забрал саквояж и ушел». «В настоящее время райские чертоги отапливаются радиаторами, соединенными с адом. Эта идея нашла полное одобрение у Джонатана Эдвардса, Кальвина, Бэкстера и К°, так как муки грешников усугубляются от сознания, что пожирающий их огонь обеспечивает комфорт праведникам». В июле произошло землетрясение в итальянском городке Искья, погибло полторы тысячи человек — в газетах сообщалось, что люди искали спасения в церкви и там были убиты падающими обломками; «Таймс» опубликовала высказывание одного раввина: «Бог, убивающий невинных, недостойн преклонения», Твен написал на полях газеты: «Вот единственный нормальный священник... Тот осел, что

изобрел религию, заслуживает проклятия».

Еще несколько заметок — из всех потом что-то получится. «Живут внутри айсберга. Жилище прекрасно устроено; утварь с погибшего корабля (а откуда берется тепло?). Рождаются дети. Толстый прозрачный лед в окнах. Их находят мертвыми и замерзшими через сто тридцать лет. Айсберг движется по широкому кругу, и так год за годом». (Рассказ «Поколение айсберга» («The Generation Iceberg») написан в 1884 году, опубликован в 1935-м.) «Я думаю, что все мы микроскопические трихины в крови какого-то гигантского существа и что Бог заботится о благополучии этого существа, а о нас даже не думает». («3000 лет среди микробов»; об этой книге будем говорить далее.) «Вообразил себя странствующим рыцарем средних веков. Потребности и привычки нашего времени; вытекающие отсюда неудобства. В латах нет карманов. Не могу почесаться. Насморк — не могу высморкаться, не могу достать носовой платок, не могу вытереть нос железным рукавом. Латы накаляются на солнце, пропускают сырость, когда идет дождь, в мороз превращают меня в ледышку. Когда вхожу в церковь, раздается неприятный лязг. Не могу одеться, не могу раздеться. В меня ударяет молния. Падаю и не могу сам подняться». Вряд ли надо объяснять, какая книга из этого вышла.

Осенью в Хартфорде Твен с Хоуэлсом сочинили пьесу «Полковник Селлерс — ученый», продолжение пьесы «Полковник Селлерс» 1873 года, Уэбстеру поручили договориться о постановке с актером Джоном Реймондом, но тот отказался; от предложения писать другие пьесы отказался Хоуэлс. Было суетно, одолевали письма, многие из которых содержали просьбы о вспомоществовании. «Я не сержусь, когда такие письма пишут мне негры, — они делают это по простоте души. Миссис Клеменс всегда говорит: «Считай каждого негром, пока не убедишься, что это не так»». Гости, напротив, радовали: Генри Ирвинг, Олдричи, Хоуэлсы, Кейблы; нанес визит именитый английский критик Мэтью Арнольд, который был настроен против Твена, но уехал очарованным; специально за автографом приезжал Пратап Чандер Мазумдар, прелат-индиец. С Туичеллом увлеклись — как все в 1880-х — велосипедной ездой: так родилось «Укрощение велосипеда» («Taming the Bicycle»): «Я слышал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее

объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь». Попросили написать что-нибудь о строящейся статуе Свободы — ответ опубликовала «Таймс» 4 декабря: «Что Свобода сделала для нас? Да ничего особенного. Это мы сделали все для нее, дали ей дом. <...> Лучше обратиться к Адаму. Что он сделал для нас? Все: он дал нам жизнь, смерть, небеса, ад. А что мы для него сделали? Ничего».

Сохранился (в письме Кейблу) список книг, которые Твен читал той зимой: романы Сэмюэла Ричардсона «Памела» и «Кларисса Харлоу», Сен-Симон на английском и французском, дневники Пипса, «Часы с Библией» английского священника Каннингема Гейке, поэмы Шиллера, мемуары Казановы на французском, запрещенная цензурой книга Джона Клееланда «Фанни Хилл, или Мемуары женщины для утех», роман Евгении Марлитт «Тайна старой девы», «История Тридцатилетней войны» Антонина Гиндели на немецком и ряд других. «Я не читаю, а глотаю книги», — говорил он. Делал наброски к роману о жизни человека, которого встречал на Гавайях (уже писал о нем в очерках), Уильяма Рэгсдейла: сын туземки и белого, Рэгсдейл был крещен, стал юристом, работал переводчиком, заболел проказой и добровольно удалился в лепрозорий умирать. Как писал Твен Хоуэлсу, ему хотелось «показать, что перед смертью вы вернетесь к религиозным иллюзиям ваших предков, несмотря на то, что в течение всей жизни вам внушали другую религию». Сюжет выглядел многообещающим, автор обложился материалами по истории Гавайев, но книгу так и не написал.

Он заинтересовался изобретением — шашками для тушения огня, заполнил ими весь дом, но деньги в этот бизнес вкладывать не стал. Зато сделал инвестиции, по счастливой случайности оказавшиеся удачными: по 10 тысяч в банковские бумаги «Америкэн иксченч» и «Адамс экспресс» и акции «Кроун пойнт айрон компани». Но «Каолатайп компани» и машина Пейджа поглотили эти доходы за несколько месяцев. Летом в Эльмире изобрел календарь, который не показывает дней недели и может использоваться вечно, но не запатентовал. (Сто лет спустя бесконечные календари вошли в моду.) Энни, жена Уэбстера, жаловалась, что ее ребенок падает с кровати, — Твен придумал устройство, прикрепляющее одеяло к простыням, но обнаружил, что подобное уже запатентовала фирма «Джуэл пин»; купил у нее половину акций, компания разорилась через год, виноватым оказался Уэбстер, хотя именно он предостерегал от покупки. «Чарли, не говорите мне ничего о бизнесе. Я не желаю иметь с этим ничего

общего. Я хочу, чтобы мне нужно было только ставить свою подпись, и больше ничего».

Сотрудничество с Осгудом Твена уже не устраивало, и он решил учредить собственное издательство — идея, которая многим писателям приходила в голову и у всех проваливалась. В мае 1884 года была основана фирма «Чарлз Уэбстер и К°»; планировалось собрать 40 тысяч заказов на «Гекльберри Финна» и выпустить книгу к Рождеству. Управляющий, Уэбстер, получал оклад в три тысячи и 10 процентов от прибыли. Он открыл офис на Бродвее, нанял сотрудников. Твен поначалу был активен, сам искал иллюстраторов, из-за каждой мелочи ругался с Уэбстером: «Чарли, ваш корректор идиот, и не только идиот, но и слепой; и не только слепой, но и полудохлый». Хотел, чтобы «Том» и «Гек» продавались вместе, но руководство «Америкэн паблишинг» («проклятые свиньи») отказалось. Обдумывал рекламную кампанию, потом ко всему охладел: «Чарли, я не хочу ничего знать. Трижды подумайте, прежде чем сообщать мне плохие новости». Уэбстера можно только пожалеть — ведь он по-прежнему занимался делами Пейджа (фирма уже имела 60 акционеров, предполагалось довести капитал до миллиона) и остальными проектами.

Пока готовилось издание «Гекльберри Финна», автор начал писать продолжение: «Гек Финн и Том Сойер среди индейцев» («Huck Finn and Tom Sawyer Among the Indians»). Гек, Том и Джим, убежав из дому, присоединяются к семье переселенцев, знакомятся с индейцами сиу, которых Том воображал благородными, но те перебили поселенцев, а их дочерей взяли в плен, чтобы надругаться и оскальпировать. Вещь так и не была закончена, фрагменты опубликованы в 1968 году. Видимо, Твен взялся за непосильную задачу — смешно и весело рассказать, как пытаются девушек, лишь для того, чтобы Том наконец понял, что романы Фенимора Купера его обманывали. Жених девушки (он вместе с Томом и Геком пытается освободить ее и Джима, также плененного) рассказывает об индейцах как о кровожадных животных, но замечает, что их религия куда разумнее христианской: «У них два Бога, хороший и плохой, и они никогда не беспокоятся о хорошем и не молятся ему, зато без конца льстят плохому, ведь хороший и так их любит, без всяких просьб, и делает для них все самое лучшее, тогда как плохой только и думает, как причинить им вред, и надо пытаться его задобрить». С точки зрения Твена, молиться, как христиане, доброму Богу и осыпать его лестью — все равно что вымаливать любовь у родной матери.

В октябре 1884 года Твен вступил в Общество психических исследований, занимавшееся изучением телепатии, спиритизма,

полтергейста и подобных явлений, но активным его участником не стал — некогда. Той же осенью — новые президентские выборы: кандидат от республиканской партии — Джеймс Блейн, скомпрометировавший себя темными делами и никому из республиканцев, окружавших Твена, не нравившийся; однако все они, включая моралиста Хоуэлса и священника Туичелла, намеревались за него голосовать — так партия велит. Твен отказался: «Нет такой партии, которая обладала бы привилегией диктовать мне, как я должен голосовать; если лояльность по отношению к партии — это проявление патриотизма, то, значит, я не патриот».

Он уговорил Туичелла голосовать за противника — кандидата демократов Гровера Кливленда, губернатора Нью-Йорка, ратовавшего за налоговые реформы. Пытался убедить Хоуэлса хотя бы воздержаться: «Не обязательно голосовать за Кливленда; единственное обязательно — чтобы человек сохранил себя чистым, отказавшись голосовать за недостойного, даже если от этого партия и страна будут разрушены. Не партии спасают страну и строят ее величие — это делают обычные порядочные люди». Но Хоуэлс партии не изменил, а у Туичелла из-за проявленной принципиальности были неприятности, и он навсегда от нее отказался. Твен его оправдывал: «Я никогда не осуждал его за то, что он голосует за своих проклятых республиканцев, — по той простой причине, что человек в его положении, когда ему приходится кормить большую семью, отвечает в первую очередь не перед своей политической совестью, а перед отцовской совестью. Чтобы исполнить один долг, приходилось жертвовать другим. И в первую очередь он должен был заботиться о семье, а не о своей политической совести. Он пожертвовал политической независимостью и такой ценой спас семью. При подобных обстоятельствах это был высший и лучший род человечности». (Томас Пейн и Роберт Ингерсолл вряд ли бы согласились с существованием двух разных совестей...)

У самого Твена одна совесть другой не противоречила: он публично агитировал за Кливленда, тот был избран и оказался одним из лучших президентов второй половины XIX века. Агитатор же согласился на четырехмесячный гастрольный тур: очень нужны были деньги. 5 ноября отправились с Кейблом (они сблизились, когда в начале года Кейбл приехал в гости) по восточным штатам; антрепренер Джеймс Понд представлял их как «гениальных близнецов». Читали отрывки из книг, а Кейбл еще и пел, имели шумный успех, кучу денег, но Кейбл вспоминал, что его «близнец» страдал ужасно, говорил, что люди видят в нем клоуна и это его унижает. В декабре заехали на день в Канаду, в Вашингтоне встречались с Фредериком Дугласом, в Олбани — с Кливлендом, на Рождество Твен возвращался в

Хартфорд, в январе посетил Ганнибал и Кеокук, куда приехала Джейн Клеменс. Отношения с Кейблом испортились — по словам Твена, из-за того, что тот был чересчур и напоказ богомолен. Зато по его рекомендации Твен прочел книгу о короле Артуре британского автора XV века Томаса Мэлори и понял, о чем ему хочется написать.

## Глава 4

### Том Сойер и черный человек

Тур завершился в Вашингтоне 28 февраля 1885 года; к этому времени «Гекльберри Финн» уже явился публике. Выходу книги предшествовала грамотная рекламная кампания, отрывки печатались в «Сенчюри», читатели заинтересовались, а критик Эдмунд Стедмен написал автору, что это — «настоящая литература». Под Новый год появились лондонское и торонтское (легальное) издания, в феврале — издание фирмы «Уэбстер и К<sup>о</sup>». Луиза Олкотт, в марте потребовавшая изъятия «Гека» из библиотеки города Конкорд за «безнравственность», добавила рекламы. Было выпущено 30 тысяч экземпляров, через два месяца пришлось допечатать еще 10 тысяч, за год автор получил 54 тысячи долларов прибыли. В начале XXI века общий тираж романа исчисляется миллионами, он переведен на сто языков. До 1996 года издавалось первое издание, к столетию публикации вышло новое, включавшее страницы, исключенные по настоянию Хоуэлса: фрагмент 19-й главы, где Король поведал о своей миссионерской деятельности, и фрагмент 9-й главы, где Джим рассказал Геку, как прислуживал студенту-медику и был вынужден своим телом согревать трупы.

Твен не считал, что написал нечто исключительное: он ставил «Гека» ниже «Принца и нищего» и «Жанны д'Арк». Критики, хотя и оценили книгу высоко, тоже не сразу поняли, *что* она такое: долго сбивало с толку то, что она позиционировалась как детская. Лишь в 1913 году критик Менкен назвал «Гека» «одним из величайших мировых шедевров... как «Дон Кихот» или «Робинзон Крузо»». В 1941 году литературовед Причетт охарактеризовал роман как «первый американский шедевр», в 1950-м Лайонел Триллинг сказал, что это «одна из величайших книг в мире и один из важнейших документов американской культуры», но даже в 1956 году Уильям Ван О'Коннор доказывал, что «Гек» — безвкусная мелодрама. И все же перелом в оценках наступил. Джеймс Кох, 1973: «Гекльберри Финн всегда будет частью нашего будущего, как и прошлого... Нет американской книги, подобной этой». Ральф Эллисон, афроамериканский писатель, 1958: «Я чувствую себя Гекльберри Финном, хотя в расовом отношении я — ниггер Джим». Сейчас роман — классика; поколения американцев с удовольствием обнаруживали в нем свои черты — смелость, свободолюбие, вызов и даже лень. Томас Элиот, нобелевский лауреат,

вспоминал, что в детстве родители не дали ему читать роман, боясь «дурного влияния», а когда он случайно прочел его взрослым, то понял, что это шедевр отнюдь не детский; Лэнгстон Хьюз, тоже афроамериканец, признался, что книга «разрушила иллюзии о старом добром Юге»; литературовед Хэмлин Хилл в предисловии к юбилейному изданию писал: «Ни один большой писатель до Твена не осмелился дать простому человеку рассказать свою историю на своем собственном языке».

Американцам Твен подарил новый язык, олитературив (а не воспроизведя, как патефон) устную речь «простого человека». Увы, русскоязычному читателю, как уже отмечалось, это недоступно. Чуковский, переводя роман, сделал в нем купюры, так что эталонным считается перевод Дарузес — «нейтральным языком, не гонясь ни за какими жаргонами». Бог с ними, с жаргонами, но негры-то могли хотя бы говорить не «мистер» и «миссис», а «масса» и «миссус», как, например, в переводе Р. Брауде, а в некоторых местах даже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы адекватно передать неправильность речи. Дарузес: «Все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того чтобы валять дурака и упускать такой случай». В подлиннике Гек выговаривает *instead* (вместо) как *'stead*, а ведь в русском языке есть безграмотный аналог — «заместо». Ну же, переводчики, дерзайте...

Хемингуэй: «Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена. <...> До «Гекльберри Финна» ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось». Но прибавил: «Если будете читать ее, остановитесь на том месте, где негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Все остальное — чистейшее шарлатанство». Джима крадут у Гека в 31-й главе, а в 33-й является Том Сойер, отсутствовавший на протяжении тридцати глав, и начинаются приключения. Твен словно написал две разные истории: одна — трагическая: Гек, его отец и Джим; другая — комедия положений: Гек и Том. Исследователи замечают за Твеном один порок — он часто начинал писать одно, а после перерыва «съезжал» на другое и ленился переделывать начало. К концу 1876 года он довел роман до 16-й главы включительно, три года спустя — до 21-й главы, где появляются Король и Герцог, а летом 1883-го написал остальное. Потому роман и получился неоднородным? Или все же ошибаются критики, а беллетрист лучше знает, как нужно писать? Попробуем понять.

Центральное событие — встреча Гека, сбежавшего от отца-алкоголика, с беглым преступником Джимом (закон о защите детей от вредной информации помните? Добавьте пункты об информации,



«пропагандирующей отрицание семейных ценностей или значимость социальных институтов семьи, брака и родителей, формирующей неуважение к ним детей» и «призывающей к совершению уголовно наказуемых деяний либо обосновывающей или оправдывающей их допустимость»): последний в «Томе» был комическим персонажем, здесь стал трагическим. Он фактически заменяет мальчику отца и заботится о нем, проявляя чуткость и такт. Гек этого не создает: он считает себя покровителем Джима, ведь тот не совсем человек. «Когда я проснулся на рассвете, он сидел и, опустив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому, потому что никогда в жизни не расставался с семьей; а детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и есть». «Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром — все равно его ничему путному не выучишь. Взял да и плюнул».

Сомнения — а может, все-таки Джим человек? — появляются постепенно. Гек разыграл Джима, спрятавшись и наблюдая, как тот в отчаянии ищет его, как искал бы пропавшего сына. «Но когда Джим сообразил, он поглядел на меня пристально, уже не улыбаясь, и сказал:

— Что эта штука значит? Я тебе скажу. Когда я устал грести и звать тебя и заснул, у меня просто сердце разрывалось: было жалко, что ты пропал, а что будет со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут, живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был стать на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать да морочить голову старику Джиму! Это все мусор, дрянь; и дрянь те люди, которые своим друзьям сыпят грязь на голову и поднимают их на смех.

Он встал и поплелся в шалаш, залез туда и больше со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлецом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно. Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я переломил себя и пошел унижаться перед негром; однако я пошел и даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел».

Главный нерв почти любого романа — моральный выбор. Геку достался труднейший: как отнестись к преступному чудовищу (а Джим, по понятиям Гека, именно таков, хоть и симпатичен ему). Встретив Джима, Гек сразу говорит, что выдавать его не собирается: «Пускай все меня назовут подлым аболиционистом, пускай презирают за это — наплевать. Я

никому не скажу, да и вообще я туда больше не вернусь». Но потом он начинает метаться:

«Совость у меня была нечиста, и я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть — меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват; ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало, совесть все твердила и твердила мне: «Ведь ты знал, что он беглый, мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь». Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. <...> Джим громко разговаривал все время, пока я думал про себя. Он говорил, что в свободных штатах он первым делом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента; а когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем с ней будут работать и выкупят обоих детей; а если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал.

От таких разговоров у меня по спине мурашки бегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменялся от одной мысли, что скоро будет свободен! Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец — он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действовать сгоряча, без соображения. Этот самый негр, которому я все равно что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал. Мне было обидно слышать это от Джима — такая с его стороны низость.

Совость начала меня мучить пуще прежнего, пока наконец я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще не поздно: я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел...»

Автор романа оценок не дает, и Гек никогда не узнает, что перепутал совесть с тем, что выдают за нее бессовестные люди. Он отправляется доносить, ничего не подозревающий Джим называет его другом, Гека это не останавливает, но в конце концов он не решается исполнить задуманное. Твен мечтал написать книгу от лица труса, который не понимает, что он трус, — здесь использован этот прием: как раньше Геку подлость казалась доблестью, так теперь он смелость принимает за трусость, а благородство — за предательство: «Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно; ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что

мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо...»

Выбор не совершается единожды — герой бродит по адскому кругу. Джима забрали мошенники — как теперь быть? «Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру? Пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему: а вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его?» Но в итоге Гек отказывается от идеи написать донос не из-за Джима, а из-за боязни попасть в глупое положение: «Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться; и если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, верно, со стыда готов буду сапоги ему лизать». (Схожий выбор, кстати, встает перед Геком и в отношении Короля и Герцога, обворовавших простодушную семью: «Думаю себе: пойти, что ли, к этому доктору да донести на моих мошенников?» — и он принимает аналогичное решение: «Нет, только и есть одно верное средство: надо мне как-нибудь украсть эти деньги, и украсть так, чтобы на меня никто не подумал» — и так же мучится и заходит на второй круг: «Я сообразил, как мы с Джимом могли бы избавиться от наших мошенников: засадить бы их здесь в тюрьму, а самим убежать» — и так же в конце концов решается на донос, но автор выручает героя: разоблачение жуликов происходит без участия Гека.)

С глаз долой — из сердца вон, когда Джима больше нет рядом, Гек думает только о себе и до него доходит, какой опасности он себя подверг: «Рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим поведением, и там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око, оно не потерпит нечестивого поведения, а мигом положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание; думаю: ничему хорошему меня не учили, значит, я уж не так виноват; но что-то твердило мне: «На то есть воскресная школа, почему же ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру, то за это будет веки вечные гореть в аду»». Советскому школьнику было непонятно: из-за чего, собственно, такие страдания? Доносить на друзей нехорошо, всякий знает... Нынешние дети поймут лучше: до сих пор Гек бросал вызов обществу, а теперь понял, что идет против самого Бога.

«Меня просто в дрожь бросило. И я уже совсем было решил: давай

попробую помолиться, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И стал на колени. Только молитва не шла у меня с языка. Да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от Бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой, не по-честному поступал — вот почему. Притворялся, будто хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится, а в глубине души знал, что все вру, и Бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься, — это я понял».

Ради своего Бога он написал донос: «Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь смогу молиться. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал: вот, думаю, как это хорошо, что так случилось, а то ведь я чуть-чуть не погубил свою душу и не отправился в ад».

Но затем: «Стал вспоминать про наше путешествие по реке и все время так и видел перед собой Джима, как живого: то днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как мы с ним плывем на плоту, и разговариваем, и поем, и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте, после того как отстоял свою, и не будит меня, чтобы я выспался; то вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда; и как он всегда называл меня «голубчиком» и «сыном», и баловал меня, и делал для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый; а под конец мне вспомнилось, как я спасал его — рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете и что теперь я один у него остался друг.

И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда решиться, выбрать что-нибудь одно, — это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал, и говорю себе: «Ну что ж делать, придется гореть в аду». Взял и разорвал письмо. Страшно было об этом думать, страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал».

Грэм Грин любил ставить персонажей (взрослых) перед дилеммой: спасти свою душу или погубить ее ради спасения чужой? — и всегда решал ее, как и Твен, в пользу другого. Но Твен взвалил выбор на ребенка.

Читатели, впрочем, уже знали, что их Бог изменил взгляды и священники, ранее восхвалявшие рабство, теперь осудили его. Но Гек-то этого не знал... А вы что посоветуете вашему ребенку, если Бог, о котором ему все твердят, велит делать одно, а совесть — обратное?

Отказавшись выдать Джима, Гек стал преступником, законы для него больше не существуют: «Буду опять грешить по-старому, — все равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов — опять выкраду Джима из рабства». И тут приезжает Том Сойер, и трагедия превращается в балаган. (В США существуют издания романа, где линия Тома исключена.) Том все превращает в игру; под его влиянием переменялся и Гек, став моложе и глупее, ничего дурного в действиях Тома он не видит: Джим сидит среди крыс и пауков, украсть его то ли получится, то ли нет, а мальчики развлекаются: «После завтрака мы, в самом отличном настроении, взяли мой челнок и поехали за реку ловить рыбу и обед с собой захватили; очень хорошо провели время...» Не видят зла и читатели-дети: кражи простыней и пересчитывания ложек — любимые эпизоды, а что играют жизнью человека, так это дело десятое.

В финале Том, с самого начала знавший, что Джим уже не раб, театрально выступает в роли спасителя; его благодарят, словно он подарил Джиму свободу, а не скрыл ее, заставив его страдать; сам Джим не обижается, и все довольны. Даже конфликт Гека с Богом улажен, ведь он, оказывается, не помогал преступнику, а спасал невинного человека (может, какой-нибудь дотошный мальчуган и задумается, что стало бы с душой Гека, окажись на месте Джима какой-нибудь другой раб, не освобожденный, но это уже проблемы его родителей). Некоторые современные критики считают, что финальные главы двуслойны, на страницах, где дети видят приключения, взрослые обнаруживают политическую сатиру: в поведении Тома по отношению к Джиму Твен аллегорически выразил мнение об освобождении негров — после Гражданской они формально получили свободу, а оказалось, что фактически они по-прежнему не люди (работать и учиться им негде, белые их не уважают). И все же водевильность финала смущает. Почему Твен так закончил книгу? Просто по небрежности? Или из презрения к жанровым рамкам? Он никогда не старался выдерживать однажды взятую тональность; не считал, что он читателю что-то должен. Вы начали читать психологический роман и недовольны тем, что он превратился в комедию? Это ваши проблемы... Или он все-таки не мог написать иначе?

Давайте рассуждать: а как еще можно было завершить историю? Вариант первый: Том приехал, сразу сказал, что Джим свободен, и все

кончилось. В этом случае участие Тома в романе свелось бы к нулю — а для дилогии это абсолютно недопустимо. Второй: Том тоже не знает, что Джим свободен. Что дальше? Том, конечно, ребенок предприимчивый и отважный, но ему всего 10–11 лет и он, в отличие от Гека, не прошел с Джимом через испытания и лишения, ему Джим не замена отца, не друг; если бы он стал по-настоящему выручать преступника, пожертвовав спасением души, это было бы для него непосильной ношей и шло бы вразрез с логикой его характера; если бы он, напротив, мешал Геку освободить Джима, то превратился бы в омерзительного Хорошего мальчика; если бы никак в этой истории не участвовал — смотрите вариант первый.

Но, допустим, Твен решил бы исключить Тома. Гек по-настоящему спас Джима, они скитались, потом кто-нибудь им сообщил, что Джим не раб, все счастливы, пляшут и поют. Получается та же водевильность, только без Тома — за что, спрашивается, боролись? По-другому: Джим не свободен, он преступник, Гек его спас, они опять скитаются — и что? Финал один — их поймают и посадят, или они погибнут, зло восторжествовало, вдобавок Гек погубил свою душу и обречен на адские муки. Вот и хорошо, и получился бы жестокий шедевр, как «Повелитель мух»? Что ж, в 1891 году, когда Твен сделал страшную запись: «Гек приходит домой бог знает откуда. Ему 60 лет, спятил с ума. Воображает, что он все тот же мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки, других. Из скитаний по свету возвращается шестидесятилетний Том, встречается с Геком. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают». Он, вероятно, мог бы написать такую книгу. В 1882-м не мог — как не мог Толстой начать творческий путь с «Воскресения». Кроме того, он предназначал роман если и не детям, то детям «в том числе»: попробуйте-ка написать о ребенке, который не просто рисковал собой из-за человека, по недавним меркам считавшегося злодеем (это как раз не проблема: в советские времена было легко рассказывать, как дореволюционный гимназист укрывал большевика-безбожника, сейчас — как пионер помогал диссиденту распространять «Архипелаг ГУЛАГ»), а ради него отринул ценность, что ныне у нас опять назначили высшей (а в Америке считали всегда), — Бога, да не просто напишите, а так, чтобы вашу книгу напечатали и проходили в школе. Если получится — стало быть, вы молодец, а Марку Твену придется снять перед вами шляпу и съесть ее.

Детская книга «Гекльберри» или взрослая? Двойственная. От ребенка

ирония ускользает, он все принимает всерьез, как и «Дон Кихота», по образцу которого построен не только «Том», но и «Гек», — роман-странствие, масса побочных линий: Король и Герцог, семейство Уилксов, Грэнджерфорды и Шепердсоны; последние введены (автор об этом прямо говорил), чтобы высмеять романтические представления об аристократах Юга, а заодно проиллюстрировать любимый тезис: люди не замечают, как их религиозное благочестие вступает в противоречие с поступками и мыслями. «В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, мили за три, и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, — Бак тоже взял, — и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И Шепердсоны тоже так делали. Проповедь была самая обыкновенная — насчет братской любви и прочего тому подобного, такая все скучища! Говорили, что проповедь хорошая, и когда ехали домой, все толковали про веру да про добрые дела, про благодать и предопределение... <...>

— Что же он тебе сделал?

— Он? Ничего он мне не сделал.

— Так за что же ты хотел его убить?

— Ни за что — из-за того только, что у нас кровная вражда. <...> Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл, — да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же».

Вот еще «взрослое» толкование романа: Гек и Джим олицетворяют бунт против цивилизации, свободу, душевную чистоту: «Везде кажется душно и тесно, а на плоту — нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно», Том — общество, «игры по правилам»; Гек — не антиромантик, а подлинный романтик, философ: «Бывало, все небо над головой усеяно звездами, и мы лежим на спине, глядим на них и спорим: что они — сотворены или сами собой народились? Джим думал, что сотворены; а я — что сами народились: уж очень много понадобилось бы времени, чтобы наделать столько звезд. Джим сказал, может, их луна мечет, как лягушка икру; что ж, это было похоже на правду, я и спорить с ним не стал; я видал, сколько у лягушки бывает икры, так что, разумеется, это вещь возможная».

Общество всякий раз, когда беглецы с ним сталкиваются, поворачивается худшими сторонами — даже когда выступает на стороне добра. Разоблачили мошенников: «Глядим, навстречу валит толпа с факелами, все беснуются, вопят и орут, колотят в сковородки и дудят в рожки; мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их; смотрю, они тащат короля с герцогом верхом на шесте, — то есть это только я узнал короля с

герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях и даже на людей не похожи, просто два таких громадных комка. Мне неприятно было на это глядеть и даже стало жалко несчастных жуликов; я подумал: никогда больше их злом поминать не буду. Прямо смотреть страшно было. Люди бывают очень жестоки друг к другу». Толпа мерзка во всех проявлениях: когда пьяный мошенник влезает на помост проповедника, она принимает его кривляния за чистую монету; когда свидетель дает показания в пользу пойманного в очередной раз Джима — она растрогана до слез, но... «Потом они вышли из сарайчика и заперли его на замок. Я думал, они скажут, что надо бы снять с него хоть одну цепь, потому что эти цепи были уж очень тяжелые, или что надо бы ему давать не один хлеб и воду, а еще мясо и овощи, но никому это и в голову не пришло...»

Вызов обществу бросили не только Гек с Джимом — Твен демонстрирует разные варианты. Отнюдь не детям предназначен (и потому был исключен Чуковским) потрясающий эпизод с линчеванием Шерборна, который застрелил пристававшего к нему алкоголика Богса; у того осталась дочь, девочка в отчаянии, толпа распаляет себя благородным — и ведь не скажешь, что несправедным, — гневом: «Они повалили к дому Шерборна, вопя и беснуясь, как индейцы, и сбили бы с ног и растоптали в лепешку всякого, кто попался бы на дороге. <...> Шерборн все еще не говорил ни слова — просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шерборн обвел толпу взглядом, и, на ком бы этот взгляд ни остановился, все трусливо отводили глаза, ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шерборн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо, все равно что есть хлеб с песком. Потом он сказал с расстановкой и презрительно:

— Подумать только, что вы можете кого-то линчевать! Это же курам на смех. С чего это вы вообразили, будто у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не оттого ли, что у вас хватает храбрости вывалить в пуху какую-нибудь несчастную заезжую бродяжку, вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и десяти тысяч таких, как ты, — пока на дворе светло и вы не прячетесь у него за спиной.

Неужели я вас не знаю? Знаю как свои пять пальцев. Я родился и вырос на Юге, жил на Севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус. <...> Средний человек не любит хлопот и опасности. Это вы не любите хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек вроде Бака Гаркнеса крикнет: «Линчевать его! Линчевать его!» — тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами, и вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого



получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги. Самое жалкое, что есть на свете, — это толпа; вот и армия — толпа: идут в бой не оттого, что в них вспыхнула храбрость, — им придает храбрости сознание, что их много и что ими командуют».

Не всякая свобода хороша, а общество не всегда так уж плохо. Антисоциален Финн-старший — он говорит точь-в-точь как наши современники, обсуждающие в ток-шоу злодеяния органов опеки, отнимающих детей у пьяниц: «Ну на что это похоже, полюбуйтесь только! Вот так закон! Отбирают у человека сына — родного сына, а ведь человек его растил, заботился, деньги на него тратил! Да!» Нужно помогать, давать второй шанс, бормочет телевизор, а глаза выхватывают: «После того как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать, — можно сказать, принял его, как родного. <...> А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить; он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутылку сорокаградусной, влез обратно и давай пировать; и на рассвете опять полез в окно, пьяный как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть; кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате гостей, так пришлось мерить глубину лотом, прежде чем пускаться вплавь. Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит».

Отец отнял Гека у цивилизации: «Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня!» — Гек ничего не имеет против, он ведь не лидер, а предпочитает плыть по течению: «Так прошло месяца два, а то и больше, и я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме...» Но свобода по Финну-старшему ужасно закончилась: избивал сына, допился, погиб. Другой вариант — свобода по Королю и Герцогу, издевающимися над человеческой глупостью: «Плевать нам на доктора! Какое нам до него дело? Ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всяком городе куда больше, чем умных». И вновь Гек плывет по течению, сопровождая жуликов не только из страха, но и потому, что «так получилось». Гек — бунтарь, герой? Нет, он слаб, он беглец, он конформист, как и Том. Как бы ни было противно общество, без него еще хуже, и драться с ним бесполезно, если ты не Шерборн (но Шерборн — убийца: выходит, надо быть убийцей, чтобы суметь пойти против толпы?), — можно только

бежать, бежать, бежать... и всякий раз возвращаться, как вернутся другие американские беглецы — сэлинджеровский Колфилд, апдайковский Кролик...

Когда Хемингуэй сказал, что в американской литературе «ничего не было после» «Гека», то был полемический запал, но «до» действительно во многих отношениях «ничего не было». Впервые романное повествование полностью велось от лица неграмотного ребенка, автор испарился, читателю ничего не объясняют, рассказчик никого не судит, не понимает не только собственных поступков, но и окружающей действительности. Циркачки: «На всех них дорогие платья, сплошь усыпанные брильянтами, — уж, наверно, каждое стоило не дешевле миллиона». На арену выходит «подсадка», Гек и этого не понял: «Весь дрожал, боялся, как бы с ним чего не случилось. <...> Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, здорово разозлился. Оказалось, что это его же акробат! Сам все придумал и никому ничего не сказал».

Революционен, как уже говорилось, был английский язык романа (представьте язык Пушкина в сравнении с языком Батюшкова; «Капитанскую дочку» в сравнении с «Бедной Лизой»): Твен не только позволил персонажам говорить «как в жизни», но полностью отошел от традиции подражания благородным формам европейской литературы, от закругленных, пространных фраз, многочисленных эпитетов. Оставив множество методических рекомендаций о том, как нужно выступать со сцены, он крайне редко высказывался о технике письма, но кое-что все же сказал. Лучший стиль — отсутствие стиля, писать надо по возможности «просто» (Пушкин: «Писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно»), избегать слов-«паразитов», не несущих смысловой нагрузки («Вместо слова «очень» всюду ставьте «чертовски»; редактор это повыбрасывает и получится то что надо»). Фрагмент «Заметки о тавтологии и грамматике» (1898): «Грамматическое совершенство — надежное, постоянное, выдержанное — это четвертое измерение, так сказать: многие его искали, но никто не нашел». «Я люблю точное слово...» (Хоуэлс: «Он презирал боязнь тавтологии. Если он считал слово подходящим, то ставил его на одной странице столько раз, сколько считал нужным».)

Начинающий писатель наматывает на ус про «очень», но в остальном разочарован: что можно из таких советов почерпнуть? Легко сказать — найдите точное слово; а как узнать, какое из них точное, а какое приблизительное? «Разница между точным и почти точным словом — как между светлячком и молнией»<sup>[25]</sup>, — сказал Твен. Когда вопрос об этом

афоризме был задан в программе «Что? Где? Когда?», знатоки вместо «молнии» предложили «солнце» и отказывались признать поражение, говоря, что солнце и молния в данном контексте — одно и то же. На самом деле нет: с солнцем Твен мог бы сравнить, допустим, книгу, но не слово: оно не может светить целый день, а поражает как вспышка, как удар. Знатоки ответили «приблизительно точно». Но Твен-то не терпел ничего «приблизительного». Потому и переводить его — как всех перфекционистов — невероятно сложно.

Хемингуэй говорил, что «не доверять прилагательным» его научил Эзра Паунд, но Твен многими годами ранее учил тому же школьного учителя Дэвида Боузера, приславшего ему свои работы: «Я вижу, что вы используете ясный, простой язык, короткие слова и короткие фразы. Так и нужно писать по-английски. Это современный и наилучший способ. Держитесь его; не позволяйте появляться цветистости и многословию. Когда поймаете прилагательное, убейте его. Нет, я не имею в виду, что надо поубивать их всех, но прикончите большинство из них — тогда оставшиеся будут чего-то стоить. Они слабеют, когда их много рядом; они сильны в одиночестве».

И с минимумом прилагательных (в подлиннике их еще меньше: перевод — дело «приблизительное»), оказывается, можно сделать описание, напоенное красками: «Нигде ни звука, полная тишина, весь мир точно уснул, редко-редко заквакает где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдаль над рекой, — это темная полоса: лес на другой стороне реки, а больше сначала ничего не разберешь; потом светлеет край неба, а там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а серая; видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна — это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы — это плоты; иногда слышится скрип весел в уключинах или неясный говор — когда так тихо, звук доносится издалека; мало-помалу становится видна и рябь на воде, и по этой ряби узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, оттого в этом месте и рябит; потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река, и можно уже разглядеть далеко-далеко, на том берегу, бревенчатый домик на опушке леса, — должно быть, сторожка при лесном складе, а сколочен домик кое-как, щели такие, что кошка пролезет; потом поднимается мягкий ветерок и веет тебе в лицо прохладой и свежестью и запахом леса и цветов, а иногда и кое-чем похуже, потому что на берегу валяетсядохлая рыба и от нее здорово несет тухлятиной; а вот и светлый день, и все вокруг словно смеется на солнце; и певчие птицы

заливаются вовсю!»

Для Гека и тухлятина, и птицы — природа, жизнь, красота; он не разделяет сущее на благородное и низменное. Далеко не все из первых читателей это оценили. «Сент-Луис глоб демократ»: «Мы имеем дело с приключениями весьма низкой нравственности, изложенными на грубом диалекте, с плохой грамматикой, непристойными выражениями, все это весьма неуважительно по отношению к читателям... Книги подобного рода годятся для трущоб, но не для приличного общества». Заведующий библиотекой города Конкорд заявил, что надо запретить книгу, ибо она «грязная и безнравственная», написана «непристойным и неизящным языком» и вообще «совершеннейший хлам». «Спрингфилд рипабλικен» (статью перепечатала «НьюЙорк таймс»): «Известному автору следовало бы прекратить наводнять наши дома и библиотеки недостойной продукцией. М-р Клеменс — крупный юморист, его ожесточенная сатира на человечество иногда бывает полезна и здорова, но кое-что в его работах идет вразрез со всеми благородными чувствами. М-р Клеменс не имеет понятия о том, что уместно и что неуместно. Достаточно прочесть отрывки в «Сенчюри», чтобы понять, как омерзительна вся книга». Луиза Олкотт: «Если м-р Клеменс не может сказать нашим чистым душой девочкам и мальчикам что-нибудь получше этого, ему вообще не следует писать для них». Возмущение вызывали и поведение героев, и язык автора, который не только коверкал благородную английскую речь, но и употреблял такие омерзительные, страшные слова, как, например, «потеть».

Твен раньше других понял, что лучше плохая реклама, чем никакой; кампании против «Гека» его не только раздражали, но и забавляли. Нападки на язык романа скоро закончились, но «наезды» на содержание не прекращались много лет: в 1905 году правление Бруклинской библиотеки запретило выдавать детям до пятнадцати лет романы Твена из-за «безнравственности». Автор отвечал сотруднику библиотеки: «Я писал «Тома Сойера» и «Гека Финна» исключительно для взрослых, и меня всегда до крайности огорчает, когда я узнаю, что они попали в руки мальчикам и девочкам. Душу, загрязненную в юности, уже никогда не отмыть добела; я знаю это по собственному опыту, и до сего дня у меня осталось чувство горечи по отношению к тем, кто призван был охранять мои юные годы, а вместо этого не только разрешил мне, но заставил меня прочесть от первой до последней страницы полный текст Библии еще до того, как мне исполнилось пятнадцать лет. После такого ни один человек до конца своих дней не может очиститься от греховных мыслей. <...> Мне от души хотелось бы выступить в защиту нравственного облика Гека, поскольку Вы

об этом просите, но, уверяю Вас, на мой взгляд, он ничем не лучше Соломона, Давида, Сатаны и прочей священной братии. Если у Вас в детском отделе имеется полный текст Библии, пожалуйста, помогите убрать Тома и Гека из столь сомнительной компании». В Бруклинской библиотеке решили всего лишь не ставить романы Твена на полки с детской литературой; но в 1907 году библиотеки Денвера, Омахи и Уорчестера изъяли их из обращения вовсе — за «примеры дурного поведения».

«Когда Гека Финна не трогают, он мирно бредет своей дорогой, время от времени то тут, то там калеча душу какому-нибудь ребенку; но это не страшно — в раю детей и без того будет предостаточно. Настоящий вред он приносит только тогда, когда благонамеренные люди принимают его разоблачать. Будем надеяться, что со временем люди, действительно пекущиеся о подрастающем поколении, наберутся ума и оставят Гека в покое». Не оставили: в 1930-х годах был выпущен ряд изданий «Гекльберри Финна», адаптированных для «чистых душой девочек и мальчиков», переписанных грамотным языком, с удалением «непристойных» эпизодов. А во второй половине XX века книга подверглась критике уже с другой стороны. Антирабовладельческий роман обвинили в пропаганде расизма.

Американские твеноведы пишут, что расизм Твену был не чужд, особенно по молодости; цитируют его письмо 1953 года: «Здесь, на Востоке, ниггерам живется лучше, чем белым», письмо Хоуэлсу (после прочтения благоприятных отзывов о «Налегке»): «Я был счастлив и успокоился, как мать, родившая белого ребенка, тогда как она боялась произвести на свет мулата», отрывок из записной книжки, где он рассказывает, как ему приснилась «негритянская шлюха», многочисленные замечания о «потных неграх» и т. д. Эволюция в отношении Твена к расовому вопросу действительно была постепенной — в юности он не одобрял аболиционизма и, как сам признавал, не мог считать негров такими же людьми, как белые. Общение с Лэнгдонами, Бичерами и Дугласом его изменило. Хоуэлс: «Он был человек Юга и человек Запада. Западное в нем осталось навсегда, но я никогда не видел, чтобы южанин полностью вытравил в себе все южное. Никто никогда до такой степени не ненавидел рабство и не презирал рабовладельцев-южан».

И его друзья, и современные исследователи считают, что он чувствовал себя виноватым и искупал вину. В декабре 1885 года он оплатил обучение на юридическом факультете Йельского университета чернокожего студента Уорнера Макгинна, с которым был шапочно знаком, и писал

декану юрфака Френсису Уэйленду: «Мы нечеловечески обращались с ними, это позор для нас, не для них, и за это должно платить». Деньги, которые Твен вкладывал в людей, даром никогда не пропадали: Макгинн стал преуспевающим адвокатом, преподавал. В 1887 году Уэйленд сообщил, что другой чернокожий студент, Чарлз Джонсон, нуждается в спонсоре и он может представить его Твену, чтобы тот убедился, какой это достойный юноша. Твен заплатил и за него, но знакомиться отказался, написал: «Пусть это будет любой чернокожий студент» — не хотел, чтобы парень знал своего «благодетеля». Известно, что он также оплатил учебу чернокожих студентов Эндрю Джонса на теологическом факультете и Чарлза Портера в парижской Академии художеств; поскольку пожертвования подобного рода он старался скрывать, не исключено, что были и другие. Он бесплатно выступал в негритянских церквях, финансировал Институт Таскиги, основанный в 1888 году колледж профессионального образования для афроамериканцев, незадолго до смерти агитировал за создание Национальной ассоциации развития цветного населения (НААСП). Наконец, он написал книгу, герой которой ради друга-нефа жертвует спасением души.

Но в 1957 году эта самая НААСП при поддержке Нью-Йоркского совета по образованию потребовала запретить изучение «Гекльберри Финна» в школе за «расистские высказывания» и «унижающие достоинство образы афроамериканцев», а особенно за употребление слова *nigger*<sup>[26]</sup> (Афроамериканские писатели Букер Вашингтон и Ральф Эллисон, правда, восхищались книгой, писали, что «Джим является символом человечности», но мало ли что эти негры скажут...) В Нью-Йорке инициативу не поддержали, но в ряде других городов «Гек» был не рекомендован к изучению. В 1962 году в Сан-Франциско шел мюзикл по «Геку» — местное отделение НААСП призвало бойкотировать его, так как чернокожих рабов играли чернокожие студенты, а белых — белые: надо было их перемешать или все роли раздать китайцам. («Дай негру палец — он заберет всю руку», — говорил Гек...)

В нашей прессе пишут, что в Америке роман Твена запрещали, сжигали и тому подобное, — это чепуха, проблемы у «Гека» есть только в средней школе, но там они довольно серьезные: литературоведы вынуждены биться с педагогами, разъясняя, что Гек в романе говорит так, как говорил бы в реальности, как говорили тогда все, и было бы странно и нелепо, если б он употреблял слово «афроамериканец», которого никто не знал; и что если писатель описывает какое-либо явление (пьянство, фашизм, изнасилование, плохую погоду, человеческую глупость), отсюда не следует,

что он пропагандирует его.

«— У нас на пароходе взорвалась головка цилиндра.

— Господи помилуй! Кого-нибудь ранило?

— Нет, никого. Только негра убило.

— Ну, это вам повезло; а то бывает, что и людей ранит».

Букер Вашингтон почему-то понял, что автор хотел показать, как плохо даже лучшие из южан относились к рабам и как это ужасно и стыдно, а вовсе не намеревался оскорблять этих рабов, — но с той поры люди то ли поумнели и, то ли наоборот. Главная организация НААСП в конце концов заявила, что Твена нужно «не запрещать, а объяснять», но за дело принялись уже белые. В 1980 году Джон Уоллес, школьный директор, самолично переписал «Гека», убрав все, что, по его мнению, могло не понравиться афроамериканцам: «Чтение романа вслух оскорбляет черных учеников, унижает их достоинство и создает неуважение белых учеников к черным. Белые преподаватели-расисты называют эту книгу классикой, не учитывая чувств черных учащихся, которым эта книга не нужна». В 1982-м средняя школа в Фэйрфаксе, штат Вирджиния, носящая, между прочим, имя Марка Твена, исключила его книгу из школьной программы как «содержащую элементы расизма». В 1984-м писательница Марго Аллен сказала, что ей в детстве было больно слышать, как белые школьники смеялись над безграмотной речью Джима, и она ненавидит книгу Твена. В 2000-м в городе Энид, штат Оклахома, Совет афро-американских церквей призвал запретить изучение романа по всему штату; школьная администрация штата пригласила гарвардского профессора Джосуэлл Чедвик, разъезжающую по стране с лекциями в защиту «Гека», провести дебаты, и в конце концов было решено, что люди, не желающие, чтобы их дети знали историю своей страны, имеют право отказаться читать книги, в которых есть слово «ниггер»; такой же позиции придерживается профессор из Питсбурга Джонатан Эрак: невежество должно иметь равные права с просвещением, кому книга не нравится — пусть не учат. Обратная сторона толерантного общества будущего: каждый сможет изучать в школе лишь те книги и ту версию родной истории, которая нравится его родителям...

Даже Великий Американский Роман не принес автору признания; через два года после его выхода профессор Ричардсон в книге «Американская литература» писал: «Есть категория писателей, чьи книги лишены высокой художественности и морали, юмористы, которые развлекают одно поколение и выходят из моды. Сейчас это Фрэнк Стоктон (американский юморист, автор детских сказок. — М. Ч.), Джоэл Харрис и

Марк Твен. Двадцать лет спустя их заменят другие шутники. Юмор сам по себе не гарантирует места в литературе; он должен сосуществовать с художественными достоинствами, какие мы находим у Лэма, Гуда (Чарлз Лэм — эссеист и юморист первой половины XIX века; Том Гуд — британский юморист. — М. Ч.), Вашингтона Ирвинга и Холмса». Этот фрагмент не был исключен и при переиздании «Американской литературы» в 1892 году.

Но коммерческий успех «Гека» был велик, автор благодарил Уэбстера, возвел его в ранг полного партнера в фирме, а тот начал выкупать права на работы Твена у других издателей. И был уже на подходе следующий проект «Уэбстер и К°»: мемуары генерала Гранта. Американский герой в 1843 году окончил Вест-Пойнтскую военную академию, участвовал в войне с Мексикой, в 1854-м ушел в отставку, но с началом Гражданской вернулся на службу. По поручению губернатора штата Иллинойс он организовал двадцать добровольческих полков, потом стал командующим волонтерскими войсками на севере Миссури; принимал участие в крупных сражениях и был национальным героем еще до того, как в 1864 году Линкольн сделал его главнокомандующим; в апреле 1865-го Грант заставил генерала Ли сдаться и положил конец войне. В 1867 году он был военным министром, в 1868-м стал президентом, в 1872-м был избран вторично. После ухода из политики генерал пытался заняться бизнесом, но без успеха; в 1884-м он был разорен и, чтобы помочь семье (сам он умирал от рака), заключил контракт с «Сенчюри» на издание мемуаров.

С Твеном они впервые увиделись в конце 1867 года, в 1880-х более-менее познакомились; в ноябре 1884-го, узнав о бедственном положении генерала, Твен поехал к нему в НьюЙорк.

Выяснилось, что «Сенчюри» предлагает 10 процентов роялти — это был грабеж, Твен посоветовал требовать 75 процентов; «Сенчюри» обещал тираж в 5–10 тысяч, Твен сказал, что можно продать четверть миллиона, и посоветовал обратиться в «Америкэн паблишинг компани». Грант, человек болезненно честный (коррупция цвела в его бытность президентом потому, что он был наивен и некомпетентен), отвечал, что дал слово «Сенчюри» и ничего изменить нельзя. Твен упрямился, просил отдать рукопись ему, обещал все уладить, предложил условия: 25 процентов от тиража или 70 от прибыли, типографские расходы оплатит издатель из своей доли. Гранту это казалось какой-то сказкой. Твен предложил сию минуту выписать чек на 25 тысяч аванса — генерал его с ужасом отверг. Вряд ли единственной причиной столь неслыханной щедрости была уверенность в коммерческом успехе: Твен обожал Гранта, преклонялся перед ним и, вероятно, пришел в



отчаяние, обнаружив его в бедственном положении, больного и заброшенного.

За зиму друзья генерала склонили его принять выгодное предложение. Состоялись вторичные переговоры, Грант опять говорил, что не может принять так много денег, что если книга не будет продаваться, он вообще ни цента не возьмет; в конце концов сошлись на 70 процентах прибыли, 10 тысяч — аванс, 5 тысяч — ежемесячные выплаты в счет будущих прибылей (Твен убедил Гранта, что это нормальная практика, на самом деле так никто не поступал); 27 февраля 1885 года подписали договор. Грант умирал; надо было торопиться. Твен прислал стенографистку, сам приезжал по несколько раз в неделю. Работал генерал быстро, обладал прекрасной памятью, писал, по оценке Твена, «просто, ясно, с тем полным отсутствием стиля, которое и есть наилучший стиль», но сам этого не сознавал и просил у издателя советов — тот «был изумлен, как повар Колумба, к которому Колумб обратился бы с просьбой помочь в организации плавания». (Когда Мэтью Арнольд впоследствии раскритиковал книгу Гранта за «дурной язык», Твен выступил в нью-йоркском Военно-морском клубе с несвойственным ему пафосом: «В солнце есть то, что заставляет нас забыть о пятнах на нем, и, когда мы думаем о генерале Гранте, сердце бьется сильнее, грамматика исчезает; мы видим только, что он — простой солдат, никогда не обучавшийся изящному слогу, — строит фразы с искусством, превосходящим искусство любых литературных школ».)

Почему-то Сэмюэлу Клеменсу никогда не приходило в голову заняться рекламным бизнесом — у него были к этому задатки. Развернулась беспрецедентная пиар-кампания, со слухами, с тщательно спланированными утечками; все знали, что сокровище — рукопись — хранится в супернадежном сейфе, доступ к которому есть только у владельцев «Уэбстер и К°»; была нанята армия распространителей и рекламных агентов, Твен лично руководил наймом, придумывал способы стимулирования, составил руководство для Уэбстера — как проверять, пьет работник или нет, руководство для агентов на 37 страницах — как вести себя с клиентами (ни на миг не поворачиваться спиной, никогда не говорить с группой людей — отлавливать дичь только поодиночке). Денег он не жалел. Америка вспомнила о Гранте и прослезилась, репортеры с утра до ночи осаждали офис Уэбстера, о будущих мемуарах писали все газеты мира. Планировалось собрать к ноябрю 250 тысяч подписчиков; к маю их было уже 60 тысяч, и Твен надеялся выплатить Гранту гонорар, какого еще никто в мире никогда не получал, — 420 тысяч долларов.

27 июня Клеменсы уехали в Эльмиру, на следующий день Твена известили, что Грант хочет его видеть. Он примчался. Генерал был очень слаб, сидел, закутавшись в шаль, отдал издателю очередную порцию текста, сказал, что она, наверное, последняя. С тех пор Твен был с ним почти каждый день. 23 июля 1885 года Грант умер. Нация была в трауре. Заказы на книгу посыпались ливнем, типографии и переплетные мастерские работали в три смены. Вот только генерал Грант ее не увидит.... Твен надиктовал воспоминания о нем Редпату, приезжавшему погостить в «Каменоломню». Закончил пьесу по «Тому Сойеру» (она была поставлена в Нью-Йорке и Хартфорде, но большого успеха не имела). Написал «Частную историю одной проигранной кампании». Больше ничего значительного в то лето не писал. Зато много читал и занимался с дочерьми.

Тринадцатилетняя Сюзи начала писать книгу — с тем самым отсутствием стиля, «которое и есть наилучший стиль». «Сейчас на ферме одиннадцать кошек. Папины любимцы — маленький черепахового окраса котенок, которого он называл Сметанка, и еще пятнистая Фанни. Очень приятно смотреть на то, что папа называет «кошачьей процессией»; это происходит так. Старая Минни, мама всех котов, во главе, за ней тетя Сюзи, потом Клара верхом на ослике, сопровождаемая толпой кошек, дальше папа и Джин идут, держась за руки, а в конце еще куча кошек, мама и я. Наши занятия вот какие: папа встает в 7.30 утра, завтракает в 8, пишет, играет в теннис с Кларой и мной и пытается заставить ослика идти; занимается разными делами после полудня; вечером играет в теннис с Кларой и мной и развлекает Джин и ослика. Мама встает без четверти 8, завтракает в 8, учит Джин немецкому, читает с 9 до 10, учит немецкий со мной с 10 до 11. Потом она читает наши работы или идет к тете Сюзи, потом до ланча читает Кларе и мне из английской истории (потому что мы собираемся следующим летом в Англию), а мы шьем. После ланча мама опять занимается и гуляет с тетей Сюзи, потом читает нам час или больше, потом опять занимается, читает или отдыхает до ужина. После ужина она сидит на крыльце и работает до 8 часов, с 8 до сна играет с папой в вист, а потом уходит и еще занимается немецким языком. Клара и я все делаем для того, чтобы научиться ездить на ослике и играть в пятнашки. А Джин все время занята тем, что спрашивает маму, чего бы поесть».

Работала Сюзи ночами, прячась, мать нашла записки, прочла, обнаружила, что ничего страшного в них нет, показала отцу, родители признались в краже; неизвестно, как на это отреагировала дочь, но писать не перестала. Большая часть ее записей посвящена отцу. «Писать я буду

про папу, и мне нетрудно придумывать, что про него сказать, потому что он очень интересный человек». («Комплименты мне делали и раньше, — комментировал Твен, включивший фрагменты из книги дочери в автобиографию, — но ни один меня так не растрогал, ни один не был мне так дорог».) «Папину внешность описывали часто, но совсем неправильно. У него очень красивые седые волосы, не слишком густые и не слишком длинные, а в самый раз; римский нос, от которого его лицо кажется еще красивее; добрые синие глаза и маленькие усики. У него чудесная форма головы и профиль. У него очень хорошая фигура, — одним словом, внешность замечательно красивая. Все черты у него самые прекрасные, только зубы не замечательные. Цвет лица у него очень светлый, а бороды он не носит. Он очень хороший человек и очень смешной. Характер у него *спыльчивый*<sup>[27]</sup> но в нашей семье все такие. Он самый чудный человек, других таких я не видела и не надеюсь увидеть — и такой рассеянный! Он ужасно интересно рассказывает. Мы с Кларой иногда сидели на ручках его кресла с двух сторон и слушали, а он рассказывал нам разные истории про картины на стене». «У папы совсем особенная походка, нам она *нравится*, она ему к лицу, а многим не *нравится*; он всегда ходит взад-вперед по комнате, когда думает, и за обедом после каждого блюда». Отец и дочь часами бродили вдвоем, в обнимку, говорили обо всем на свете, от осликов до философии. «Папа совсем не любит ходить в церковь, я никак не могла понять почему, а теперь поняла когда он сказал, что терпеть не может никого слушать кроме себя, а самого себя может слушать часами и не устает, он конечно пошутил, но я уверена, что эта шутка основана на правде».

У Сюзи все было благополучно, то же и у четырехлетней Джин — усидчивого, кроткого ребенка, обожавшего животных. Не так гладко с Кларой: она стала нервной, рассказывала о видениях, современный психолог определил бы, что девочка пытается привлечь к себе внимание: она чувствовала предпочтение, отдаваемое старшей сестре. Кроме того, из воспоминаний Клары Клеменс следует, что отец был совсем не так мил, как считала Сюзи: «Его настроение постоянно менялось, и никогда невозможно было предугадать, в какой момент и из-за чего он впадет в гнев и начнет хмурить брови и сверкать глазами». Мать советовала Кларе не трогать отца, когда тот сердится, а исчезнуть с глаз — он быстро отойдет. Но два года спустя, в возрасте тринадцати лет, Клара, видимо, сумела донести до отца свое недовольство, ибо он в приступе отчаяния написал Хоуэлсу: «Я обнаружил, что все мои дети всю жизнь боялись меня! Они пребывали в постоянном страхе из-за моего острого языка и неровного характера... Я

ничего этого не подозревал до вчерашнего дня... Все беды, пережитые за 50 лет, померкли рядом с этим ужасным открытием». Сюзи, правда, говорила другое: «Папа человек с характером, но у нас в семье все такие».

Девочек учили иностранным языкам, все оказались способными, с историей было хуже, не запоминались даты; отец еще в 1878 году подумывал разработать настольную игру, которая помогала бы изучать этот предмет, теперь взялся за дело, корпел несколько месяцев и получил патент. Суть игры, названной «Марктвенова угадайка» («Mark Twain's Fact and Date Game»), следующая: доска разграфлена по датам и странам, каждый игрок получает фишки определенного цвета, когда вспоминает дату какого-либо события (рождение Шекспира, принятие Декларации независимости), ставит фишку в соответствующую клеточку, цель — заполнить доску; события имеют разную очковую стоимость в зависимости от сложности запоминания, за ошибки штраф, кто набрал больше очков — тот выиграл. Автор поручил Уэбстеру заняться внедрением, ожидал золотых гор, в 1891 году производилось несколько моделей, но игра не привилась из-за чересчур сложных инструкций: по словам одного из критиков, она «напоминала нечто среднее между таблицей логарифмов и налоговой декларацией». Похожие игры заполнили рынок настольных игр уже в XX веке, сейчас в них можно играть онлайн: существуют несколько сайтов и у твеновской модели. Тем же летом он придумал идею «мужа на час», или Универсального Домашнего Мастера, опубликовал в «Сенчюри» соответствующую статью, начал получать со всего мира письма от людей, умолявших прислать им такого мастера или предлагавших свои услуги. В Канзас-Сити была основана фирма «Универсальный мастер», основатели разбогатели. Возьмись Твен за это дело как следует — может, и получил бы золотые горы. Но он даже патента не взял.

В конце августа семья съездила в Онтеору, курортно-дачное местечко в горах Кэтскилл близ города Таннервилль: коттеджный поселок, поле для гольфа, охотничьи и рыболовные клубы; основал его художник Кэндес Тербер Уилер, жили там в основном художники и писатели. 18 сентября вернулись в Хартфорд, 19 ноября Твен встречался с президентом Кливлендом, убеждал того пересмотреть закон об авторском праве (безрезультатно). Ему стукнуло полвека — первый юбилей, роскошный банкет, множество гостей, даже мэтр Холмс в его честь написал стихи. 1 декабря вышел первый том грантовских мемуаров, семья генерала получила 200 тысяч долларов (около четырех миллионов в пересчете на нынешние деньги) — то был максимальный единовременный платеж, какой когда-либо кто-либо получил за книгу. Но это было не всё. Твен

обещал вдове генерала 450 тысяч — она получит даже больше. Тиража в четверть миллиона не хватило: только за 1886 год было продано 325 тысяч экземпляров. Сам Твен заработал около 200 тысяч, часть денег вложил в следующий издательский проект — жизнеописание папы Льва XIII. «Уэбстер и К°» возглавила топ-рейтинг издательских фирм, машина Пейджа на подходе, вот-вот принесет миллионы или, страшно подумать, миллиарды. «Меня пугают размеры моего богатства. Мне кажется, что все, к чему я ни прикоснусь, обращается в золото».

## Глава 5

### Том Сойер и король Артур

«Мама и я очень беспокоимся последнее время, потому что папа с тех пор, как издал книги генерала Гранта, кажется, совершенно забыл о собственных книгах и работах...» Для беспокойства у Сюзи были основания: в первые дни 1886 года ее отец начал работать над романом «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» («A Connecticut Yankee in King Arthur's Court») и говорил Уэбстеру, что если сможет за несколько недель продвинуться далеко, то дело пойдет, но не смог — отвлекали дела. Он продолжал битву за копирайт, бомбардировал сенаторов проектами, вел громадную переписку (письма были большей частью бестолковые и бесполезные), замучился и нанял в секретари соседа, страхового агента Франклина Уитмора. Главные же дела были издательские. После успеха книги Гранта решили продолжать тему Гражданской войны, в планах стояли мемуары военачальников Джорджа Макклеллана, Филипа Шеридана и Сэмюэла Уайли Кроуфорда. Были и другие проекты, прежде всего «Библиотека американского юмора» — антология, которую собирали Хоуэлс и Чарлз Хопкинс Кларк, директор «Ассошиэйтед Пресс», но они пока склонялись отдать свое детище издательству «Харперс». Задумывалась также многотомная антология американской литературы. Кроме того, Уэбстер выкупил у обанкротившегося Осгуда права на «Принца и нищего», «Жизнь на Миссисипи» и «Украденного белого слона», издал их по два-три раза.

Главным хитом «Уэбстер и К<sup>о</sup>» должна была стать биография папы Льва XIII. Протестанты Туичелл и Хоуэлс были убеждены, что едва ли не каждый католик в мире купит книгу. Ее уже написал священник Бернард О'Рейли. Несмотря на то, что Марк Твен был известен нападками на католицизм, с Ватиканом удалось достичь договоренности — успех издательства позволял на многое закрыть глаза. Ожидались переводы на все языки мира и миллионные тиражи. Уэбстер ждал приглашения в Рим и встречи с папой, который даст окончательное добро.

Твен, лично занимавшийся рекламой двух первых детищ «Уэбстер и К<sup>о</sup>», теперь отпустил вожжи: в издательстве все шло отлично, его больше волновала типографская машина Пейджа. Записные книжки того периода заполнены вычислениями будущих доходов, племяннику Сэму Моффету Твен говорил, что только для расчета прибыли понадобится десять человек.

В январе приехали Пейдж и Хэмерсли, обсудили дела: изобретатель просил денег на дальнейшие усовершенствования, Твен согласился, но с условием, чтобы его расходы не превысили 30 тысяч долларов (пока что он вложил 13 тысяч), Хэмерсли готовился к созданию производственно-торговой фирмы. Франклин Уитмор сказал, что деньги выкидываются на ветер. Но Оливия — она не верила в успех «Уэбстер и К°» и теперь раскаивалась — поддержала мужа, и было принято роковое решение заимствовать из ее капитала.

Конкуренты не дремали: Отмар Моргенталер из Балтимора создал аналогичную машину, которая потом получит название «линотип»: она не составляла строки из литер, а отливала их целиком, что резко повысило скорость работы: опытный специалист набирал 12 тысяч знаков в час. Линотип имел для каждой матрицы несколько типов шрифтов и давал возможность набрать газету полностью, с заголовками, объявлениями и т. д. Машина Пейджа могла делать то же на 60 процентов быстрее и с меньшим количеством брака. Но у нее были свои недостатки: дороговизна и частые поломки (следствие сложности механизма, который имел вдвое больше деталей, чем линотип). Обе машины находились в стадии доработки, какая лучше, сразу не скажешь. Моргенталер предложил купить друг у друга половину акций: кто бы ни победил, прибыль пополам. Предложение было сочтено жульническим и отвергнуто.

Будучи как никогда близок к тому, чтобы сделаться миллиардером, Твен в политике становился все «левее»: пожизненный член Союза книгопечатников, он видел главную силу социальных преобразований в профсоюзах и 22 апреля в «Вечере понедельника» произнес речь «Рыцари труда: новая династия» («Knights of Labor, The New Dynasty»; опубликована в 1957 году в журнале «Нью инглэнд куотерли»). У нас писали, что рыцарями Твен назвал пролетариат, на самом деле «Рыцари труда» — конкретная организация, созданная в 1869 году в Филадельфии рабочими-швейниками по образцу масонских лож. После экономического спада 1873–1878 годов и последовавшего за ним подъема, привлекавшего в промышленность множество людей, численность «Рыцарей» дошла до миллиона, они привлекали работников всех отраслей, чернорабочих, женщин и негров (чего не делали другие профсоюзы), были самой влиятельной рабочей организацией (и оставались таковой до 1900 года, когда их потеснила Американская федерация труда).

«В политических обществах право определять, что есть справедливость, принадлежит единственно силе; иначе говоря: сила творит справедливость — или упраздняет ее». Раньше силой обладали короли и

богачи — но скоро рабочие возьмут власть. По первости ничего хорошего от нового властителя ждать не стоит, «ибо он не более добродетелен, чем те, кто властвовал до него», и будет угнетать, но не большинство, а меньшинство, да и то легонько: в тюрьмы не сажать, не ссылать и не пытаться; «какое-то время, пока не соберется в его цитадели весь гарнизон и не укрепится его престол, он будет требователен, тверд, порою жесток», но «будем надеяться, что, когда власть его будет признана, дальше он не пойдет». Российский читатель, воспринимая эти слова с печальной насмешкой, ошибается: Твен говорит не о пролетарской революции, а о победе парламентской партии — «объединившиеся избиратели из числа рабочего населения страны, насчитывающего 45 миллионов, объявят свою волю остальным 12 или 15 миллионам и повелят, чтобы существующая система прав и законов была коренным образом изменена»; более того, рабочий-властелин «будет надежной защитой против социалистов, коммунистов, анархистов, бродяг и корыстных агитаторов». (В XX веке профсоюзы — в тех странах, где они представляли реальную силу, — оказывались по разные стороны баррикад с коммунистами, причем последние были не левее, а правее, если критерием «правости» считать тоталитарную власть бюрократического аппарата.)

Жизнь рабочих в США была тяжелой: низкая плата, 12–15-часовой рабочий день, использование детского труда. «Рыцари» начали борьбу за восьмичасовой рабочий день, люди бастовали, стране, никогда ничего подобного не видевшей, казалось, что на носу революция. В мае 1886 года в забастовках участвовали 350 тысяч человек, центром борьбы стал Чикаго, где 4 мая произошел «бунт на Хеймаркет» — митинг, во время которого кто-то (забастовщик или провокатор) бросил бомбу в полицейских, те открыли огонь; с обеих сторон были убитые, арестовали восемь бунтовщиков (четверо были казнены). Твен написал не публиковавшийся при его жизни рассказ «Снегоуборщики» («The Snow-Shovelers»): два чернорабочих-негра говорят, как они не любят «всяких там анархистов и сицилистов» и хотят «честно зарабатывать»; болтать они готовы бесконечно, но вышедший на шум домовладелец приказывает им начать работать. Было бы соблазнительно написать, что сам Твен с рабочих своих предприятий драл три шкуры или, напротив, создал им райские условия, но он всего лишь платил им довольно большую по тем временам зарплату.

Папа принял Уэбстера в июне, подписали договор, готовили книгу. Продолжались поступления от мемуаров Гранта, к лету на счетах «Уэбстер и К°» находилось почти полмиллиона долларов. Твен хотел оставить в фирме 50 тысяч, остальное пустить на машину Пейджа и другие проекты,



Уэбстеру удалось отстоять капитал в 100 тысяч. (3 июля «Чикаго трибюн» приобрела станок Мергенталера — Твена это не испугало.) В конце июня Клеменсы поехали в Кеоук повидать 84-летнюю Джейн, чье здоровье ухудшалось. Впервые семьи Ориона, Памелы и Сэмюэла собрались вместе, произошло примирение, пробыли две недели, праздновали 4 июля. Память Джейн ослабела, она приходила в себя редко, но чувства юмора не теряла, и сын писал ей в том же стиле, что и всегда: «Когда люди собираются умирать, они очень беспокоятся о том, что им делать, но в Кеоуке им беспокоиться не о чем, потому что они всегда готовы к смерти. (Твен и его домашние в Кеоуке захворали. — М. Ч.) Это дало мне урок. Когда я заболею, то приведу все дела в порядок, попрощаюсь с друзьями, поубиваю всех, кто мне не нравится, и приеду в Кеоук помирать».

В августе Твен наконец решился с убытком продать «Каолатайп компани». Осень в Хартфорде прошла в заботах, писать было некогда, только рассказ «Удача» («Luck»; опубликован в 1891 году) об идиоте-англичанине, благодаря везению прослывшем героем Крымской войны. Он заинтересовался гипнозом по методу профессора Луазетта, обещавшего улучшить память пациентов, записался в его школу (потом сказал, что профессор — болван). В начале 1887 года Пейдж, получивший в прошедшем году 30 тысяч долларов, попросил еще 14 тысяч на усовершенствования, после чего обещал устроить испытание в Нью-Йорке. «Чикаго трибюн» купила уже 23 линотипа, Мергенталер вновь предложил объединиться и был отвергнут. Британское налоговое ведомство потребовало, чтобы Твен платил налоги как резидент (на том основании, что его книги публикуются в Англии), — он написал гневное письмо королеве Виктории, но все же заплатил.

Жизнеописание Льва XII вышло зимой 1887 года на шести языках. Увы! Католики покупать книгу не желали; Хоуэлс предположил, что они вообще не любят читать. Вместо ожидаемого миллиона экземпляров едва удалось за несколько лет продать 90 тысяч. В планах был другой бестселлер — автобиография оскандалившегося Генри Бичера, тот начал ее писать, получил аванс в пять тысяч и тут же умер (его наследники завершили книгу, она вышла в 1888 году, но продавалась плохо); Твен оценил убытки в 100 тысяч. В довершение всего в марте обнаружилось, что Скотт, бухгалтер «Уэбстер и К°», украл 25 тысяч долларов. Твен требовал, чтобы его имущество продали с молотка, — Уэбстер вступился, Скотт возместил только восемь тысяч. Сам Твен ежемесячно брал из средств издательства по пять тысяч на машину Пейджа.

Летом ненадолго съездили в «Каменоломню», Твен пытался писать

«Янки», запоем читал. Хоуэлсу, 22 августа: «Какие поразительные перемены возраст производит в человеке, пока он спит! Когда я в 1871 году кончил читать «Французскую революцию» Карлейля, я был жирондистом; с тех пор, перечитывая эту книгу, я каждый раз воспринимал ее по-новому, ибо мало-помалу изменялся под влиянием жизни и среды (а также Тэна и Сен-Симона); и вот я снова закрываю эту книгу и обнаруживаю, что я — санкюлот! И не какой-нибудь бесцветный, пресный санкюлот, а Марат. Карлейль ничего подобного не проповедует; значит, изменился я сам — изменилась моя оценка фактов. <...> Ничто не остается прежним. Когда человек навещает дом, где прошли его детские годы, этот дом всегда производит впечатление съжившегося, — еще никогда не случалось, чтобы он на самом деле оказался таким же, каким его рисует память или воображение. <...> Но в этом есть и своя хорошая сторона. Вы поднимаете подзорную трубу к небу, и в поле вашего зрения попадают планеты, кометы и пламя солнечной короны, находящиеся в ста пятидесяти тысячах миль над нами. Что вы, как я вижу, и проделали, обнаружив при этом Толстого. Я до него пока не добрался, зато у меня есть Браунинг...»

Уэбстер страдал от невралгии, Твен его понукал, винил во всех несчастьях. В сентябре писал Ориону: «Шесть недель назад я обнаружил, что в конторе порядка было не больше, чем в детской без няньки. Но я провел там много времени, привел все в порядок, теперь даже такой осел, как Уэбстер, сможет управиться...» В действительности дела «Уэбстер и К<sup>о</sup>» шли плохо потому, что владельцы отстали от жизни. Подписной метод распространения был эффективен, пока Америка была сельской, — фермерам удобно, когда товар приносят на дом. В 1880-х люди в поисках работы перебирались в города, им было удобнее зайти в магазин и выбрать книгу. Спросом стали пользоваться дешевые книги в бумажных обложках — а Уэбстер по старинке выпускал роскошные, с гравюрами, переплетенные в кожу. И все же, несмотря на мрачный прогноз Твена, что доходы в 1887 году не окупят расходов, фирма к осени получила прибыль в 20 тысяч. Издали мемуары Кроуфорда, еще пару книг о Гражданской войне, книгу дипломата Коха о Турции, неплохо расходились «Легенды и мифы Гавайев», написанные гавайским королем Дэвидом Калакауа и отредактированные послом США Даггетом. В планах на будущий год — мемуары Шеридана, «Библиотека юмора»; большие надежды возлагались на 11-томную антологию американской литературы, которую составили журналисты Эдмунд Стедмен и Элен Хатчинсон: из твеновских вещей в нее вошли «Лягушка», фрагменты «Принца и нищего» и «Гекльберри Финна».

Всю осень Твен курсировал между Хартфордом, Нью-Йорком и Вашингтоном, где президент Кливленд приглашал к обеду и осыпал комплиментами, но с законом о копирайте не помогал. В Хартфорд наезжали гости — путешественник Стэнли (Твен ездил с ним в Бостон, представлял публике), сын Диккенса с семьей — всех надо развлекать, работать опять некогда, вдобавок мучили боли в правой руке. Написал только юмореску «Инцидент» («An Incident»): как Марка Твена не узнали на улице. Печатать не стал; другой текст и вовсе для публикации не предназначался и увидел свет только в 1946 году: блистательная сатира «Письмо ангела-хранителя» («Letter from the Recording Angel»):

«Эндрю Лэнгдону, углеторговцу, Буффало, штат НьюЙорк.

Управление ангела-хранителя, подраздел прошений, 20 января.

По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь сообщить:

1. О похолодании, с последующим повышением цен за антрацит на 15 центов за тонну. — Удовлетворено.

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10 %. — Удовлетворено. <...>

4. О наказании человека (вместе с его семьей), открывшего в Рочестере розничную продажу угля. — Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит — два случая (один со смертельным исходом); скарлатина — один (осложнение на уши, глухота, психическое расстройство). <...>

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты угледобывающей Северо-Пенсильванской компании. Примечание. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить их взрывом рудничного газа, о чем, если Вы согласитесь с подобной заменой, вознесите молитву особо.

Эти девять молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, истекшую к 19 января, касающиеся судебных отдельных лиц и идущие под литерой А, удовлетворены нами оптом, — с тем лишь ограничением, что в трех из 32 случаев, когда Вы требуете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимой болезнью.

Перехожу к Вашим гласным молениям. Молитва о том, чтобы Всевышний в своей вечной благодати послал тепло бедному и нагому. — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 1. <...>

К этому официальному уведомлению я хотел бы добавить несколько слов от себя. Когда люди Вашего типа совершают добрый поступок, мы

ценим его в тысячу раз сильнее, чем если бы он исходил от праведника: мы учитываем затраченное усилие. <...> Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей предлагают место учительницы в отдаленной деревне, но у нее нет денег на переезд. Чтобы доехать туда с двумя оставшимися в живых ребятишками, потребуется 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль за месяц от Ваших трех угольных шахт — 22 230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возрастет до 45–50 тысяч, взяли перо и выписали ей чек на целых 15 долларов! <...> Чего стоит готовность благородной души отдать за других свою жизнь, отдать десять тысяч жизней по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей и скареднейшей гадины, осквернявшей когда-либо землю своим присутствием!» Почему Твен использовал имя тестя, которого вроде бы любил, неясно. Может, и не любил, а притворялся, а может, хотел показать, как лицемерны даже лучшие люди. Сам он, надо думать, страстно желал разорения Моргенталера. Но по крайней мере гласных молитв о милосердии не возносил.

В первые дни 1888 года профессор Брэндер Мэттьюз в «Нью Принстон ревью» критиковал авторское право в Англии, Твен отвечал, что в Англии-то его права охраняют, а вот дома законы «самые идиотские в мире» — правительство позволяет ввозить пиратскую продукцию из Канады, лишь требуя платить пошлину, то есть не только не препятствует грабежу родных писателей, но и наживается на грабеже. Зима опять в разъездах: переговоры, обеды, в Нью-Йорке Твен стал членом основанного артистом театра Эдвином Бутом клуба «Актеры». Нервная весна: Пейдж клялся, что машина будет готова к 1 апреля — к тому времени инвестиции Твена уже превышали 80 тысяч, в издательстве все наперекосяк, Уэбстер слег, дела передали его помощнику Фреду Холлу, который был партнером в фирме с 1886 года. (В декабре Уэбстер ушел из фирмы, он умер в 1891 году. Сэмюэл Клеменс, винивший себя во всем, от болезней родных до биржевых кризисов, в проблемах «Уэбстер и К°» вины не признал, свалив ее на мужа племянницы, и продолжал его поносить.) Теперь Твен восторгался Холлом: тот был усерден, сократил расходы, занимал деньги, крутился и за 1888 год издал кроме книг Бичера и Шеридана второй том гавайских легенд, лекции преподобного Натаниэля Бертонна, поваренную книгу Александра Филиппини и (в рамках «Библиотеки юмора») сборник рассказов Уильяма ван Нортвика. Шеридан и юмористика продавались прекрасно; возможно, если бы параллельно не издавались убыточные книги и если бы Твен не тянул деньги для Пейджа и нашел время самому написать новую книгу, фирма бы выстояла.

К концу марта Пейдж работу не завершил, обещал к сентябрю,

продолжалось лихорадочное ожидание. В апреле в Нью-Йорке Твен встречался со Стивенсоном, вместе ездили в НьюЙорк; Стивенсон Твена обожал, Твен восхищался историей Джекиля и Хайда. На лето никуда не поехали: дел много. В июне Эдисон представил новую модель фонографа, Твен ему написал, прося прислать несколько аппаратов, был приглашен в лабораторию изобретателя, познакомился также с Николой Тесла, бывшим компаньоном Эдисона, занимавшимся опытами с электричеством, был очарован, дал тысячу долларов и, как считается, описал опыты Теслы в «Янки»; встречались потом и с Теслой и с Эдисоном много раз, но серьезных инвестиций Твен так и не сделал. В июле Йельский университет присвоил ему, не окончившему школы, почетную степень бакалавра искусств — был польщен. В сентябре съездили ненадолго в «Каменоломню», пытался диктовать на фонограф «Янки», но закончить не смог. В Хартфорде совсем не получалось работать: у жены гостила писательница Грейс Кинг, хозяин дома ее недолго любил, переселился к Туичеллу, но не пошло и там.

Пейдж в конце сентября заявил, что ему нужно еще 85 дней. Лишь теперь Твен начал подозревать неладное, предупредил, что дольше чем до 1 февраля ждать и платить не станет. Средства таяли. Начали продавать ценные бумаги, сократили домашние расходы и даже вспомоществование Джейн Клеменс: сын просил «не шиковать», обещал, что вот-вот все будут вознаграждены за терпение. Много денег уходило на врачей: Оливия мучилась тонзиллитом, Джейн становилось все хуже, Орион уволил сиделку, заменив ее своей женой, младший брат, узнав об этом, пришел в бешенство и деньги на сиделку прислал. Тон его писем того периода — раздраженный, злой; домашние предпочитали держаться от него подальше. В ноябре был на свадьбе знакомого, на следующий день писал другу детства Боуэну: «Брак и смерть одинаково долгожданны: первый обещает счастье, вторая его дает». Отвлёкся было на новый проект — сделать по книге путевых очерков Джона Беньяна что-то вроде экранизации: фотографировать костюмированных актеров на фоне описываемых пейзажей, а потом просматривать с помощью стереоскопа, биноклярного прибора, изобретенного Чарлзом Уитстоном в 1837 году и с 1860-х имевшегося почти в каждой американской семье. Твен высчитал, что на проект нужно два года и десять тысяч долларов, но от осуществления его отказался.

Чудо случилось 5 января 1889 года: машина Пейджа заработала! «Первое имя, набранное на ней, — Уильям Шакспер. Я набирал его около часа и теперь каждый раз, когда вижу его написанным, не пойму: я ли

ошибся или ошибаются все?» Немедленно был куплен новый дом для матери; сын рассылал ликующие письма. Ориону: «Сегодня в 12.20, впервые за всю мировую историю, машина расположила интервалы в строке из подвижных литер и выровняла ее! И я присутствовал при этом. Все было сделано в одно мгновение, автоматически и безупречно! Это несомненно первая в мире строка из подвижных литер с безупречными интервалами и безупречно выровненная. Это была последняя операция, которую оставалось проверить, — так что самое удивительное и необычайное изобретение из всех, когда-либо зарождавшихся в человеческом мозгу, окончательно завершено. <...> Никто ничего не пил, но все были словно пьяные. Ну, не пьяны, а оглушены, потрясены, ошарашены. Все другие изобретения человеческого ума кажутся заурядными безделками по сравнению с этим величественным чудом механики. Телефоны, телеграфы, паровозы, хлопоочистительные машины, швейные машины, счетчики Бэббеджа, веретена Жаккарда, усовершенствованные прессы, прядильные машины Аркрайта — все это простенькие игрушки, сущая ерунда! «Наборщик Пейджа» идет далеко впереди остальной процессии человеческих изобретений. Недели через две-три мы поразомнем ей суставы, и она будет работать так же мягко и ровно, как человеческие мышцы. Тогда мы возвестим миру о нашей великой тайне и позволим ему смотреть и дивиться».

Машина сломалась через два дня. Пейдж сказал, что это пустяк, надо еще четыре тысячи долларов и все будет о'кей. Через месяц новая поломка и новые денежные требования. Когда «наборщик Пейджа» работал, он был в шесть раз производительнее линотипа, но работал он от силы два-три дня в месяц, а остальное время «разминал мышцы». Твен, однако, был оптимистично настроен и к маю наконец завершил «Янки». Это самая смешная из его больших работ и самая непонятная.

Хэнк Морган, трудящийся янки из Коннектикута, попал в средневековую Англию, легко, как Том Кенти, приспособился. «Вдумайтесь, какие возможности предоставляет шестой век знающему, умному, деятельному человеку для продвижения вперед, для роста вместе со всей страной. Широчайшее поле деятельности, и к тому же полностью отданное мне одному, — ни одного конкурента, ни одного человека, который по знаниям и способностям не был бы в сравнении со мной младенцем. А что досталось бы на мою долю в двадцатом веке? В лучшем случае я был бы мастером на заводе, не больше...»

Он стал первым лицом в королевстве. Насадил цивилизацию конца XIX века, здоровую и чистую, немного пошловатую, с рекламами, с

газетной трескотней. «Миссионеры должны были читать свои объявления лордам и леди и объяснять им, что такое мыло; если же лорды и леди побоятся испробовать мыло, они должны были предложить им испробовать его на собаке. Затем миссионер обязан был собрать всю семью и показать действие мыла на себе самом; он не мог отступать ни перед какими трудностями, даже перед самыми неприятными опытами, лишь бы убедить дворянство, что мыло совершенно безвредно; если, несмотря ни на что, недоверие не рассеется, он должен был поймать отшельника, — все леса кишели ими; отшельники называли себя святыми, и все верили в их святость; они были несказанно набожны и творили чудеса, и все благоговели перед ними. Если отшельника вымыть при герцоге и отшельник выживет, а герцог все-таки не уверует в мыло, — такого герцога надо оставить в покое и уйти от него прочь. Когда моим миссионерам удавалось победить какого-нибудь странствующего рыцаря, они мыли его, а затем брали с него клятву, что он добудет себе такую же доску и будет распространять мыло и цивилизацию до конца своих дней. Таким образом число сподвижников на этом поприще все увеличивалось и потребление мыла упорно росло».

Хэнк с королем отправились путешествовать под видом простолюдинов — король, как в «Принце и нищем», наглядевшись на страдания подданных, оказался не таким уж плохим человеком. Хэнк победил злого Мерлина, полюбил девушку, женился, родились дети; пытался заменить монархию республикой, но не успел и погиб — а может, ему все это лишь приснилось. У советских критиков не было затруднений в толкованиях: Твен обличал как феодализм, так и капитализм, то есть общество, где эксплуатируют трудящихся, а революция Моргану не удалась, ибо он не владел учением о диктатуре пролетариата. Американцы и англичане, современники Твена, тоже не сомневались: автор издевался над монархической Европой, противопоставляя ей демократическую Америку. Но 100 лет спустя они задумались. Морган — герой или антигерой? Америка — воспел ее Твен или высмеял? Революция — хвалил или осуждал?

Сам автор в заметках к роману ясно сказал, что удар был направлен на монархию и поддерживавшую ее церковь. «Королевский трон не может рассчитывать на уважение. С самого начала он был захвачен силой, как захватывает добычу разбойник на большой дороге, и остался и дальше обиталищем преступления». «До того как церковь утвердила свою власть над миром, люди были людьми, высоко носили головы, обладали человеческим достоинством, силой духа и любовью к независимости;

величия и высокого положения они добивались своими заслугами, а не происхождением. Но затем появилась церковь и принялась за работу; она была мудра, ловка и знала много способов, как сдирать шкуру с кошки — то есть с народа; она изобрела «божественное право королей» и окружила его десятью заповедями как кирпичами, вынув эти кирпичи из доброго здания, чтобы укрепить ими дурное; она проповедовала (простонародью) смирение, послушание начальству, прелесть самопожертвования; она проповедовала (простонародью) непотивление злу; проповедовала (простонародью, одному только простонародью) терпение, нищету духа, покорность угнетателям; она ввела наследственные должности и титулы и научила все христианское население земли поклоняться им и почитать их».

По мнению Оруэлла, Твен в романе «намеренно льстил всему, что есть худшего и вульгарнейшего в американской жизни». Над Америкой он, конечно, тоже посмеялся, но снисходительно, любя; дописывая «Янки», он вел полемику с Мэтью Арнольдом, издавшим книгу «Цивилизация в США», где было много оскорбительного для американцев, и написал статью «Американская пресса», доказывая, что, несмотря на вульгарность, погоню за сенсациями и некомпетентность, родная печать все же стократ лучше английской, ибо она свободнее.

Многие твеноведы считают, что в романе аллегорически изображена не британская монархия (уже безобидная в конце XIX века), а российская. Когда-то Твен восторгался нашим царем, но его отношение изменилось: «Дайте власть главе христианской церкви в России — императору, — и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкар, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил». Переменились времена: в 1881 году на трон вошел Александр III, чье царствование Никита Михалков считает идеальным, а некто Лев Толстой — «ретроградным и глупым», попыткой «вернуть Россию к варварству» путем «постыдной деятельности виселиц, розг, гонений, одурения народа». Катков и Победоносцев открыли кампанию против «гнилого либерализма», общество, напуганное террористами, обрадовалось «сильной руке», вместо конституции страна получила «Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия», губернаторы — право закрывать органы печати и учебные заведения, приостанавливать работу земств и городских дум. Циркуляр о «кухаркиных детях» ограничил доступ в гимназии и университеты выходцам из низших сословий; земская и городская



контрреформы отменили выборность органов местного самоуправления, вернув власть на местах крупным собственникам. Ну и еще мелочи: цензура, запрет «Отечественных записок», расцвет политического сыска, 98 процессов против диссидентов, каждый год в Сибирь ссылалось порядка одиннадцати тысяч человек. (Было и хорошее: отсутствие войн, экономический рост, отмена подушной подати; не бывает обществ, где бы совсем ничего хорошего не делалось.)

Иностранцы ужасались, Чарлз Суинберн в поэме «Россия» писал, что такого мрака не видел даже Данте в аду. В 1887 году американский журналист Джордж Кеннан по заданию «Сенчюри» поехал в Россию (он уже бывал там в 1860-х), изучал жизнь ссыльных и написал книгу «Сибирь и ссылка», которая обошла весь мир. Он ездил по Штатам с лекциями, демонстрируя снимки, для эффекта выходил на сцену в кандалах. Твен слушал Кеннана в марте 1888 года в Вашингтоне; репортеры писали, что он «со слезами на глазах» заявил, что революция в России необходима и «весь цивилизованный мир» обязан ее поддержать. В предисловии к одному из изданий «Янки» он писал: «Я не иллюстрировал сходство близнецов — ада и России. Это привело бы к нарушению моей цели — показать, как христианский мир постепенно двигался к милосердию и власти закона. Россия в эту схему не укладывается». Другого способа привести Россию (или иную незаконную державу) в соответствие с христианским миром, нежели революция, он не видел. Хэнк Морган — тоже: «Я родом из Коннектикута, в конституции которого сказано, что «вся политическая власть принадлежит народу и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным»».

«Казалось, будто я читаю о Франции и о французах до их навеки памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг — полкапли крови за каждую бочку ее, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два «царства террора»; во время одного — убийства совершались в горячке страстей, во время другого — хладнокровно и обдуманно: одно длилось несколько месяцев, другое — тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек, другое — сотне миллионов. Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать, минутный террор; а между тем что такое ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным умиранием в течение всей жизни

от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной муки? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости к его жертвам».

Глупый Марк Твен, показать бы ему революции XX века, по-другому бы заговорил? Но революции, самые кровавые, не случаются ни с того ни с сего — как сказал Радзинский, «без Александра III не было бы никакого Ленина», добровольно власть не отдает никто и никогда... «Я прочел послание Кларенсу и сказал, что хочу отправить его неприятелю под защитой белого флага. Он разразился свойственным ему саркастическим смехом и сказал:

— Ты все еще не можешь понять, что такое дворянство. Давай сэкономим труд и время. Вообрази себе, что я предводитель этих рыцарей. Вот ты являешься с белым флагом, приближаешься ко мне и вручаешь свое послание, а я даю тебе ответ.

Мысль эта мне пришла по вкусу. Я выступил вперед, охраняемый воображаемыми вражескими солдатами, достал бумагу и прочел ее вслух. Вместо ответа Кларенс вырвал бумагу из моих рук, надменно сморщил губы и презрительно произнес:

— Разрубите этого скота на части и отправьте его в корзине назад к тому низкородному холопу, который его прислал. Иного ответа у меня нет!»

Твен, как уже отмечалось, не дожил до времен, когда появятся диктатуры без монархии и религии без церкви; он не мог предположить, что монархические государства окажутся лучше тех, где правит (как считается) «народ». Но он подошел к пониманию этого достаточно близко. «Какая это была забавная и любопытная страна! И какой народ! Милый, простодушный и доверчивый — ну просто кролики! Человеку, родившемуся в атмосфере свободы, горько было слушать, как искренно и смиренно клялись они в своей верности королю, церкви и знати; а между тем у них было не больше оснований любить и почитать короля, церковь и знать, чем у раба любить и почитать кнут или у собаки любить и почитать прохожего, который бьет ее!» «Большая часть британского народа при короле Артуре состояла из рабов, самых настоящих; они так рабами и назывались и в знак рабства носили железные ошейники; остальные тоже, в сущности, были рабы, хотя не назывались рабами; они воображали себя свободными людьми, и их именовали «свободные люди»». «Ведь в рабстве нас отталкивает его *сущность*, а не его название. Достаточно послушать,

как говорит аристократ о низших классах, чтобы почувствовать в его речах тон настоящего рабовладельца, лишь незначительно смягченный; а за рабовладельческим тоном скрываются рабовладельческий дух и притуплённые рабовладельчеством чувства. В обоих случаях причина одна и та же: старая укрепившаяся привычка угнетателя считать себя существом высшей породы».

Хэнк Морган, долгое время считавшийся (во всяком случае, американцами) положительным героем, в ХХI веке стал им же казаться злодеем: он жестоко перебил рыцарей, вообще хотел уничтожить чужую цивилизацию, как поступали его предки по отношению к индейцам, ведь Твен сам признал, что демократическим устремлениям Хэнка препятствовали не только рыцари (первыми напавшие на него и, кстати, укокошившие доброго короля Артура), но и народ: «К концу недели я стал понимать, что народные массы только в течение одного дня подбрасывали свои шапки в честь республики, на большее их не хватило! Стоило церкви и дворянству только нахмуриться, и они сразу превратились в овец! И сейчас же овцы стали стекаться в загоны — то есть в военные лагеря — и предлагать свои дешевые жизни и свою дорогую шерсть на борьбу «за правое дело». Даже те, кто недавно еще были рабами, тоже стояли «за правое дело», прославляли его, молились о его успехе, чувствительно умилялись, говоря о нем, как все прочие простолюдины. Какая глупость! Не люди, а навоз!» (В начале 1890-х Твен писал в очерке о Джейн Клеменс: «По-видимому, среда и воспитание могут произвести совершенные чудеса. В большинстве случаев наши рабы были убежденные сторонники рабства. Без сомнения, то же происходит с гораздо более развитыми умственно рабами монархии: они признают и почитают своих господ, монарха и знать и не видят унижения в том, что они рабы, рабы во всем, кроме названия, и менее достойны уважения, чем наши негры, если быть рабом по доброй воле хуже, чем быть рабом по принуждению, — а это несомненно».)

Да, простолюдины в Артуровом королевстве (или наши современники в некоторых странах) живут в вопиющем неравенстве, нищете, грязи, страхе, вшах и кандалах, но что делать, если таково их желание, таковы их традиции? Можно ли силой насаждать свободу? В 1889 году Твен полагал, что можно и должно. Но он не раз будет менять мнение по этому вопросу. Зато от другой идеи, сформулированной в «Янки», никогда не откажется: человек — беспомощное творение, «машина». «Взглядов, привитых с детства, не выбьешь ничем; воспитание — это все. Мы говорим о характере. Глупости: никаких характеров не существует; то, что мы называем характером, попросту наследственность и воспитание. У нас нет

собственных мыслей, собственных мнений. Наши мысли и мнения передаются нам, складываются под влиянием воспитания. Все, что есть у нас собственного и что, следовательно, является нашей заслугой или нашей виной, может поместиться на кончике иголки, все же остальное нам передал длинный ряд предков, начиная с медузы, или кузнечика, или обезьяны...» (Сам он, впрочем, признавал, что изменил привитые ему в детстве и юности взгляды на рабовладение, политические партии, евреев, женщин и множество других предметов.)

Впервые он высказал эту мысль в речи «Что такое счастье», произнесенной в «Вечере понедельника» в 1883 году, потом в записных книжках: человек — «просто машина, автоматически функционирующая без всякого его участия». Как считается, на него повлияли теории Уильяма Леки, полагавшего, что характер и мораль человека определяются средой, Спенсера, который утверждал, что повторяющиеся ассоциации закрепляются в мозгу человека и передаются по наследству, и психолога Уильяма Джеймса (брата Генри Джеймса), который обращал внимание на связь личности и среды. Леки и Джеймса Твен действительно почитал, о Спенсере отзывался с пренебрежением, но спенсеровскую идею о том, что история движется по пути прогресса, пока разделял. Из неопубликованного предисловия к «Янки»: «Если кто-либо склонен осуждать нашу современную цивилизацию, что ж, помешать этому нельзя, но неплохо иногда провести сравнение между ней и тем, что делалось на свете раньше, а это должно успокоить и внушить надежду».

Хоуэлс читал и правил текст, просил смягчать выражения, Твен писал ему, что если бы начал роман заново, высказался бы еще крепче. «А эти невысказанные мысли жгут меня; их становится все больше и больше, но теперь им никогда не доведется увидеть свет. Впрочем, для этого потребовалась бы целая библиотека и перо, раскаленное в адском огне».

Лето в «Каменоломне» было грустное. У Оливии болели глаза, она не могла читать, брат Чарлз ныл, что муж ее разорит. 3 июля умер Теодор, муж Сьюзен. Твен — Хоуэлсу: «Я признаю, что есть довод против самоубийства: печаль покинутых близких, ужасная тоска в их сердцах, они — слишком дорогая цена за освобождение». Болели мать, теща, дочери; официальная медицина не помогала, начали искать иных способов. В конце XIX века в США стали популярны учения на стыках религии, психотерапии, спиритизма, йоги, самовнушения (из них потом вырастут дианетика и сайентология), самой популярной была «Христианская наука», провозглашенная Мэри Бейкер Эдди в 1879 году. Миссия Христа, по ее

утверждению, заключалась во врачевании; болезнь — явление того же порядка, что и грех, лекарства тут не помогут, главное — душа, лишь через познание Христа человек может вылечить себя от диареи, насморка или паралича.

Клеменсы читали работы Эдди, женскую часть семьи они впечатлили, но показались чересчур заумными. Больше понравилось «Психическое лечение» (одна из составных частей учения Эдди), которое проповедовала гувернантка Лилли Фут: болезни происходят от «негативных мыслей», а если настроиться на «позитивные мысли», можно вылечиться, преуспеть в делах и стать счастливым. Разумеется, в некоторых случаях и при некоторых заболеваниях психологическое состояние больного влияет на выздоровление; доказан и эффект плацебо. Но тогда считали, что самовнушением можно вылечить всё: сломанную ногу, близорукость, слепоту. «Психическое лечение» практиковали и хартфордские соседи, в частности подруга Оливии Элис Дэй. Клеменсы решили уверовать. Глава семьи был простужен, пил лекарства и мыслил позитивно, счел, что излечился благодаря мыслям. Близорукие Оливия и Сюзи бросили носить очки и уверяли, что видят лучше; Твен, у которого начала развиваться дальновзоркость, очки тоже выбросил, потом все постепенно вернулись к очкам, но продолжали лечить мыслями головную боль и несварение желудка. Пока ни к чему ужасному это не привело. Справедливости ради напомним, что традиционная медицина была немногим лучше: больных по-прежнему лечили лежанием взаперти (это прописали дочери Хоуэлса — она умерла), а основными лекарствами считались мышьяк, висмут, ртуть, кокаин, героин и т. п.

В августе приехал путешествовавший по Америке Киплинг, единственный современный Твену беллетрист, которого тот читал, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте; восхищение было взаимным. Киплинг: «Большая затемненная гостиная; огромное кресло; мужчина с гривой седых волос, каштановые усы вокруг женственно тонкого рта, квадратная, сильная рука, пожимающая мою, и самый медленный, самый спокойный, самый флегматичный в мире голос... В первый миг меня поразило, как он стар; но уже через минуту я почувствовал, что это впечатление обманчиво, а через пять минут я видел, что седые волосы — лишь результат несчастного случая. Он был необыкновенно молод». Твен: «Мы обсудили все на свете. Он знает все, что только можно знать; я — все остальное»; по воспоминаниям гостя, говорили о копирайтах, автобиографиях и Томе Сойере. Проводив коллегу, хозяин работал над корректурой «Янки», в конце августа писал статью «Профессор Махаффи о

равенстве» («Professor Mahaffy on Equality»): Джон Махаффи, ирландский историк-эллинист, утверждал, что рабочие и «белые воротнички» неравны физически и умственно, Твен отвечал, что понятие равенства сугубо политическое: в США такое равенство есть, и это искупает все пороки его родины.

Статью пришлось бросить и ехать в Хартфорд: Пейдж вновь не выполнил обещание доделать машину. Твен решил построить фабрику и передать производство в другие руки. Предложил изобретателю новый контракт, по условиям которого сам единолично контролировал бизнес. Тот запросил отступные: 160 тысяч и еще 25 тысяч ежегодно. Таких денег у Твена не было — если только спустить весь капитал жены. Он пытался искать инвесторов. Пригласил старого друга Джозефа Гудмена, предложил ему собрать 100 тысяч за десять процентов комиссионных, просил уломать общего знакомого, сенатора Джона Джонса. «Уэбстер и К<sup>о</sup>» дышала на ладан, за 1889 год выпустили только мемуары юриста Роско Конклинга и первый том антологии американской литературы. Но «Янки», запланированный на декабрь, должен был спасти издательство.

За пару недель до выхода книги прекратила существование одна из монархий — бразильская. Случилось это довольно мирно<sup>[28]</sup>. Из письма Сильвестру Бакстеру, редактору газеты «Бостон геральд»: «Рухнул еще один трон, и я купаюсь в океане блаженства. Если бы я мог прожить еще пятьдесят лет, то несомненно увидел бы, как все троны европейских монархов продаются с аукциона на слом. <...> А вы обратили внимание на слухи, что португальский трон непрочен, что португальские рабы выходят из повиновения? А также что главный рабовладелец Европы, Александр III, настолько уменьшил свой ежемесячный заказ на цепи, что его сталелитейные заводы работают только половину обычного времени? <...> События развиваются. Довольно скоро можно ожидать наплыва эмигрантов. Конечно, готовиться к этому мы не будем — таков уж наш обычай. А в итоге лет через пять в нашей полиции будут служить только бывшие короли да герцоги. Они же будут наниматься в извозчики и белить заборы и создадут переизбыток неквалифицированной рабочей силы, и тогда, когда будет уже поздно, мы пожалеем, что не приняли мер предосторожности и не утопили их всех в Касл-Гарден».

«Янки» вышел в шикарном переплете, был богато иллюстрирован, продавался в Штатах отлично и получил прекрасную прессу (помимо прочих достоинств, это был один из первых американских фантастических романов). Англия — другое дело. «Чатто и Уиндус» просили отредактировать текст, чтобы он не был оскорбителен для англичан. Твен

отказался, угрожая издать книгу за свой счет: британцы писали об Америке гадости, «пора в свою очередь и им проявить мужество и выслушать кое-что о себе». Издательство уступило, но англичане не проявили мужества, рецензенты называли роман клеветническим, стали ругать и прежние работы Твена, которые ранее превозносили: они-де нравятся только необразованным людям и не являются произведениями высокого искусства. Твен, довольно равнодушный к критике, тут решил унизиться и обратился к лондонскому журналисту Эндрю Лэнгу: да, он для необразованных и пишет, для ценителей высокого искусства и без него есть кому писать, пусть Лэнг разъяснит это публике. Тот опубликовал в «Иллюстрированном Лондон ньюс» хвалебную статью о Твене, отнеся «Гекльберри Финна» к высокому искусству, но о «Янки» не сказал ни слова.

Другая неприятность: обвинение в плагиате. Чарлз Кларк в 1882 году опубликовал роман «Приключения профессора Баффина»: герой попал на остров, где царит средневековье, попытался модернизировать жизнь людей и привить демократию, хотел жениться на местной девушке, погиб, потом оказалось, что это сон. Совпадали даже мелочи: стрельба из револьвера по рыцарям в латах, пришивание карманов к одежде и пр. Твен в интервью «НьюЙорк уорлд» заявил, что Кларка не читал, а совпадение сюжетов — вещь обычная. Сомневаться в его словах вряд ли стоит: идей и сюжетов у него было столько, что хватило бы на полсотни писателей средней руки.

С тяжбы начался и 1890 год. Актриса Эбби Ричардсон и продюсер Дэниел Фромен с разрешения автора поставили пьесу «Принц и нищий» — сперва в Филадельфии, потом в Нью-Йорке и Лондоне, шла она успешно, но журналист Эдвард Хауз, знакомый Твена, заявил, что еще в 1881 году приобрел права на драматизацию, и потребовал запрета спектаклей (хотя сам никакой пьесы не написал и не собирался). Несколько месяцев шел суд, Твен под присягой показывал, что договора с Хаузом не было, а лишь разговоры вокруг да около, но ему не поверили, дело он проиграл, был в бешенстве, но по настоянию адвоката заплатил истцу отступного. Не ладилось и с наборным станком. Гудмен старался, привлек Джонса и еще одного богача, Маккея, те приехали, проект сочли стоящим, но два миллиона долларов, которые требовались на организацию производства, были неподъемной суммой. Джонс все же назначил день для демонстрации машины, но накануне Пейдж ее разобрал на части и собрать не успел. Мергенталер в последний раз предложил сотрудничество — Твен решил, что конкурент его боится, а стало быть, победа близка. Но пока все шло по-прежнему: умная машина не работала и лишь кушала по пять тысяч долларов ежемесячно; к 1890 году вложения Твена составили, по разным

оценкам, от 150 тысяч (около трех миллионов по-нынешнему) до 190 и даже 300 тысяч. Приданое Оливии таяло; вдобавок обесценивались ее угольные акции.

Весной мучил ревматизм, писать было трудно, фонограф «сбивал с мысли», Твен сделал лишь запись о Пейдже для автобиографии. Хотели ехать в Европу на воды, но не решились:

Джейн Клеменс вот-вот могла умереть. Поехали в Онтеору и прожили там с июля до середины сентября, сняли дом, планировали его купить — скоро, когда придут миллионы. Курортная колония состояла из артистов и литераторов, гостили друзья по клубу «Актеры» — Брэндер Мэттьюз, издатель Лоуренс Хаттон; художник Беквит рисовал портрет Твена. Общество собиралось на обед в отеле «Медведь и лиса», устраивались маскарады, спектакли, Сэмюэл и Сюзи Клеменс блистали во всех ролях. На праздновании 4 июля Твен выступал с речью, в 1895 году опубликованной под названием «Искусство рассказа» («How to tell a Story»). Вернулся к «Тому и Геку у индейцев», пытался диктовать на фонограф, опубликовал пародию на медицинские статьи «Литературная окаменелость» («A Majestic Literary Fossil»). Вновь обратился к идее новой Библии, написал фрагмент «День в раю» («That Day in Eden»): Сатана вспоминает, как пытался рассказать Адаму и Еве, что такое боль и страх, но тщетно, ибо сам их не испытывал, а без этого было невозможно объяснить безгрешной юной чете разницу между добром и злом.

Летом в Лондоне начал выходить журнал «Свободная Россия». Организовал его Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, революционер-народник, бывший член «Земли и воли», 4 августа 1878 года убивший шефа жандармов Мезенцева. Он бежал за границу, публиковал книги о положении в России, от террора отказался, ратовал за реформы, просвещение и конституционную монархию, журнал его был выдержан в просветительском духе. О том, что Твен сочувствует русским революционерам, Степняк-Кравчинский узнал от Кеннана, а Твен узнал о Степняке-Кравчинском от Хоуэлса, опубликовавшего благожелательную рецензию на книги последнего. Степняк-Кравчинский просил дать материал для «Свободной России», но Твен отказался: политика журнала ему казалась вредной: «...С особым вниманием и надеждой обращаешься к Вашему изложению целей тех партий, которые борются за свободу, — и испытываешь глубокое разочарование. Создается впечатление, что ни одна из них не желает окончательно лишиться современного ада, — всех их вполне удовлетворит некоторое понижение температуры. <...> Предположим, что этот каменносердый, кровожадный маньяк всея Руси



бесчинствовал бы в Вашем доме, преследуя беспомощных женщин и детей — Ваших родных детей, Вашу жену, мать, сестер. Как бы Вы поступили, если бы у Вас в руках было ружье? А ведь он действительно бесчинствует в Вашем отчем доме — России. И сжимая в руках ружье, Вы бездействуете, изыскивая способы «модифицировать» его.

Мое привилегированное положение, позволяющее мне спокойно и безбоязненно писать эти кроважадные строки, было мне обеспечено реками крови, пролитой на многих полях сражений во многих странах, но среди всех моих прав и привилегий нет ни одного, даже самого жалкого, которое было бы добыто петициями, просьбами, агитацией за реформы или какими-либо другими сходными методами. Если мы вспомним, что даже конституционные английские монархи соглашались расстаться с украденными у народа правами, только когда такое согласие вырывалось у них с помощью кровавого насилия, то логично ли надеяться, что в России удастся добиться чего-либо с помощью более мягких приемов? Разумеется, я знаю, что опрокинуть русский трон лучше всего было бы революцией. Но устроить там революцию невозможно, и, пожалуй, остается только сохранять трон вакантным с помощью динамита до того дня, когда ближайшие кандидаты предпочтут с благодарностью отклонить эту честь. Тогда организуйте республику. <...>

Если бы Ваша жена, или Ваш сын, или Ваш отец были бы сосланы в сибирские рудники за неосторожные слова, вырвавшиеся из глубины души, измученной невыносимой тиранией царя, а Вам представился бы случай убить тирана и Вы не воспользовались бы им, то не кажется ли Вам, что Вы ненавидели бы и стыдились бы себя до конца своей жизни? Если бы эта прелестная, образованная русская женщина, которая недавно была раздета донага на глазах грубой солдатни и засечена насмерть рукой царя, действовавшего через своего покорного исполнителя, была бы Вашей женой, дочерью или сестрой, а сегодня царь прошел бы в двух шагах от Вас, что бы Вы почувствовали — и что бы Вы сделали?»

Александр III, конечно, гуманистом не был, но уж про засеченных-то женщин американец сочинил для красного словца, подумает читатель — и ошибется. От Кеннана Твен узнал о «Карийской трагедии», массовом самоубийстве политзаключенных на Карийской каторге<sup>[29]</sup> в 1889 году. 11 августа 1888 года за отказ встать перед приамурским генерал-губернатором А. Н. Корфом заключенная Е. Н. Ковальская была переведена в читинскую тюрьму, перевод сопровождался издевательствами, ее раздели догола; заключенные М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная и Н. С. Смирницкая требовали уволить коменданта тюрьмы Масюкова, объявили длительную

голодовку; заключенная Н. К. Сигида за попытку ударить Масюкова была высечена — 100 ударов (!) розгами; в ту же ночь в знак протеста Сигида, Ковалевская, Калюжная и Смирницкая отравились морфием; в мужской тюрьме яд приняли 14 человек (там умерли только двое). Скандал был большой, и в 1890 году Карийскую каторгу ликвидировали.

Ну да все равно хорошо было Марку Твену из своей гигиенической Америки нас критиковать, еще слишком церемонились с революционерами, они потом больше поубивали, а террористов надо не в каторгу ссылать, а, как сейчас выражаются, «ликвидировать»... Был, правда, человек, полагавший, как и Твен, что революционные злодеяния — лишь производное страшного зла, которое творит государство: «Разве вы можете верить в то, что, не удовлетворяя требованиям, определенным требованиям всего русского народа и осознанным уже большинством людей требованиям самой первобытной справедливости, требованиям уничтожения земельной собственности, не удовлетворяя даже и другим требованиям молодежи, напротив того, раздражая народ и молодежь, вы можете успокоить страну убийствами, тюрьмами, ссылками? <...> Вы говорите, что революционеры начали, что злодеяния революционеров могут быть подавлены только такими же мерами. Но как ни ужасны дела революционеров: все эти бомбы, и Плеве, и Сергей Александрович, и те несчастные, неумышленно убитые революционерами, дела их и по количеству убийств и по мотивам их едва ли не в сотни раз меньше и числом и, главное, менее нравственно дурны, чем ваши злодеяния»<sup>[30]</sup>. Но нынче подобные взгляды, кажется, не в моде.

Степняку-Кравчинскому, заколовшему Мезенцева средь бела дня в центре Петербурга, должно быть, странно было слышать от Твена упреки в малодушии, но он не обиделся. Твен же сам себе написал ответ от Александра III, завершавшийся словами: «Что ж! Моя империя станет республикой через пять лет, и я на себе узнаю, что такое Сибирь. Если встретите м-ра Кеннана, попросите его, пожалуйста, чтобы он приехал в Россию и дал лекции. Я о нем как следует позабочусь». (Кеннан приехал в Россию в июле 1901 года, но скоро был выслан, продолжал симпатизировать революционерам, но октябрь 1917-го оценил как контрреволюционный переворот: «Власть оказалась там же, где и была — в руках группки самоназначенных бюрократов, которых народ не может ни снять, ни контролировать».) Под Рождество Твен собирался опубликовать в газете «Бостон дейли глоуб» пожелания добра и счастья «всем, кроме русского императора», но, когда выводил в черновике эти слова, зазвонила «гребаная хреновина», и он в приступе злобы исправил

«императора» на «изобретателя телефона».

Жена и дети в рнтеоре жили безвылазно, отец семейства отлучался в НьюЙорк по делам, в августе получил телеграмму — мать умирает, примчался в Кеоук, но Джейн стало лучше. По возвращении в Хартфорд дела шли ни шатко ни валко: наборная машина продолжала пожирать деньги и совершенствоваться, издательство еле сводило концы с концами, хотя выпустило за минувший год шесть книг: из них хорошо шли только мемуары Шермана. Дом был пуст: по настоянию матери Сюзи отдали в женскую школу Брин-Мор в Пенсильвании. Она тосковала по дому, отец по ней, Оливия, желая, чтобы дочь привыкла общаться со сверстницами, выдерживала характер и в школу не ездила, навещали «ссылную» только отец с Кларой. Из письма Твена знакомой, Элис Кингсбери: «И теперь Сюзи в колледже! У меня перехватывает дыхание, когда думаю об этом...» Младшие дочери были милы, Клара всерьез увлеклась музыкой, Джин, крепкая, с мальчишечьими ухватками, собиралась стать жокеем, но такого интеллектуального и духовного общения, как Сюзи, они отцу дать не могли. Чтобы как-то компенсировать отсутствие Сюзи, Твен организовал у себя дома дамский литературный клуб «Общество Браунинга». Собирались по средам, читали и обсуждали стихи Браунинга, но продолжалось это веселье недолго. 27 октября умерла мать, через месяц — теща, напоследок подарившая зятю десять тысяч долларов на машину Пейджа. На похоронах матери Твен был, на тещины не остался, хотя и приехал со всей семьей в Эльмиру: еще до смерти Оливии Лэнгдон у здоровой и крепкой Джин случился загадочный приступ, который не смогли диагностировать, отец повез ее в Хартфорд к докторам. То была эпилепсия, по тогдашним понятиям страшная и постыдная психическая болезнь.

## Глава 6

### Том Сойер и близнецы

24 декабря 1890 года Пейдж доложил, что работа машины полностью его удовлетворяет; Твен к тому времени вложил в нее как минимум 150 тысяч долларов и еще 78 тысяч — в «Уэбстер и К°»; за истекший год издательство принесло ему 20 тысяч, еще 10 тысяч он получал за свои книги, но все деньги были оставлены в фирме. Производить и продавать машину — только это спасет от краха. 13 января 1891 года он встретился в Вашингтоне с Джонсом, потом писал ему, обещая 35 миллионов прибыли в год на американском рынке и 20 миллионов — на европейском. «Вы говорили о том, чтобы распространить акции среди людей со скромными средствами. Это навело меня на мысль: может, Вы с м-ром Карнеги (Эндрю Карнеги, стальной магнат. — М. Ч.) или еще с кем-нибудь сами создадите компанию и найдете акционеров...» Ездил в Вашингтон еще несколько раз и так устал и изнервничался, что известие об избрании почетным членом Американской академии политических и социальных наук оставило его равнодушным.

13 февраля Джонс сообщил, что обсуждал ситуацию с тремя бизнесменами и все предпочитают линотип Мергенталера. В тот же день письмо от Холла: доходы не окупают расходов на антологию американской литературы, единственный выход — издавать больше книг. На 1891 год их было запланировано 13: три романа, юмористический сборник, мемуары адмирала Джона Дальгрена, книга о Карлейле, две религиозно-философские работы и т. д. Добрались наконец и до Толстого, правда, выбрали произведения, которые вряд ли могли привести публику в восторг: нравоучительные повести «Поликушка» (она уже публиковалась другим издательством в 1888 году) и «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях». Толстой с 1886 года много издавался в США, был там чрезвычайно любим, его называли «северным Гомером», «Шекспиром в прозе»; его просили высказываться обо всем, его всемирная популярность как минимум не уступала твеновской. Твен величие и славу современника признавал (художник И. К. Пархоменко в 1908 году хотел писать серию портретов русских и иностранных писателей, включая Толстого и Твена, последний ответил, что для любого было бы честью соседствовать с Толстым), но так и не заинтересовался ни его творчеством, ни теориями. Вообще соблазнительная идея «запараллелить» двух «Т», почти одновременно

родившихся и умерших и одинаково знаменитых, при ближайшем рассмотрении оказывается несостоятельной. Сходство, конечно, было: оба критиковали церковь, правительства, войны, современную цивилизацию, недолюбливали беллетристику, пытались писать автобиографические тексты с предельной откровенностью. Но эти черты вы обнаружите у каждого второго крупного писателя. Двум «Т» случалось одновременно высказываться об одном и том же, иногда с одинаковыми выводами (хотя, как правило, с разной аргументацией) — но в целом их мировоззрения и созданные ими литературные вселенные были друг другу настолько чужды, что вряд ли имеет смысл углубляться в различия: различалось всё. Если искать у нас кого-то хоть немного близкого Твену, то это Чехов — их объединяли и «смех сквозь слезы», и внимание к психологии детей и зверей, и поэтичные описания природы, и нелюбовь к романтизму, и приступы «мерлехлюндии», и ядовитость (хотя во многих отношениях они полярны).

Единственная вещь, на которую издатели всерьез надеялись, — книга Герберта Уорда о путешественнике Стэнли. Авторам и коммивояжерам нужно платить авансы — Твен впервые отказал в деньгах Пейджу, взял первый заем в 30 тысяч долларов в банке Маунт Моррис и заимствовал 10 тысяч из средств жены, что означало последнюю степень падения. Для заработка нужно издать новый роман; прежде чем приступить к нему, Твен написал вещь «в стол», опубликованную лишь в 2009 году, — «Письма собаки» («Letters from a Dog to Another Dog Explaining Accounting for Man»). Недолюбливая собачью породу, он признал за ней хорошее свойство — благодарность: «Если вы подберете умирающую от голода собаку и накормите, она вас не укусит; в этом разница между собакой и человеком»; «Считается, что человек так же добр, как собака... Дайте человеку свободу совести, свободу слова, свободу действия, и он уподобится собаке; отнимите их у собаки, и она станет человеком». Образец человека — все тот же Александр III. «Он живет воровством, как и его предки... Он требует, чтобы все русские 15 лет служили в армии, а потом выбрасывает их без пенсии, не имеющих иной профессии, кроме как убивать людей».

Российскому самодержавию достается и в романе, который Твен начал диктовать на фонограф, — «Американский претендент» («The American Claimant»). За основу он взял свою пьесу «Полковник Селлерс», в которой герой пытался разбогатеть посредством эксцентричных изобретений, и добавил авантурный сюжет: Селлерс выдает себя за наследника английского аристократа. (Был у Клеменсов родственник, Джесси Лизерс, который называл себя графом, вечно просил денег, Твен понемногу давал.)

Из Англии приезжает настоящий наследник, лорд Беркли, который хочет увидеть страну, «где все люди равны и где у всех равные возможности», и проверить, сможет ли он прожить, не пользуясь привилегиями своего класса, как «простой человек», но с разочарованием обнаруживает, что «в республике, где все свободны и равны, богатство и положение заменяют титул». Как и «Позолоченный век», «Американский претендент» — пародия на «настоящий» роман: наследники-конкуренты встречаются, происходят невероятные приключения, и всё завершается свадьбой.

Один из прожектов Селлерса — купить Сибирь: «Миллионы русских старательно и непрерывно прочесываются мириадами опытных экспертов — шпииков, назначенных самим императором; и стоит этим шпионам заметить мужчину, женщину или ребенка, обладающего умом, сильным характером или получившего хорошее образование, как его тотчас отправляют в Сибирь. Это замечательная, поразительная система. И она настолько эффективна и всеобъемлюща, что позволяет поддерживать общий уровень интеллекта и образования в России на том уровне, на каком находится царь». А поскольку в Сибири собраны лучшие люди, там можно организовать республику, которая освободит остальную страну. «Они хотят подвести Россию к революции изнутри. Но это, понимаешь ли, очень медленный процесс, он в любое время может прерваться и к тому же полон опасностей для тех, кто над этим трудится. Ты знаешь, как Петр Великий создал армию? Он не стал создавать ее под носом у своей родни и стрельцов, — нет, он начал создавать ее вдали, потихоньку, и начал, как тебе известно, с одного полка. А потом не успели стрельцы глазом моргнуть, как полк превратился в армию, положение изменилось, и пришлось им уступить свое место. Вот с чего начался самый могущественный и самый страшный деспотизм, какой когда-либо знал мир. Но ведь таким же путем можно этот деспотизм и уничтожить». У нас роман печатался в 1892 году в журнале «Русское обозрение»; цензура заменила Россию на Турцию.

Строки о Сибири, возможно, диктовались в то время, когда в США приехал Степняк-Кравчинский: в Бостоне он получил от Хоуэлса рекомендательное письмо к Твену, встретились они в Хартфорде 20 апреля, русский подарил американцу книгу «Подпольная Россия». Твен — Степняку: «Я прочитал «Подпольную Россию» от начала до конца с глубоким, жгучим интересом. Какое величие души! И думаю, только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть только ради блага других — такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна,

кроме России». Степняк-Кравчинский прибыл, чтобы учредить Общество американских друзей русской свободы — он уже организовал аналогичное общество в Англии. Цель общества — «оказание моральной и легальной помощи российским патриотам в их стремлении достичь в стране политической свободы и самоуправления», средства — «организация лекций, митингов, обсуждений». В друзья русской свободы записались Кеннан, финансировавший американское издание «Свободной России», журналист Эдмунд Нобл, протестантские священники Лимен Эббот и Томас Хиггинсон, старый аболиционист Уильям Ллойд Гаррисон, феминистка Джулия Хоув, издатель Джеймс Лоуэлл, профессор истории и первая женщина-ректор Элис Фример Палмер, многие другие известные люди и Твен в их числе. (Общество распространяло агитационные материалы, но дела шли неважно; оно прекратило существование в 1894 году, в 1903-м было реорганизовано суфражисткой Элис Блэквилл и юристом Уильямом Фулком; Степняк-Кравчинский умер в Англии в 1895 году.)

Летом 1891 года Клеменсы собрались в Европу — лечиться водами: у Оливии боли в сердце, у Сэмюэла ревматизм, Джин больна, Сюзи тоже, ее в апреле забрали из колледжа, не дождавшись окончания учебного года. Что с ней случилось, неясно. Тогда это называли «расстроенными нервами», каковые считались признаком аристократизма: девочки голодали, доводили себя до обмороков, у них развивались мигрени, бессонница. Был еще инцидент 23 марта: Твен по приглашению руководства колледжа выступал перед ученицами (хотя Оливия и Сюзи его отговаривали): смешил, гримасничал, Сюзи показалось, что он ведет себя «как клоун», и она выбежала из зала в слезах. Некоторые исследователи полагают, что родителям не понравилась «слишком близкая» дружба дочери с однокурсницей Луизой Броунелл, эта версия ничем не подтверждается, а вот о том, что отец ревновал Сюзи к подругам, свидетельствует его письмо Хоуэлсу: «К сожалению, ей начинает нравиться в колледже».

«Американский претендент» был окончен в мае и продан за 12 тысяч долларов газетному синдикату Макклюра для публикации одновременно в нескольких журналах США и Англии; Макклюр также предложил контракт на путевые очерки по тысяче долларов за штуку. Присматривать за домом оставили чету О'Нилов, с собой брали Кэти Лири, остальным слугам подыскивали места. Отплыли 6 июня в сопровождении Сьюзен Крейн. Неделью пробыли в Париже, потом Сюзи и Клару поместили в пансионат в Женеве, остальные поехали брать ванны в Экс-ле-Бен. В августе все вместе посетили фестиваль Вагнера в Байрейте, дочери вернулись в Женеву,

взрослые переместились в Мариенбад, где были лучшие грязевые ванны, скоро и там надоело, немного пожили в Гейдельберге, наконец обосновались на курорте Уши близ Лозанны, но глава семейства тотчас уплыл на небольшом судне по Роне с проводником Йозефом Вери, которого знал по прошлым экскурсиям. Зиму решили провести в Берлине, где жили кузина Твена Молли, жена высокопоставленного генерала фон Верзена, старый приятель Уильям Фелпс, посол США, и другие знакомые американцы. Прибыли в середине октября, Кэти Лири отправили в Штаты, чтобы сократить расходы, поселились в пансионе, но не выдержали и перебрались в приличный отель «Королевский». Клара осталась с родителями, поступила в колледж для девушек, руководимый американкой миссис Уиллард, стала брать уроки фортепьяно; Сюзи съездила к Луизе Броунелл, жившей в Англии у родственников, по возвращении тоже начала учиться музыке, но бросила. Ей было уже 19 лет (Кларе — 17), она хотела вести жизнь взрослой девушки, родители считали ее ребенком, она писала Луизе, что одинока, страдает и хочет быть «кем-то, а не только дочерью Марка Твена». Любовь отца была нежна, но деспотична, стремления детей к самостоятельности он не понимал; мать, может, и понимала, но перечить мужу не могла.

За осень Твен отослал Макклору шесть очерков для публикации в «НьюЙорк сан», пытался закончить что-нибудь из старых набросков, отдал в «Харперс мэгэзин» «Передачу мыслей на расстоянии» и «Удачу», написал (но не опубликовал при жизни) юмореску «Пропавший Наполеон» («The Lost Napoleon»). С Холлом в письмах обсуждали дела, надумали к Рождеству выпустить собрание сочинений, куда войдут «Принц», «Янки» и «Гекльберри Финн», один вариант издания подарочный, другой — дешевый. Проект окупился, а вот «Американский претендент» ожидаемого дохода не принес: публика хотела романов, а не пародий на них. Тем не менее Твен получал от всех своих книг около 20 тысяч в год: жить можно, если бы деньги не вбухивались в машину Пейджа и другие убыточные проекты.

Читал он много, как всегда отдавая предпочтение историческим работам; сильное впечатление произвела книга Джанет Туки «Жанна д'Арк, Дева» (1880), и был задуман роман о Жанне. Твен написал издателю Чатто в Лондон, прося выслать еще какие-нибудь источники, получил десять книг о Жанне д'Арк и погрузился в их изучение. Зима 1892 года прошла приятно: сплошные званые обеды, театр, опера (уверял, что не выносит этого «шума» и «воя», но посещал при каждой возможности), футбольные матчи (живо интересовался любым новым видом спорта, но страстным



болельщиком никогда не был), немцы его обожали, специально к его приезду были выпущены и продавались на всех углах карманные издания его книг. Через Молли фон Верзен и Фелпса завели светские связи, на обеде в честь семидесятилетия Рудольфа Вирхова, ученого-энциклопедиста, Твен познакомился с Германом фон Гельмгольцем, физиком и физиологом, и Теодором Моммзеном, историком. В феврале слег с пневмонией, читал мемуары маркграфини Софии Христины Луизы Бранденбург-Байрейтской, аристократки XVIII века, хотел писать о ней книгу, но не собрался. Молли сообщила, что император Вильгельм хотел пригласить Твена к обеду, но, узнав, что почтенный гость нездоров, просил организовать встречу у нее дома. Это была неслыханная честь. Джин сказала, что отцу «осталось познакомиться только с Богом», сам Твен записал: «Имперский лев и Демократический ягненок должны сесть вместе, и маленькая Генеральша будет кормить их». Обед состоялся 20 февраля, было с десятков высокопоставленных немцев, Лев произвел на Ягненка приятное впечатление, но в общем ничего особенного.

Пневмония прошла, но ревматизм все мучил, врачи велели ехать во Францию или Италию. Дочери и Сьюзен Крейн остались в Берлине, родители 1 марта уехали в Ментону, через месяц перекочевали в Пизу и в конце апреля воссоединились с остальным семейством (исключая Клару) в Риме. Май — Флоренция, где решили провести следующую зиму, Венеция, снова Берлин, 1 июня осели в Бад-Наугейме, курорте близ Франкфурта. Но посидеть спокойно удалось только две недели: надо было срочно улаживать дела в Америке.

Твен с Холлом уже дважды заняли в Маунт Моррис по 30 тысяч, а выплачивать нечем. Капитал издательства — 75 тысяч, роялти за прошлый год — 10 тысяч, столько же — прибыль издательства, но все должно идти обратно в дело: в 1892 году Холл рассчитывал выпустить 32 книги, среди которых несколько романов, книги об императоре Вильгельме, о выборах в США, много юмористики, стихи Уолта Уитмена, твеновский сборник «Рождественские истории», «Американский претендент», еще один сборник рассказов Толстого, книга Сэмюэла Моффетта (он стал юристом) о налогах и т. д.; для антологии американской литературы было уже отобрано 1700 произведений пятисот авторов. Холл сказал, что позарез нужны еще 100 тысяч, Твен понял, что антологию не потянуть, искал инвесторов, несколько раз обратился с мольбами к Эндрю Карнеги, но тот даже не ответил.

С типографской машиной дела как будто обстояли лучше: Пейдж нашел нью-йоркскую фирму «Уорд, Фринк и Невел», которая основала

фирму «Композитор компани» и заключила контракт с чикагской «Уэбстер Мэньюфэкчуринг компани» (не имевшей отношения к нашему Уэбстеру) на производство станков; единственный образец, собранный Пейджем, перевезли в Чикаго, туда же перевели бизнес и начали строить фабрику. Пейдж также утверждал, что добыл несколько миллионов долларов. Твен провел в Чикаго две недели, никаких миллионов не обнаружил, но увидел, что яму под фундамент выкопали, и уехал к семье, предпочитая ни о чем не думать и надеяться на лучшее: изобретатель обещал к октябрю, когда в Чикаго откроется Всемирная Колумбова выставка, произвести 50 машин. Рука больше не болела, на пароходе Твен был в отличном настроении, писал шутивное эссе «Все виды кораблей» («All Sorts and Conditions of Ships») о судостроительном прогрессе, достигнутом со времен Ноя. В Бад-Наугейме отдохнул, встречался с другим именитым курортником — Эдуардом, принцем Уэльским; на неделю приезжал погостить Туичелл. В августе перестал читать письма от Пейджа и Холла, чтобы не портить настроение, и начал писать — жадно, как изголодавшийся человек.

Во-первых, он делал наброски к роману о Жанне. Во-вторых, написал повесть «Том Сойер за границей» («Тот Sawyer Abroad»): заказ на нее с гонораром в пять тысяч он получил от Мэри Додж, издателя детского журнала «Санта-Клаус». Том, Гек и Джим летят в Африку на воздушном шаре, как герои известного романа Жюль Верна. «Ох, черт возьми, не очень-то я торопился отсюда обратно к цивилизации! Ведь в цивилизации что хуже всего? Если кто-то получил письмо и в нем какая-нибудь неприятность, то он непременно придет и расскажет вам все про нее, и вам сразу на душе скверно станет. А газеты — так те все неприятности со всего света собирают и почти все время портят вам настроение, а ведь это такое тяжкое бремя для человека. Ненавижу я эти газеты, да и письма тоже, и, если б я мог сделать по-своему, я бы ни одному человеку не позволил свои неприятности сваливать на людей, с которыми он вовсе не знаком и которые совсем на другом конце света живут. Ну вот, а на шаре ничего этого нет, и потому он самое прекрасное место, какое только есть на свете»<sup>[31]</sup>. Пустячок, самопародия; но была и сатира, совсем не детская. Том рассказывает друзьям, как крестоносцы воевали за Святую землю с «язычниками»:

«— Знаешь, Том Сойер, уж этого я понять не могу. Если у меня есть ферма и она моя, а другой человек хочет ее отобрать, то разве справедливо будет, если он...

— Ох, ни черта ты не смыслишь, Гек Финн! Это же не ферма, это совсем другое. Видишь ли, дело вот в чем. Они владеют землей — просто

землей — и больше ничем, но наши — евреи и христиане — сделали эту землю святой, так нечего им теперь ее осквернять. Мы ни минуты не должны терпеть такой позор. Мы обязаны немедленно отправиться в поход и отобрать ее у них.

— Н-да, в жизни не встречал я такого запутанного дела. Допустим, у меня есть ферма, а другой человек...

— Говорю тебе, что ферма тут совсем ни при чем. Фермерство — это самое обыкновенное дело, и больше ничего, а тут нечто возвышенное — тут замешана вера, а не какие-нибудь низменные занятия.

— А разве вера велит нам отбирать землю у людей, которым она принадлежит?

— Конечно! Так оно всегда и бывало. <...>

— Я, масса Том, вот как понимаю. Ничего у нас не выйдет. Мы не сможем убивать этих несчастных чужеземцев, которые ничего худого нам не делают, до тех пор, пока мы не поупражняемся, — я это точно знаю, масса Том, совершенно точно. Но если мы возьмем парочку топоров — вы, и я, и Гек — и переправимся через реку нынче ночью, когда луна скроется, и вырежем ту больную семью, что живет возле Снай, и подожжем их дом, и...

— Ох, заткнись же ты наконец! У меня просто голова заболела. Не хочу я больше спорить с дураками вроде тебя и Гека Финна. Вечно вы не о том говорите, и не хватает у вас мозгов понять, что нельзя судить о чистом богословии с точки зрения законов об охране недвижимого имущества».

О России Том Сойер тоже высказался, сравнивая ее с Сахарой: «Она простирается всюду и везде и все же стоит не больше Род-Айленда, и даже половина ее не заслуживает спасения». Адекватного русского перевода книги нет, но и в оригинале она была жестоко исковеркана. Автор по своему обыкновению разрешил Мэри Додж делать любые исправления, но, когда увидел их (повесть печаталась с ноября 1893-го по апрель 1894 года), пришел в ужас: редактриса выбросила высказывания в адрес католической церкви, заставила Гека говорить «нейтральным языком, не гонясь ни за какими жаргонами», ликвидировала слово «ниггер» и на иллюстрациях велела обути босых мальчишек в ботинки. Твен потребовал, чтобы Холл использовал для книжной публикации оригинал, но тот в спешке смешал обе редакции, и только в 1980 году в США вышел авторский вариант.

В-третьих, он начал роман на одну из любимых тем: о двойниках. На сей раз это были сиамские близнецы Чанг и Энг, которых Твен видел в цирке Барнума. В 1869 году он написал для журнала «Пакард мансли» скетч «Жизнь сиамских близнецов («Personal Habits of the Siamese Twins»):

герои «отважно сражались в Гражданскую — один за Союз, другой за Конфедерацию»; «В заключение сообщаю, что одному из сиамских близнецов 51 год, а другому 53». В 1891 году он прочел в журнале «Сайентифик америкен» об итальянцах Точчи, у которых одно туловище и одна пара ног, но разные характеры и привычки. Героями романа «Необыкновенные близнецы» («Those Extraordinary Twins») он сделал сиамских близнецов Капелло: один баллотируется от демократов, другой от республиканцев, один алкоголик, другой трезвенник; их судят за то, что они поколотили человека, но не могут выяснить, оба били или только один. Пока это был веселый фарс — позднее он превратится в иное.

В Германии была холера, это скрывали от населения, Твен написал возмущенную статью, но публиковать раздумал и 10 сентября увез семью из Бад-Наугейма. Задержались в Люцерне, Оливия плохо себя чувствовала: одышка, головные боли. 26 сентября прибыли во Флоренцию на виллу Вивиани, которую присмотрели в прошлый приезд, и обосновались надолго; не жила с семьей только Клара, продолжавшая учебу в Берлине. Погода чудесная, пейзаж умиротворяющий, Оливия вроде бы поправилась, у Джин приступов больше не было, она изучала языки, участвовала в деятельности местного общества защиты животных; Твен наконец познакомился с Уильямом Джеймсом (отношения не переросли в дружбу, но были добрыми — не как с братом Джеймса). Все хорошо — если не читать писем из Америки: Пейдж не подготовил машину к выставке, строительство фабрики заморожено из-за отсутствия средств. Настроение также портили старшие дочери. Клара жила самостоятельно, хотя и под присмотром тетки Молли, посещала балы, отец упрекал ее за неприличное поведение (как-то раз она оказалась одна среди немецких офицеров). Сюзи изнывала: мать все время хворает, отец занят, заняться нечем; хотели отправить ее в Берлин, но тут она увлеклась женатым итальянским графом де Карли и уезжать отказывалась. Родители наняли для нее компаньонку-француженку, без которой не разрешали выходить, Сюзи стало еще хуже. Что делать — никто не знал. Отец, конечно, был деспотом, не хотел, чтобы дочери оставляли семью, выходили замуж или получали профессию. Но Клара, хотя и была моложе Сюзи, профессию выбрала и сумела поставить на своем. Сюзи же, видимо, сама не знала, чего хочет.

За осень и зиму Твен закончил «Томас Соьера за границей», написал сентиментальный «Рассказ калифорнийца» («The Californian's Tale») — о золотоискателе, чью жену убили коварные индейцы, и повесть «Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов» («The \$1, 000, 000 Bank Note»): американец, оказавшийся в Лондоне без гроша, ведет себя так, что его

принимают за миллионера, и наживает кучу денег; обе работы вошли в новый сборник, изданный «Уэбстер и К°» в 1893 году. В Буффало выходил сборник историй о Ниагарском водопаде, Твена попросили что-нибудь дать; он предложил «Фрагменты из дневника Адама» («Extracts from Adam's Diary»), прелестную и печальную историю любви, лишь формально привязанную к теме водопада. (Рассказ вышел отдельной книжкой в 1904 году в издательстве «Харперс», переиздавался много раз в различных авторских редакциях.)

«Суббота. — Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» — это его словечко. Но оно стало и моим теперь, — да и немудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то! <...>

Понедельник. — Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала. <...>

Пятница. — Теперь она пристаёт ко мне с другим: умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю — почему. Я всегда это делаю — мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок, — а ведь зачем-то он существует? Она утверждает, что его создали просто так — как носорогов и мастодонта, — чтобы придать живописность пейзажу».

Твена давно мучил вопрос: зачем Бог так жестоко наказал юную чету за ничтожный проступок? В его варианте Библии нет греха: любознательная Ева, которую подзуживал змей, съела яблоко, и произошло то, что должно было произойти, но ни она, ни Адам не осознали «падения»: «На следующий год. — Мы называли его Каин. Она принесла его в то время, как я был в отлучке — расставлял капканы на северном побережье озера Эри; она, как видно, поймала его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех, — она сама

нетвердо знает где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. <...>

Десять лет спустя. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезнее, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее — в Раю. Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни».

После «Адама» Твен всерьез взялся за роман о Жанне. Повествование решил вести от лица «сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» («*Personal Recollections of Joan of Arc by the Sieur Louis de Conte*»), издавать под чужим именем, потому что книга будет не юмористическая. Написал 22 главы — до осады Орлеана. В начале весны работу пришлось прервать: опять нужно ехать домой, Холл сказал, что издательство близко к банкротству, на 1893 год запланировано 14 книг, среди которых нашумевшие работы экономиста Генри Джорджа, но печатать их не на что, нужны 30 тысяч немедленно. Твен отправил семью в Венецию, сам прибыл в Штаты 22 марта, прожил там полтора месяца, простуженный и разбитый, в отчаянии колесил между Нью-Йорком, Чикаго и Эльмирой, пытаясь достать денег. 15 тысяч принесли акции Оливии, но больше — ничего. Время было неудачное — начинался очередной финансовый кризис. Твен умолил Сьюзен Крейн, к тому времени вернувшуюся в Эльмиру, купить несколько акций издательства, просил ссуду у Чарлза Лэнгдона, тот отказал. Вытащить издательство могла только машина Пейджа. Тот уверял, что все хорошо и газета «Чикаго геральд» намерена купить машину. Твен уже не верил. Занемог, лежал в постели — по делам бегал Холл. Писал жене покаянные письма, та отвечала: «Мой дорогой мальчик, не вините себя, как Вы всегда делаете. Я люблю Вас до смерти, Вы лучше всех мужей в мире и заботитесь обо мне как никто бы не смог». Эти слова заставляли раскаиваться еще сильнее.

Выздоровев, перебрался в НьюЙорк, торопливо писал, чтобы хоть что-то заработать. Продал журналу «Космополитен» юморески «Жив он или умер?» («*Is He Living or Is He Dead?*»): друзья-художники сговорились, что один из них «умрет», после чего его картины станут покупать и все они разбогатеют; «Эскимосский роман» («*The Esquimaux Maiden's Romance*»): дочь вождя выходит замуж за белого, и «Путешествие с реформатором»

(«Traveling with a Reformer»): человек карает железнодорожных служащих за нерасторопность и хамство. «Харперс мэгэзин» купил права на «Жанну д'Арк», попросив не завершать роман на осаде Орлеана, а довести жизнеописание героини до конца; Пейдж сообщил, что некие инвесторы вот-вот дадут три миллиона. Твен был так измучен, что не захотел ничего проверять, отправил жене письмо с восторгами: не сегодня-завтра они будут богаты. Оливия ответила, что «готова прыгать от радости». 13 мая они встретились на вилле Вивиани, поздравляли друг друга, ликовали, Твен с энтузиазмом засел дописывать «Жанну». А 26 июня обрушилась Нью-Йоркская фондовая биржа и увлекла за собой 160 железных дорог, 500 банков и 16 тысяч предприятий. Твен понял, что это конец. Написал Холлу отчаянное письмо: «Я страшно устал от бизнеса. Я не гожусь для этого и хочу с этим развязаться. Выведите меня из дела!»

Пассивы «Уэбстер и К°» составили 200 тысяч, из них 60 тысяч — долг Оливии, которая, естественно, не просила ничего возвращать, остальное — займы у банков и задолженности по зарплате, аренде и пр. Активы существовали только на бумаге. У Твена всегда была какая-то своя калькуляция, расхोdivшаяся с бухгалтерской: он заявил, что активы составляют 450 тысяч, из которых одну треть фирма должна ему и Оливии. Ему принадлежали две трети акций: он потребовал, чтобы Холл продал эту долю какому-нибудь издательству, покупатель будет отвечать за все долги, кроме долга семье Клеменс, таким образом можно выйти на ноль; просил также продать какую-нибудь долю в производстве наборной машины. Холл старался. Но никто ничего не покупал. Семья сократила расходы. Виллу Вивиани пришлось оставить. С женой и Джин переехал в Мюнхен, потом в Берлин к Кларе. Сюзи сказала, что желает учиться пению, отец был против, но мать настояла, чтобы ее отправили в Париж в обучение к знаменитому педагогу мадам Марчези. Это стоило немалых денег, но дочь нужно спасать.

Творческим людям для работы нужны покой и комфорт, но иногда измученный жизнью художник с головой уходит в дело, чтобы отвлечься от действительности, и трудится так успешно, как не всегда сумел бы в нормальном состоянии. «Жанну» Твен на время оставил ради «Необыкновенных близнецов», которые превратились в другую книгу — «Простофиля Вильсон» («Pudd'nhead Wilson»). Тема двойничества от близнецов перешла к другой паре персонажей, близнецы (уже не сиамские) остались, хотя, как признал автор, «стали абсолютно бесполезны». Но в целом работа получилась великолепной: по силе она сравнима с «Гекльберри Финном», только более горькая и злая.

В маленьком городке в 1830-е годы рождаются два ребенка: один — у рабовладельца и его жены, другой — у их рабыни Роксаны (белокожей красавицы) от неизвестного белого. «По существу, Рокси ничем не отличалась от белых, но одна шестнадцатая часть, то есть негритянская часть, перетянула остальные пятнадцать шестнадцатых и сделала ее негритянкой. Она была рабыней и в качестве таковой подлежала купле-продаже. Что касалось ее ребенка, то он был белым на тридцать одну тридцать вторых, но именно из-за ничтожной одной тридцать второй части считался, по нелепости закона и местных обычаев, негром и посему — тоже рабом. У него были голубые глаза и льняные кудри, как и у его белого сверстника; отец белого ребенка различал малышей, хотя очень редко их видел, — правда, только по одежде. Его дитя носило платьице из мягкого муслина с кружевными оборками и коралловое ожерелье на шейке, а сын Рокси — только простую рубашонку из сурового домотканого полотна, еле доходившую до колен, и никаких украшений на нем не было»<sup>[32]</sup>.

Мать белого мальчика умирает, Роксана растит обоих. Хотя она и рабыня, но характер у нее властный, крутой, авантюристический: она решает подменить детей. «Была ли она дурной женщиной? Хуже, чем остальные ее соплеменники? Нет. В битве жизни все они страдали от несправедливости и поэтому не считали за грех воспользоваться военным преимуществом перед врагом, — разумеется, только в малом; в малом, но не в серьезных делах. Они таскали из кладовой провизию при каждом подходящем случае, не брезговали медным наперстком, кусочком воска, наждачной бумагой, пачкой иголок, серебряной ложечкой, бумажным долларом и разными мелкими предметами — словом, рады были пустяковым трофеям, попадавшим к ним в руки, но были при этом настолько далеки от признания подобных действий греховными, что, придя в церковь, с превеликим усердием молились и во всю глотку распевали религиозные псалмы, невзирая на то, что у них в карманах лежало украденное».

Рожденный свободным мальчик стал рабом по кличке Чемберс и рос забитым, а сын рабыни превратился в «мастера Тома», несносного ребенка, терроризирующего мать. «Кормилицу Рокси Том давно приучил «знать свое место». Прошли те дни, когда она осмеливалась погладить мальчика по голове или сказать ему что-нибудь ласковое. Тому было тошно принимать эти знаки внимания от «черномазой», и он приказал Рокси соблюдать дистанцию и помнить, кто она. <...> Но все же, когда в редкие минуты Том обращался с ней хорошо и ласково, раны Рокси затягивались и она чувствовала себя счастливой и преисполнялась гордости за своего сына —



сына рабыни, властвующего над белыми и осуществляющего месть за их злодеяния против ее народа».

Хозяин Рокси разорился и умер, перед смертью освободив ее, а «сына» отдал под опеку своего брата — судьи Дрисколла, к которому перешел и раб Чемберс. Том учился в университете, приобрел лоск, но остался скотиной, прибавив к своим порокам пьянство и карты, потом стал вором. Рокси нанялась горничной на пароход, скопила денег, но банк лопнул, и она вернулась домой свободной, но нищей. Пришла к Тому — он ее прогнал. Тогда возмущенная мать рассказала сыну правду о его рождении и начала его шантажировать, тот перепугался. «Дочь того племени, которое в течение двух веков подвергалось неслыханным оскорблениям и надругательствам, поглядела на него сверху вниз, явно упиваясь этим зрелищем, и сказала:

— Важный, благородный белый джентльмен на коленях перед бабой-негритянкой? Всю жизнь хотела я поглядеть на это хоть разок, прежде чем Господь призовет меня к себе. Теперь, архангел Гавриил, труби в свою трубу, я готова...» «Ты — черномазый! Черномазый, и к тому же раб. Родился негром и рабом — и рабом остался, и стоит мне об этом заикнуться, двух дней не пройдет, как старый мистер Дрисколл продаст тебя в низовья реки».

Том, рожденный рабом, — раб и по натуре, он пресмыкается перед матерью и теряет наглость: «Том замечал, что прежние его привычки куда-то таинственным образом исчезли: прежде он всегда первым протягивал руку, теперь же она у него невольно повисала, словно плеть, — это давал себя знать рабский дух «черномазого», — и Том краснел и конфузился. И «черномазый» в нем замирал от удивления, когда белый приятель протягивал ему руку. Так же невольно «черномазый» в нем заставлял его уступать дорогу белым гулякам и буянам». Том начал задумываться, почему Бог создал черных и белых и за что неграм такая горькая участь, ходил затравленный и притихший, но, видя, что люди ничего не подозревают, постепенно стал прежним — наглым мошенником; между ним и матерью установился своеобразный садомазохистский союз: «Том и Роксана научились отлично ладить между собой. Правда, мать пока еще не пылала любовью к сыну, считая, что он того не стоит, но так как ее натура постоянно требовала господства над чем-нибудь или над кем-нибудь, то за неимением лучшего годился и Том. Его же восхищали сильный характер матери, ее настойчивость и властность, хотя эти качества он испытывал на себе чаще, чем ему хотелось бы».

Том запутался в мошенничестве, ему нужны деньги, он вот-вот

погибнет, и в жестоком сердце матери тает лед: она предлагает сыну продать ее в рабство на Север — и денег можно выручить, и работать ей там будет не хуже, чем вольнонаемной. Но сын обманул, продал мать в ад — на хлопковую плантацию. Потом ограбил и убил опекуна, свалив преступление на приезжих близнецов, получил наследство. Но в городке живет простофиля Вильсон, молодой детектив-философ, который забавы ради когда-то снял отпечатки пальцев Тома. Он раскрыл преступление, обвинил убийцу, поведал, что Том на самом деле — раб, а «раб» Чемберс — наследник. Ирония ситуации в том, что «будь «Том» белым и свободным, его бесспорно следовало бы наказать, поскольку это не принесло бы никому убытка, но посадить за решетку на всю жизнь раба, представляющего денежную ценность, — это уж совсем другое дело! Как только губернатор уразумел, в чем тут суть, он сразу же помиловал Тома, и кредиторы продали его в низовья реки». Рокси, потухшая, с разбитым сердцем, ударилась в религию. Не вышло «хеппи-энда» и для Чемберса, который воспитывался как раб: «Его манеры, походка, жесты, смех — все было неотесано и грубо, все выдавало в нем раба. А деньги и дорогое платье не могли исправить эти недостатки или, тем более, скрыть их: наоборот, делали их еще более явными, а его — еще более жалким. Бедный юноша замирал от страха, находясь в гостиной среди белых, и чувствовал себя спокойно только на кухне. Пыткой было для него и сидеть на родовой скамье Дрисколлов в церкви, а между тем «негритянский балкончик», где можно было отдохнуть душой, оказался теперь для него закрытым навсегда».

Нынче роман поругивают за безграмотную речь «ниггеров» (но поскольку в школьную программу он не входит, то шума, как вокруг «Гека», нет), за то, что образы негров не положительные. Джим — благородный и несчастный человек, но рабы в «Простофиле Вильсоне» — люди недобрые. Роксана — настоящая тигрица, мстительная, готовая на преступление, ее сын — трусливый и подлый негодяй. В борцы за права афроамериканцев они не годятся, напротив, презирают все «черное». Том отказался драться на дуэли, Роксана: «Подумать только, что я родила на свет такую дохлятину, такого подлого труса! Да мне на тебя глядеть тошно! Это в тебе негр заговорил, вот что! Ты на тридцать одну часть белый и только на одну часть негр, но вот этот-то малюсенький кусочек и есть твоя душа. Такую душонку нечего спасать — поддеть на лопату и кинуть на помойку, и того она не стоит!» «Буря в душе Роксаны понемногу стихала, но далеко еще не улеглась, и, хотя уже казалось, что она миновала, вдруг раздавались отдаленные раскаты грома, то есть сердитые восклицания

такого рода: — В нем мало чего от негра. Даже по ногтям не признаешь. А вот душа-то черная!» Оба сваливают вину за свои пороки на «черную кровь», но характер человека определяет не «кровь», а среда и воспитание, поэтому бедняга Чемберс, в котором не было ни капли «рабской крови», навек стал рабом. Мысль о том, что в рабстве угнетаемые деградируют так же, как и угнетающие (если не хуже), люди сейчас еще менее склонны принимать, чем тогда.

«Простофилю» отхватили с руками (роман печатался в «Сенчюри» с декабря 1893 года, в 1894-м вышел в «Америкен пабблишинг компани» и «Чатто и Уиндус»), удалось заткнуть некоторые финансовые дыры, но этого было недостаточно. Твен — Холлу, 4 августа: «Я рад слышать, что Вы видите какой-то свет в конце туннеля. Лично я его не вижу. Настоятельно прошу каждый пенни дохода использовать на погашение долгов. Я, может быть, не прав, но мне кажется, что иного пути нет. Мы можем заплатить часть долгов посторонним людям. В лучшие времена мои акции и авторские права могли бы считаться достаточными активами, но при существующем положении дел на это нечего и надеяться. Главное — спасти мои роялти. Если они будут в опасности, срочно известите меня, потому что без них я стану нищим».

29 августа 1894 года он отплыл в Америку с Кларой (та хотела увидеться с друзьями, полечить бронхит и попробовать что-нибудь заработать концертами). Дочь отправилась в Эльмиру, отец остался в Нью-Йорке. Банк Маунт Моррис отказался кредитовать «Уэбстер и К°». Чарлз Лэнгдон, которого сестры умолили помочь, дал займы 21 тысячу, больше нигде не нашли ни пенни, а самое ужасное — из-за кризиса свернулась угольная промышленность, закрылись шахты, дивиденды по акциям Оливии сократились с 12 тысяч в год до шести тысяч. Твен — жене, 17 сентября: «Когда я упал на постель тем вечером, катастрофа казалась неизбежной, но я был так истощен физически, что ничего не чувствовал и заснул как убитый». На следующий день он внес на погашение долга банку 24 тысячи из неприкосновенного запаса — роялти за два года. Больше у него ничего не было. Дом в Хартфорде не удалось ни продать, ни заложить, ни сдать, а ведь он еще требовал расходов: слугам надо платить. Пейдж уже ничего не обещал; его машина до сих пор существовала в единственном числе, да и то не работала.

Твен снял комнатку в клубе «Актеры» за полтора доллара в день и в 58 лет начал жизнь нищего юнца. Высчитал, что самых срочных долгов было всего восемь тысяч, кинулся в ноги Чарлзу Лэнгдону, тот ругался, но одолжил еще пять тысяч. Получил за «Вильсона» семь тысяч, за рассказы

для «Космополитена» две тысячи, из этих денег три тысячи пошли в уплату долгов, остальное — жене. О настоящей нищете, какую знает большинство из нас и какую узнала в 1893 году четверть населения США, потерявшая из-за кризиса работу, речь пока не шла, Оливия и ее дочери никогда половой тряпки в руках не держали, но поджаться пришлось очень сильно: дешевые продукты, никаких театров, экономили даже на чулках. Чтобы не жить на два дома, все перебрались из Берлина в Париж, где Сюзи продолжала учиться, — в этом мать не могла ей отказать. Жили в плохоньком отеле, холод, стены тонкие, но жизнь была дешева, потому что все американцы уехали в Штаты. Оливия — мужу: «Если все обернется плохо, собирайте вещи и возвращайтесь к нам. Будете работать, писать, а мы каждый вечер будем слушать Ваши рассказы и чтение и будем счастливы. Вы знаете, что я могу экономить еще больше, чем сейчас. Я набралась в этом опыта. Вы знаете, что мы получаем дивидендов шесть тысяч в год, прибавим то, что Вы спокойно заработаете пером, и сможем жить совершенно нормально. Я пишу это, чтобы Вы знали, что, если потерпите неудачу, мы не погибнем, и Вы не должны себя губить». Но угольная отрасль умирала: не только дивиденды уменьшались, но и сами акции из капитала превращались в ничто. К тому же Оливия не знала истинного размера мужниных долгов. Тут и до половой тряпки недалеко, и до хлебной корки на обед.

Клара и ее отец звали Оливию и Сюзи в Эльмиру: можно бесплатно жить у Сьюзен Крейн. Мать, напротив, просила Клару вернуться в Европу и продолжать учебу — она понимала, что иначе жизнь девушек станет пустой и безрадостной. Но на Сюзи свалилось очередное несчастье: мадам Марчези нашла, что у нее слабые легкие, анемия и анорексия, нужно год жить в деревне на усиленном питании. Девушку показали врачу, тот подтвердил рекомендации педагога, прописал также гимнастику и массаж, но она предпочла лечиться самовнушением. Твен — туда же: рекомендовал жене найти в Париже какого-нибудь целителя, адепта «психического лечения», рассказал, что сам «из любопытства» был на приеме у такого целителя в Нью-Йорке и тот вылечил его от кашля; правда, одновременно он принимал порошки, прописанные врачом, но уж во всяком случае хуже от целителя не будет, надо попробовать; жена Хоуэлса говорит, что «психическое лечение» и гипноз — одно и то же, в Париже практикует гипнотизер Шарко — пусть Оливия сводит Сюзи к нему. Аналогичными советами Оливию бомбардировала Элис Дэй, ударившаяся в «христианскую науку», слала брошюры. Оливия, прочтя брошюрки, не уверовала, зато, к несчастью, уверовала Сюзи. Но лучше ей от

«христианской науки» не становилось. Ее мать совсем сдала, в письмах к Дэй называла себя старухой, плакала. Твен — Сюзи: «Держи маму за руку и помоги ей перенести нашу разлуку терпеливо, как она умеет, потому что я не могу приехать, пока не спасу нас всех от богадельни. Я — в аду...» Через несколько дней после того, как Твен написал это, к нему подошел человек по прозвищу Адский Пес.

## Глава 7

### Том Сойер и ангел-хранитель

«Мы были незнакомцами, а через полчаса расстались друзьями». «Он вытащил меня из одних неприятностей, потом из других. Он делал это, не ущемляя моего самолюбия, не раня моей гордости; делал это так, что мне почти казалось, будто я справляюсь сам. Ни словом, ни намеком, ни жестом он никогда не показал, что я чем-то обязан ему. Сам я никогда не был так великодушен и не знал никого, кто бы был».

Генри Хатлстону Роджерсу в момент знакомства было 53 года, на четыре года меньше, чем Твену; он сам себя сделал, как выражаются американцы, и достиг высот могущества. Родился в небогатой семье, начинал разносчиком газет, в 21 год построил заводик по переработке нефти, потом работал у нефтяника Пратта, копил деньги, спал по три часа в сутки, был упорен и в 1867 году стал партнером Пратта. В 1870-е воевал с Джоном Рокфеллером, а после заключения мира основал вместе с ним нефтяную корпорацию «Стандард ойл»; в 1890-х был вице-президентом компании, отвечал за финансовую стратегию. Роджерс был также директором двадцати пяти крупных фирм и десятка железных дорог, основателем корпораций «Нэшнл транзит», «Консолидейтед гэс», «Амалгамейтед коппер майнинг» и «Юнайтед стейтс стил». Его личное состояние оценивалось в 100–150 миллионов; в рейтинге мультимиллионеров всех времен он стоит выше Билла Гейтса. Имя Адский Пес он получил недаром: был безжалостен, разорял конкурентов, утаивал налоги, действовал подкупом и силой; его считают одним из последних американских «баронов-грабителей».

Но Роджерс был и одним из крупнейших филантропов Америки. Он отстроил заново свой родной город Фэйр-Хэйвен в штате Массачусетс, был другом Букера Вашингтона, финансировал 65 школ и 10 высших учебных заведений для чернокожих и делал все это без огласки. Он поддерживал изобретателей, строил больницы, основывал библиотеки; себя при этом не обижал, после сорока зажил широко, в одном из его особняков было 85 комнат. С конкурентами был надменен и груб, в частной жизни славился учтивостью, тактом и щедростью; нравился женщинам, любил свою жену Эбби, с которой прожил всю жизнь и от которой имел пятерых детей. Был смешлив, обожал фривольные шутки, карты, вечеринки. Не признавал ни расовых, ни классовых, ни половых различий, брал на работу любого, кто

себя проявит: его личным секретарем и «правой рукой» была Кэтрин Харрисон, начинавшая восемнадцатилетней стенографисткой; платил служащим щедро и был к ним справедлив.

Когда-то он побывал на лекции Твена и с тех пор читал все его книги. В январе 1891 года они встречались, но толком не познакомились. Теперь, в сентябре 1893-го, их свел Кларенс Райе, семейный врач Клеменсов. Роджерс слышал о проблемах Твена и при первом же разговоре предложил взять их на себя, сказав, что ему «в кайф» заниматься чужими делами — это позволяет отдохнуть от собственных. Сразу, еще ни во что не вникая, дал четыре тысячи на уплату неотложных долгов «Уэбстер и К°», обещал, что один из его зятьев, Уильям Бенджамин, купит антологию американской литературы за 50 тысяч, стал прорабатывать возможность слияния «Уэбстер и К°» с другим издательством. Заинтересовался и машиной Пейджа, на что Твен не мог даже надеяться. Оливии, 18 октября: «Дорогая, дорогая, любимая — у меня не было ни минуты свободной, чтобы написать Вам в прошедшие два дня — и все же я выкроил время. Все улажено с продажей «Антологии», бумаги подпишут завтра утром. Самый лучший и мудрейший человек, мультимиллионер из «Стандард ойл» (это секрет, не говорите никому), очень заинтересовался наборной машиной. Он изучал дела три недели и вчера сказал мне: «Я вижу, что из вашей машины может быть толк, от моих экспертов я теперь знаю все о ней, я знаю, что эти бизнесмены в Нью-Йорке и Чикаго — глупцы, неделовые люди, без денег и трусливые». Потом он рассказал мне свой план действий: «Если я смогу договориться с этими людьми — это займет несколько недель, — они получат деньги, которые им нужны. Скоро вы перестанете в волнении бегать по комнате»».

В конце декабря Твен и Роджерс поехали в Чикаго разбираться с машиной. Роджерс, тертый калач, увлекся ею, что доказывает, что само по себе изобретение не было ни пустышкой, ни тупиковой ветвью, но ему не понравилась организация дела. Он предложил организовать фирму «Пейдж композитор», объединяющую чикагское и нью-йоркское отделения. Потребовал, чтобы Пейдж вернул Твену 240 тысяч наличными либо 500 тысяч в акциях, изобретатель не соглашался, но Адский Пес его одолел. Твен ежедневно телеграфировал жене — вот-вот все уладится. 15 января 1894 года Пейдж согласился на все условия: он передает Твену полный контроль над делами и 500 тысяч в акциях. «Вчера мы были нищими, денег оставалось натри месяца, а долгов было 160 тысяч, но теперь мы стали богачами. <...> Когда якорь будет брошен, я скажу: прощай, бизнес, прощай навсегда! Я никогда не стану этим заниматься! Я буду жить только

литературой, валяться в ней, упиваться ею, буду плавать в чернилах. Жанна, моя Жанна! Но я забегаю вперед, якорь еще не брошен и наше судно не пристало к берегу!»

Пока Роджерс занимался реорганизацией фирмы, Твен наслаждался жизнью. Перестал прятаться от людей, ходил по гостям, произносил в клубах зажигательные речи, за что получил от журналиста Доджа прозвище Украшение Нью-Йорка, сразу приставшее к нему. Съездил на литературный вечер в Бостон, на театральную премьеру в Хартфорд, виделся с Киплингом, знакомился с молодыми актерами, художниками, почти каждый день обедал в нью-йоркском доме Роджерса. Эрл Диас, общий знакомый: «Роджерс и Твен были родственными душами — любили покер, бильярд, театр, розыгрыши, дуракавалание, всяческие выдумки. Их дружба базировалась на общих интересах и на том, что каждый из них нуждался в другом». Вечерами они всюду появлялись вместе — стройные, красивые (Твен, давно выглядевший старше своих лет, после пятидесяти пяти чудесным образом перестал стареть и с каждым днем казался моложе), шикарно одетые, — привлекая всеобщее внимание. Роджерс таскал друга на бокс, концерты, вечеринки; в ресторанах — цыгане и шампанское до утра. Оливии: «Вчера в 11 вечера м-р Роджерс сказал: «Я могу устать, я сейчас устал. А у вас никогда не видно усталости ни в глазах, ни в движениях. Вы когда-нибудь устаете?» Я забыл, что такое усталость. Помнишь, как я не уставал на вилле Вивиани? Вот так и в Нью-Йорке. Я ложусь спать ничуть не усталым в три часа ночи, а через шесть часов встаю свежим. С тех пор как я здесь, я только один раз прилег днем». Находил время писать: для журнала «Компаньон юноши» — эссе «Как рассказывать истории», для «Норз америкэн ревью» — «Литературные грехи Фенимора Купера» («Fenimore Cooper's Literary Offenses») и «В защиту Гарриет Шелли» («In Defense of Harriet Shelley»): первая жена Шелли, брошенная им, покончила с собой, биограф поэта Доуден написал о ней пренебрежительно; Твен любил стихи Шелли, но мужчина, оставивший жену с детьми, для него, как уже говорилось, не был человеком.

Только в середине февраля Твен отважился сказать Роджерсу о долгах «Уэбстер и К°» (и то не обо всех — это умолчание потом создаст новые проблемы). Подсчитал: издательство должно ему 110 тысяч, Оливии — 60 тысяч, банкам и сотрудникам — 83 тысячи, активы — 60 тысяч; на 1894 год запланировано всего четыре книги, прибыли ждать неоткуда. Адский Пес сказал, что сам разберется, и велел другу ехать к жене. «Ливи, любимая, вчера мы обсудили все мои дела с м-ром Роджерсом и решили, что мне



можно уехать... Мое сердце забилося при мысли, что я увижу Вас!.. До сих пор я не раскрывал м-ру Роджерсу бедственное положение Уэбстер и К°, но сегодня вечером за бильярдом решился. Мне была отвратительна мысль обременять его заботами, но он сам с жадностью за это ухватился и сказал, что для него делать какой-нибудь пустяк для друзей — не труд, а удовольствие. <...> Вы не должны думать, что я когда-либо был груб с м-ром Роджерсом, нет; он слеплен не из простой глины, но из прекрасного и тонкого материала — такого рода люди не вызывают проявлений грубости, скрытой в людях моего типа. Я не боюсь, что вдруг его чем-то обижу, и мне не приходится следить за собой в этом отношении. С ним всегда легко и просто. Он хочет ехать в Японию — это его мечта; хочет, чтобы мы поехали вместе, с семьями, и ничего не делали и отдыхали. Но, как все мечты деловых людей, это несбыточно. <...> Когда я приехал в сентябре — Боже! — как черны были перспективы и какое бесконечное отчаяние мною владело! Я бросился в Хартфорд к друзьям, но они остались равнодушны, и я сгорал от стыда, что унижался перед ними. От незнакомца, м-ра Роджерса, я получил деньги и спасение. И потом — все еще чужой для меня — он взялся устраивать все мои дела, никак не показывая, что совершает благодеяние».

Твен, конечно, понимал, кто такой Роджерс: «Он разбойник, пират, и знает это, и ему нравится быть пиратом, и я люблю его за это». Журналист Джордж Уорнер предложил Твену издать разоблачительную книгу о «мерзавцах из «Стандард ойл»». Оливии: «Я хотел сказать ему, что единственный человек, который мне дорог, единственный человек, за которого я готов дать ломаный грош, единственный человек, который, не жалея ни сил, ни труда, старается спасти меня и моих близких от нищеты и позора, — это мерзавец из «Стандард ойл». <...> Но я не сказал этого. Я сказал, что не хочу больше никаких книг, я хочу порвать с издательским бизнесом». 6 марта Твен подписал соглашение, назначив Роджерса поверенным во всех делах, и уехал во Францию. Пробыл с семьей три недели и получил от Роджерса известие: спасти «Уэбстер и К°» невозможно.

14 апреля Твен снова был в Нью-Йорке. В Маунт Моррис сменился президент, новое руководство банка требовало уплатить половину из 20 тысяч долга немедленно; договориться об отсрочке не удалось. Даже если бы Роджерс дал эти деньги, было еще 100 кредиторов, общая задолженность — 80 тысяч, не считая 60 тысяч долга Оливии. (Еще были долги частного порядка: Чарлзу Лэнгдону, Сьюзен Крейн, тому же Роджерсу.) Надо банкротиться — так проще. Твен не мог представить, как

сообщит об этом жене. Роджерс сказал, что банкротство — не позор, а освобождение, Оливию это не убедило, она была в ужасе, требовала отдать кредиторам всё, включая дом, роялти и личные вещи. Начались изнурительные переговоры между ней и Роджерсом: нужно ли платить долги полностью, из личных средств или, как делают нормальные люди, предоставить в уплату только имущество фирмы. Кредиторы по суду потребовали прекратить деятельность издательства; 18 апреля «Уэбстер и К°» прекратила существование. Но в тот же день Роджерс отбил первую атаку кредиторов, объявив, что они не могут иметь претензий к Оливии Клеменс, ибо она сама — первый кредитор. Хартфордский дом он заблаговременно перевел на ее имя, а теперь сказал, что она получила его в уплату долга и литературные доходы ее мужа тоже пойдут ей; пока Марк Твен не рассчитается с женой, остальные кредиторы должны помалкивать в тряпочку. Твен — Оливии: «Я привыкаю к тому, что мои книги теперь Ваши. Я даже научился говорить на полном серьезе: «У моей жены сейчас две незаконченные книги, и я не знаю, когда они будут окончены и где она намерена их издавать»».

Оливия, считавшая это жульничеством, требовала от мужа обещания уплатить всю сумму долга; Роджерс отлавливал кредиторов по одному, прижимал к стенке и заставлял согласиться на уплату половины долга. Из воспоминаний Роджерса: «Было много визгу, но я не сдвинулся с места. Я настоял на том, что только м-с Клеменс будет получать авторские доходы, хотя, сказать по правде, в том тяжелом году книги продавались плохо. Что касается остальных долгов, мы пришли к соглашению, что м-р Клеменс уплатит 50 центов за доллар, когда сможет. Сам Клеменс говорил, что выплатит 100 центов за доллар, но тогда никто, кроме него, его жены и меня, не верил, что он сумеет это сделать. <...> Он жил в те дни у меня. Он был очень взволнован, исхудал, стал почти прозрачным, но все же был на удивление весел и оживлен».

По расчетам Роджерса, нужно было семь лет, чтобы из набежавших роялти заплатить половину долга; по расчетам Оливии — четыре года, чтобы расплатиться полностью. В апреле «Уэбстер и К°» выпустила последнюю книгу — «Том Сойер за границей». Деньги пошли Оливии. По совету Роджерса Твен продал «Простофилю Вильсона» «Америкэн паблишинг компани». Дописать «Жанну» — будут еще деньги. Тем временем знакомые и незнакомые (включая Карнеги) слали Твену тысячедолларовые чеки. Он их возвращал. (Почему Роджерс просто не подарил другу 100 тысяч? Тот не мог их взять: мешал уже упоминавшийся рудимент — честь.)

Оливии, 22 апреля: «Я встречаю множество людей, и все они сердечно жмут мне руку и говорят: «Нам грустно слышать о вашем банкротстве, но хорошо, что вы решились, к этому давно шло». <...> Время от времени милый Джо Туичелл или Сюзи Уорнер говорят мне: «Не горюйте», и другие друзья говорят: «Приятно видеть, как мужественно вы выдерживаете это» — и ни один не подозревает, какое бремя свалилось с моих плеч и как я счастлив. Только когда думаю о Вас, мое сердечко, я несчастен, потому что вижу, как Вы огорчены и стыдитесь смотреть в глаза людям. В конце битвы будет успех, но Вы далеко и не слышите торжественного боя барабанов. Вы видите только бегство, отступление, опозоренные знамена и грязь — но на самом деле ничего этого нет. Есть временное поражение — но никакого бесчестия — и мы еще пройдем победным маршем». Он ободрял жену, но сам был далек от спокойствия. «В разговоре, который произошел у меня в те дни с м-ром Роджерсом и несколькими юристами, один из них сказал: «Из тех, кто становится банкротом в пятьдесят восемь лет, только пяти процентам удастся потом привести свои финансовые дела в порядок». Другой с воодушевлением подхватил: «Пяти процентам! Это не удастся никому из них». От его слов мне стало очень тошно».

9 мая он был в Париже, в конце месяца перевез семью на юг Франции, сперва в Бурбуль-ле-Бен, потом в Этрета. Работал над «Жанной», «книгой, которая сама пишется», как докладывал Роджерсу. Ездил в Руан осматривать места, где воевала Жанна. В июне итальянский анархист убил французского президента Карно — Твен написал очерк «Кое-что из истории», сравнивая разъяренных французов с американскими линчевателями, но публиковать не стал. 4 июля он прибыл в НьюЙорк для очередных переговоров с кредиторами, Оливия рвалась ехать с ним, но Роджерс настоял, чтобы ее не было: все испортит. Боялся он не зря: когда Твен с гордостью написал жене, как его друг «избивает» кредиторов, та осыпала его упреками: не они виноваты перед нами, а мы перед ними. У Роджерса 21 мая умерла долго болевшая жена, Твен провел с ним три недели, утешал, смешил и, возможно, почувствовал, что наконец смог чем-то отплатить другу. В середине августа Роджерс его выпроводил, и Клеменсы на осень и зиму осели в Париже. Сперва жили в студии знакомого художника Помроя, в декабре переехали в отель. Жизнь вели тихую — французы по-прежнему не проявляли к Марку Твену ни малейшего интереса.

Сюзи поправила здоровье и брала уроки пения, ее отец работал над «Жанной» и написал еще одну повесть о приключениях Тома и Гека —

«Том Сойер — сыщик» («Тот Sawyer, Detective»; опубликована в «Харперс» в 1896 году), основанную на сюжете книги Стейна Блихера об убийстве, произошедшем в Дании в XVII веке, и особого интереса не представляющую. В конце сентября свершилось то, чего ждали 15 лет, — Роджерс организовал публичное испытание машины Пейджа в «Чикаго геральд». Прошло оно с блеском, строки набирались в четыре раза быстрее и выглядели красивее, чем на линотипе. Сотрудник «Чикаго геральд» вспоминал: «Машина Пейджа была расценена компетентными инженерами как самый совершенный кулачковый механизм, созданный в США, если не в мире; это самый интеллектуальный механизм из когда-либо существовавших». Во время испытаний, длившихся два месяца, машина опять сломалась, а Пейдж, вместо того чтобы просто починить ее, занялся усовершенствованиями. Роджерс: «Конечно, это было изумительное изобретение. Ни один механизм не был столь человекоподобен. Но это и было недостатком: слишком много человеческого, слишком мало машинного. Слишком много поломок, слишком дорого, сложно производить и настраивать. Я по часам следил за его работой, фиксируя все проблемы. Это было интересно, увлекательно, но я понял, что практического применения это не найдет». Роджерс уехал, его зять продолжал переговоры с «Чикаго геральд», но те склонились к дешевому и надежному станку Мергенталера. Все было кончено. Великолепный робот навсегда остался в единственном экземпляре (сейчас он — музейный экспонат). Общая сумма затрат на него оценивается в 800 тысяч тогдашних долларов. 21 декабря 1894 года Роджерс ликвидировал «Пейдж композитор компани».

Получив это известие, Твен хотел в тот же день мчаться в Америку — жена отговорила. Роджерсу: «Я, кажется, ждал Вашей телеграммы и был готов; но, боже, как мало мы себя знаем и как легко обманываемся. Известие поразило меня как удар молнии. Оно выбило все мысли из моей головы, я метался туда и сюда, не сознавая, что делаю, и только одна безумная мысль крутилась в этом сумасшедшем бреде — что моя многолетняя мечта погибла... Была еще мысль — я должен был быть там и видеть, как она умирает; может быть, если б я был там, мы бы что-нибудь придумали, нашли какой-нибудь немыслимый способ...» Он спрашивал: может, Роджерс что-то напутал, сказал одно, а подразумевал другое? Тот ответил чуть суше обычного, что ничего не путал и никакого «немыслимого способа» нет, затем извинялся: его сердце «жесткое и старое», и он причинил другу боль. Твен отвечал: «Я буду хранить Вашу дружбу, пока мы живы; я всегда буду помнить, что Вы сделали для меня, и

я никогда не сделаю ничего, что могло бы этой дружбе повредить. Мне 59 лет, и у меня еще никогда не было друга, который протянул бы мне руку, когда я тонул». Обычно такие письма пишут, расставаясь навек, и Твен, возможно, думал, что прощается с Адским Псом, но тот спокойно сообщил, что продолжает вести все дела друга, и сговорился с издательством «Харперс» о публикации будущих твеновских книг на выгодных условиях. Через несколько дней Твен оправился от удара. Роджерсу, на Новый год: «Всю жизнь я натыкался на счастливые шансы, и всегда они кончались ничем из-за моей глупости. Что ж, даже эта последняя неудача обернулась удачей — я встретил Вас. Жаль, Вы не были со мной с начала. Мы бы добились успеха». Он еще несколько раз заговаривал с Роджерсом о машине, потом перестал. Как-то он получил письмо от человека, предлагавшего ему прочесть свою книгу об изобретателях. «Да, я, как Вы говорите, интересуюсь изобретателями. Если Ваша книга о том, как их всех перебить, вышлите мне 9 экземпляров срочной почтой».

«К любопытным чертам моего характера принадлежат периодические перемены в моем настроении, внезапные переходы от глубокой хандры к полубезумным бурям и циклонам веселости». Отчаяние из-за гибели машины сменилось спокойствием: не о чем волноваться, нечего терять. В начале 1895 года Твен оценил свое состояние: дивиденды Оливии — четыре тысячи в год (а будет еще меньше), роялти — 11 тысяч, по четыре тысячи он будет зарабатывать новыми книгами. Жить вполне можно, но долги платить не из чего. Спасением может стать гастрольный тур. Понд предлагал организовать поездку по Штатам. Но этого мало. Стэнли недавно совершил кругосветный лекционный тур по Британской империи, имел громадный успех и заработал кучу денег; его агент Карлайл Смит все организовал на высшем уровне. Отважиться на такое путешествие Твену было непросто: он немолод, устал от поездов и отелей, платные выступления — унижение, «клоунство» (приватные речи в клубах — другое дело). Но это был шанс разделаться с долгами одним махом и стать свободным, да и посмотреть новые страны хотелось, к тому же можно написать книгу путевых очерков. Но сперва — «Жанна». Роджерсу: «Я должен стыдиться, и я стараюсь стыдиться, но не могу, мне с ней так хорошо». Книга, которую автор оценил как «свое лучшее и самое значительное произведение» (этого мнения никто не разделяет), была окончена 8 февраля.

Презрительно названная Оруэллом «чувствительной книжонкой», «Жанна» действительно самая сентиментальная из работ Твена. Он не мог писать с иронией о той, которую обожал с детства и считал воплощением

лучшего в человечестве. «Она была правдива в такие времена, когда ложь была обычным явлением в устах людей; она была честна, когда целомудрие считалось утерянной добродетелью... она отдавала свой великий ум великим помыслам и великой цели, когда другие великие умы растрачивали себя на пустые прихоти и жалкое честолюбие; она была скромна, добра, деликатна, когда грубость и необузданность, можно сказать, были всеобщим явлением; она была полна сострадания, когда, как правило, всюду господствовала беспощадная жестокость; она была стойка, когда постоянство было даже неизвестно, и благородна в такой век, который давно забыл, что такое благородство... она была безупречно чиста душой и телом, когда общество даже в высших слоях было растленным и духовно и физически...»<sup>[33]</sup>

В «Принце и нищем» Твен вольно обращался с историческими фактами, здесь — строго следовал источникам (основной — «Жанна д'Арк» знаменитого Жюль Мишле). И все же он не отрицал, что писал Жанну, видя перед собой не столько историческую героиню, сколько своих женщин. Его Жанна — талантливая и пылкая, как Сюзи, логичная и рассудительная, как Клара, жалостливая, как Джин, «языкатая», как Джейн Клеменс, терпеливая, как Оливия. Отсюда главная и справедливая претензия литературоведов: героиня романа — американка XIX века, а не средневековая французская крестьянка. Твен писал антиклерикальный роман («...самые высшие чины христианской церкви повергали в ужас даже это омерзительное время зрелищем своей гнусной жизни, полной невообразимых предательств, убийств и скотства»); он лишил героиню фанатичной религиозности и сделал ее свободомыслящей.

Как восемнадцатилетняя неграмотная девушка могла быть успешным полководцем и политиком? Жанна на процессе объясняла, что ею руководили «голоса святых». Сейчас большинство историков считают, что она внушила себе «видения» и «голоса» — вещь обычная для Средневековья; что касается успехов, то она обладала достаточным умом, чтобы прислушиваться к советам опытных соратников. Писатели отвечали на этот вопрос по-разному. У Шекспира («Генрих VI») она — ведьма. У Анатоля Франса («Жизнь Жанны д'Арк») — прекрасный, но психически неуравновешенный человек; ее рассказы о «голосах» инспирированы церковниками. У Вольтера в «Генриаде» и «Опыте о нравах» («Орлеанская девственница» не в счет — она не о Жанне, а о церкви) — смелая «амазонка», ставшая жертвой церковных интриг. У Бернарда Шоу в «Святой Иоанне» — сообразительная девушка и при этом подлинная духовидица. У Ануя в «Жаворонке» она наделена сверхчувственным

восприятием. У Мережковского в «Жанне д'Арк» — истинная христианка, ведомая Богом; у Леона Дени и Конан Дойла — медиум, выделявший эктоплазму. (Все сходятся лишь в одном: церковь поступила подло, казнив Жанну, и лицемерно, когда оправдала в 1456 году и канонизировала в 1920-м, объясняя ошибку «перегибами на местах».)

Так или иначе, никто (кроме Шиллера, сделавшего центром «Орлеанской девы» любовную интригу) тему «голосов» и «видений» обойти не мог. Твен ее проигнорировал. Он не хотел унижать героиню ни мистикой, ни психиатрией: на спасение Франции ее подвигли не «голоса», а патриотизм, а преуспела она просто потому, что была умна. У нее интеллект шахматиста: «Каждый ход был точно рассчитан, каждый был действенным и значительным, составляя последовательную цепь» — и блестящая интуиция. «В воскресенье утром «голоса» или какой-то внутренний инстинкт подсказали ей послать Дюнуа в Блуа возглавить командование и поспешить вместе с армией в Орлеан. «Из всех ее дарований самое поразительное — зрение. У нее ясновидящее око». Не подумав, я ляпнул как дурак: «Ясновидящее око? Ну и что тут особенного? Мы все не слепые». — «Нет, — ответил рыцарь, — люди с таким зрением рождаются редко». Потом он разъяснил мне смысл своих слов, и я все понял. Он сказал, что обыкновенный глаз видит и судит только о внешней стороне явлений. А ясновидящее око проникает в сущность человека, раскрывает его сердце и душу, обнажает его способности и возможности, именно то, что недоступно обычному глазу. Он добавил, что даже величайший полководец потерпит неудачу и ничего не добьется, если у него нет дара ясновидения. Иначе говоря, грош ему цена, раз он не умеет разбираться в людях и не в состоянии безошибочно оценить своих подчиненных. Он интуитивно чувствует, что один силен в стратегии, другой без раздумья готов броситься в огонь, третий обладает необыкновенной настойчивостью и упорством. Каждого он ставит на свое место и благодаря этому выигрывает». В вопрос о том, зачем же Жанна, такая умная, выдумывала «голоса», в конечном итоге ее погубившие, Твен вдаваться не стал: ему пришлось бы сделать ее либо психически больной, либо лгуньей, либо беспомощной игрушкой в чужих руках. Он следовал источникам, но игнорировал всё, что не укладывалось в его концепцию. Его Жанна жалостлива, кормит бездомных собак, заботится о бродягах; жестокой она не может быть, что бы ни говорили факты. «Историки утверждают: именно во время этого перехода Дюнуа сообщил Жанне, что англичане ждут подкреплений под командованием сэра Джона Фастольфа и будто бы Жанна, обратившись к Дюнуа, сказала: «Бастард, бастард, ради

бога, предупреждаю вас, дайте мне знать о его приближении как можно скорее. Если же он появится, а я не буду о том знать, — не сносить вам головы!»

Возможно, все так и было, не спорю, но я лично этих слов не слышал. Если же она и сказала нечто подобное, то, вероятно, закончила словами: «не быть вам во главе», то есть пообещала устранить Дюнуа от командования. Не допускаю мысли, чтобы Жанна угрожала смертью боевому товарищу».

Самое любопытное отступление от источников, допущенное Твеном, — история с «деревом фей». (Слово *Fairy* у нас обычно переводят как «фея», хотя оно обозначает разных представителей «малого народца» обоих полов.) В детстве Жанна играла с другими детьми у дерева, где якобы жила «нечистая сила» — для инквизиции это стало одним из поводов обвинить ее в «сношениях с дьяволом». Из протоколов допроса: «Далее она сказала, что иногда сама ходила туда гулять с другими девочками и делала у дерева гирлянды для иконы святой Марии Домреми. И часто она слышала от стариков (но не от своих родичей), что туда сходятся феи. Она слышала от одной женщины, по имени Жанна, жены мэра Обери из той же деревни, которая была крестной матерью самой допрашиваемой Жанны, что она видела там упомянутых фей; но сама допрашиваемая не знает, правда это или нет. <...> Она не знает и никогда не слышала, чтобы там собирались упомянутые феи, но она слышала от своего брата, что в их родных местах ходит слух о том, что у дерева фей Жанна приняла решение действовать. Но она сказала, что это не так и о том же прежде говорила брату».

Жанна не придавала значения детским играм, не видя в них ни хорошего, ни дурного. Но каждый писатель перетолковывает источники, как ему удобно. Мережковский, стараясь подчеркнуть набожность Жанны, приписал ей слова, которых нет в протоколах: ««В старые годы госпожи лесные водили хороводы по ночам под Маем-Прекрасным, но теперь уже из-за грехов своих не могут этого делать», — сказывала Жанне одна из ее крестных матерей, а другая своими глазами все еще видела в лунном свете пляшущих фей. Но Жанна сама их не видела и не верила в них или боялась верить, думая, что это «грех», «колдовство»».

У Твена все наоборот: «Феи все еще жили там, когда мы были детьми, но мы никогда их не видели, потому что еще за сто лет до нас один священник из Домреми отслужил молебен под деревом, осудив их как прислужниц нечистой силы, недостойных спасения; затем он приказал им никогда не появляться снова и не вешать больше венков из бессмертников под угрозой вечного изгнания из прихода. Все дети заступались за фей,



говорили, что они их добрые, дорогие друзья, никогда не причинявшие им зла. Но священник не слушал; он говорил: грешно и стыдно иметь таких друзей. Дети тосковали и долго не могли успокоиться; они дали обет всегда вешать венки на дерево в знак неизменной любви к феям и вечной памяти о них». Однажды феи показались и священник изгнал их вторично: «Узнав о случившемся, Жанна страшно рассердилась. Трудно было поверить, что такое кроткое существо способно на это». Жанна пошла к священнику и «выразила свое негодование по поводу того, что феям, как существам, близким к нечистой силе, закрыт путь к спасению и что их следует презирать и ненавидеть. А ведь, казалось бы, люди должны жалеть фей и делать все возможное, чтобы заставить их забыть горькую участь, уготованную им случайностью рождения, а не личной виной.

— Бедные крошки! — говорила она. — Если сердце человека способно жалеть христианское дитя, то почему бы ему не пожалеть и вас, детей дьявола, в тысячу раз более нуждающихся в этом?»

Реальная Жанна, ревностная католичка, ничего подобного, разумеется, говорить не могла. Но это говорила Джейн Клеменс: «А кто молится за Сатану? Кто за тысячу восемьсот лет просто, по человечеству, помолился за того из грешников... который имеет явное и неопровержимое право, чтобы за него молились денно и нощно, по той простой и неоспоримой причине, что он нуждается в этом больше других, как величайший из грешников?»

Твеновская Жанна — нежная, пылкая, трогательная; девочки и теперь над ней плачут. Но если «Гекльберри Финн», предназначенный детям, на самом деле взрослая книга, то с «Жанной» все наоборот. Автор на сей раз не стал экспериментировать с языком — в предисловии он писал, что «художественно обработал» воспоминания современника Жанны, «переведенные со старофранцузского на современный английский язык», — и тем самым не только лишил себя козыря, но и был вынужден «осовременить» и «обамериканить» героиню, превратив ее из уникала в «просто очень хорошую девочку», вроде Элли в стране Оз. Нет крупного писателя, который не ошибался бы в оценке какой-либо своей работы, за величиим замысла не замечая несовершенства исполнения.

23 февраля 1895 года с готовой «Жанной» Твен приехал в Америку. Списался с Карлайлом Смитом, пока обговаривались условия, можно отдохнуть; опять ходили всюду с Роджерсом, 31 марта в доме писателя Хаттона встретили «самую замечательную женщину со времен Жанны д'Арк», как назвал ее Твен. Пятнадцатилетняя Элен Келлер в младенчестве перенесла менингит, ослепла и оглохла. В бостонской школе для слепых ей

выделили учительницу Энн Сэлливан, под руководством которой она научилась говорить по методу Тадомы: прикасаясь к губам говорящего человека, она ощущала вибрацию, а Сэлливан пальцами писала буквы на ее ладони. В 1894 году Элен и Энн переехали в НьюЙорк, где стали посещать школу для глухих Райта-Хьюмаса. Девочка свободно говорила, читала методом Брайля на пяти языках, обладала литературным талантом; она была «в моде», и ее водили по светским гостиным.

«Девочка весело щебетала, хотя речь ее была несколько скованной и отрывистой. Ни к чему не прикасаясь, ничего, разумеется, не видя и не слыша, она, казалось, превосходно ощущала характер окружающей ее обстановки. Она сказала: «Ах, книги, книги! Так много-много книг! Как хорошо!» Гостей по очереди подводили к ней и знакомили. Пожав руку каждому, она тотчас легко прикасалась пальцами к губам мисс Сэлливан, и та произносила вслух имя этого лица. <...> Мне пришлось уйти еще до его [вечера] окончания; проходя мимо Эллен, я легонько погладил ее по голове и направился к двери. Но тут меня окликнула мисс Сэлливан: «Погодите, мистер Клеменс. Элен очень огорчилась, потому что она не узнала, чья это рука. Погладьте ее еще раз по голове, пожалуйста». Я так и сделал, и Элен сразу сказала: «А, это мистер Клеменс». Быть может, кто-нибудь и способен объяснить подобное чудо, но мне это не по силам. Неужели она могла сквозь волосы почувствовать складочки на моей ладони? На этот вопрос должен ответить кто-то другой. Я недостаточно компетентен».

Элен любила книги Твена; завязались беседы, переписка. По его просьбе в 1900 году Роджерс оплатил ее учебу в университете Рэдклиф: она стала первым слепоглухим человеком, получившим высшее образование. Элен занималась организацией школ для слепых, писала книги, выступала с лекциями, в 1964 году Линдон Джонсон наградил ее президентской медалью Свободы, одной из двух высших гражданских наград США. «Она равна Цезарю, Александру Македонскому, Наполеону, Гомеру, Шекспиру и всем остальным бессмертным, — утверждал Твен. — Через тысячу лет она будет столь же знаменита, как и сейчас». Он интересовался слепыми и до Элен, участвовал в работе соответствующих обществ, выступал на благотворительных вечерах. Но лишь после знакомства с нею (и с Кэтрин Харрисон) он поверил, что женщины, могущие сравниться с мужчинами, бывают и в XIX веке, а не только в XIV.

3 апреля Твен отплыл в Лондон, где его уже ждала семья. Стэнли дал прием в его честь — дополнительная реклама. 23 апреля подписали контракт со Смитом. Запланировано 140 лекций, маршрут: США — Канада — Фиджи — Австралия — Новая Зеландия — Цейлон — Индия —

Маврикий — Южная Африка — Мадейра — Великобритания, начало тура в середине июля, продолжительность — 11 месяцев. 20 мая Клеменсы прибыли в НьюЙорк: началась публикация «Жанны» в «Харперс мэгэзин», читатели, несмотря на анонимность текста, принимали его благожелательно: Жанна д'Арк в конце XIX века была популярна, в США одновременно вышли еще пять книг о ней. (В мае 1896 года издательство «Харперс» выпустило книгу — имя Твена значилось на корешке, но не на титульном листе.) Фрэнк Мэйо поставил пьесу по «Простофиле Вильсону». 23 мая при посредничестве Роджерса был заключен эксклюзивный долгосрочный контракт с «Харперс», и Клеменсы поехали в «Каменоломню» набираться сил перед путешествием.

О грандиозном плане Марка Твена писали все газеты, публика изнывала от нетерпения: он так давно не выступал! Предполагалось, что он только за выступления в Штатах заработает 30 тысяч долларов; кредиторы успокоились, за исключением одного, Рассела, который по суду требовал свои пять тысяч немедленно. Несмотря на протесты Роджерса, Оливия заставила мужа уплатить, порывалась занять денег у брата, отдать кредиторам роялти за полгода и арендную плату за хартфордский дом, который наконец удалось сдать, но тут уж Роджерс выстоял. Меж тем выяснилось, что сумма долга высчитана неверно: кредиторам «Уэбстер и К<sup>о</sup>» причитается не 80 тысяч, а более 100 тысяч. Но теперь уж все равно...

В «Каменоломне» Твен написал только один эскиз, не публиковавшийся при жизни: «Моя первая нью-йоркская лекция («Frank Fuller and My First New York Lecture»), больше читал и отсыпался. Спорили, кто, кроме Оливии, с ним поедет. Всей семьей — накладно. Решили взять одну из старших дочерей по их выбору (Джин останется с теткой, ее отдали в школу в Эльмире). Сюзи сказала, что боится моря, значит, едет Клара.

Вечером 14 июля 1895 года отправились в путь. Перед стартом Твен сделал заявление для прессы: «Говорят, что я отдал кредиторам издательскую фирму, которую финансировал, и теперь собираюсь читать лекции для собственной выгоды. Это неверно. Мои лекции — собственность кредиторов. Закон не признает интеллект человека собственностью, и бизнесмен может использовать в своих интересах законы о банкротстве и начать все с нуля. Но я не бизнесмен, и совесть значит для меня больше, чем законы. Она не признает компромисса. Ее долги не прощаются. Я убежден, что если буду жив, то за четыре года выплачу весь долг и в 64 года начну новую жизнь».

До 22 августа Клеменсы в сопровождении Понда проехали по США и

Канаде; принимали их везде роскошно: цветы, толпы народу, Твен дал 22 выступления, утомился, страдал от карбункулов, Оливия, как ни странно, была здорова. Читал он в основном из ранних книг: «Налегке», «Простак», «Том», «Гек», рассказывал случаи из детства; завершал вечер обычно «ударной» историей о «страшной золотой руке» из негритянского фольклора. Он отвык от публики, мучился страхами. «Вчера во время чтения сзади меня по сцене прошел котенок. Публика смеялась в несмешном месте. Я не знал до конца, что случилось»; «Навязчивый сон: я выхожу читать перед публикой, не заправив рубашку в брюки. Очень тревожный сон». За месяц заработал пять тысяч, отослал Роджерсу для кредиторов, но тот придержал деньги в банке: мало ли что случится, а пока пусть проценты каплют.

23 августа отплыли из Ванкувера, на пароходе Твен начал делать записи для будущей книги «По экватору» («Following the Equator»). 30 августа были у гавайских берегов: «Если б я мог, я пристал бы здесь и никогда никуда не двинулся». Но на Гавайях была эпидемия холеры — пристать не удалось. На день остановились на Фиджи. 16 сентября в Сиднее Клеменсов встретил Смит, начался австралийский тур. Передвигались по железной дороге, зарабатывали тысячу долларов в неделю, отели были комфортабельны, публика восторженна, всё отлично, если не считать карбункулов. Твену приснился сон, возможно, давший толчок к написанию одной из самых необычных его книг: «Будто вселенная — это телесная оболочка Бога; будто огромные миры, мерцающие над нами в небесных просторах на расстоянии миллионов миль, — кровавые шарики в его венах; а люди и все другие существа — бесчисленные микробы, что вливают многообразие жизни в кровавые шарики».

С 6 ноября по 13 декабря — Новая Зеландия, перемещения на поездах и пароходах, страна произвела приятное впечатление, Твен отметил, что женщины имеют избирательные права и ни к чему плохому это не привело: «Женщины совершили мирный переворот, и весьма благотворный; однако это не убедило мужчин, что женщины умны, отважны, настойчивы и обладают силой духа. Но кто способен в чем-нибудь убедить мужчин? И пожалуй, никто не заставит их когда-либо понять, что они во многих отношениях ниже женщин, а ведь немало убедительных фактов показывает, что так оно и есть. Мужчина управляет родом человеческим со дня сотворения мира, но ему не следует забывать, что вплоть до середины нынешнего века мир этот был невежественный, неразумный, просто глупый; сейчас, конечно, мир немного поумнел и с каждым днем продолжает умнеть».

Морем вернулись в Австралию, чтобы зайти в несколько прибрежных городов, на Рождество и Новый год отдыхали, покинули континент 4 января. Успех, деньги текут, но усталость копится. Записные книжки: «Меня бесконечно поражает, что мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую смехотворную канитель. Странно, ведь каждый год миллионы умирают с этим чувством в душе. Почему я не пишу эту книгу? Потому что я должен содержать семью. Это единственная причина. Может быть, так рассуждали и все другие?»; «На палубе свирепствуют шалопаи. Досадно, что из шалопаев вырастают порядочные и полезные для общества люди нисколько не реже, чем из послушных детей».

13 января 1896 года достигли Цейлона — забылись все мрачные мысли: «Группами идут мужчины, женщины, дети, каждый — словно огненный цветок, группа — будто пылающий костер. И какие великолепные, какие живые краски, как чудесно переливаются и сверкают в них радуги и молнии! <...> Всюду пиршество красок, радующее глаз, и ваше сердце поет от счастья». 20 января в Бомбее начался двухмесячный железнодорожный тур по Индии, которая «отнюдь не красива, но что-то в ней все же манит и привлекает вас, никогда не надоедая. Вы не можете сказать, что именно вас чарует, но вы отчетливо ощущаете это чувство и признаетесь в нем самому себе. Конечно, где-то в глубине души вы смутно понимаете, что все дело тут в истории: вас преследует сознание того, что мириады человеческих жизней цвели, увядали и гибли на этой земле, вновь и вновь проходя друг за другом, поколение за поколением и век за веком бесплодный, бессмысленный путь; именно история дает этой заброшенной, неуютной стране власть тревожить ваш дух и располагать вас к себе; эта страна говорит с вами голосом подчас жестким и насмешливым, но красноречиво печальным».

Впечатлений море: Тадж-Махал, факиры, заклинатели змей, рикши, катание на слонах, обезьяны, скачущие в окна и ворующие еду, колоритные слуги-индийцы. Твен даже про болезнь забыл, но на него напала другая — изнуряющий кашель, из-за которого не мог выступать десять дней. Пока лежал в постели, заинтересовался сектой тугов — «душителей», прочел массу книг, где говорилось, в частности, что туги убивали «из спортивного интереса». «Радость убить самому, радость видеть, как убивают, — это чувство свойственно всему человечеству. Мы — белые — всего лишь видоизмененные туги; туги, сдерживаемые не очень крепкими путами цивилизации; туги, которые когда-то ликовали при виде кровавых боев

гладиаторов на римской арене, а позже при виде костров на площадях, где сомнительных христиан сжигали христиане истинные... и мы лишь немногим добропорядочнее тугов, когда наступает охотничий сезон и мы с жаром гонимся за пугливым зайцем и убиваем его. И тем не менее мы достигли некоторого прогресса — прогресса, конечно, микроскопического, такого, что о нем не стоило бы и говорить и которым уж никак не надо бы гордиться, — однако это все же прогресс: мы уже не испытываем удовольствия, глядя, как режут или жгут беспомощных людей; мы уже достигли той небольшой высоты, с которой смотрим на индийских разбойников-душителей с самодовольным содроганием; мы даже можем рассчитывать, что наступит день, быть может через многие века, когда наши потомки с тем же чувством будут смотреть на нас». О британском правлении в колониях Твен был уже не столь высокого мнения, как в молодости, но признавал, что в Индии оно было благом: искоренение тугов, запрет на убийства новорожденных девочек (выдать дочь замуж стоит дорого) и самосожжение вдов. Последний обычай, впрочем, Твену казался совсем не глупым: лучше верить, что вот-вот соединишься с любимым на небесах, чем уныло доживать в одиночестве.

Тем временем из Эльмиры приходили плохие вести. У Джин повторился эпилептический припадок. Эффективного лечения не существовало. Нью-йоркский врач Ален Старр прописал диету и бром (в дозах, от которых может умереть здоровый человек), но по крайней мере объяснил Сьюзен Крейн и Кэти Лири, как обращаться с больной во время приступов. Родители хотели все бросить и вернуться — Сьюзен убедила их, что ситуация под контролем, но дальнейшая поездка была омрачена.

Сюзи провела лето и осень в Эльмире, упражнялась в пении, но чувствовала себя неважно. Ей было 24 года: нервная, впечатлительная девушка, страдающая от несчастной любви и чрезмерной опеки родственников; типичная жертва сомнительных учений и сект. Она уехала от тетки в Хартфорд, отыскала свою старую гувернантку Лилли Фут, адепта «психического лечения», и попала под ее влияние: бегала по «целителям», сама пыталась «исцелять». Тетка эту деятельность одобряла, интеллигентные хартфордцы — тоже, ворчала одна Кэти Лири, но что значит мнение необразованной служанки? Узнав от сестры, что Сюзи переехала в НьюЙорк, где вращается в кругах «целителей» и медиумов, и что это ей «пошло на пользу», Оливия Клеменс отвечала, что «очень довольна»; ее муж писал Сюзи, что все его карбункулы и простуды «от нервов» и он уверен: «психическое лечение» ему бы тоже помогло.

Сам он выдохся, перед выступлениями чуть не плакал от усталости;

жена держалась и его поддерживала. «М-р Клеменс не так бодр, как бы мне хотелось, — писала она сестре, — бедный, любимый мой старичок, его мучают простуды и другие напасти. Теперь его угнетает, что ему 60 лет. Я делаю что могу, стараясь заставить его радоваться, что не 70. <...> Он не верит, что все кончится хорошо, думает, остаток жизни мы проведем в бедности. Он говорит, что не хочет возвращаться в Америку. Я не думаю, что все так мрачно, как ему кажется, и надеюсь, что, если он поселится в тихой сельской Англии, где можно писать, жизнерадостность к нему вернется, я уверена в этом, потому что он любит эту работу; выступления нравятся ему в те два часа, что он стоит на сцене, но это утомляет его, и он говорит, что ему стыдно этим заниматься. Однако, несмотря на эту грусть, наша поездка прекрасна. Люди так доброжелательны, и с ними м-р Клеменс кажется веселым. Он хорошо отдыхает, когда мы плывем по океану».

28 марта отплыли из Калькутты через Цейлон на Маврикий. «По экватору»: «Жизнь на воде имеет для меня неувыдаемое очарование. Здесь нет ни усталости, ни утомления, ни забот, ни ответственности, ни работы, ни плохого настроения. Где на суше можно найти такое спокойствие и комфорт, такую безмятежность и такую глубокую удовлетворенность? Если бы я мог выбирать, я бы предпочел жизни на твердой земле бесконечное плавание по морю».

На Маврикии пробыли с 15 по 28 апреля, 6 мая приплыли в Дурбан, город в принадлежавшей британцам Капской колонии (часть нынешней ЮАР). Предстояли два месяца в поездках, но настроение поднялось — это последний этап гастролей, с деньгами все отлично, заработано 70 тысяч, за книгу «По экватору» хорошо заплатят, болячки наконец прошли, Сьюзен Крейн пишет, что у Джин больше нет припадков, а Сюзии поправилась благодаря «психическому лечению», летом вся семья оседет в Англии и заживет спокойно. Оливия и Клара расхворались, Твен оставил их в отеле и поехал по Южной Африке вдвоем со Смитом.

Политическая обстановка была накалена. Капскую колонию основали в XVII веке голландцы-буры<sup>[34]</sup>, в период наполеоновских войн ее захватила Англия (Твен писал, что все цивилизованные государства всю жизнь только и делали, что воровали друг у друга земли «как простыни с веревки»), в 1850-х годах, оставив ее англичанам, буры основали республику Трансвааль и Оранжевое Свободное государство (с неопределенным статусом), в 1877-м, когда нашли месторождения алмазов, Англия аннексировала Трансвааль, в 1881-м Трансвааль вроде бы вернул независимость, но опять заключил с Англией расплывчатое соглашение.

Туда приехало работать много англичан и других иностранцев — «ойтландеров», которых буры обложили налогами, но не дали гражданских прав. В декабре 1895 года Сесил Роде, премьер-министр Капской колонии, выслал крошечный отряд в трансваальский город Йоханнесбург, чтобы вместе с ойтландерами (лидеры которых об этом не просили) организовать государственный переворот. Отряд был разбит, лидеры ойтландеров арестованы, Британия опозорилась, хотя Роде уверял, что не посылал отряда и ничего не знает. Зачем он устроил эту провокацию? Твен писал, что тогда не понял, но через год сообразил: «Если бы ему удалось довести дело до кровопролитного столкновения между ойтландерами и бурским правительством, Великобритании пришлось бы вмешаться, буры оказали бы ей сопротивление, и Великобритания, в наказание бурам, присоединила бы Трансвааль к своим южноафриканским владениям».

Арестованные содержались в тюрьме в Претории. Твен был знаком с женой одного из них, Джона Хэммонда, и с ней поехал его навестить: несмотря на напряженные отношения между Трансваалем и Капской колонией, он получил разрешение без проблем. Президент Трансвааля Стефан Крюгер пригласил его на обед, неожиданно предложил пост американского консула в Йоханнесбурге. Твен почти соблазнился, но жена умолила отказаться. Выступал он во всех крупных городах Капской колонии, посетил алмазные рудники в Кимберли; 15 июля в Кейптауне, столице Капской колонии, тур был завершен. По подсчетам Оливии, им оставалось заработать не более 20 тысяч — для этого достаточно издать три-четыре книги, но из Америки сообщали, что предыдущие расчеты были неверны и долг опять возрос: нужно еще 40 тысяч. Но это был уже долг чести, который Клеменсы сами на себя взвалили: для оплаты 50 процентов, как договорился с кредиторами Роджерс, средств хватало, а значит, судебных исков не будет.

31 июля 1896 года прибыли в Англию. Больше никаких поездок, покой, работа, тихое счастье. Сняли на лето дом в Гилдфорде, пригороде Лондона, списались: Кэти Лири привезет Сюзи и Джин, отец встретит их в Саутгемптоне 12 августа.

Но вместо дочерей пароход 12 августа привез письмо от Чарлза Лэнгдона, в котором сообщалось о болезни Сюзи. После Нью-Йорка она жила в Хартфорде у Уорнеров, также увлеченных «психическим лечением», потом сняла квартиру, где поселилась с Кэти, занималась пением, казалась здоровой, и даже Кэти стала относиться к окружавшим девушку «целителям» спокойнее. Узнав об окончании круиза, Кэти поехала в Эльмиру собирать Джин, а когда вернулась, обнаружила Сюзи в бреду. От



врача та отказывалась, требовала «целителя», Кэти вызвала врача, тетку, дядю и Туичелла, больную перевезли в хартфордский дом Клеменсов. До 15 августа обменивались отчаянными телеграммами, наконец Чарлз телеграфировал сестре, что опасности нет, но лечиться Сюзи будет долго. Оливия и Клара в тот же день отплыли в Америку, рассчитывая вернуться с остальными через несколько недель. Глава семьи остался: надо писать книгу и снять более комфортабельный дом для больной. Вероятно, надеялся на лучшее, ждал, по своему обыкновению, худшего, винил себя: если бы не разорил семью, все были бы сейчас вместе и здоровы. Может, и молился. Из записных книжек тех лет (точная датировка отсутствует):

«Если бы мне поручили сотворить Бога, я наделил бы его некоторыми чертами характера и навыками, которых не хватает нынешнему (библейскому) Богу.

Он не стал бы выпрашивать у человека похвал и лести и был бы достаточно великодушен, чтобы не требовать их силком. Он должен был бы себя уважать — не менее, чем всякий порядочный человек.

Он не был бы купцом, торгашом. Он не скупал бы льстивые похвалы. Он не выставил бы на продажу земные радости и вечное блаженство в раю, не торговал бы этим товаром в обмен на молитвы.

Он ценил бы лишь такую любовь к себе, которая рождается в ответ на добро, и пренебрегал бы той, которую по договоренности платят за благодеяния.

Он признал бы себя автором и изобретателем греха, а равно автором и изобретателем способов и путей к совершению греха. Он возложил бы всю тяжесть ответственности за совершаемые грехи на того, кто повинен в них, признал бы себя главным и единственным грешником.

Он не был бы завистлив и мелочен. Даже люди презирают в себе эту черту.

Он не был бы хвастуном. Он скрывал бы, что в восторге от себя самого. Он понял бы, что хвалить себя при занимаемом им положении дурно. Он не испытывал бы мстительных чувств.

Он посвятил бы толику своей вечности на раздумье о том, почему он создал человека несчастным, когда мог ценой тех же усилий сделать счастливым».

## Глава 8

### Том Сойер и смерть

«В награду за наше самобичевание и верность добрым идеалам нас ограбили, у нас отняли наше главное сокровище, нашу прекрасную Сюзю, такую талантливую и прелестную. Вы хотите, чтобы я верил в разумного, милосердного Бога, который управляет Вселенной. Да лучше б я управился сам».

Он начал письмо жене, едва она уехала: «Ах, я не мог сказать, как глубоко любил Вас, как жалел Вас за те ужасные страдания, которые принесли Вам мои ошибки. Вы простите меня, я знаю, но сам я не прощу себя, покуда жив». А жена писала ему на пароходе: «Я никогда не прощу себе, что бросила ее».

Врач в Хартфорде диагностировал менингит. Больная бредила, ослепла, потеряла сознание. Она умерла 18 августа. Потом Кэти Лири и Джин по настоянию родителей расскажут душераздирающие подробности: Сюзю никого не узнавала, себя воображала подругой знаменитой певицы, надевала материны платья. Она делала записи: «Никогда не смогу стать артисткой и поразить мир»; выглянув в окно, она сказала: «Вот идут трамваи для дочери Марка Твена». Ей казалось, что ее мать умерла, потом она увидела Кэти. «Она произнесла одно только слово, в котором излила свою тайную муку. Она протянула руки, рядом стояла Кэти. Ласково глядя ее по лицу, Сюзю сказала: «Мама!»».

Отец сидел в гилфордеком доме, «думая ни о чем», когда принесли телеграмму. «То, что человек, пораженный подобным ударом, может остаться в живых, — загадка нашей природы. Я нахожу только одно объяснение. Рассудок парализован и оцупью, как бы вслепую начинает доискиваться — что же случилось? К счастью, нам не хватает сил, чтобы все осознать. Есть смутное ощущение огромной потери — и всё. Месяцы, может быть, годы разум и память будут по крохам восстанавливать нашу потерю, и лишь тогда мы поймем, чего лишились».

У человека сгорел дом. Дымящиеся развалины говорят лишь о том, что дома, который долгие годы был ему так дорог и мил, больше нет. Но вот прошло несколько дней, неделя, и ему понадобилась какая-то вещь. Одна вещь, другая. Он ищет их, не находит и вдруг вспоминает: они остались в том доме. Они ему очень нужны, других таких нет на свете. Их ничем не заменишь. Они остались в том доме. Он лишился их навсегда. Он не думал,

что они так нужны ему, когда ими владел. Он понял это сейчас, когда их отсутствие ошеломляет его, лишает последних сил. И еще многие годы ему будет недоставать все новых и новых вещей, и лишь постепенно он осознает, как велика катастрофа».

Жена еще плыла через океан. «Если б я только мог быть с Вами — чтобы грудью и руками защитить Вас в ту минуту, когда слезы Чарли без слов скажут Вам, что случилось. Я люблю Вас, моя дорогая, и я хотел бы, чтобы Вы избежали хотя бы этого невыносимого горя». Он телеграммой предупредил встречавших, чтобы сказали Кларе, а та подготовит мать. (Клара потом была обижена: ее-то отец не пожалел.) Женщины приплыли 22 августа. О смерти Сюзи они прочли в газетах, еще не сойдя с парохода. Тело уже перевезли в Эльмиру, 23-го похороны, отцу не успеть. «Я сижу и пытаюсь осознать, что в мире есть какие-то живые люди, друзья или враги, цивилизованные или дикие, которые могут молчать и оставить меня много, много дней мучиться в ожидании вестей, которые никогда не придут». «Я хотел бы, чтобы было пять гробов. Как желанна смерть; но как же скупой она раздает свои дары».

На надгробном камне выбили стихи (их долго приписывали Твену) австралийского поэта Роберта Ричардсона: «Здесь ласково греет летнее солнце, здесь тихо веет южный ветер, здесь так легок зеленый дерн наверху — доброй ночи, моя дорогая, доброй ночи, доброй ночи!» Оливия с дочерьми и Кэти провела в Эльмире еще несколько дней, 9 сентября они были в Лондоне. Жить в приготовленном для них доме не могли, сняли квартиру в Челси. Мать сидела дома и чахла, отец гулял с дочерьми, но, как вспоминала Клара, «всюду мы встречали атмосферу мирового одиночества». По ее словам, до смерти Сюзи она не понимала, что была нелюбимым ребенком; теперь хотела заниматься музыкой, но родители не позволяли — траур. Джин начала учиться резьбе по дереву — странное занятие для девушки, но ей родители не препятствовали.

Хоуэлсу: «Придет ли исцеление, обретет ли жизнь для нас новую ценность? Встретимся ли мы с Сюзи? Несомненно! Несомненно — и это вновь разобьет наши сердца». Мать утешала себя тем, что менингит неизлечим, лучше умереть, чем жить безумной калекой. Отец — тем, что она умерла в родном доме, окруженная близкими, что ей казалось, будто рядом мать, что, наконец, лучше умереть молодой, чем старой. «В 24 года девушка видела лучшее в жизни — мечты о счастье. После этого начинаются заботы, печали и неизбежные трагедии. Ради ее матери я вернул бы ее из могилы, если бы мог, но не ради себя». Утешения помогали плохо. Самобичевание перемежалось поисками виновных: Памеле Твен

писал, что должен был не допустить брака ее дочери Энни с «собакой» Уэбстером, с которого начались все несчастья. Он лишь одной вины за собой не признал, настоящей вины, которую признала Оливия, написавшая Элис Дэй: «Сюзи убила себя «психическим лечением» и спиритизмом». Но Элис не сдалась: прошло несколько недель, и Оливия уже ходила на спиритические сеансы (муж отказался ее сопровождать, но не препятствовал). Элис также рекомендовала индусского хироманта — Клеменсы его посетили, хотя Кэти говорила, что они сошли с ума. Хиромант каждому из супругов предсказал, что тот овдовеет в ближайшие месяцы. Лишь после этого интерес к сверхъестественному стал сходиться на нет. Но тогда вновь усилилась боль.

Туичеллу, 27 сентября: «Сюзи была наделена редчайшими душевными качествами. Она была лучшим из того, что взрастил Хартфорд на протяжении этого поколения. И Ливи знала это, и вы знали это... и, возможно, еще многие. К этому числу принадлежал и я, хотя и не в такой степени, — ибо она была выше моего тупого восприятия. Я просто знал, что она превосходит меня красотой души, тонкостью и проникновенностью ума, но полностью постичь ее я не мог. Теперь я лучше узнал ее, потому что прочел ее дневники и измерил глубины ее духа; и теперь я понимаю, какого сокровища лишился, яснее, чем в те дни, когда оно было моим. Но у меня есть одно утешение: как бы туп я ни был, все-таки я настолько понимал это, что всегда гордился, когда она хвалила меня или мои книги, — гордился так, словно меня похвалила сама Ливи, — и принимал ее похвалу как знак отличия из рук гения. Я знаю теперь, — как Ливи знала всегда, — что в ней таился великий талант, и она сама это смутно сознавала.

А теперь ее нет, и я никогда не смогу сказать ей это».

В октябре выяснилось, что остатки долгов составляют не 40 тысяч, а все 80. Руки опускались. На новый тур сил не было. Твен засел за книгу. Позднее он описал Хоуэлсу, как это было: «Я писал ее в аду, но делал вид, как мог, что это была экскурсия в рай. Однажды я ее перечту, и если ее фальшивая жизнерадостность обманет меня, значит, она обманула и читателей. Как я на самом деле ненавидел это кругосветное плавание!» Как писать, когда всюду Сюзи, Сюзи? «Она так ликовала, когда моего «Простофилю Вильсона» взяли на сцену. Она так интересовалась всем, что я делаю, и мне так не хватает ее, и нет охоты работать». Чтобы нагнать объем, Твен вставлял анекдоты, истории, не имеющие отношения к поездке, пересказывал других авторов. Иногда не мог сдержаться: идет

подробный анализ экономики разных стран — и вдруг: «Мне хватит и семидесяти лет — дольше задерживаться рискованно. Когда молодость и радость уйдут, что останется? Смерть при жизни, смерть без всяких ее преимуществ, без ее достоинств».

«По экватору» — последняя книга путевых очерков Твена. И самая пессимистичная — начиная с нее, он отказался от слов, сказанных в 1895 году: «Мир немного поумнел и с каждым днем продолжает умнеть». Основная тема — отношения колонизаторов с аборигенами. Когда-то Твен не терпел «дикарей», предпочитая им любого белого, теперь не жаловал никого. Все государства, имеющие колонии, — воры и губители. «Что ж, как видите, Великий Прогресс пришел, а с ним и цивилизация — уотерберийские часы, зонтик, третьесортная ругань, и механизм цивилизации — «возвышающий, а не уничтожающий», и заодно смертность сто восемьдесят на тысячу, и столь же мило протекает все прочее». Об австралийских аборигенах: «Дикари усердно и сознательно ограничивали рост населения — часто с помощью детоубийства, но предпочитали некоторые иные способы. Зато когда пришел белый, аборигену больше незачем было прибегать к искусственным мерам. Белый знал средства, с помощью которых он в двадцать лет сократил туземное население на восемьдесят процентов». О Новой Зеландии: «Народу маори делает честь, что британское правительство не уничтожило его, как уничтожало австралийцев и тасманцев, а удовлетворилось порабощением и дальше не пошло». «Во многих странах мы отобрали у дикаря землю, превратили его в раба, каждый день стегая плетью, попираем его человеческое достоинство, заставляем мечтать о смерти как о единственном избавлении и принуждаем работать до тех пор, пока он не свалится замертво, — но и этому не придаем значения, ибо таков обычай». Но и «дикари» не лучше, они красивы, грациозны, но вероломны, жестоки — такие же люди, как и все. «На свете множество нелепых и смешных вещей, в их числе уверенность белого человека, будто он не такой дикарь, как другие». Прекрасна лишь природа: «Волнистая цепь гор переливалась изысканными коричневыми и зелеными красками, всеми оттенками бирюзы, пурпура и темных цветов, а мягкие бархатные склоны иных холмов хотелось погладить, словно лоснящуюся спину кота». Но человек ей не нужен: «Для тех, кто летает, Природа создала не имеющее пределов жилище высотой в сорок миль, а площадью во весь земной шар, и нигде никаких препятствий для полета. Тем, кто плавает, природа также даровала весьма величественные владения — владения во много миль глубиной, а покрывают они четыре пятых земного шара. Человеку же выпали на долю

одни лишь остатки да огрызки. <...> И все же человек, по своей простоте и благодушию и неспособности хитрить, наивно полагает, что Природа считает его важнейшим членом своей семьи, даже любимцем. Однако по временам и в его тупую голову, по-видимому, приходит мысль о том, что Природа проявляет свою любовь к нему довольно странным способом».

Когда Твен писал «Простофилю Вильсона», он предпослал главам эпиграфы — изречения Простофили. Ими же снабдил главы новой книги. Вильсон и прежде, бывало, высказывался печально: «Тот, кто прожил достаточно долго на свете и познал жизнь, понимает, как глубоко мы обязаны Адаму — первому великому благодетелю рода людского. Он принес в мир смерть». Но чаще смешил: «Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас, когда мы умрем». Теперь его сентенции стали совсем мрачны: «Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет»; «Жалейте живых, завидуйте мертвым». Американцы, как правило, оценивают «По экватору» невысоко: в их культуре оптимизм — норма, пессимизм — отклонение; твеновскую печаль называют «победой темной стороны над светлой», «превращением Джекиля в Хайда» и чуть ли не «сумасшествием», овладевшим писателем после смерти дочери. (Впрочем, не одни американцы таковы: когда Чехов несколькими годами ранее написал «Палату № 6», Суворин в письме С. И. Смирновой тоже намекал, что писатель сходит с ума.) Однако подобные мысли Твен высказывал и десять лет тому назад, когда Сюзи была жива.

Печаль стала глубже, но острота языка никуда не делась: «Человек — единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится»; «Если бы желание убить и возможность убить постоянно сопутствовали друг другу — кто из нас избежал бы виселицы?»; «Милостью Божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться»; «Часто самый верный способ ввести человека в заблуждение — сказать ему чистую правду». Сохранилась и живость наблюдений — знак того, что автор еще будет радоваться жизни: «Во дворе отеля живет хамелеон. Он отличается толщиной, ленью и созерцательностью, но сразу становится по-деловому оживлен и подвижен, когда мимо пролетает муха: высовывает язык, похожий на чайную ложку, и втягивает им насекомое. Сначала он жует свой язык. У него всегда набожный вид. Таким же терпеливым и благодарным выглядит он, когда провидение посылает ему муху. У него лягушачья голова, а спина формой напоминает свежий могильный холм; лапы похожи на обмороженные птичьи когти. Но самое интересное в нем — это глаза. С обеих сторон

головы торчат шишечки, на концах которых сидят крошечные блестящие бусинки — глаза. Эти шишечки свободно поворачиваются в разные стороны, как вращающийся пулемет, причем они ничуть не зависят одна от другой, каждая управляется отдельно. Когда я стою позади него, а С. — впереди, он поворачивает один глаз назад, а второй устремляет вперед, что весьма напоминает взгляд нашего конгресса (один глаз смотрит на конституцию, а другой — на доходы); а когда что-нибудь происходит над ним и под ним, один глаз у него превращается в телескоп, а другой смотрит вниз — выражение его лица меняется, но лучше не становится».

Некоторые фрагменты, написанные той осенью, для книги совсем не подходили, Твен их исключил и при жизни не публиковал. Один — «Еврейская история» («Randall's Jew Story»), байка, услышанная на Миссисипи: еврей убил на дуэли шулера, обманом выигравшего у плантатора юную рабыню, и вернул ее дочери плантатора, для которой она была единственной подругой. (Нынче рассказ находят неполиткорректным и негры, и евреи: нехорошо возвращать рабыню в рабство, хотя бы и хорошему человеку.) Подъема антисемитских настроений в Европе конца XIX века Твен не заметить не мог и причину его видел в превосходстве семитской расы. Туичеллу: «Представьте, Джо, сколько шансов имел бы христианин в стране, где на каждые десять христиан приходилось бы три еврея! О, ни малейшего. Различие между интеллектом среднего христианина и среднего еврея — в Европе, конечно, — как между головастиком и архиепископом». Но в общем, откровенно говоря, ему не было дела до евреев, ни до кого не было дела. «В те дни в Париже, когда она так быстро росла, ее речь была подобна ракете; мне казалось иногда, что я вижу, как огненная полоса взлетает выше и выше и взрывается, разлетаясь цветными искрами. И мне хотелось сказать: «Чудесная моя девочка!» Но я молчал, и мне горько теперь вспоминать». Но он вспоминал — снова и снова: «Сюзи была близорука. Как-то, когда она была маленькой, я поднимался с ней вместе по лестнице и, обернувшись на полдороге, увидел через стеклянную дверь столовой кошку-трехцветку, свернувшуюся клубком на ярко-красной скатерти на обеденном круглом столе. Поразительное зрелище. Я сказал Сюзи: «Взгляни!» — и был очень удивлен, что она не сумела увидеть».

Страдание — тема другого фрагмента, «Зачарованная морская глушь» («The Enchanted Sea-Wilderness»): судно после шторма попало в ужасное место, которое называют «Вечным воскресеньем» или «Гонками дьявола»: там погибают корабли, компасы «мечутся как души в аду и сходят с ума», и время останавливается; моряк-рассказчик считает, что это наказание за

дурной поступок, когда капитан корабля бросил умирать собаку, спасшую жизнь ему и команде. Люди и звери — этой теме посвящено и эссе «Низшее животное» («The Lowest Animal»; также известно как «Man's Place in the Animal World»), одна из ядовитейших твеновских сатир, развивающая тезис Свифта: «Мы являемся особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума, каковым мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных пороков и для приобретения новых, от природы нам не свойственных».

«Я изучал характер и склонности так называемых «низших животных» и сравнивал их с характером и склонностями человека. Результаты этого сравнения, на мой взгляд, крайне унизительны для меня. Ибо они вынуждают меня отказаться от моей веры в дарвиновскую теорию происхождения человека от низших животных, так как мне теперь представляется очевидным, что эту теорию следует заменить новой и гораздо более близкой к истине, назвав ее «теорией нисхождения человека от высших животных»».

«Из всех животных только человек жесток. Только он причиняет боль потому, что это доставляет ему удовольствие. О высших животных нельзя сказать ничего подобного. Кошка играет с перепуганной мышью, но у нее есть оправдание — она не знает, что причиняет страдания мыши».

«Человек — единственное животное, которое способно на возмутительнейшее и отвратительнейшее деяние, именуемое войной. Только он способен собрать вокруг себя своих братьев и хладнокровно и невозмутимо истреблять себе подобных».

«Человек — единственный раб. И единственное животное, обращающее в рабство себе подобных».

«Человек — единственный патриот. Он отгораживается от всех остальных людей в своей собственной стране, под своим собственным флагом, и презирает другие нации, и держит под рукой бесчисленных одетых в мундиры убийц, которые обходятся ему очень дорого, — лишь для того, чтобы отхватывать куски чужой страны и мешать ее жителям посягнуть на его страну».

«Он — единственное животное, которое любит ближнего своего как самого себя и перерезает ему глотку, если расходится с ним в богословских вопросах».

«Человек — это всего лишь вместилище чумной гнили, предназначенное для пропитания и развлечения мириадов всевозможных бацилл — целых армий, которым приказано губить и гноить его, и каждой армии поручена определенная часть этой работы. Едва он впервые



вздохнет, как его уже начинают выслеживать, преследовать, терзать и убивать — без пощады и милосердия, пока он не испустит последнего вздоха».

«Что касается внешности — взгляните на бенгальского тигра, на этот идеал грации, красоты, физического совершенства и величия. А потом взгляните на человека — на эту жалкую тварь. На это животное в парике, с трепанированным черепом, со слуховой трубкой, с искусственным глазом, с картонным носом, с фарфоровыми зубами, с серебряной гортанью, с деревянной ногой, — на существо, которое с ног до головы состоит из заплаток и штопки. Если на том свете ему не удастся получить обратно всю эту мишуру — каково-то он будет выглядеть?»

Раны затягиваются, что-то улаживается, можно отвлечься от своих бед, приняв участие в ком-то другом: Роджерс, безутешный вдовец, женился на светской красавице Эмили Рэндел-Харт, а Твен вскоре писал новой миссис Роджерс, прося убедить мужа дать денег Элен Келлер (того и убеждать не пришлось). 4 января 1897 года Роджерс от имени друга заключил контракт с «Америкэн паблишинг компани» на издание собрания сочинений Марка Твена. Кризис завершался, люди снова покупали книги, роялти росли как на дрожжах.

Рана болела, как в первый день, но уже начинало действовать лекарство. Туичеллу, 19 января: «Для меня она была как сокровище в банке; о нем знаешь, на него нет нужды ежедневно смотреть, заботиться, думать о нем; и теперь, когда я хочу делать это, уже поздно, мне говорят, что оно исчезло, банк лопнул, моего сокровища нет, я нищий. Как осознать это? <...> Я работаю, но только потому, что во время работы горе замораживается. Я работаю целыми днями, и горести отодвигаются далеко, когда я пользуюсь этим волшебным рецептом. У меня много замыслов книг, которые спасут меня; как только закончу эту, не пройдет и часа, как начну другую. <...> Я хорошо себя защитил; но Ливи! У нее не за что зацепиться, только хозяйство, обслуживание детей и меня. Она не может видеть людей, книги потеряли для нее интерес. Она целыми днями сидит и спрашивает себя, как это все случилось и почему». Хоуэлсу, 23 февраля: «Я не хочу сказать, что я несчастен, — нет, гораздо хуже: я исполнен равнодушия. Я равнодушен почти ко всему, кроме работы. Работать мне нравится, это дает мне радость, и я работаю усердно. Хотя и без всякой цели и честолюбивых стремлений — просто из любви к работе. Когда-нибудь это настроение пройдет — тому бывали примеры. Но оно не может пройти, пока длится апатия моей жены. Прежде она быстро обретала новые душевные силы, но

сейчас опереться не на что, и мы — мертвецы, машинально подражающие живым людям. Да, действительно, я только глиняный истукан и не могу понять, что же, скрытое во мне, пишет, задумывает веселые нелепости и находит удовольствие в том, чтобы облекать их в слова. Это, разумеется, заложено в нашей природе, иначе так быть не могло бы; это нечто, скрытое во мне, забывает о присутствии глиняного истукана и идет своей дорогой, как будто его вовсе не существует; и, судя по всему, между ними нет ничего общего».

Он сообщал друзьям, что «Джин весела, настроение Клары тоже улучшается. Им помогает молодость, единственный полезный дар, полученный родом человеческим». Самому ему, кроме работы, помогала отрада стариков: политика. Он твердил о презрении к роду человеческому, называл его деятельность «жалкой бестолковой возней», но эта возня его занимала: каждое утро с нетерпением ждал газет. Балканы — очередной кризис, на Крите — восстание, конфликты чехов с австрийцами, война между Османской империей и Греческим королевством; в 1897 году все европейские державы были на волосок от большой войны. Англия, опозоренная Родсом, вот-вот втянется в войну с Трансваалем: «Это был горький год для достоинства Англии, а мне не нравится видеть Англию униженной — то есть слишком уж униженной. Мне это больно — мы ведь ее дети. Я сторонник республик, а кроме Англии, у нас нет в этом других товарищей. Франция не в счет, а Швейцария так мала, что и считать-то нечего». Британскую конституционную монархию Твен отнес к «республикам», то есть демократическим государствам — важна не форма, а суть. (Почему республиканская Франция не в счет? Так ведь для нее Марк Твен — «не в счет»...)

В марте у «Харперс» вышел очередной сборник рассказов, в апреле Твен закончил «По экватору». Сохранились пометки его жены и его комментарии к ним — теперь наконец увидим, что правила Оливия и как муж ее слушался.

«Стр. 597. Мне неприятно говорить это, но ты<sup>[35]</sup> слишком вдаешься в детальное описание быта аборигенов, я имею в виду метание бумеранга. — Я переместил метание бумеранга в Приложение. Пойдет?

Стр. 1002. Мне не нравится беспринципный кот, который имеет семейство в каждом порту. — Я чуть-чуть изменил это. (Стало: «Кот сходит на берег, когда «Океан» останавливается в каком-нибудь порту — в Англии, Австралии или Индии, — и навещает свои многочисленные семьи, появляясь на пароходе лишь в ту минуту, когда он готов к отплытию». — М. Ч.)

Стр. 1020. Лучше заменить слово «зловоние» (*stench*). Ты слишком часто его употребляешь. — Но могу я его оставить хоть где-нибудь? Ты отовсюду его вычеркиваешь. Но ведь «зловоние» — хорошее, благородное слово. (Не заменил и не убрал. — М. Ч.)

Стр. 1031. Мне очень неприятно читать, как твой отец наказывал раба. — Убрал, отца ретушировал. (На самом деле не убрал: «Он наказал меня всего дважды и никого другого из нашей семьи не коснулся пальцем, но он то и дело давал тычок-другой нашему безобидному мальчишке-невольнику Льюису — и к тому же за самые пустячные упущения или простую неловкость». — М. Ч.)

Стр. 1050. Замени слово «набедренная повязка» [*breech-clout*]. Это слово, которое ты любишь, а я ненавижу. Я бы исключила из языка его и «отбросы» [*offal*]. — Ты все время ослабляешь английский язык, Ливи. («Набедренную повязку» переименовал, «отбросы» оставил. — М. Ч.)

Стр. 1095. Может быть, это не важно, но зеленые камни принца были не рубинами, а изумрудами. — Хорошо, я сделаю их изумрудами, но это будет слабее. Зеленый рубин — это свежо». (Заменил на изумруды. Заметим, что слова *lingam* и *priap* — «фаллос», попадавшиеся в главах об Индии на каждой странице, Оливия не тронула.)

Отредактированный текст 18 мая был отправлен «Америкэн паблишинг компани» и «Чатто и Уиндус». Американцы его сильно урезали, англичане — меньше; оба издания вышли в ноябре. Твен 23 мая сел за следующую книгу, которой открывалась новая постоянная тема: жизнь как иллюзия, сон. Обычно говорят, что интерес к теме у него возник после смерти Сюзи, — это неверно. Еще в 1893 году, например, он писал Сьюзен Крейн: «Мне грезилось, что я родился и вырос и был лоцманом на Миссисипи, золотоискателем и журналистом в Неваде и паломником на «Квакер-Сити», имел жену и детей и уехал жить на виллу во Флоренции, — и эта греза длится и длится и порой кажется настолько реальной, что я считаю ее действительностью. Интересно, так ли это? Но невозможно ответить на этот вопрос, ибо какие бы проверки вы ни предпринимали, они тоже могли оказаться частью грезы и только усиливали бы обман. Мне жаль, что я не знаю, реальность это или сон».

О «множественности сознаний» писал Томас Пейн; Уильям Джеймс придерживался концепции «спектра сознаний», впервые сформулированной британским психологом Ф. Майерсом, который говорил, что наше «бодрственное» сознание — лишь одно из ряда возможных психических состояний и находится «посредине между психопатологией и трансценденцией». Джеймс: «Мир нашего

сегодняшнего сознания — это всего лишь один из многих существующих миров», в которых «должно быть, содержатся другие возможности познания, которые имеют значение и для нашей жизни, и хотя в основном опыты тех миров и опыты нашего существуют дискретно, все же в некоторых точках миры сознания смыкаются, существуя как продолжение один другого». Джеймс изучал «измененные состояния сознания» и наиболее полно изложил свою теорию в работе 1896 года «Множественная личность»; неизвестно, знал ли Твен ее, но вообще книги Джеймса читал.

В рассказе «Что было сном?» («Which Was the Dream?») человек затягивается сигаретой и, пока он курит, перед его глазами проносятся 17 прожитых лет. Он потерял семью и перенес много несчастий — и вот, когда окурок погашен, он смотрит на свою жену, живую и невредимую, и не понимает, настоящая она или нет. «Пока мы внутри грезы — она не греза, а действительность, и ее удары для нас — реальные удары. <...> В грезах — я знаю это! — мы действительно совершаем поездки, которые, кажется, совершаем; мы действительно видим вещи, которые, кажется, видим; люди, лошади, кошки в них реальные существа, а не химеры, живые души, а не тени; они неразрушимы и бессмертны». Этот текст Твен не завершил и при жизни не публиковал, отвлекся на другое, говорил, что задумано пять не то шесть книг; ни одной толком недописал, но это для него всегда было характерно. Начал «Заговор Тома Сойера» («Тот Sawyer's Conspiracy»), вещь жизнерадостную, хотя и не без яда. Том организует приключения, в результате которых Джиму вновь грозит тюрьма, но сам его и спасает. Сюжет — лишь рамка для остроумных замечаний:

«А Джим всё думал, думал, да и спрашивает:

— Масса Том, а что значит «гражданская»? (война. — М. Ч.)

— Ну... как бы тебе объяснить... в общем, хорошая, добрая, правильная и всё такое прочее. Можно сказать, христианская»;

«Джим облизнулся и говорит:

— Слово-то какое длинное, масса Том, и красивое! Что такое революция?

— Ну, это когда из всех людей только девять десятых одобряют правительство, а остальным оно не нравится, и они в порыве патриотизма поднимают восстание и свергают его, а на его место ставят новое. Славы в революции — почти как в гражданской войне, а хлопот с ней меньше, если ты на правильной стороне, потому что не нужно столько людей. Вот почему революцию устраивать выгодно. Это каждый может. <...> С революцией всегда так: когда она начинается, ни у кого и в мыслях нет ее устраивать. А еще одна штука — что король всегда остается.

— Каждый раз?

— Конечно. Это и есть революция — свергаешь старого короля, а на его место ставишь нового».

Оливия продолжала сидеть взаперти, но муж стал выходить в свет. Обедал с Брэмом Стокером, с критиком Лэнгом, со Стэнли, но просил не афишировать его визиты, так что американская пресса не знала, где он и чем занят. Неизвестность привела к тому, что бульварные газеты начали писать, будто он брошен женой, живет в нищете и т. д. «Это разозлило бы меня, если б исходило от собаки, коровы, слона или любого из высших животных, но для человека можно сделать снисхождение». Его дальний родственник Клеменс тоже жил в Лондоне и был болен, репортеры сообщили, что Марк Твен при смерти. Как рассказывал сам Твен, нью-йоркский журналист показал ему две телеграммы: «Если Марк Твен умирает в Лондоне в нищете, шлите 500 слов» и «Если Марк Твен умер в Лондоне в нищете, шлите 1000 слов». Умирающий продиктовал телеграмму, повеселившую мир: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Прятки кончились, «умирающего» посещали газетчики, его избрали почетным членом «Клуба дикарей» вместе с принцем Уэльским — «это польстит принцу», заметил он. Услыхав о его плачевном положении, американцы озаботились, «НьюЙорк геральд» объявила сбор средств, за пару дней набрали несколько тысяч долларов. Твен их не взял и попросил прекратить кампанию. Была возможность заработать: Понд предложил тур по Штатам, обещал 50 тысяч. Но Оливия воспротивилась: здоровье мужа не выдержит, а спешить с заработками незачем, деньги и так поступают, к сентябрю накопилось еще 39 тысяч (гонорары и роялти), кредиторы в основном получили свое (она не знала, что Роджерс до сих пор не дал кредиторам ни цента).

Активность возобновилась, но тоска не ослабевала. Из записных книжек того периода: «Мы все так или иначе безумны... Самоубийцы, кажется, единственные нормальные люди». «Как видите, молния отказывается поразить меня, — писал Твен Роджерсу 6 июля, — надо бы самому, как Барри Бернато. (Британский бизнесмен, в 1897 году погиб, предположительно совершив самоубийство. — М. Ч.) Но ни у кого на это не хватает духу, пока он не сойдет с ума». А через две недели, когда Клеменсы приехали в Швейцарию, Туичеллу: «Отправившись в очередную поездку на люцернском пароходе за покупками, Ливи сделала чудеснейшее открытие — Джорджа Уильямсона Смита (американский священник. — М. Ч.) я писал Вам об этом? Мы провели с ним несколько замечательных

часов, и должен сказать, что такой духовной пищи нам не приходилось пробовать уже много месяцев. <...> Здесь настоящий рай, но, разумеется, нам скоро придется с ним расстаться. 18 августа пришло и прошло, Джо, — а мы, кажется, продолжаем жить». А потом — снова: «Мудры лишь две разновидности людей: те, кто кончает с собой, и те, кто одурманивает себя пьянством».

Из Люцерна перебрались в деревушку Веггис, там Твен писал «Заговор Тома Сойера» и несколько других вещей (ни одну не закончил). Среди них «Сельские жители» («Villagers of 1840–3») — рассказ о детских годах в Ганнибале, а также истории с переодеваниями: «Гочкис Адский Огонь» («Hellfire Hotchkiss») — о девочке, которая воспитывалась мальчишкой и ведет себя как мужчина, вызывая неодобрение соседей, и «Ломака Элис» («Wapping Alice») — об инциденте 1877 года, когда горничную Клеменсов выдавали замуж за ее любовника: в рассказе горничная после свадьбы оказывается переодетым мужчиной, и эта развязка, как писал Твен, предлагая текст «Космополитену», не так шокирует читателей, как если бы они узнали, что горничные имеют любовников. Редакция была иного мнения, и рассказ оставался неопубликованным почти 100 лет. Схожая коллизия в рассказе 1902 года «Как поженились Нэнси Джексон и Кейт Уилсон» («How Nancy Jackson Married Kate Wilson»): девушка, вовлеченная в преступление, чтобы спастись, выдает себя за мужчину и соглашается сыграть свадьбу с другой девушкой, выручая и ее из неприятностей, — его тоже не напечатали. У Твена есть целый ряд подобных сюжетов: Гек Финн переодевался девочкой, Жанна д'Арк — юношей, женщины с мужчинами меняются платьями и ролями в «Средневековом романе» и «1002-й арабской ночи», в «Простофиле Вильсоне» Роксана по характеру — мужчина, а ее сын — баба, то же самое еще в одном не публиковавшемся при жизни автора рассказе — «Джон Браун и Мэри Тейлор» («John Brown and Mary Taylor»). Современные изыскатели характеризуют тему этих рассказов как транссексуальность — да, пожалуй, но в социальном смысле, а не в медицинском. Сексуальности здесь столько же, сколько во всех текстах Твена, включая «непристойные», то есть абсолютный ноль — он просто следовал старой как мир карнавально-водевильной традиции.

Рождались в тот период тексты и совсем в ином духе: в «Письмах Сатане» («Letters to Satan») Твен приглашал адресата в кругосветное путешествие: «Друзей у Вас обнаружится куда больше, чем можно было бы предполагать» (например, Сесил Роде); в «Ссоре в кошельке» («The Quarrel in the Strong-Box») рассказывал, как монеты разных стран выясняли, кто из

них главнее. Писал про смешное, вроде бы отогнал боль, но она возвращалась; Джин принимала бром, приступов не было, думали, все прошло, и вдруг — опять. Фрагмент «В глубине души» («In My Bitterness»): «Он [Бог] дает вам жену и детей, которых вы обожаете, лишь для того, чтобы ввергнуть их в пучину страданий и тем самым вырвать сердце из вашей груди и швырнуть его вам в лицо».

В конце сентября переехали в Вену, чтобы Клара брала уроки фортепьяно у знаменитого педагога Теодора Лешетицкого. Впервые за несколько лет денег не экономили, сменили несколько отелей, выбрали «Метрополь» с видом на Дунай. Первые дни Твен лежал с приступом подагры, как вышел — столкнулся с толпой репортеров, дежуривших у отеля. (Первое интервью дал журналисту Эдуарду Пецлю — тот стал его гидом.) Книжки и портреты Твена красовались в витринах; венские газеты сообщали, что никогда ни один иностранец не удостоивался такого приема: «Балы и обеды с утра до полуночи. Дома всех аристократов открыты для него, герцоги и графы его чествуют, публика ловит каждое слово, сопровождая его взрывами смеха». Даже правила дорожного движения ради него нарушались. (Это вам не какая-нибудь Франция.) Вдобавок он оказался единственным американским журналистом в Вене и называл себя «самозванным послом США без оклада». В апартаментах «Метрополя» — толпы гостей: светские дамы — баронесса Берта Кински фон Зуттнер, будущий лауреат Нобелевской премии; венгерская графиня Миза Виденбрук-Эстерхази; Шарлотта, сестра императора Вильгельма; многочисленные художники, включая Верещагина; Фрейди; изобретатель Ян Щепаник; через Лешетицкого познакомились со Штраусом. Твена избрали почетным членом клуба «Конкордия», который посещали дипломаты и государственные чиновники. Газеты продолжали докладывать: куда гость пошел, что сказал и что ел на завтрак; Карл Краус, издатель журнала «Факел», ежедневно помещал карикатуры на него с подписями: «Присутствовал и блистал Марк Твен. Где? Да везде, там и сям».

В ноябре «Американ паблишинг компани» выпустила «По экватору» тиражом 40 тысяч экземпляров, распродали моментально. Твен давно умолял Роджерса начать выплаты кредиторам, тот отвечал «перебьются», теперь стал понемногу платить. Твен говорил, что впервые в жизни ему приятнее отдавать деньги, чем получать. Орион слал письма с поздравлениями, строил планы, но 11 декабря в возрасте 72 лет умер. В последний раз братья виделись предположительно в Чикаго в 1893 году. Возможно, младший брат и горевал, но это не зафиксировано, зато

известно, что он очень переживал из-за смерти бывшего дворецкого Джорджа. Оливия страдала от ревматизма, но начала оживать. Туичеллу: «Мы не можем заставить ее выходить, но множество превосходных людей приходят, чтобы увидеть ее; мы с Кларой ходим по званым обедам и чудесно проводим время, Джин вырезает по дереву». Осенью был сделан ряд автобиографических записей: глава о предках, «Красоты немецкого языка», эссе «Группа слуг», воспоминания о разных знакомых. И задумывалась большая работа — о Сатане, сошедшем на землю.

Идея не нова, но Твен ни у кого ее не заимствовал — Сатана интересовал его с тех пор, как Джейн Клеменс пожалела «врага рода человеческого». Из записных книжек: «В течение столетий Сатана занимает видное положение духовного главы четырех пятых людского рода и политического главы всего человечества; так что нельзя отказать ему в первоклассных организационных способностях. Рядом с ним все наши политики и папы римские — просто козявки...» В октябре Твен сделал безымянный набросок: юный Сатана в Санкт-Петербурге встречается с Томом и Геком; потом — другой: «Беседы с Сатаной» («Conversations with Satan»), где рассказчика посещает дьявол, одетый как англиканский епископ: «Он был моим другом и одним из самых горячих моих поклонников. Это сомнительный комплимент, но он высказал это так добросердечно, что я не мог скрыть удовлетворения и гордости». Рассказчик спрашивает, бывал ли Сатана в Америке, и тот отвечает, что в этом нет надобности. Но рука Сатаны чувствовалась и в Вене. Вальсы, пирожные, цвет европейской интеллигенции — рай. На самом деле все было не так благостно.

В XVI веке, после Реформации, Австрия была протестантской, династия Габсбургов вернула ее к католицизму и начала формировать многонациональную империю, захватив территории современных Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Словакии, Италии, Нидерландов, Польши, Украины. В 1860-х годах империя в ходе неудачных войн потеряла часть земель и статус великой державы, в 1867-м превратилась в Австро-Венгрию с автономией Венгрии, а затем — Галиции и Чехии. Традиционно язык и культура были немецкими (на этом основании Гитлер осуществит «аншлюс», захват Австрии), но Вена была самым интернациональным городом Европы: газеты выпускались на десяти языках. Проводились либеральные реформы, но рост промышленности парадоксальным образом свел их на нет: крестьяне мигрировали в Вену, появилась безработица, выросла преступность, правительство не справлялось, и стали востребованы «новые политики» — те, которые проповедовали



«пангерманизм» и объясняли, что во всем виноваты проклятые иностранцы и в первую голову, естественно, евреи, каковых в Вене было много: антисемитская пресса обвиняла их одновременно в пропаганде коммунизма и насаждении капитализма.

Твен всегда любил немцев, если и не держал их сторону во Франко-прусской войне, то и не осуждал, но теперь в корреспонденциях, отсылаемых на родину, отзывался о политической ситуации с неодобрением: империя сворачивает реформы, богачи благодаря имущественному цензу заправляют в парламенте, католические священники держат граждан в повиновении, печать подвергается цензуре, митинги жестоко разгоняются, на этом фоне «измученное, отчаявшееся правительство сходит с ума». Посещал сессии парламента («это — Бедлам или Арканзасское законодательное собрание в 1847 году»), в конце ноября стал свидетелем скандала. Министр-президент Казимир, граф Бадени, декретом объявил чешский язык государственным наравне с немецким. Это вызвало возмущение, по городу маршировала молодежь с портретами Бисмарка. В статье «Горячие времена в Австрии» («Stirring Times in Austria») Твен описал реакцию депутатов: «Вопли слева, ответные вопли справа, взрывы воплей со всех сторон»; беспорядки перекинулись на улицу, правительство вызвало солдат, и в конце концов император распустил парламент. «Это был отвратительный спектакль — отвратительный и ужасный. На миг показалось, что это сон, кошмар. Но это было реальностью — низкой, позорной, ужасной».

Самой влиятельной партией националистического толка была христианско-социалистическая; через три дня после парламентского кризиса ее лидер Карл Люгер стал мэром Вены. Он был избран еще в 1895 году, но император отказывался утвердить его в должности. Теперь он развернулся: «Только жирные евреи могут пережить убийственную капиталистическую конкуренцию. Христиан необходимо от этого защитить». Твен говорил, что ему противна вся «проклятая вонючая человеческая раса», но некоторые особи все же были противнее других — с этого Люгера, набожного христианина, в ноябре и началась книга о Сатане.

Действие романа «Хроники молодого Сатаны» («The Chronicle of Young Satan»)<sup>[36]</sup> происходит в начале XVIII века. Построен он по образцу «Жанны»: пожилой рассказчик Теодор Фишер вспоминает, как в детстве общался с необыкновенным существом. В местечке Эзельдорф («Ослиная деревня») два католических священника: строгий отец Адольф (Люгер в черновиках) и добрый отец Питер. Адольф «был рьяным, ревностным и громогласным священнослужителем, и к тому же старался быть у

начальства на хорошем счету, потому что метил в епископы. Всегда он шпионил, все знал и о своих и о чужих прихожанах, был распушен, недобр и большой сквернослов; но вообще, как полагали у нас в Эзельдорфе, не так уж плох». «Про отца Питера шел слух, будто он кому-то сказал, что Бог добр и милостив и когда-нибудь сжалится над своими детьми. Подобные речи, конечно, ужасны, но ведь не было твердого доказательства, что он такое сказал». Отец Питер лишен сана и погибает в нищете; тем временем откуда-то появляется мальчик Филип Траум и очаровывает всю деревню: дети ходят за ним хвостом. Он жизнерадостен и ребячлив, как Том Сойер, показывает чудные фокусы, создавая зверей и людей. Филип всемогущ: ведь он не человек, а ангел и к тому же родной племянник Сатаны. «Неужели вы не знаете? Ведь он тоже был раньше ангелом.

— Правда! — сказал Сеппи. — Я не подумал об этом.

— До падения ему было чуждо всякое зло.

— Да, — сказал Николаус, — он был безгрешным.

— Мы из знатного рода, — сказал Сатана, — благороднее семейства не отыскать. Он единственный, кто согрешил. <...> Мы не творим зла и чужды всему злему, потому что не ведаем зла».

Эту мысль Твен уже высказал в «Низшем животном»: знание «добра» и «зла», то есть «нравственное чувство», делает человека злодеем. «Когда зверь причиняет кому-либо боль, он делает это без умысла, он не творит зла, зло для него не существует. Он никогда не причинит никому боли, чтобы получить от этого удовольствие; так поступает только один человек. Человек поступает так, вдохновленный все тем же ублюдочным Нравственным Чувством. При помощи этого чувства он отличает хорошее от дурного, а затем решает, как ему поступить. Каков же его выбор? В девяти случаях из десяти он предпочитает поступить дурно».

Одновременно автор развил тезис о человеке как автомате, чья жизнь «предопределена обстоятельствами и средой. Первый поступок влечет за собой второй и так далее. <...> Конечно, практически человеку не дано уйти от поступка, который ему предназначен; этого никогда не бывает. Когда человеку кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так ли, иначе, то колебания эти входят звеном в ту же цепь, и они обусловлены. Человек не может порвать свою цепь. Это исключено. Скажу тебе больше, — если он и задастся подобным намерением, то и оно будет звеном той же цепи; знай, что оно с неизбежностью зародилось у него в определенный момент, относящийся еще к его раннему детству». Вообще-то если человек полностью предопределен средой, то у него нет свободы воли, зло он не «выбирает», оно навязано ему свыше, а стало быть, и

злосчастное Нравственное Чувство тут ни при чем. Но писатели, философствуя, редко отличаются логичностью и последовательностью.

Мильтон, Байрон, Шелли, Франс изображали Сатану тираноборцем, защитником человечества, носителем гуманности. (Он лучше Бога, как «плохой мальчик» Том лучше «хорошего мальчика» Сиды.) Но твеновский Сатана не таков. Ангелы, как и животные, не ведают добра и зла, и маленький Сатана не добр и не зол к людям, а равнодушен: «Всякий раз, как он заговаривал о жизни людей на земле и об их поступках, даже самых великих и удивительных, мы испытывали словно неловкость, потому что по всему его тону было заметно, что он считает все, что касается рода людского, не заслуживающим никакого внимания. Можно было подумать, что речь идет просто о мухах. Один раз он сказал, что, хотя люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные существа, он все же испытывает к ним некоторый интерес. Он говорил без гнева, как о чем-то само собой разумеющемся, как если бы речь шла о навозе, о кирпичах, о чем-то неодушевленном и совсем несущественном».

Что-то вроде симпатии к отдельным людям Филип Траум может испытывать; в их судьбы он вмешивается своеобразным способом, даруя смерть тем, кому предназначалась жизнь в страданиях. Отцу Питеру он подбросил деньги, тот расплатился с долгами, а подлый Адольф обвинил его в воровстве и отправил в тюрьму. Сатана наказал Адольфа: свел с ума и забросил на Луну — вечно мучиться. Питера суд оправдал, но Сатана сказал ему, что его осудили, и бедный старик тоже сошел с ума. Теодор Фишер возмутился, а Сатана разъярился: он наградил Питера таким сумасшествием, при котором тот чувствует себя счастливым, а это лучше, чем любой иной исход. «Неужели ты так и не понял, что, только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он видит жизнь такой, как она есть, и понимает, насколько она ужасна».

Жители Ослиной деревни беспрестанно ищут ведьм (Теодор, которому Сатана объяснил, что любая женщина может быть казнена безвинно, предположил, что злы лишь католики, — но приятель показал ему сцены преследования «ведьм» в протестантской Шотландии), нашли одну. «Ее гоняли по деревне около получаса, мы тоже бежали с толпой, чтобы посмотреть, чем это кончится. Наконец она ослабела и повалилась на землю, ее схватили, подтащили к ближнему дереву, привязали к суку веревку и надели ей петлю на шею. Женщина рыдала и молила пощады у своих мучителей. Ее юная дочь стояла возле нее, заливаясь слезами, но

боялась вымолвить даже слово в защиту матери. Они повесили эту женщину, и я бросил в нее камнем, хотя в глубине души и жалел ее. Все бросали в нее камнями, и каждый следил за соседом. Если бы я не поступил, как другие, кто-нибудь на меня непременно донес бы», — признался Теодор.

Мужчин, которые больше других издевались над трупом, Сатана убил — но, по его словам, не из мести и не из жалости к казненной, а просто потому, что «такова их судьба»; Теодору, мучащемуся угрызениями совести, он разъяснил, что человек не жесток, а лишь труслив: «Если хочешь знать, из шестидесяти восьми человек, которые там стояли, шестидесяти двум так же не хотелось бросать в эту женщину камнем, как и тебе. <...> Я хорошо изучил людей. Они — овечьей породы. Они всегда готовы уступить меньшинству. Лишь в самых редких, в редчайших случаях большинству удастся изъять свою волю. Обычно же большинство приносит в жертву и чувства свои, и убеждения, чтобы угодить горлодерам. <...> Люди — дикие или цивилизованные, все равно — добры по своей натуре и не хотят причинять боль другим, но в присутствии агрессивного и безжалостного меньшинства они не смеют в этом признаться».

Траум волшебным образом — как в кино — показал Теодору исторические события: убийство Авеля, войны, резню, инквизицию, пытки. Твен повторил мысль, высказанную в романе «По экватору»: прогресса не существует, история развивается по кругу (это утверждали еще Платон и Аристотель, а потом — Шпенглер; но в Америке XIX века такая идея была крайне непопулярна). «За последние пять или шесть тысяч лет родились, расцвели и получили признание не менее чем пять или шесть цивилизаций. Они отцвели, сошли со сцены, исчезли, но ни одна так и не сумела найти достойный своего величия, простой и толковый способ убивать человека. <...> Каждый раз человечество возвращается к той же исходной точке. Уже целый миллион лет вы уныло размножаетесь и столь же уныло истребляете один другого. К чему? Ни один мудрец не ответит на мой вопрос. Кто извлекает для себя пользу из всего этого? Только лишь горстка знати и ничтожных самозванных монархов, которые пренебрегают вами и сочтут себя оскверненными, если вы прикоснетесь к ним, и захлопнут дверь у вас перед носом, если вы постучитесь к ним. На них вы трудитесь, как рабы, за них вы сражаетесь и умираете (и гордитесь этим к тому же, вместо того чтобы почитать себя опозоренными). <...> Вы не устаете кланяться им, хотя в глубине души — если у вас еще сохранилась душа — презираете себя за это».

Но пока что Твен оставлял человечеству шансы. В овечьей психологии

толпы есть плюс: она пойдет как за злым пастырем, так и за добрым: «Однажды поднимется горстка людей, которая сумеет перекричать остальных, может быть, это будет даже один человек, храбрец со здоровой глоткой и твердой решимостью, — и не пройдет недели, как овцы все повернут за ним и вековой охоте на ведьм наступит конец». Другой выход — его потом предложат Уэллс, Набоков, Умберто Эко и еще многие писатели: «Ибо при всей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это — смех. Сила, доводы, деньги, упорство, мольбы — все это может оказаться небесполезным в борьбе с управляющей вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Но подорвать ее до самых корней, разнести ее в прах вы сможете только при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит». (То ли писатели ошибались, то ли, чтобы у человечества созрело чувство юмора, нужно очень много времени.)

Уильям Джеймс считал, что в спектре сознаний существует сознание высшее, трансцендентное, в котором «все предстает перед нами как одно — единое, целостное видение всеобщности, — вселенная и мы сами кажутся нам сплетенными между собой бесшовной паутиной». Что-то подобное описал и Твен — ранее он допускал в человеке две личности, одинаково ограниченные и несчастные, теперь признал третий, высший, вид сознания — правда, свойствен он лишь ангелам. Сатана: «Мой разум творит мгновенно, творит все, что ни пожелает, творит из ничего. Творит твердое тело, жидкость или же цвет — любое, что мне захочется, все, что я пожелаю, — из пустоты, из того, что зовется движением мысли. Человек находит шелковое волокно, изобретает машину, прядущую нить, задумывает рисунок, трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой нитью на ткани. Мне довольно представить себе это сразу, и вот гобелен предо мной, я сотворил его. <...> Мой разум — это разум бессмертного существа, для которого нет преград. Мой взор проникает всюду, я вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я постигаю заключенное в ней содержание одним только взглядом, сквозь переплет; через миллионы лет я все еще буду помнить его наизусть и знать, что на какой странице написано. Я вижу, что думает человек, птица, рыба, букашка; в природе нет ничего скрытого от меня». Этим видом сознания обладают еще и писатели — лучшие из них. Но Твен так не считал.

Теодор и Филип в воображении путешествуют — на сем текст обрывается. При жизни автора он не публиковался. В 1916 году литературный душеприказчик Твена Альберт Пейн и редактор Фредерик

Дьюнека его переделали по собственному усмотрению и издали под названием «Таинственный незнакомец» («The Mysterious Stranger, A Romance»)<sup>[37]</sup>. Они заменили Адольфа на другого персонажа, «астролога» (заимствованного из другой повести Твена на ту же тему), ибо священник не может быть отрицательным героем; выкинули все, что Сатана говорил об англо-бурском конфликте, деятельности миссионеров в Китае, преследовании ведьм в США; убрали упоминания о католичестве (Дьюнека был католиком) и протестантизме (Пейн был протестантом); перенесли действие на 150 лет назад, прилепили в качестве заключения главу из другого романа и при этом клялись, что подарили миру авторский вариант. Лишь в 1960 году редактор Уильям Гибсон выпустил подлинную версию романа «Хроники молодого Сатаны».

Хоуэлсу, 22 января 1898 года: «Посмотрите на эту страшную дату. А ведь когда-то я писал: «Хартфорд, 1871». Тогда не было Сюзи — и теперь нет Сюзи. А сколько радости лежит между этими датами: прелестная долина душистых лугов и полей, тенистых рощ, а потом вдруг — Сахара! Вы писали о радостях этих былых дней — да, они были полны радости. Против этого я и восстаю — против того, что человеку расставляют такие ловушки. Сюзи и Уинни (покойная дочь Хоуэлса. — М. Ч.) были даны нам ради жестокой забавы, чтобы потом их отнять. Когда мы виделись в последний раз, я рассказал Вам завершающую трагедию книги, которую я тогда собирался написать (и я напишу ее, когда это горе отодвинется еще дальше в прошлое), — как человеку приносят труп его дочери, когда он уже испытал все остальные возможные несчастья, — и добавил, что по-настоящему написать такую сцену сможет только тот, кто пережил что-нибудь подобное, что это должно быть написано кровью сердца. Тогда я не знал, что уже очень скоро буду отвечать этому условию. Последнее время я часто вспоминаю об этом. Если бы Вы были здесь, мы, наверное, обнялись бы и заплакали, как в Вашем сне».

У Джин участились приступы, венский врач увеличивал дозу брома, лучше ей не становилось. Болезнь была не просто тяжелой — но и позорной, припадки надо было скрывать. Эпилептиков окружали враждебность и презрение. (В 1903 году конгресс США принял закон об иммиграции, включив их в перечень нежелательных лиц наряду с сумасшедшими, нищими и анархистами.) Больные считались дегенератами, хитрыми, злобными, аморальными, склонными к преступлениям. Отец с ужасом отмечал, что девочка стала «апатичной, угрюмой, агрессивной». Это было следствием «лечения» и того, что больной внушалось чувство

неполноценности, но родители думали, что это — болезнь. Семья круглосуточно жила в напряженном ожидании чего-то ужасного. «Это было так, как если бы вы наблюдали за домом, который всегда готов загореться, и, стоит потерять бдительность хоть на час, он сгорит дотла».

«Я не выдержал бы, если бы не работа. Я зарываюсь в нее по уши. И работаю долго — иногда по восемь-девять часов не вставая. И так каждый день, включая воскресенье. Отнюдь не все предназначается для печати — многое меня совершенно не удовлетворяет; 50 000 слов за прошлый год. Это из-за ощущения мертвенности, которое владеет мной со времени смерти Сюзи. Но недавно я занялся новым для меня делом — драматургией, — и оно меня совсем захватило. Боже мой, я даже не подозревал, что это такое интересное занятие. Я напишу двадцать пьес, которые нельзя будет играть! Едва только я по-настоящему втягиваюсь в работу, как прихожу в превосходнейшее расположение духа».

Он писал Хоуэлсу, что не смеет пока объявить о своей платежеспособности — это прерогатива Роджерса. Но через несколько дней Роджерс телеграфировал, что все улажено: хотя на 11 февраля 1898 года остались неуплаченными 21 тысяча банку и 11 тысяч еще одному кредитору, все долги, судя по доходам, в течение года будут погашены. Так и вышло. Роджерс думал, что другу понадобится на выплату 80-тысячного долга пять — семь лет, а тот заработал 160 тысяч менее чем за три года. С 1899-го он каждый год зарабатывал не менее 200 тысяч (умножайте на 20) и за пару лет вернул все богатство, которое растерял. Все, кроме... «Без нее все опустело. Она была вместилищем чувств разнообразнейших степеней и оттенков; она была переменчива, как малое дитя, иногда на протяжении одного дня проживая все многообразие чувств... Радость, горе, гнев, раскаяние, шторм, свет, ливень, тьма — все это было в ней, сменяясь каждое мгновение. Во всем она была на пределе: она излучала не ровное тепло, а жаркое пламя».

## Глава 9

### Том Сойер и сатана

Он клялся, что больше никогда не полезет в бизнес; но, как сам говорил, человеческую натуру не изменить: уже в марте 1898 года появились новые прожекты. Ян Щепаник изобрел станок для тканья ковров — Твен написал Роджерсу, что надо срочно основать фирму с капиталом в полтора миллиона и производить ковры. Роджерс нанял эксперта, тот сказал, что станок дряннь, а американцы ковров покупать не будут. Твен сообщил, что Щепаник также изобрел телектроскоп — аппарат для воспроизведения изображения и звука на расстоянии при помощи электричества, провозвестник современного телевидения. Патент был куплен комитетом Парижской выставки, которая состоится в 1900 году, но его, наверное, можно перекупить?<sup>[38]</sup> В ответ Роджерс предложил потратиться на что-нибудь реальное и, получив согласие, вложил 18 тысяч в один из своих трестов, «Федерал стил». За год Твен получил 200 процентов прибыли. Роджерс также инвестировал его деньги в «Амалгамейтед коппер майнинг», выкупил его авторские права у «Америкен паблишинг» и передал более солидному «Харперс», отговорил приобретать недвижимость в Штатах. На какое-то время Твен притих и друга слушался.

О Щепанике он написал очерк «Австрийский Эдисон» («The Austrian Edison Keeping School Again») и фантастический рассказ «Из лондонской «Таймс», 1904» («From the London Times of 1904»), опубликовал в «Сенчюри». Сделал пьесу из старого рассказа «Жив он или умер?» (она не была поставлена), писал новую порцию воспоминаний для автобиографии. Окончательно пришел в себя: «Я снова в нормальном расположении духа — никакой тяжести. Работа становится не трудом, а удовольствием». Начал понемногу выступать — бесплатно, на вечерах. Не без тщеславия докладывал друзьям, среди каких аристократов и знаменитостей вращается: королева Румынии Кармен Сильва, княгиня Меттерних, будущий британский премьер Кэмпбелл-Баннерман, путешественник Фритьоф Нансен, пианист Марк Гамбург, композитор Антонин Дворжак, бесчисленные дипломаты, послы, художники, музыканты — последних было особенно много благодаря Лешетицкому. Оливия тоже ожила и писала сестре, что «забавно» обедать каждый день с «герцогами и



графами». На одном из вечеров, устроенных Твенom в честь Лешетицкого, был Осип Габрилович, девятнадцатилетний вундеркинд: окончил Петербургскую консерваторию в 1894 году, получив Рубинштейновскую премию, теперь занимался у Лешетицкого; выступать как пианист начал в Берлине в 1896 году. «Габрилович светился, как лампа в пещере, — вспоминала Клара. — Когда он говорил, все слушали. Если он смеялся, смеялись все». По воспоминаниям присутствовавших, юный пианист почти весь вечер говорил с Твенom и они очень понравились друг другу. Вряд ли Марк Твен догадывался, что перед ним — будущий зять: Клара была на четыре года старше Габриловича.

Но и в столь благостной атмосфере он не переменял к лучшему мнение о человечестве и в апреле начал писать эссе, над которым будет работать много лет и назовет своей Библией, — «Что такое человек» («What Is Man?»), диалог между старым философом и юным учеником, откровенно говоря, довольно нудный (а кто сказал, что Библия должна быть веселой?). Старик объясняет: человека создал Бог, вложив в него и плохие и хорошие качества, а среда, наследственность и воспитание завершили работу, отобрав из этих качеств определенную часть и сформировав его характер; сам он — лишь «машина», ни за что не отвечающая. У него нет собственных мыслей — они заимствованы из книг и чужих мнений, а самые первые мысли и мнения опять-таки были созданы Богом. Поэтому даже «творческий» человек не творит, а ремесленничает, ибо не может создать ничего такого, чего раньше не было. Единственное, что человеку подвластно, — выбор между хорошими и дурными возможностями, которые в нем заложены, но, выбирая, он руководствуется исключительно стремлением к комфорту и счастью и совершает добро потому, что это дает ему удовлетворение, не обязательно материальное: когда вы делаете то, чего не хочется (речь не идет о внешнем принуждении), на самом деле вы этого хотите — приятно почувствовать удовлетворение результатом поступка или тем фактом, что сумели справиться с собой. Почему же одному приятно совершать хорошие поступки, а другому — дурные? Тут круг замыкается: потому, что их создали с разными характерами, и, стало быть, бессмысленно хвалить хорошего человека за то, что он хорош, и ругать плохого за то, что плох, — оба не виноваты, что они такие. Далее философ говорит, что человек не выше животного, его интеллект отличается от интеллекта крысы лишь количественно; он даже ниже, ибо наделен Нравственным Чувством; когда же ученик спрашивает, отчего старик, зная о человечестве такие ужасы, жизнерадостен и весел, тот отвечает: «Таков уж мой характер, ничего не поделаешь».

Работа впоследствии была показана жене — и, как писал автор Хоуэлсу весной 1899 года, «миссис Клеменс питает к ней величайшее отвращение, содрогается при одном упоминании о ней, отказалась выслушать вторую ее половину и не разрешает мне опубликовать ни одной главы». Чем этот текст так поразил Оливию (и американских твеноведов, как правило, уделяющих ему огромное внимание: доброжелательных он расстраивает, а недоброжелательные говорят, что писатель рехнулся), европейцу понять трудно. Машинами нас уже называл Декарт, о врожденности характера говорили Шопенгауэр, Леки, Джеймс, на внешнем детерминизме выстроена кальвинистская доктрина предопределения, которой Сэма Клеменса учили в детстве, о том, что человек, испытывающий противоречивые побуждения, в конце концов выберет то, которое принесет ему наибольшее удовлетворение, писал, к примеру, Августин Блаженный, на то, что отличие человеческого интеллекта от животного носит количественный характер, намекнул Дарвин, а уж с тем, что наследственность, среда и воспитание влияют на формирование личности, вообще вряд ли кто-то возьмется спорить. Ничего особо оригинального Твен не сказал, повторив собственную аргументацию не только из «Хроник молодого Сатаны», но и из уже опубликованного «Янки», тем подтверждая тезис старого философа о том, что все мысли откуда-то заимствованы.

В эссе, однако, есть несколько тезисов, которые могли напугать Оливию и ее земляков: ругань в адрес нравственного чувства (Твен уже писал о нем, но не публиковал эти фрагменты), которое было принято считать высшим даром; утверждение, что Бог не руководит человеком — сотворил и бросил; утверждение, что мы делаем добро, потому что нам так нравится, — а стало быть, нет ни самопожертвования, ни самоотречения, свойств, которыми принято восхищаться. Но еще больше пугал, вероятно, мрачный тон автора: «Человек прячется от себя большую часть суток за красивыми словами; есть лишь один час, когда он на это не способен, — когда, проснувшись среди ночи, черные думы заполняют наш мозг, показывают нам нашу обнаженную душу, презренную душу, и мы осознаем, как мы жалки».

Преподобный Паркер из Хартфорда, летом гостивший у Клеменсов и прочитавший «Что такое человек?», не испугался и не возмутился, а лишь рассказывал по возвращении домой, что Марк Твен ударился в философию. Но на роль серьезного философа он не годился, как и большинство писателей, даже гениев: их концепции, как правило, какие-то клочковатые, непоследовательные, наивные, и они тратят массу времени, доказывая

художественными средствами, что дважды два — четыре (или пять). Их сила в другом, и Твен был сильнее, когда выражался афористично: ««Правда всесильна, и она побеждает». Возразить действительно нечего, кроме того, что это не так»; «Некоторые утверждают, что между человеком и ослом нет никакой разницы; это несправедливо по отношению к ослу». Человечество он не называл иначе как «стадом ослов» — и при этом всякий раз, когда «стадо» что-нибудь учиняло, сперва находил в этом хорошее (никакого противоречия: таков его характер) — особенно если это было его родное «стадо».

После Кливленда, которого Твен любил, президентом США был республиканец Гаррисон, ничем особо не отметившийся, потом опять Кливленд — единственный подобный случай в истории США, в 1897 году его сменил республиканец Уильям Мак-Кинли; примерно с этих пор началось превращение провинциальной Америки в мировую державу. 15 февраля 1898 года в Гаване взорвался американский броненосец «Мэн». Причины не установлены. Мак-Кинли обвинил Испанию, чьей колонией была Куба, с 1895-го пытавшаяся добиться независимости. США объявили войну Испании, чтобы освободить от ее владычества кубинцев, а заодно и филиппинцев, которые 22 марта 1897 года провозгласили независимую республику; в обеих колониях повстанцы охотно согласились принять военную помощь.

Европа была на стороне Испании: негоже нарушать установленный раздел колоний, этак у каждого можно отнять его имущество, а Америка старается не для чьей-то свободы, а для себя. Твен этому не верил, хотя, исходя из его же собственных утверждений, даже в добрых поступках каждый руководствуется желанием сделать себе приятное. Приехал Чарлз Лэнгдон, сказал, что цель войны благородна, Твен повторял это европейским друзьям, они скептически усмехались. Сторону США приняла только Англия: Твен ликовал, писал, что «два флага наконец-то соединились» и это «самое большое добро, какое когда-либо приносила какая-либо война». Туичеллу, чей сын завербовался в армию: «Прекрасно защищать свою страну. Но есть нечто еще более прекрасное — защитить чужую, и вот впервые в истории это произошло».

В приподнятом настроении, почти примирившись со «стадом ослов», Твен на лето переехал с семьей в Кальтенлейтгебен близ Хальштатта. Сняли комфортабельную виллу. Клара осталась в Вене: она познакомилась с американской певицей Элис Барби и под ее влиянием переключилась с фортепьяно на вокал; виделась с Габриловичем, родителям юноша нравился, но романа они, кажется, не заподозрили. Ее отец летом много

писал: «Аппетит» («At the Appetite-Cure») — юмореска для «Космополитен», театральные рецензии, статьи о «Христианской науке» — он предсказывал, что к 1940 году церковь Мэри Эдди будет править Америкой; переводил немецкие пьесы, продолжал «Хроники молодого Сатаны» и «Что такое человек». В июле он впервые публично высказался по «еврейскому вопросу».

Общественность давно занимало «дело Дрейфуса»<sup>[39]</sup>: дискуссия набрала новые обороты, когда в январе 1898 года Золя опубликовал памфлет «Я обвиняю», за «оскорбление правительства и армии» попал под суд и уехал в Англию. Твен не особенно любил Золя: в эссе ««Земля» Золя» («Zola's «La Terre»»; при жизни не публиковалось) признавал, что ужасы, которые тот описывает в романе, существуют не только в мерзкой Франции, но и в Америке, но находил автора, как и всех французов, «непристойным». Поступок коллеги в «деле Дрейфуса» он, однако, назвал подвигом и сам затронул тему в рассказе «Из лондонской «Таймс»»: суд приговорил человека к казни за убийство Щепаника, его невиновность доказали с помощью телектроскопа, но, поскольку «решением французского суда по делу Дрейфуса установлено, что приговоры судов неоспоримы», беднягу все равно повесили. О евреях в рассказе не говорится, зато упоминается в «Горячих временах в Австрии»: невозможно разобрать, кто за что, но «все против евреев».

В Вене при Люгере антисемитские настроения росли, да так, что Габрилович долго боялся признаться Кларе в своем происхождении и был удивлен, когда выяснилось, что ей и ее родителям это безразлично. Самому Твену досталось от местной прессы, которой он до сих пор был обласкан: имя Сэмюэл какое-то подозрительное, а если человек берет псевдоним, то с ним все понятно. В то же время претензии к нему высказали... американские евреи. Он написал, что «все против евреев», но не сказал, что это нехорошо, и не объяснил, почему «все против». Земляки завалили его письмами, требуя высказаться определенно, и вынудили написать статью «О евреях» («Concerning the Jews»).

Некий корреспондент написал автору, что всеобщая ненависть к евреям абсолютно беспричинна, после чего потребовал назвать ее причину, а также ответить на простенькие вопросы: 1) разве евреи плохие и 2) доколе их будут преследовать? Автор заранее извинялся, что его ответ никому не понравится, но он скажет что думает. Евреи прекрасные граждане, законопослушные, трудолюбивые, менее кровожадные, чем другие нации, они движут науку, культуру и экономику. Делают это они потому, что умнее всех. За это, а вовсе не по религиозным причинам, их не

любят — как любого, кто превосходит прочих, из зависти. Умны же они потому, что всюду были чужаками и находились под гнетом ограничений, а посему, чтобы выжить, должны были «крутиться» и проявлять внутривидовую солидарность — в соответствии с законом естественного отбора. Есть у них и недостатки: «всегда работают головой и никогда руками», склонны к финансовым махинациям (в отличие от христиан, более склонных к убийствам и грабежам), не любят воевать, не занимаются политикой, не участвуют в революциях, не участвовали в Гражданской и вечно просят, чтобы их защитили другие, вместо того чтобы самим себя защитить. Доколе их будут не любить? До тех пор, пока они не начнут открыто отстаивать свои права: корреспондент пишет, что «евреи в Вене не стоят ни за одну из партий», так пусть же станут за какую-нибудь.

Статья была опубликована в «Харперс мэгэзин» в сентябре 1899 года. Марк Твен есть Марк Твен: он написал, что не может с предубеждением относиться к еврею — «ибо он человек, а хуже этого все равно никого быть не может», что он также без предубеждения относится к самому Сатане, что если евреи создадут свое государство, например в Шотландии, то шотландцам придется туго: «Нельзя позволять этой расе узнать всю свою силу». Как он и предвидел, юмора не оценил никто. Венские евреи были запуганы и молчали, но американские в гневе обрушились на него. Влиятельный рабби Леви назвал его высказывания «несправедливыми и преступными»: Твен пишет, что евреи благодаря своему уму преуспевают, это оскорбление, ибо на самом деле они вовсе не преуспевают, а, стало быть, глупость христиан, на которой настаивает автор, никак не может быть причиной их нелюбви к евреям и вообще таких причин нет, а теперь пусть автор назовет причину. На это Твен отвечать был не в силах, но в 1904 году ответил Симону Вольфу, основателю Американского еврейского исторического общества, в чьей книге «Американский еврей как патриот, солдат и гражданин» на основе документов военных ведомств было доказано, что в армии северян служило 10 процентов евреев, тогда как их численность в населении страны составляла в период Гражданской войны всего 1 процент. Твен тотчас опубликовал статью «Еврей как солдат» («The Jew as Soldier») и принес извинения. Но тогда, в 1898-м, он сделал правильный вывод: о любых нациях лучше не говорить ничего, что отличается от их собственного мнения о себе, и больше к «еврейскому вопросу» старался не обращаться. (Знаменитый еврейский писатель Шолом Алейхем, впрочем, обиженным себя не считал; встретившись в начале 1900-х в Нью-Йорке, они обменялись изысканными комплиментами.)

Он писал о том, что его по-настоящему волновало: сны, грезы,

«параллельная жизнь». Рассказ «Моя платоническая возлюбленная» («My Platonic Sweetheart»): герой в состоянии «грез» встретил девушку, созданную для него, в «грез» они встречались много раз, носили разные имена, но всегда безошибочно узнавали друг друга, и любили, и беседовали на «языке грез». «Все в грезах глубже, сильнее, острее и реальнее, чем в тупой, скучной, насквозь искусственной жизни, являющейся лишь бледной имитацией... После смерти, возможно, мы отбросим дешевые ухищрения рассудка, и попадем в страну грез, и станем наконец сами собой...» Поэтичный, прелестный и безобидный текст предназначался для печати, об этом свидетельствует письмо Хоуэлсу, но по неясной причине опубликован не был — возможно, автор побоялся, что жене будет неприятно. Твеноведы ломают голову: неужто он и вправду всю жизнь любил наряду с Оливией еще какую-то женщину, например Лору Райт? Ответа нет...

Другая работа на ту же тему, тоже не публиковавшаяся при жизни, — «Великая тьма» («Great Dark»; авторский текст был безымянным, название дал Бернард Девото). Отец демонстрирует дочерям каплю воды под микроскопом, и ему кажется, что они наблюдают океан: «Человек столько времени тратит на изучение Африк и полюсов и не видит чуда у себя под носом!» Тут ему является могущественное существо, Правитель Грез, и предлагает проникнуть в эту каплю воды. И вот герой уже на корабле, но корабль попал в «зачарованную морскую глушь», о которой Твен уже писал: там нет ни дня, ни ночи, ни солнца, ни звезд. Он просит Правителя прекратить неприятный сон.

«— Сон? Ты думаешь, это сон?

У меня перехватило дыхание.

— Что вы хотите сказать? Разве это не сон?

Он посмотрел на меня, и кровь в моих жилах оледенела. И тогда он сказал:

— Вся твоя жизнь прошла на этом корабле. Это — твоя реальная жизнь. Та, другая, — сон».

В отчаянии герой просыпается: он сидит в уютной гостиной, рядом его семья, продолжается разговор, но, к его ужасу, жена и дочери начинают вспоминать события, которых, как он знает, никогда не было; реальность тускнеет, расплывается, и вот он снова на ужасном корабле...

В августе Клеменсы — в той жизни, которую мы для простоты будем считать реальной, — съездили в Зальцкаммергут, в сентябре в Кальтенлейтгембене погода была скверная, Твен сидел взаперти, писал воспоминания о детстве. 10 сентября узнали об убийстве итальянским анархистом Луиджи Люкени в Женеве австрийской императрицы

Елизаветы — «милрой, безобидной дамы», поехали в Вену на похороны, Твен написал очерк «Незабываемое убийство» («The Memorable Assassination»), но публиковать не стал. С 15 октября обосновались в венском отеле «Кранц» — там Твен работал над «Великой тьмой», написал эссе «Мой литературный дебют» («My Debut as a Literary Person») — о том, как много лет назад в «Харперс» переврали его псевдоним и не дали прославиться. Бросил «Хроники молодого Сатаны» и вернулся к первому наброску о Сатане, где действие происходит в Санкт-Петербурге — Ганнибале: этот вариант называется «Школьная горка» («Schoolhouse Hill»).

Необыкновенный мальчик — уже не племянник, а сын Сатаны — появляется в классе, где учится Том Сойер, живет в семье Хотчкисов (глава которой напоминает Ориона Клеменса): на сей раз это добрый ребенок, который защищает обиженных и не произносит циничных монологов, как его кузен из «Хроник». Центральная сцена — рассказ маленького Сатаны о том, как его папа (тоже добрый) предложил запретный плод Еве и Адаму: хотел, чтобы они научились отличать добро от зла, а они почему-то выбрали одно лишь зло, и он понял, что человеку (землянину: другие люди не такие) «несвойственно делать добро, так же как воде бежать в гору». Большой Сатана огорчен и раскаивается, а его сын решает спасти человечество. Твен написал всего шесть глав (они впервые опубликованы в 1969 году); из черновиков следует, что он обдумывал как минимум два варианта развития сюжета. В первом маленький Сатана открывает школу, в которой пытается отучать людей от зла, и пишет новую Библию, не такую жестокую, как старая, во втором — ударяется в религию, всем всё прощает, страдает и томится, пока не появляется его выведенный из терпения отец.

Твен был разочарован, обнаружив, что война США с Испанией обернулась не так, как он предполагал. Летом американский флот разгромил испанские эскадры, после чего американцы совместно с революционными армиями Кубы и Филиппин без труда одолели испанцев. 10 декабря в Париже подписали мирный договор: Испания отказывалась от прав на Кубу, которая объявлялась независимой, уступала Штатам Пуэрто-Рико и ряд островов и продавала главную ценность — Филиппины — за 20 миллионов долларов. «Когда Соединенные Штаты обещали, что злодеяниям испанцев на Кубе положат конец, они заняли самую высокую моральную позицию, когда-либо занимаемую какой-либо страной. Но, захватив Филиппины, они запятнали свой флаг». Даже самому доброму Сатане не под силу отучить людей от зла: в декабре Твен бросил оптимистичную «Школьную горку» и написал для «Харперс» повесть

«Человек, который совратил Гедлиберг» («The Man That Corrupted Hadleyburg»). Городок населен высокоморальными людьми, но их мораль испаряется, когда загадочный незнакомец (очередная вариация на тему Сатаны) оставляет в банке мешок золота: местный житель, чьего имени он не знает, сделал ему добро, и он просит честных гедлибергцев найти благодетеля и отдать ему деньги. Постепенно все неподкупные граждане начинают утверждать, что именно они оказали незнакомцу благодеяние, и готовы съесть друг друга; в финале обнаружилось, что в мешке не золото, а свинец.

В конце 1898 года казалось, что всё безнадежно: болела Оливия, тоска по Сюзи навалилась вновь, жить не хотелось. Хоуэлсу, в канун Нового года: «Смерть так добра к тем, кого любит, но, увы, она пренебрегает нами...» Утешало лишь то, что у Джин больше не было припадков. Через несколько дней настроение улучшилось: Роджерс сообщил, что долги выплачены полностью, еще 100 тысяч лежат в банке, столько же в акциях, в будущем году ожидается 200 тысяч роялти. Твен отказался от предложения Понда гастролировать по Америке, а также от десяти тысяч, что предлагали за рекламу табака, и от других рекламных проектов. Оливия считала, что можно вернуться в Хартфорд. Ее мужа эта идея привела в ужас. Туичеллу: «Хартфорд без Сюзи!.. Не Хартфорд, но город разбитых сердец...» Клара тоже отказалась вернуться, а мать боялась оставлять ее одну, решили никуда не ехать. В Вене было достаточно комфортно, антисемиты оставили Твена в покое, аристократия смотрела ему в рот, каждое его слово подхватывалось, его мнения спрашивали по всем вопросам — от выбора сигар до международной политики.

Баронесса фон Зуттнер основала Австрийское общество друзей мира — Твен к его деятельности отнесся скептически, но на заседаниях выступал. 11 января 1899 года Николай II предложил провести конференцию по разоружению; Уильям Сид, редактор британского журнала «Обзор обзоров», попросил оценить инициативу. Ответная телеграмма была такой, какой все и ждали от Марка Твена: «Царь готов разоружиться, я готов разоружиться. Остался пустяк — собрать остальных». Но вдогонку он написал Сиду серьезные слова: «Мир путем убеждения — звучит очень приятно, но, мне кажется, осуществить его нам не удастся. Сперва пришлось бы укротить всю человеческую породу, а история показывает, что это невозможно. <...> Не можем ли мы добиться того, чтобы четыре великие державы согласились уменьшать свои вооруженные силы на десять процентов в год и принудили бы остальных следовать их примеру? <...> Они могут обеспечить мир путем



принуждения. <...> Вечный мир, мне кажется, невозможен ни при каких условиях, но я надеюсь, что постепенно нам удастся свести вооруженные силы Европы до надлежащего числа — 20 тысяч человек». Завершил письмо, правда, по своему обыкновению: «Тогда нам будет обеспечено столько мира, сколько мы пожелаем, да и война будет всем по средствам». (Казалось, «стадо ослов» одумалось: в мае 1899 года с участием двадцати семи государств состоялась Гаагская конференция, принявшая конвенции о мирном решении международных столкновений, о законах сухопутной войны, декларации о запрете применения удушающих газов, разрывных пуль и т. д. Но почти все эти соглашения вскоре были нарушены.) А на Филиппинах с 4 февраля шли вооруженные столкновения обманутых повстанцев с американской армией.

Твен в начале 1899-го занимался подготовкой к изданию 22-томного собрания сочинений, сочинил для него короткую автобиографию — якобы от лица Сэма Моффета. В «Космополитен» и «Норз америкэн ревью» размещал статьи с критикой «Христианской науки», очерки о том о сем: обычаи дипломатов разных стран, история кораблекрушений. С венским журналистом Зигмундом Шлезингером хотел делать цикл пьес на немецком — о нравах американцев. Все шло благополучно, Оливия поправилась. А 19 марта — сильнейший приступ у Джин. Надежды на то, что болезнь пройдет, не осталось.

Спустя неделю после этого несчастья Твен уехал выступать на юбилее венгерской печати, из Будапешта писал Хоуэлсу, что чудесно провел время — и тут же: «Я только что кончил читать утреннюю газету. Я читаю ее каждое утро, хотя и знаю, что найду в ней лишь отражение тех пороков, низости, лицемерия и жестокости, которые составляют нашу цивилизацию и побуждают меня весь остальной день взывать к Господу о покарании всего рода человеческого. <...> Человек больше не представляется мне существом, достойным уважения, и я перестал им гордиться и не могу больше писать о нем весело или с похвалой. <...> Я не брошу литературную работу, потому что она — мое лучшее развлечение, но печататься почти не буду (ибо у меня нет большего желания быть оскальпированным, чем у всякого другого). <...> Мой хвост уныло свисает до самой земли. Я считал себя недюжинным финансистом — и похвастал этим перед Вами. Теперь я уже не хвастаю. Акции, которые я продал с такой прибылью в начале января, продолжали непрерывно повышаться и теперь стоят на 60 тысяч больше, чем тогда, когда я их продал. Я чувствую себя так, словно тратил по 20 тысяч в месяц, и меня мучает совесть из-за такого безумного и неприличного мотовства...»

В мае он возобновил работу над «Хрониками молодого Сатаны». Хоуэлсу: «Я долго ждал возможности написать книгу, не надевая на себя никакой узды, — книгу, не считающуюся ни с чьими чувствами, предрассудками, мнениями, верованиями, надеждами, иллюзиями, заблуждениями; книгу, где излагались бы все мои самые заветные мысли без всяких смягчений и умалчиваний. Мне казалось, что такая работа будет невыразимым блаженством, раем на земле. Я уже приступил к ней, и это действительно блаженство! Духовное опьянение. Дважды я начинал ее неправильно, и оба раза забирался довольно далеко, прежде чем успевал это обнаружить. Но сейчас я убежден, что нашел правильное начало. Это — рассказ от первого лица. Кажется, мне удастся выразить в ней, что я думаю о Человеке: и о том, из чего он складывается, и о том, какое он жалкое, нелепое и смешное существо, и о том, насколько он ошибается в оценке своего характера, талантов, душевных качеств и своего места в ряду остальных животных. Пока, кажется, у меня это получается. Позавчера я посвятил в эту тайну миссис Клеменс, запер двери и прочел ей первые главы. Она сказала:

— Это невыразимо отвратительно и невыразимо прекрасно.

— Со скидкой на скромность я и сам того же мнения, — ответил я.

Я надеюсь, что мне потребуется год-два, чтобы написать эту книгу, и что она окажется подходящим сосудом, чтобы вместить всю ту брань, которую я намерен в нее вложить».

Клеменсы, до сих пор скрывавшие от всех болезней Джин, начали наводить справки у знакомых: вдруг кто-то даст совет. Живший в Лондоне американец Биглоу сообщил, что есть новый метод лечения. Решили срочно переезжать в Англию: Клара там может учиться у мадам Марчези. За два дня до отъезда, 25 мая, Твена пригласил в гости престарелый Франц Иосиф: если верить Твену, он предложил императору «план истребления человечества путем изымания из воздуха кислорода». На вокзале провожали тысячные толпы венцев, забросали букетами. Три дня провели в Праге по приглашению князя Турн-унд-Таксиса, 1 июня были в Лондоне. Биглоу рассказал: новый метод называется остеопатия, излечивает от всего, его автор, швед Хенрик Келгрэн, практикует в местечке Санна у себя на родине, но у него есть лондонское отделение; сам Биглоу лечился там от дизентерии и, вообразите, за сутки выздоровел без лекарств. Клеменсы побежали в клинику Келгрена и там узнали, что человек представляет собой единение тела, духа и души, которое работает правильно, лишь когда эти три составляющие гармонизированы; мануальная терапия, массаж и гимнастические упражнения активизируют «самовосстановление»

организма, тогда эпилепсия пройдет. (Остеопатические методы и сейчас используют в комплексной терапии разных заболеваний, включая эпилепсию, но мнения об их эффективности противоречивы.) Твен попросил показать упражнения, вылечился с их помощью от насморка и уверовал. Списались с Келгреном: он примет Джин в середине июля. Полтора месяца прожили в Лондоне. По Твену соскучились, он был нарасхват, в клубе «Авторы» специально для него устраивались вечера, его словечки пересказывали: «Когда-то я был молод и глуп. Теперь состарился и стал еще глупее». 4 июля — прием у американского посла, Твен познакомился с Букером Вашингтоном, о чем оба давно мечтали. Мадам Марчези сказала, что Кларе надо отдохнуть, так что отправились в шведский санаторий всей семьей.

Свежий воздух, пикники, усиленное питание, гимнастика; за первую неделю лечения у Оливии прошел артрит, у Сэмюэла — кашель, он писал статьи об остеопатии, требовал, чтобы знакомые, включая Роджерса, бросили все и мчались в Швецию. К концу месяца стало лучше и Джин — возможно, потому, что Келгрэн отменил убивавший ее бром. Он делил эпилепсию на врожденную и приобретенную — вторую брался излечить. Родители вспомнили, что Джин в десять лет ушибла голову, — значит, тогда и приобрела болезнь. Теперь она, как писал ее отец, «превращалась в бодрую, приветливую девушку с ясным умом» — значит, выздоравливала. (Мысль о бrome ему в голову не приходила.) Родители верили, что с припадками покончено. Двадцатилетняя Джин их энтузиазма не разделяла — она привыкла считать себя неполноценной, была застенчива и страдала от одиночества. Клара цвела, собирала толпы поклонников, а она была, как ей казалось, «некрасивой, бездарной, глупой». Писала в дневнике: «Неужели мне суждено никогда не любить и не быть любимой? Это было бы слишком ужасно и могло бы служить оправданием самоубийства...»

Родители ничего не замечали: ребенок хорошо кушает и слава богу. Твен написал для журнала «Макклур» два эссе: «Мои детские мечты» («My Boyhood Dreams»), в котором перебирал десяток знакомых, ничьи мечты не осуществились, включая его собственные, и «Моя первая ложь» («My First Lie, and How I Got Out of It»), в котором рассказывал, как, будучи девяти дней от роду, уже делал вид, что укололся булавкой, дабы привлечь внимание матери, и так познал «универсальную человеческую технику лжи»: «Все люди — лжецы от колыбели, они начинают лгать, как только проснулись утром, и продолжают без отдыха до ночи». Лживые слова — лишь видимая часть «айсберга лжи»; большинство из нас лгут молчанием — например, отказываясь публично оправдать или осудить тиранию.

Предположительно в этот период он взялся за автобиографический роман «Индиантаун» («Indiantown»), от которого сохранились лишь небольшие фрагменты: маленький городок типа Ганнибала, персонажи, напоминающие Клеменсов, философ-самоучка Годкин, похожий на Макфарлейна, у которого учился жизни юный Сэм. В центре — супружеская пара Гридли: идеальная Сьюзен перевоспитывает неотесанного Дэвида; если видеть в них супругов Клеменс, то это единственный случай, когда Твен позволил себе что-то вроде критики в адрес жены. Дэвид обожает Сьюзен, считает ее верхом совершенства и благодарен за то, что она заставила окружающих и его самого «взглянуть на себя по-новому», но она чрезмерно вмешивается в его работу, и иногда ему кажется, что он играет навязанную роль, — как «простая кухонная мебель, которую перенесли в гостиную и замаскировали роскошной позолотой». (Возможно, автор был раздражен запретом жены на публикацию «Человека».)

В санатории было мило, но скучно, отец и старшая дочь рвались в город. 1 октября семья уехала: Джин сможет продолжать лечение в лондонском филиале. Сняли квартиру на Веллингтон-корт, рядом с клиникой. Там Твен написал задуманный десять лет назад рассказ «Смертельный диск» («The Death Disk»; опубликован в «Харперс мэгэзин» в 1901 году), основанный на реальном эпизоде: в 1649 году в Уэльсе Кромвель обвинил в измене трех офицеров, казнить хотел одного, тянуть жребий поручили ребенку, не знавшему имен жертв. Твен заострил ситуацию: девочка приговорила собственного отца, но Кромвель помиловал его. Начал очередную историю о «параллельной жизни» и двойниках под названием «Кто из них?» («Which Was It?»): белый мужчина уходит в «грезу», там теряет семью, деньги, совершает убийство, в котором обвиняют негра, герой не в силах ни признаться, ни покончить с собой. (Историю недописал, периодически возвращался к ней, в 1903 году бросил.) Написал эссе «Святая Жанна» («Saint Joan of Arc») — предисловие к английскому изданию романа о Жанне, но разругался с редактором, вздумавшим его править, текст пролежал на полке четыре года, зато была сделана пространная запись о ссоре с редактором — «этим литературным кенгуру».

Осенью 1899 года состояние Джин вновь ухудшилось. Павшая духом мать опять пошла по медиумам, отец начал разочаровываться в остеопатии, писал друзьям, что вся медицина — жульничество, и тут же нашел новую панацею. Немецкая фирма «Герц» выпускала пищевую добавку «плазмон» — порошок, изготовленный из альбумина, отхода в производстве масла;

утверждалось, что фунт плазмона питательнее, чем 17 фунтов говядины. Его разводили водой — получалась жидкость, похожая на молоко. Твен несколько дней его пил и сказал, что у него прошли насморк и несварение желудка. Дом заполнился коробками и бутылками, семья пила плазмон по восемь раз в день. Твен купил за 25 тысяч долларов шестую долю акций лондонского филиала «Герц», вошел в совет директоров и умолял Роджерса немедленно открыть производство плазмона в Америке. Тот отказался, Твен обратился к Карнеги, тоже получил отказ, но не успокоился: сам будет делать плазмон и наконец-то разбогатеет.

«Стадо ослов» изредка радовало: 19 сентября был помилован (хотя и не оправдан) Дрейфус. Но в тот же период началась Англо-бурская война, которую предрек молодой Сатана в «Хрониках»: «Угождая дюжине богачей-аферистов, Англия развяжет конфликт с фермерами, тоже христианами, пошлет против их деревень могучую армию, сокрушит их, захватит их земли. Она будет шумно кичиться своим торжеством, но в душе будет чувствовать, сколь она опозорена; и флаг ее, символ свободы и чести, станет флагом пиратов». В апреле 1899 года ойтландеры обратились к королеве Виктории с просьбой о защите их интересов (избирательное право и равное налогообложение). Буры уступать не собирались: они получили поддержку Германии, которая была не прочь занять место англичан в Южной Африке, и других европейских государств. 9 октября Трансвааль потребовал отвести британские войска от границ республики. На ультиматум Англия ответила объявлением войны. Из записных книжек Твена: «Какой-то человек должен был первым погибнуть на этой войне. Он погиб. Англичанин он или бур, это — убийство, и Англия совершила его руками Чемберлена (министр колоний. — М. Ч.) и его кабинета, лакеев Сесиля Родса...»

Твен принял сторону буров. Заявил, что был высокого мнения о них всегда. Это неправда, раньше говорил другое: «Очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы»; «Бур — белый дикарь. Он грязен, живет в хлеву, ленив, поклоняется фетишу; кроме того, он мрачен, неприветлив и важен и усердно готовится, чтобы попасть в рай, — вероятно, понимая, что в ад его не допустят». Теперь писал иначе. Туичеллу, 27 января 1900 года: «Благополучие, пища, кров, одежда, здоровый труд, скромные и разумные стремления, честность, доброта, гостеприимство, любовь к свободе и доблестная готовность бороться за нее, спокойствие и мужество в час несчастья, терпение в час невзгод, отсутствие шума и хвастливых воплей в час победы, непритязательная и мирная жизнь, лишенная безрассудных волнений, — если и существует

высшая и лучшая форма цивилизации, мне она неизвестна, и я не знаю, где ее искать. Вероятно, мы привыкли воображать, что необходимо еще удовлетворить множество артистических, интеллектуальных и других искусственных потребностей, — иначе цивилизация не будет полной. Мы и англичане обладаем всем этим, но, поскольку нам не хватает большой части вышеперечисленного, мне кажется, что бурская цивилизация выше нашей». Буры делали всё, за что Твен осуждал других: были религиозными фанатиками, притесняли национальные меньшинства и коренное население захваченных ими земель, категорически отказывались отменить рабовладение. Но у Твена сработал «инстинкт правозащитника»: если кто-то на кого-то напал, значит, объект нападения — «хороший», а агрессор — «плохой», тогда как в жизни сплошь и рядом один бандит нападает на другого, который, в свою очередь, ограбил третьего.

Он написал статью для анонимной публикации в «Таймс», но не отправил из политических соображений: буры были ангелами по сравнению с англичанами, но имелись и другие, еще хуже англичан. Хоуэлсу, 25 января: «Говоря между нами, это грязная и преступная война, во всех отношениях постыдная и не имеющая оправдания. Каждый день я пишу (мысленно) желчные статьи о ней, но мне приходится этим ограничиваться, ибо Англия не должна быть повержена; это означало бы распространение по всему миру позорной политической системы русской и германской империй, что обрекло бы земной шар на ночь нового средневековья и рабства вплоть до второго пришествия Христа. Даже когда она не права (а она не права), Англию надо поддерживать. Тот, кто выступит против нее сейчас, — враг человечества. <...> Мой разум на стороне британцев, но мое сердце и те обрывки морали, которые у меня остались, — на стороне буров». Опять противоречие: если буры такие хорошие, то почему Россия и Германия плохие, тем более что они буров поддерживали? (Война завершилась победой Англии, но в 1910 году она была вынуждена предоставить южноафриканским республикам независимость; буры образовали Южно-Африканский союз, высокоморальное государство, выступавшее в поддержку Гитлера и установившее режим апартеида.)

Под Новый год «Америкен паблишинг компани» начала выпускать собрание сочинений Марка Твена: Брандер Мэттьюз в предисловии сравнил автора с Мольером и Сервантесом, писал, что его юмористический дар долго заслонял философскую глубину его работ, что его стиль прекрасен. Никто с этим не спорил: кажется, родина наконец признала, что обладает сокровищем. Первый том разошелся за неделю, издание обещало

громадную прибыль. В июне выйдет новый сборник «Человек, который совратил Гейдельберг», тоже будет прекрасно продаваться в США и Англии. Но это деньги несерьезные — то ли дело плазмон! В январе Макклюр предложил Твену стать редактором и акционером нового британского журнала «Юниверсал», гарантировал доход в пять тысяч ежегодно; Роджерс дал добро, но Твен отказался: он уже хотел вернуться на родину — делать плазмон. Списались с родней, просили узнать, есть ли в Америке хорошие остеопаты. Оливия и Джин давно хотели домой; семья (за исключением Клары) воспрянула духом.

Глава семейства весной 1900 года заново начал автобиографию, написал несколько фрагментов о детстве; с Роджерсом обсуждал возможность издать ее не при жизни, а через 100 лет. Вечерами — театры, клубы, приемы, знакомства: любимый Твенем историк Леки, король Швеции, отставной премьер Гладстон. В клубах Твен говорил о копирайте, его пригласили выступить перед палатой лордов; долго готовился, волновался, сказал, что интеллектуальная собственность не хуже всякой другой и авторское право должно быть вечным, лорды вежливо похлопали, но речь сочли за шутку. Вместе с Джин он стал членом Британского общества защиты животных и Союза против вивисекции. Первый в мире закон в защиту подопытных зверей был принят в Великобритании в 1876 году и, в частности, предусматривал обезболивание. Но это требование не всегда соблюдалось, а в других странах, например во Франции, положение было намного хуже. Против вивисекции выступали Гюго, Шоу, Толстой, Дарвин, с ними полемизировал Уэллс: если науке нужны опыты, они должны проводиться. Твен опубликовал открытое письмо секретарю Общества защиты животных Сиднею Тристу, в котором обрушился в основном на проклятых французов. «Независимо от того, полезна ли вивисекция для человечества, я ее не приемлю».

Отпраздновав 4 июля в обществе знакомых американцев, Клеменсы уехали на лето в лондонский пригород Доллис Хилл: сельский домик, чай на лужайке под липами, «это ближе к раю, чем какое-либо другое место». Твен пытался работать над «Хрониками» и «Человеком», но бросил: холодные книги, хотелось написать страстнее, но для этого нужны другие персонажи. Он написал фрагмент «Из дневника Евы» («*Passage from Eve's Diary*»), текст при жизни не публиковался, Пейн его издал под названием «Рассказ Евы» («*Eve Speaks*»).

Жизнь, полная горя, научила Еву размышлять: она логична и умна, как Жанна, и так же непокорна; Адам не смеет роптать, но она — смеет. Изгнание из рая было несправедливо: «Мы не могли знать, что не

повиноваться приказу нехорошо. Мы не понимали этих слов. Мы тогда не могли отличать хорошее от дурного — как же мы могли понять, что значит «нехорошо»? Если бы нас сразу наделили Нравственным Чувством — вот тогда мы были бы виновны в нарушении запрета». Они ничего не знали; не зная, что такое смерть, нашли тело Авеля, думали, что сын спит: «Мы не можем разбудить его! Я обвиняю его руками, я сквозь завесу слез заглядываю в его глаза, я прошу его сказать хоть слово, но он не отвечает. О, неужели этот долгий сон — смерть? И он никогда не проснется?» «Адам говорит, что горе ожесточило мой ум и я стала злой. Я — такая, какой меня создал; не я себя создала».

Другой фрагмент твеновской библии — «Дневник Сатаны» («Passage from Satan's Diary»); при жизни также не публиковался, другое название — «День в раю» («That Day in Eden»). Сатана встретил «невинных, прелестных девушку и юношу, которые простодушно не стыдились наготы», они пристали к нему с детскими вопросами: что такое добро, зло, боль, вечность? Ему трудно объяснить, ибо сам он все это понимает лишь теоретически. Он пытается рассказать Еве о смерти:

«— В некотором роде это — сон.

— О, я знаю сон!

— Но это больше, чем сон, это только похоже на сон.

— Спать так чудесно!

— Но это очень, очень долгий сон...

— Ах, это еще лучше! Наверное, нет ничего приятней.

Я пробормотал мысленно: «Бедное дитя! Однажды ты поймешь, что сказала страшную и великую истину; однажды ты скажешь: приди ко мне, Смерть, друг покинутых и одиноких! Погрузи меня в милосердную пучину забвения, в убежище отчаявшихся и покинутых...»»

Так же безуспешно Сатана уговаривал не трогать яблоко: Ева не поняла, что такое «нельзя», она была любознательна и попробовала: «Она была похожа на того, кто медленно пробуждается от сна. Она рассеянно и пристально смотрела то на меня, то на Адама, перебирая пальцами свои золотые кудри. Потом ее блуждающий взгляд упал на обнаженного Адама, она залилась краской, отскочила в кусты и закричала: «Ох, моя скромность утрачена — моя невинность стала позором — мои мысли были чисты — теперь они грязны!» Она стояла, корчась от боли, опустив голову, причитая: «Я пала, пала так низко, и мне уже никогда не подняться». Адам продолжал удивленно глядеть на нее, он еще не понял, что произошло, ее слова ничего не значили для него, не обретшего способность отличать добро от зла. Его изумление возросло, когда он увидел, что груз ста прожитых лет, которого



Ева не ощущала прежде, теперь придавил ее, и ее волосы поседели, морщины прорезали ее прелестное лицо, ее кожа потеряла блеск. Он видел все это; он был честен; чтобы сохранить верность ей, он взял яблоко и молча съел его.

Он тоже превратился в старика. Тогда он набрал веток, чтобы они оба могли укрыть свою наготу, и они повернулись и побрели прочь, держась за руки, согнувшись под тяжестью лет... Ева съела яблоко — о, прощай, Эдем с его невинными радостями, на смену им пришли бедность и боль, голод и холод, горе, тяжелая утрата, слезы, зависть, борьба, преступление и позор; старость, усталость, раскаяние; а потом отчаяние и мольба о смерти, смерти — пусть даже она разверзнет врата ада!»

Библейский Бог, чье существование подразумевается в этих историях, — жестокое и несправедливое существо. Но есть другой, о котором автор высказался в записных книжках несколькими месяцами ранее, — «тот, кто сотворил эту величественную Вселенную и ее законы. Он — единственный творец бытия и мысли; от него исходят все идеи; Он — создатель цветов и их комбинаций; законов и сил, управляющих законами; всех видов и форм. Человек никогда не придумал ничего такого, чего не было бы в Нем. Человек может лишь пользоваться материалами, созданными Им, и применять Его законы, создавая машины и другие вещи, которые ему служат. В произведениях искусства человек изображает, но не создает, ибо единственный создатель — Он, совершенный ремесленник и совершенный художник». В которого из двоих верил Твен, сказать сложно. Сам утверждал, что во второго. Но зачем, в таком случае, постоянно и страстно роптал на первого?

«Хроники молодого Сатаны»: «Китайцы захотят избавиться от христианских миссионеров, восстанут и перебьют их. За это придется платить — наличными и территорией. Китайцы озлобятся и еще раз восстанут против оскорблений и гнета пришельцев». В ночь на 24 июня 1900 года в Пекине произошло массовое убийство иностранцев, в том числе американцев. Конфликт зрел давно. С середины XIX до начала XX века Китай подписал ряд кабальных договоров с Японией, США, Россией и странами Европы, потеряв ряд морских портов и оказавшись в изоляции; экономика пришла в упадок, крестьяне платили дополнительные налоги, введенные для выплаты контрибуций, ремесленники лишались заработка из-за конкуренции иностранных товаров, лодочников разорили железные дороги. Вдобавок в 1890-х годах Поднебесная пережила ряд стихийных бедствий — то ливни, то засухи. Как спасти страну?

Появились «младореформаторы» во главе с Кан Ю-вэем и предложили меры: создать министерства промышленности, сельского хозяйства и транспорта, модернизировать армию, упразднить устаревшие административные учреждения, отменить привилегии маньчжуров перед китайцами (правящая династия Цин была маньчжурской), развивать машиностроение, учредить школы современного типа, издавать газеты и журналы, основать университет, учиться у иностранцев, чтобы стать сильными и умными. Молодой император Гуансюй, за которого правила его тетка, императрица Цыси, в 1898 году взял власть в свои руки и начал проводить реформы. Но созидательная деятельность трудна; как всегда, нашлись люди, предложившие простой выход — перебить иностранцев. На севере началось восстание «ихэтуаней» («кулак, поднятый во имя справедливости»), или «боксеров» (в их учение входили физические упражнения). Они разрушали здания европейского типа, разбирали железнодорожные пути, рубили телеграфные столбы, сожгли ряд христианских церквей и школ, убивали миссионеров, иностранцев и китайцев-христиан. 21 сентября 1898 года Цыси свергла племянника и объявила: «Пусть каждый из нас приложит все усилия, чтобы защитить свой дом и могилы предков от грязных рук чужеземцев». (Дальнейшие события показали, что она искала предлога вновь сесть на престол.) 21 июня 1900 года она объявила войну альянсу восьми держав: Англии, США, Японии, Франции, России (современная российская публицистика, в которой, как и в советской, преобладает тон восхищения ихэтуанями, об этом, кажется, забыла, как и о том, что среди уничтоженных церквей было много православных), Германии, Италии, Австро-Венгрии. Цыси они не признали и направили войска в Китай, чтобы, в частности, вернуть на трон лояльного Гуансюя. Военные действия шли с переменным успехом, ихэтуани гнули свое: 9 июля в Тайюане были обезглавлены 45 английских миссионеров.

Твен никогда не был в Китае. Он наблюдал китайцев в Сан-Франциско: вежливые, работающие. Как большинство писателей, он не желал разбираться в экономике, о реформах Гуансюя не знал или не придавал им значения, проигнорировал и то обстоятельство, что Цыси правила нелегитимно. Видел одно: справедливую борьбу против подлых захватчиков. Туичеллу: «Сейчас везде только и разговору, что о Китае, и все мои симпатии на стороне китайцев. Венценосные воры Европы издавна обращаются с ними преподло, и я надеюсь, что теперь они выгонят из своей страны чужеземцев раз и навсегда».

Ленин в 1900-м опубликовал статью «Китайская война»: «Могли ли

китайцы не возненавидеть людей, которые приезжали в Китай только ради наживы, которые пользовались своей хваленой цивилизацией только для обмана, грабежа и насилия... которые лицемерно прикрывали политику грабежа распространением христианства?» Твен 16 июля подготовил аналогичную статью «Миссионеры в мировой политике» («The Missionary in World-Politics»): «Теперь вы, самодовольные люди Запада, представьте, что бы вы чувствовали, если бы незваные иностранцы расхаживали по вашей стране, внушая вашим детям, что ваша родная религия приведет их в ад. <...> Я не понимаю, за что мы чтим миссионеров. Может, потому, что они не приходят к нам из Турции, Китая или Полинезии, чтобы разрушить нашу веру и заставить поклоняться иностранным богам». Он намеревался опубликовать статью в лондонской «Таймс» — анонимно: «У меня не больше желания быть оскальпированным, чем у всякого другого». Потом решил и вовсе не печатать.

Сэм Моффет прислал письмо: в Нью-Йорке есть хороший остеопат Хелмар. Сентябрь Клеменсы провели в Лондоне: готовились к отъезду, пили плазмон, Твен написал для журнала «Лондон сенчюри» рассказ «Две короткие истории» («Two Little Tales») — о том, как бюрократы не позволяют внедрять полезные продукты и другие изобретения. 6 октября отплыли. Габрилович провожал; он написал для Клары песню на стихи Гейне.

## Глава 10

### Том Сойер и политика

Туичелл и Хоуэлс обнаружили, что их 64-летний друг и его 54-летняя жена помолодели лет на пятнадцать: Твен сказал, что это все — плазмон. Но сразу заняться производством чудо-молока было некогда: родина принимала блудного сына с почестями, как героя, с утра до вечера приходилось фотографироваться и отвечать на вопросы. В осиротевшем Хартфорде жить не хотели, но съездить пришлось — на похороны Чарлза Уорнера. Сняли в Нью-Йорке дом по адресу Уэст-Тенз-стрит, 14, наняли повара, горничных, дворецкого, Твен ворчал, что все не так, но был рад, что жена освободилась от положения «домашней рабыни». Дом стали осаждать толпы, репортеры молили высказаться об Англии, России, диетическом питании, кошках, опере, многоженстве, журналы клянчили рукописей, предлагая доллар за слово (столько никому не платили даже за абзац). Твен попросил Роджерса выбрать лучшее предложение, тот выбрал разумное и договорился с Джорджем Харви, новым президентом концерна «Харперс», об эксклюзивных правах: 30 центов за слово, публикации в «Харперс» и «Норз америкэн ревью»; планировали начать издавать автобиографию, Роджерс составил контракт, но проект был отложен.

Страх быть оскальпированным на родине прошел: писать Твен намеревался исключительно о политике и сразу определил свою позицию, в октябре вступив в Антиимпериалистическую лигу (и вскоре став ее вице-президентом).

23 ноября на собрании Ассоциации всеобщего образования он произнес речь о Китае. В течение осени 1900 года войска союзных держав били китайцев, 4 сентября Россия начала оккупацию Маньчжурии, 7 сентября Цыси перешла на сторону противника и занялась подавлением ихэтуаней. Твена все это возмущало: «Почему Китай не может быть свободным от иностранцев, которые только приносят неприятности? Если бы они все убрались к себе домой, как прекрасен был бы Китай для китайцев! Мы не позволяем китайцам приезжать сюда, и я со всей серьезностью утверждаю, что было бы правильно и Китаю решать, кто может приезжать к ним. Китайцы не хотят присутствия иностранцев так же, как мы — китайцев. В этом вопросе я — с боксерами. Как мы изгоняем китайцев из нашей страны, так боксеры надеются изгнать нас из своей. Боксеры — патриоты. Они любят свою страну больше, чем другие страны,

и я желаю им успеха». Это звучит почти как пародия и лишено логики: если правы ихэтуани, истребляющие иностранцев, то, значит, правы и сан-францисские полицейские, терроризировавшие кротких китайцев, а если вторые, как считал сам Твен, плохи, то почему тогда первые хороши? Изоляция еще ни одно государство не привела к процветанию; любя свою родину, ихэтуани хотели загнать ее в средневековье и сделать еще менее конкурентоспособной.

В ноябре приехал на гастроли Габрилович, концерт в Нью-Йорке прошел с триумфом, Клара была счастлива (сама она дебютировала в Вашингтоне 22 января следующего года, успех был умеренный). Для ее отца самым насыщенным месяцем стал декабрь: ни дня без публики. 4-го — прием в клубе «Альдина», 5-го — обед в клубе «Лотос», 6-го — выступление в «Женском пресс-клубе»; 12-го в отеле «Уолдорф-Астория» Твен приветствовал впервые посетившего США Черчилля, гостя восхвалял, но вставил в речь немало шпилек по поводу Китая. 26 декабря Цыси начала переговоры о мире; 1 января 1901 года уцелевшие ихэтуани ушли в Маньчжурию, создав «Армию честности и справедливости»; к декабрю 1901-го русские войска ее в основном ликвидировали. 30 декабря 1900 года Твен опубликовал в «НьюЙорк геральд» «Приветствие девятнадцатого столетия двадцатому» («A Salutation Speech from the Nineteenth Century to the Twentieth»): «Величественная нация — христианство — возвращается, опозоренная и запачканная, из пиратских набегов, которые она совершила в Китае, Маньчжурии, Южной Африке и Филиппинах, — с подлою душой, карманами, полными награбленного, и лицемерно набожными словами во рту. Дайте ей мыло и полотенце, но не глядите ей в глаза».

За время войны в Китае погибло много христианских священников с семьями, была уничтожена их собственность — церкви и дома. Большинство миссионерских организаций возмещения убытков не требовали. Но не все христиане вели себя по-христиански. Член Американского совета заграничных христианских миссий преподобный Уильям Скотт Амент в августе 1900 года написал письмо госсекретарю Джону Хэю, требуя «компенсации за гибель людей и имущества, реформы образования в Китае, ликвидации неграмотности, отмены традиционной системы императорских экзаменов, ликвидации культа Конфуция, реформы уголовного и гражданского права, равенства в суде христиан с нехристианами». Тут было много здравого, но в отредактированной версии письма осталось только требование денежных компенсаций. На родине эта мелочность вызвала негативную реакцию. Уилбур Чемберлен, репортер «НьюЙорк сан», интервьюировал Амента в Пекине — тот заявил, что,

«если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются» и что немцы, французы и русские китайцев убивали, а он требует всего лишь возмещения убытков. Из письма Чемберлена жене: «Преподобный Амент в общем славный парень, но я не могу одобрить его методы... Когда солдаты вошли в Пекин и все эти миссионеры были в безопасности, они сразу стали вопить об ущербе. Первое, что они сделали, — потребовали себе дворцы китайских сановников, вынесли оттуда все ценное и продали. Они советовали всем христианам поступать так же. Они говорили, что это не грех и что они имеют право. Это было так, как если бы кто-то обокрал меня, а я, чтобы восстановить справедливость, ограбил его... Они опозорили церковь и христианство... эти так называемые христиане живут в украденных домах за счет продажи краденого».

В статье для «Сан», опубликованной под Рождество, Чемберлен выразился мягче, но смысл был тот же; он сообщал, что Амент требует тринадцатикратной компенсации — деньги пойдут «на распространение евангельского учения». Амент оправдывался: католики и русские требуют с китайцев еще больше (это была правда). Но в январе французские военные арестовали преподобного в Дунчжоу за вымогательство денег у крестьян. Американский корреспондент Томас Миллард писал, что эта история «надолго оставит пятно на моральном облике человечества». О поведении Амента также рассказывали Джордж Линч в «Трибюн» и «Геральд», Роберт Харт в «Фортнайтли ревью» и другие журналисты. По этим материалам Твен написал памфлет «Человеку, сидящему во тьме» («To the Person Sitting in Darkness»): «Заставив нищих крестьян расплачиваться за других, да еще в тринадцатикратном размере, мистер Амент обрек их вместе с женами и невинными младенцами на голод и медленную смерть. Но эти его подвиги на финансовом поприще, совершенные с целью получить кровавые деньги для распространения евангельского учения, не нарушают моего душевного равновесия, хотя такие слова в сочетании с такими делами представляют собой столь чудовищное, столь грандиозное кощунство, что равного ему не сыскать в истории. Если бы простой мирянин поступил так, как мистер Амент, оправдываясь теми же мотивами, я, конечно, содрогнулся бы от ужаса; или если бы я сам сотворил подобное под таким же предлогом... Впрочем, это немыслимо, хотя некоторые плохо осведомленные люди и считают меня богохульником. Да, бывает, что священнослужитель ударяется в кощунство. И тогда простому мирянину за ним не угнаться!»

«Дары цивилизации», распространяемые среди тех, кого сейчас называют третьим миром или развивающимися странами, а тогда — темными народами и язычниками, — справедливость, кротость,

милосердие, просвещение и т. д. — «только обертка, яркая, красивая, заманчивая, и на ней изображены такие чудеса нашей Цивилизации, которые предназначаются для отечественного потребления. А вот под оберткой находится Подлинная Суть, и за нее покупатель, Ходящий<sup>[40]</sup> во Тьме, платит слезами и кровью, землей и свободой. Именно эта Подлинная Суть и есть Цивилизация, предназначенная на экспорт». Твен критиковал Европу, в особенности Россию и Англию — «цивилизованные государства со знаменем Христа в одной руке и с корзиной для награбленного и ножом мясника — в другой». Американцы могли поступить по-американски, то есть благородно. Но не захотели.

Америка также опозорила себя на Филиппинах и Кубе. Последняя оставалась под контролем американской военной администрации, что оправдывалось необходимостью защитить население от эпидемии желтой лихорадки. В ноябре 1900 года под руководством главы администрации генерала Вуда была принята конституция Кубы, в текст которой включалась «поправка Платта» к Закону об ассигнованиях на американскую армию (принятая конгрессом в марте 1901 года): Куба не имеет права заключать с другими государствами договоры, «которые будут подрывать или угрожать независимости Кубы», а США «могут воспользоваться правом на вмешательство с целью защиты кубинской независимости, сохранения правительства, способного защитить жизнь, собственность и личную свободу»; были и другие пункты, ограничивающие кубинский суверенитет<sup>[41]</sup>.

На Филиппинах продолжалась война, республиканская армия к началу 1900 года распалась на партизанские отряды. Президента независимой республики Эмилио Агинальдо, руководившего сопротивлением, Твен сравнивал с Жанной д'Арк, называл благородным героем. «Да, мы разгромили обманутый доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, разума и порядка; мы вонзили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага призрак, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой под флагом, которого в былые времена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь мир смотрит на нас с презрением...»

Более страстной публицистики он не писал. Хоуэлс сказал, что его повесят, Туичелл умолял не публиковать. 29 января, Туичеллу: «Нет, я это

понять не в силах! Вы — наставник и учитель людей, Джо, и на Вас лежит великая ответственность перед молодыми и старыми; если Вы учите свою паству, как учите меня, — из страха, что высказанное вслух мнение может нанести ущерб ей или какому-нибудь издателю, молчать и скрывать свои мысли, когда флаг родины покрывается бесчестьем и позором, — как ответите Вы за это перед собственной совестью? Вы сожалеете обо мне; в порядке взаимности я готов немного пожалеть Вас».

Памфлет вышел в феврале в «Норз америкэн ревью», Антиимпериалистическая лига издала его брошюрой тиражом 125 тысяч экземпляров. Эффект — как от разорвавшейся бомбы. Комментировали все газеты Америки — исключительно в передовицах. «Луисвилль курьер»: «Добродушный юморист былых времен — теперь энергичный реформатор, странствующий рыцарь, который не боится скрестить копье с церковью или государством». «Бостон джорнэл»: «Марк Твен прекрасный юморист, но когда он изображает из себя публициста, то сразу попадает в неприятности. Его статья не смешна и с политической точки зрения очень плоха: она опрометчивая и клеветническая». Разошлись и мнения «простых читателей». Пастор бостонской Церкви Каждого Дня: «Хочу поблагодарить Вас за превосходную статью». Бостонская учительница: «Я раскаиваюсь и стыжусь, что хотела пригласить Вас выступить в нашей школе». Совет заграничных миссий опубликовал заявление: Чемберлен переврал слова Амента, тот просил компенсацию не в 13-кратном, а в 1,3-кратном размере. Секретарь совета Джадсон Смит потребовал от Твена извинений. В конце концов выяснилось, что ошибся наборщик «Сан». Редакция «Норз америкэн» попросила Твена объясниться, хотя он лишь цитировал чужую статью. В апреле он ответил еще более желчным памфлетом «Моим критикам-миссионерам» («To My Missionary Critics»), где доказывал, что 1,3 даже хуже, чем 13, потому что мелочнее.

Весной 1901 года он написан еще ряд статей, не публиковавшихся при жизни. «Отвратительный иностранец» («Offensive Stranger») — о том, как добрые, казалось бы, намерения приводят к ужасным результатам (интервенция в Китай и на Филиппины и даже открытие Колумбом Америки). «Тысячелетняя история» («History 1, 000 Years from Now») — как люди XIX века ужасаются бесчинствам людей XIX века. «Расхожие мнения» («Corn-Pone Opinions»): мы никогда не говорим то, что думаем, когда мы высказываемся, нас волнует не истина, а одобрение группы, к которой мы принадлежим; чтобы преуспеть, нужно мыслить и говорить «как все». «Грандиозная международная процессия» («The Stupendous Procession»): парадом проходят «двадцатый век — симпатичный юнец,



пьяный и бестолковый», Сатана с девизом «Бери, что сможешь, держи, что взял», Америка с наручниками и плеткой для Кубы и Филиппин. Россия: «Колонна измученных ссыльных — женщины, дети, студенты, политики, патриоты, бредущие по снегу; искалеченная фигура, закованная в цепи, — Финляндия; горы раздувшихся трупов — убитые маньчжурские крестьяне». Христианство: «монументальная особа в окровавленном одеянии, увенчанная короной», на шипы которой насажены головы буров, ихэтуаней, филиппинцев, в одной руке — камень, в другой — Евангелие, девиз: «Возлюби имущество ближнего, как самого себя!» В конце процессии несут плакат: «Все белые люди рождены свободными и равными».

Предположительно к тому же периоду относится памфлет «О патриотизме» («As Regards Patriotism»): «...газетами и политиками сфабрикованный патриот, втихомолку отплевываясь от того, что ему подсовывают, тем не менее это проглатывает и изо всех сил старается удержать в желудке. <...> Человек лишь редко, лишь крайне, крайне редко с успехом борется против того, что внушалось ему пропагандой, — слишком неравны силы. В течение многих лет, если не всегда, пропаганда в Англии и Америке наотрез отказывала человеку в праве на независимую политическую мысль и в штыки встречала такой патриотизм, который основан на его собственных концепциях, на доводах его рассудка, патриотизм, с честью прошедший через горнило его совести. И что же? В результате патриотизм был не более как залежалый товар, получаемый из вторых рук. Патриот не знал, откуда взялись его взгляды, да его это и не трогало, коль скоро он был с теми, кто, по его мнению, составлял большинство, — ведь только это важно, надежно, удобно».

Твену случалось высказываться о патриотизме и более резко: «Душа и суть того, что обычно понимают под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость»; «Патриотизм — слово, которым всегда обозначают грабеж. Нет в мире клочка земли, с которого бы не изгоняли его «владельцев», каждый из которых с гордостью защищал его от очередных «грабителей», которые, захватив его, в свою очередь становились «патриотами»».

Толстой, «Патриотизм или мир», 1896: «Мне несколько раз уже приходилось писать о патриотизме, о полной несовместимости его с учением не только Христа, в его идеальном смысле, но и с самыми низшими требованиями нравственности христианского общества...» Твен, записные книжки: «Человек не может быть одновременно христианином и патриотом, разве что как обычно: на устах одно, в сердце другое. Дух и

закон христианства провозглашают братство и требуют от нас прощать брату «семьдесят по семь раз», то есть бесконечно. Но закон патриотизма требует не допускать, чтобы брат нарушал наши границы, и жестко реагировать каждый раз, когда он нанес нам какую-либо обиду. <...> Патриотизм ревнив и эгоистичен по своей природе, он естествен для человека, но не соответствует духу христианства».

Но и здесь два «Т» в конце концов разошлись. Толстой: «Патриотизм не может быть хороший. Отчего люди не говорят, что эгоизм может быть хороший, хотя это скорее можно бы было утверждать, потому что эгоизм есть естественное чувство, с которым человек рождается, патриотизм же чувство неестественное, искусственно привитое ему». «Если же патриотизм даже и не удержательный, то он восстановительный — патриотизм покоренных, угнетенных народов... И этот патриотизм едва ли не самый худший, потому что самый озлобленный и требующий наибольшего насилия». А вот Твен после китайских и филиппинских событий стал считать, что существует хороший патриотизм и что Жанна д'Арк, Вашингтон, Линкольн, Грант, а также Агинальдо и ихэтуани — правильные патриоты.

В марте 1901 года Агинальдо взял в плен генерал Федерик Фанстон, «ястреб», фанатик, говоривший, что американцев, которые против войны с «дикарями», надо линчевать. Потом стало известно, что он заманил Агинальдо в ловушку при помощи других филиппинцев, которым тот не нравился. Твен в мае 1902 года опубликовал в «Норз америкэн» статью «В защиту генерала Фанстона» («Defense of General Funston»), в которой разоблачал генерала и превозносил Агинальдо. На самом деле, правда, Агинальдо начал деятельность на посту президента Филиппинской республики с того, что казнил своего более популярного соратника Бонифасио, а потом своего лучшего генерала Луну; взятый в плен, он призвал филиппинцев сдаваться, за что был объявлен предателем, провел в американской тюрьме несколько месяцев, принес присягу США (Твен обо всем этом умолчал), во время Второй мировой войны выступал в защиту гитлеровской коалиции, американцы его опять арестовали и опять отпустили. Он на 18 лет пережил объявление о независимости Филиппин в 1946 году.

7 сентября 1901 года был подписан протокол, закреплявший полуколониальное положение Китая. Победители требовали контрибуций и выставили унижительные условия. Китаю предписывалось уничтожить ряд укреплений, содействовать развитию иностранной торговли, впустить иностранные войска, наказать сановников, участвовавших в войне, казнить

лидеров ихэтуаней и реабилитировать тех, кого казнили они; запрещалось покупать оружие и самостоятельно собирать налоги. Хороших итогов для любимой родины добились ихэтуани — даже если допустить, что «хотели как лучше». (Так что же: любое национально-освободительное движение приводит к результату, обратному ожидаемому? Любое — нет; даже, может быть, не каждое движение изоляционистского толка; но ставящее целью повернуть время вспять — да.)

Гуансюй, которого считают основоположником китайской модернизации, продолжал жить под домашним арестом, а другие государства продолжали делать вид, что он — император. Цыси попыталась проводить начатые им реформы, но непоследовательно; в 1908 году оба умерли (по одной из версий, тетка перед смертью отравила племянника); в 1911-м династия Цин была низложена Синьхайской революцией. Спустя годы Китай таки выгнал проклятых иностранцев, стал могущественным государством, уничтожил значительную часть собственного населения, потом впустил некоторое количество проклятых иностранцев обратно, превратился в «мировую фабрику», стал еще более могущественным, но по-прежнему не особенно заботился о своих гражданах, занимая последние места в мире по производству продовольствия на душу населения.

У Твена никаких соображений по поводу того, что должны кушать китайские крестьяне, не было: «Китай для китайцев», раз их патриоты так хотят, и всё будет хорошо. Никакие миссионеры и «прогрессоры» не имеют права вмешиваться. «Будем ли мы по-прежнему осчастливливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме, или дадим этим несчастным передохнуть?» Эту идею разделяют сейчас как националисты, так и многие либералы: пусть народы живут, как им нравится (или как нравится тем, кто ими правит — со стороны ведь не разберешься...) Как современные правозащитники, Твен осуждал миссионеров за насаждение чуждых традиций — народы имеют право на свои традиции. Были, правда, в Китае XIX века довольно странные традиции — например, затягивать девочкам ноги в лубки, чтобы не росли, плоть гнила, пальцы атрофировались. Миссионеры положили немало сил на борьбу с этой традицией, в 1902-м Цыси под давлением проклятых иностранцев опубликовала указ о запрете бинтования ног (фактически оно прекратилось лишь с приходом к власти коммунистов в 1949 году). Почему бы не включить изуродованных детей в «грандиозную процессию»? Но здоровье китайских девочек Твена не интересовало. Другая традиция — сатизм, ритуальное самоубийство вдов, — но ведь вдове лучше умереть, чем жить без мужа... В Китае

действовал свод законов, принятый еще в X–XI веках, в соответствии с которым, в частности, жена или наложница побивались палками за неповиновение мужу. Когда-то Твен писал, что положение женщины является единственным критерием нормального государства. Ну, забыл... Так в чем Добро — в том, чтобы предоставить желающим свободу применять пытки и практиковать канибализм, — или в том, чтобы силой прекратить эти традиции? Чем дальше, тем неразрешимее для либерала эта дилемма.

Туичеллу, 29 января: «Вы полагаете, будто мною движет высокий патриотизм, будто я в отчаянии от того, что наш президент по уши увяз в грязной истории с Филиппинами, и меня мучит, что наша великая и невежественная страна, которая понятия не имеет о сути филиппинского конфликта, так низко пала в глазах всего мира и выставила себя на посмеище... Вы глубоко заблуждаетесь! Мне нет дела до других. Я в тревоге и отчаянии потому, что из-за этой истории сам чувствую себя замаранным».

...Собственная совесть, оказывается, его беспокоила — каков чистоплюй! Поклонники «твердой руки» — левые и правые — сходятся в неприязни к таким правозащитникам: родной стране они не прощают ни одной мелочи, а самую ужасную гнусность чужаков оправдывают. Особенно изумляются наши: как эти люди, живущие хотя бы и в относительном, но раю, могут бранить его, тем способствуя торжеству мирового зла, своим потворством дикарям они вот-вот погубят цивилизованный мир; они уже убили бедную Европу и сделали слабой несчастную Америку. Но вот странность: государства, где эти злодеи живут на свободе и болтают что вздумается, процветают, а те, где им не дают голоса, рано или поздно разваливаются. Пусть диссидент, терзаемый совестью, сколь угодно хвалит чужаков: он — продукт не для внешнего потребления, а для внутреннего, полезный микроб, без которого организм гниет; ругая родину, он заставляет ее обратить внимание на малейшую болячку, а противник пусть пухнет от самодовольства и не замечает у себя гангрены: здоров не тот, кто хвалится здоровьем, а тот, кто за ним следит.

«Гражданин, который видит, что политические одежды его страны износились, и в то же время молчит, не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, — изменник. Его не может извинить даже то, что он, быть может, единственный во всей стране видит изношенность ее одежд». Твен справедливо поносил Америку и ошибочно восхвалял Агинальдо — Америка от этого выиграла, Агинальдо проиграл. Лишь тот силен, кто знает свои слабые места: все эти европейские и

американские слабаки живут и будут жить потому, что у них были и есть зловредные диссиденты, а у других, сильных (но мертвых), их не было.

Жена называла его «петухом-задирой», но была довольна: бодр, вышел из депрессии. Тоска по Сюзи не прошла — в марте родители вновь пытались связаться с дочерью на спиритическом сеансе, — но предаваться ей было некогда. «Я отклонил вчера 7 приглашений на банкеты, — писал Твен знакомому, — это дневная норма, и ответил на 29 писем». Он клялся, что в 1901-м не будет публично выступать, но произносил речи всюду: на конгрессе остеопатов, на праздновании дня рождения Линкольна, на заседании «Городского клуба», где обсуждались муниципальные реформы (Нью-Йорком по-прежнему управляла коррумпированная «банда Таммани»). В феврале, когда еще бушевали страсти вокруг «Сидящего в темноте», он начал писать очередной текст, разоблачающий Мэри Эдди: «Тайная история всемирной империи Эддипус» («The Secret History of Eddypus, the World-Empire»), предсказывая, что «христианская наука» станет «самым бесстыдным, самым неразборчивым в средствах политически-религиозным тираном, какого только знало человечество с благословенных лет цивилизации».

Он немного притих с наступлением лета, когда семейство уехало в курортное местечко Эмперсенд на озере Саранак, близ канадской границы: уединенный дом, тишина, катались на лодке, не читали газет. Туичеллу: «С трех сторон нас обступает лесная чаща, никаких соседей у нас нет. Кругом маленькие, красивые, наглые белки. В пять часов они пьют чай (без приглашения) за столом в лесу, где Джин перепечатывает мои рукописи, и одна до того расхрабрилась, что уселась завтракать к Джин на колени, подняв торчком пушистый хвост. В семь они являются обедать (без приглашения). Все они носят одно имя — Бленнерхаст, в честь друга Барра<sup>[42]</sup>, но отзываются на него, только когда голодны». Знакомому, Э. Диммиту: «Жизнь следовало бы начинать стариком, обладая всеми преимуществами старости — положением, опытом, богатством, — и кончать ее юношей, который может всем этим так блистательно насладиться. <...> Я приближаюсь к порогу старости; в 1977 году мне стукнет 142. Довольно порхать по белу свету. Пора мне расстаться с непоседливой юностью и усвоить достоинство, солидность и медлительность, подобающие почтенной дряхлости, ибо она приближается и ее, как уже сказано, не миновать».

Обстановка идиллическая — и работа безобидная: «Детектив с двойным прицелом» («The Double-Barrelled Detective Story»; опубликован в

«Харперс» в 1902 году), пародия на Шерлока Холмса с издевательством над читателями: «Высоко в ясной синеве один-единственный эузофагус застыл на неподвижных крылах». Автора засыпали вопросами — что такое эузофагус? А вы как думаете?

Роджерс купил «Канаху», самую быстроходную паровую яхту в Америке, и в августе пригласил друга в круиз по Новой Шотландии (провинция Канады) — без жен; компанию составили Томас Рид, политик-республиканец, врач семьи Клеменс Райе и еще несколько мужчин. Твен забыл, что такое каникулы в мужском обществе, — теперь смог «оторваться». Резались в карты, развлекали население городков, в которых останавливались, вели себя как мальчишки: у Твена пропал зонтик в 97 центов, он обвинил Рида в краже, об этом две недели трубили газеты, было дано объявление о невозполнимой потере, по окончании круиза в нью-йоркскую квартиру Райса народ натащил 1117 зонтиков, о чем также сообщала пресса. Туичеллу: «Прекрасно провели время. Поймали миссионера и утопили его»; «Жарили омаров и миссионеров». Тому же Туичеллу начал писать о миссионерах всерьез, но сам себя оборвал — начинал злиться, а злиться не хотелось, уж очень жизнь хороша. И все же разозлиться пришлось.

В Пирс-Сити, штат Миссури, была убита белая девушка. «Народ» линчевал трех негров. Твен прочел об этом в газете, откликнулся памфлетом «Соединенные Линчующие Штаты» («The United States of Lyncherdom»), повторив мысль о том, что на погромы толкает не жестокость, а «самая распространенная человеческая слабость: страх, как бы тебя не стали сторониться и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все». «Имя этому — Моральная Трусость, и она является доминирующей чертой характера у 9999 человек из каждой десяти тысяч. <...> История настойчиво и не без ехидства напоминает нам, что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения зачинались одним храбрецом из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя, под влиянием этого человека и его единомышленников из других десятков тысяч, присоединялись к движению». Статья предназначалась для «Норз америкэн», но автор раздумал ее публиковать. Вряд ли это было проявлением Моральной Трусости — линчевание осуждали почти все. Он хотел писать о судах Линча книгу — возможно, решил приберечь материал.

6 сентября анархист Леон Чолгош выстрелил в президента Мак-Кинли. Тот умер 14 сентября, убийца был казнен 29 октября на электрическом стуле. Его последние слова: «Я убил президента, потому что

он был врагом хороших трудящихся людей». Твен терпеть не мог Мак-Кинли, русских призывал убивать своих царей, но у себя дома находил это абсолютно неприемлемым, Чолгоша в письме Туичеллу назвал «придурком», писал, впрочем, что любой человек порой впадает в безумие и хочет кого-нибудь убить (он сам когда-то хотел), но, к счастью, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Безумие подогревают журналисты: рассказывают об убийцах, вызывая у читателей ответную ненависть и предложения вроде публичных казней на площади. Как с этим бороться? «Завязать рот каждому свидетелю, засадить его пожизненно в одиночку, закрыть все газеты, прикончить всех журналистов и уничтожить это замечательное творение Божие — Человека». Президентом стал вице-президент Теодор Рузвельт, охотник, спортсмен, настоящий мужчина, демагог и популист, враг олигархов (не всех), убежденный, что любая проблема решается силовым методом. Твен был с ним знаком, говорил, что в частной жизни это милейший человек, но «самый худший президент из всех, кого мы имели, и он также самый любимый из президентов и наиболее отвечающий нашим запросам».

Клеменсы съездили в Эльмиру, 1 октября вернулись в НьюЙорк, сняли другой особняк, более комфортабельный, в Ривердейле на берегу Гудзона. Оливия вновь предлагала жить в Хартфорде, но муж отказался наотрез, дом выставили на продажу. В Ривердейле ежедневно принимали гостей: перебравшегося в НьюЙорк Хоуэлса, Райса, подружились с соседом, преподобным Карстенсеном; приезжал Туичелл, Твен водил его к Роджерсу на «Канаху», «Сан» посвятила этому целый разворот — как пришли, как сели, что пили. 20 октября Йельский университет присвоил Хоуэлсу и Твену почетные степени докторов литературы, Твен писал, что это для него особенно ценно, ибо руководство университета не разделяет его политических взглядов.

Но политика — мелочь; есть зло более страшное. Предположительно к концу 1901 года относятся не публиковавшиеся при жизни «Мысли о Боге» («Thoughts of God»), где жестокость Создателя и наша глупость доказываются на примере мухи. Противное существо кусает детей, разносит болезни, причиняет страдания раненым, истязает домашний скот; мы уничтожаем мух, но возносим хвалы Господу, который сотворил мир, а значит, и их, хотя если бы муху придумал какой-нибудь человек, мы бы его линчевали. Бог не делает ошибок: раз он создал эту тварь, значит, хотел, чтобы она вела себя именно так; он изобретателен по части пыток и гадостей для своих «детей»: «Мы много слышим о Его милосердии, но не видим ни одного примера проявления этого милосердия. <...> Чтобы

уподобиться Ему, человеку следует быть жестоким и безразличным к чужим страданиям».

Осенью Твен также возобновил работу над эссе «Что такое человек» и написал «Обновленный Боевой гимн республики» («The Battle Hymn of the Republic, Updated»), пародию на «Боевой гимн республики», патриотическую песню, переделанную Джулией Хоув из солдатской песни «Тело Джона Брауна» и включаемую в сборники христианских гимнов. Рефрен «Наш Господь идет» Твен оставил, но изменил куплеты. Хоув: «Как умер Христос, чтобы сделать людей святыми, так умрем мы, чтобы сделать людей свободными». Твен: «Как умер Христос, чтобы сделать людей святыми, так пусть люди умирают, чтобы сделать нас богатыми».

Предстояли выборы мэра Нью-Йорка: от «банды Таммани» — Эдвард Шеппард, от объединенной оппозиции — Сет Лоу, президент Колумбийского университета, разработавший систему реформ. «Банда» всех замучила: коррупция, основное занятие чиновников — «откаты», полиции — «крышевание». Твен вступил в клуб «Желуди», где обсуждались муниципальные реформы, опубликовал в журнале «Экономист» памфлет «Эдмунд Берк о Крокере и Таммани» («Edmund Burke on Croker and Tammany»); Берк — британский общественный деятель, выступавший в поддержку американской войны за независимость, Крокер — глава «банды Таммани»), 17 октября в «Уолдорф-Астории» произнес речь, обличающую Таммани. 30-го вновь выступал вместе с Лоу — зеваки осаждали здание и пытались лезть в окна, 7 ноября участвовал в демонстрации на Бродвее. Лоу победил. Он был первым беспартийным мэром, при выдвижении которого объединились разные политические силы. У Твена победа вызвала энтузиазм, и он предложил схему для всех уровней выборов: «третью партию», у которой нет политических целей, единственная цель — добиться, чтобы противоборствующие стороны выдвигали людей «с безупречными деяниями», и отдавать голоса лишь таким. «От шерифа до президента нет такой должности, на которую две огромные партии не могли бы предложить честного, порядочного и умного человека». На самом деле Твен был вовсе не такого плохого мнения о «стаде ослов», даже слишком хорошего.

ЛТоу снизил налоги, произвел массу реформ, чистку в полиции, но пробыл мэром лишь два года, уступив кандидату от «Таммани». («Банда» правила до 1932 года и прекратила существование лишь в 1960-х годах.)

В последний день уходящего года на обеде в «Актерах» Твен познакомился со своим будущим биографом. Альберт Биглоу Пейн родился в 1861 году, в 1895-м поселился в Нью-Йорке, работал редактором журнала



«Святой Николай», публиковался в «Харперс уикли», издал несколько детских книг и один роман. Из воспоминаний Пейна: «Поднявшись по лестнице, я увидел его, сидевшего на кушетке в гостиной и разговаривавшего с кем-то, кого я не запомнил. Я видел только корону белоснежных волос, знакомый всем профиль и слышал его медленную, ленивую, взвешенную речь. Меня удивило, что он выглядел старым. На фотографиях он был совсем другой. Я не знал тогда, что это было просто временное состояние из-за нездоровья. Не знаю, сколько я простоял, таращась на него. Он был моим кумиром с детства...» Знакомство пока было шапочным — Пейн и мечтать не мог, что будет проводить часы бок о бок с кумиром.

На Новый год у Клеменсов гостила писательница Мария Ван Ворст; потом Твен отправил ей письмо, текст которого не сохранился, но, видимо, в нем высказывалось что-то крайне нелестное о «стаде ослов» или отдельных «ослах» и это было доведено до Оливии. В отчаянии та написала мужу (они переписывались, когда он уезжал на пару дней, могли переписываться и находясь в одном доме): «Я совершенно несчастна сегодня из-за Вашего настроения, настроя Вашего ума — почему Вы не позволяете проявиться лучшей стороне Вашего творчества? Ваше нынешнее отношение приносит больше вреда, чем пользы. Вы заходите слишком далеко в своих высказываниях, и если продолжите писать в том же духе, как это письмо, люди забудут, по какому поводу оно написано, и будут помнить только полную ненависти и злобы манеру. Дорогой, перемените свое настроение, попытайтесь переменить. Вы же не хотите неприятностей. <...> Где то настроение, в котором Вы писали «Принца», «Жанну», «Янки» и многое другое? Верните его! Вы сможете, если захотите. Будьте таким, какого я знаю, — милым, нежным. Зачем показывать миру все плохое? Неужели миру поможет, если постоянно об этом говорить? В мире есть много благородных и великих дел. Почему бы Вам иногда не признать это? Вы всегда сосредоточены на злом, твердите о нем, пока не разрушите тех, кто живет рядом с Вами, Вы кажетесь почти маньяком. О, я так люблю Вас и так хочу, чтобы Вы прислушались к моим словам».

Не расстраивать жену было важнее, чем обличать человечество и Бога — тоже Моральная Трусость, но основанная на любви. В 1902 году Твен опубликовал из «политического» только «В защиту генерала Фанстона», «богохульное» и «человекохульное» не печатал и жене не показывал. Оливия, однако, ошибалась, думая, что за желчные статьи общество возненавидит ее мужа. Люди, высказывающие циничным языком жестокие

истины, нередко бывают бонвиванами и всеобщими любимцами: Твена по-прежнему воспринимали как душку, весельчака, он очаровывал всех встречаемых священников, за исключением Аменты и рабби Леви. Когда он откладывал перо, то был жизнерадостен и энергичен. Денег куры не клевали — надо их куда-нибудь спустить. Знакомый брокер предложил акции компании «Американские механические кассовые аппараты», Твен вложил 16 тысяч, но вышло как с машиной Пейджа — победил конкурент. Другие 16 тысяч были инвестированы в производство дамских шляпных булавок: весь дом Клеменсов был в булавках, гости покалечены, но вложение принесло лишь небольшой доход. Сеймур Итон основал фирму «Книголюбы» — сеть платных библиотек с доставкой книг на дом, Твен приобрел акций фирмы на десять тысяч, дивиденды почти окупили затраты, и то хорошо.

Пока Твен занимался финансовой самостоятельностью, Роджерс продолжал увеличивать его благосостояние: акции «Юнайтед стейтс стил» приносили 27 процентов годовых, железнодорожной компании «Юнион пасифик» — 30 процентов; Твен захотел вложиться в строительство железной дороги в Мексику, Роджерс отсоветовал. Он складывал в портфель друга только «голубые фишки»: «Стандард ойл», «Бруклинская газовая компания», меднодобывающая «Анаконда коппер майнинг», транспортная «Интернешнл навигейшн», металлургическая «Америкэн смелтинг», «Сгущенное молоко Бордена». Сгущенку американцы обожали, и Твену она ежегодно приносила кучу денег. Но это было неправильное молоко, Сэмюэл Клеменс научит родину пить правильное, англичане-то пьют (акции британской фирмы по производству плазмона приносили шесть тысяч в год). Совместно с предпринимателем Генри Баттерсом Твен основал фирму «Америкэн плазмон компани», вложил в нее 25 тысяч. Упрямые американцы не желали пить беловатую водичку, дохода фирма не приносила. Ничего, это временные трудности.

В конце января Клеменсы ездили в Эльмиру, в феврале в нью-йоркском Карнеги-холле состоялась премьера пьесы «Смертельный диск», Твен прекратил публичные выступления, соглашался говорить только на неформальных пирушках, посетил обед в честь выпускников Йельского университета, ничего ужасного там не сказал. В конце февраля гостил в Хартфорде у Туичелла, вели теологические диспуты, в основном на тему ответственности человека за «грехи», Твен продолжал доказывать, что мы — «машины» и, кто бы нас ни создал, среда или Бог, винить и хвалить нас не за что; сам винил и хвалил, но таким уж был создан... Писал тексты «в стол»: «Если бы я был там» («If I Could Be There»): Богу смешна мысль о

том, что человека следует наказывать за какой-то грех, совершенный Адамом и Евой «одиннадцать миллионов лет тому назад», человек для Бога что микроб для человека — незначительная пылинка. Как человек, уничтожая микробы, если они ему мешают, не гневается на них и не придумывает для них изощренных пыток, так и Бог относится к людям: «Очевидно, человек — вполне разумное существо и не забивает себе голову скучной ерундой. Почему же он оскорбляет Меня, воображая, что Я буду забивать свою голову его пустяковыми делами?» Бог объясняет, что человек совершенно напрасно вообразил, будто мир создан для него, — у микроба ровно столько же оснований считать себя венцом творения хотя бы уже потому, что микробов намного больше, чем людей. «Джунгли о человеке» («The Jungle Discusses Man»): лишь такие тупицы, как мы, можем думать, что все живое и неживое кто-то создал нам в угоду, а ведь многие видят в нас — еду, за которую благодарят Создателя; на ту же тему — «Свод молитв» («The Synod of Praise»). О микробах давно хотелось написать роман, но пока получился только набросок «Жертвы» («The Victims»): малютка Джонни Микроб и малютка Питер Сибирская Язва нежно любимы своими мамами и учатся восхвалять Господа за огромный мир, созданный для их удобства и питания.

«Создать человека — была славная и оригинальная мысль. Но создавать после этого овцу — значило повторяться». Последовательность никогда не входила в число твеновских добродетелей: он утверждал, что «овцы» и «ослы» не способны создать ничего нового, но ежечасно с детским воодушевлением ждал этого нового. Биолог Жак Лёб занимался опытами по искусственному партеногенезу: при воздействии неорганических веществ на неоплодотворенные яйца самки морского ежа получал эмбрионы. Ежи были только началом: Лёб предполагал, что таким методом можно сотворить и человеческий эмбрион. Эксперимент вызвал громадный шум, газеты писали о непорочном зачатии, которое, оказывается, под силу не только Богу, и о возможном производстве людей в промышленных масштабах, коллеги Лёба высказывались скептически. Твен написал статью «Невероятное открытие доктора Лёба» («Doctor Loeb's Incredible Discovery»): во все века «стадо» глумилось над открытиями и изобретениями и было посрамлено. Но печатать почему-то не стал.

Опубликовал он весной 1902 года лишь эссе в «Норз америкэн» — «Любит ли человечество господ?» («Does the Race of Man Love a Lord?»). Американцы презирают англичан за преклонение перед знатью, а сами так же раболепствуют перед богатыми, знаменитыми и стоящими выше на общественной лестнице, и эти вышестоящие возмущаются, когда им не

оказывают почестей. У Твена была особенность, отличавшая его от большинства обличителей: он говорил не «вы все дураки», а «мы все дураки»; он такой же, как другие «ослы»: переполнялся самодовольством, когда в Вене полицейский кричал, чтобы толпа расступилась, давая дорогу «герру Марку Твену», и был весьма уязвлен, когда кто-то поинтересовался: «Кто такой этот Марк Твен, черт его дерит?»

Возможно, в тот период он еще написал игривое эссе «The Mammoth Cod» (*cod* — стручок, на сленге — «пенис»): самцы человека — единственные млекопитающие, озабоченные величиной своих органов и похваляющиеся ими друг перед другом. В 1976 году Гершон Ленгман издал юмореску как твеновскую, но многие твеноведы считают, что ему приписали чужой текст. Все может быть: в 1902-м он был более легкомыслен и менее страстен, чем в предыдущем. В марте с француженкой Элен Пикар, собирательницей автографов, основал клуб «Джаггернаут» — общество по переписке, где он был единственным мужчиной; восторженные письма от молодых женщин очень его развлекали. С 13 марта по 9 апреля вновь плывал на «Канахе» в мужской компании — карты и веселье. Жена грустила: кажется, между супругами было в ту пору небольшое отчуждение. Пали цены на недвижимость, Роджерс советовал скорее избавиться от хартфордского дома и купить жилье в Нью-Йорке, Твен хотел того же, Оливия — не хотела. Ее сопротивление было сломлено — в апреле приобрели за 45 тысяч новенький дом с участком в 19 акров в районе Тарритаун на Гудзоне. Хандрили и дочери: Джин была угнетена из-за болезни, запиралась в комнате, когда мать просила ее участвовать в развлечениях, Клара рвалась в Европу; 22 апреля, выдержав скандал с родителями, она уехала в Париж — брать уроки вокала.

Миссурийский университет вслед за другими присвоил Твену почетную степень — доктора права. Побывать на родине хотелось. Оливия просилась сопровождать мужа, но получила отказ: слишком слаба здоровьем. 29 мая Твен отправился в дорогу, в Сент-Луисе встретил Биксби и других знакомых лоцманов, парадный обед, в тот же вечер отплыл в Ганнибал. Встречать вышел весь город. Старожилы нашли, что он стал копией своего дяди Джона Куэрлса: копна белоснежных кудрей, ястребиный нос, сухая язвительность. Обошел все школы, участвовал в церемонии выдачи аттестатов, выступал перед детьми — те, по воспоминаниям очевидцев, от хохота валились под парты, учителя смущенно чесали затылки, но сделать звезде замечание не смели. Фотографировался перед родным домом, посетил могилы родственников,

со старым другом Джоном Бриггсом прогулялся по «сойеровским» местам, на обеде в клубе «Лабинна» плакал в открытую. Навестил возлюбленных: Лауру Хокинс, Арселию Пенн-Фоукс — почтенные седые прабабушки. Баптистский пастор попросил выступить в церкви, на всякий случай предупредив паству, что это будет не проповедь. Но Твен начал речь словами: «Я — проповедник. Все мы проповедники. Если мы не проповедуем словами, то проповедуем делами. Слова погибают, газеты горят, люди умирают, но проповедь остается».

Из Ганнибала отправился в Колумбию — на поезде через соседние города и поселки, на станциях толпы, в населенных пунктах, где остановок по расписанию не было, люди выходили на рельсы, и машинисту приходилось тормозить, звезда выходил из вагона, говорил коротенькие речи; в городке Париже встретились с другом детства Барни Фартингом. 3 июня в Колумбии состоялась церемония награждения, в тот же день студентам выдавали дипломы, Твен шел впереди процессии, одетый как студент Йеля, вечером на банкете его представляли как «первого писателя Америки и самого любимого гражданина». Обратно в Сент-Луис — там принимали Всемирную выставку, приехали гости из Франции — потомки маркиза де Лафайета и графа Рошамбо, участников Войны за независимость. Надо было выступить на праздновании в честь присоединения к США Луизианы и участвовать в крещении парохода, который переименовали в «Марк Твен». На пароход с Твеном поднялись губернатор, мэр, французские гости; рулевой передал ему штурвал. Сперва вел уверенно, через четверть часа заметил у берега рябь, сказал, что плохо видит: может, ветер, а может, и препятствие, отдал штурвал, потом сел рядом с графом Рошамбо и просидел полчаса в молчании — стеснялся своего французского. На банкете благодарил земляков за то, что они ему «преподнесли последнюю розу долины Миссисипи», был грустен: все в последний раз, он, кажется, умирает...

7 июня, вернувшись домой, обнаружил жену и дочь совсем больными, написал в июльский номер «Харперс уикли» рассказ «Пять благ» («The Five Boons of Life»): волшебница предлагает юноше на выбор Известность, Любовь, Богатство, Удовольствие и Смерть; первые четыре блага в конце концов приносят разочарование, он молит о пятом, но ему отказано, и приходится мучительно стареть...

Нужна была смена обстановки. Сняли с 1 июля коттедж в заливе Йорк, штат Мэн, там отдыхали Хоуэлсы. Роджерс повез Клеменсов на «Канахе». У Джин случился приступ, затем второй, Твен сказал другу, что это убивает и в конце концов убьет Оливию. Но на берегу Джин стало лучше, и Оливии

тоже: она принимала гостей, участвовала в местных праздниках. Твен немного успокоился и сел работать. Юмореска для «Харперс уикли» «Потерянный русский паспорт» («The Belated Russian Passport»): иностранец, прибывший в Крым в 1867 году без документа, уверен, что его сошлют в Сибирь. Читал Метерлинка, написал по его мотивам сказку «Пчела» («The Bee»), не публиковавшуюся при жизни, о жестоких нравах улья: «Всю свою короткую жизнь — 4, 5 или 6 лет — Королева-Матка живет во тьме и величественном уединении королевских покоев, окруженная плебеями — прислужниками, дарящими ей словесную мишуру вместо любви, которой жаждет ее сердце. Они шпионят за ней в интересах ее наследниц, рассказывают им о ее недостатках и слабостях, льстят ей в глаза и клеветают за ее спиной, унижаются и заискивают пред нею в дни ее мощи и бросают ее, состарившуюся и ослабевшую». Возобновил работу над заброшенным романом «Кто из них?», обдумывал роман из доисторической жизни. Последний текст того лета — грустный: «Рай или ад?» («Was it Heaven? or Hell?»). Семья из четырех женщин, все искренни и правдивы, но мать и дочь заболели тифом, и тетки пускаются на ухищрения, чтобы скрыть от одной больной состояние другой. Ангел приходит к ним и за ложь выносит приговор... Какой? Рай или ад? Читатель должен угадать. Но в целом лето было неплохое, и Клара вот-вот приплывет домой: родители пригрозили, что, если она не вернется, они нагрянут в Европу сами.

## Глава 11

### Том Сойер и потерянный рай

12 августа 1904 года, в день, когда Клара вернулась в Америку, ее матери стало плохо. Утром она сказала мужу, что умирает, задыхалась, местный врач Ламберт диагностировал сердечный приступ. 18 августа — десять лет со дня смерти Сюзи; отец, как всегда в этот день, не мог есть, плакал, написал душераздирающую элегию: «Ох, я все вижу мою любимую: крошечное существо из самого хрупкого материала, синие башмачки не больше, чем уши нашей кошки, скачущее и ликующее... Ох, сквозь завесу времени я все вижу ее, мою богиню цветов... Я не ответил, когда ее губы в последний раз прошептали мое имя... Уносимая смертью, она молила меня о помощи, а в ответ — тишина!» 23 августа приступ удушья у Оливии повторился.

При тогдашнем состоянии медицины поставить диагноз было невозможно. Сейчас считают, что у Оливии Клеменс был гипертиреоз — увеличение в крови концентрации гормонов щитовидной железы. У нее были соответствующие симптомы: тахикардия, аритмия, тремор рук, утомляемость, одышка. Сейчас от этого помогают тиреостатические препараты, радиоiodотерапия или операция. Тогда ни о каком гипертиреозе не слыхивали. Ламберт созвал консилиум, в котором участвовал и остеопат Хелмер, решили, что у миссис Клеменс «сердечная болезнь» и «нервное истощение» — так называли тогда все подряд: гипотонию, сердечно-сосудистые заболевания, астму, анемию, неврозы. Лечение обычное — лежать, ничего не делать, не читать и, главное, не видеть мужа, чтобы «не волноваться». Ухаживать приехала Сьюзен Крейн, наняли трех медсестер, Твен по утрам вешал на деревья записки, прося птиц петь не слишком громко. В сентябре вроде бы стало лучше. Роджерс ежедневно держал «Канаху» под парами, чтобы тронуться в путь, как только врачи позволят. Но они сказали, что морем плыть нельзя. 16 октября Роджерс нанял специальный поезд до Нью-Йорка, ехали десять часов, машинист был предупрежден и старался, но больную растрясло и домой она прибыла совсем слабой.

Семь месяцев Оливия лежала взаперти. «Лечение» — изоляция от самого близкого человека — переносилось очень тяжело. Но в его правильности никто не сомневался. Доктор приходил к больной утром и вечером, сиделка и Клара могли видеть ее сколько угодно, Джин

(«ненормальную») не пускали вообще, мужу дозволялось зайти на две минуты в день, сиделка караулила, чтобы не задержался секундой дольше. Он подсовывал под дверь любовные письма, иногда не решался зайти даже на положенные 120 секунд. Кэти Лири вспоминала, как он стоял, прислушиваясь и дрожа всем телом, потом, оставив письмо, медленно уходил.

До женитьбы Сэмюэл Клеменс не имел своего дома, к ведению хозяйства не привык, и теперь, без участия жены, дом стал разваливаться. Некому было принять гостей, почта валялась неразобранной, за Джин никто не смотрел, Клара ссорилась с отцом, не сообщала, куда уходит, семейные обеды превратились в поминки. Кэти было достаточно хлопот с хозяйственными делами. Найти бы интеллигентную женщину, которая может исполнять обязанности секретаря и компаньонки, сходить в театр с Джин и Кларой, почитать вслух Оливии и разлить суп за столом. У соседей, Уитморов, проживала в качестве компаньонки 38-летняя незамужняя Изабел Лайон. Она приехала из Коннектикута, где жила с матерью (отец и брат ее умерли). Изабел не знала ни языков, ни стенографии, но имела неплохие манеры; служила гувернанткой, пока не познакомилась с Уитморами. Твен увидел ее, зайдя в гости: живая, обаятельная. Уитморам она была не особо нужна, и они охотно «уступили» ее Клеменсам. В первых числах ноября Изабел переехала, Твен писал Уитморам, что приятно видеть в доме, где все больны и мрачны, веселого и здорового человека. Вот только трудового договора, как с другими служащими, Клеменсы с Лайон не заключили: она жила на готовом и брала деньги «по необходимости». Это приведет к большим неприятностям.

От выступлений Твен отказывался, но 25 октября участвовал в церемонии утверждения Вудро Вильсона, будущего президента США, на должность президента Принстонского университета. Опубликовал мрачную юмореску «Исправленные некрологи» («Amended Obituaries»): просил газеты заранее прислать некрологи по случаю его смерти, чтобы он мог их отредактировать. Начал новую версию романа о Сатане — «№ 44, Таинственный незнакомец» («No. 44, The Mysterious Stranger»): за основу взял вариант, где действие происходит в Австрии в 1490 году, сюжет усложнил и добавил «производственную» линию — о типографском деле. Разуверился в «психическом лечении», дал в декабрьский номер «Норз америкэн» очередную статью о «христианской науке», собирал материалы для книги о ней. Предложил апологетам «науки» дискуссию, один из них, Уильям Маккрэкен, его обругал, потом встретились и стали приятелями. 27 ноября в клубе «Метрополитен» Джордж Харви, президент «Харперс»,



давал обед в честь 67-летия Твена, газеты печатали статьи, смахивающие на некрологи, называли «великим». Артур Брисбен: «Для целого поколения, даже больше, он был Мессией, несущим радость миллионам людей на всех континентах». Как понимать это «был»?

14 декабря «Рай или ад?» появился в рождественском номере «Харперс мэгэзин» — последовала лавина читательских писем, большинство голосовало за «рай», а 23-го Джин, которой и так было худо, заболела пневмонией. Накаркал... Клара и сиделки ежедневно лгали Оливии: Джин здорова, гуляет; когда мать спрашивала, почему она не слышит шагов младшей дочери, говорили, что та нарочно ступает тихонько, дабы не беспокоить больную. «Нам повезло, что у Клары была репутация правдивого человека. Мать никогда не подвергала сомнению слова Клары. Она могла сочинить какую угодно неправдоподобную историю, не возбуждая ничьего подозрения, тогда как меня ловили на самом безобидном и крошечном вранье», — вспоминал Твен.

Так прошла зима: стояние у закрытых дверей, ожидание сводок о здоровье. 2 февраля, на годовщину свадьбы, разрешили не две, а пять минут свидания — Твен писал об этом как о чудесном подарке. В марте Оливии стало лучше, ей позволили читать, она диктовала Изабел письма, свидания с мужем удлинити до пятнадцати минут, рассказали правду о пневмонии у Джин. Но обе дочери тут же слегли с корью, а отец — с бронхитом. Он был слишком слаб, чтобы писать, перечитывал Вальтера Скотта (ругался), прочел только что изданную книгу Элен Келлер «История моей жизни». У самого в апреле вышел сборник «Мой литературный дебют и другие истории». Люди не оставляли его в покое, репортеры слонялись вокруг дома, ловили и допрашивали слуг, просили пересказать, что хозяин думает, например, о вчерашнем дожде. Журналист Джозеф Холлистер предложил выдвинуть Твена на пост президента США, публика отнеслась к идее с энтузиазмом. «Святой Николай» объявил конкурс детских карикатур — девять из десяти были на Твена. Власти Ганнибалы решили учредить Общество Марка Твена, спросили позволения. Ответ: «Надеюсь, что никакому обществу не будет присвоено мое имя, покуда я жив, ибо рано или поздно я могу сделать что-нибудь такое, что заставит членов общества пожалеть о том, что они оказали мне эту честь».

Больной тех времен был обязан лежать бревном — а если уж встал, то колесить по свету в поисках идеального климата. Оливии рекомендовали Италию. Сомнений нет, надо ехать, хотя старшие Клеменсы были уверены, что никогда больше не увидят родину. В мае продали с огромным убытком хартфордский дом, выставили на продажу тарритаунский, вещи раздали

друзьям. Хотелось провести последнее лето со Сьюзен Крейн, и 1 июля «Канаха» доставила супругов в Эльмиру (дочери остались в Нью-Йорке с Изабел Лайон и Кэти Лири). Оливия оживилась, стала нормально есть, ее возили на прогулки в инвалидном кресле, но с мужем по-прежнему виделась по 15 минут в день — когда она гуляла, он не имел права попадаться ей на глаза. Приезжал Хоуэлс: «Однажды солнечным днем мы сидели на траве перед домом, когда его жена чувствовала себя достаточно хорошо, и смотрели на балкон, где вскоре появилась она, словно из облаков. Ее рука слабо помахала носовым платком; Клеменс перебежал лужайку, спрашивая нежно: «Что?

Что?» — как будто это могла быть какая-то просьба, тогда как она всего лишь поприветствовала меня. Это был последний раз, когда я видел ее, если можно сказать, что я ее видел. Много позже я сказал ему, как мы все ее любили, какой умной, какой совершенной считали; он выкрикнул сломавшимся голосом: «О, почему вы никогда не говорили это ей?! Она думала, что вы ее не любите!» Его глупость вызвала во мне больше любви к нему, чем вся его мудрость».

Летом Твен читал работы Альфреда Рассела Уоллеса, проповедовавшего геоцентрический и антропоцентрический взгляд на мироздание: Земля — единственная обитаемая планета, человек — «венец сознательной органической жизни», «единственный и наивысший продукт Вселенной». Откликнулся статьей «Был ли мир сотворен для человека?» («Was the World Made for Man?»): на первенство могут претендовать и птица, и микроб, и марсианин («Война миров» Уэллса вышла совсем недавно). Он всегда охотно писал о животных (в 2004 году Шелли Фишкин собрал книгу из шестидесяти шести твеновских фрагментов на эту тему); Джин попросила написать что-нибудь против вивисекции, и получился «Рассказ собаки» («A Dog's Tale»); опубликован в декабре 1903 года в «Харперс мэгэзин», потом выпущен отдельной книгой.

«Отец мой — сенбернар, мать — колли, а я — пресвитерианка, — рассказывает героиня. — Так, во всяком случае, объяснила мне мать, сама я в этих тонкостях не разбираюсь». Мать перед смертью наставляла дочь: «В момент опасности, которая грозит другому, не думай о себе, но вспомни свою мать и в память о ней поступи так, как поступила бы она». Героиня спасла хозяйского младенца от пожара и осталась калекой. Хозяин-ученый ею восхищался. «Некоторые говорили, что это поразительно, чтобы такой поступок могла совершить бессловесная тварь, что они не знают более блестящего примера проявления инстинкта. Но хозяин возражал им решительно и твердо:

— Это больше, чем инстинкт, — это разум. И многие, кто носит звание человека, получившего высокую привилегию на право входа в Царство Небесное, обладают меньшим разумом, чем это бедное глупое четвероногое, лишенное надежды на вечное спасение. — А потом он рассмеялся и добавил: — Нет, вы только полюбуйтесь на меня! Право, это совершенный парадокс. Нет, ей-богу, несмотря на весь мой великолепный интеллект, единственное, что пришло мне тогда в голову, это что собака взбесилась и сейчас растерзает ребенка, в то время как если бы не разум этого животного — я утверждаю, что это разум, — ребенок погиб бы!»

Потом у нее родился собственный ребенок — «гладкий и мягкий, как бархат, он так потешно ковылял на своих обворожительных неуклюжих лапках». «Я так гордилась им, когда видела, как обожают его моя госпожа и ее дети, как они ласкают его, как громко восхищаются каждым милым его движением». «Но вот однажды в доме снова собрались ученые, — на этот раз, чтобы проделать опыт, как они сказали. Они взяли моего малыша и унесли в лабораторию. Я проковыляла за ними на своих трех ногах. Я испытывала гордость: мне, конечно, было очень лестно, что моему ребенку оказывают внимание. Ученые все о чем-то спорили, все делали какие-то опыты, и вдруг мой малыш пронзительно завизжал, и они поставили его на пол. Он шагнул, спотыкаясь; вся его голова была залита кровью. Хозяин захлопал в ладоши и воскликнул:

— Ну что, убедились?! Я был прав! Нет, ей-богу, вы только посмотрите: конечно же, он совершенно слеп!

И все остальные сказали:

— Да, да, опыт подтвердил вашу теорию. Отныне страждущее человечество в превеликом долгу перед вами.

И все окружили хозяина, с чувством жали ему руку и восхваляли его.

Но все это я видела и слышала лишь очень смутно. Я подбежала к моему дорогому малышу, прильнула к нему и стала слизывать с него кровь, а он прижался ко мне головкой и тихо скулил. Сердцем я понимала, что хотя он не видит, но чувствует меня, и ему не так страшно и не так больно, потому что рядом мать. А потом он упал, его бархатный носишко ткнулся в пол — да так мой малыш и остался лежать, больше он уже и не шелохнулся.

Тут мистер Грэй прервал разговор, вызвал лакея и приказал:

— Закопайте его где-нибудь в дальнем углу сада.

И снова вернулся к беседе. А я, хромя, побежала вслед за лакеем. Я была очень довольна и благодарна, — я видела, что моему ребенку уже не больно, потому что он заснул».

Твеновская Собака ничем не отличается от Евы — это мать. «Вот уже две недели, как я не отхожу от ямки, но мой малыш все не показывается. Последние дни меня стал охватывать страх. Мне начинает казаться, что с моим ребенком что-то случилось. Я не знаю, что именно, но от страха я совсем больна. Я не могу есть, хотя слуги тащат мне самые лакомые куски и все утешают меня. Они даже ночью иногда приходят, плачут надо мной и приговаривают:

— Несчастливая собачка... Ну, забудь, успокойся, иди домой, не надрывай ты нам сердце...

Все это только еще больше пугает меня и убеждает в том, что произошло что-то ужасное. Я так ослабела, что со вчерашнего дня уже не держусь на ногах. С полчаса тому назад слуги взглянули на заходящее солнце — оно как раз в этот момент скрывалось и в воздухе потянуло ночной прохладой — и сказали что-то такое, что я не поняла, но от их слов в сердце мое проник леденящий холод:

— Бедняжки, они ничего не подозревают. Завтра утром вернутся и сразу спросят: «Где же наша собачка, где наша героиня?» И у кого из нас хватит духу сказать им правду: «Ваш преданный четвероногий друг ушел туда, куда уходят все погибающие бессловесные твари!»».

3 октября: «Сегодня я положил цветы на могилу Сюзи — в последний раз, наверно». 5 октября уехали в НьюЙорк, прожили несколько недель в отеле «Гросвенор», Твен подписал с «Харперс» новый, еще более выгодный (стараниями Роджерса) контракт, гарантировавший 250 тысяч годового дохода. «В 1895 году хиромант Хейро, поглядев на мою ладонь, сказал, что на шестьдесят восьмом году жизни я внезапно стану богатым. В это время я был банкротом и был должен своим кредиторам после краха фирмы «Чарлз Уэбстер и К°» 94 000 долларов. Двумя годами позднее Хейро повторил свое предсказание и снова добавил, что богатство придет ко мне неожиданно. Я суеверен. Я запомнил его предсказание и нередко о нем раздумывал. Когда оно наконец сбылось 22 октября 1903 года, до назначенного срока оставался месяц и девять дней».

Попрощавшись с друзьями (думая, что навек), Клеменсы 24 октября отплыли в Неаполь, с собой взяли Кэти, Изабел и сиделку. В этот день Киплинг написал издателю Даблдэю: «Мне приятно размышлять о великом и богоподобном Клеменсе. Он самый великий человек, какой существовал по вашу сторону океана, и никогда этого не забывают». В тот же день Твен отослал Даблдэю аналогичное письмо о Киплинге — и убедился, что телепатия существует. На пароходе Оливия чувствовала себя на удивление хорошо — возможно, потому, что требование не видеть мужа и младшую

дочь не соблюдалось. Джин впервые за полгода подошла к матери, и ей тоже стало лучше. Твен оживился, в дорожных заметках мрачное мешал со смешным: «Вряд ли найдется разумный человек, достигший шестидесяти пяти лет, который согласился бы прожить свою жизнь снова». «Если бы человека создал человек, он устыдился бы плодов своего труда». «Видел забавный сон, будто наша прежняя кухарка пришла и сказала: «Графиня укусила бешеного осла, и он околел»». 5 ноября из Неаполя отправились во Флоренцию, где профессор Фиске обещал снять уютную виллу, но что-то не срослось, пришлось нанять другую, принадлежавшую графине Массилья «Виллу ди Кварто».

Лечил больную профессор Грокко, кроме него допускались к ней сиделка, Клара, Кэти и сосед, католический священник Рафаэлло Стяттизи, моментально, как все служители Божьи, влюбившийся в Твена. Джин не пускали. Мужа — на пять минут перед сном. Он этого больше не мог выносить. Кэти Лири: «Он часто нарушал это правило и прокрадывался к ней в течение дня, чтобы только взглянуть на нее. Она сразу обвивала руками его шею, и он нежно обнимал ее и целовал... Это была любовь, большая, чем земная, — это была небесная любовь». Переписывались: «Мальчуган, мой самый драгоценный, любимый, я чувствую себя так ужасно одинокой. Не могли бы Вы работать в комнате рядом с моей спальней? Тогда я могла бы слышать, как Вы прокашливаетесь, и это была бы такая радость — чувствовать Ваше присутствие. Я тоскую без Вас ужасно, ужасно. Ваша утренняя записка поддерживает меня весь день, вечер и ночь... С глубочайшей любовью, Ваша Ливи». Но ему не позволили работать в соседней комнате: больной вредно.

Хваленый климат обманул: зима была сырая. Вилла роскошная, но неудобная. Владелица отвела больной самую темную и холодную комнату и не разрешала занять другую, ежедневно приходила, во все вмешивалась; по мнению Изабел Лайон, она хотела использовать Твена для поднятия собственного престижа в обществе, требовала посещать с ней светские рауты, он отказался, началась вульгарнейшая коммунальная война с отключением воды и отопления. Стали искать другой дом, но тут Оливия заболела ангиной, задыхалась, не могла лежать, круглосуточно сидела в кровати и не спала, лечили ее кислородными подушками и бренди, у Твена обострился ревматизм. Нужно было бежать из Флоренции, но врач уверял, что все идет как надо. Твен не смел сомневаться. И правда, временами он был здесь почти счастлив. Туичеллу, 7 января 1904 года: «Здесьняя тишина и уединение, прозрачный чистый воздух, и чудесный вид Флоренции, и

красавица долина в раме снежных гор — что может быть лучше для работы. <...> На нашем третьем этаже из Клариной комнаты вид всех красивее; окно в десять футов вышиной, и Клара его держит все время настежь, как раму для этой красоты. Я захожу к ней по нескольку раз в день и в обмен на какое-нибудь лакомство покупаю право полюбоваться видом. <...> У Ливи бессонница, ангина, но она бодрится, хочет ехать осенью в Египет. Да, Джо, она поразительная женщина. Этот приступ ревматизма совсем выбил меня из колеи, так что я непрерывно ругался и проклинал все на свете, — но он только укрепил ее терпение и несокрушимую силу духа. Вот в чем разница между нами. Не сосчитать, сколько всяческих недугов напало на нее за эти чудовищные полтора года, и я о каждом думаю с ненавистью, — а вот она после каждой болезни вновь весела, полна жизни и энергии как ни в чем не бывало, и опять строит планы путешествия в Египет, и вера и бодрость никогда ей не изменяют, так что я только диву даюсь, на нее глядя».

Он писал для «Харперс» путевые очерки, повесть «Наследство в тридцать тысяч долларов» («The \$30,000 Bequest») — о молодой чете, которая разрушает свою жизнь мечтами о богатстве. В середине января, когда состояние жены улучшилось, начал диктовать Изабел воспоминания. «За последние десять лет я пытался подобраться к автобиографии то тем, то другим способом, но без результата; все, что я сочинял, было слишком «литературой». Стоит взять в руки перо, и рассказ становится тяжелой обузой. А он должен течь, как течет ручей среди холмов и кудрявых рощ». И вот он наконец открыл правильный способ создания автобиографии: «Не выбирай, чтобы начать ее, какое-либо определенное время своей жизни; броди по жизни как вздумается; веди рассказ только о том, что интересует тебя сейчас, в эту минуту; прерывай рассказ, как только интерес к нему начинает слабеть, и берись за новую, более интересную тему, которая пришла тебе только что в голову. И еще: пусть этот рассказ будет одновременно автобиографией и дневником. Тогда ты сумеешь столкнуть живой сегодняшний день с воспоминанием о чем-то, что было похоже, но случилось в далеком прошлом; в этих контрастах скрыто неповторимое очарование». Так и диктовал: описание виллы, воспоминания о разных знакомых, — но больше всего о противной графине Массилья, Хоуэлсу писал, что это «ленивое и приятное занятие».

Он предупредил, что публиковать автобиографию при жизни не будет: «Я предпочитаю вести разговор после смерти по весьма серьезной причине: держа речь из могилы, я могу быть до конца откровенен. Человек берется за книгу, в которой намерен рассказать о личной стороне своей

жизни, но одна только мысль, что эту книгу будут читать, пока он живет на земле, замкнет человеку уста и помешает быть искренним, до конца откровенным». Хоуэлс (бывший тогда в депрессии из-за своих проблем): «Вы всегда изумляли меня своей откровенностью, и я предполагаю, что Вы напишете о себе всю правду. Но какую? Черную правду, которую мы знаем в глубине наших сердец, или бело-серую правду, или белоснежную, очищенную? Даже Вы не сможете сказать всю правду. Человек, который сделал бы это, был бы знаменит во веки веков до конца света».

Полный текст автобиографии Твена стал доступен лишь в 2010 году, но всей «черной» правды там, конечно, нет. В частности, нет правды о проблемах с Кларой. Ей было 29 лет, она мечтала о браке с Габриловичем, а он, кажется, стал остывать. Отец высказывался, как можно понять из писем Клары к знакомым, против брака, хотя Габрилович ему нравился. Но он хотел, чтобы дочери навсегда оставались его девочками: Джин заставляли вести жизнь двенадцатилетнего ребенка, от Клары требовалось посвятить себя уходу за матерью. Ее это раздражало. Она выступала с концертами — отец ездил с ней; за покупками она должна была ходить с Изабел. Недавно стало известно ее письмо подруге, Доротее Гилдер (дочери редактора «Сенчюри» Ричарда Гилдера, друга Твена), от 5 февраля 1904 года: двумя днями ранее, то есть 3 февраля, ей все осточертело: «Я чем-то была раздражена и стала кричать и проклинать и швырять мебель... потом все, конечно, сбегались, и я сказала отцу, что ненавижу его, и ненавижу мать, и надеюсь, что они оба умрут, а если нет, так я их убью». Далее она пишет, что мать все слышала и у нее был сердечный приступ, но ей жаль не мать, а себя, потому что родители ее погубили, и что Доротея, конечно, тоже хочет убить своих родителей, все этого хотят. (Фрейдисты ликуют.) Из писем Твена следует, что приступ у Оливии был не 3-го, а 22 февраля и о скандале он никогда не упоминал. Но вряд ли он мог не замечать, что творится с Кларой.

Он основательно взялся за «№ 44». Начало — как в «Хрониках», те же отец Адольф и отец Питер, рассказчик — Август Фельднер, шестнадцатилетний типографский подмастерье; появился новый ученик типографа, чье имя — «Сорок четвертый». Дальше все как в других вариантах: новенький поражает умом и силой, творит чудеса, его обожают животные, он покровительствует слабым, дарует безумие несчастной женщине, чтобы та не страдала, работает лучше всех, за что другие печатники его невзлюбили. Его считают колдуном, приговаривают к сожжению, он сгорает, но возрождается и рассказывает Августу правду о своем небесном происхождении, демонстрирует ему людскую глупость,

объясняет, что человек — букашка, и т. д.

По характеру юный Сатана ближе к своему предшественнику из «Школьной горки», а не из «Хроник» — он добродушен. «Мне давно знаком род человеческий, и — поверь, я говорю от чистого сердца — он чаще вызывал у меня жалость, чем стыд за него». Он попал на Землю в поисках приключений — как Том Сойер в пещеру. «Там, откуда я родом, мы все наделены даром, от которого порой устаем. Мы предвидим все, что должно произойти, и, когда событие происходит, для нас оно уже не новость, понимаешь? Мы не способны удивляться. Там мы не можем отключить дар провидения, а здесь можем. Это одна из причин моих частых визитов на Землю. Я так люблю сюрпризы! Я еще юнец, и это естественно. Я люблю всякие действия — красочные зрелища, захватывающие драмы, люблю удивлять людей, пускать пыль в глаза, люблю яркие наряды, веселые проделки ничуть не меньше любого мальчишки. Каждый раз, когда я здесь и мне удастся заварить кашу, а впереди — возможность позабавиться, я отключаю свой провидческий дар и предаюсь веселью!»<sup>[43]</sup>

Твен добавил массу материала о типографском деле, ввел много персонажей, запутанные любовные интриги. Текст скомпонован слабее, чем в «Хрониках», сюжетные линии подвисают: так, отец Питер в первой главе добр, потом вдруг превращается в корыстного жулика, потом пропадает вовсе. Много места занимает астролог, которого Пейн отсюда вытащил и включил в свою редакцию «Хроник», — персонаж совершенно бессмысленный. Пожалуй, вариант Пейна «читабельнее» и логичнее. Но в романе «№ 44» автор сделал акцент совсем на другие вещи. Юный Сатана почти не занимается обличениями человечества. Он говорит о том, что больше и выше человечества.

Продолжая полемизировать с Уоллесом, Твен устами Сатаны рассказал «о мирах, совершенно несхожих с Землей, об условиях, несхожих с земными, где всё вокруг жидкое и газообразное, а живые существа не имеют ног; о нашем солнце, где все чувствуют себя хорошо лишь в раскаленном добела состоянии; тамошним жителям бесполезно объяснять, что такое холод и тьма, — все равно не поймут; о невидимых с земли черных планетах, плывущих в вечной тьме, закованных в броню вечного льда; их обитатели безглазы — глаза им ни к чему, можно разбиться в лепешку, толкуя им про тепло и свет; о космическом пространстве — безбрежном воздушном океане, простирающемся бесконечно далеко, не имеющем ни начала, ни конца. Это — мрачная бездна, по которой можно лететь вечно со скоростью мысли, встречая после изнурительно долгого



пути радующие душу архипелаги солнц, мерцающие далеко впереди; они все растут и растут и вдруг взрываются ослепительным светом; миг — прорываешься сквозь него, и они уже позади — мерцающие архипелаги, исчезающие во тьме. Созвездия? Да, созвездия, и часть из них в нашей Солнечной системе, но бесконечный полет продолжается и через солнечные системы, неизвестные человеку».

Весь этот бесконечный и вечный мир — так объясняет Сорок Четвертый — создан из мысли. Но не человеческой («Ваш ум не может постичь ничего нового, оригинального, ему под силу лишь, собрав материал извне, придать ему новые формы»), а мысли высших существ. Для этой мысли, мысли «той сферы, что находится, так сказать, за пределами человеческой Солнечной системы», нет невозможного, такие грубые понятия, как пространство и время, ничего для нее не значат: «Прошлое всегда присутствует. Если я захочу, то могу вызвать к жизни истинное прошлое, а не представление о нем; и вот я уже в прошлом. То же самое с будущим — я могу вызвать его из грядущих веков, и вот оно у меня перед глазами — животрепещущее, реальное, а не фантазия, не образ, не плод воображения». Это написано задолго до Пруста — и до Эйнштейна.

«Прошлое», «будущее», «время», «пространство» — слова, придуманные людьми, жалкие понятия для выражения ограниченного опыта; они годятся лишь для нашей Будничной Сути (*Workaday Self*), но не имеют смысла для Сути Грез (*Dream-Self*). Первая, грубая, заключенная в материальное тело, обречена на тоскливое существование: «Плоть ее обременяет, лишает свободы; мешает ей и собственное бедное воображение». Вторая включается, когда спит первая: «У нее больше воображения, а потому ее радости и горести искреннее и сильнее, а приключения, соответственно, ярче и удивительнее». Обычно эти два наших «я» не пересекаются, но с помощью Сатаны герой может видеть своего двойника из мира грез и убедиться, что это существо по-своему реально и даже становится его соперником в сердце девушки.

Двойник рассказывает о своей жизни, вызывающей зависть: «Мы не знаем, что такое мораль, ангелам она неведома, мораль — для тех, кто нечист душой; у нас нет принципов, эти оковы — для людей. Мы любим красавиц, пригрезившихся нам, и забываем их на следующий день, чтобы влюбиться в других. Они тоже видения из грез — единственная реальность в мире. Позор? Нас он не волнует, мы не знаем, что это такое. Преступление? Мы совершаем их каждую ночь, пока вы спите: для нас такого понятия не существует. У нас нет личности, каждый из нас — совокупность личностей; мы честны в одном сне и бесчестны в другом, мы

храбро сражаемся в одной битве и бежим с поля боя в другой. Мы не носим цепей; они для нас нестерпимы; у нас нет дома, нет тюрьмы, мы жители вселенной; мы не знаем ни времени, ни пространства — мы живем, любим, трудимся, наслаждаемся жизнью; мы успеваем прожить пятьдесят лет за час, пока вы спите, похрапывая, восстанавливая свои распадающиеся ткани; не успеете вы моргнуть, как мы облетаем вокруг вашего маленького земного шара, мы не замкнуты в определенном пространстве, как собака, стерегущая стадо, или император, пасущий двуногих овец, — мы спускаемся в ад, поднимаемся в рай, резвимся среди созвездий, на Млечном Пути».

По теории Сорок Четвертого, человек — «триединство независимых существ»: кроме Будничной Сути и Сути Грез есть еще Дух (*Spiritual-Self*). Можно уйти в мир грез и быть счастливым, но это лишь временное освобождение; с физической смертью мозга умирают две первые Сути и высвобождается Дух — бессмертный, вечный, не знающий границ и предрассудков. Все это вяжется с постоянной идеей Твена о том, что смерть приносит освобождение, но литературоведы трактуют по-другому, и, может быть, правы они, а не автор. Он твердил, что человеческая мысль не может быть по-настоящему творческой, — но художник, придумывающий миры, создающий людей, зверей, богов, чертей и ангелов, «находится, так сказать, за пределами человеческой Солнечной системы»; он становится чем-то большим, нежели просто человек; своей мыслью, не знающей границ, он из ничего создает нечто, и в этом смысле он всегда — чистый дух; еще при жизни он, творя, обретает свободу.

Клара дала успешный концерт во Флоренции 8 апреля, пришла к матери порадовать ее, та разволновалась, последовал приступ, ухудшение. Твен тут был ни при чем, но ему совсем запретили видеть жену. Он был в отчаянии. В Штатах отдельной книгой вышли «Дневники Адама» — он этого даже не заметил. Развлекала его только политика.

В январе 1904 года началась Русско-японская война — за контроль над Маньчжурией и Кореей. Англия и США были за Японию, Германия — за Россию: она «защищает интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилия желтой», писал Вильгельм II. Твен предпочел японцев, просто «в пику» русскому царю: Японией никогда в жизни не интересовался. Летом лондонская «Таймс» опубликовала статью Толстого «Одумайтесь!», направленную против военно-патриотического угара и вызвавшую в России большой скандал. Но Толстой, разумеется, не «болел» и за японцев; Твен же говорил об их победах с восторгом. 14 апреля у него

гостил хартфордский профессор Уильям Фелпс: «За час беседы Марк выкурил три сигары; его правая щека постоянно дергалась и глаз был воспаленным. Он с возбуждением говорил о Русско-японской войне и был страстным сторонником японцев. Я сказал ему, что поэтесса Эдит Томас издала поэму с воззванием к американцам поддержать русских, потому что они христиане, а японцы язычники, и он ответил: «Эдит не знает, о чем говорит». Он заявил, что русские сделали фатальную ошибку, снабдив войска недостаточным количеством икон. «Я читал, что они отправили только 80 икон! Генералу Куропаткину<sup>[44]</sup> следовало взять по меньшей мере 800!»».

В конце апреля у Оливии наступило улучшение, вновь позволили двухминутные свидания. Горькая запись от 27 апреля: «Мужчины и женщины, даже муж и жена, — тоже чужие друг другу. У каждого есть свое, скрытое от другого и недоступное его пониманию. Это как пограничная линия». 12 мая Твен писал Ричарду Гилдеру: «После 20 месяцев прикованного к постели одиночества и физического страдания она внезапно перестала быть бледной тенью и выглядит сияющей, молодой и прелестной. Она по-прежнему самое замечательное существо, обладающее необыкновенной силой духа, терпением, выносливостью. Но, дорогой мой! Это не продлится долго; жестокая болезнь снова предательски завладеет ею, и я вернусь к моим молитвам — молитвам, которые нельзя произносить с кафедры!» И на следующий день: «Я только что провел одну из причитающихся мне двух минут в комнате больной и увидел то, чего ожидал — регресс».

Умерла Оливия 5 июня в возрасте 58 лет. Накануне вечером муж, нарушив запрет, провел с ней полчаса. Она, по его воспоминаниям, казалась оживленной, много говорила, улыбалась, просила его не уходить, в восемь вечера он ушел, она попросила зайти еще раз в положенное время, в 9.30, чтобы пожелать ей спокойной ночи, он в ожидании стал играть у себя в комнате на фортепьяно негритянские «спиричуэле», чего давно не делал. Кэти зашла к больной, та пожаловалась на боли, говорила о муже и внезапно перестала дышать. В некрологах потом писали, что она умерла у мужа на руках. Но, когда он вошел, не дождавшись десяти минут до положенного срока, ее уже не было. У постели стояли Клара, Джин и медсестра — его позвать не решались. «Я подошел и нагнулся, и смотрел в лицо Ливи, и, наверное, говорил с нею, не знаю, но она мне не отвечала. Это казалось мне странным, я никак не мог понять почему. Я все смотрел на нее и удивлялся — и у меня и мысли не было о том, что на самом деле произошло. Тогда Клара сказала: «Ах, Кэти, неужели это правда? Правда,

Кэти? Нет, не может быть!» — и Кэти зарыдала, и тогда я понял».

Полтора часа спустя: «Два часа как она умерла. Это невозможно. Слова не имеют смысла. Но они верны: я это знаю, но не понимаю. Она была моей жизнью, и она ушла; она была моим сокровищем, и я — нищий». Всю ночь бродил из комнаты в комнату, то и дело возвращался к умершей, его гнали, он кружил и приходил опять, и опять записывал: «Бедная усталая девочка, как она любила жизнь, как с тоской цеплялась за нее все эти двадцать два месяца одиночества и страдания, и как трогательно ловила проблеск надежды в наших глазах! И как мы все это ужасное время лгали ей и уверяли, что все будет хорошо, в глубине души зная, что этого не будет никогда! Всего четыре часа прошло — и теперь она там лежит, белая и немая!»

Утром перебирал вещи жены. Написал Хоуэлсу: «Но как я благодарен за то, что кончились ее муки. Если бы я и мог ее вернуть, я бы этого не сделал. Сегодня я нашел у нее хранившееся в старом, истрепанном Ветхом Завете милое, ласковое письмо из Фар-Рокауэй от 13 сент. 1896 г., которое вы нам прислали, когда умерла наша бедная Сюзи. Я стар и устал; лучше бы мне умереть вместе с Ливи». Фрэнку Даблдэю: «За час и десять минут до ее смерти я сказал ей: «Сегодня после пятимесячных поисков я нашел другой дом, который тебе понравится; если завтра дашь согласие, я его куплю». Ее глаза засветились счастьем, потому что она очень хотела свой дом. И на следующий день она лежит белая и холодная и безразличная к моей нежности — это новое для нее и для меня; такого не было 35 лет». Туичеллу: «Какая она была прелестная, когда умерла, какая юная, красивая, как та девушка, какой была когда-то! Это омоложение длилось в течение двух часов после смерти. Всю ночь и весь день она не чувствовала, как я ласково гладил ее, — это так странно». Гилдеру: «Она была нашим мозгом и нашими руками. Мы пытаемся думать, что делать дальше, — мы, которые никогда прежде этим не занимались. Если бы она могла говорить с нами, она бы легко разрешила все наши проблемы. Если бы она знала, что умирает, она бы сказала, что нам теперь делать, куда идти; но она не знала, и мы тоже».

Стало очевидно, насколько семья держалась на Оливии, — никто не знал, «что делать и куда идти». У Джин приступ, у Клары нервический припадок, она хотела спать на постели вместе с умершей, потом слегла на несколько суток, врачи приказали ни с кем не общаться — неудивительно, что ее состояние не улучшалось. Отец во всем винил себя, считал, что в последний вечер, нарушив запрет врачей, убил жену, вспоминал обидные слова, что сказал ей за 34 года. Она хотела заехать в Шотландию

повидаться со старым другом Джоном Брауном — а он не разрешил, пожалел денег. Он — убийца... Но что же делать? Где хоронить? Где жить с дочерьми? Гилдер предложил поселиться у него в Тайрингеме, штат Массачусетс. Согласились, ждали, пока поправятся Клара и Джин, потом ждали подходящего парохода, а тело лежало в морге. Хоуэлсу, 12 июня: «Нам звонят друзья из тех старых времен, когда мы смеялись... Будем ли мы когда-нибудь смеяться снова? Если б я мог видеть хотя бы собаку из тех старых времен, и обнять ее за шею, и говорить с ней обо всем, и облегчить сердце. Представить только — через три часа будет неделя! — и скоро месяц, а потом год. Как быстро наши мертвые улетают от нас». Описал случай: хотел открыть окно на третьем этаже, едва не выпал, весь мир считал бы это самоубийством. Но о самоубийстве он мог только мечтать — у него были дочери.

Отплыли из Неаполя 28 июня, Клара билась в истерике, пробовала выброситься за борт. «Сейчас прогудел рожок к завтраку. Я узнал его и был потрясен. В последний раз мы слышали этот звук вместе с Ливи. Теперь он для нее не существует». «Я видел июнь шестьдесят восемь раз. Как бесцветны и тусклы они по сравнению с ослепляющей чернотой этого». Теодор Рузвельт издал специальную директиву, чтобы таможня пропустила печальный груз Марка Твена без досмотра. Встречал Туичелл, отвез Клеменсов в Эльмиру. 14 августа Оливию похоронили возле Сюзи и Лэнгдона, панихиду отслужил Туичелл, Клара кричала, пыталась прыгнуть в могилу. Твен держался лучше, чем можно было ожидать, был тих и покорен, но Клару успел схватить первый — с силой, какой тоже от него не ждали. 18 августа приехали в Тайрингем — Гилдеры отвели Клеменсам отдельный коттедж. Клара была плоха, 22-го уехала в НьюЙорк с Кэти, показала врачам — диагностировали «нервное истощение», положили в больницу, естественно, запретили родным ее навещать. Твен начал подыскивать дом в Нью-Йорке.

«Ева (40 лет спустя после грехопадения): «Единственное мое желание и самая страстная моя мольба — чтобы мы могли покинуть этот мир вместе; и эта мольба никогда не перестанет звучать на земле, она будет жить в сердце каждой любящей жены во все времена, и ее нарекут молитвой Евы. Но если один из нас должен уйти первым, пусть это буду я, и об этом тоже моя мольба, — ибо он силен, а я слаба, и я не так необходима ему, как он мне; жизнь без него — для меня не жизнь, как же я буду ее владеть? И эта мольба тоже будет вечной и будет возноситься к небу, пока живет на земле род человеческий».

Адам: «Там, где была она, был Рай»».

## Глава 12

### Том Сойер и буревестник

28 июля: «Нет никакого Бога и никакой Вселенной; есть только пустота, и в ней — потерявшаяся, бесприютная, скитающаяся, одинокая и вечная мысль. И я — эта мысль. А Бог, и Вселенная, и Время, и Жизнь, и Смерть, и Радость, и Горе, и Боль — только жестокий и грубый сон, плод неистового воображения этой безумной мысли».

29 июля: «Мы затопили камин. Потом вспомнили, что в трубе поселились ласточки, и стали вытаскивать поленья, заливать водой. Трагедия была предотвращена».

31 июля Джин сбросила лошадь, порвано сухожилие на ноге, лицо разбито, Кларе нельзя было ничего говорить, но она прочла в газетах — Клеменсы не могли даже насморком заболеть без того, чтобы об этом не раззвонили. 31 августа умерла Памела — опять нельзя говорить, Твен даже на похороны не мог поехать, чтобы Клара не узнала, хотя она видела тетку пару раз в жизни и вряд ли бы сильно расстроилась. В Тайрингеме Твен прожил до сентября, написал за это время статью о копирайте в «Норз америкэн». Когда Джин поправилась, уехали в НьюЙорк. Сняли в престижном месте, на углу Пятой авеню, дом номер 21 — мрачноватый готический особняк, мебель взяли старую хартфордскую. Нашли для Джин нового врача, Эдварда Кинтарда. Клару выписали, она с энтузиазмом обустроивала дом, но в ноябре врачи нашли, что она многовато «волнуется», и отослали ее в санаторий в Норфолке, чтобы уж совсем никого не видеть и ничем не заниматься.

Ее отца от отчаяния вновь спасла политика. Осень 1904 года — выборы, от республиканцев — Рузвельт, обещания — борьба с монополиями и забота о трудящихся, платформа — протекционистские тарифы, продолжение экспансии в Центральной и Южной Америке, золотой стандарт. Демократы выдвинули Элтона Паркера, главу нью-йоркского апелляционного суда, администрацию Рузвельта называли безалаберной, требовали реального контроля над монополиями, прекращения военных действий, независимости Филиппин. «Сколько я ни встречал за 25 лет Рузвельта-человека, всякий раз я пожимал ему руку с самым теплым, сердечным чувством; но, как правило, при каждой встрече с Рузвельтом-политиком и государственным деятелем я убеждался, что он лишен каких-либо нравственных устоев и не заслуживает уважения.

Совершенно очевидно, что, коль скоро дело касается его собственных политических интересов или интересов его партии, у него нет и подобия совести; под влиянием этих интересов он оказывается наивно равнодушен, а то и просто глух к суровому голосу долга; если на дороге у него станет наша конституция, он в любую минуту отшвырнет ее пинком...»

Туичелл агитировал за Рузвельта, поносил Паркера, Твен, на сей раз в кампании не участвовавший (Паркер ему тоже не нравился), написал другу предельно жестко: «Вспомните Мак-Кинли, Рузвельта и самого себя: в личной жизни каждый из вас безупречен, достоин всяческого уважения, честен, справедлив, добр, великодушен, никогда не унижится до мошенничества и вероломства, не позволит себе заглушать голос истины, ложно толковать факты, присваивать чужие заслуги, прощать преступления, восхвалять подлость; а в общественной, политической деятельности — все наоборот! <...> Честное слово, Джо, вы проявляете такую ловкость в этой игре, словно обучались ей всю жизнь. Ваша предвыборная речь с начала и до конца построена по старым лучшим образцам. Ни один абзац, более того — ни одна фраза, на мой взгляд, не выдерживает критики с точки зрения фактической или нравственной». Старея, Туичелл становился все более консервативным: не сходились они теперь ни в чем.

Прочтя об открытии супругов Кюри, Твен написал «Сделку с Сатаной» («Sold to Satan»): Сатана, оказывается, сделан из радия и его можно приобрести, но издавать безобидную юмореску почему-то не стал. Записные книжки наполнились язвительными изречениями. «Шестьдесят лет тому назад «оптимист» и «дурак» не были синонимами. Вот вам величайший переворот, больший, чем произвели наука и техника». «Нет ни единого права, которое не было бы продуктом насилия. Нет права, которое остается незыблемым; его всегда можно уничтожить посредством очередного насилия. Следовательно, человек не имеет ни одного нерушимого права». В «Харперс» продолжало выходить собрание сочинений, отдельной книжкой издан «Рассказ собаки», вышел новый сборник «Наследство в тридцать тысяч долларов», в рождественском выпуске «Харперс мэгэзин» — «Святая Жанна д'Арк», продажи книги о Жанне росли, критики стали называть ее шедевром. В декабре — ревматизм, простуда, пролежал три недели, выздоровев, расписался — и пошли жесткие вещи одна за другой.

В России после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года прокатилась волна забастовок, об этом писал весь мир, «НьюЙорк таймс» цитировала Горького: престиж царской власти разрушен, революция началась. 2

февраля Твен написал для «Норз америкэн» «Монолог царя» («The Czar's Soliloquy»). Монарх совершает перед зеркалом утренний туалет и разговаривает сам с собой: обнаженный, он превращается из идола в человека, начинает размышлять и даже способен испытывать стыд; он сознает, что поклоняются не ему, а его регалиям, вспоминает о подавленных народных выступлениях и приходит в ужас: «Как позорно! Как жалко! Подумать только — это я совершил те ужасные жестокости...» Царь размышляет о цареубийстве и о тех, кто призывает к реформам. «В цивилизованных странах отстранить угнетателя от власти можно только по закону; это правило ошибочно применяют и к России, где нет такой вещи, как закон. Закон охраняет меня от народа, но нет законов, охраняющих народ от меня». «Ах, что бы мое семейство делало без моралистов? Они всегда были нашей поддержкой, нынче они наши единственные друзья. Всякий раз, когда кто-то хочет убить меня, они защищают меня своими внушительными принципами: «Воздержитесь: политическая справедливость никогда не достигалась насилием». Однако все троны были получены путем насилия — и ни одна политическая цель никогда не была достигнута иначе как насилием». Царь рассуждает об «истинном патриотизме», то есть любви к народу, а не к правителю: матерям следовало бы этому патриотизму обучать детей, и тогда Романовым придется плохо. От горьких мыслей царь совсем расклеился — но, чтобы перестать быть человеком, ему достаточно облачиться в мундир. (Трудно понять, почему, ненавидя царей, Твен делал исключение для императора Японии: видно, считал, что китайцы и японцы какие-то идеальные люди.)

В черновом варианте автор высказывался круче — матери должны учить детей: «Когда вырастете, убивайте Романовых всюду, верность этим ядовитым кобрам — измена народу, будьте патриотами, а не педантами, освободите народ». На его памяти уже было убийство русского царя, после которого дела пошли еще хуже, но он почему-то продолжал считать, что новое убийство решит проблемы. Еще текст о России (не изданный при жизни) — «Мухи и русские» («Flies and Russians»). Оказывается, мы слишком терпеливы и трусливы: «Если соединить кролика, моллюска и идиота и добавить пчелу, мы получим русских»; «Природа совершила много ошибок, прежде чем создала мух и русских, но она всегда исправляла свои ошибки рано или поздно»; «Даже в наши дни из русских можно извлечь пользу, если дать им немножко мозгов. Как прекрасно они сражаются в Маньчжурии! <...> Если б они могли думать! Если бы им было чем думать! Тогда эти покорные и милые рабы почувствовали бы, что энергия, которую они попусту растрачивают, дабы поддержать своего



бурундука на троне, могла бы быть обращена против него».

Впрочем, в русском царе Твен хотя бы предполагал способность стыдиться. Был другой монарх, гораздо хуже, король Бельгии Леопольд II. В свое время он захватил территории в бассейне реки Конго, объявил их «Свободным государством Конго» и владел ими как частной собственностью, добывая каучук и слоновую кость. США в 1884-м первыми признали новое «государство», в 1885 году на Берлинской конференции 14 государств признали права Леопольда (не Бельгии!) на протекторат над Конго, правда, назвали его «представителем совета 14-ти» и попросили соблюдать права населения. (До Леопольда население Конго составляло 25 миллионов человек; за время его владычества оно уменьшилось на 10 миллионов.)

В мае 1903 года Эдмунд Морель, агент ливерпульской судоходной компании, опубликовал в газете «Уэст африкэн мейл» сенсационную статью о Конго. В ней говорилось о женщинах, которых держали прикованными к столбам в качестве заложниц, пока мужчины не вернутся с каучуком, о карательных экспедициях, которые возвращались на базы с корзинами, полными отрубленных рук и ног, в том числе детских. Отчет сопровождался фотографиями. Роджер Кейзмент, британский консул в Киншасе, подготовил официальный доклад, всё подтвердилось: казни, увечья, чудовищные пытки, рабский труд. Международные комиссии привозили из Конго ужасные материалы, но никто не хотел ничего предпринять: нельзя же вмешиваться в дела суверенного государства, может, у них такие традиции... Кейзмент и Морель организовали Ассоциацию в поддержку реформ в Конго, в октябре 1904 года Морель открыл отделение ассоциации в США, попросил Твена изучить материалы и написать что-нибудь. Результат: «Монолог короля Леопольда» («King Leopold's Soliloquy: A Defense of His Congo Rule»), где не так интересен перечень злодеяний короля, давно и бесславно умершего, как некоторые его наблюдения — увы, бессмертные...

«Как уже не раз бывало, люди опять начнут спрашивать, неужто я надеюсь завоевать и сохранить уважение человечества, если буду по-прежнему посвящать свою жизнь грабежам и убийствам. (*Презрительно.*) Интересно знать, когда они от меня слышали, что я нуждаюсь в уважении человечества? Не принимают ли они меня за простого смертного? <...> А мы существуем, мы в безопасности и с божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность. И род человеческий будет столь же покорно принимать наше существование. Кое-когда, может быть, состроит недовольную гримасу, произнесет зажигательную речь, но так и останется

на коленях. Вообще зажигательные речи — одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это... родить стишки. Боже мой, что за племя! <...> Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом проносится мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был!»

Опубликовать памфлет в прессе не удалось — в «Харперс» деликатно сказали, что объем великоват, другие издания были согласны, но Твена связывал контракт. Брошюру в Америке и Англии издала Ассоциация в поддержку реформ. США и Великобритания потребовали созыва «совета 14-ти», бельгийский парламент тоже возмутился, Леопольд был вынужден допустить официальную комиссию, которая в очередной раз подтвердила все, о чем говорили Морель и Кейзмент. Но дело не двигалось. В 1906 году Твен из ассоциации вышел: «Я сказал все что мог. Я душой и сердцем с любым движением, которое спасет Конго и повесит Леопольда, но написать мне больше нечего». Стараниями ассоциации в 1908 году Леопольд продал права на Конго своей же стране: из частной фирмы оно превратилось в обычную колонию Бельгийское Конго<sup>[45]</sup>.

Многие христианские миссионеры в США выступали с критикой Леопольда — Твен, преодолев неприязнь, хвалил их усилия. Но друзей Амента не простил и прошелся по ним в опубликованном в апреле в «Харперс» «Добром слове от Сатаны» («A Humane Word from Satan»): Совет заграничных миссий финансируется на пожертвования от дьявола и Рокфеллера, что почти одно и то же: «Ведь в вашем гигантском городе не найдется ни одного богатого человека, который не совершал бы клятвопреступлений каждый год, когда наступает срок платить налоги». (Роджерс — не такой!)

Продолжал критиковать политику США на Филиппинах, опять бранился с Туичеллом, который пытался его убедить, что люди, в том числе политики и миллионеры, честные, моральный прогресс существует, а другу придется раскаяться в своем пессимизме. Твен отвечал: «Каждый отдельный человек честен в одном или нескольких отношениях, но нет ни одного, кто был бы честен во всех отношениях, как того требует... что требует? Да его собственное понятие о честности! Ведь помимо этого, на

мой взгляд, у человека нет никаких иных обязательств. Честен ли я? Даю вам слово, что нет (но это между нами). Вот уже семь лет я держу под спудом книгу, которую совесть велит мне опубликовать. Я знаю, опубликовать эту книгу — мой долг. Во многих других случаях я свой нелегкий долг исполняю, но этот исполнить не в силах. Да, я и сам бесчестен. Не во многих отношениях, но в некоторых. В сорок одном примерно». Туичелл был единственным, с кем Твен мог говорить откровенно, признавая, что «использует» друга: изольет желчь — и полегчает. «Я бы хотел использовать для этой цели м-ра Роджерса, он достаточно добродушен для этого. Но было бы несправедливо заставлять его распутывать мои финансовые дела и еще заставлять читать мои излияния. Хоуэлс не годится — стар, занят и ленив, не выдержит. С Кларой о многом не могу говорить, она этого не выносит, моя милая серенькая кошечка с коготками».

Туичелл влез в долги, был на грани разорения, скрывал это, но Роджерс пронюхал по своим каналам. Он добровольно взвалил на себя дела не только Сэмюэла Клеменса, но и его друзей: попросил его дать Туичеллу нужную сумму от своего имени — сам он с преподобным едва знаком, будет оскорбительно. Твен согласился с условием: после его смерти правда откроется. (Так и было сделано.) Туичелл деньги принял, горячо благодарил, но увещевал друга еще резче, тот отвечал тоже резче: никакого прогресса нет, средний человек так же темен, туп и жесток, как в древности. Итогом этих мыслей стала «Военная молитва» («War Prayer»), самый страшный текст, написанный Твеном; от нее были в ужасе все друзья, в «Харперс» ее отклонили, и она была опубликована лишь в 1923 году.

«Вся страна рвалась в бой — шла война, в груди всех и каждого горел священный огонь патриотизма; гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со свистом и треском взлетали в воздух... каждый вечер густые толпы народа затаив дыхание внимали какому-нибудь патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам; в церквях священники убеждали народ верой и правдой служить отечеству и так пылко и красноречиво молили бога войны ниспослать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что

ради собственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать».

Священник молится, «чтобы всеблагой и милосердный отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах во имя отчизны»; «чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружию и стране вечный почет и славу». Тут входит ангел и обращает внимание молящихся на то, что красивые слова, которые они произносят, имеют и другой, настоящий смысл — о нем не принято говорить:

«Господи боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о Господи, развей в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обагри белый снег кровью их израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь. *(Помолчав немного.)* Вы молились об этом; если вы все еще желаете этого — скажите! Посланец всевышнего ждет».

«Неужели я буду когда-нибудь снова весел и счастлив? Да. И скоро. Потому что знаю мой характер. И знаю, что характер — хозяин человека, а он — его беспомощный раб». Зимой он мало выходил, к весне ожил. Увлёкся новинкой — автомобилями, своего не завел, но позировал для рекламы фирмы «Олдсмобиль», написал в «Харперс» статью «Превышение скорости» («Overspeeding»), рекомендуя делать номера машин покрупнее, чтобы пешеходы, издали завидев водителя, известного склонностью их давить, успели забраться на дерево. Занимался плазмоном (инвестиции — уже 50 тысяч, прибыли почти никакой). Тайком от Роджерса рисковал: пять тысяч вложил в фирму по производству стелек «Инсол компани», столько же — в «Органную компанию Хоуп-Джонса» (попросил племянник, Джервис Лэнгдон, имевший там интерес), накупил акций ресторанной

корпорации «Табард Инн», «Американских механических касс» — все без дохода. Будучи акционером железнодорожных компаний, изучал статистику несчастных случаев, писал людям, чьи близкие погибли в катастрофах, собирался делать об этом книгу. Купил тростниковый орган (играл каждый день, мурлыча себе под нос) и громадную кровать, лежа в которой отныне принимал гостей (жена бы такого не допустила). Джордж Харви: «Я думаю, самое любопытное сейчас не статьи Марка Твена, а его кровать. Он все время лежит на ней. Его кровать самая большая в мире, и на ней размещается самый удивительный набор вещей — достаточно, чтобы заполнить квартиру в Гарлеме. Книги, бумаги, одежда и прочая утварь, необходимая для жизни». Поглазеть на замечательную кровать изредка допускались и журналисты. «Вашингтон пост», 26 марта, «Кровать Марка Твена»: «Он выглядит вполне счастливым, возвышаясь над этой грудой вещей, по которой с недовольным видом расхаживает громадный черный кот. Он царапает и кусает все, что попадаетеся, и Марка Твена в том числе. Когда кот устает рвать рукописи на клочки, он начинает грызть хозяина, а тот переносит это со смирением».

Кота звали Бамбино, он принадлежал Кларе, но ей не разрешили держать его в санатории, пришлось отдать отцу. Бамбино жил в хозяйской постели, был умен, хотя и молод, даже, говорят, научился по команде включать и выключать свет. 4 апреля он пропал, 5-го об этом сообщили не только нью-йоркские газеты, но и иногородние. «Потерялся кот Марка Твена — награда пять долларов тому, кто вернет его. Большой, очень черный, густой, бархатистый мех, белое пятнышко на груди, которое нелегко разглядеть». Кэти Лири: «М-р Клеменс так горевал, что мы разместили в газетах объявления. Боже! Сколько людей с котами к нам шли! Тьма-тьмущая!» Два дня спустя горничная нашла кота. «М-р Клеменс был счастлив и написал во все газеты, что кот нашелся. Но люди все равно продолжали тащить нам всевозможных котов, лишь бы только краешком глаза увидеть м-ра Клеменса». Зоэ Норрис, репортер «Таймс»: «В воскресенье редактор сказал мне, что потерялся кот Марка Твена. «Пойдите и разузнайте, почему и как произошло это событие. Если сумеете, возьмите у Твена интервью»». К Твену Зоэ не допустили, но ей удалось погладить кота и взять интервью у него, отчет занял половину полосы, правда, обиженная журналистка написала массу колкостей: «Кто читает нынче его (Твена, а не кота. — М. Ч.) «Простаков за границей»? Уж точно не подрастающее поколение. Но для такого старья написано неплохо», — за что, по ее словам, едва не была уволена.

На лето Твен снял дом в Дублине, Нью-Гэмпшир, где отдыхали

художники и литераторы. Звал с собой Клару, которую не видел с осени (ей в мае в Нью-Йорке удаляли аппендикс — отца в больницу не пустили), но той было велено оставаться в Норфолке. В мае перебрались: он, Джин, Кэти, Изабел, кот и орган. Джин отвели студию для резьбы по дереву, купили ей лошадь. Впервые в жизни у нее появились друзья — соседские дети, намного моложе ее, но она чувствовала себя с ними хорошо. Отец расписался как никогда — говорил, что дублинский воздух его вдохновляет. Возможно, творческий взлет был связан со смертью Оливии — не потому, что она загоняла мужа в рамки, а потому, что ему больше нечего (как он думал) было терять. Крупная работа — роман, к которому он давно подбирался, «Три тысячи лет среди микробов» («3,000 Years Among the Microbes»); не окончен и потому не издан при жизни): «Эта работа доставляет мне больше удовольствия, чем любая другая за последние двадцать лет». Рассказчик — холерный микроб, бывший человек, заколдованный фокусником, рукопись — перевод с микробского языка.

Микробская жизнь мало отличается от человеческой, герой привык: «Во мне заговорили инстинкты холерного микроба — его восприятие жизни, взгляды, идеалы, стремления, тщеславие, привязанности. Я так ревностно и страстно исповедовал идеи микробохолеризма, что превзошел в этом самих микробов холеры; уподобился нашим американским девушкам: не успеют выйти за аристократа, как за неделю утрачивают демократизм, а за вторую — американский акцент; я обожал микромир бацилл, бактерий, микробов, я отдал им весь жар своей души — какой они могли вынести, разумеется; мой патриотизм был горячее их патриотизма, агрессивнее, бескомпромисснее, — короче говоря, я стал всем микробам микроб». Мир, в котором живет герой, — тело старого бродяги Блитцовского: «Невероятный оборванец и грязнуля, он злобен и жесток, мстителен и вероломен, он родился вором и умрет вором, он — богохульник, каких свет не видывал; его тело — сточная труба, помойка, свалка гниющих костей; в нем кишмя кишат паразиты-микробы, созданные на радость человеку. Блитцовский — их мир, их земной шар, владыка их вселенной, ее сокровище, ее диво, ее шедевр. Они гордятся своей планетой, как земляне — своей. Когда во мне говорит дух холерного микроба, я тоже горжусь им, восторженно славлю его, готов отдать за него жизнь, но стоит человеческой природе взять верх, как я зажимаю нос».

Микробы любят, женятся, пьют, проводят научные конференции, болеют, страдают. В бытность человеком герою и в голову не пришло бы их жалеть — их жизнь, как и всякой бессловесной (по мнению человека) твари, ничего не стоила. Теперь у него открылись глаза: «Ну как не

пожалеть микроба, он такой маленький, такой одинокий! И тем не менее в Америке ученые пытаются их, выставляют на позор голыми перед женщинами на предметных стеклах микроскопов, выращивают микробов в питательной среде лишь затем, чтобы потом мучить, постоянно изыскивают новые способы их уничтожения, позабыв и про день субботний. Все это я видел своими глазами. Я видел, как этим занимался врач, человек вовсе не равнодушный к церкви. Это было убийство. Тогда я не понимал, что на моих глазах совершалось убийство, именно убийство. Врач и сам это признавал; полушутя, нимало не задумываясь над страшным смыслом своих слов, он именовал себя микробоубийцей. Когда-нибудь он с горечью убедится, что разницы между убийством микроба и убийством человека не существует. Он узнает, что и кровь микроба вопиет к небу. Ибо всему ведется строгий учет, и для Него не существует мелочей».

Микроб, как и человек, заслуживает жалости, но, как и человек, он — самодовольная скотина. Он называет себя «суфласком», это означает то же, что и «человек» — «Божья Отрада», «Избранник», «Венец Творения» и т. д. В микробском мире много государств, из которых самое могущественное — Скоробогатия (США); есть и своя Россия, которой правит «Его Августейшее Величество Генрих Д. Г. Стафилококкус Пиогенус Ауреус. Он стодеятитысячный монарх династии Гной, сидящий на троне. Все монархи этой династии носили имя Генрих. Латынь — Д. Г. (*Deus gratias*) означает «милостью божьей». Длинное слово Стафилококкус означает «резервуар гноя». Пиогенус в научном тексте переводится как «главный», в политическом — «Верховный», а в просторечии означает «свой парень», «молодчина» и выражает восхищение».

Суфласки презирают низших существ, своих микробов — суинков, лишенных (по мнению суфласков) Нравственного Чувства. «Не важно, кто мы и что собой представляем, нам всегда есть кого презирать, с кем порой считаться, с кем никогда не считаться, к кому проявлять полное безразличие. В бытность человеком я самодовольно полагал, что принадлежу к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Божьей Отраде. Я презирал микробов, они не стоили моего мимолетного взгляда, самой пустячной мысли; жизнь микроба для меня ничего не значила, я мог отнять ее ради собственной прихоти, она была все равно что цифра на грифельной доске — захотел и стер. Теперь же, став микробом, я с негодованием вспомнил об оскорбительном высокомерии, о беззастенчивом равнодушии человека и копировал его тупое пренебрежение к другим существам даже в мелочах. И снова я взирал сверху вниз — теперь уже на суинков, и снова я

считал, что жизнь суинка ничего не стоит и ее можно стереть, как ненужную цифру с грифельной доски. И снова я относил себя к Лучшим из Лучших, к Избранным, и снова я нашел, кого презирать, кем пренебрегать. Я принадлежал к суфласкам, я был Всеобъемлющим Существом, а где-то бесконечно далеко внизу копошился ничтожный суинк, я мог отнять его жизнь ради собственной прихоти. Почему бы и нет? Что в этом дурного? Кто меня осудит?» Впрочем, ни люди, ни суфласки не виноваты в своей жестокости: «Не мы себя создали, такими уж нас произвели на свет, значит, и винить себя не в чем. Давайте же будем добрыми и снисходительными к самим себе, не будем огорчаться и унывать из-за того, что все мы без исключения с нежного возраста и до могилы — мошенники, лицемеры и хвастуны, не мы придумали этот факт, не нам и отвечать за него».

Параллельно Твен продолжал работу над романом «№ 44», изъездив оттуда пассажи о Нравственном Чувстве и перенес в «Три тысячи лет». Написал эссе «Привилегия могилы» («The Privilege of the Grave»): только после смерти можно сказать всю правду, при жизни мешает боязнь кого-то обидеть, а еще пуще — эгоизм. «Никто из нас не хочет, чтобы его ненавидели и избегали его общества». А мертвого ругать не станут. (Эссе впервые было издано в 2008 году — и верно, никто не ругал.) «В стол» было написано еще несколько статей. «Интерпретация божественных знамений» («Interpreting the Deity») повторяла работу 1902 года «Города под солнцем» («About Cities in the Sun»): в одну эпоху историки толкуют некое событие как проявление воли Божьей, а в следующую меняют толкование на противоположное. «В суде зверей» («In the Animal's Court»): глупо винить живых существ за то, что они поступают сообразно со своей натурой. («БАРАН. Согласно собранным данным, он не раз имел возможность совершить массовые убийства, но не поддавался искушению. Решение суда. Да живет в веках память о его добродетели».) На ту же тему «Десять заповедей» («The Ten Commandments»): характер человека врожден, маньяка-убийцу бессмысленно осуждать за то, что он маньяк, его можно только изолировать. «Разум Бога» («God»): «Между собой мы соглашаемся, что дела говорят громче слов, но мы внушили себе, что для Него это не так; мы воображаем, что Его интересуют лишь слова — лишь звуки; что, если мы будем выкрикивать эти слова достаточно громко, Он не заметит опровергающих их поступков».

Актриса Минни Фиск попросила написать что-нибудь против корриды в Испании, Твен дал в «Харперс мэгэзин» сентиментальный «Рассказ лошади» («A Horse's Tale»): в Гражданскую войну конь спас девочку, потом оба оказались в Испании, коня украли и отдали на бой быков, девочка его



увидела, хотела спасти, погибли оба. В очередной раз вернулся к любимому герою, Адаму: еще весной сочинил «Монолог Адама» («Adam's Soliloquy», при жизни не публиковался): дух Адама попадает в современный НьюЙорк и заговаривает с молодой матерью, удивительно напоминающей Еву; потом добавил к теме «Памятник Адаму» («A Monument to Adam», опубликован в «Харперс уикли» в 1905 году): из-за Дарвина человечество позабудет своего прародителя, надо бы его увековечить; и наконец взялся за «Дневник Евы» («Eve's Diary»), самую нежную и светлую книгу, какую он когда-либо писал, самый феминистский текст, когда-либо кем-либо сочиненный.

Он все поставил с ног на голову (или с головы на ноги?): первой появилась Ева. Она не тяготится одиночеством, она — философ: «Я — эксперимент, просто эксперимент, и ничего больше. Ну а если я эксперимент, значит, эксперимент — это я? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, все остальное — тоже часть этого эксперимента. Я — главная его часть, но и все остальное, по-моему, участвует в эксперименте тоже». Она исследует мир, дает всему названия, сама учится понимать, что такое красота, боль, пространство и время. Она не боится диких зверей — они ходят за ней по пятам; она делает открытия, добывает огонь; она не умолкает ни на минуту, болтая сама с собой; она не знает, что ей уготовано какое-то там особое женское место, и ведет себя как мальчик и как девочка одновременно: «Звезды мне тоже нравятся. Мне бы хотелось достать две-три и воткнуть себе в волосы. Но боюсь, что это невозможно. Просто трудно поверить, до чего они от нас далеко, потому что ведь с виду этого не скажешь. Когда они впервые появились — прошлой ночью, — я пробовала сбить несколько штук палкой, но не могла дотянуться ни до одной, и это меня очень удивило. Тогда я стала швырять в них комьями глины, и швыряла до тех пор, пока совсем не обессилела, но так ничего и не сбila. Это потому, что я левша и у меня нет меткости».

Потом появился Адам. «Я сделала открытие, что это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое пресмыкающееся. Если, конечно, оно — пресмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на пресмыкающееся. У него нет бедер, оно суживается книзу, как морковка, а когда стоит — раздваивается, как рогатка. Словом, я думаю, что это пресмыкающееся, хотя, может быть, это и конструкция. Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий раз, как оно оборачивалось ко мне, — думала, что оно хочет меня поймать; но мало-помалу я поняла, что оно, наоборот, старается ускользнуть от меня, — и тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним ярдах в двадцати от

него, в результате чего оно стало очень пугливо и вид у него сделался совсем несчастный. В конце концов оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой. <...> Воскресенье. Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть... Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать».

Постепенно Ева приручила его, как и других животных, и вдруг почувствовала, что это грубое и скучное существо — «Он не любит меня, он не любит цветов, он не любит красок вечеряющего неба, — интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет, да еще строить шалаши» — своим невниманием способно причинить ей боль. Но природы этой боли она не осознает, хотя ее сердце жаждет любви. Она уже влюблялась в свое отражение в воде: «О, этот час, когда она впервые покинула меня! Я никогда не забуду этого — никогда, никогда. Как тяжело стало у меня на сердце! Я сказала: «Кроме нее, у меня не было ничего, и вот ее не стало!» Я сказала в отчаянии: «Сердце, разбейся! У меня нет сил больше жить!» И я закрыла лицо руками и зарыдала безутешно. А когда через несколько минут я подняла голову, она снова была там — белая, сверкающая и прекрасная, и я кинулась в ее объятия!» Ей кажется, что Адам к ней равнодушен, но тот просто не умеет говорить о чувствах, а на самом деле восхищен ею. «Она полна любопытства, все интересуется ее, жизнь кипит в ней ключом, и в ее глазах мир — это чудо, тайна, радость, блаженство»; «И как-то раз, когда она, мраморно-белая и вся залитая солнцем, стояла на большом камне и, закинув голову, прикрывая глаза рукой, следила за полетом птицы в небе, я понял, что она красива».

А она все умнеет, любовь и боль сделали ее проницательной, она первой задумалась о смысле жизни и поняла, для чего существует — «чтобы раскрывать тайны этого мира, полного чудес, и быть счастливой и благодарить Творца за то, что он этот мир создал», — и она хочет и будет творить: «Я постараюсь запечатлеть в памяти весь этот сверкающий простор, так чтобы, когда звезды исчезнут, я могла бы с помощью воображения вернуть эти мириады мерцающих огней на черный купол неба и заставить их сиять там снова, двоясь в хрустальной призме моих слез».

Дальше — пауза; рассказ возобновляется после грехопадения. Рай утрачен, словно сон. Но потеря искуплена любовью — не божеской, а человеческой: «Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю

вовсе не за то, как он поет, — нет, не за это. Чем больше он поет, тем меньше мне это нравится.

И все же я прошу его петь, потому что хочу приучиться любить все, что нравится ему, и уверена, что приучусь, — ведь сначала я совершенно не могла выносить его пение, а теперь уже могу. От его пения киснет молоко, но и это не имеет значения, — к кислому молоку тоже можно привыкнуть.

...Я люблю его не за его сообразительность, — нет, не за это... Со временем его умственные способности разовьются, хотя, я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить?

...Я люблю его не потому, что он трудолюбив, — нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем ему нужно его от меня скрывать.

...Так почему же я люблю его? Вероятно, просто потому, что он мужчина.

В глубине души он добр, и я люблю его за это, — но, будь иначе, я бы все равно любила его. Если бы он стал бранить меня и бить, я бы все равно продолжала любить его. Я знаю это. Мне кажется, все дело в том, что таков мой пол.

Он сильный и красивый, и я люблю его за это, и восхищаюсь, и горжусь им, — но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Будь он нехорош с виду, я бы все равно любила его; будь он калек — я любила бы его, и я бы работала на него, и была бы его рабой, и молилась бы за него, и бодрствовала у его ложа, пока жива».

«Адам. Там, где была она, был Рай».

«Дневник» вышел в рождественском номере «Харперс мэгэзин», множество раз переиздавался; читателям он очень нравился, и ни один богослов не сказал о нем ничего дурного. Твен сразу же начал продолжение — «Автобиографию Евы» («Autobiography of Eve»), но не окончил и не публиковал при жизни, так что редакторы впоследствии издавали фрагменты этого текста в разных вариантах. Ева вспоминает жизнь в раю: их с Адамом связывала чистая дружба, ими двигала чистая страсть к знанию, они открывали физические законы: «Каждый из нас жаждал превзойти другого в научных открытиях, и это дружеское соперничество подстегивало нас и не давало нам впасть в безделье и предаться поискам пустых удовольствий». В одном из вариантов Ева рассказывает оригинальную версию грехопадения: глас Смотрителя велел не есть плода и грозил смертью, они, не зная, что такое смерть, из любознательности попробовали плод — но не пали, а остались чисты: им и в голову не

пришло воспринимать любовь как грязь и грех. «Через неделю после его ухода родился маленький Каин. Я очень удивилась — я и не подозревала, что может случиться нечто подобное. Но, как любит говорить Адам, всегда случается то, чего не ждешь». Дети рождались, родители-ученые постепенно поняли, откуда они берутся, никто никого не убивал, все жили дружно. (Далее, судя по заметкам, Ева собиралась рассказать, как они узнали о существовании религии и какая это бессмысленная вещь для того, кто чист душой и не знает зла.)

В августе Твен съездил в Норфолк, первый раз за год увиделся с Кларой, опять звал ее в Дублин, она отказалась: общение с родными вредно. 23 августа 1905 года закончилась Русско-японская война при посредничестве Рузвельта (получившего за это Нобелевскую премию мира): по Портсмутским соглашениям Россия, хотя и потерпела поражение, потеряла не так много территорий, а контрибуции не платила вовсе. Газета «Бостон глоб» попросила знаменитостей высказаться: все восхваляли Рузвельта, ругали Портсмутский мир только Луис Симен, военный хирург, работавший в Маньчжурии, и Твен. «Я не сомневался в том, что Рузвельт нанес русской революции смертельный удар, как не сомневаюсь в этом и теперь». «Россия была на благородном пути к освобождению от безумного и невыносимого рабства; я надеялся, что не будет никакого мира, пока российская свобода не будет в безопасности. <...> Без сомнения, теперь эта цель не достигнута, и цепи России будут закованы вновь. Царь возьмет обратно те небольшие попытки гуманизации, к которым его вынудили, и с радостью вновь погрузит Россию в средневековье. Я думаю, что русская свобода потеряла последний шанс».

Джордж Харви пригласил Твена в Портсмут на обед с российскими представителями — Розеном и Витте, он трижды переписывал текст телеграммы с отказом, потом струсил (он ведь еще не умер, чтобы говорить правду) и сослался на ревматизм, представителей иронически назвал «великими чародеями», иронии никто не уловил, Витте, по словам Харви, обещал передать царю благодарность от Марка Твена. Два месяца спустя, 17 октября, в России вышел манифест, даровавший гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, был учрежден парламент, состоящий из Госсовета и Думы. Твен в это время был в Бостоне и дал интервью «Бостон джорнэл»: «Думаю, что продолжение войны заставило бы власть дать народу свободу. Несколько дней назад, когда я прочел о дарованной конституции, я подумал, что ошибся, но теперь вновь уверен в своей правоте. Пока армия, флот и финансы находятся в руках царя, конституция — ничто. Царь

подождет несколько лет, пока народ успокоится, а потом заберет обратно то, что дал». Ждать пришлось недолго: манифестом от 20 февраля 1906 года законодательные права Думы ограничились, а 3 июня 1907 года Дума была распущена и избирательный закон без ее участия изменен в ущерб «третьему сословию».

«24 сентября, 1905. — 8 часов утра. Чудный сон. Почти наяву. Ливи. Беседовал с ней две или три минуты. Я несколько раз повторил: «Но ведь это только сон, только сон!» Она, казалось, не поняла моих слов». Возможно, после этого сна он начал (но скоро забросил) «Убежище покинутых» («The Refuge of the Derelicts») — историю о месте, где собираются осиротевшие люди и каждый пытается в своей трагедии увидеть смысл, цель, руку Провидения, ибо «поняв, что никакого смысла не было, мы чувствуем себя униженными». Он вновь обратился к Адаму, который вот-вот исчезнет из памяти людей «из-за Дарвина и всей этой толпы»: место первого человека заняли микробы и рептилии, но их невозможно любить, и лично он предпочитает считать своим предком Адама. В очередной раз фигурирует в «Убежище» и Сатана — «неудачник»: его противник, Бог, в торговле душами преуспел куда больше. Одно из действующих лиц — Стормфилд из залежавшегося наброска, только не капитан, а адмирал. По воспоминаниям Клары, отец говорил, что ничего так не хочет, как завершить книгу о капитане. Но с какой стороны он к ней ни подбирался — все выходило не то.

С октября Твен жил в Нью-Йорке, приехала Клара, помогла по хозяйству, но скоро вернулась в санаторий. Близился семидесятилетний юбилей, мешками приходили письма со всего света, из разных городов зазывали на банкеты; отвечал, что нет сил, что хочет провести остаток жизни, сидя у камина. Однако согласился пообедать с Рузвельтом в Белом доме — человек-то милейший, хотя и враг. Стал выходить чаще, выступал в клубах «Актеры», «Авторы», «Круглый стол», в бостонском «Двадцатом веке». Юбилей хотел отметить «бутербродами и пивом в узком кругу», но Джордж Харви 5 декабря устроил банкет в ресторане Дельмонико, пришло 200 человек. Речь юбиляра не разочаровала: «Вчера, в шестьдесят девять, я был беспечен и юн, и как же я разочарован, став семидесятилетним старцем». Посвящена речь была вредным привычкам, юбиляр доказывал: что одному здорово, другому — смерть; сам он «взял за правило не курить больше одной сигары одновременно, не закуривать во сне и никогда не воздерживаться, пока бодрствую». 18 декабря вместе с Сарой Бернар председательствовал на благотворительном собрании в пользу русских

евреев, пострадавших от погромов, 21 декабря вновь отмечал день рождения с художниками и издателями в Обществе иллюстраторов. Выступления продолжались весь январь: благотворительный вечер в Карнеги-холле, обед в Обществе Диккенса, Обществе Китса и Шелли, Обществе американо-германской дружбы. Одна задругой выходили книги: «Дневник Евы», тома собрания сочинений, старые и новые сборники, переиздания романов. Каждое утро газеты докладывали, куда «украшение Нью-Йорка» ходило накануне и как было одето. Передовица «Ивнинг мейл»: «Марк Твен превращается в человека, соединяющего в одном лице Аристиды с его справедливостью и смелостью, Солон с его мудростью и убедительностью и Фемистокла с его демократизмом и популярностью». Его портреты красовались на рекламах часов, рубашек, сигар, пульмановских вагонов, трансатлантических круизов, отелей, ресторанов; по всему миру образовывались клубы его имени; его любимые рецепты включались в поваренные книги.

В 1906 году вновь возник Альберт Пейн — после знакомства они не виделись два года. Пейн недавно опубликовал биографию карикатуриста Томаса Насти и был признан серьезным писателем; знакомые советовали ему попытаться счастья с Твеном. Встретились 5 января в «Актерах», Пейн попросился в гости, через три дня пришел в дом на Пятой авеню. «Он лежал в своей величественной кровати, головой в изножье, чтобы видеть резьбу на изголовье. Он листал «Гекльберри Финна», ища параграф, в котором некий корреспондент просил что-то разъяснить. Он с раздражением отозвался об этом корреспонденте и о письмах вообще. Он подтолкнул ко мне сигары, и мы разговорились, постепенно переходя на более-менее личные темы». Пейн, смущаясь, сказал, что мечтает написать биографию хозяина, тот предложил другое: он будет диктовать автобиографию. Гость был не в том положении, чтобы спорить.

Пейн пришел со стенографисткой Джозефин Хобби 9 января — хозяин лежал в кровати, предупредил, что диктовать будет не в хронологическом порядке, а как ему вздумается и что публикацию при жизни не разрешает. Первая диктовка — «серебряная лихорадка» в Неваде, вторая, 10-го, — Рузвельт и другие политики, 11-го — эпизод с неудачной речью на юбилей Уиттьера; с 7 февраля Твен начал вставлять фрагменты из книги Сюзи. Работали до 30 марта почти каждый день, сделав за этот период 47 записей, потом пореже. На «нормальную» автобиографию все это не походило, порядок тем произвольный: искусство произносить речи, брат Генри, жизнь в Неваде, описание дуэлей, знакомство с Оливией, смерть Сюзи, детство Сюзи, президентские выборы, детство, юность, Гонолулу, опять Сюзи,

русские революционеры, ругательства в адрес Рузвельта, вновь Сюзи, история с изъятием «Гекльберри Финна» из библиотеки. Всего в 1906–1909 годах будет записано около трехсот диктовок.

Работа начиналась в десять утра, длилась два часа, на другой день Хобби приносила готовый текст — автор читал и правил очень тщательно. Диктовал всегда лежа. Пейн вспоминал его персидские халаты, один роскошнее другого; всюду книги, кошки, трубки и табак. «Иногда были длинные паузы, во время которых он ничего не говорил, мысли его где-то блуждали. В такие моменты он имел привычку заворачивать и разворачивать рукава своего халата и, казалось, был полностью поглощен этим занятием. Его руки были изящные, сильные и красивые, ладони и кончики пальцев нежно-розовые, как у детей. Когда он говорил, то откидывал назад свою огромную белоснежную гриву, его глаза сверкали из-под полуопущенных век, он поднимал сжатый кулак или указательный палец, усиливая значение сказанных слов... Курил он беспрерывно. Его сигары восхитительно пахли. Они были черные, крепкие и дешевые, к таким он пристрастился, работая в типографии и на реке. Богатые поклонники присылали ему ящики дорогих сигар, но он их не курил, и они пропадали или раздавались гостям». Биограф робел, не понимая, когда «объект» серьезен, а когда издевается: изругав Мэри Эдди, вдруг заявил, что она заслуживает места в Троице. Потом Пейн привык, а когда выяснилось, что он умеет играть в бильярд, отношения стали дружескими.

9 марта Твен начал рассказывать о школьных товарищах, а 12-го заявил: «Оставим пока моих товарищей, с которыми я учился шестьдесят лет назад, — мы вернемся к ним позднее. Они меня очень интересуют, и я не собираюсь расставаться с ними навсегда. Однако даже этот интерес уступает место впечатлению от происшедшего на днях события» — и дальше несколько дней говорил об этом событии. Рузвельт уже два года как объявил о прекращении войны на Филиппинах: там стояли американские войска, был назначен генерал-губернатор, сопротивление прекратилось всюду, за исключением района, где жили моро («мавры», как называли филиппинцев-мусульман, населяющих юг острова Минданао и архипелаг Сулу; ранее эти территории принадлежали султанату Сулу). Восемь месяцев шли боевые действия; 5–7 марта 1906 года генерал Леонард Вуд, военный комендант провинции Моро, осадил местечко Дахо, где были сосредоточены силы моро, поставил ультиматум о сдаче и уничтожил тех, кто не сдался. (К противнику, как мы знаем, не применяют слово «убийство», а только «уничтожение» или «ликвидация».) Погибло около тысячи моро, среди них женщины и подростки. Американцы потеряли

двадцать одного солдата, газеты, естественно, писали только о «наших доблестных парнях». Гневу Твена не было границ; солдат он называл «подлыми убийцами», моро — «безоружными и беспомощными дикарями». Возмущались многие, Уильям Тафт, что сменил Рузвельта на посту президента, требовал судить Вуда за «бессмысленную резню». Она, разумеется, была жестокой и бессмысленной. Но и моро не были «безоружными и беспомощными».

В султанате Сулу процветало рабство, осуждаемое Твенем, торговля женщинами, пиратство; моро уничтожили племена аборигенов, ранее населявших архипелаг (те, в свою очередь, не были ангелами и практиковали каннибализм), — Твен ведь сам говорил, что все земли кто-то когда-то у кого-то украл. Моро воевали против любимого Твенем Агинальдо. Вуд начал строить школы, указом отменил рабство — моро восстали против этого указа. Впоследствии они были самыми горячими сторонниками США и выступали против независимости Филиппин, потому что христианское большинство населения относилось к ним враждебно. Войны между христианами и мусульманами на независимых Филиппинах происходят по сей день. Но, как уже говорилось, это их, филиппинцев, проблемы. Твен ругал только своих — и если кому приносил пользу, то только им.

24 января 1906 года: «Я стар; я знаю это, но понять не могу. Интересно, может ли человек когда-нибудь по-настоящему перестать ощущать себя молодым?» Он любил говорить, что доживает век в кровати, но на деле покидал ее довольно часто. В конце января в Вашингтоне выступал перед комитетом конгресса по авторскому праву (повторно выступит в декабре), ездил в Хартфорд на похороны бывшего слуги Патрика Макалира, выступал в Обществе слепых, в Женском университетском клубе, открывал турниры по бильярду. Каждый его шаг фиксировался. «Нью-йоркские газеты знали, что ни один вопрос в мире не может быть улажен, пока не посоветуются со мной». «НьюЙорк таймс», 21 января 1906 года: «Марк Твен согласен уплатить налог на собственность в 5000 долларов, хотя не имеет ее». 30 января: «Марк Твен не прочь быть сенатором, но иногда ему кажется, что лучше заседать в палате представителей, потому что там можно похлопать спикера по спине и назвать его «дядя Джо», а в сенате нет никого, кто может хлопнуть по спине вице-президента». 20 февраля: «Последнее изречение Марка Твена. Быть хорошим хорошо, но еще лучше учить других быть хорошими — это не приносит неприятностей». 21 февраля: «Марк Твен был почетным гостем на вечере в честь Колумбийского университета. Профессор Брэндер



Мэттьюз сказал, что даже в Англии никто не может сравниться с Твеном во владении английским языком». 5 марта: «Полиция разогнала неуправляемую толпу молодежи, пытавшуюся пробиться на выступление Марка Твена в театре Мажестик».

27 марта зашла в гости соседка, Шарлотта Теллер-Джонсон, писательница, молодая разведенная женщина. В ее доме номер 3 по Пятой авеню обосновался «Клуб» — колония молодых литераторов социалистического толка: Эрнест Пул, Уолтер Вейл, Лерой Скотт, Альберт Уайт Ворс, Боб и Марта Брюеры. «Все мы мечтали о революциях, реформах и переменах», — вспоминал Пул. Твен стал бывать у соседей. Пул: «Он, с огромной гривой белоснежных волос, с сигарой, садился у камина и лениво цедил слова, а мы с восхищением внимали. Почему мы им восхищались? Потому что, хотя он добродушно насмехался над нашими теориями, мы чувствовали, что он такой же мятежник, как и мы, и потому что он был велик, и потому что он рассказывал всевозможные вещи, о каких мы и не слыхивали». С Шарлоттой Твен сдружился, помогал публиковаться. Но в первый раз она пришла к нему не за этим. Она приглашала на встречу с русскими революционерами.

Одним из них был Николай Васильевич Чайковский: в 1869 году, студентом, он вступил в революционный кружок Натансона — Александрова, который позднее стал известен как «кружок чайковцев». В 1871-м три месяца отсидел, в 1874-м эмигрировал в США, увлекался идеями «богостроительства», основал сельскохозяйственную коммуну в Канзасе, жил в религиозной общине «шейкеров» («трясунов»; они отрицают государство и законы), в 1878 году переехал в Европу, был одним из основателей Фонда вольной русской прессы в Лондоне, издававшего социалистическую литературу, с 1899 года стал членом Аграрно-социалистической лиги, влившейся в 1904-м в партию эсеров. В 1906 году приехал в США собирать деньги на покупку оружия для революционеров. Он хотел, чтобы Твен председательствовал или хотя бы выступил на митинге, и попросил Шарлотту их познакомить.

Шарлотта в тот же день вернулась в дом Твена с Чайковским. Изабел Лайон: «Они поговорили, но, боюсь, гость был несколько обескуражен». Твен: «Он приехал в Америку, предполагая зажечь огонь благородного сочувствия в сердцах нашей 80-миллионной нации счастливых поклонников свободы. Но честность заставила меня плеснуть в его кратер холодной воды. Я сказал ему то, что считаю истиной: что наше христианство, которым мы издавна гордимся — если не сказать кичимся, — давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в

лицемерие; что мы утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борющимся за свою жизнь и свободу...

что его аудитория будет состоять из иностранцев, которые сами страдали еще так недавно, что не успели американизироваться и сердца их еще не превратились в камень; что все это будут бедняки, а не богачи; что они щедро уделят ему сколько смогут, но уделят от бедности, а не от излишка, и сумма, которую он соберет, будет невелика». (Годом ранее, когда член Общества американских друзей русской свободы Давид Соскис обратился к председателю общества Роберту Уотсону за помощью в сборе средств, тот ответил, что на оружие американцы денег не дадут.)

От участия в митинге Твен отказался, сославшись на то, что в назначенный час ему нужно выступать в Обществе слепых (которое он считал более полезным начинанием), но текст написал и его потом зачитали: «Мои симпатии безусловно на стороне русской революции. Я надеюсь, что она увенчается успехом... Россия уже слишком долго терпела управление, строящееся на лживых обещаниях, обманах, предательстве и топоре мясника, — и все во имя возвеличения одного-единственного семейства бесполезных трутней и его ленивых и порочных родичей. И надо надеяться, что пробудившийся народ, поднимающийся во всей своей силе, вскоре положит конец этому режиму и установит вместо него республику».

Собирать деньги на русскую революцию также прибыл из Европы эстонский публицист Ян Янович Сибуль, известный как Иван Народный (в 1897–1900 годах сидел, в 1905-м эмигрировал). Оба готовили плацдарм для тяжелого орудия — Максима Горького<sup>[46]</sup>. Тот был безумно популярен: с 1901 по 1905 год «НьюЙорк таймс» напечатала о нем более двухсот заметок, его книги переводились, американские издатели выступали с протестами, когда он был арестован в 1905 году. Горький был выпущен под залог, дело прекращено осенью 1905-го, но считалось, что над ним висит смертный приговор. В Штатах его ждали 6 апреля. «Моя первая неделя в Нью-Йорке, — вспоминал приехавший в те же дни из Англии Герберт Уэллс, — пришлась на период ожидания приезда Горького. Можно было предсказать, что это будет историческое событие. Казалось, что вся американская нация сосредоточилась на одной великой и благородной идее — свободе России, — и на личности Горького как воплощения этой идеи».

Поездку Горького инициировали Ленин и Красин; его снабдили рекомендательным письмом Исполкома РСДРП, хотя вряд ли эта бумага могла в Америке пригодиться. Российский посол Розен обратился к правительству США с просьбой запретить писателю въезд — по закону это воспрещалось «анархистам». Горький прибыл, по разным источникам, 6

или 8 апреля, сказал, что анархистом не является, и его впустили. Сопровождали его приемный сын Зиновий Пешков, секретарь Николай Буренин и Мария Андреева, которую он записал как жену. (Горький тогда был женат на Е. П. Волжиной, Андреева была замужем за А. Желябужским.) Встречал его Гэйлорд Уилшир, редактор левого журнала «Уилшир мэгэзин»; еще в России через журналиста Уильяма Уоллинга Горький получил рекомендательные письма к Шарлотте Теллер и «Клубу». Члены «Клуба» и Уилшир, зная о семейном положении гостя, просили его поселиться на вилле Джона Мартина, члена Общества американских друзей русской свободы. Мартин жил на Стейтен-Айленд, Горькому это показалось далеко, и он снял апартаменты в отеле «Бельклэр» на Бродвее.

8 апреля Твен в доме Хоуэлса встречался с Уэллсом — детали неизвестны. Оба читали друг друга, Уэллс видел в Твене живого классика, тот нахваливал «Человека-невидимку». Оба были увлечены русской революцией, но в других вопросах вряд ли могли сойтись. Уэллс восторгался Теодором Рузвельтом, был влюблен во все американское — когда он потом прислал Твену книгу «Будущее Америки», где ругал англичан и хвалил американцев, Твен написал на ней, что у его соотечественников на самом деле «нет ни совести, ни общественного мнения: с политической точки зрения мы — просто шутка». Уэллс был сторонником опытов над животными, любви без брака, верил, что человеческую природу можно улучшить, — все это Твену было чуждо.

10 апреля, когда Иван Народный прислал Твену приглашение на обед с Горьким, который должен был состояться на следующий день в «Клубе», Твен обедал у себя с Шарлоттой. Обсуждали инцидент с Андреевой, предвидели неприятности: русский банкир Захаров предупредил Народного, что Розен якобы намеревается дать в прессу фотографии жены и детей Горького. Но поначалу все было тихо. 11 апреля состоялся обед: с американской стороны присутствовали, кроме членов «Клуба» и Твена, издатели Роберт Кольер и Говард Брубейкер, журналисты Артур Брисбен и Дэвид Грэхем Филиппс, писатель-социалист Роберт Хантер. Звали Хоуэлса — тот отказался.

Горький был не в костюме, а в блузе, чем несказанно поразил американцев. Сидели они с Твеном друг против друга и были в центре внимания. Буренин: «Марк Твен буквально «захватил» Горького, а тот смотрел на него восторженными, блестящими из-под густых бровей глазами». «Таймс» 12 апреля напечатала отчет о встрече под заголовком «Горький и Твен агитируют за революцию»: русский гость, выглянув из окна на Гудзон, сказал, что вид напоминает ему Волгу, произнес речь

(Зиновий Пешков переводил), завершившуюся словами: «Все, что нам от вас нужно, это деньги, деньги и деньги». Затем Хантер сформулировал цель собрания: «Помочь русским получить свободу слова и печати и избирательное право, как у нас». О том, какими методами русские хотят получить свободу, вслух говорить не полагалось, слово «оружие» было под запретом, поэтому все выступления изрядно напоминали речь Остапа Бендера в «Союзе меча и орала». Речь Твена в изложении «Таймс»: «Будем надеяться, что вооруженная борьба будет отложена или предотвращена на некоторое время, но если ей все же суждено быть... — тут м-р Клеменс сделал многозначительную паузу, — я решительнейшим образом симпатизирую движению России к свободе. Уверен, она будет успешной. Любой из нас, чьи предки здесь сражались за свободу, должен сочувствовать тем, кто пытается сделать то же самое в России».

О книгах Горького Твен ничего не сказал, поскольку не читал их (впоследствии прочел «Мать» и хвалил), зато Горький в ответной речи (корреспонденты различных газет воспроизводили ее по-разному; приводим версию «Таймс») рассыпался в комплиментах: «Я счастлив встретить Марка Твена. Я узнал его — благодаря его книгам — раньше, чем какого-либо другого писателя. Я с детства ждал этой встречи и надеялся на нее. <...> Слава Марка Твена во всем мире так велика, что мои слова не могут к ней ничего добавить. Он сильный человек. Он всегда производил на меня впечатление кузнеца, который стоит у наковальни, где разведен огонь, и бьет и бьет молотом, и его удары всегда попадают в цель. Его работы выкованы из стали, очищенной от шлаков».

Далее, как полагается, был сформирован комитет, куда вошли 12 человек, то есть почти все присутствовавшие, включая Твена, Хантер — председатель. Обе звезды ушли рано: Твен отправился судить турнир по бильярду в Медисон-сквер-гарден (дело не менее важное, чем революция), Горький поехал на обед к Уилширу, где его ждали другие американцы и Уэллс. На следующий день, 12 апреля, газеты опять были полны Горьким: передовица «НьюЙорк уорлд» сопровождалась рисунком, на котором Буревестник зажигал огонь от факела статуи Свободы. Горький в это время осматривал город, посетил могилу Гранта, цирк Барнума, заключил контракт с газетой «НьюЙорк америкен» из концерна Уильяма Херста, давал интервью. В газете «Телигрэм» высказался о Твене: читал его «в ту пору моей жизни, когда за чтение меня били» — но побои ничто «в сравнении с тем удовольствием, которое я получал от его прекрасных книг». В газетах сообщалось о его дальнейших планах: прием в клубе «Альдина» (где состояли банкиры, политики, епископы), ужин с

американскими социалистами. К Твену с утра сбежались журналисты, выспрашивали подробности вчерашнего обеда. В пять вечера, как докладывала «Таймс», Твен и Хоуэлс посетили Горького в «Бельклэр» и пригласили на литературный ужин, который брались организовать Роберт Кольер и Норман Хэпгуд, владельцы «Кольерс уикли». Репортеры подкараулили Твена у дверей, спрашивали, готовят ли они с Горьким революцию в России, Твен отвечал, что беседа была исключительно о литературе.

13 апреля Уилшир организовал еще один прием в честь Горького в «Бельклэр», все было замечательно. Но 14-го «НьюЙорк уорлд» взорвала бомбу, опубликовав на первой странице статью о жене и детях Горького с их фотографиями. Это были не козни Розена, а война газетных кланов: «Уорлд» отомстила конкуренту — империи Херста, получившей эксклюзивные права на русскую знаменитость. Горький сделал заявление для прессы: Андреева — его жена, и он «не намерен обсуждать сплетни», чуть погодя разъяснил, что получил развод в Финляндии и «в присутствии нотариуса» женился на Андреевой<sup>[47]</sup>. Но в тот же день «Уорлд» нанесла другой удар, сообщив, что гость послал телеграмму профсоюзным деятелям Хейвуду и Мойеру, обвиняемым в убийстве бывшего губернатора штата Айдахо: заявил, что поддерживает своих «братьев», те ответили, что тоже считают русского братом. Впоследствии суд оправдал Хейвуда и Мойера, но тогда их считали убийцами, вдобавок ведшими подрывную деятельность против государства. Своей телеграммой Горький, по мнению руководства Общества друзей русской свободы, погубил дело: ни один бизнесмен в США не дал бы денег человеку, поддерживающему государственных преступников и вмешивающемуся в чужие внутренние дела.

Херст пытался держать удар. Уилшир заявил, что телеграмму составил он, а Горький даже не читал ее. Херстовские журналисты разъясняли, что Горький не мог получить развод из-за несовершенства законов, что он расстался с Волжиной дружески, опубликовали телеграмму от самой Волжиной в поддержку супруга. Но остановить скандал, за которым все позабыли о русской революции, было уже невозможно. Горького и Андрееву выставили из «Бельклэр», они переселились в отель «Лафайет-Бриворт», были изгнаны и оттуда, потом из «Райнлендера», 14 апреля обосновались у Шарлотты Теллер. Репортеры осаждали членов «Клуба», только что созданного комитета и всех, кто имел хоть какое-то отношение к делу. Лерой Скотт и Роберт Хантер, как писала «Таймс», «были уклончивы», Хоуэлс «отказался от комментариев», Уилшир сказал, что

скандал не должен повлиять на отношение к гостю «как революционеру и писателю».

В тот день к Твену пришел Пейн, в дверях столкнулся с выходявшим «с измученным видом» Хоуэлсом. Хозяин тоже был мрачен, говорить о Горьком не хотел. Ближе к вечеру снова пришел Хоуэлс, стали совещаться. Репортеры осаждали дом Твена, он не выходил, впускать их отказывался, они ловили сновавшего туда-сюда Хоуэлса, тот отвечал, что сказать ему нечего. По-видимому, Горький пытался через членов «Клуба» связаться с Твеном. Буренин: «Даже сам Марк Твен в ответ на наши телефонные звонки к нему вдруг занемог и скрылся из виду». Вечером Твен получил письмо от Кольера: тот «не может назначить дату» литературного обеда. Это значило, что никакого обеда не будет. Твен передал известие Горькому через Шарлотту. 15 апреля Твен собрался с духом и созвал на брифинг корреспондентов четырех нью-йоркских газет: «Таймс», «Трибюн», «Сан» и «Уорлд».

Говорил он всем одно, но напечатаны его слова были в разных вариантах. Его спросили, почему американцы должны помогать русским революционерам. «Таймс»: «Потому что мы приняли помощь Франции, когда у нас была революция, и были благодарны, а теперь наша очередь платить долг, помогая другим угнетенным народам». Корреспондент спросил, зачем американцы, стремящиеся к мирному урегулированию войн, например Русско-японской, должны «ввергнуть Россию в кровавую революцию». «Потому что свою революцию мы тоже осуществляли огнем и мечом. Революций без кровопролития не бывает». Почему же мы не помогаем революционерам в других странах? «Потому что они нас пока не просят». («Трибюн»: «Я революционер по своим симпатиям, происхождению и принципам. Я всегда на стороне революционеров, потому что не было бы никаких революций, если бы не было невыносимых условий, которые их вызвали».) Потом пошли вопросы о Горьком. «Таймс»: «Каждая страна имеет свои обычаи, и те, кто приезжает, должны соблюдать их. Горький прибыл в нашу страну, чтобы своим громким именем поддержать работу по сбору средств для русской революции. Эти разоблачения ему повредили. Это плохо. Я думал, он придаст движению громадную силу, но произошедшее лишило его этой силы». («Уорлд»: «Горький серьезно повредил своей миссии, если не убил ее».) «Как писатель Горький, разумеется, заслуживает всех возможных почестей». В завершение представитель «Сан» поинтересовался, почему Твен вошел в созданный 11 апреля комитет. «Я люблю быть украшением. Я охотно предоставляю мое имя любой организации, какая попросит, при условии,

что мне не придется ничего делать».

Чего так испугался Твен? Что такого ужасного сделал Горький? Мы всегда говорим о ханжестве американцев — ну, подумаешь, приехал человек с чужой женой, кому какая разница? (Уэллс тоже недоумевал.) Но проблема была в другом. Человек прибыл не как частное лицо, а как серьезный политический деятель, эмиссар, прибыл просить денег для страны, где люди, по его словам, живут в невыносимых условиях, — и тут оказывается, что он оставил в этих невыносимых условиях своих детей, а сам привез красавицу актрису поглядеть на заграничную жизнь; что желание жить с ней в шикарном отеле он поставил выше, чем свою миссию. Любимая женщина важнее революции — ладно, дело хозяйское, но почему тогда американцы обязаны финансировать эту революцию? И ведь его 100 раз предупреждали... По мнению Хоуэлса, Горький совершил ошибку, а в политике это, как известно, хуже преступления: из-за каприза потерял шанс добиться заявленной цели. (То же относится к истории с телеграммой: если так хотел получить деньги — мог бы потерпеть и отослать ее попозже.) Но у Твена, возможно, была еще одна причина охладеть к гостю: он не мог заставить себя симпатизировать человеку, по какой бы то ни было причине оставившему жену и детей.

Он, однако, еще не потерял веру в возможность все уладить. Посоветовал членам «Клуба» спрятать Горького, чтобы тот не высывался, а Андрееву отослать. Это было нелегко: Эрнест Пул в книге «Максим Горький в Нью-Йорке» рассказывал, как «Клуб» чуть не на коленях просил гостя отправить спутницу на виллу к Мартину: «Мы умоляли его помочь нам спасти русскую свободу, спасти его великую миссию». Наконец Андреева уехала на виллу. Пул: «Мы все еще надеялись на Марка Твена. Хоуэлс ушел из комитета, но мы чувствовали, что старик Клеменс мог своим громадным авторитетом поддержать его. Он сказал, что попробует, но только при условии, что мы удержим Горького от новых ошибок, не позволим ему разговаривать с прессой и будем держать его местонахождение в тайне». Газеты писали: «Горький ударился в бег», Уэллсу, приехавшему в дом Шарлотты повидать гостя, члены «Клуба» ответили, что не знают, где он. Пул: «Как мы ненавидели нашу роль! Мы с удовольствием приветствовали Горького и его жену, а теперь мы были вынуждены вести себя так, словно стыдимся, и всё отрицать не только перед репортерами, но и перед друзьями». 17 апреля Твен письменно известил «Клуб», что считает дело безнадежным и выходит из комитета. После этого Горький уехал на виллу Мартина.

Скандалы недолговечны, шум скоро утих, но промышленники и

банкиры, у которых Горький рассчитывал получить деньги, его не принимали — скорее из-за истории с телеграммой, чем из-за жены. Он общался с левыми журналистами, с социалистами, остался популярен, но миссия его провалилась: было собрано всего десять тысяч долларов. (Буренин передал их Большевицкому центру РСДРП.) Неизвестно, дал ли что-нибудь Твен. Вряд ли: он жертвовал редко и с умом (который куда-то девался, когда речь заходила о коммерции). Обществу слепых он деньги давал, много, но там была очевидная практическая польза.

Горький в августовском номере журнала «Книголюб Эпплтона» опубликовал статью «Город желтого дьявола», в которой критиковал Америку, публика отнеслась к ней довольно равнодушно: американцы привыкли, что европейцы их ругают. О Твене он сказал, что тот «прекрасный человек, но стар и не понимает некоторых вещей». Из неоконченной рукописи о Твене «М. Т.»<sup>[48]</sup>: «У него на круглом черепе — великолепные волосы — какие-то буйные языки белого, холодного огня. Из-под тяжелых, всегда полуопущенных век редко виден умный и острый блеск серых глаз, но, когда они взглянут прямо в твое лицо, чувствуешь, что все морщины на нем измерены и останутся навсегда в памяти этого человека. <...> Он кажется очень старым, однако ясно, что он играет роль старика, ибо часто его движения и жесты так сильны, ловки и так грациозны, что на минуту забываешь его седую голову». Но, кажется, Горький все-таки обиделся. Черновые фрагменты: «Сцена: обед, на котором знаменитый писатель, теперь шарлатан, шутник? и все же? его глаза хитрые, но умные? Очень похож на американского Луку? Возможно, святой странник? А теперь самодовольный обманщик? И все же? говорит о революции насмешливо...»

26 апреля в журнале «Индепендент» вышла статья социолога из Колумбийского университета Франклина Гиддингса «Линчевание Горького»: автор сравнивал кампанию против русского гостя со случаем линчевания в Миссури. Теллер попросила Твена высказаться, он написал ей 4 мая, что Гиддингс искажил суть дела: «Проблема возникла именно с Горьким; для Джонса или Смита это было бы чепухой. Он прибыл с дипломатической миссией, требующей такта и уважения к чужим предрассудкам... Он швыряет свою шляпу в лицо публике, а потом протягивает ее, кланя денег. Это даже не смешно, а жалко. Что касается его патриотизма, он пожертвовал высокой целью спасения народа ради пустяка. Он совершил ужасную ошибку и вдобавок отказывается ее признать. Взрослый политик должен понимать элементарные вещи».

Чайковский и Иван Народный потом корили Твена, он отбивался, но



совесть его мучила. Он написал два текста, не публиковавшихся при жизни: «Ливень бедствий» («A Cloud-Burst of Calamities»), где детально воспроизвел хронику тех дней, и более краткий «Инцидент с Горьким» («The Gorky Incident»). Основная мысль: когда выполняешь серьезную политическую миссию, надо вести себя умно, в частности узнать обычаи людей, у которых требуешь денег: «Нарушить обычай много хуже, чем нарушить закон, потому что закон — песок, а обычай — это скала, сплав меди, гранита, кипящего железа». Однако «Ливень бедствий» завершается словами: «Совершили ли вы когда-либо поступок, за который ненавидели себя, который долго не могли себе простить? Я — да». Но почему? Ведь он был прав, а Горький сам виноват? О том, что надо поддерживать российскую свободу, он публично сказал, о том, что Горький «как писатель заслуживает почестей», — тоже... Что не так? Что можно было сделать? Но он был обязан (не Горькому, себе) высказать свои претензии в глаза. Он испугался.

Шарлотте он заявил, что после случившегося «выкинул из головы Россию и русскую революцию». Не выкинул, конечно. Диктовка Пейну от 22 июня посвящена событиям 15 июня в Белостоке: кто-то взорвал бомбу, обвинили евреев, были погромы, несколько десятков убитых, в том числе детей и неевреев, пытавшихся заступиться за соседей, что засвидетельствовали не только «вражеские голоса», но и депутаты Думы. «Вот уже два года, как ультрахристианское царское правительство России официально устраивает и организует резню и избиение своих еврейских подданных». (Погромы организовывало, естественно, не правительство, но за любой погром в любой стране оно несет ответственность — иначе зачем оно?) «Священники и оптимисты любят проповедовать, что человечество непрерывно движется вперед к совершенству. Как обычно, они не подкрепляют свое мнение статистикой». Диктовка от 5 декабря: «130 миллионов русских живут хуже, чем люди Средневековья, которых мы жалеем. Средние века России еще только предстоит пройти...» Ах, как надоели эти глупости, давно известно, что это была большевистская пропаганда, мы хорошо жили, об этом писали разные люди: Бунин, Куприн, Мережковский, Алданов, Набоков... Да, они жили хорошо. И сейчас многие живут хорошо. При любом строе некоторое количество людей, в том числе очень хороших, живет хорошо. И мы все теперь почему-то воображаем, что до революции жили бы так же, хотя далеко не у каждого из нас предки были «белыми людьми».

Твен продолжал бывать в «Клубе» и поддерживать отношения с Чайковским. Весной 1907 года Общество друзей русской свободы просило

его вступить в очередной комитет — отказался, сославшись на занятость. 4 марта общество устроило в Карнеги-холле вечер с участием Алексея Федоровича Аладьина, депутата Думы первого созыва, выходца из крестьян: после роспуска Думы он эмигрировал, выступал с лекциями. Чайковский просил Твена прийти, а также подписать петицию в конгресс с просьбой не выделять кредитов российской власти, «ведущей длительную войну с собственным народом». Твен пришел, петицию подписал. (Она не возымела действия.) В апреле он едва с Чайковским не поссорился: «Таймс» написала, что Твен был в отеле «Сент-Реджис» на выступлении российского политика А. И. Черепа-Спиридовича, монархиста и антисемита, и даже произнес речь (о чем — не сообщалось). Череп-Спиридович действительно прислал Твену два письма, 7 февраля и 27 марта, предлагая посетить его вечера, письма прошли через Изабел Лайон, но нет свидетельств, что Твен на них отвечал. По воспоминаниям Изабел, получив от Чайковского письмо с упреками, Твен сказал, что понятия не имеет, о ком речь. Трудно представить, с чего бы Твен, во всяком случае трезвый, пошел слушать или приветствовать Спиридовича, так что скорее всего «Таймс» напутала, тем более что другие газеты этого не подтвердили. (Твеновед Барбара Шмидт насчитала в Штатах той поры 12 человек, тоже достаточно известных, которых регулярно принимали за нашего героя.)

Чайковский осенью 1907 года вернулся в Россию, 22 ноября был арестован. В Штатах узнали об этом, а также об аресте Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской, лидера эсеров, «бабушки русской революции», уже проведенной 20 лет в Сибири. Твен был в числе американцев, подписавших ходатайство к Столыпину о помиловании. Большой роли оно не сыграло. В декабре Чайковский был освобожден под залог. В ноябре 1909 года Твен подписал вторую петицию к Столыпину, прося «позволить нам надеяться на справедливый суд и открытые слушания». В марте 1910 года Санкт-Петербургская судебная палата оправдала Чайковского, а Брешко-Брешковская была приговорена к ссылке, где пробыла до февраля 1917 года.

Из всех этих людей, боровшихся за русскую свободу, результатом остался доволен один Горький, да и то с оговорками.

Брешко-Брешковская не приняла советскую власть, эмигрировала, умерла в Чехословакии в 1934 году. Чайковский после Февральской революции был депутатом Петроградского совета, большевиков тоже не принял, эмигрировал, умер в 1926 году в Лондоне. Иван Народный до мая 1906 года жил в «Клубе» и, по словам Эрнеста Пула, закупал оружие, летом уехал якобы в Россию, но там не объявился и ни в каких революциях не

участвовал; до 1953 года он жил в Штатах, есть версия, что деньги с доверчивых американцев он собирал не на оружие, а на личные нужды. Аладьин в 1917 году вернулся в Россию, в Гражданскую воевал на стороне у белых, умер в Европе в 1927 году.

А Горький тогда, после скандала, на вилле Мартина писал «Мать». В эти дни в России умерла от менингита его пятилетняя дочь Катя. Он написал жене: велел получше смотреть за сыном и цитировал новый роман: «В мире идут дети... к новому солнцу идут дети, к новой жизни». В октябре 1907 года он уехал на Капри.

## Глава 13

### Том Сойер и сонм ангелов

Большая часть автобиографических диктовок весны 1906 года посвящена Сюзи. Отец бичевал себя: «Для наших детей мы всегда заняты; мы не уделяем им столько времени и внимания, сколько они заслуживают. Мы задариваем их подарками. Но самый драгоценный дар — нашу привязанность, которая так много значит для них, — мы дарим так редко и растрачиваем ее на чужих людей». Он убил малыша Лэнгдона, жену, дочь, сестру, мать, брата; он ничтожество, не писатель, а шут, и ни о чем, кроме самоубийства, не думает. То был дряхлый, отчаявшийся старик. А на следующий день Пейн обнаруживал в бильярдной подтянутого красавца лет пятидесяти, в прекрасном расположении духа. «Жизнь всегда занимала его, и после приступа горя он вновь горячо интересовался, что новенького произошло у «проклятушей человеческой расы», которая была ему чрезвычайно любопытна».

Его собственная жизнь была размеренна. По утрам Кэти пекла ему черничный пирог, он завтракал в постели, запивая его холодным молоком. Шел за сигарами в магазин Джо Айзекса на углу Шестой авеню и Одиннадцатой улицы — там всегда оказывался какой-нибудь репортер, и в газете появлялось сообщение о том, что Марк Твен купил столько-то сигар и сказал что-нибудь остроумное. Приходил Пейн, работали, потом гуляли по Пятой авеню или в Медисон-сквер-гардене, где к ним присоединялся престарелый генерал Дэн Сайклс; следом тащились зеваки. Когда Пейн не приходил, Твен шел в парк и садился на скамейку — слетались няньки, гулявшие с детьми (родители знали, что в определенные часы там можно застать «дедушку Твена»), и требовали рассказывать истории. Говорил он перед детьми по часу и по два: иногда цитировал «Тома Сойера», чаще импровизировал. Одна из «парковых» девочек, Маргарет Макклиланд, вспоминала: «Он был странным человеком, всегда одиноким и задумчивым. Но мы почему-то его обожали...»

Обедать с ним садились Изабел и Джин. Время от времени он устраивал обеды в отеле «Бриворт» рядом с домом, приходили Хоуэлс, Джордж Харви, Брэндер Мэттьюз и соседи: юморист Питер Данн, драматург Огастус Томас, адвокат Мартин Литлтон. Вечером иногда выезжал в клуб или в театр, но чаще сидел дома. Ложился в 11 вечера, читал до часу. Ходил на соревнования по бильярду в качестве болельщика

или судьи, а дома, залучив какого-нибудь гостя, играл с ним ночь напролет; бильярдный стол ему подарила жена Роджерса. Был бодр и крепок, но посетителей продолжал принимать в кровати, как король; его и стали звать Королем. Его письма на аукционах стоили дороже писем Линкольна и Рузвельта. Весной письмо к карикатуристу Насту было продано за 43 доллара — самая высокая на тот момент цена, уплаченная за письмо еще живого человека. Он сказал, что аукционисты поспешили: после его смерти лот стоил бы 86 долларов. Эксцентричным его, вероятно, сделала тоска — сработал защитный механизм, который понуждает любящего мужа, овдовевшего утром, вечер провести в притоне и которого человеку, не испытывавшему настоящего горя, никогда не понять. Но ему понравилось, он втянулся. Ему было 70 лет, он устал, не хотел больше страдать. Он почти превратился в самодовольного богатого старика.

Жил он по-королевски: домашние расходы составляли не менее 50 долларов в день. Его слуги — одни из самых высокооплачиваемых слуг в Нью-Йорке — покупали все самое лучшее, свежее и дорогое; дочери одевались как принцессы. Он зарабатывал больше, чем любой американский писатель; стараниями Роджерса он получал дивиденды от всех самых выгодных и надежных компаний; угольные акции Оливии, на которые давно махнули рукой, тоже начали расти. Волноваться было не о чем. Даже финансовый кризис 1907 года его почти не затронул. (Был в те годы в США другой очень богатый писатель, Джек Лондон, член Социалистической партии; Твен над ним издевался — нельзя быть революционером и миллионером одновременно.) Предлагали выступить за огромные деньги — отказывался, но изредка делал это бесплатно; 16 апреля в Карнеги-холле дал «прощальное» выступление, ньюйоркцы чуть не разнесли все здание (потом, конечно, будет выступать еще). Однако экономить на мелочах любил: уходя, проверял, завернуты ли газовые рожки, свирепо торговался с таксистами.

Особняк на Пятой авеню был темный и сырой, все простужались; Твен решил купить загородный дом, чтобы проводить там лето. Джин была за Дублин — там у нее друзья. Но Пейн предложил Рединг, штат Коннектикут, где у него самого был дом: красивая природа, умеренный климат. Клара и Изабел съездили туда и одобрили. 24 марта Твен купил в Рединге участок в 75 акров, потом еще 110 (и еще не раз будет докупать землю), выщелил деньги на строительство, архитектором нанял сына Хоуэлса — Джона. В середине мая уехали в Дублин, сняли уединенный коттедж и прожили до октября. Клара не приехала: она все «лечилась» в Норфолке. 20 мая прибыли Пейн и Хобби: хозяин был в шикарном белом костюме, с

анютиными глазками в петлице, но в тапочках. 21 мая возобновились диктовки. Хоуэлсу: «Продолжаю диктовать — не спеша, в свое удовольствие. <...> За месяц, что я здесь, прибавилось 60 тысяч слов: а это значит, что я за этот месяц диктовал 20 дней, иначе говоря — 40 часов, в среднем 1500 слов в час. Это немало, и я доволен». За лето было сделано около сорока диктовок: история публикации первых книг, генерал Грант, Уэбстер и другие издатели (все — жулики и бандиты), Брет Гарт, Киплинг, возлюбленная Лора Райт, капитан Уэйкмен, Сюзи, Сюзи, немного о других дочерях, рассуждения на разные темы. Об Оливии не говорил; в годовщину ее смерти не диктовал и три дня пролежал, почти не разговаривая.

Хоуэлсу, 17 июня: «Завтра собираюсь продиктовать главу, за которую моих наследников и правопреемников сожгут живьем, если они осмелятся предать ее гласности раньше 2006 года, — но, полагаю, они этого не сделают. Если я протяну еще года три-четыре, таких глав будет целая куча. Когда выйдет в свет издание 2006 года, будет большой переполох. Я со всеми покойными друзьями буду где-нибудь поблизости и с интересом на это погляжу. Приглашаю Вас тоже».

Вот фрагменты этой главы.

19 июня: «Наша Библия рисует характер Бога с исчерпывающей и безжалостной точностью. Портрет, который она нам предлагает, — это в основном портрет человека, если, конечно, можно вообразить человека, исполненного и переполненного злобой вне всяких человеческих пределов; портрет личности, с которой теперь, когда Нерон и Калигула уже скончались, никто, пожалуй, не захотел бы водить знакомство. Все его деяния, изображенные в Ветхом Завете, говорят о его злопамятности, несправедливости, мелочности, безжалостности, мстительности. Он только и делает, что карает — карает за ничтожные проступки с тысячекратной строгостью; карает невинных младенцев за проступки их родителей; карает ни в чем не провинившихся обитателей страны за проступки их правителей и снисходит даже до того, что обрушивает кровавую месть на телят, ягнят, овец и волов, дабы покарать пустяковые грешки их владельцев».

«Мы, не краснея, называем нашего Бога источником милосердия, хотя отлично знаем, что во всей его истории не найдется ни одного случая, когда он на самом деле проявил бы милосердие. Мы называем его источником нравственности, хотя его история и его повседневное поведение, о котором нам свидетельствуют наши собственные чувства, неопровержимо доказывают, что он абсолютно лишен даже какого-либо подобия нравственности или морали. Мы называем его Отцом, и при этом не в насмешку, хотя мы прониклись бы ненавистью и отвращением к любому

земному отцу, если бы он подверг своего ребенка хотя бы тысячной доле тех страданий, горестей и жестоких бед, на которые наш Бог обрекает своих детей каждый день...»

20 июня: «По меркам нашего нынешнего христианства, каким бы скверным, ханжеским, внешним и пустым оно ни было, ни Бог, ни его сын не являются христианами и не обладают качествами, дающими право даже на это весьма скромное звание».

22 июня: «На протяжении жизни нашего поколения все христианские державы занимались главным образом тем, что искали все более и более новые, все более и более эффективные способы убийства христиан — а попутно и парочки-другой язычников, — и тому, кто хочет как можно быстрее разбогатеть в земном царстве Христа, достаточно изобрести пушку, которая одним выстрелом сможет убивать больше христиан, чем любая ее предшественница».

«Считаю ли я, что христианская религия будет существовать вечно? У меня нет никаких оснований так думать. До ее возникновения мир знал тысячи религий. Все они мертвы».

23 июня: «Когда мы молимся, когда мы умоляем, когда мы взываем к нему — слушает ли он? Отвечает ли он? Человеческая история не знает ни единого несомненного случая, который подтверждал бы это».

«Как часто мы видим мать, мало-помалу потерявшую все, что было ей дорого в жизни, кроме последнего ребенка, который теперь умирает; и мы видим, как она на коленях у его кровати, изливая всю тоску разрывающегося сердца, молит Бога о милосердии. Какой человек, если бы в его власти было спасти этого ребенка, не поспешил бы с радостью утешить ее? И все же ни одна такая молитва ни разу не пробудила жалости ни в одном боге».

«Найдется ли отец, который захотел бы мучить своего малютку незаслуженными желудочными коликами, незаслуженными муками прорезывания зубов, а затем свинкой, корью, скарлатиной и тысячами других пыток, придуманных для ни в чем не повинного маленького существа? А затем, с юности и до могилы, стал бы терзать его бесчисленными десятитысячекратными карами за любое нарушение закона, как преднамеренное, так и случайное? С тончайшим сарказмом мы облагораживаем Бога званием отца — и все же мы отлично знаем, что, попадись нам в руки отец в его духе, мы немедленно его повесим».

«Церковное оправдание и восхваление этих преступлений лишено хоть какой-нибудь убедительности. Церковь заявляет, что они совершаются во имя блага страдальца. Они должны наставить его на путь, очистить,

возвысить, подготовить к пребыванию в обществе Бога и ангелов — послать его на небеса, освященного раком, всяческими опухолями, оспой и всем прочим, что входит в эту систему воспитания и образования. И ведь если церковь хоть что-нибудь соображает, она должна знать, что она сама себя морочит. Ведь она могла бы понять, что если подобного рода воспитательные меры мудры и полезны, то мы все безумны, раз до сих пор не прибегаем к ним, воспитывая наших собственных детей».

25 июня: «Человечество прямо, без малейшего смущения, даже не покраснев, заявляет, что оно — благороднейшее творение Бога. У него было бесконечное множество случаев убедиться в обратном, но этого осла не убеждают никакие факты».

Пейн публиковать эти записи не стал, чтобы не порочить образ классика. Издал их Чарлз Нейдер в 1963 году под заголовком «Размышления о религии» («Reflections on Religion»). Живьем его не сожгли и даже не бранили, как и внуку Твена Нину Габрилович, единственную к тому времени наследницу. Покойного автора тоже не ругали: классику, иконе все можно. Но, комментируя его богоборческие тексты, как правило, либо объясняли их одолевшими писателя несчастьями, в результате которых тот немножечко сбился с магистрального пути, либо повторяли аргументацию Кэти Лири: Марк Твен был хорошим человеком, а значит, и Бога на самом-то деле любил, что бы там ни было у него написано. Но были ли у Твена основания бояться тогда, в 1906-м? Что ему могли сделать?

Ван Вик Брукс, автор одной из первых книг о нем («Испытание Марка Твена», 1920), утверждал, что писатель страшился общественного мнения и поэтому не реализовал свой потенциал; потом он понял, что предал собственный дар, и сошел с ума, чем и обусловлен пессимизм его поздних работ. (То есть сперва Брукс упрекал Твена, что тот не публиковал смелых мыслей, а потом эти самые мысли объяснил психическим расстройством). Оруэлл называл Твена трусом: «прятался под маской присяжного забавника» и никого не критиковал. Бернард Шоу говорил: «Мы с Марком Твеном в равном положении. Мы хотим, чтобы люди думали, что мы шутим, — в противном случае они бы нас повесили». Применительно к Твену (как и к самому Шоу) это не совсем верно — правительство он критиковал открыто, всерьез и, между прочим, ни в малейшей степени из-за этого не пострадал, если не считать негодующих писем от сельских учительниц. Каждый раз во время президентских выборов он шел против своих друзей, а это потруднее, чем идти против абстрактных «всех». Но теперь он все сильнее боялся быть нелюбимым... В религиозной стране



писать эдакие вещи о религии, даже если вы — признанный авторитет (но еще не умерли), значит вызвать бурю нападков (не верите — попробуйте: может, и станете известным, как богоборец Александр Никонов, но для этого надо быть человеком особого склада, который от ругани расцветает, как роза; обычная же знаменитость наших времен, даже если признается в атеизме, обязательно сделает реверанс: очень-де уважаю религию и чувства верующих). Толстой с этим столкнулся, хотя критиковал не Бога, а всего лишь церковь; возможно, история с его отлучением в какой-то степени повлияла на Твена.

Он решился издать «Что такое человек?», но анонимно, к тому же убрал самые резкие фрагменты (о жестокости Бога, о Нравственном Чувстве). По его просьбе Фрэнк Даблдэй отдал текст издательству «Де Винн пресс», которое в августе выпустило 250 экземпляров, копирайт зарегистрировали на редактора издательства Ботвелла. Книгу никто не обсуждал, «Таймс» и «Сан» похвалили стиль, но заметили, что автор не сказал ничего нового. Твен жалел, что напечатал ее. Он никогда публично не признал авторства; оно было установлено посмертно. Он перестраховывался. Тем летом опять работал над книгой, которую Курт Воннегут назовет лучшей его работой, — «Путешествие капитана Стормфилда в рай» («Captain Stormfield's Visit to Heaven»). Когда-то Оливия, прочтя один из вариантов, назвала историю очаровательной, но богохульной; то же сказал Туичелл. Твен робко показал ее Джорджу Харви и услышал ответ: мы такие книжки не публикуем — она чересчур религиозная...

В конце концов Харви согласился напечатать фрагмент книги («Extract from Captain Stormfield's Visit to Heaven») — третью и четвертую главу из четырех законченных — в декабрьском и январском номерах «Харперс мэгэзин» как рождественское чтение для детей и домохозяек. Прелестный фантастический отрывок понравился всем, включая священников; как и о «Дневнике Евы», никто не сказал о нем злого слова. В 1909 году этот фрагмент вышел отдельной книжкой, был включен в собрание сочинений. (В 1952 году в «Харперс» вышли все четыре главы; в книгу «Библия Марка Твена», изданную в 1995 году под редакцией Джозефа Макаллоу, включены также недописанные пятая и шестая главы.)

Капитан Стормфилд умирает:

«Долгая, томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца:

— Все. Отошел. Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут.

И сразу тьма. Непроглядная тьма! Я понял, что я умер. Я почувствовал,

что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мною океан и корабль, потом стало черно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понесся вверх. «Я весь тут, — мелькнуло у меня в мозгу, — платье на мне, все остальное тоже, вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело вместо меня. Я-то весь тут!»»<sup>[49]</sup>

«Вдруг я увидел какой-то свет и в следующее мгновение влетел в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22. Знаете, что это было? Солнце. Я так и догадался, а позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода: сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду».

Далее капитан летит в большой компании — описание полета занимает первую и вторую главы. Но в третьей и четвертой главах (то есть в первоначально опубликованном варианте) он один: «Лечу я однажды ночью и вдруг вижу впереди на горизонте длиннейшую цепь мигающих огней. Чем ближе, тем они разрастались больше и вскоре стали похожи на гигантские печи.

— Прибыл наконец, ей-богу! — говорю я себе. — И, как следовало ожидать, отнюдь не в рай!

И лишился чувств. Не знаю, сколько времени длился мой обморок, — наверное, долго, потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко и воздух был теплый и ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо-таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сверкающих драгоценных камней высотой во много миль; они были вделаны в стену из чистого золота, которой не было ни конца ни края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из ворот я и понесся как угорелый. Тут только я заметил, что в небе черно от миллионов людей, стремившихся туда же. С каким гулом они мчались по воздуху! И вся небесная твердь кишела людьми, точно муравьями; я думаю, их там было несколько миллиардов.

Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне весьма деловым тоном:

— Ну, быстро! Вы откуда?

— Из Сан-Франциско.

— Сан-Фран... Как, как?

— Сан-Франциско.

Он с недоуменным видом почесал в затылке, потом говорит:

— Это что, планета?»

Антропоцентрические убеждения капитана оказались разбиты — Вселенная плотно заселена, и райские бюрократы, такие же зануды, как на Земле, долго не могут разобраться, что это за отдаленная планетка. (Лем повторил этот сюжет в «Путешествиях Ийона Тихого» и ряде других работ.) Попав наконец в крошечный земной отдел рая, капитан играет на арфе и машет крылышками, как его учили священники, пока старожил Мак-Вильяме не разъясняет, как всё устроено на самом деле: «В этом-то и заключается главная прелесть рая: сюда попадают люди всякого сорта — здесь священники не командуют. Каждый находит себе компанию по вкусу, а до других ему дела нет, как и им до него. Уж если Господь создал рай, так он устроил все как следует, на широкую ногу».

В этом раю нет равенства — «существуют вице-короли, князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства, начиная от великих князей — архангелов, и дальше все ниже и ниже, до того слоя, где нет никаких титулов», — но есть справедливость: титулы, как при социализме, даются по способностям и труду (вечно бездельничать нормальному человеку скучно даже в раю: тут работают). «Ты сам можешь выбрать себе род занятий; и если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь тачать сапоги». «Этот портной Биллингс из штата Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто не хотел их печатать и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними». Теперь портному воздано по заслугам — он признанный поэт и занимает высокое общественное положение.

Такие модели рая любят придумывать художники, кому труд — наслаждение; но что делать бесталанному большинству людей? Они тачают сапоги для «высших»? Их перевоспитывают? Ничего подобного: твеновский рай — не нудный социализм, а беспечный коммунизм, любой балбес может приятно проводить время, таскаясь с приема на концерт, и последнему ничтожеству, если оно захочет, организуют пышную встречу: «Молодежь веселится вовсю — никому это не во вред, и денег не надо тратить, а зато укрепляется добрая слава рая как места, где всех вновь прибывших ждет счастье и довольство».

«— Вот это справедливо и разумно, — сказал я. — Много работы, но лишь такой, какая тебе по душе; и никаких больше мук, никаких страданий...

— Нет, погоди, тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны. Пойми, счастье не существует само по

себе, оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному. Вот и всё. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем, — счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста — тут и счастьем конец и человеку уже нужно что-то новое. Ну а на небе много мук и страданий — следовательно, много и контрастов; стало быть, возможности счастья безграничны».

Четвертая глава завершается описанием бала, напоминающего земной, только пышнее. Две следующие, которые автор не собирался публиковать, представляют собой фрагментарные наброски: Стормфилд совершает поездку на астероид, населенный микробоподобными существами, и собирается на экскурсию в ад — но эту тему Твен не развил. Центром шестой главы должен был стать рассказ падшего ангела, по поручению Сатаны населившего некую планету существами, у которых хорошие и дурные черты были уравновешены, а потом в качестве эксперимента создавшего Землю, где качества перемешались произвольно и получились люди противоречивые и непредсказуемые. Далее Стормфилд узнает, что наши молитвы Бог, вопреки тому, что всегда утверждал Марк Твен, все-таки слышит, да вот беда — его время и наше различаются, пока у него длится день, у нас проходят тысячелетия, и ответ на свою мольбу человек не успевает получить при жизни.

Относительность времени — тема обычная для фантастики XX века, но Твен был одним из первопроходцев. В последние годы он много читал по астрономии и писал о космосе так, словно бывал там. «Почти девяносто миллионов миль за восемь минут! Ну и возгордился же я — таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки. Не успел я это подумать, как Солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел мимо него, не успев даже согреться. И снова попал в крошечную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка».

Недописан «Стормфилд», видимо, потому, что было много других замыслов; параллельно Твен занимался своим Ветхим заветом, написал ряд фрагментов, публиковать не стал — то ли перестраховываясь, то ли просто потому, что они были недоработаны. В 1962 году Бернард Де Вото включил в сборник «Письма с Земли» эти отрывки (объединенные заголовком «Мир в году 920 после сотворения» («The World in the Year 920 After Creation»): «Из дневника дамы, состоящей в третьей степени родства», «Извлечение из беседы Реджинальда Селкирка, безумного философа, с ее величием,

исполняющей обязанности главы человечества», «Отрывок из лекции», «Отрывок из дневника человека с положением», «Отрывок из дневника».

«Безумный философ» Селкирк описывает допотопную цивилизацию, изрядно напоминающую нашу: «Она замечательна научными и техническими чудесами, материальной пресыщенностью, которую она называет развитием, прогрессом и другими красивыми словами; замечательна раскрытием сокровенных тайн природы и победами над ее упрямыми законами; замечательна своими неслыханными финансовыми и коммерческими достижениями; замечательна своей жадой денег и равнодушием к тому, как эти деньги приобретаются»; ее отличают «превращение рядовых членов всех национальных партий в покорных овец, закрытие государственной службы для сильных характеров и интеллектов или избрание продажных законодательных собраний, болтливых конгрессов и муниципалитетов, которые грабят свой город и за взятки покровительствуют ворах, проституткам, содержателям игорных притонов и сводникам»; ее религия «из сердца переместилась в рот»; ее патриотизм — «подделка, пакость, посеребренная детская погремушка, с помощью которой сброд грабителей, пустозвонов, слабоумных и лицемеров, именуемый правительством, обманывает и прибирает к рукам доверчивый народ».

Селкирк убежден, что всё повторяется и люди не меняются: «Возьмите миллиард человек, поставьте их вплотную друг к другу, и их макушки образуют плоскость, такую же ровную, как крышка стола. Эта плоскость воплощает интеллектуальную высоту массы, и она неизменна». «Погибнет ли эта замечательная цивилизация? Да, всё гибнет. Возникнет ли она опять и будет ли существовать вновь? Да, ибо всё, что бы ни случилось, должно случиться снова. И снова, и снова — и так вечно». Твен окончательно утвердился во мнении, что история циклична. Из диктовки 15 января 1907 года: «В течение веков человечество создало несколько великих и сильных цивилизаций и явилось свидетелем того, как незаметно возникали неожиданные обстоятельства, приносившие с собою смертоносные дары, — люди принимали их за благодать и приветствовали их появление, — после чего эти величавые цивилизации разрушались и гибли. Нет никакого смысла пытаться помешать тому, чтобы история повторялась, ибо характер человека всегда будет обрекать эти попытки на неудачу. Всякий раз, когда человек делает большой шаг вперед в области материального благосостояния и прогресса, он неизменно полагает, что это его прогресс, тогда как на самом деле он не продвинулся вперед ни на йоту, вперед продвинулись лишь условия его жизни, он же остается на прежнем месте.

Он знает больше, чем знали его предки, но интеллект его ничуть не выше их интеллекта и никогда выше не станет».

В этой идее его укрепило подозрение, что Америка движется к монархическому строю — на эту тему был ряд диктовок. Де Вото не включил в сборник отрывок, по смыслу близкий к вышеперечисленным, — «Два фрагмента из запрещенной книги, озаглавленной «Взгляд на историю»» («Two Fragments from a Suppressed Book Called 'Glances at History' or 'Outlines of History'»): жила-была свободолюбивая республика (США), но потом начала угнетать другие страны (Филиппины) и испортилась: «Толпы, рукоплескавшие подавлению чужих свобод, дожили до дня, когда им самим пришлось расплачиваться за эту ошибку. Правительство окончательно попало в руки сверхбогачей и их прихлебателей; избирательное право превратилось в простую машину, и они вертели им как хотели. Торгашеский дух заменил мораль, каждый стал лишь патриотом своего кармана. Плутократы, которые вначале только с великой пышностью принимали аристократов из соседних стран и покупали их для своих дочерей, с течением времени сами возжаждали наследственных титулов. Возникло все усиливающееся тяготение к монархическому строю». Потом появился диктатор и взошел на трон: сопротивляться было поздно.

В этом фрагменте Твен вновь размышлял о патриотизме: «Каждый должен говорить сам за себя, от своего имени и на свою ответственность. И это — великая и святая ответственность, от нее нельзя легкомысленно отмахнуться, поддавшись запугиванию со стороны церкви, газет, правительства или чарам пустой фразы политикана. Каждый сам должен решить для себя, какой путь правый, а какой — неправый, что патриотично, а что нет. Нельзя уклониться от выполнения этого долга и остаться человеком. А выбрать путь против внутреннего убеждения — значит стать подлецим и бессовестнейшим предателем и по отношению к самому себе, и по отношению к своей стране, как бы ни называли тебя люди». Впрочем, есть случаи, когда и честному человеку нужно поддерживать правительство, даже если оно не право: «когда опасность грозит самому существованию страны». Проблема в том, что правительства всегда путают собственное существование с существованием страны...

Лето было сверхпроизводительное: Твен также завершил книгу о Мэри Эдди «Христианская наука» («Christian Science»), которая вышла в 1907 году в «Харперс», написал очерк о Хоуэлсе для «Харперс мэгэзин». Харви просил его опубликовать в «Норз америкэн» часть автобиографических диктовок, он не хотел, но соблазнился гонораром в 30 тысяч: деньги были

нужны на строительство дома. Отобрал 25 самых безобидных отрывков: о детстве, о семье, о некоторых знакомствах; они публиковались с сентября 1906-го по декабрь 1907 года. Он умудрялся еще находить время для поездок в НьюЙорк по издательским делам и в Фэйр-Хэйвен к Роджерсу, несколько раз плавал с ним на «Канахе». В Дублине собирал окрестных детей, устраивал спектакли, взял на воспитание двух котят, изредка принимал журналистов. Идиллическая жизнь — так ее описал Пейн. На самом деле в окружении стареющих богатых знаменитостей идиллии встречаются редко.

Изабел Лайон полюбила своего шефа — по ее словам, то было платоническое чувство без каких-либо планов, по мнению Твена (и всех его близких), она хотела стать его женой. Об этом написано много книг: «Блаженный» Хэмлина Хилла (1973), «Другая женщина Марка Твена» Лоры Скандера-Тромбли (1994), «Опасная близость» Карен Листры (2004), «Мужчина в белом» Майкла Шелдена (2010) и ряд других, менее значительных. Первые два автора считают, что выживший из ума старик, понукаемый злобными дочерьми, ограбил и оклеветал честную женщину. Два вторых — что секретарша манипулировала работодателем и пыталась причинить вред его детям, за что и была уволена. При этом все они основывались на одних источниках: дневнике Изабел и тексте Твена, известном как «Рукопись об Эшкрофте и Лайон» («Ashcroft-Lyon Manuscript»); существует также дневник Джин Клеменс<sup>[50]</sup>, проигнорированный Хиллом и Скандерой-Тромбли. Кому верить, каждый биограф решает сам. Чтобы разобраться в проблеме, попытаемся основываться не только на словах, но и на фактах и логике.

Изабел писала, что обожает Короля: красив, элегантен, шикарно одевается, чудесно пахнет. Январь 1905-го: «Никогда на земле иль в небесах не существовало никого, равного м-ру Клеменсу!» Март 1905-го: «Я живу близ трона. <...> Он — Король — и он велик — и коронован!» Январь 1906-го: «О, какое богатство — его характер, его интеллект и душа! Он спускается в самые трагические глубины земли и небес, рая и ада — он вскипает весельем — он раздражается тихими рыданиями — жестокой сатирой он разрушает вашу веру — его богохульства поражают вас подобно ударам молнии — и он — самое нежное, самое внимательное, самое привлекательное создание в целом свете — но как искусно он скрывает свою подлинную суть от большинства людей! <...> Как он великолепен! Его величие — его гений — его магнетизм — и его прекрасная великая душа!»

Объект в тот же период писал о ней так: «Я очень высокого мнения о

мисс Лайон». «Она сидит за столом, когда есть гости и когда их нет; наши друзья стали ее друзьями; они посещают ее, и она посещает их; она превратилась в хозяйку дома». Несколькими годами позже: «Секретарша начала «эволюционировать». Не сразу, нет, очень постепенно, шаг за шагом: тут сцена, тут ложь, тут слезы, все очень искусно». Ее чувства для него не были тайной. «Был ли я в неведении относительно того, что в середине 1906-го она решила выйти за меня? Нет — я это знал. Я очень невнимателен и плохо чувствую людей, но я был способен заметить это... Но я не придавал значения». Из неотправленного письма Хоуэлсу: «Мог ли я когда-нибудь найти человека, который сравнился бы с ней [Оливией], и жениться вновь? И даже если бы я встретил такого человека, как Вы думаете, могла ли это быть мисс Лайон? За 74 года я нашел только одну женщину, на которой хотел жениться, и я потерял ее». Тем не менее он, как отмечали все окружающие, не пытался «охладить» секретаршу и позволил ей стать полновластной хозяйкой дома. К лету 1906 года его чековая книжка была в ее руках; она распоряжалась деньгами по собственному усмотрению, слуги впоследствии показывали, что она отдавала распоряжения; когда звонил телефон, она решала, звать хозяина или нет.

Когда рядом с богатым пожилым мужчиной появляется чужачка и становится фактической хозяйкой, родственники не могут не насторожиться. Должна была обеспокоиться Клара, дама волевая и практичная. Но она, выписавшись из санатория, в Дублине не показывалась, а сняла в Норфолке дом; все лето и осень 1906 года репетировала с аккомпаниатором, канадским пианистом Чарлзом Уорком, пела на частных концертах, редко навещала отца, который был вынужден смириться с ее самостоятельностью и даже начал гордиться ее карьерой. С Изабел, по словам Клары, у нее были прекрасные отношения: обсуждали наряды, секретарша хвалила ее вокальные данные, в ее жизнь не вмешивалась. Первый звонок для Клары прозвенел, вероятно, в октябре 1907 года, когда, приехав навестить своих, она узнала, что сестру отсылают из дома.

Джин зиму 1905/06 года прожила в изоляции: если мать пыталась заставить ее общаться с людьми, то отец, напротив, хотел, чтобы она сидела дома, отклонял за нее приглашения. Она писала дублинской подруге Нэнси Браш, что ей все хуже, из-за болезни ничем не может заниматься. Из дневника Изабел в начале 1906 года: «Не только ее болезнь прогрессирует, но и ее общее физическое состояние ухудшается, и ребенок требует от нас величайшей любви и заботы». А 27 января 1906 года секретарша записала, что больная набросилась на Кэти Лири и пыталась ее убить, причем не в



первый раз — такое уже было 18 января, а еще раньше — 26 ноября 1905 года. «Она знала, что не сможет остановиться, она должна была нанести удар, и она сказала, что хотела совершить убийство». (В ноябре 1905 года Изабел почему-то не упомянула о проступке Джин, и Кэти ее слов никогда не подтверждала.)

Сейчас мысль о том, что эпилептик — прирожденный убийца, кажется идиотской, но тогда все так считали. Чезаре Ломброзо писал, что эпилепсия — одна из основных причин преступности. «Американский психиатрический журнал», конец XIX века: «История эпилепсии — это история насилия, преступлений и убийств». «Журнал нервных и психических заболеваний»: эпилептиков отличает «ужасная беспричинная жестокость, приводящая к убийствам». Самое мягкое, что можно было прочесть об эпилептиках в справочниках, — «своевольны, упрямы и вспыльчивы». Как ни странно, такую же позицию заняли Хилл и Скандера-Тромбли, утверждающие, что девушка представляла реальную опасность для окружающих, хотя ни одного свидетельства ее агрессивного поведения, кроме слов Изабел, не существует. Джин занималась вырезанием по дереву, используя острые инструменты, которыми можно поубивать весь дом, — ни ее лечащий врач Кинтард, ни сама Изабел против этого никогда не возражали. В конце января 1906 года состоялся первый разговор Изабел с Кинтардом: она предложила изолировать «опасную» больную, но врач не видел оснований. Отцу девушки Изабел пока ничего не сказала.

Летом в Дублине Пейн наблюдал за Джин: она общалась с юношами и девушками на восемь — десять лет моложе, к ней относились как к ребенку, не разрешали флиртовать, не пускали без Изабел даже к зубному врачу, лишили любимого развлечения — верховой езды, ибо кататься одной опасно, а вдвоем с грумом неприлично. Вероятно, это делалось из лучших побуждений — однажды, когда Джин пошла с компанией на пикник, у нее был приступ, — но она считала, что из нее делают узницу. Она пыталась бунтовать, устраивала отцу и Изабел сцены, за которыми следовали приступы, расцениваемые как доказательство того, что она «ненормальная» и «агрессивная». О том, чтобы ей жить самостоятельно, никто и слышать не хотел, а бежать у нее не хватало воли, к тому же «лечение» сделало ее неприспособленной к жизни. Она наивно надеялась зарабатывать резьбой по дереву — ничего не вышло. Ее дневниковые записи полны детского страдания: все ее ненавидят, Изабел ничего не разрешает и настраивает отца против нее. Она влюбилась в Пейна, плакала, когда он уехал, влюбилась в соседского юношу, но тому нравилась другая. «Я, кажется, никогда не привлекала мужчин. Является ли причиной моя болезнь?.. И

даже если бы мужчина, которого я могла бы любить, любил меня, я бы не имела права выйти за него, чтобы моя болезнь не передалась детям?» Пейн не мог ответить на ее чувства, но очень ее любил: «Она всегда в белом: высокая, бледная, прекрасная классической красотой, и тихая, подобно духу»; «Трагическая красота молодой королевы, приговоренной к казни». Чужой человек ее мучения видел. Отец — нет: 25-летняя женщина, красивая, умная и страдающая, для него была большим подростком с тяжелым характером.

По собственному признанию Изабел, она мечтала о лете 1906 года как о рае для двоих: прогулки, душевные беседы, — но возле Короля крутился Пейн, а она была вынуждена сидеть с Джин. Она обсудила с Твенем «поведение» его дочери: Джин опасна для себя и других, надо поместить ее в санаторий, там она если не вылечится (эпилепсия неизлечима), то по крайней мере «подлечится». Твен согласился: потом он напишет об этом как о «самом ужасном зле, какое когда-либо совершил». Убедили Джин, что все делается для ее блага, Изабел проконсультировалась с несколькими докторами, от несговорчивого Кинтарда перевела больную под наблюдение врача из государственной психиатрической лечебницы «Гудзон-Ривер» Фредерика Петерсона, убежденного сторонника изоляции эпилептиков в специальных учреждениях. Тот рекомендовал свою клинику в городке Катона недалеко от Нью-Йорка.

17 октября Клеменсы вернулись в НьюЙорк, ждали, когда в санатории будут готовы принять Джин. Приехала Клара — для нее это было полной неожиданностью. С сестрой она не была особенно близка, но впала в истерику (это, видимо, была ее обычная защитная реакция) и слегла. Джин была в отчаянии: «Было ужасно тяжело оставить отца и Клару и уехать в это совершенно ужасное место. Я старалась сдержаться и не плакать перед ними, но по мере того, как день отъезда приближался, мне было все труднее сдерживаться, особенно когда Клара тоже начала плакать, и тогда я уже не могла сдержаться. Бедный папа тоже, кажется, чувствовал себя плохо, и всё было совершенно ужасно». Джин с испугом писала о том, как будет жить среди чужих, но не сомневалась, что у нее по крайней мере будет отдельная комната: о том, что Изабел от имени Твена написала Ханту и попросила поселить с Джин другую женщину, ее не сочли нужным поставить в известность. 25 октября она уехала, Клара рыдала, Изабел записывала: «Сердце разрывалось на это глядеть», Твен сообщил Мэри, дочери Роджерса, что очень рад, на следующий день писал ее мачехе, что совсем пал духом. Клара через два дня взяла себя в руки, съездила к сестре, вернулась в угнетенном состоянии, но объясняться ни с кем не стала и

сбежала в Норфолк. Понять ее можно: она пыталась устроить свою жизнь и не хотела вешать на себя проблемы других. Король и секретарша остались вдвоем — если не считать Пейна.

«Я непрерывно работал на протяжении 65 лет, — писал Твен Томасу Олдричу, — и никому нет дела, как я распоряжусь оставшимися мне двумя или тремя, так что я решил прожить их в удовольствие». Собрался в Египет, Изабел писала, что «в отчаянии» от того, что он хочет ехать без нее, через несколько дней Твен, по словам Пейна, сказал ему, что не поедет, ибо «один человек мне этого не советует». Диктовки были заброшены, вместо них целыми днями играли в бильярд с Пейном. Наезжала Клара, пыталась наводить порядок, повесила объявление: «Никакого бильярда после 10 вечера». Но Изабел ни в чем хозяину не перечила. Жизнь пошла ленивая, приятная: из театра — в ресторан, из клуба — в бильярдную. Но вскоре обнаружилось, что эта «жизнь в удовольствие» пуста, как в том раю, о котором священники рассказывали капитану Стормфилду. Из диктовок весны 1908 года: «После смерти моей жены, 5 июня 1904 года, я испытал длительный период тревог и одиночества. Клара и Джин были заняты своими делами, а я купался в пустом океане банкетов и разглагольствований о высоких материях... Я достиг возраста бабушки; единственное, в чем я нуждался, были внуки».

Джин, как считалось, никогда не выйдет замуж. У Клары с Габриловичем дело не двигалось. (Возможно, у нее был роман с Уорком, женатым человеком, но это не подтверждено.) Внуков нет и не предвидится. «Что за дом без детей? — жаловался Твен. — Это не дом, а руины». И он начал искать внуков на стороне.

«Увнучивать» он стал только девочек — современные изыскатели на этом основании «шьют» педофилию (нетрудно представить, что бы они сказали по поводу мальчиков). Но на первый взгляд действительно странно, что человек, создавший лучшие в мировой литературе книги о мальчишках, не хотел иметь внука. Причина, возможно, в том, что его сын умер младенцем, воспитывал он только дочерей, с которыми, когда они были маленькими, он был счастлив; их взросление он воспринял как предательство, хотел свое счастье повторить. Кроме того, мальчишки были существами обыкновенными, такими же, как он, а в девочках ему виделись «ангелы». В 1873 году он прочел о Марджори Флеминг, шотландской девочке-поэтессе, жившей в начале XIX века и умершей в девять лет; участь этого поэтического чудо-ребенка всю жизнь его занимала, и в 1909 году он написал о ней эссе для «Харперс». Возможно, он искал вторую Марджори — или вторую Сюзи.

Первой «внучкой» некоторые биографы считают Гертруду Наткин — родилась в 1890-м, дочь еврейского иммигранта из России. Твен познакомился с Наткинами в декабре 1905 года на концерте в Карнеги-холле. 27 декабря Гертруда ему написала: «Вчера очень счастливая девочка ушла домой, думая только о дорогом м-ре Клеменсе. Я хочу поблагодарить Вас за Вашу доброту. Я думаю, Вы прочли на моем лице, что я хотела заговорить с Вами, и было так любезно с Вашей стороны удовлетворить мое желание... Я — маленькая девочка, которая любит Вас». Несколько месяцев переписывались, Твен приглашал ее с родителями на свои выступления, она присылала цветы, звонила по телефону. Но девочка была не такая уж маленькая; ее письма и знаки внимания были больше похожи на женские. 8 апреля 1906 года, когда Наткин исполнилось 16 лет, Твен написал ей с нескрываемой досадой: «Шестнадцать! Ах, что стало с моей маленькой девочкой? <...> Если б Вы могли вернуться в 14! Прощайте, милые 14...» — и после этого отношения оборвал и в реестре «внучек» Гертруду не числил. Сам он назвал первой «внучкой» Дороти Бьюте — англичанка, родилась в 1893-м, ее семья приехала в НьюЙорк по делам, познакомилась с Твеном в октябре 1906-го — как раз после отъезда Джин. «Никогда не было более чудесного ребенка. Типично английский облик; искренняя, откровенная и прямодушная, как подобает в ее возрасте». Завязалась переписка, Бьютсы приводили Дороти на Пятую авеню. Но девочка, приходящая в гости раз в неделю, не могла заменить настоящую внучку. Счастлив он не стал. Пейн вспоминал: «Однажды после диктовки, когда я пришел в бильярдную, он гонял шары по столу, очевидно очень угнетенный. Он сказал: «Я подумал — проживу еще два года и конец. Я убью себя». Я сказал, что светская жизнь в городе его утомляет и он сможет отдохнуть в загородном доме. «Единственный загородный дом, который мне нужен, — сказал он с отчаянием, — это кладбище»».

Пейн, сделавший все, чтобы мир не узнал о проблемах Короля, умалчивал о том, что всю осень 1906 года разворачивалась трагедия с Джин. Та писала отцу, жаловалась, молила забрать ее домой, он расстраивался. Изабел порекомендовала писем не читать. Она этого и не скрывала: «Я знаю, что Король должен избегать волнений, и знаю, как того достичь. Его не нужно беспокоить лишними проблемами и сложностями». Она прочитывала письма и пересказывала то, что считала нужным. Он не возражал. Скоро он назовет себя «дураком, негодяем и предателем». Но тогда его это устраивало. Хуже того, он согласился, чтобы секретарша сама писала Джин от его имени. Он не хотел «проблем и сложностей».

Он становился все экстравагантнее. Начал одеваться исключительно в

белое. «Да, я настаиваю, что белый — лучший цвет для мужской одежды. Если бы мужчины не были такими идиотами, они бы признали это». «Я хотел бы одеваться в великолепные пышные костюмы из шелка и бархата ошеломляющих расцветок, и все, кого я знаю, хотели бы, но никто не смеет». Портной сшил шесть костюмов из фланели сливочного цвета и четыре длинных, просторных белых пальто: когда Король фланировал по Пятой авеню, пальто было видно издалека и толпы зевак удвоились. Он произвел фурор, впервые появившись в белом на официальном мероприятии в декабре 1906 года, когда приехал в Вашингтон выступать перед конгрессом по вопросу о копирайте. Ему предоставили комнату для работы, специального библиотекаря; любопытные со всего города стекались к Капитолию поглазеть на белое пальто, о котором уже раззвонили газеты. Сопровождавший его Пейн писал: «Всюду, куда он шел, толпы людей набрасывались на него...»

На тот момент авторские права действовали 42 года, после чего переходили в собственность издателей или государства. «НьюЙорк таймс»: «Марк Твен рассматривает существующие законы как грабеж. Он много лет думал, как защитить от грабежа детей писателей, и нашел способ». Способ гениальный: как только истечет срок копирайта на какую-либо из его книг, он, а потом его наследники будут добавлять к этой книге фрагменты автобиографии (она не будет целиком публиковаться не только при его жизни, но и еще 100 лет после) и получится новый текст, на который заново регистрируется копирайт. Первая часть автобиографии выйдет в 1910 году независимо от того, умрет он к тому времени или нет, и будет добавлена к «Простакам за границей», копирайт на которых как раз закончится. Полностью от грабежа это не спасет, ведь старая редакция «Простаков» перейдет к издателям, но по крайней мере многие читатели захотят приобрести дополненную редакцию. «Таймс»: «Он верит, что срок авторского права возрастет до 84 лет, и он сказал: «Дети — вот все, что меня волнует; внуки пусть уж сами блюдут свои интересы»».

Твен в 1906 году инструктировал Пейна: «Возможно, некоторые высказывания не подойдут для первого, второго, третьего и четвертого изданий. Возможно, они будут восприняты только через 100 лет. Не спешите. Ждите». Дождались...

История публикации его автобиографии длинна, запутанна и до сих пор не окончена. Начав записи в 1870 году, он периодически продолжал их в 1877, 1885, 1886, 1890, 1898, 1904 годах, затем с 1906 по 1909-й пошли систематические диктовки с Пейном. После его смерти Пейн по завещанию

был назначен литературным душеприказчиком; кроме Пейна и наследников, никто не имел доступа к архиву. Пейн издал в 1912 году собственную книгу — биографию Твена, в 1917-м — некоторые его письма, в 1923-м — сборник статей «В Европе и всюду», в 1935-м — фрагменты записных книжек; опубликовал также собственную версию романа о Сатане и ряд неоконченных твеновских рассказов. Он сгладил острые углы, не публиковал ничего чересчур (по его мнению) личного, критичного по отношению к другим людям, ничего политического и религиозного; он даже переписал «Человека, ходящего во тьме», притом что текст был еще при жизни Твена напечатан в авторской редакции. Он поступил так же и с автобиографией, которую выпустил в двух томах в 1924 году: опубликовал лишь то, что считал нужным. Он утверждал, что сделал это в соответствии с указаниями Твена, но если и существовали прямые указания на то, какие именно записи «будут восприняты только через 100 лет», о них ничего не известно. Зато известно откровенное письмо Пейна в «Харперс» в 1926 году, в котором говорится, что никому нельзя позволять писать о Твене, «пока мы в состоянии это предотвратить. Если мы позволим другим писать о нем, Марк Твен, которого мы знали, традиционный Марк Твен станет исчезать и меняться, и это обесценит собственность «Харперс»». Он открыто признавался, что хотел создать «канонический образ великого человека», «личность, недоступную для критики». Клара, 1926 год: «Я посмотрела на материал, отобранный Пейном, отцовскими глазами и почувствовала, что он мне словно говорит: «Предоставьте факты Пейну, а он пусть расскажет историю»».

Пейн поместил в «Автобиографию» написанные Твеном до начала диктовок рассуждения об искусстве публичных выступлений, воспоминания о детстве и юности, о Гранте, Пейдже, Роджерсе, Макфарлейне и ряде других знакомых, но исключил фрагмент о смерти Оливии (видимо, ему показалось, что «каноническому образу» негоже так убиваться по жене). Диктовки он тоже включал далеко не все. Из записей зимы — весны 1906 года было выброшено около десяти фрагментов, принципиальных — три: 1) от 16 февраля о Гулде, одном из первых американских миллионеров, известном своей беспринципностью: «Евангелие, оставленное Джемом Гулдом, свершает триумфальное шествие в наши дни. Вот оно: «Делай деньги! Делай их побыстрее! Делай побольше! Делай как можно больше! Делай бесчестно, если удастся, и честно, если нет другого пути!»»; 2) от 20 марта о Рокфеллере: богатые люди, называющие себя христианами и проповедующие «раздать имение нищим», сами ничего подобного почему-то не делают, тут же — ядовитая

критика библейского Иосифа; 3) от 3 апреля — ругательства в адрес Рузвельта. Завершил Пейн книгу диктовкой от 11 апреля 1906 года — о первом публичном выступлении в Нью-Йорке.

Из записей, сделанных с лета 1906 по 1908 год, он не взял вообще ничего, причем непонятно, чем руководствовался, — там полно безобидных текстов. Выкинул рассказ о Лауре Райт — ну, наверное, посчитал, что «канонический образ» не имеет права на юношескую влюбленность; не взял историю написания непристойного «1601» — это понятно; отклонил воспоминания о болезнях и смерти близких — «канонический образ» не должен грустить и проклинать судьбу; убрал рассказ о неудачной речи на обеде в честь Уиттьера — не было такой речи! Но почему Пейн не включил, например, рассказы о детстве Джин и Клары, или об обедах с монархами, или рассуждения о копирайте — уму непостижимо. И при этом решился опубликовать такой фрагмент, что по сравнению с ним уже ничто не может шокировать, — от 23 января 1906 года:

«Я хочу взглянуть на человека со следующей точки зрения, исходя из следующей предпосылки: что он не был создан ради какой-то разумной цели, — ведь никакой разумной цели он не служит; что он вообще вряд ли был создан намеренно и что его самовольное возвышение с устричной отмели до теперешнего положения удивило и огорчило Творца. Ибо его история во всех частях света, во все эпохи и при всех обстоятельствах дает целые океаны и континенты доказательств, что из всех земных созданий он — самое омерзительное. Из всего выводка только он, он один наделен злобой. <...> В мире широко распространены некоторые приятно пахнущие, обсахаренные разновидности лжи, и, очевидно, все занимающиеся политикой люди безмолвно согласились поддерживать их и способствовать их процветанию. Одна ложь гласит, что в мире существует такая вещь, как независимость: независимость взглядов, независимость мысли, независимость действий. Другая — что мир любит проявления независимости, что он восхищается ею, приветствует ее. Еще одна — что в мире существует такая вещь, как терпимость в религии, в политике и так далее; а из этого вытекает уже упомянутая вспомогательная ложь, что терпимостью восхищаются, что ее приветствуют. Каждая такая разновидность лжи — ствол, а от нее ответвляется множество других: ложь, будто не все люди рабы, ложь, будто люди радуются чужому успеху, чужому счастью, чужому возвышению и полны жалости, когда за ним следует падение...»

Пейн умер в 1937 году, архив, хранившийся в его доме, вернулся к

Кларе. В 1938 году «Марк Твен компани», организация, созданная еще при жизни Твена, с согласия «Харперс» назначила редактором Бернарда Де Вото (1897–1955), профессора из Гарварда, в 1932 году издавшего книгу «Америка Марка Твена» — отпор упоминавшейся книге Брукса. Де Вото открыл архивы для изучения: он не стремился сбросить Твена с пьедестала, а хотел показать читателям сложного, резкого человека. Он не имел такой власти, как Пейн, и был обязан советоваться с Кларой; преодолев ее сопротивление, он в 1940 году издал новый вариант твеновской автобиографии — «Марк Твен в гневе»<sup>[51]</sup>, используя множество диктовок, сделанных летом 1906 года и позднее отклоненных Пейном за резкость.

7 сентября 1906 года: «Наш девиз: «В Господа веруем...» Когда я читаю эту богомольную пропись на бумажном долларе (стоимостью в шестьдесят центов), мне всегда чудится, что бумажка трепещет и похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной: «Когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет»». 15 января 1907 года: «Каждый человек — господин, но одновременно слуга, вассал. Всегда есть кто-то, кто взирает на него с почтением, кто восхищается им и завидует ему; всегда есть кто-то, на кого взирает с почтением он, кем он восхищается и кому завидует. Такова природа человека, таков его характер — он нерушим и неизменен; и потому республики и демократии не годятся для человека: они не могут удовлетворить его потребностей».

Де Вото включил обвинения в адрес Рокфеллера, Карнеги и других богачей: бессовестное жулье, не платят налогов; о централизации власти в США, грозящей монархией; о продажности прессы, о коррупции. Некоторые из этих текстов и нам стоит перечитать...

7 сентября 1907 года: «Мистер Рузвельт — самое ужасное из всех бедствий, какие обрушивались на нашу страну со времени Гражданской войны, но огромная масса населения обожает его, любит его до безумия, просто боготворит. Такова истина. Она звучит как клевета на умственные способности рода человеческого, но это не так; возвести клевету на умственные способности рода человеческого совершенно невозможно. Снизойдем до мелочей: президент собирается совершить еще одно рекламное турне: через две-три недели он намерен обозреть реку Миссисипи... Он выедет из Каира, спустится вниз по течению на пароходе и всю дорогу будет производить страшный шум».

1 ноября: «На прошлой неделе нам грозил огромный всеобъемлющий крах. Не разразился он только лишь потому, что «разбойники-



миллионеры», которых президент так любит поносить, чтобы снискать аплодисменты галерки, вмешались и остановили разорение. Мистер Рузвельт быстро приписал эту честь себе, и имеются все основания полагать, что наш одурманенный народ считает это действительно его заслугой».

16 июля 1908 года: «Республики не вечны — со временем они умирают и большей частью остаются в могиле, тогда как свергнутая монархия постепенно снова оказывается на коне. <...> Не потому, что люди сознательно замышляют уничтожение и устранение своей республики, а потому, что Обстоятельства, которые эти люди, сами того не подозревая, создают, постепенно, к их же собственному смятению и ужасу, вынудят их ее уничтожить». «Трон переходит от наследника к наследнику столь же регулярно, неизбежно и беспрепятственно, как любой трон в Европе. Наш монарх более могуществен, деспотичен и самовластен, чем любой европейский монарх; приказы Белого дома не ограничиваются ни законом, ни обычаем, ни конституцией, — он может командовать конгрессом... Он может сконцентрировать в своих руках еще большую власть, лишив штаты их законных прав, и устами одного из министров он уже объявил, что намерен это сделать... Посредством системы чрезвычайных тарифов он в интересах нескольких богачей создал множество гигантских корпораций и с помощью ловких аргументов убедил бедняков в том, что эти тарифы введены в их интересах! Далее монархия объявляет себя врагом своего же детища — монополий — и притворяется, будто хочет это детище уничтожить. Но она очень осторожна и предусмотрительна, она ни слова не говорит о том, чтобы поразить монополии в самое их сердце — в систему тарифов... Наша монархия не делает ни одного шага назад, она движется только вперед, только к своей конечной, теперь уже вполне гарантированной цели — к полноте власти.

Я не надеялся дожить до того дня, когда она этой цели достигнет, но последний, самый поразительный ее шаг внушил мне новые надежды. Шаг этот заключается в следующем: до сих пор наша монархия формально выбирала свою Тень голосом народа, теперь же эта Тень сама назначила себе преемника!»<sup>[52]</sup>

Де Вото включил в автобиографию твеновское брюзжание в адрес издателей и адвокатов, критику Брет Гарта, рассуждения об авторском праве, рассказы о капитане Уэйкмене, Диккенсе, Олдриче, Букере Вашингтоне и других знакомых, историю написания эссе «Что такое человек?»; вставил и часть материала из пейновского варианта, но

выбросил то, что ему казалось ненужным, например Пейджа и Роджерса. В 1946 году он, не выдержав препирательств с Кларой, ушел в отставку. Редактором стал Диксон Вектер, архив в 1949 году переместили в Калифорнийский университет в Беркли, где он находится по сей день, — Клара завещала его университету. Вектер успел опубликовать только переписку Твена и в 1950 году умер, его сменил Генри Нэш Смит, занимавший должность редактора до 1964 года. С его разрешения Чарлз Нейдер в 1959-м выпустил третью версию твеновской автобиографии, сосредоточившись на частной жизни «объекта»; из материала, отвергнутого и Пейном, и Де Вотто, он взял диктовки о смерти Оливии, он же первым поведал миру о Лауре Райт; уже после смерти Клары он издал «Размышления о религии». Клара умерла в 1962 году; редактором в 1964-м стал Фредерик Андерсон, в 1979-м — Роберт Херст, опубликовавший ряд писем и неоконченных работ Твена. В 1990 году Майкл Кискис выпустил четвертый вариант автобиографии Короля, в основном повторив прижизненную публикацию в «Харперс мэгэзин» (там были описания обедов и приемов, проигнорированные предыдущими составителями), а также впервые опубликовал ряд воспоминаний о детстве Сюзи и Клары и о клемансовских кошках.

«Возможно, они будут восприняты только через 100 лет. Не спешите. Ждите». Осенью 2010 года под редакцией Гарриет Элиноор Смит вышел первый из трех томов новой, пятой (вряд ли последней) автобиографии Твена. В 2011-м книгу все еще сметают с полок, тиражи не успевают допечатывать. Неожиданно она понравилась молодежи, Твена называли первым блоггером — произвольно комбинировал личное и политическое, философское и злободневное. Но в целом читатели разочарованы. Новых откровений нет, да и откуда им взяться, если уже на третий месяц диктовок автор сказал Пейну: «Я думал о тысяче позорных поступков, которые совершил, но не могу заставить себя рассказать хоть об одном». Ждали острого, антиклерикального — но все такое уже опубликовал Де Вотто. Получили дополнительные анекдоты, черновики, подробный разбор чужой лекции, ругательства в адрес никому не интересной графини Массилья. Американцы прочли, что Твен назвал своих солдат на Филиппинах «убийцами в мундирах», и изумляются, и обсуждают это в блогах, но они, видимо, забыли ранние версии автобиографии — там уже было о Филиппинах всё. Новостью для публики может стать запланированная на третий том «Рукопись об Эшкрофте и Лайон», хотя и она давно доступна для желающих. Но какие претензии к автору? Специалисты называли его «великим маркетологом». Он ведь сразу сказал, что не для нас старается.

Он хотел обмануть законы, не позволяющие писателю распоряжаться своими правами с того света, — и обманул.

Предупредив конгресс о своем хитроумном плане, Король, весь в белом, вернулся в НьюЙорк и продолжал удивлять народ. В передовице «Таймс» описана новогодняя вечеринка в его доме: вышел к гостям с каким-то молодым человеком (это был поэт и издатель Уиттер Биннер), тоже в белом, объявили, что они — сиамские близнецы, один из которых пьяница, а второй трезвенник, хозяин дома изображал пьяницу. 2 января 1907 года поехали с Туичеллом и Лайон отдыхать на Бермуды: Изабел хозяйина баловала, приносила шлепанцы, раскуривала сигары, Туичелл полушутя сказал ей, что она «портит» его друга. Возможно, он что-то сказал и Твену, ибо тот по возвращении попросил Пейна на время переехать к нему: возможно, ему не нравились слухи о его предстоящем браке с Изабел.

По словам Пейна, болтали целыми днями, чаще всего — о религии и астрономии, которой Твен увлекался в тот период. «Солнца и планеты, что образуют созвездия мириад мириадов солнечных систем и изливают поток сияющих светил по бескрайним артериям космоса, — кровяные тельца в жилах Бога; народы же — это микробы, что роятся, и вертятся, и бахвалятся в каждом из них, и думают, что Бог говорит с ними на таком безмерном расстоянии и что ему больше нечем заняться. Это — лишь спектакль по имени Вечность. Нужно совсем не иметь честолюбия, чтобы согласиться играть в нем роль Бога. Богохульство? Нет, это не богохульство. Если Бог так велик, как он есть, он выше богохульства, и если он так мал, как он есть, он ниже его». Твен жаловался Пейну на кошмарные сны: он — лоцман, не может разглядеть препятствие, вот-вот погубит судно; он выступает перед аудиторией, но никто не смеется, его оставляют одного в пустом зале; он говорит, что его имя — Марк Твен, а ему никто не верит, и все уходят от него прочь. Страхи были беспочвенны: еще никто всерьез не называл его «старьем», публика, как и прежде, обожала, в январском номере «Норз америкэн» йельский профессор Уильям Фелпс (знакомый по Хартфорду) назвал Твена «величайшим американским романистом», предрек, что его слава переживет славу всех американцев, поставил его выше Холмса, Хоуэлса, Джеймса, Готорна. Фелпс был столь авторитетен, что его статья означала «официальное» признание. А кошмары — снились...

Зимой Твен пару раз (в сопровождении секретарши) навещал Джин. Та гуляла на воздухе, каталась на лыжах, это было полезно, но в целом

состояние девушки не улучшилось, так как все «лечение» заключалось в строгой диете. Заведующий клиникой Шарп обращался с эпилептиками как с детьми: они не могли сами выбрать, с кем сидеть за столом, кого пригласить в гости. Часто приезжала сестра, но это не приносило облегчения; когда Джин влюбилась в одного из врачей, Хиббарда, Клара доложила об этом Шарпу и флирт был пресечен. Джин писала в дневнике: сестра и отец рады, что избавились от нее. Винула только себя: больна, неумна, неинтересна. Встречи с отцом были тяжелы, дочь тосковала, плакала: «Я так жажду быть с ним, обнять его!»; «Отец мне позвонил! Это меня ошеломило. О, как я хочу к нему. Я заплакала, я не могла сдержать слез, и голос отца тоже надломился». Джин рассчитывала, что в конце зимы ее выпустят, но лечащий врач Хант сказал, что «лечение» только началось.

Пейн пожил и уехал, Изабел опять осталась с хозяином наедине. Записывала в дневнике, что по утрам караулит его на лестнице; любит приходить в ванную и наблюдать, как он бреется или моет голову; что он «очень привлекателен в нижнем белье»; что она просиживает дни в его спальне и хотела бы спать там и т. п. Для биографов, взявших ее сторону, эти слова — доказательство того, что Твен ее поощрял; они также полагают, что она была его любовницей, хотя даже сама Изабел ничего подобного никогда не утверждала и писала о своих чувствах к хозяину, а не его к ней. В марте они вновь съездили на Бермуды — вдвоем. Но Изабел не была вполне счастлива: дожив до семидесяти, Твен обнаружил, что нравится женщинам...

Главная соперница Изабел — Шарлотта Теллер; осенью 1906 года секретарша сказала Твену, что Шарлотта — «авантюристка» и распускает слухи о том, что он на ней женится. Твен и Шарлотта поругались, он жаловался жене Роджерса, что «провел две недели в аду»; весной 1907 года просил Роджерса выдать из его средств тысячу долларов Шарлотте «так, чтобы не узнала мисс Лайон». Слухи на самом деле ходили, газеты летом 1907-го писали о скорой свадьбе Твена и Теллер. Были и другие соперницы. В ту пору Твен ходил в театр чуть не каждый вечер — а чем еще заняться? Летом в Дублине познакомился со звездой Этель Бэрримор, не пропускал ни одного ее спектакля, засиживался в ее гримерке, они показывались вдвоем на публике. «Солт-Лейк-Сити геральд» (о благотворительном вечере в мае 1907 года): «Они так глядят в глаза друг другу, как если бы на Земле, кроме них, не было ни одного человека». Флирт был также с актрисами Маргарет Иллингтон, Мод Адаме и Билли Бурк; последняя вспоминала: «Всегда было захватывающе приятно видеть его. Он встряхивал роскошной гривой белоснежных волос, и склонял свою голову

к моей, и говорил: «Билли, мы, рыжие, должны держаться вместе»». А еще была секретарша Роджерса Кэтрин Харрисон, была невестка Роджерса Мэри, которую Твен просил редактировать свои работы, «взять над ним шефство», называл «племянницей», писал ей: «О, Вы — удивительное сочетание ртути, гейзеров и солнечного света... Вы освещаете мое одиночество, делаете мою жизнь выносимой!» Через Мэри подружился с ее подругой Марджори Клинтон — с ней тоже вел нежную переписку. Всех не сочтешь...

26 апреля 1907 года в Норфолке открылась Всемирная выставка-ярмарка, приехали президент и разные знаменитости;

Твен прибыл с Роджерсом на «Канахе», газеты сообщали, что их появление вызвало такой ажиотаж, что несколько яхт едва не столкнулись; отдельные пассажиры, пытаясь разглядеть Короля, падали за борт. По окончании торжеств был туман, «Канаха» долго не могла отплыть — газеты писали, что Марк Твен пропал в море и погиб. В начале лета сообщили, что Оксфордский университет присудил ему почетную степень и просит приехать. «Новая ученая степень доставляет мне каждый раз такое же наслаждение, как индейцу свежесодранный скальп. <...> Когда Йель преподнес мне степень бакалавра искусств, я был в восторге, поскольку ничего не смыслю в искусстве. Когда тот же Йель избрал меня доктором литературы, моя радость не имела границ: единственная литература, которую я решаюсь лечить, — та, что я сам сочиняю; да и она бы давно окочурилась, если бы не заботы моей жены. Я возликовал еще раз, когда Миссурийский университет сделал меня доктором законовещения. Чистейшая прибыль! О законах я знаю только, как их обходить, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Сейчас в Оксфорде меня произведут в доктора изящной словесности. Снова прибыль — потому что если бы я перевел в наличные все, чего я не знаю об изящной словесности, я сразу вышел бы в первые ряды миллионеров».

Изабел его в Англию не сопровождала — должна была провести каникулы с Кларой в Ньюфаундленде. Но перед отъездом хозяин дал распоряжение поверенному о том, что она может полностью распоряжаться его чековой книжкой, и подарил ей на участке в Рединге домик с 20 акрами земли. Пейн по какой-то причине не мог ехать, и Твен взял компаньоном Ральфа Эшкрофта, молодого англичанина, с которым познакомился в прошлый приезд в Лондон, — тот работал в фирме, производившей плазмон. Эшкрофт переехал в США, жил в Бруклине, переписывался с Твеном, рекомендовал ему делать инвестиции в производство шпилек, стелек, кассовых аппаратов — всех фирм, которые принесли убытки.

Почему Твену было недостаточно Роджерса и зачем понадобился еще один финансовый советник, некомпетентный? Роджерс был реалистом: если какое-то вложение было авантюрой, он так и говорил. Но по причудливой особенности характера Твена привлекали только авантюры — а Эшкрофт его в этом поощрял. Позднее он писал об Эшкрофте: «подобострастный, осторожный и смотрит так, словно хочет облизать чьи-то ботинки». А поначалу доверял ему и любил его общество.

Отплыли 8 июня, на пароходе подобралась интеллигентная компания, был, в частности, математик Арчибальд Хендерсон, биограф Бернарда Шоу; он потом напишет книгу и о Твене. Завелась новая «внучка», шестнадцатилетняя Фрэнсис Наннелли, путешествовавшая с матерью; другая девушка, восемнадцатилетняя Карлотта Уэллес, для внучки была старовата, но напомнила Сюзи. Уэллес потом вспоминала, что старик вел с ней «детские разговоры» и ей было скучно, — это, кажется, единственный человек, признавшийся, что скучал в обществе Марка Твена. Не успев сойти с трапа, гость был осажден журналистами, на вопрос, что его сейчас интересует, ответил: «Христианская наука» Эдди и положение дел в Конго. Острил: «Одна дама на пароходе пригласила меня на свою свадьбу. Я ответил: ладно, только если придете на мои похороны. Теперь она ждет этого с нетерпением». Молодой репортер спросил, считает ли гость, что мир улучшается, тот отвечал, что его «последнее впечатление от мира лучше, чем первое».

Жил он в отеле «Браун», также осаждаемом представителями прессы, американские журналисты ревниво следили за тем, что пишут заокеанские коллеги, «НьюЙорк таймс» 30 июня поместила статью «Марк Твен в руках британских репортеров»: один безмозглый британец сказал, будто Марк Твен изъясняется на каком-то диалекте, другой — что он жует табак, который держит в револьверной кобуре, третий написал, что он «большой и шумный», четвертый назвал «плейбоем с Запада». Вообще-то британцы были полны почтения, но не хотели считать Твена собственностью Штатов — ведь те отказывали ему в величии, когда Англия давно его признала. Из лондонской «Кроникл»: «Американцы считают Марка Твена воплощением их национального духа. Они говорят, что его юмор, милосердие, неукротимый здравый смысл, свежесть чувств, которые обнаруживаются за показным цинизмом, духовная стойкость, вера в женщин и демократию, и его приступы мизантропии, и свирепый сарказм — все это американское. <...> Больше, чем любой человек, когда-либо живший, Марк Твен заставлял мир смеяться. Но его юмор всегда был на стороне ангелов. Он осмеивал многое, но никогда не смеялся над проявлениями добра и

благородства. И хотя его будут помнить как юмориста, на самом деле он заслуживает большего: певец детства, подобный Гомеру, создатель исторических романов необычайной изобразительной силы. <...> Если увидите в ближайшие дни на улицах Лондона человека с огромной гривой седых волос, голубыми глазами под тяжелыми бровями, седоусого, пристально смотрящего по сторонам и необыкновенным образом растягивающего слова, — почтительно снимите перед ним шляпу, ибо это Марк Твен».

Пришлось срочно нанять еще одного секретаря, чтобы принимать посетителей и разбирать почту. И началось: завтраки, приемы, клубы «Гаррик» и «Атенеум» просили принять почетное членство, фотографии с вечера занимали очередь — лондонские газеты писали, что это напоминает возвращение Вольтера в Париж в 1778 году. 20 июня американский посол Уайтлоу Рид организовал писательский обед: Киплинг, Конан Дойл, Брэм Стокер, всего около 50 человек. 22-го — прием в Виндзорском замке, 85 гостей, все члены королевской семьи, король Сиам и индийские принцессы. Церемония присуждения ученой степени прошла в Оксфорде 26 июня, среди награжденных были Киплинг, сын королевы Виктории принц Альберт, премьер-министр Кэмпбелл-Баннермен, астроном Норман Локьер, Камиль Сен-Санс, всё очень пышно, Твен сказал, что воспользуется опытом, когда будет устраивать свои похороны. 3 июля — обед с Шоу (тот назвал Твена американским гением наряду с Эдгаром По), Джеймсом Барри и карикатуристом Максом Бирбомом, далее прием у мэра Лондона, обед в редакции журнала «Панч». 4 июля «Вашингтон пост» сообщила о помолвке Марка Твена с Изабел Лайон (кто пустил слух, не установлено), репортеры кинулись за разъяснениями и получили ответ, опубликованный 5 июля во всех газетах англоязычного мира: «Я не встречал и никогда не встречу никого, кто мог бы занять место моей жены, которую я потерял. Я никогда больше не женюсь».

13 июля, в день отплытия, толпы выстроились вдоль причала в Саутгемптоне, лондонская «Трибюн» рапортовала: «Корабль, уносящий его, едва виден, ибо море усыпано лавровыми ветвями его триумфа. Марк Твен — победитель, и за свое краткое пребывание он сделал для мира больше, чем Гагская конференция. Он заставил мир смеяться». На обратном пути появилась еще «внучка», Дороти Квик (дочь крупного бизнесмена, родилась в 1896 году, путешествовала с бабушкой и дедушкой), — эта будет одной из самых любимых и верных. «Ей всего 11 лет, и она соткана из фонтанчиков счастья. Она ни мгновения не оставалась неподвижной и освещала все как солнышко».

Пейн: «Я шел к нему полный благоговения и готовился сидеть и слушать о его триумфе, но, когда я пришел, он гонял шары в бильярдной и, увидев меня, сказал: «Берите кий, я придумал новую игру». И мы за ночь едва обменялись десятком слов». Несколько дней Твен провел в Нью-Йорке, поговорил с Джин один раз по телефону, потом с Пейном уехал в загородный дом, снятый для него Мэри Роджерс, — в Таксидо-парк, престижный дачный пригород Нью-Йорка. Явилась туда и Изабел. 25 июля в газетах опять появилось сообщение о предстоящем браке, и Твен вновь его публично опроверг (впоследствии он считал, что слух пустил Эшкрофт, но это не доказано) и стал появляться на людях с Изабел лишь в присутствии кого-нибудь третьего — чаще всего того же Эшкрофта, которого тогда ни в чем не подозревал и сам пригласил погостить.

Джин продолжала слать отцу душераздирающие письма, умоляла забрать ее домой. Он их не читал. (Гораздо приятнее были письма Клары, насмешливо-нежные — он сам любил такой тон: «Весел ли мой Марк — дорогой и почти что святой? Счастья и удачи Сэму, что по утрам чертыхается вместо молитвы. Люблю тебя, о Падре. Твоя Примадонна».) Младшей дочери он писал: «Один Бог ответствен за твой характер, твою болезнь и все твои проблемы и горести. Я не обвиняю в них тебя». (И на том спасибо!) «Дорогая Джин, если бы твоя мать была жива, она знала бы, как нужно с тобой поступать, и заботилась бы о тебе лучше, чем я; но мы ее потеряли, а я мужчина и ничего не смыслю в этих делах». Чужой мужчина, отец Нэнси Браш, подруги Джин, пытался принять участие в судьбе девушки, показать ее другим врачам, но Петерсон воспротивился, а Твен написал дочери, что Петерсон «лучше знает». Изабел говорила хозяину, что Джин скоро вылечится и будет дома. А в дневнике писала: «Я не хотела говорить Королю, что ей становилось все хуже и что она никогда не должна и не будет жить с ним, потому что ее привязанность к нему легко могла превратиться в безумную ненависть, и в ужасном, омерзительном приступе злобы она могла убить его».

23 сентября в Джеймстауне праздновалось столетие первого парохода Фултона, «Канаха» опять привезла Твена (сам Роджерс не поехал), устроили гонки с яхтой Вандербильда, «старый морской волк Твен», как писали газеты, победил. Вернулся в дом на Пятой авеню, осенью увлекся еврейским детским театром, которым руководила Элис Герц. Ставили «Принца и нищего», проводил дни на репетициях, премьера с успехом прошла 19 ноября. В остальное время опять клубы-банкеты, немного пытался работать, но остались от того периода лишь наброски, закончен был только «Пес с телеграфа» («Telegraph Dog»), сентиментальный рассказ



о верной собаке. Дороти Квик приходила несколько раз в неделю, часами сидела с Твеном, пока ее маму развлекала Изабел: девочка болтала, старый говорун слушал и записывал, получился рассказ «Маленькая Нэнси придумывает истории» («Little Nelly Tells a Story Out of Her Own Head»). (Дороти сама стала писателем; в 1961 году она опубликовала книгу «Дружба маленькой девочки с Марком Твеном».)

В октябре Хант разрешил Джин поездку в НьюЙорк за покупками — при условии, что она не будет видеться с отцом. Но и с покупками начались проблемы. Был финансовый кризис, доход Твена временно сократился с 250 тысяч в год до 100 тысяч, траст Никербокера, где у него были вложения, прекратил выплаты. Имелись средства в других банках, дома, земля, акции, но Изабел написала Джин, что нужно экономить: не покупать одежды, писать на маленьких листках бумаги, а не на больших, поменьше есть, «беречь каждый пенни»; Джин попросила 30 долларов на покупку инструментов для резьбы — ей было отказано. Секретарша давно распоряжалась деньгами хозяина, но раньше она, напротив, задаривала Джин и Клару; возможно, экономия была инициативой Эшкрофта, который приобретал все больше влияния в доме. В ноябре он с согласия Твена зарегистрировал торговые марки виски и табака «Марк Твен», предложил основать фирму для защиты авторских прав. Изабел впоследствии назвала Эшкрофта негодяем, который ее обманул. Но поначалу они ладили. И на Клару режим экономии пока не распространялся, хотя она тратила раз в сто больше Джин: опасно было бы настроить ее против себя.

Бунт Джин все же увенчался относительным успехом: под Рождество Петерсон позволил ей оставить санаторий. Но о возвращении домой и речи не было. Изабел сняла уединенный коттедж в Гринвиче, штат Коннектикут: Джин должна была жить там вместе с сестрами Каулз (одна из них была подругой Изабел; вторая страдала серьезным психическим заболеванием) и француженкой Марго Шмит, нанятой Изабел в качестве компаньонки. Отец на новоселье не приехал. Сам он получил рождественский подарок — отдельной книгой вышло «Путешествие капитана Стормфилда в рай», отлично продавалось. Ничего нового он давно не писал. Хоуэлс предложил участие в проекте: 12 писателей вместе пишут сагу «Семья» — отказался. Ходил по обедам, на одном из них познакомился с английской беллетристкой Элинор Глин, только что опубликовавшей «Три недели» — роман об английском аристократе, совратившем замужнюю русскую аристократку; их незаконнорожденный сын стал наследником русского трона. Книжка произвела скандал, была атакована цензурой. Глин рассчитывала на защиту Твена. Пришла к нему — он потом описал беседу

как «самую странную, какую я когда-либо вел с женщиной». Вернувшись в Лондон, Глин опубликовала брошюру о встрече с Твенем: он был от ее романа в восторге, но не встал на защиту из трусости и говорил, что нельзя высказывать вслух, что думаешь. Журналисты явились к Твену за комментариями — он сказал, что Глин безбожно переврала его слова. Но он, кажется, и вправду решил, что высказывать вслух ничего не нужно.

Он не хотел себя «грузить»: только бильярд и развлечения. Завел регулярные завтраки для жен издателей, которых называл «зайчихами»: другие мужчины на завтраки не допускались. 25 января 1908 года вновь уехал на Бермуды — без Изабел, но с Эшкрофтом. Там обрел очередную «внучку», Маргарет Блэкмер (1897 года рождения, дочь миллионера): «смех, как журчание ручейка, выбегающего из тени на солнечный свет». Отдыхавшая тогда же на Бермудах Элизабет Уоллис, декан Чикагского университета, описала его дружбу с Маргарет в книге «Марк Твен и счастливый остров»: старик и девочка ежедневно катались в тележке, запряженной осликами. «Маргарет была к нему глубоко привязана, как привязываются дети к взрослому, который их понимает и разговаривает с ними уважительно. М-р Клеменс никогда не был к ней снисходителен, он уважал ее мнение и говорил с ней как со взрослым человеком».

Вернувшись в НьюЙорк, обнаружил Роджерса больным, уговорил бросить дела; уплыли на Бермуды вдвоем. Как в первый год дружбы, всюду появлялись вместе, производили фурор; их прозвали «Король» и «Раджа». Одновременно с ними отдыхал будущий президент Вудро Вильсон — публика его знала как «человека, с которым Король и Раджа играют в бильярд». Блэкмеры уже уехали, но недостатка во «внучках» не было. Дочь американского вице-консула четырнадцатилетняя Элен Ален — «душевное совершенство и пленительный облик». Дочь владельца Бермудской электроэнергетической компании десятилетняя Лорэйн Ален — «голосок флейты и личико, как цветок». Дочь немецкого бизнесмена двенадцатилетняя Ирен Геркен — «эльф». Дочь канадского финансиста Элен Мартин — «хрупкое прелестное существо». Он не выбирал «нимфеток»: тринадцатилетняя Джин Спурр, «ангел, какие живут на небесах», была, по свидетельствам отдыхающих, коренастым бутузом без бровей и передних зубов. Но все его «внучки» были из очень, очень богатых семей — бедные не путешествовали через океан первым классом и не отдыхали на Бермудах. Мог отыскать в Нью-Йорке бедную девочку, какую-нибудь китайскую сиротку, облагодетельствовать, удочерить? Мог. Но он не хотел привязанностей — они ранят, не хотел ответственности — она гнетет. Он искал только приятного общения.

На Бермудах он также сблизился с девушкой из семьи среднего достатка — дочерью архитектора Дороти Стерджис. Она была уже студенткой колледжа, отношения сложились взрослые — не «увнучивание» и не флирт, а дружба равных. Дороти (она стала известным художником-иллюстратором) вспоминала, как гостила у Твена в 1908 году: «Мы обычно сидели в лоджии, когда он читал почту, и говорили о текущих событиях. Он очень интересовался политикой и, помню, прочел мне целую диссертацию о Тедди Рузвельте... Потом мы гуляли в ближайшем лесу, сидели на опушке и читали друг другу вслух, чаще всего Киплинга».

«Все мы — коллекционеры. Лично я коллекционирую зверушек — девочек от 10 до 16 лет, милых, прелестных, наивных и невинных — чудных юных созданий, чья жизнь — сплошная радость; они еще не знали горя и утрат». «Внучек» стало так много, что требовался учет: в апреле 1908 года Твен объявил о создании клуба «Морские ангелы» (есть рыбка с таким названием), куда вошли 12 девочек. Кроме бермудских «внучек», членами клуба стали Дороти Квик и Фрэнсис Нуннали, а также дочери Пейна и Харви — Луиза и Дороти. Последний «ангел», пятнадцатилетняя дочь адвоката Марджори Бреккенридж, вступила в клуб летом 1908 года. Самой старшей была Дороти Стерджис; в виде исключения приняли взрослую женщину, актрису Маргарет Иллингтон, а заодно и ее мужа — со статусом «наблюдателя». Собирались на Пятой авеню и в других твеновских домах «на чашку чая», слали друг другу открытки, «дедушка» подарил каждому члену клуба по булавке с изображением рыбки. Но вся эта затея была формальной: по словам очевидцев, по-настоящему Твен любил только Дороти Квик и, может быть, Маргарет Блэкмер. Кларе отцовская причуда не нравилась, как и белые костюмы и прочие экстравагантности. Вряд ли она всерьез боялась, что он оставит кому-то из «ангелов» наследство, но ей было неприятно, что он демонстрирует привязанность к чужим внучкам, словно уже не надеясь обзавестись собственными.

Изабел поощряла все прихоти Короля, одобрила и «морских ангелов», вела самостоятельную переписку с девочками и их родителями. Они не были опасны. Джин была устранена, Клара приручена, Кэти Лири боготворила хозяина и Клару, а раз им нравилась Лайон, то и Кэти она нравилась. Роджерс мог уничтожить Лайон и Эшкрофта одним щелчком, но предпочитал не вмешиваться — может, потому, что сам женился на молодой и считал, что друг собирается сделать то же и имеет на это право. (Неизвестно, что он думал об Изабел, но бывать в доме Твена почти перестал, как и Хоуэлс с Туичеллом, и никогда не звал ее или Эшкрофта на

«Канаху».) Но существовал еще Пейн, и все шло к тому, что именно он станет литературным душеприказчиком Марка Твена.

Биограф был рассеян, прошлым летом умудрился потерять автобиографию Ориона Клеменса, учет документов вел небрежно, держал их у себя дома, ни перед кем не отчитывался.

Он собирал письма Твена, в частности, попросил их у Хоуэлса; Твен это одобрял, но 22 января 1908 года вдруг написал Хоуэлсу, что тот не должен был отдавать письма (Хоуэлс отвечал, что не видит причин не доверять Пейну, но впредь будет пересылать письма непосредственно Твену, если тот так хочет); причину такого решения он впоследствии объяснял тем, что Эшкрофт возбудил в нем подозрения. Война началась... Тем временем Джин пыталась вырваться уже из Гринвича; отец Нэнси Браш ее навестил, предложил жить у него в Дублине, Петерсон дал согласие, потом по какой-то причине передумал, отец, как всегда, написал, что дочь должна слушаться Петерсона. Сам он приезжал к ней один раз, в апреле, в сопровождении Эшкрофта.

Он был занят: банкет в Клубе иллюстраторов, в Обществе книготорговцев, речь на открытии городского колледжа, театральные премьеры. Находил время работать, но ничего крупного до мая написано не было. «Д-р Ван Дейк, человек и рыбак» («Dr. Van Dyke as a Man and as a Fisherman») — полемика с пресвитерианским священником Генри Ван Дейком, славившимся проповедями альтруизма, а также пристрастием к рыбалке: ловля незащитных существ на железный крючок не вяжется с христианскими идеалами. «Отрывок из дневника Сима за 920 год от сотворения мира» («Passages from Shem's Diary») — последний фрагмент твеновского Ветхого завета, посвященный строительству ковчега. На «Жизнь на Миссисипи» заканчивался срок копирайта — начал переделывать текст, как и обещал. Джин просила позволить ей провести в Дублине лето и вновь получила отказ. Ее с компаньонками переселили в Глочестер, штат Массачусетс, — еще дальше от Нью-Йорка.

20 мая отец писал ей: «Раньше ты была бы недовольна своим новым домом, но твой характер и твоя философия переменялись к лучшему, как и твое здоровье. Ты стала милой и доброй, не беспокоишься, не жалуешься и не придираешься ко всему, как раньше. <...> Я весьма рад слышать, что ты больше не поглощена только собой и находишь возможность помогать другим. Мне жаль, что я сам не такой; если когда-то во мне это и было, то давно ушло. Я слишком стар, чтобы интересоваться чьим-то благом, кроме моего собственного. <...>...теперь, после 60 лет борьбы и забот, я взял отпуск и не желаю ничего слышать о том, что Сюзи называла «житейскими

бурями»». И он сообщал дочери, что Лайон и Эшкрофт знают об этом нежелании и оберегают его от «бурь» и он признателен им за это.

В мае Клара уехала с Уорком в Европу, а 18 июня ее отец вселился в новый дом. До этого он ни разу не был в Рединге — хотел увидеть дом, лишь когда обустроят все до последней мелочи и «кот будет мурлыкать у очага», — только высказал ряд требований: бильярдная красного цвета, комната для игры на органе и простор. Руководили строительством Изабел и Клара; оно обошлось в 55 тысяч долларов, в основном принесенных «Путешествием капитана Стормфилда в рай». Участок в 147 акров: заросли можжевельника и черники, березы, тис, ручей, через который переброшен мост. Дом, выстроенный в итальянском стиле, стоял на холме (сгорел при пожаре в 1923 году, в 1925-м был восстановлен): общая площадь 7600 квадратных футов, два этажа, 18 комнат, громадный чердак, два подвала, террасы, лоджии, музыкальный салон для Клары (прозванный «клеткой»), телефонная будка. Внутренней отделкой и меблировкой занималась Изабел на свой вкус: купидоны и персидские ковры. Роджерс подарил очередной стол для бильярда; знаменитая кровать осталась на Пятой авеню, так как в Рединге хозяин планировал жить только летом.

Он называл дом «Невинным очагом» и «Аквариумом» в честь «рыбок», но Клара потом переименовала его в Стормфилд — это название и прижилось. Боялся одиночества, сразу после переезда пригласил на неделю «внучек» Дороти Харви и Луизу Пейн, играл с ними в бильярд и в карты, завел еще трех котят в компанию к Бамбино, успокоился и решил, что в НьюЙорк не вернется. В новом доме было уютно и тихо, но отнюдь не «как на кладбище»: за первые полгода побывало 180 гостей. Приезжали Маргарет Блэкмер, Дороти Квик, Ирен Геркен (с матерями), Дороти Стерджис, Пейн, Харви, Туичелл, Хоуэлс, Роджерсы, Сьюзен Крейн, Элен Келлер; ежедневно являлись репортеры и фотографы. Любил сниматься в окружении «морских ангелов» — комнату, где они заседали, прозвал «рыбным рынком». Ходил в деревню, обедал с соседями, совершал прогулки на свалку, где с соседскими детьми (на сей раз и мальчиками тоже) рылся в восхитительном хламе. Элен Никерсон, дочь соседа-юриста: «М-р Клеменс терпеть не мог официальности. Он принимал гостей, лежа в кровати, где читал или писал, повсюду валялись рукописи. Все были проинструктированы, что нельзя трогать ни одной бумажки никому, кроме Альберта Пейна. М-р Клеменс не вынимал изо рта сигару. Все предупреждали его, что курить в кровати опасно и может случиться пожар, но эти предупреждения от него отскакивали как горох от стенки. Люди в Рединге называли его Марком Твенем, знаменитым писателем и

юмористом, но мы, дети и подростки, знали его просто как доброжелательного старика. Он рассказывал нам потешные истории и играл с нами в своем саду. Во всех играх победителю полагался приз — гривенник или четверть доллара». Ежемесячно проводился конкурс котов, Элен пришла без кота, но вся в царапинах — и получила от Твена первый приз.

Установился распорядок дня: с утра хозяин читал, завтракал в разное время и там, где вздумается, только не в столовой (гости тоже были вольны есть когда и где захотят), после ланча (которого сам Твен по-прежнему не признавал) начинались прогулки, болтовня и бильярд, в хорошую погоду отправлялись на пикник. После ужина сидели в лоджии и болтали, перед сном хозяин играл на органе. Пейн, живший по соседству, бывал каждый день, темы бесед прежние — астрономия, политика и религия. В августе Твен написал эссе «Библейские поучения и религиозная практика» («Bible Teaching and Religious Practice»): раньше священники поддерживали рабство, теперь осуждают, раньше жгли на кострах тех, кто говорил, что Земля не плоская, теперь сами так говорят — и все-то они правы, и все продолжают ссылаться на Библию: «Более двухсот статей, каравших смертью, исчезло из свода законов, но Библия, породившая их, остается. Разве не достоин внимания тот факт, что из всего множества библейских изречений, к которым прикасалось уничтожающее перо человека, он ни разу не вычеркнул ни одного доброго и полезного? А если так, значит, можно надеяться, что при дальнейшем развитии просвещения человек в конце концов сумеет придать своей религиозной тактике какое-то подобие благопристойности». Но публиковать не стал — к чему проблемы? (Написал также эссе о Марджори Флеминг — безобидный текст был издан «Харперс» в декабре 1909 года.) Он хотел покоя. Покидал Стормфилд редко — издатели приезжали к нему сами. Иногда бывал в Нью-Йорке, ходил в театр или на любительские спектакли в школы, где учились «морские ангелы», в июне ездил в Портсмут на мемориальный вечер Олдрича.

18 сентября дом ограбили: двое влезли в окно кухни, взяли столовое серебро. Воров задержали в поезде, Твен был на суде, газеты подняли невероятный шум, а в Стормфилде было вывешено уведомление для грабителей: «В доме нет ничего, сделанного из ценных металлов, за исключением латунного таза в столовой, возле корзины для котят. Если предпочитаете взять корзину, переложите котят в таз. Не шумите, это раздражает семейство. Вы найдете галоши в передней, там, где зонтик, кажется, эта штука называется шифоньер. Пожалуйста, уходя, закройте дверь. С уважением, С. Л. Клеменс». (Соавтор объявления — Дороти

Стерджис.) 14 октября Твен учредил в Рединге общественную библиотеку (потом получившую его имя), передал в дар книги, выступал там, спонсировал проводившиеся в помещении библиотеки концерты. Через несколько дней его посетила Бекки Тэчер (миссис Лора Фрезер) с правнучкой — визит инициировал Пейн, которому нужны были сведения о детстве Сэма Клеменса. «Мы сели под деревом и говорили о старых днях в Ганнибале... Словно время вернулось на полвека вспять, и мы воочию видели мальчика и девочку, которыми были».

Осенью читал дискуссии о Шекспире, склонялся к тем, кто считал актера Шекспира самозванцем, которому приписали чужие работы, написал небольшую книгу «Умерли Шекспир?» («Is Shakespeare Dead?»), изданную «Харперс» в 1909 году. Опять приезжали «ангелы», всевозможные гости, на Рождество Роберт Кольер телеграфировал, что шлет в дар слона, прибыли машины и повозки, сгрузили возы сена, центнер моркови, приехал служитель слона из цирка Барнума и стал давать инструкции, насмерть перепугав домашних. (Это был слуга Кольера.) Весело. Хорошо. Спокойно. «Он походил на потрепанный бурями корабль, который наконец вошел в тихую гавань», — сказал Пейн. Но на самом деле все это время шла смертельная схватка; ужасные бури были еще впереди.

## Глава 14

### Том Сойер и Млечный путь

«Минуты тянулись, тянулись, глубокое безмолвие стало угрожающим; я замер и едва переводил дух. И вдруг нас накрыла холодная воздушная волна — сырая, пронизывающая, пахнувшая могилой, вызывающая дрожь. Через некоторое время я уловил легкий щелкающий звук, долетавший издалека. Он слышался все явственнее, все громче и громче, он рос, множился, и вот уже повсюду раздавались сухие, резкие, щелкающие звуки; они сыпались на нас и катились дальше. В призрачном свете блеклых предутренних сумерек мы различили смутные паукообразные контуры тысяч скелетов, идущих колонной!»

Цитата из Эдгара По? Нет; это летом 1908 года Марк Твен пытался дописать роман «№ 44, Таинственный незнакомец». Юный Сатана демонстрирует рассказчику невероятную процессию существ, когда-либо живших на Земле, — пафос и юмор тут перемешаны. «Были и такие, что волокли за собой на веревке истлевшие остатки гробов, выказывая прискорбную озабоченность, как бы чего не случилось с их ничтожной собственностью». «Я увидел стройный скелет молодой женщины; она шла, опустив голову, приложив костлявые руки к глазам, — очевидно, плакала. Это была молодая мать, у которой пропал ребенок, да так и не нашелся; счастье ее было разбито, она изошла слезами и умерла. У меня защемило сердце и повлажнили глаза от неутешного горя бедняжки. Я глянул на табличку — несчастье произошло пятьсот тысяч лет тому назад! Мне показалось странным, что оно вызывает у меня сострадание, но, вероятно, такое горе не проходит со временем и боль утраты неизбежна».

В начале августа умер любимый племянник Сэм Моффет; вернувшись с похорон, Твен совсем расклеился, перенес кратковременный приступ потери памяти и вскоре работу над книгой прекратил. После смерти автора о существовании романа долгое время никто не знал (Пейн утаил текст), он был опубликован лишь в 1969 году. Английский критик Колин Уилсон сказал, что если бы у Твена «достало мужества начать, а не кончить свою литературную деятельность «Таинственным незнакомцем», он мог бы стать по-настоящему великим писателем». Но никто не пишет таких книг в начале пути; что же касается «мужества», то если недостаток его и был причиной, по которой Твен не издал роман, то не единственной: работа, по словам автора, просто не была закончена. Однако последняя глава (та



самая, которую Пейн приставил к другой книге) выглядит завершающей:

«Потом Сорок Четвертый взмахнул рукой, и мы остались одни в пустом и беззвучном мире.

— И теперь ты уходишь и больше уже не вернешься?

— Да, — ответил Сорок Четвертый. — Мы с тобой долго дружили, и это было славное время — для нас обоих; но я должен уйти, и мы никогда больше не увидим друг друга.

— В этой жизни, Сорок Четвертый. А в другой? Мы встретимся в другой, верно?

И тогда он спокойно и рассудительно произнес нечто непостижимое:

— Другой жизни нет. <...> Ничего не существует, все только сон. Бог, человек, мир, солнце, луна, бесчисленные звезды, рассеянные по вселенной, — сон, всего лишь сон, они не существуют. Нет ничего, кроме безжизненного пространства — и тебя!

— Меня?

— И ты не таков, каким себя представляешь, ты лишен плоти, крови, костей, ты — всего лишь мысль. И я не существую, я лишь сон, игра твоего воображения. Как только ты осознаешь это, ты прогонишь меня из своих видений, и я растворюсь в небытии, откуда ты меня вызвал... <...> Вскоре ты останешься один в бесконечном пространстве и будешь вечно бродить в одиночестве по безбрежным просторам, без друга, без близкой души, ибо ты — мысль, единственная реальность — мысль, неразрушимая, неугасимая. А я, твой покорный слуга, лишь открыл тебе тайну бытия и дал волю. Да приснятся тебе другие сны, лучше прежних!..

Удивительно, что ты не задумался над тем, что твоя вселенная и все сущее в ней — сон, видения, греза! Удивительно, ибо она безрассудна, вопиюще безрассудна, как ночной кошмар: Бог, в чьих силах сотворить и хороших детей, и плохих, предпочитает творить плохих; Бог, в чьих силах осчастливить всех, не дает счастья никому; Бог повелевает людям ценить их горькую жизнь, но отпускает такой короткий срок; Бог одаривает ангелов вечным блаженством, но требует от других своих детей, чтобы они это блаженство заслужили; Бог сделал жизнь ангелов безмятежной, но обрек других детей на страдания, телесные и душевные муки; Бог проповедует справедливость и создал ад; проповедует милосердие и создал ад; проповедует золотые заповеди любви к ближнему и всепрощения — семижды семь раз прощай врагу своему! — и создал ад; проповедует нравственное чувство, а сам его лишен; осуждает преступления и совершает их сам; сотворил человека по своей воле, а теперь сваливает ответственность за человеческие проступки на человека, вместо того чтобы

честно возложить ее на того, кто должен ее нести, — на себя; и наконец, с истинно божеской навязчивостью он требует поклонения от униженного раба своего... <...>

Истинно говорю тебе — нет ни Бога, ни вселенной, ни человеческого рода, ни жизни, ни рая, ни ада. Все это — сон, глупый, нелепый сон. Нет ничего, кроме тебя, и ты — всего лишь мысль, скитающаяся, бесплодная, неприютная мысль, заблудившаяся в мертвом пространстве и вечности».

Он хотел увидеться с Джин накануне переезда в Стормфилд, спросил разрешения у Петерсона, тот ответил, что заехать можно, а ночевать в Глочестере нельзя, — и решил не ездить вовсе. В новом доме для Джин была отведена комната — а между тем, как впоследствии показывала медсестра Клары мисс Гордон, Изабел Лайон сказала ей: «Джин Клеменс и я никогда не сможем жить под одной крышей, и я сделаю все, чтобы не допустить ее возвращения». Возможно, до Твена что-то начало доходить, так как в конце июня, когда он ездил с Пейном в Портсмут, они тайком завернули в Глочестер. По воспоминаниям Пейна, Твен с изумлением обнаружил, что его дочь здорова, энергична и не похожа на сумасшедшую. На следующий день, как потом признался Твену местный житель Лэнсбери (подрядчик, строивший дом), Изабел попросила его отправить телеграмму Петерсону, в которой говорилось, что Джин ни в коем случае нельзя отпускать домой, — видимо, отец выражал намерение забрать ее. Рассказал Лэнсбери и о другом эпизоде: однажды Твен дал ему конверт, адресованный Джин, — Лайон догнала его и потребовала вернуть письмо под предлогом, что хозяин «забыл что-то дописать», подрядчик подождал, но письма ему больше не дали. Сам Твен в «Рукописи об Эшкрофте и Лайон» писал, что Пейн впоследствии пересказал ему слышанный в те дни разговор Изабел с Эшкрофтом: «Хватит! Он никогда больше никуда не выйдет из этого дома без нас!» Но тогда и Лэнсбери, и Пейн смолчали.

В июле Твен написал Джин, что купит для нее дом в Рединге. Потом написал, что подходящего дома не нашел: «Мне так жаль. Я хотел бы устроить тебя, как тебе нравится, мое дорогое дитя. Мне так горько, что я не могу взять себе твою болезнь. Жаль, что нет твоей матери, она бы что-нибудь придумала. Я не могу писать больше. Я так люблю тебя, моя дорогая, дорогая, самая дорогая, и мне так жаль, так жаль. Что я могу сделать?»

Изабел распорядилась отправить Джин в Германию — на консультацию к доктору фон Ренверсу, которого ей рекомендовали. В конце июля Твен сообщил об этом дочери. Протестовать было бесполезно. Джин

прибыла в Берлин 26 сентября, сопровождали ее Марго Шмит и медсестра, с которыми она хорошо ладила. Сняли дешевую комнатку. Изабел высылала ей 50 долларов в месяц (Клара получала 200), на эти деньги питались вдвоем, скудно, но Джин повеселела: обнаружились старые знакомые, завелись новые, врач понравился, и вообще она впервые в жизни оказалась на свободе. Решилась на самостоятельный шаг — продала акции, унаследованные от матери, перестала стесняться в средствах, слала домой подарки и рапортовала, что счастлива.

В те же дни, когда было решено отослать Джин, начался новый виток боевых действий между Изабел и Пейном. Как писала сама Изабел, Эшкрофт сказал ей, будто Пейн говорит о ней гадости, в частности обвиняет в злоупотреблении алкоголем и таблетками. (По словам Твена, пьянство Изабел потом подтвердила Кэти Лири, убиравшая бутылки, сам он ничего не замечал.) Лучшая защита — нападение. «Она убедила меня, — писал Твен, — что Пейн имел темные и злые намерения... читал письма, которые не имел права читать, присваивал важные документы без расписок и объяснений». Пейн действительно тащил все документы к себе домой — как потом объяснял, чтобы Изабел их не украла. В августе Твен объявил ему, что он уволен и что биографом и распорядителем архива будет Джордж Харви, сделал дополнение к завещанию: Харви и Пейн могут использовать только те документы, которые разрешит мисс Лайон. Изабел уволила стенографистку, работавшую с Пейном, и начала атаковать Клару: много тратит. (Сохранились письма Клары и ее аккомпаниатора к Изабел: оправдываются перед секретаршей как дети, отчитываются в покупках.) Отныне, когда Клара просила 500 долларов, ей высылали 100 или 200. Джин отказывали и в десяти долларах, и она все сносила — но было ошибкой ущемлять в правах старшую сестру.

Не снискав особых успехов в Англии и Франции, Клара 8 сентября вернулась в НьюЙорк, сняла квартиру, вызвала к себе Кэти Лири, от которой узнала, что происходит в Рединге. Изабел обставила дом, подаренный ей Твеном, покупала драгоценности, на какие деньги, не ясно, своих у нее не было. Жила она не в своем доме, а в хозяйском, где у нее, как и у Эшкрофта, была комната. Власть ее была абсолютной. Как потом писал Твен, «она приказала одной из горничных никогда не отвечать на мои звонки»; женской прислуге воспрещалось входить к нему «во избежание скандала»; свою дверь Изабел всегда держала полуоткрытой, чтобы «быть в курсе». Вскоре и Клара, по ее воспоминаниям, столкнулась с проявлением власти Изабел: девушка сидела в спальне отца, вызвала горничную — попросить чаю, та ответила, что на сие требуется санкция мисс Лайон.

Клара пыталась управлять слугами из Нью-Йорка по телефону, потом узнавала, что все ее распоряжения отменялись. Дворецкий, впоследствии показывавший, что Лайон и Эшкрофт пытались настроить против Клары прислугу, 1 октября уволился, вслед за ним были уволены горничные. Началась открытая конфронтация.

Защитники Изабел говорят, что Клара была нехорошей и неумной женщиной: не давала публиковать работы отца, разогнала «внучек», потом жестоко обошлась с собственной дочерью, стала религиозной сектанткой и т. д. Но если человек плох, из этого никак не следует, что его враг хорош. В октябре Клара пошла к доктору Кинтарду поговорить об Изабел — тот, по ее словам, сказал, что Лайон «три года его дурачила», и посоветовал произвести финансовую ревизию. Дважды Клара говорила с отцом, тот соглашался на ревизию, потом отказывался; она хотела идти к Роджерсу — он умолил этого не делать.

14 ноября редингский юрист Джон Никерсон заверил подписанную Сэмюэлом Клеменсом доверенность на полное управление его имуществом: Эшкрофт и Лайон получали право осуществлять любые операции. Твен клялся, что понятия не имел об этом документе, припомнил два случая, когда ему могли его подсунуть: один раз Эшкрофт попросил его вторично подписать дарственную на домик Изабел (якобы утерянную), другой раз принес на утверждение устав «Марк Твен компани» (фирма была зарегистрирована 23 декабря для охраны авторских прав, директорами назначены трое Клеменсов, Эшкрофт и Лайон); во втором случае Твен вскользь глянул, увидел слова «недвижимое имущество», не понял, какое отношение оно имеет к авторским правам, но вникать поленился — «и вот я несчастный король Лир». Это возможно: Пейн и Лэнсбери говорили, что он подмахивал не глядя любые бумаги, а Никерсон удостоверял документы «по-соседски», в отсутствие заинтересованных лиц. Известно также, что Эшкрофт повторно в отсутствие Твена заверял доверенность в нотариальных конторах Фэйрфилда и Нью-Йорка, — зачем, если она была оформлена по правилам? Слова Твена косвенно подтверждает и тот факт, что ни Клара, ни Пейн, ни Кинтард, ни Роджерс (!) не слыхивали о доверенности, а также логика: с какой стати человеку подписывать документ, могущий обездолить его детей? (Доверенность теряет силу со смертью доверителя, но позволяет еще при его жизни продать имущество, а потом таскаться по судам.)

Джин в Берлине была в кои-то веки довольна жизнью и изумилась, получив 17 декабря распоряжение отца: «Отплываешь 9 января каюта оплачена не телеграфируй». (По его словам, доктор Петерсон сказал ему,

что больная недовольна лечением и ее нужно вернуть к прежнему врачу.) Она все же телеграфировала — просила разрешить остаться в Германии. (Твену, как он писал, этой телеграммы не показали.) Посетить Стормфилд Джин не позволили — Петерсон и Лайон отвезли ее на Лонг-Айленд, где поселили в доме с другой больной. Она пожаловалась Кларе — той в конце февраля 1909 года удалось добиться, чтобы сестру переселили в Монклэр, штат Нью-Джерси, где она жила одна (с собакой, привезенной из Германии) и написала отцу, что всем довольна.

В начале марта Лайон и Эшкрофт сообщили Твену, что собираются пожениться. «Слышать это было так же странно, как если б они сказали, что собираются повеситься». Как потом писал Твен, он сказал, что отказывается держать в доме женатых людей и младенцев, Эшкрофт заверил, что брак будет платоническим, его цель — защитить Изабел от сплетен. Изабел впоследствии объясняла, что Эшкрофт настоял на браке для того, чтобы Клара убедилась — ее отец на Изабел жениться не сможет, и перестала вмешиваться в их дела. (Твен в «Рукописи об Эшкрофте и Лайон» привел разговор с Кларой — та действительно говорила, что секретарша может вынудить его к браку.) Но враждебность Клары только усилилась. Всю зиму она настаивала на ревизии, наконец без ведома отца сходила к Роджерсу, тот нажал на Твена, и 10 марта Эшкрофту было объявлено о ревизии. Но уже 11 — го Твен пошел на попятный и написал Кларе письмо: Лайон и Эшкрофт благородные люди, и если у дочери нет доказательств их нечестности, она должна «прекратить агрессию». Сказал Эшкрофту и Изабел, что полностью им доверяет. Но письмо Кларе не отослал. Можно представить, как он был издерган и какая путаница творилась у него в голове.

13 марта — Твен назвал этот день «большой чисткой» — ему на подпись представили новые бумаги. Первый документ назначал Эшкрофта управляющим всеми делами Твена. Второй назначал его же единоличным директором «Марк Твен компани». Третий давал Лайон право редактировать собрание писем Твена, которое готовилось к изданию в «Харперс». Четвертый — контракт с Лайон: она получает зарплату в 100 долларов, жилье и питание в доме нанимателя, одежду за его счет; несет обязанности «хозяйки дома», перечень предоставляемых услуг прилагался. «Все стало не так, как прежде, — записал Твен на следующий день. — Чувства полностью устранены. Все услуги мне впредь будут оказываться за плату. Но у меня нет ни раздражения, ни враждебности. Дружба остается, но за нее надо платить. Стормфилд был домом, теперь это отель, а я содержатель отеля». Но уже к вечеру его настроение переменилось: он

подписал три первых документа, но отказался подписывать четвертый, заявил Изабел, что изымает у нее чековую книжку, и телефонировал Кларе, прося ее взять на себя управление домашним хозяйством. 17 марта он, отклонив требование Эшкрофта сопровождать его, съездил в НьюЙорк (на обед в честь Эндрю Карнеги, которого называл негодяем...), зашел к Кларе и попросил ее принять обязанности хозяйки Стормфилда.

18 марта Лайон и Эшкрофт обвенчались в Нью-Йорке, Твен присутствовал на церемонии. По возвращении в Рединг супруги разошлись по своим комнатам. «Они не могли быть более холодной парой, даже если бы неделю хранились в леднике». Клара начала хозяйничать (в основном по телефону). Уволила дворецкого, нанятого Изабел, вернула прежнего, наняла отцу новую стенографистку Мэри Хоуден. Твен забрал у Изабел чековую книжку и полагал, что конфликт исчерпан. Но вскоре он получил сообщение от Фредерика Дьюнеки, сотрудника «Харперс», который предупреждал, что Эшкрофт самовольно пользуется находящимся в издательстве сейфом, где хранятся твеновские документы, и лучше бы забрать у него ключ. Твен поехал проверить сейф, тут вдруг припомнил загадочную строку про недвижимость из устава «Марк Твен компани», все перерыл, не нашел ничего подобного. Пошел к своему адвокату Джону Ларкину, спросил, может ли «Марк Твен компани» посягнуть на его дом. Удивленный юрист отвечал, что это невозможно. Успокоившись, Твен 31 марта уехал в НьюЙорк, потом в сопровождении Эшкрофта, отношения с которым вроде бы наладились, отправился в Норфолк на церемонию открытия железной дороги, построенной Роджерсом; 3 апреля на банкете сравнивал друга с Юлием Цезарем, рассказывал о его добрых делах. «Все считают, что у него, как у Луны, есть темная сторона. Но эта невидимая сторона не темна. Она освещает всех своими лучами».

Путешествие с Эшкрофтом он описал как «дружеское», но 7 апреля в Нью-Йорке от сопровождающего сбежал и явился на квартиру Клары — совещаться. Позвонили Джин, решили, что девушка здорова и ей надо жить дома. Клара взяла с отца слово, что он выгонит Изабел. Тот, прибыв в Стормфилд, объявил секретарше, что она будет уволена 15 апреля, а Джин будет жить с ним. «Мисс Лайон вспыхнула, ее глаза страшно сверкнули, через мгновение она впала в истерику». Супруги Эшкрофт съехали в отель. Клара сходила к Петерсону — тот сказал, что Джин нельзя жить с отцом, через несколько дней встретился с Твеном и дозволил его дочери погостить в Стормфилде не более недели. 15 апреля Твен письмом уведомил Изабел об увольнении, 19-го написал Джин, 26-го она была в Рединге. Спустя неделю Петерсон потребовал, чтобы она уехала. Но ему сказали, что это не

его дело. Все оказалось просто — достаточно захотеть.

В Рединге Твену принадлежала еще ферма в 70 акров, он подарил ее Джин, та развела цветы, овощи, уток, осликов. Жила она в Стормфилде, с утра верхом ездила на почту, потом разбирала бумаги отца, заняв место секретаря, после обеда уходила на ферму, вечером возвращалась домой, читали или писали вдвоем с отцом, на ночь играли в бильярд. (Клара жила в Нью-Йорке — там у нее были концерты; Кэти Лири вела хозяйство в соответствии с ее указаниями.) Три месяца спустя Твен писал Кларе: «Джин изумительна, она удивила меня. <...> Я обнаружил, что она обладает самыми прекрасными качествами: гуманность, милосердие, доброта, жалость; предприимчивость, настойчивость, ум; чистые помыслы, чистая душа; достоинство, честность, правдивость, высокие идеалы, верность; все, чего не было у мисс Лайон. Я никогда ее не ценил и раскаиваюсь в этом».

В апреле — мае сотрудники Роджерса проводили ревизию. Эшкрофт прислал Твену несколько писем, Изабел приходила мириться, но безуспешно. В конце мая, по словам Твена, Лэнсбери передал ему разговор своего сына с Эшкрофтом — тот якобы сказал о бывшем хозяине: «Я могу продать его имущество, когда мне вздумается, хоть за тысячу долларов». Твен счел это пустой угрозой, но все же рассказал Кларе и Пейну — те выудили из него историю с загадочным документом, который он когда-то подписал, кинулись к Никерсону, тот рассказал о доверенности. Прошерстили банки Нью-Йорка, в банке «Либерти нэшнл» доверенность нашли. «Я обнаружил, что отдал Эшкрофту все имущество, до последней рубашки. <...> Это был чистейший грабеж». Хилл и Скандера-Тромбли называют Твена легковым дураком: сперва сам подписал документ, потом наслушался чужих советов и пошел на попятный, Эшкрофт и не думал грабить, Лэнсбери его оболгал. Что думал Эшкрофт, никто не знает, — но зачем ему нужна была эта доверенность? Во всяком случае, грабеж не состоялся. Твен, слушаясь коммерческих советов Эшкрофта, потерял порядка 100 тысяч, но то была его собственная вина.

20 мая он поехал в НьюЙорк к Роджерсу, и тут случилось страшное: друг скорпостижно умер. Пейн: «Он смотрел беспомощно и сказал, что все друзья оставили его». 25 мая Стэнчфилд, еще один адвокат Твена, передал аудит от фирмы Роджерса к другой; ревизоры обнаружили, что Эшкрофт торговал принадлежащими Твену акциями, тот заявил, что делал это, потому что Твен не платил ему за услуги компаньона; за Изабел нашли нецелевое расходование и присвоение хозяйских денег. В начале июня, когда ревизия была в разгаре, Эшкрофты уехали в Лондон, 13 июля Изабел

вернулась в НьюЙорк. Давала интервью: и Король хороший, и она честная. Пыталась встретиться с Твеном, он отказался. Позднее прибыл Эшкрофт, требовал от Твена публичных извинений и денежных компенсаций, в интервью «Таймс» назвал Клару «змеей» и «воровкой». Клара просила отца возбудить дело о клевете — тот сказал, что препираться с таким существом, как Эшкрофт, ниже его и ее достоинства.

Процесс так и не состоялся. Твен сделал Изабел предложение: она возвращает подаренный домик, и на этом все кончится. Она сопротивлялась, но в конце концов уступила. (Когда она уезжала, он записал: «Бог накажет Пейна за то, что он с таким злорадством отнесся к ее трагедии».) Эшкрофт был выведен из правления «Марк Твен компани»; в новое правление вошли Пейн, Твен, Джервис Лэнгдон (племянник), юристы Зоэ Фримен, Эдвард Лумис и Чарлз Ларк. Эшкрофты жили в Бруклине, через несколько лет развелись, продолжали давать интервью: жена называла мужа жуликом, поссорившим ее с Королем, муж говорил, что Твен просил у него извинений, которые он благородно принял. В 1947 году, после смерти Эшкрофта, Изабел передала свои дневники внучатому племяннику Твена Сэмюэлу Уэбстеру — опубликованы они не были, но на их основе написал книгу Хэмлин Хилл. Клара Изабел не простила и настояла на том, чтобы Пейн и Элизабет Уоллес не упоминали ее имени в книгах о Твене. Изабел умерла в 1958 году.

Сам Твен 2 мая 1909 года, когда до развязки было еще далеко, сел за «Рукопись об Эшкрофте и Лайон». Работал четыре месяца, написал более четырехсот страниц, оформленных в виде писем к Хоуэлсу. Он начал работу, по-видимому, в рамках подготовки к судебному процессу: собирал показания знакомых, соседей, слуг, газетные вырезки, относящуюся к делу переписку. Но потом об этой цели забыл и просто изливал душу. Хилл и Скандер-Тромбли утверждают, что писал он с единственным намерением — опорочить Изабел. Ей, конечно, здорово досталось: «бессердечное животное»; рядом с Оливией она «канюк по сравнению с голубкой (приношу извинения канюку)»; «престарелая дева — меня этот тип женщин никогда не привлекал»; «Хоуэлс, я бы скорее переспал с экспонатом из музея восковых фигур, чем с мисс Лайон», и пр. Но гораздо больше досталось самому автору. Он привел неотправленное письмо к Кларе, в котором выражал восхищение Эшкрофтами, и назвал его «постыдным» и «рабским». Он признал, что предал Джин и «участвовал в заговоре против нее». «Я, который должен был быть ее лучшим другом, бросил ее в беде, послушавшись лицемерки, занявшей место, которое должно было принадлежать моему несчастному ребенку». Рассказал, как



отказывался читать ее письма. «Мое сердце сжимается, когда я думаю о том, как Джин молила меня, ее отца, а я был глух к ее мольбам».

Он писал о Лайон: «Всякий раз, когда она игриво, изображая девочку, поглаживала меня по щеке, у меня было такое чувство, словно мне на грудь прыгнула жаба». И тем не менее: «Она была хозяйкой, а я ее рабом. Она могла заставить меня сделать что угодно». То же говорил об Эшкрофте. Сначала всерьез думал, что они его загипнотизировали, потом нашел иное объяснение: «Старики, даже если они по-прежнему независимы и ответственные, часто целиком попадают под влияние корыстных или просто волевых людей. Я знал случаи, когда богатые старики действовали прямо против своих интересов и желаний под влиянием медсестры или сиделки, которые ими манипулировали».

Он был прав: в современной психологии известен «синдром беспомощности», при котором дети, пожилые или больные люди попадают в рабскую зависимость от опекунов. Но и это объяснение его не удовлетворило: на самом деле все было гораздо хуже. Да, он был беспомощен — но он этим наслаждался. «Они смотрели за мной как за малым ребенком», Эшкрофт «раздевал и одевал меня, как лакей» — «и мне все это нравилось, мне нравилось, как со мною нянчатся, и я кичился тем, что вызываю такую преданность и заботу». И ради этого наслаждения он, «старый кретин», «осел», «подлец», был готов уничтожить свою дочь.

Хилл пишет, что Твен рехнулся: об этом свидетельствует то, что он закончил «Рукопись об Эшкрофте и Лайон» абсолютно не идущим к делу рассказом об открытии Северного полюса. 1 сентября 1909 года Роберт Пири, исследователь Арктики, объявил о покорении полюса, но другой исследователь, Фредерик Кук, сказал, что уже открыл полюс весной 1908 года. Вопрос дискусионен по сей день, есть и другие претенденты на первенство. Твен написал, что, возможно, Кук говорил правду, но сглупил, промолчав о своем открытии, и оказался в положении защищающегося. Листра полагает, что это параллель с твеновской ситуацией: Эшкрофт первым напал на него в газетах, отвечать значило выставить себя в глупом свете. На самом деле не доказано, что этот фрагмент вообще имеет отношение к «Рукописи». Он писался как раз в те дни, когда шла публичная дискуссия между Пири и Куком, и был в 1962 году опубликован как самостоятельный текст под названием «Доклад Индианаполисского института прикладных наук» («Official Report to the I. I. A. S.»).

В июне Твен с удовлетворением узнал, что конгресс продлил срок действия копирайта еще на 14 лет. Все лето занимался «Рукописью», в

конце сентября завершил ее обращением «к неродившемуся читателю», которому она попадет в руки через 50 или 100 лет. Написал еще большой фрагмент о Роджерсе в автобиографию. Помирился с Пейном, назначил его управляющим, возобновились бильярд и беседы об астрономии. Несколько раз в Нью-Йорке выступал на обедах, ходил в Музей естествознания, начал изучать стенографию, заинтересовался геологией, Древним Римом, перечитывал Плутарха, Карлейля, Киплинга, Сен-Симона, читал Флобера, Светония, переписку мадам де Севинье, всевозможные мемуары на английском и французском, обсуждал Жанну д'Арк с Джин, обнаружил, что с ней можно дискутировать серьезно, как с Сюзи (с Кларой отвлеченные беседы не получались). «Морских ангелов» Клара разогнала, но его устраивала болтовня с деревенскими детьми.

Написал рассказ «Любознательная Бесси» («Little Bessie»), не публиковавшийся до 1972 года (автор, возможно, предполагал, что он будет частью некоей книги): о девочке-«почемучке». В этой маленькой юмореске он нанес по религии удар такой силы, какой не достигал во всех своих пространных трактатах.

«— Мама, почему повсюду столько боли, страданий и горя? Для чего все это?

Это был несложный вопрос, и мама, не задумываясь, ответила:

— Для нашего же блага, деточка. В своей неисповедимой мудрости Бог посылает нам эти испытания, чтобы наставить нас на путь истинный и сделать нас лучше.

— Значит, это он посылает страдания? — Да.

— Все страдания, мама?

— Конечно, дорогая. Ничто не происходит без его воли, но он посылает их, полный любви к нам, желая сделать нас лучше.

— Это странно, мама. <...> Скажи: это Бог послал тиф Билли Норрису?

— Да.

— Для чего?

— Как для чего? Чтобы наставить его на путь истинный, чтобы сделать его хорошим мальчиком.

— Но он же умер от тифа, мама. Он не может стать хорошим мальчиком!

— Ах да! Ну, значит, у Бога была другая цель. <...> Быть может, Бог хотел послать испытание родителям Билли.

— Но это нечестно, мама! Если Бог хотел послать испытание родителям Билли, зачем же он убил Билли?

— Я не знаю. <...> Он хотел... он хотел наказать родителей Билли. Они, наверное, согрешили и были наказаны.

— Но умер же Билли, мама! Разве это справедливо?

— Конечно справедливо. Бог не делает ничего, что было бы дурно или несправедливо. Сейчас тебе не понять этого, но, когда ты вырастешь большая, тебе будет понятно, что все, что Бог делает, мудро и справедливо.

— Мама, это Бог обрушил крышу на человека, который выносил из дому больную старушку, когда был пожар?

— Ну да, крошка. Постой! Не спрашивай — зачем, я не знаю. Я знаю одно: он сделал это, либо чтобы наставить кого-нибудь на путь истинный, либо покарать, либо чтобы показать свое могущество.

— А вот когда пьяный ударил вилами ребеночка у миссис Уэлч...

— Это совсем не твое дело! Впрочем, Бог, наверное, хотел послать испытание этому ребенку, наставить его на путь истинный.

— Мама, на прошлой неделе колокольню поразило громом и церковь сгорела. Что, Бог хотел наставить церковь на путь истинный?

— *(Устало.)* Не знаю, может быть.

— Молния убила тогда свинью, которая ни в чем не была повинна. Бог хотел наставить эту свинью на путь истинный, мама?

— Дорогая моя, тебе, наверное, пора погулять. Пойди побегай немного».

В июле он почувствовал боль в груди, Кинтард диагностировал сердечный приступ, предписал меньше курить и перестать бегать по лестницам. (То и другое было проигнорировано.) Если верить Пейну, именно тогда он сказал: «Я пришел с кометой Галлея в 1935 году. В следующем году она вернется, и я намерен уйти с нею. Бог сказал, наверное: «Вот эти два непонятных урода, пришли вместе, вместе уйдут». О! Я жду этого с нетерпением». К августу ему стало лучше. Приехал Томас Эдисон, снял короткий немой фильм: хозяин Стормфилда прогуливается и играет с дочерьми в карты. Это единственное появление Марка Твена на экране.

Клара переселилась в Стормфилд, по приглашению ее отца приехал и Габрилович — он с зимы гастролировал в Штатах, летом перенес операцию. Если у Клары и был роман с Уорком, то закончился; впрочем, Уорк, как и Габрилович, продолжал бывать у Клеменсов. 21 сентября в редингской библиотеке Габрилович и Клара дали благотворительный концерт, а 6 октября поженились. Венчал их Туичелл. Твен надел оксфордскую мантию. «Я рад этому браку, как только может радоваться

отец браку своей дочери, — сказал он в интервью «НьюЙорк таймс». — Уверен, что радовалась бы этому браку и моя жена». Клара приводила другие слова: «Любая девушка была бы горда выйти за него. Он — настоящий мужчина».

После свадьбы молодые уехали в Европу. Впоследствии жили в Детройте. Клара изредка пела на частных концертах, муж концертировал как пианист и дирижер, в 1918 году возглавил Детройтский симфонический оркестр, умер в 1936 году, по своему желанию был похоронен рядом с тестем, на памятнике надпись: «Смерть — звездный путь от вчерашней дружбы к завтрашнему воссоединению». Клара опубликовала книгу «Мой отец Марк Твен» в 1931 году и «Мой муж Габрилович» в 1938-м.

Увлечлась восточными религиями и «христианской наукой», об этом тоже писала книги. Овдовев, переехала в Голливуд, в 1944 году (в 70 лет) вышла опять за музыканта из России, Жака Самосуда, на 20 лет моложе ее. В завещании ее отца говорилось, что она должна быть ограждена «от любого контроля или вмешательства любого мужа, какой у нее будет»; она унаследовала полмиллиона долларов (все еще умножайте на 20), но получала ренту от «Марк Твен компани», которая распоряжалась основными инвестициями; постоянно конфликтовала и судилась с ней, отсудила половину дохода. Ее громадное состояние новый муж пустил на ветер; его приятель Сейлер обирал ее — это напоминало историю с Эшкрофтом и Лайон. Ее дочь Нина, родившаяся в 1910 году, неудачно пыталась стать актрисой, пила, мать лишила ее наследства. Клара умерла в 1962 году; актер Хэл Холбрук встречался с ней незадолго до смерти и нашел, что она поразительно похожа на отца — скорее красивый старик, чем красивая старуха, та же грива белоснежных волос и орлиный нос, та же гигантская кровать, в которой она принимала посетителей, и так же, как отец, говорила: не понять, всерьез или издевается.

Нине удалось отсудить у отчима часть материнского наследства, но в 1966 году она покончила с собой. В том же году умер Самосуд. По завещанию Клары половину дохода от твеновских книг получал Сейлер, другую половину — «Фонд Марка Твена», основанный ею вместо «Марк Твен компани». В 1967 году Сейлер умер и все состояние перешло к фонду, согласно уставу использующему средства «для религиозных, благотворительных, научных, литературных или образовательных целей, направленных на то, чтобы человечество могло наслаждаться работами Марка Твена».

Свадьба Клары вызвала новый взрыв интереса, скандал с Лайон забыт,

газеты вновь полны восторгов. Преподобный Фред Адаме из Скенектеди посвятил Твену проповедь — сравнивал со святым Марком и называл «бесстрашным рыцарем справедливости» (потом приехал в гости и стал приятелем). Как хозяин Стормфилда себя чувствовал, понять трудно. Элизабет Уоллес писал: «Я не могу гулять, не могу выезжать, спускаться по лестнице, ни с кем не общаюсь, поглощаю баррели воды, чтобы унять боль, читаю, читаю, читаю и курю, курю, курю, и эта жизнь меня вполне устраивает». Пейн, однако, свидетельствует, что он бегал по лестницам как лось и до утра истязал гостей бильярдом. «Видя его, вы бы никогда не подумали, что он нездоров. Его движения были так же легки, глаза так же блестящи, лицо было таким же свежим, как обычно, он был беззаботен, полон идей и планов». Через час после приступа он уже хватал кий или садился за письменный стол. «Я вчера прикидывался больным, чтобы избежать посетителей; теперь я наконец-то болен и могу почувствовать себя честным человеком».

Осенью он отдал в «Харперс Базар» эссе «Поворотный момент моей жизни» («The Turning Point of My Life»): одного поворотного момента не существует, ежеминутно делается выбор и создается новая развилка (как у Борхеса в «Саду расходящихся дорожек»); самого его к выбору всегда подталкивал характер, над которым он не властен. Он никогда не брезговал злободневными темами: прочел в газетах о разоблачениях махинаций страховых компаний и написал повесть «Международный трест молний: особый род любви» («The International Lightning Trust: A Kind of Love»). Два прохиндея, учредивших страховое общество, страхуют от удара молнии, каковой у людей ассоциируется с Божьей карой; играя на чужом страхе, герои быстро становятся миллионерами и воображают себя орудиями Бога; когда удар поражает мужей их любовниц, лицемерные мошенники говорят: «Провидение вознаградило нас». Автор не побоялся предложить текст «Харперс», но издательство его отклонило и он был издан лишь в 1972 году. Были и другие тексты, неоконченные и безымянные.

Последняя большая работа, «Письма с Земли» («Letters from the Earth»), начатая в первых числах октября, написана за полтора месяца; текст выглядит завершенным и связным, но пропуски в нумерации «Писем» позволяют предположить, что автор планировал еще какие-то фрагменты. Для прижизненной публикации книга не предназначалась. Элизабет Уоллес, 13 ноября: «...я пишу «Письма с Земли», и если Вы к нам приедете — как по-Вашему, что я сделаю? Вручу вам рукопись, отметив места, которые следует пропустить не читая? Отнюдь. Нет у меня к Вам

такого доверия. Я сам прочту Вам свои послания. Эта книга никогда не будет напечатана, да это и невозможно, — было бы уголовным преступлением осквернить почту ее пересылкой, ибо в ней содержится много выдержек из Священного Писания, причем таких, которые неприлично читать вслух, разве только с церковной кафедры или на семейной молитве. Пейн от нее в восторге, но Пейн, по-моему, на днях попадет в ад. <...> Хотел бы я, чтобы можно было выйти на эстраду и читать «Письма» вслух. А я мог бы, если бы только устроить, чтобы это не попало в газеты».

Пейн о публикации «Писем с Земли» и думать не хотел. Де Вото в 1930 году подготовил текст к изданию, добавив к нему дневники семейства Адама и ряд других неопубликованных работ, среди которых были и безобидные. Клара наложила вето. В 1950-х годах она уже говорила, что согласна с тем, как ее отец критикует религию, но считает публикацию вредной, ибо она на руку коммунистам. Правление «Марк Твен компани», однако, препятствия тут не видело, зато предсказывало громадные прибыли; Самосуда это убедило, а он убедил Клару. В 1962 году «Письма с Земли» вышли под редакцией Де Вото (уже покойного; книгу готовил к печати Генри Смит). В русском переводе книга появилась в 1964 году: собственно «Письма с Земли» приведены полностью, часть сопутствующих работ не включена.

Итак, Творец создал Вселенную. Приятели — Михаил, Гавриил и Сатана — обсуждают его деяние.

«— Да, — заметил Михаил, — и еще Он сказал, что введет Закон Природы — ЗАКОН БОГА — во всех своих владениях и сделает его верховным и нерушимым.

— И еще, — добавил Гавриил, — Он сказал, что со временем создаст животных и также подчинит их этому Закону.

— Да, — сказал Сатана, — я слышал, как Он это говорил, но ничего не понял. Что такое «животных», Гавриил?

— А я почему знаю?»

Прошло 100 миллионов лет, и архангелы увидели животных.

«— Божественный! — сказал Сатана с глубоким поклоном. — А зачем они?

— Они нужны, чтобы экспериментальным путем установить принципы поведения и морали. Глядите на них и поучайтесь.

Их были тысячи, и все они были очень деятельны. Все были заняты, очень заняты — в основном истреблением друг друга».

Творец объясняет, что фауна — это эксперимент; и кролик, и тигр

действуют в соответствии с заложенной экспериментатором программой и ни в чем не виноваты. Следующая стадия опыта — люди.

«— А с ними что ты будешь делать, о Божественный?»

— Вложу в каждого отдельного индивида в различных степенях и оттенках все те разнообразные нравственные качества, которые были распределены по одной характерной черте среди всех представителей бессловесного животного мира — храбрость, трусость, свирепость, кротость, честность, справедливость, хитрость, двуличие, великодушие, жестокость, злобу, коварство, похоть, милосердие, жалость, бескорыстие, эгоизм, нежность, честь, любовь, ненависть, низость, благородство, верность, двоедушие, правдивость, лживость, — каждый человек получит все эти качества, и из них составит его природа.

У некоторых высокие прекрасные черты возобладают над дурными, и таких будут называть «хорошими людьми», в других будут властвовать дурные черты, и их назовут «плохими людьми»».

Сатана, как маленькая Бесси, продолжал свои «зачем» и «почему», его любопытство раздражало Творца, и он был отправлен на Землю, откуда слал приятелям «путевые заметки». У землян дурацкие обычаи — например, мужчине, хотя ему постоянно грозит импотенция, можно быть полигамным, а женщине, таких проблем не имеющей, сие возбраняется. Да и все у них дурацкое. «Человек — на редкость любопытная диковинка. В своем наилучшем виде он напоминает лакированного ангела самой низшей категории, а когда он по-настоящему плох, это нечто невообразимое, неудобопроизносимое; и всегда, и везде, и во всем он — пародия. И все же он с полной невозмутимостью и искренностью называет себя «благороднейшим творением божиим»». «Кроме того — крепитесь! — он считает себя любимцем Творца. Он верит, что Творец гордится им, он даже верит, что Творец любит его, сходит по нему с ума, не спит ночами, чтобы восхищаться им, да, да — чтобы бдеть над ним и охранять его от бед. Он молится Ему и думает, что Он слушает. Мило, не правда ли? Да еще наспиговывает свои молитвы грубейшей откровенной лестью и полагает, будто Он мурлычет от удовольствия, слушая подобные нелепые славословия».

Сатана повторил размышления Твена о рае из романа «Путешествие капитана Стормфилда в рай»: «В человеческом раю нет места для разума, нет для него никакой пищи. Он сгниет там за один год — сгниет и протухнет» — и перешел к подробному разбору Ветхого Завета, найдя в нем всевозможные нелепицы, непристойность, жестокость людей и особенно Бога. «Возьмите историю Иероваама. «Я истреблю у Иероваама

каждого мочащегося к стене». Так и было сделано. И истреблен был не только помочившийся, но и все остальные. Человек мог мочиться на дерево, он мог мочиться на свою мать, он мог обмочить собственные штаны — и все это сошло бы ему с рук, но мочиться к стене он не смел, это значило бы зайти слишком уж далеко. Откуда возникло божественное предубеждение против столь безобидного поступка, нигде не объясняется».

Далее Сатана изложил историю Адама и Евы, несправедливо наказанных Создателем. «Любая мелочь выводит его из себя, лишает ясности мысли, стоит ей хоть чуть-чуть задеть его ревнивую зависть. Последняя воспламеняется при малейшем подозрении, что кто-то собирается покуситься на монополию его божественности. Страх, что Адам и Ева, вкусив от плода Древа Познания, станут «как боги», так разбередил его ревнивую зависть, что у него помутилось в голове и он уже не мог обойтись с несчастными справедливо или милосердно и продолжал жестоко и преступно вымещать свой гнев даже на их безвинном потомстве». «Лучшие умы скажут вам, что человек, зачавший ребенка, морально обязан нежно заботиться о нем, защищать его от бед, оберегать от болезней, одевать его, кормить, терпеливо сносить его капризы, наказывать с добротой и только ради его собственной пользы; и никогда, ни при каких обстоятельствах он не имеет права подвергать его бессмысленным мучениям. Денно и ночью Бог поступает со своими земными детьми как раз наоборот, и те же самые лучшие умы горячо оправдывают эти преступления, защищают их, извиняют и в негодовании вообще отказываются считать их преступлениями, поскольку их совершает Он».

Что получается, когда люди буквально понимают рекомендации священников жить по образу и подобию Бога? «Этот человек досконально изучил Библию, а затем, помолившись, чтобы Бог наставил его, принялся ему подражать. Он устроил так, чтобы его жена упала с лестницы, сломала спину и до конца жизни не могла больше пошевелить ни рукой, ни ногой; он предал своего брата в руки афериста, который ограбил его и довел до богадельни; одного своего сына он заразил анкилостомами, другого — сонной болезнью, а третьего — гонореей; одну дочку он облагодетельствовал скарлатиной, и она с малых лет осталась слепоглухонемой; а потом помог какому-то проходимцу соблазнить вторую свою дочь и выгнал ее из дома, так что она умерла в борделе, проклиная его. Затем он поведал обо всем этом священнику, который сказал, что так Отцу Небесному не подражают. Когда же благочестивый труженик спросил, в чем его ошибка, священник переменял тему и поинтересовался, какова погода на их улице».



Ветхий Завет критиковали с позиций науки и морали многие писатели, но, как правило, противопоставляли ему милосердный Новый. Для Твена это лицемерное милосердие еще хуже, чем неприкрытое старое. «Принято считать, что, пока Бог пребывал на небесах, он был суров, упрям, мстителен, завистлив и жесток; но стоило ему сойти на землю и принять имя Иисуса Христа, как он стал совсем другим, то есть кротким, добрым, милосердным, всепрощающим... А ведь именно как Иисус Христос он изобрел ад и объявил о нем миру. Другими словами, став смиренным и кротким Спасителем, он оказался в тысячу миллиардов раз более жестоким, чем во времена Ветхого Завета...» «Жизнь была бредовым сновидением, слагавшимся из радостей, испорченных горем, из удовольствий, отравленных болью... жизнь была страшнейшим проклятием, какое только могла придумать божественная изобретательность. Но смерть была ласковой, смерть была кроткой, смерть была доброй, смерть исцеляла израненный дух и разбитое сердце, дарила им покой и забвение, смерть была лучшим другом человека — когда жизнь становилась невыносимой, приходила смерть и освобождала его». «Однако со временем Бог понял, что смерть — это ошибка; ошибка потому, что в смерти чего-то не хватало; не хватало потому, что, хотя она была великолепным орудием, чтобы причинять горе живым, сам умерший находил в могиле надежный приют, где его уже нельзя было больше терзать. Это Бога не устраивало. Следовало найти способ мучить мертвых и за могилой».

Но нам свойственно любить даже тех, кто нас мучит, любить отцов просто за то, что они отцы, — такими уж нас создали, и Твен это отлично знал. «Я не знаю, за что ты любишь меня, — писал он Кларе, — я этого не заслужил; и то, что Джин меня любила, ежедневно удивляет меня; я верю в искренность этого чувства, но не понимаю, на чем оно основано... Я благодарен Джин и тебе за эту незаслуженную любовь. Не раз я с отвращением замечал, что уподобляюсь Богу Отцу. Он требует, чтобы его дети его любили, и пытается добиться этой любви с помощью самых дешевых трюков, какие может изобрести».

18 ноября 1909 года, завершив работу над «Письмами с Земли», Твен поехал с Пейном на Бермуды. Поселился в доме Алленов (родителей «морского ангела» Элен), там отпраздновали его 74-й день рождения. 21 декабря Джин встречала отца в Нью-Йорке, она вернулась в Стормфилд, он задержался по делам. Общественность беспокоилась о его здоровье — продиктовал корреспонденту «Ассошиэйтед Пресс» игривый ответ:

«Газеты пишут, что я умираю. Это напраслина. В моем возрасте я бы никогда не совершил ничего подобного». Приехал в Стормфилд; как вспоминала Кэти Лири, наряжал с Джин елку, оба были в отличном настроении. В восемь утра рыдающая Кэти сказала хозяину, что Джин умерла — утонула в ванне во время припадка, единственного за месяцы, что она жила дома. «Наверное, теперь я знаю, что чувствует солдат, когда пуля пробивает его сердце».

Опять, как после смерти Сюзи и Оливии, он бродил по опустевшему дому, потом садился и писал; он любил Джин меньше, чем старшую дочь и жену, но она была последняя (Клара — отрезанный ломоть), и описание этой потери по накалу ужаса и боли превосходит предыдущие.

«Джин лежит там, я сижу здесь; мы чужие в своем доме; мы поцеловались на ночь в последний вечер — это было навсегда, но мы этого не знали. Она лежит там, а я сижу здесь и пишу, занимаю себя чем-то, чтобы мое сердце не разорвалось. Какой великолепный свет заливают холмы! Это похоже на насмешку».

«Зачем я построил этот дом? Надеялся найти убежище в этой громадной пустоте? Каким дураком я был!»

«Месяц назад я писал веселые статейки для журналов, а теперь пишу — это».

«Канун Рождества. Вчера вечером я вошел в ее комнату, и откинул простыню, и смотрел в спокойное лицо, и целовал холодные брови, и вспоминал ужасную ночь во Флоренции, в той громадной пустой вилле, когда я так же сходил вниз, и откидывал простыню, и смотрел в лицо ее матери — и целовал ее брови, такие же холодные, как эти».

«Около трех часов ночи я бродил по дому в глубокой тишине, как поступаем мы все, когда у нас такое чувство, словно мы что-то потеряли и никогда не найдем, но продолжаем искать, чтобы занять себя. Я наткнулся под лестницей на собаку Джин и заметил, что пес не кинулся приветствовать меня по своей привычке, но брел медленно и печально; помню, он не вошел в комнату Джин. Бедняга все знал? Я думаю, да. Всегда, когда Джин гуляла, он ходил с нею; он был с нею день и ночь. Он спал в ее спальне. Всегда, когда я встречал его внизу, он бежал за мной и, пока я поднимался по лестнице, он шумным галопом неся за мной. Но теперь все было по-другому: погладив его, я пошел в библиотеку — он остался на месте; когда я поднялся наверх — он не последовал за мной и лишь проводил меня взглядом. У него прекрасные глаза, большие и выразительные. Он красивый. Порода — овчарка. Я не люблю собак, потому что они вечно лают, но я любил его, потому что он принадлежал

Джин и лаял не чаще двух раз в неделю».

«В своих блужданиях я забрел в комнату Джин. На полке была стопка моих книг, и я знал, что это значило. Она ждала моего возвращения с Бермуд, чтобы я подписал книги, а она отправила. Если б я только знал, кому она хотела их послать! Но я никогда не узнаю. Я их оставлю себе. Она их трогала руками...»

На похороны в Эльмиру (26 декабря) его не взяли — слишком слаб. Продолжал писать. «Метель бушевала всю ночь. И все утро. Снег сыплется из громадных облаков, таких прекрасных — и Джин нет, чтобы это увидеть». «Когда Клара уехала в Европу, было тяжело, но я стерпел, потому что со мной осталась Джин. Я сказал, что мы будем семьей. Мы говорили, что будем друзьями и будем счастливы вдвоем. Я мечтал об этом, когда Джин встречала меня в прошлый понедельник; я мечтал об этом, когда она вошла ко мне в прошлый вторник. Мы были вместе; МЫ БЫЛИ СЕМЬЕЙ! Мечта осуществилась — о, полностью, совершенно! — и это продлилось целых два дня».

\*

Зря взяли Джин из-под надзора? Пусть несчастная, но осталась бы жива? Никто этого не знает. Отец уговаривал себя, что случилось меньшее из зол, — он каждый раз, как у него отрывали кусок сердца, приходил в себя именно таким образом. 29 декабря он писал единственной дочери: «Ох, Клара, Клара, милая, я так рад, что для нее все кончено и она избавилась от всего этого — избавилась! Я не поддаюсь унынию и, наверное, уже никогда больше не поддамся. Понимаешь, я был в таком отчаянии, когда понял, что ты уехала так далеко и теперь у нее нет другой защиты и опоры, кроме меня, а я могу умереть в любую минуту, и тогда... что бы случилось с нею тогда? Ведь ты знаешь, она была своевольна и не дала бы собою командовать». Хоуэлсу: «Вернул бы я ее к жизни, если бы мог? Нет... Потеряв ее, я лишился всего и моя жизнь пуста, но за нее я рад, потому что она получила самый драгоценный подарок — смерть».

Клара приехать не могла или не хотела — несколькими месяцами позднее она напишет подруге, что «даже смерть папы и Джин не могут помешать тому стремлению к счастью, которое я сейчас испытываю». В Стормфилд временно переселился Пейн с семьей. Твен сказал, что автобиография закончена, «Смерть Джин» — фрагмент, цитированный выше, будет ее последней главой. Пейн в 1911 году опубликовал «Смерть

Джин» в «Харперс мэгэзин», но почему-то не включил ее в текст своей редакции автобиографии, как и Де Вото, — первым волю автора исполнил Майкл Кискис в 1990 году.

По воспоминаниям Пейна, в первые недели после смерти Джин велись обычные разговоры на отвлеченные темы, бильярд забросили, хозяин Стормфилда был вял и рассеян, но однажды сказал, что в ванной почувствовал дуновение воздуха, спросил: «Это ты, Джин?»; дуновение исчезло, но он казался оживленнее обычного в тот день. 5 января 1910 года он в последний раз виделся с Хоуэлсом — говорили о... профсоюзах. В тот же вечер Пейн повез его на Бермуды.

«Неужели я буду когда-нибудь снова весел и счастлив? Да. И скоро. Потому что знаю мой характер. И знаю, что характер — хозяин человека, а он — его беспомощный раб». Белый костюм, бильярд с Вудро Вильсоном, «внучка» Элен Аллен; в начале февраля Король известил всех, что останется жить на острове, в Стормфилд будет только наезжать. О самочувствии — ни слова. 5 марта он дал последнее интервью, которое перепечатали все газеты Америки: «Хотя я не вполне здоров, но и не настолько болен, чтобы порадовать гробовщиков».

Пейн (он отвез Твена и уехал на материк) был поражен, получив 25 марта известие, что друг собирается вернуться в конце апреля. «Не говорите никому. Я не хочу, чтобы об этом знали. Возможно, мне придется прибыть и раньше, если боли в груди не ослабеют. Я не хочу умирать здесь, потому что это неудобно. Мне придется долго лежать в трюме, а там темно и противно» — и в том же письме планы на лето, инструкции касательно редингской библиотеки. Пейн не знал что думать, но через пару дней пришло письмо от Аллена: у Короля было несколько приступов, его нужно забрать немедленно. Пейн дал телеграмму Габриловичам, примчался на Бермуды, увидел, что друг похудел, но держится хорошо, отказался от сиделки, читает Маколея, не выпускает изо рта сигару. На ночь ему кололи морфий. 12 апреля отплыли. Был очень плох на пароходе. Прощался с Пейном. 14 апреля специальный поезд-экспресс доставил его в Рединг. С ним приехали два врача, Кинтард и Роберт Хэлси. На руках отнесли в спальню. 17 апреля прибыли Габриловичи. Клара была беременна, но отцу не сказала: некоторые изыскатели на этом основании пишут, что она ненавидела отца, мстила и пр. Это маловероятно — просто тогдашняя медицина, как мы помним, запрещала больным волнения, не делая различия между приятными и неприятными. А если бы она ему сказала — может, это поддержало бы его? Увидел бы внучку? Опять-таки никто не

знает. И все же медики (вина не их, а эпохи) над всеми Клеменсами поизмывались как над лютыми врагами...

Последнее деловое распоряжение Твена было дано адвокату: на средства от продажи фермы Джин построить новое здание библиотеки. Дышал он тяжело, говорил с трудом. Читал Карлейля. 19 апреля попросил Клару петь, потом отослал ее, сказал, что больше не увидятся. Ночью пришла комета Галлея.

Во время ее прохождения он лежал без сознания — Будничная Суть отключилась, две другие были заняты чем-то важным. Утром 21-го пришел в себя, сел в кровати, острил, в последний раз говорил с Пейном, Габриловичем, Кларой. Днем впервые в жизни отказался от сигары, написал (говорить не мог), чтобы ему дали очки, полистал Карлейля, уснул и не проснулся. «Издали комета светилась синеватым огоньком, точно потухающий факел, но чем ближе он подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Он нагонял ее так быстро, что через сто пятьдесят миллионов миль уже попал в ее фосфоресцирующий кильватер и чуть не ослеп от страшного блеска».

Британская газета «Морнинг лидер», 22 апреля: «За исключением Толстого, нет больше писателя, чья смерть вызвала бы такое ужасное ощущение потери».

«Русское слово», 22 октября: «Одна петербургская газета убедительно просит сообщить о состоянии здоровья Л. Н. Надо ответить и отослать с ожидающим нарочным. Графиня Софья Андреевна садится в уголке к столу и спрашивает, что написать. — Напиши, что умер и похоронили, — говорит с улыбкой Л. Н. — Но непременно нужна и подпись: «Лев Толстой», — слышится голос. Все смеются. И Л. Н. веселее всех. Секретарь Льва Николаевича В. Булгаков рассказывает об аналогичном эпизоде из жизни Марка Твена, когда он писал в газетах, что слухи о его смерти в значительной степени преувеличены. Л. Н. заразительно смеется. Заходит речь о Марке Твене...» (Толстой умер 7 ноября.)

Сэмюэла Клеменса отпели в старой пресвитерианской Кирпичной церкви в Нью-Йорке, службу отслужили Туичелл и Ван Дайк (любитель рыбалки, высмеянный покойным). Похоронили в Эльмире, одетым во все белое. «НьюЙорк таймс»: «Официальная причина смерти — *angina pectoris*, но близкие говорят, что он умер от разбитого сердца». Пейн: «Как мало можно сказать о такой жизни, как его! Он всегда шел такой блистательной и яркой дорогой, и плюмаж его развевался, и толпы следовали за ним». Хоуэлс: «Лонгфелло, Лоуэлл, Холмс: я знал их и всех наших интеллектуалов, они были похожи друг на друга как все литераторы,

но Клеменс был единственный, неповторимый, несравненный — Линкольн нашей литературы». Кэти Лири: «Мое сердце уменьшилось вдвое, когда я смотрела на него в последний раз. Мне казалось, что моя жизнь кончена». (Клара, временно поселившаяся в Стормфилде, звала Кэти сидеть с ребенком, но старая служанка отказалась — не могла жить в том доме.)

Комета посетила нас в 1986-м — одна. Почему? Что не так? «Там, откуда я родом, мы все наделены даром, от которого порой устаем. Мы не способны удивляться. Там мы не можем отключить дар провидения, а здесь — можем. Это одна из главных причин моих частых визитов на Землю. Я так люблю сюрпризы!» Так почему же не зашел? Наверное, мы сами виноваты — сюрпризов не приготовили; ну, подумаешь, компьютеры, мобильные телефоны... Но...

«Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата». «Да что говорить, ведь если какой-нибудь член конгресса голосует честно и бескорыстно и отказывается, пользуясь своим положением, запустить руку в государственную казну, так об этом кричат по всей стране как о чуде».

«Наша страна была единственной свободной страной из всех стран, над которыми когда-либо восходило солнце, наша цивилизация — самой высокой из всех цивилизаций; у нас были самые большие просторы, самые большие реки, самое большое всё на свете, мы были самым знаменитым народом под луной...»

«Средний человек не любит хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек вроде Бака Гаркнеса крикнет: «Линчевать его! Линчевать его!» — тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами, и вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги».

«В большинстве случаев наши рабы были убежденные сторонники рабства».

«Уже целый миллион лет вы уныло размножаетесь и столь же уныло истребляете один другого. К чему? Ни один мудрец не ответит на мой вопрос. Кто извлекает для себя пользу из всего этого? Только лишь горстка знати и ничтожных самозванных монархов, которые пренебрегают вами и сочтут себя оскверненными, если вы прикоснетесь к ним, и захлопнут дверь у вас перед носом, если вы постучитесь к ним».

«Делай деньги! Делай их побыстрее! Делай побольше! Делай как можно больше! Делай бесчестно, если удастся, и честно, если нет другого

пути!»

«Одна ложь гласит, что в мире существует такая вещь, как независимость: независимость взглядов, независимость мысли, независимость действий. Другая — что мир любит проявления независимости, что он восхищается ею, приветствует ее».

«Господи боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о Господи, развеи в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обагри белый снег кровью их израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь».

«Человек — единственный раб. И единственное животное, обращающее в рабство себе подобных. <...> Он — единственное животное, которое любит ближнего своего, как самого себя, и перерезает ему глотку, если расходится с ним в богословских вопросах».

«Что касается внешности — взгляните на бенгальского тигра, на этот идеал грации, красоты, физического совершенства и величия. А потом взгляните на человека — на эту жалкую тварь, на это животное в парике, с трепанированным черепом, со слуховой трубкой, с искусственным глазом, с картонным носом, с фарфоровыми зубами, с серебряной гортанью, с деревянной ногой, — на существо, которое с ног до головы состоит из заплаток и штопки. Если на том свете ему не удастся получить обратно всю эту мишуру — каково-то он будет выглядеть?»

Следующий рейс кометы запланирован на лето 2061 года. Надо бы все-таки устроить какой-нибудь сюрприз, а то будет как в прошлый раз... Или... Хотя... Авось... Может, и так обойдется? «Мы ничего не можем с собой поделать, не мы себя создали, такими уж нас произвели на свет, значит, и винить себя не в чем. Давайте же будем добрыми и снисходительными к самим себе, не будем огорчаться и унывать из-за того,

что все мы без исключения с нежного возраста и до могилы — мошенники, лицемеры и хвастуны, не мы придумали этот факт, не нам и отвечать за него».



## Основные даты жизни и творчества Марка Твена

1835, 30 ноября — сразу же после прохождения близ Земли кометы Галлея во Флориде, штат Миссури, родился Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; отец — Джон Маршалл Клеменс; мать — Джейн Лэмптон Клеменс.

1839, ноябрь — Клеменсы переезжают в Ганнибал, штат Миссури.

1847, 24 марта — смерть Джона Маршалла Клеменса.

1848, май — Сэмюэл поступает учеником наборщика в газету «Миссури курьер».

1850, сентябрь — работает наборщиком в газете «Вестерн юнион» (позднее «Ганнибал джорнэл»), которую издает его старший брат Орион.

1851, 16 января — первая установленная публикация — рассказ «Храбрый пожарный» в «Вестерн юнион».

1853, июнь — Сэмюэл уезжает в Сент-Луис, работает наборщиком.

1853–1857 — работает наборщиком в Нью-Йорке, Филадельфии, Сент-Луисе, Цинциннати, Кеокуке; периодически публикует заметки под разными псевдонимами.

1857, март — становится учеником лоцмана на Миссисипи.

1857–1861 — работает учеником лоцмана, затем лоцманом на разных пароходах; продолжает периодически публиковать заметки.

1861, июнь — в Ганнибале записывается в нерегулярный отряд самообороны южан, через две недели выходит из него;

1861, июль — уезжает в Карсон-Сити (территория Невада) с Орионом, назначенным помощником губернатора.

1862, январь — август — занимается старательством на серебряных приисках;

1862, апрель — начинает регулярно публиковаться в газете «Территориел энтерпрайз»;

1862, август — переезжает в Вирджиния-Сити, принят в штат «Территориел энтерпрайз».

1863, 2 февраля — впервые использует псевдоним «Марк Твен».

1864, май — переезжает в Сан-Франциско, работает в газете «Морнинг колл».

1865, 18 ноября — в «НьюЙорк сатердей пресс» опубликован рассказ «Джим Смайли и его знаменитая скачущая лягушка», сделавший Марка

Твена знаменитым.

1866, март — июль — поездка на Гавайские острова в качестве корреспондента газеты «Сакраменто юнион»;

1866, 2 октября — первое публичное выступление;

1866, октябрь — ноябрь — гастрольный тур по Калифорнии и Неваде с рассказами о Гавайях.

1867, январь — переезжает в НьюЙорк, публикуется в газете «Алта Калифорния»;

1867, май — выходит первый сборник рассказов Марка Твена;

1867, 10 июня — 19 ноября — морской круиз в Европу и Палестину в качестве корреспондента «Алты»;

1867, ноябрь — Твен начинает работу секретарем сенатора Стюарта в Вашингтоне;

1867, 27 декабря — в Нью-Йорке знакомится с будущей женой Оливией Лэнгдон.

1868, январь — знакомится с первым из трех своих друзей, Джозефом Туичеллом; пишет книгу «Простаки за границей»;

1868, март — прекращает работу у сенатора и отправляется в гастрольный тур по Калифорнии и Неваде;

1868, 17 ноября — начинает тур по Востоку и Среднему Западу (до 3 марта 1869).

1869, 4 февраля — помолвка с Оливией Лэнгдон;

1869, июль — публикация «Простаков за границей»;

1869, 12 августа — Твен переезжает в Буффало и становится совладельцем газеты «Буффало экспресс»;

1869, 1 ноября — гастрольный тур (до 21 января 1870); в Хартфорде знакомство со вторым пожизненным другом — Уильямом Хоуэлсом.

1870, 2 февраля — свадьба с Оливией;

1870, март — Твен ведет юмористический отдел в нью-йоркском журнале «Гэлакси» (до апреля 1871);

1870, август — работа над книгой «Налегке»; 7 ноября — рождение сына Лэнгдона.

1871, октябрь — Ююменсы переезжают в Хартфорд, штат Коннектикут.

1872, январь — март — гастрольный тур по США;

1872, февраль — публикация «Налегке»;

1872, 19 марта — рождение дочери Сьюзен;

1872, 2 июня — смерть сына;

1872, лето — предположительно начата работа над романом

«Приключения Тома Сойера»;

1872, 21 августа — 26 ноября — поездка в Англию.

1873, февраль — апрель — работа над романом «Позолоченный век»;

1873, 17 мая — отъезд в Англию с семьей, вторично в ноябре без семьи.

1874, январь — издан «Позолоченный век»;

1874, 8 июня — рождение дочери Клары;

1874, лето — работа над «Томом Сойером»;

1874, 9 сентября — Клеменсы переехали в собственный дом в Хартфорде, живут там постоянно, каждое лето проводят в Эльмире;

1874, октябрь — начало работы над книгой «Старые времена на Миссисипи».

1875, январь — публикация книги «Старые времена на Миссисипи»;

1875, июль — завершен роман «Приключения Тома Сойера».

1876 — начата работа над романом «Приключения Гекльберри Финна»;

1876, 9 июня — публикация «Приключения Тома Сойера».

1878, апрель — Клеменсы уезжают в Европу, путешествуют по Германии, Швейцарии, Италии;

1878, осень — работа над книгой «Пешком по Европе».

1879, зима — весна — Франция, лето — Англия;

1879, сентябрь — возвращение в США, Клеменсы постоянно живут в Хартфорде, лето проводят в Эльмире.

1880, январь — сентябрь — работа над романом «Принц и нищий»;

1880, февраль — Твен начинает делать инвестиции в «Каолатайп Энгрейвинг компани»;

1880, март — публикация «Пешком по Европе»; 26 июля — рождение дочери Джин;

1880, осень — Твен начинает финансировать типографский станок Пейджа.

1881 — работа над романом «Принц и нищий».

1882, январь — публикация романа «Принц и нищий»;

1882, апрель — Твен совершает поездку по Миссисипи, посещает Ганнибал; работа над книгой «Жизнь на Миссисипи».

1883, май — публикация книги «Жизнь на Миссисипи»;

1883, июль — завершен роман «Приключения Гекльберри Финна»; Твен изобрел и запатентовал настольную игру.

1884, май — Твен основывает издательство «Уэбстер и К°»;

1884, ноябрь — тур по Среднему Западу (до 28 февраля 1885);

1884, 18 ноября — «Уэбстер и К°» заключает контракт на публикацию мемуаров генерала Улисса Гранта.

1885, февраль — публикация романа «Приключения Гекльберри Финна»;

1885, декабрь — «Уэбстер и К°» издает мемуары Гранта и на короткое время становится самым прибыльным издательством в мире.

1886, январь — начата работа над романом «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

1887 — начало финансовых проблем с «Уэбстер и К°» и другими бизнес-проектами Твена.

1888, июль — Твен получает почетную степень магистра искусств Йельского университета.

1889, декабрь — публикация романа «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

1890, июнь — Твен выкупает права на типографский станок Пейджа;

1890, 27 октября — смерть матери.

1891, февраль — апрель — работа над романом «Американский претендент»;

1891, июнь — Клеменсы навсегда оставляют Хартфорд и уезжают в Европу: Франция, Швейцария, Германия.

1892 — Германия, Франция, Италия;

1892, май — публикация романа «Американский претендент»;

1892, июнь — начало работы над романами «Простофиля Вильсон» и «Жанна д'Арк».

1893 — семья живет в Европе, Твен постоянно ездит в США, пытаясь спасти «Уэбстер и К°» от банкротства;

1893, сентябрь — знакомство с третьим другом — Генри Роджерсом.

1894 — постоянные поездки из США в Европу и обратно;

1894, 6 марта — Роджерс становится управляющим делами Твена;

1894, апрель — банкротство «Уэбстер и К°»;

1894, октябрь — проект производства типографских станков признан несостоятельным;

1894, ноябрь — публикация романа «Простофиля Вильсон».

1895, апрель — публикация романа «Жанна д'Арк»; Клеменсы возвращаются в США;

1895, 14 июля — начало кругосветного гастрольного тура, предпринятого для выплаты долгов «Уэбстер и К°».

1896, август — тур завершается в Англии;

1896, 18 августа — смерть дочери Сьюзен;

1896, октябрь — начало работы над книгой «По экватору».

1897 — Клеменсы живут в Англии, Швейцарии, Австрии;

1897, ноябрь — публикация книги «По экватору»;

1897, осень — начало работы над романом «Хроники молодого Сатаны».

1898 — Австрия;

1898, март — завершена выплата долгов «Уэбстер и К°»; Твен вновь становится богатым человеком;

1898, апрель — начало работы над трактатом «Что такое человек?».

1899 — Австрия, Англия, Швеция, снова Англия; работа над «Хрониками молодого Сатаны» и другими вариантами романа о Сатане;

1899, январь — в США начинает выходить собрание сочинений Твена.

1900 — Англия;

1900, ноябрь — Клеменсы возвращаются в США (НьюЙорк).

1901 — Клеменсы постоянно живут в Нью-Йорке;

1901, зима — весна — Твен пишет цикл публицистики, критикуя внешнюю политику США;

1901, 20 октября — очередная почетная степень Йельского университета.

1902, июнь — почетная степень доктора прав Миссурийского университета;

1902, 29 мая — 7 июня — последнее посещение Ганнибала;

1902, август — болезнь и изоляция Оливии Клеменс;

1902, ноябрь — начало работы над романом «№ 44, Таинственный незнакомец».

1903, ноябрь — Клеменсы уезжают в Италию.

1904, январь — Твен начинает регулярно диктовать автобиографию;

1904, июня — смерть Оливии; Твен с дочерьми возвращается в НьюЙорк.

1905 — Клеменсы постоянно живут в Нью-Йорке, лето проводят в Дублине, Твен с Роджерсом регулярно совершают поездки на Бермудские острова;

1905, лето — написаны книги «Три тысячи лет среди микробов», «Дневник Евы»;

1905, декабрь — публикация «Дневника Евы».

1906, 10 января — Альберт Пейн, будущий биограф Твена, начинает записывать его автобиографические рассказы;

1906, август — анонимная публикация трактата «Что такое человек?».

1907, февраль — публикация книги «Христианская наука»;

1907, 8 июня — 22 июля — поездка в Англию; почетная степень доктора изящной словесности Оксфордского университета;

1907, декабрь — публикация фрагментов книги «Путешествие капитана Стормфилда в рай».

1908, 18 июня — Твен переезжает в собственный дом в Рединге, штат Коннектикут.

1909 — живет в Рединге, выезжает на Бермуды;

1909, 6 октября — дочь Клара выходит замуж;

1909, октябрь — ноябрь — написана книга «Письма с Земли»;

1909, 24 декабря — смерть дочери Джин.

1910, январь — Твен уезжает на Бермуды;

1910, апрель — возвращается в Рединг;

1910, 24 апреля — воспользовавшись очередным появлением кометы Галлея, Марк Твен решил покинуть Землю.

1986 — комета Галлея появилась, но Твен почему-то с ней не прилетел. Ждем следующего раза...

# Литература

## Произведения М. Твена

*Twain, Mark.* Mark Twain's Autobiography. Ed. by Albert Bigelow Paine, Harper, 1924.

*Twain, Mark.* Mark Twain in Eruption. (Autobiography.) Ed. Bernard DeVoto, Harper, 1940.

*Twain, Mark.* Autobiography. Ed. by C. Neider, Harper, 1959.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Own Autobiography: The Chapters from the North American Review. Ed. by Michael J. Kiskis, University of Wisconsin Press, 1990.

*Twain, Mark.* Autobiography of Mark Twain. Ed. Harriet Elinor Smith, University of California Press, 2010.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Notebook. Ed. by Albert Bigelow Paine, Harper, 1935.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Notebooks and Journals, University of California Press. Volume 1: 1855–1873. Edited by Frederick Anderson, Michael B. Frank, and Kenneth M. Sanderson, 1975. Volume 2: 1877–1883. Edited by Anderson, Lin Salamo, and Bernard L. Stein. Volume 3: 1883–1891. Edited by Robert Pack Browning, Frank, and Salamo, 1979.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Letters. Ed. by Albert Bigelow Paine, Harper, 1917.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Letters. Volume 1: 1853–1866. Ed. Edgar Marquess Branch, Michael B. Frank and Kenneth M. Sanderson. Berkeley: University of California Press, 1988. Volume 2. 1867–1868. Ed. Harriet Elinor Smith and Richard Bucci. Berkeley: University of California Press. 1990. Volume 4: 1870–1871. Ed. Victor Fischer and Michael B. Frank. Berkeley: University of California Press, 1995. Volume 5: 1872–1873. Ed. Lin Salamo and Harriet Elinor Smith. Berkeley: University of California Press, 1997.

*Twain, Mark.* The Love Letters of Mark Twain. Ed. by Dixon Wecter. Harper, 1949.

*Twain, Mark.* The Bible According to Mark Twain: Writings on Heaven, Eden, and the Flood. University of Georgia Press, 1995.

*Twain, Mark.* «1601»; or, Conversation as It Was by the Social Fireside in the Time of the Tudors, Cleveland, 1880.

*Twain, Mark.* Collected Tales, Sketches, Speeches, and Essays, Library of America, N. Y., 1992.

*Twain, Mark.* Mark Twain, Reflections on Religion, in The Outrageous



Mark Twain, ed. by Charles Neider, Doubleday, 1987.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Fables Of Man. Ed. John S. Tuckey. Berkeley: University Of California Press, 1972.

*Twain, Mark.* Who is Mark Twain? Ed. by Robert H. Hirst. Harper, 2009.

*Twain, Mark.* Mark Twain's Book of Animals. Ed. by Shelley Fisher Fishkin. University of California Press, 2010.

*Twain, Mark.* The Devil's Race-Track: Mark Twain's «Great Dark» Writings. Ed. by John S. Tuckey. University of California Press, 1979.

*Twain, Mark.* Letters from the Earth. Ed. Bernard DeVoto. Greenwich, Conn, 1962.

*Twain, Mark.* The Mysterious Stranger. Ed. William M. Gibson. Berkeley: University of California Press, 1969.

*Марк Твен.* Собрание сочинений: В 8 т. М.: Правда, 1980.

*Марк Твен.* № 44, Таинственный незнакомец. М.: Политиздат, 1989.

*Марк Твен.* Письма с Земли. М.: Политиздат, 1964.

## Литература о М. Твене и его творчестве

*Мендельсон М.* Марк Твен. М., 1964.

*Brooks, Van Wyck.* The Ordeal of Mark Twain. Harper, 1920.

*Budd, Louis J.* Mark Twain: Social Philosopher. Indiana University Press, 1962.

*Buddy Louis J.* Mark Twain: The Contemporary Reviews. Cambridge University Press, 1999.

*Camfield, Gregg.* The Oxford Companion to Mark Twain. New York: Oxford University Press, 2003.

*Clemens, Susy.* Papa: An Intimate Biography of Mark Twain. Doubleday, 1985.

*Clemens, Clara.* My Father, Mark Twain. Harper, 1931.

*De Voto, Bernard.* Mark Twain's America. University of Nebraska Press, 1932.

*Emerson, Everett.* Mark Twain, A Literary Life. University of Pennsylvania Press, 2000.

*Fanning, Philip.* Mark Twain and Orion Clemens: Brothers, Partners, Strangers. The University of Alabama Press, 2003.

*Foner, Philip.* Mark Twain: Social Critic. New York: International Publishers, 1958.

*Gold, Charles.* Hatching Ruin, or Mark Twain's Road to Bankruptcy. University of Missouri Press, 2003.

*Henderson A.* Mark Twain, London, 1911.

*Hill, Hamlin.* Mark Twain: God's Fool. New York: Harper Row, 1973.

*Hoffman, Andrew.* Inventing Mark Twain: The Lives of Samuel Langhorne Clemens. New York: William Morrow and Company, 1997.

*Hoffmann, Donald.* Mark Twain in Paradise: His Voyages to Bermuda. University of Missouri Press, 2006.

*Howells, William Dean.* My Mark Twain, Dover Publications, 1997.

*Kaplan, Fred.* The Singular Mark Twain. Doubleday, 2003.

*Kaplan, Justin.* Mr. Clemens and Mark Twain: A Biography, Simon Schuster, 1983.

*Krass, Peter.* The Business Adventures of Mark Twain. John Wiley Sons, 2007.

*Lawton, Mary.* A Lifetime with Mark Twain, The memories of Katy Leary, Harcourt, Brace Co, 1925.

*LeMaster, J. R. and Wilson, James D.* The Mark Twain Encyclopedia. New York: Garland Publishing, 1993.

*Loving, Jerome.* Mark Twain: The Adventures Of Samuel L. Clemens. University of California Press, 2010.

*Lowry, Richard.* Littery Man: Mark Twain and Modern Authorship. New York: Oxford University Press, 1996.

*Lystra, Karen.* Dangerous Intimacy: The Untold Story of Mark Twain's Final Years. University of California, 2004.

*Messent, Peter.* Mark Twain and Male Friendship: The Twichell, Howells, Rogers Friendships. Oxford University Press, 2009.

*Neider, Charles.* Mark Twain and the Russians: An Exchange of Views, Hill Wang, 1960.

*Paine, Albert Bigelow.* Mark Twain, A Biography: The Personal and Literary Life of Samuel Langhorne Clemens. Harper, 1912.

*Phipps, William E.* Mark Twain's Religion. Mercer University Press, 2003.

*Powers, Ron.* Dangerous Water: A Biography of the Boy Who Became Mark Twain. New York: Basic Books, 1999.

*Powers, Ron.* Mark Twain: A Life. New York: Simon Schuster, 2005.

*Rasmussen, R. Kent.* Mark Twain A-Z: The Essential Reference Guide to His Life and Writings. New York: Oxford University Press, 1995.

*Robinson, Forrest.* The Cambridge Companion to Mark Twain. Cambridge University Press, 1995.

*Shelden, Michael.* Mark Twain: Man in White. Random House, 2010.

*Schmidt, Barbara.* Mark Twain on Czars, Siberia the Russian Revolution, [www.twainquotes.com](http://www.twainquotes.com).

*Schmidt, Barbara.* Mark Twain's Angelfish. [www.twainquotes.com](http://www.twainquotes.com).

*Skandera-Trombley, Laura.* Mark Twain in the Company of Women. University of Pennsylvania Press, 1994.

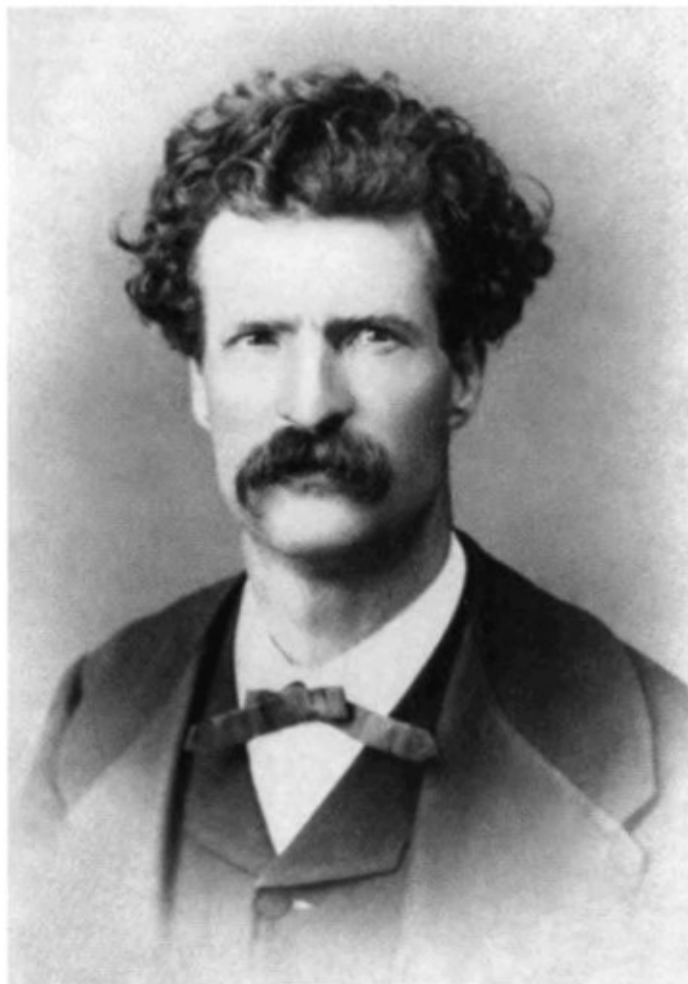
*Skandera-Trombley, Laura.* Mark Twain's Other Woman: The Hidden Story of His Final Years. Alfred A. Knopf, 2010.

*Smith, Henry Nash.* Mark Twain: The Development of a Writer. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.

*Steinbrink, Jeffrey.* Getting to Be Mark Twain. University of California Press, 1991.

*Willis, Resa.* Mark Livy. Routledge, 1992.

## Иллюстрации



*Mark Twain*

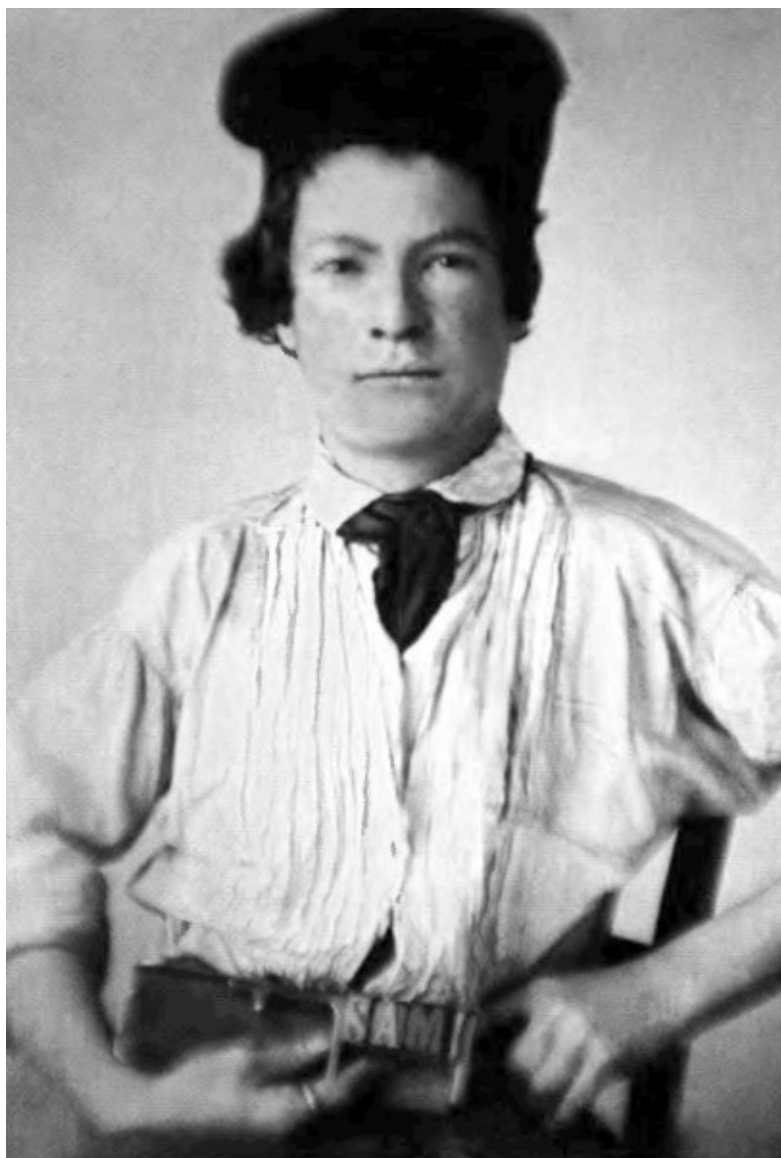
*Марк Твен*



*Джейн Клеменс, мать Марка Твена. 1870 г.*



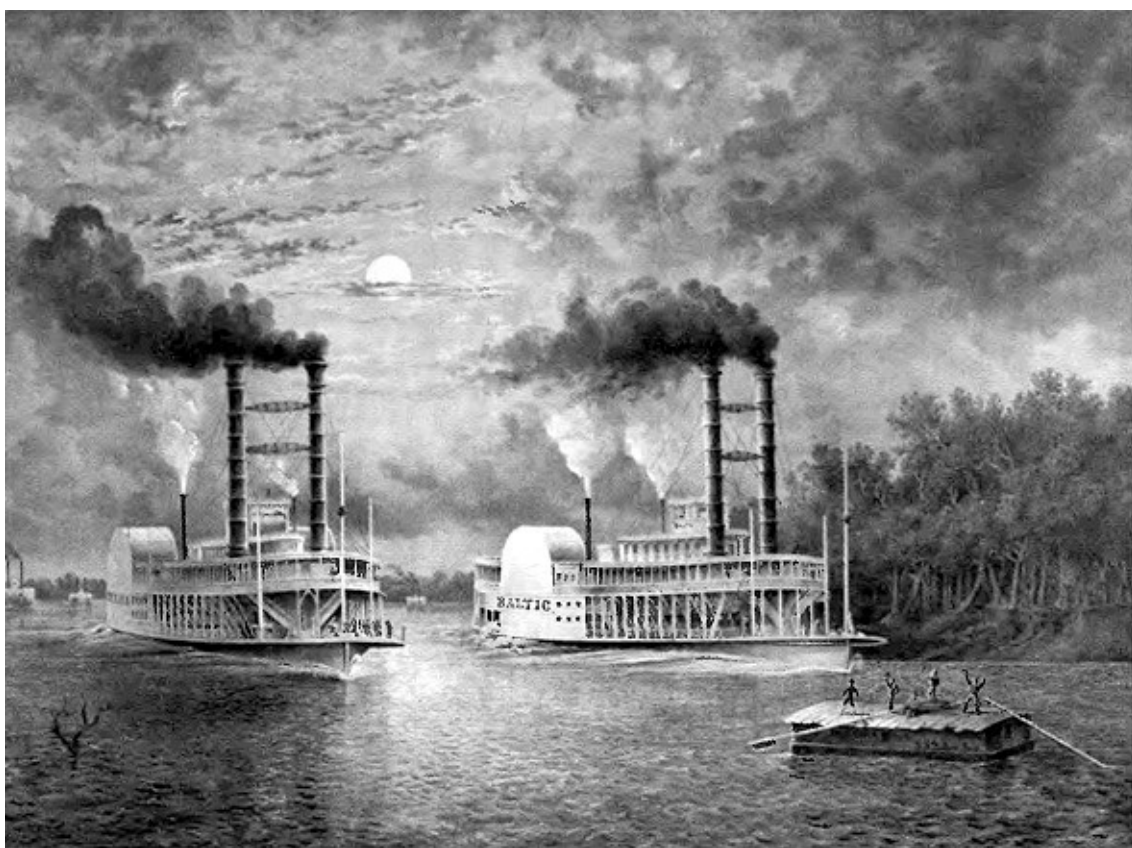
*Дом во Флориде, в котором родился Марк Твен*



*Пятнадцатилетний Сэмюэл Ленгхорн Клеменс*

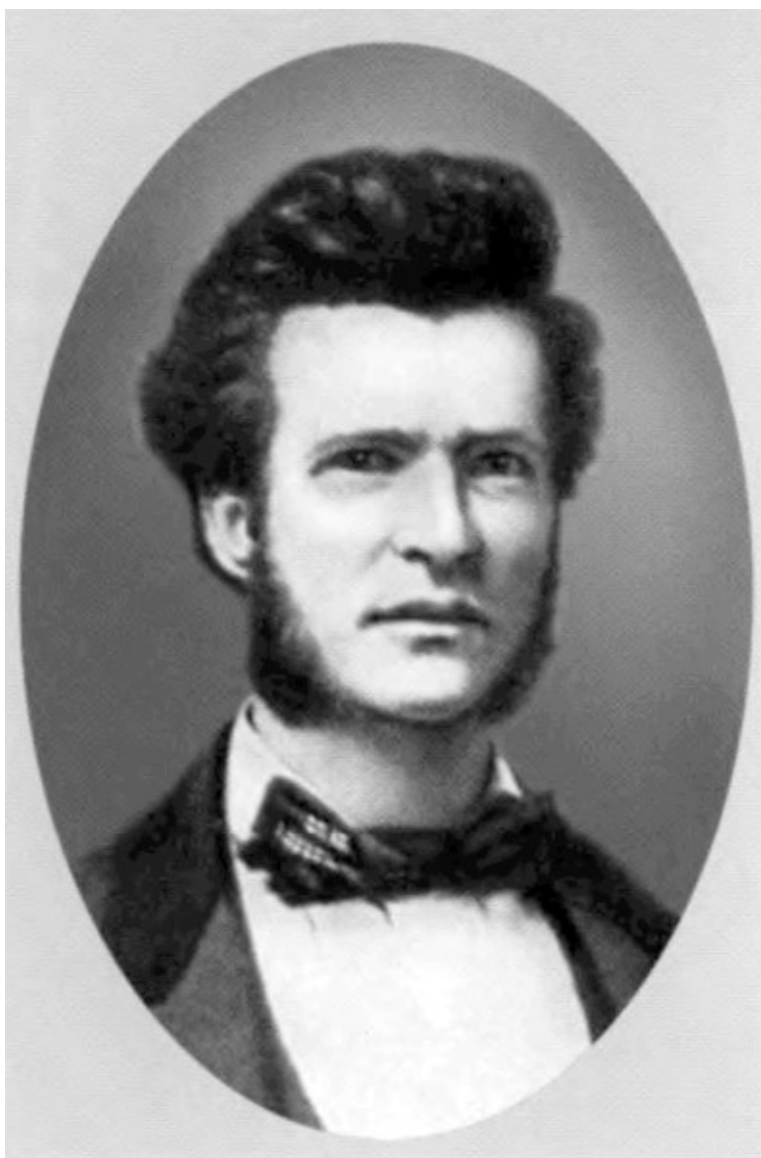


*Родной дом в Ганнибале*



*Гонка пароходов. Картина Дж. Фуллера*

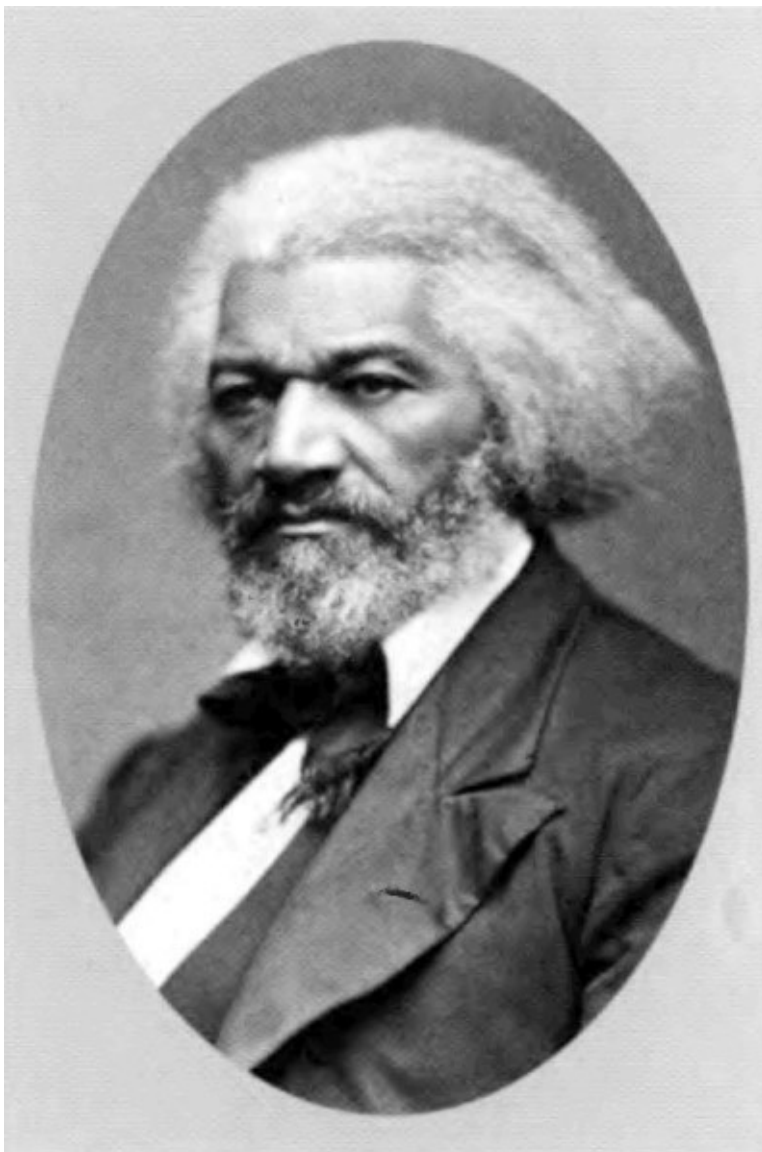




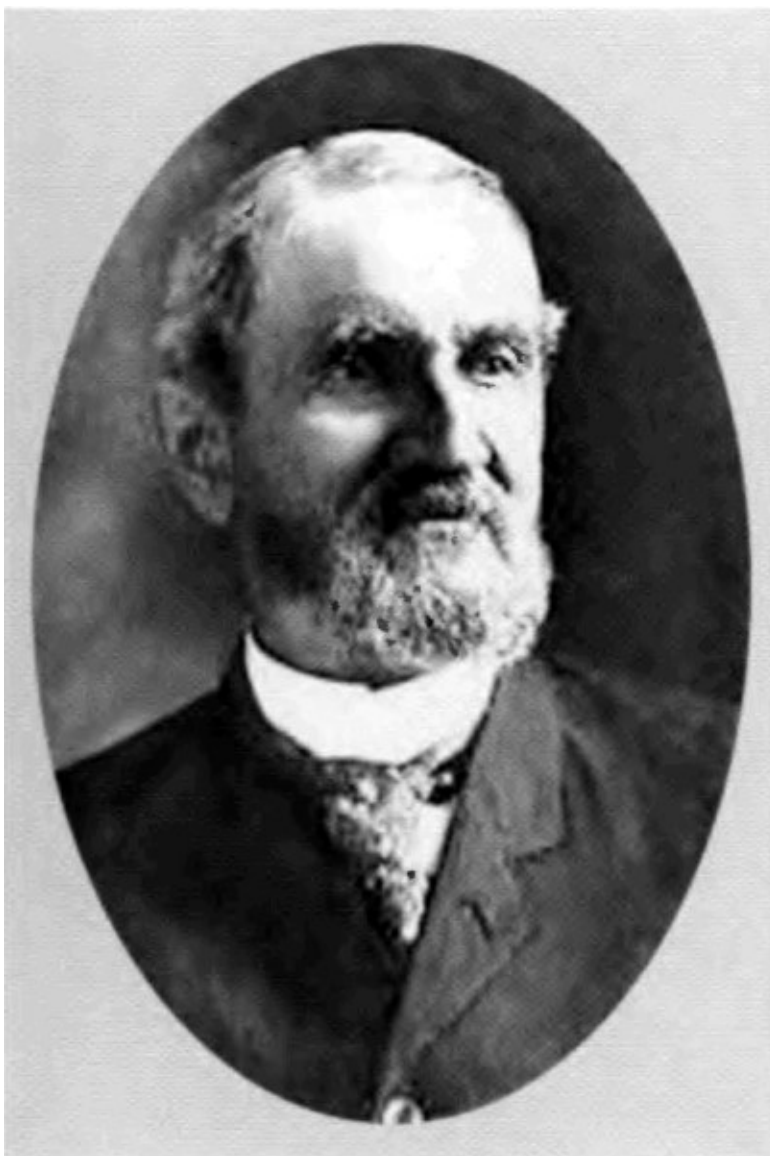
*В годы лоцманства на Миссисипи*



Лоцманский сертификат



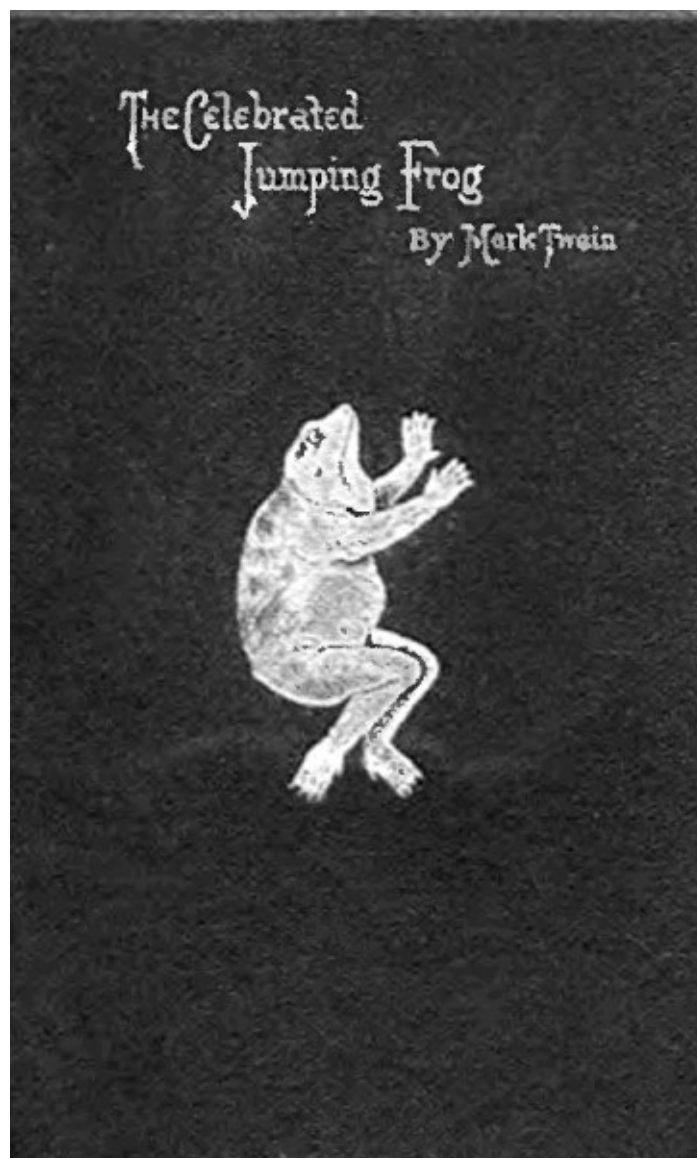
*Фредерик Дуглас, борец за права негров*



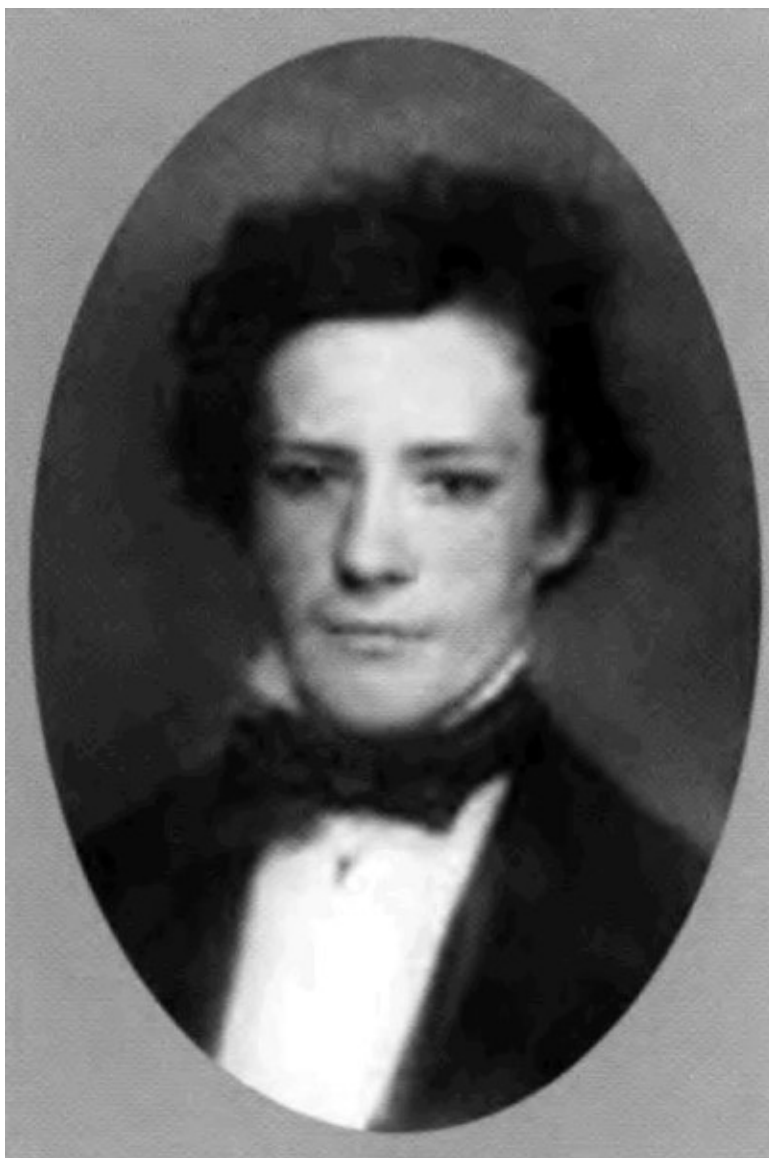
*Лоцман Хорэс Биксби*



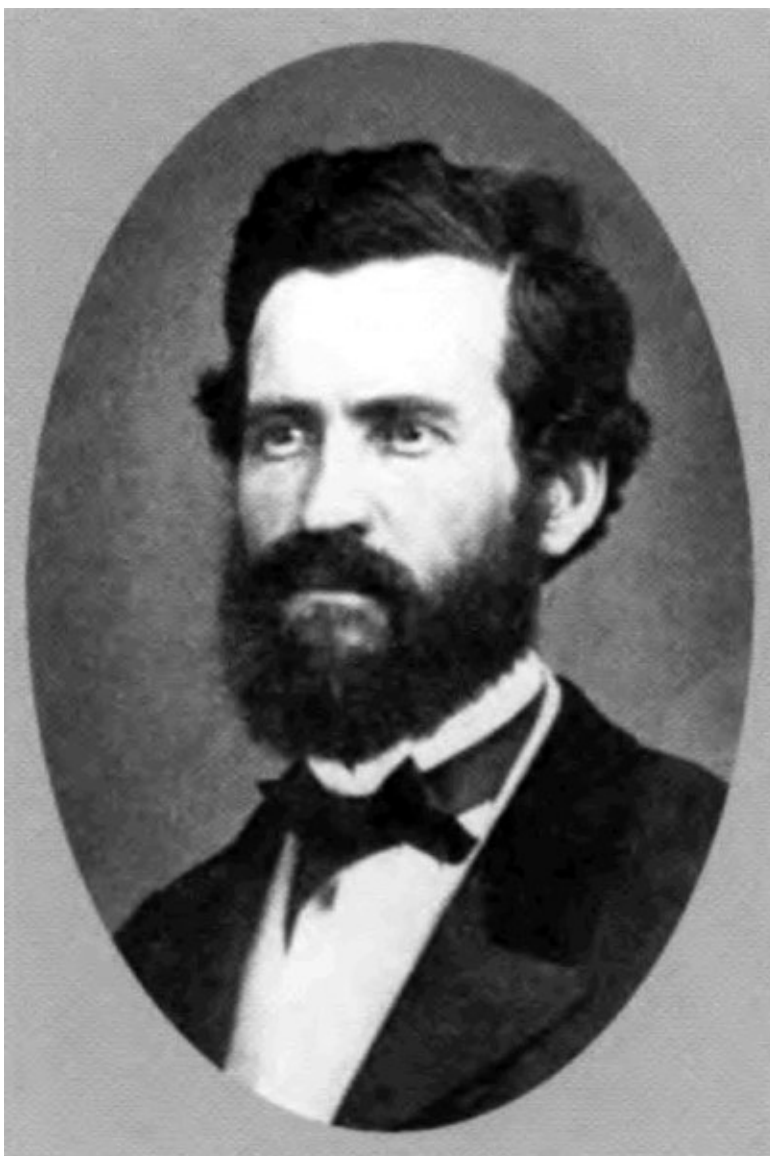
*Сестра Памела*



*Обложка сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка». 1867 г.*



*Брат Генри*



*Брат Орион*





*Уильям Дин Хоуэлс*



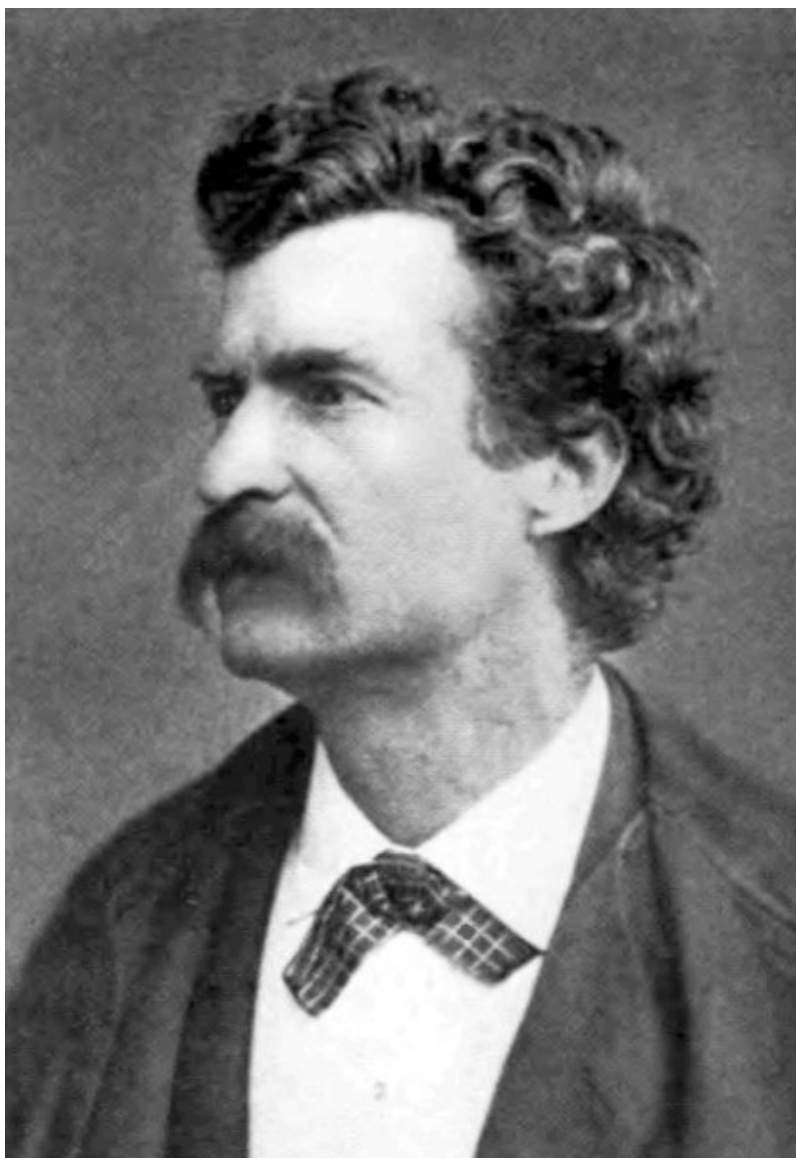
*Оливия Лэнгдон. 1869 г.*



*Дом в Хартфорде*



*Холл дома в Хартфорде.*



*Марк Твен. 1875 г.*



*Оливия Клеменс, урожденная Лэнгдон*



*С актером Генри Реймондом. 1876 г.*

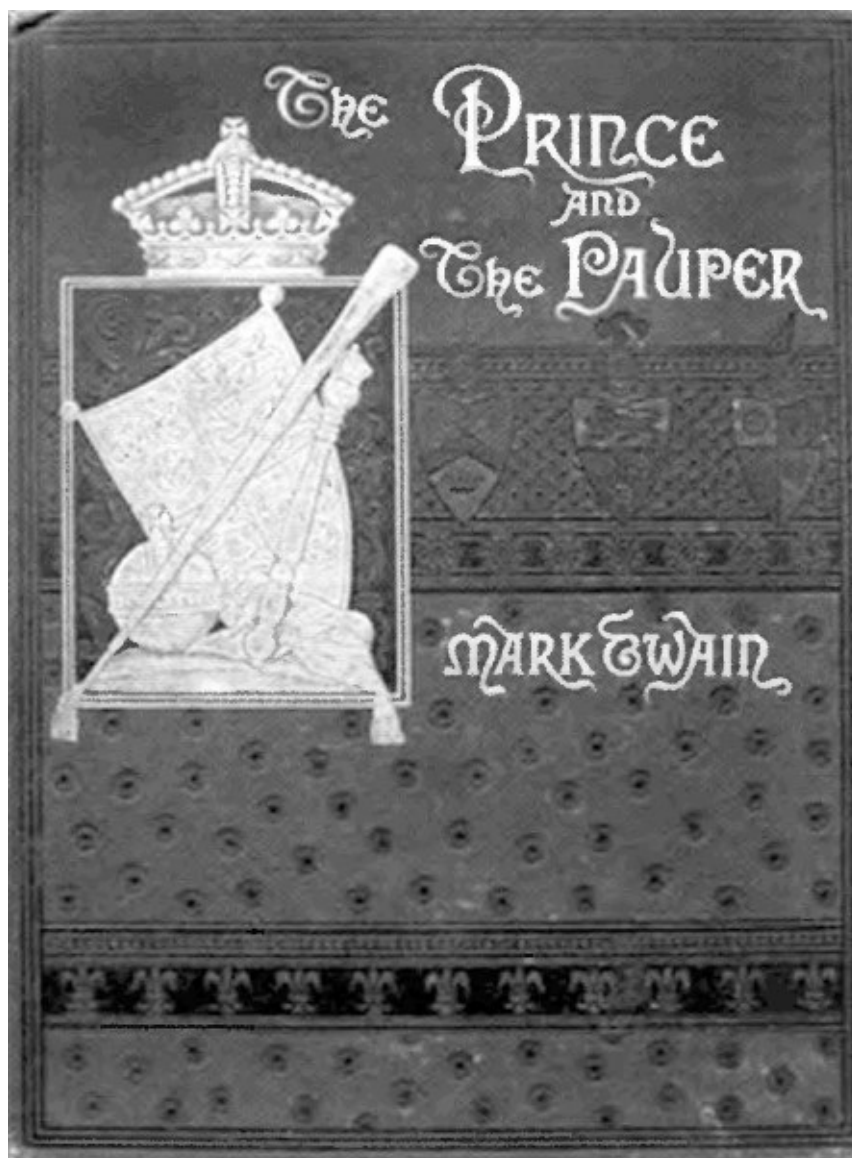


*Писатель Джоэл Чандлер Харрис*

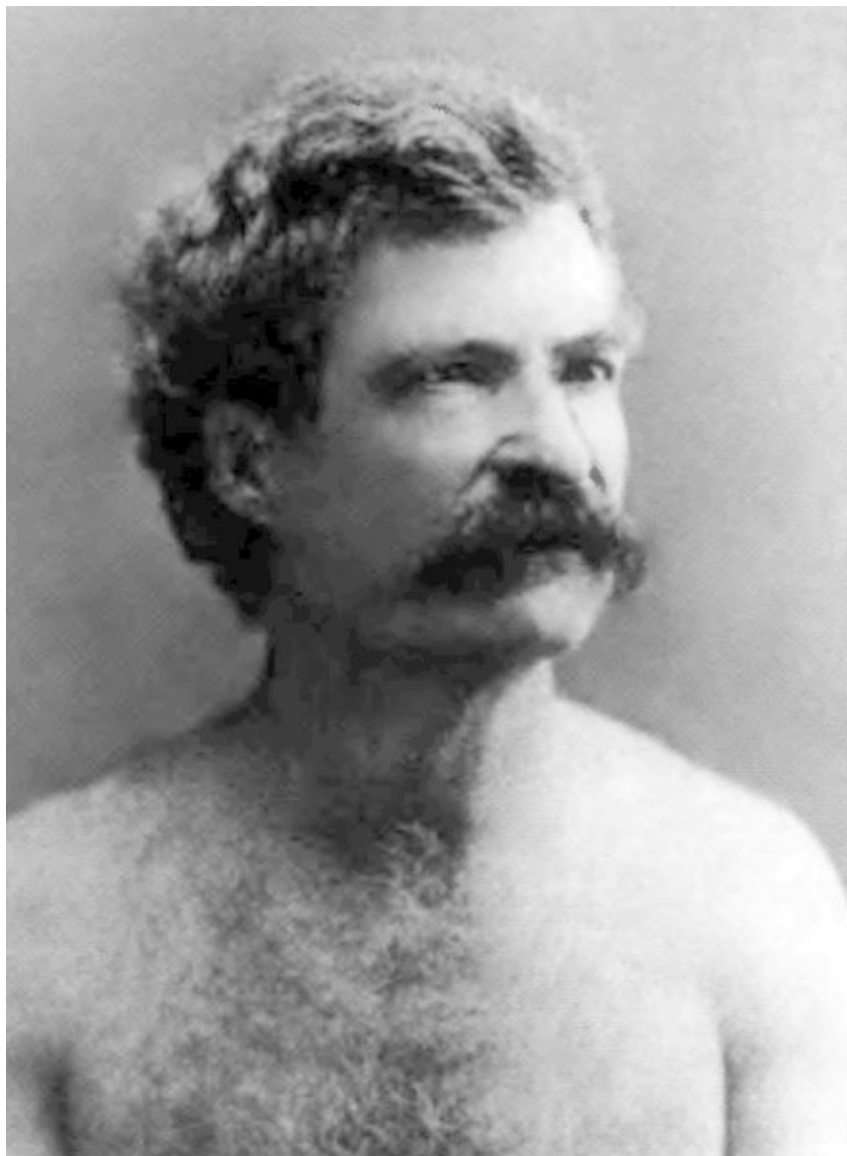




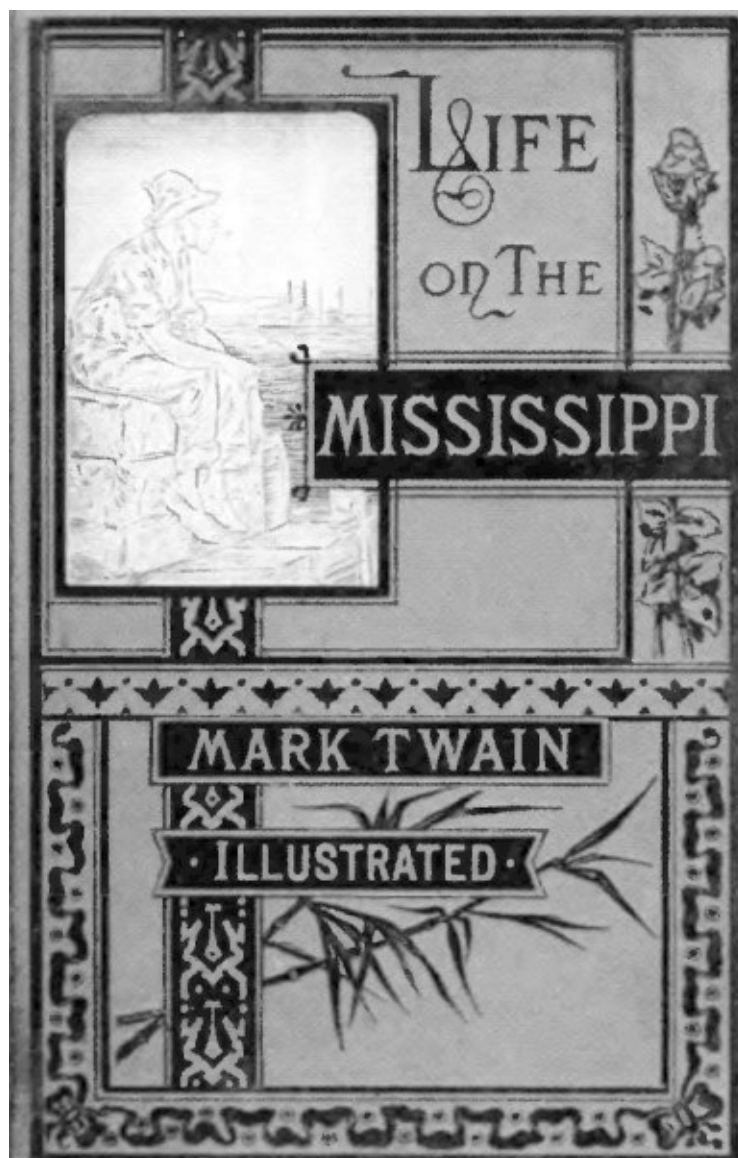
*Том Сойер. Иллюстрация Н. Рокуэлла. 1876 г.*



Обложка первого издания романа «Принц и нищий». 1881 г.



*Марк Твен. 1883 г.*



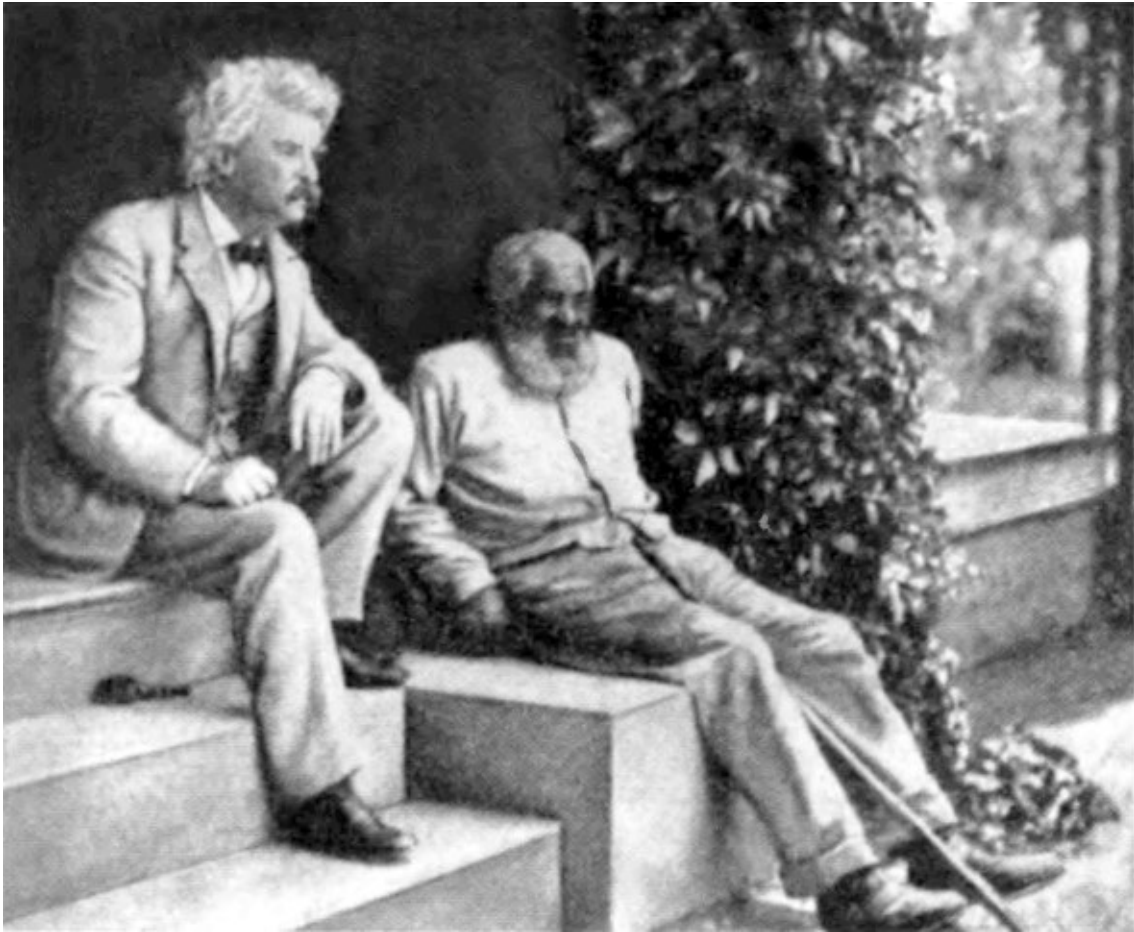
*Обложка первого издания книги «Жизнь на Миссисипи». 1883 г.*



*Марк Твен с женой и дочерьми. 1884 г.*



*Дочери Марка Твена*

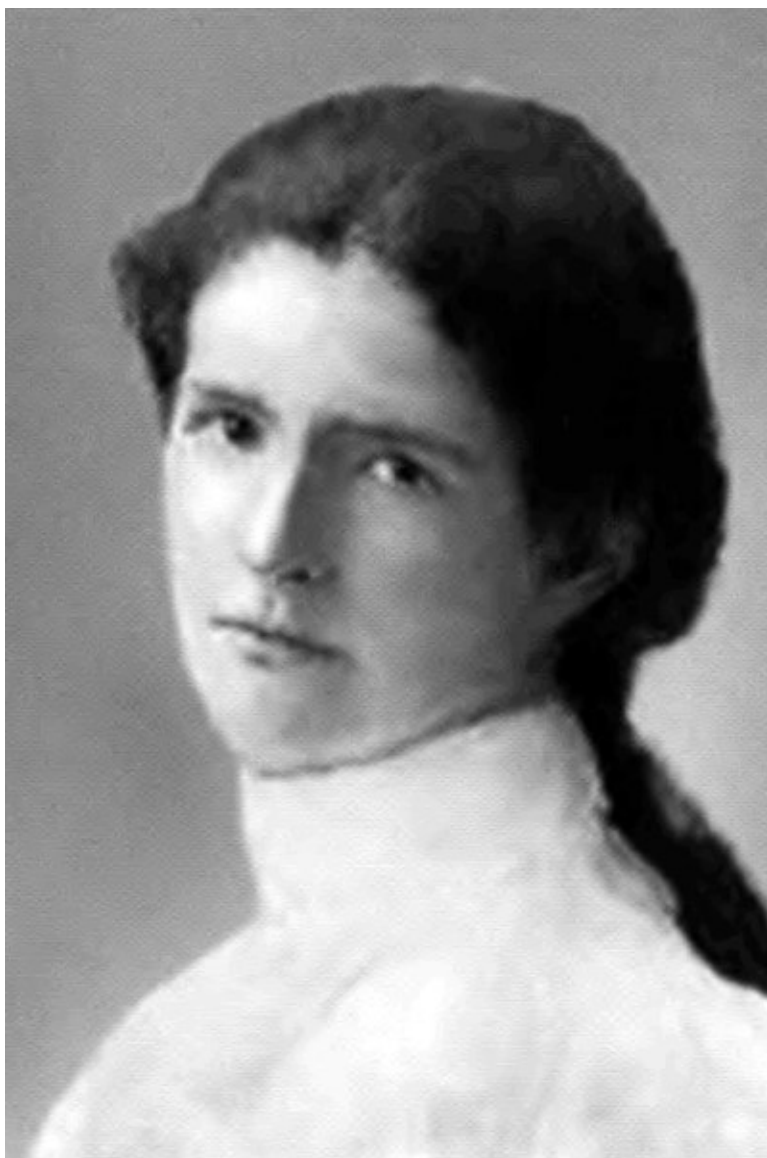


*Марк Твен со своим другом Джоном Левисом, который послужил прототипом Джима в романе «Приключения Гекльберри Финна». 1880-е гг.*



*Сьюзен. 1885 г.*

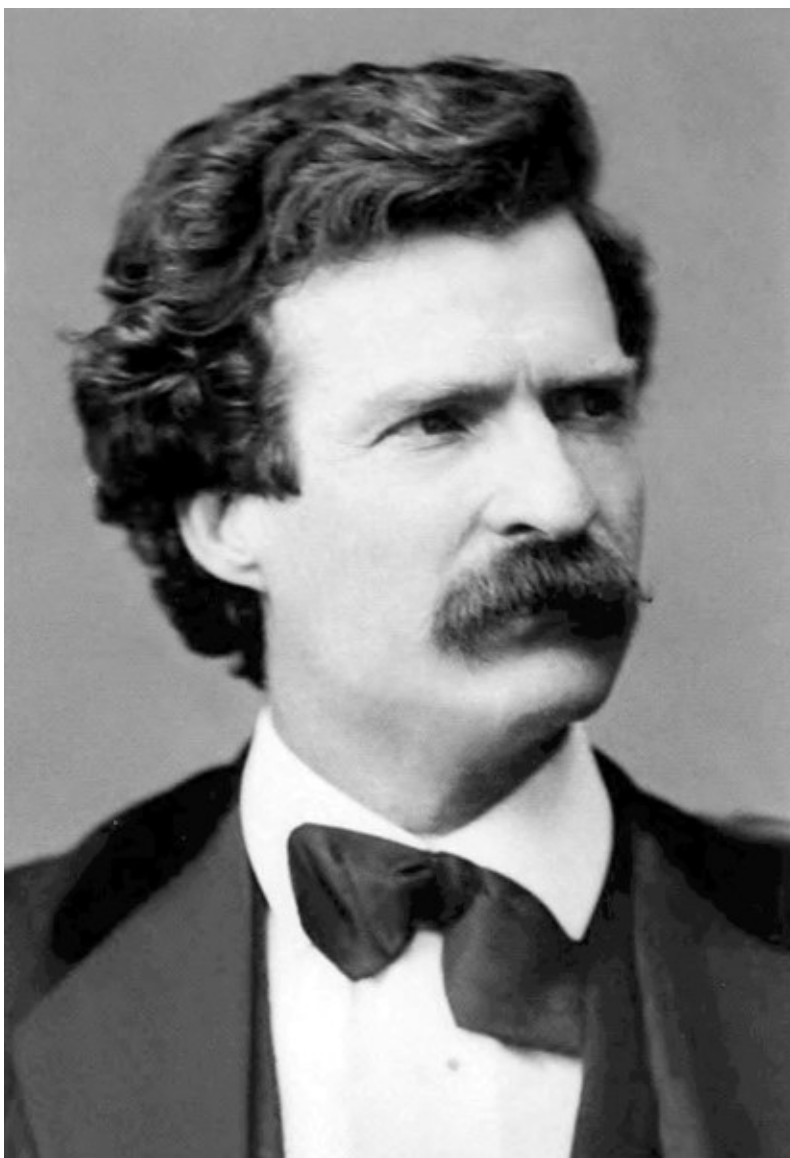




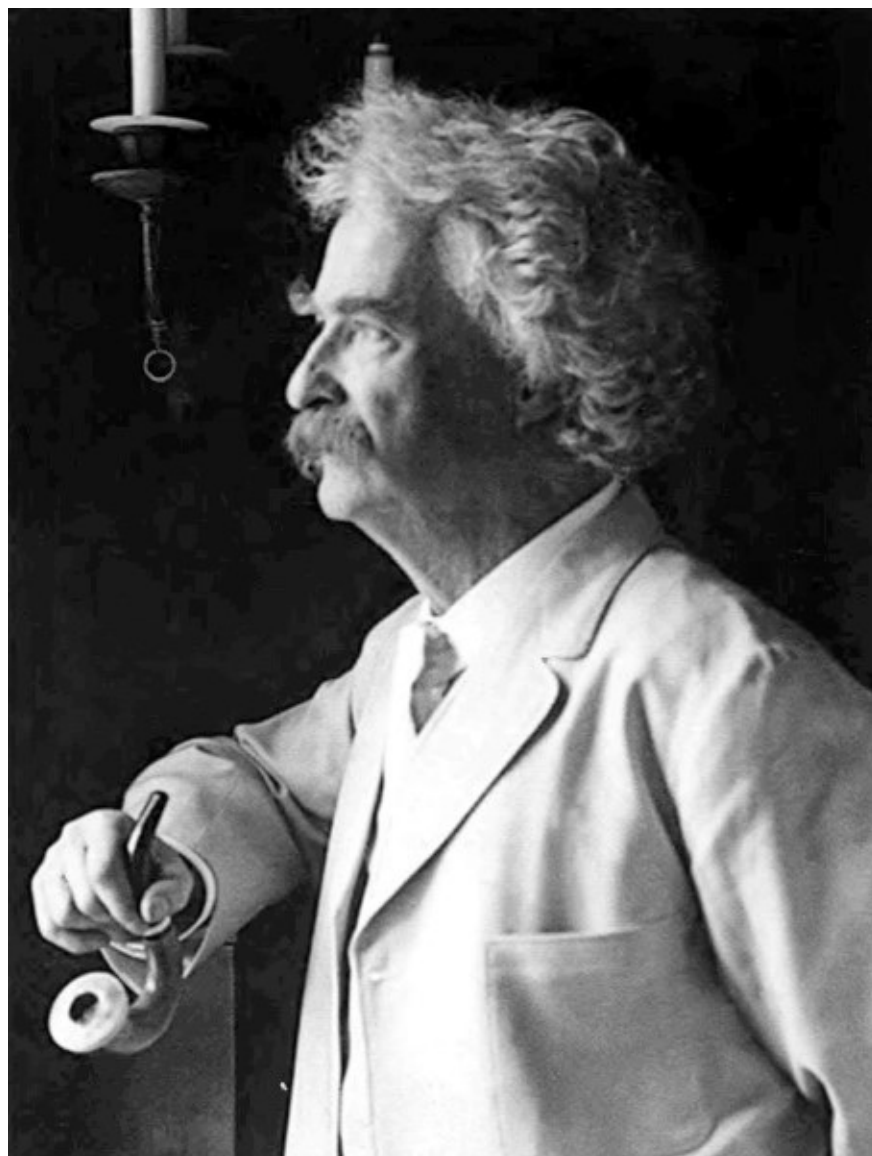
*Джин*



*Семья рабов*



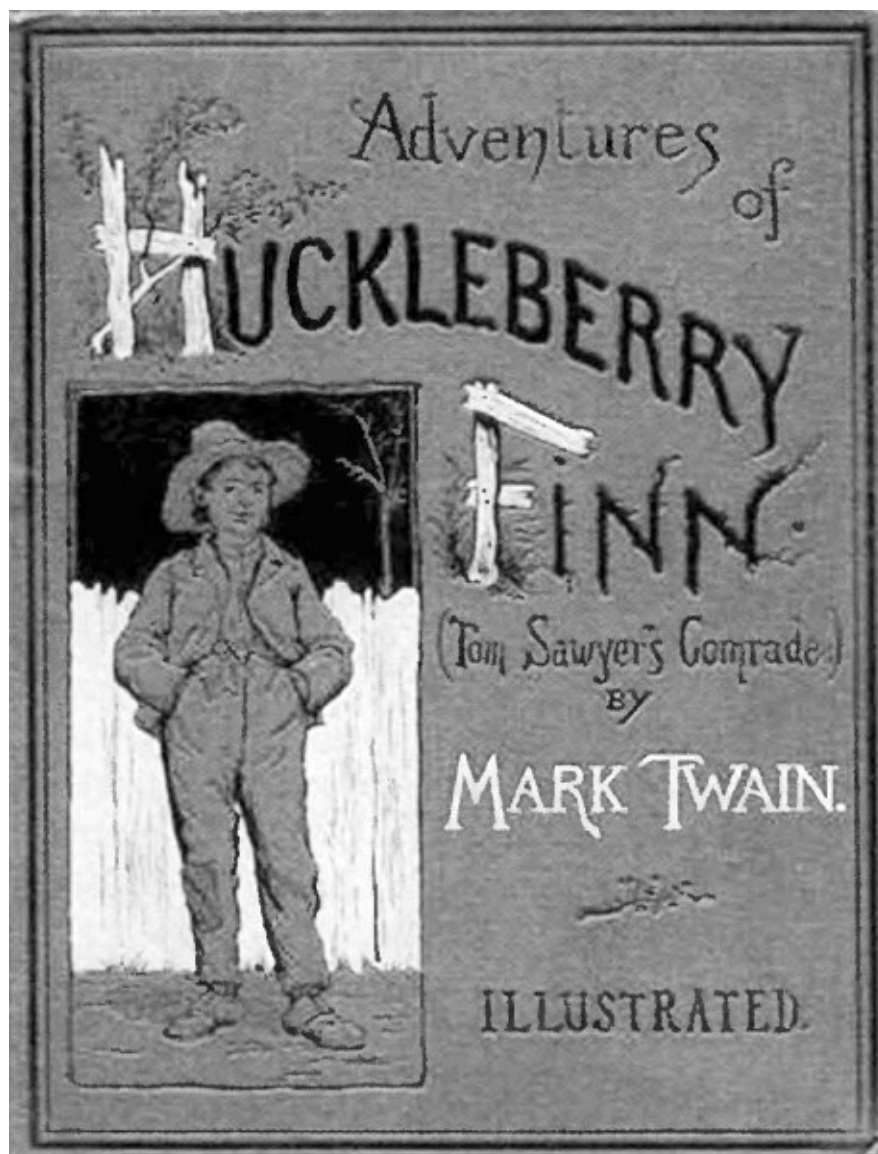
*Марк Твен. 1871 г.*



*Марк Твен в старости*



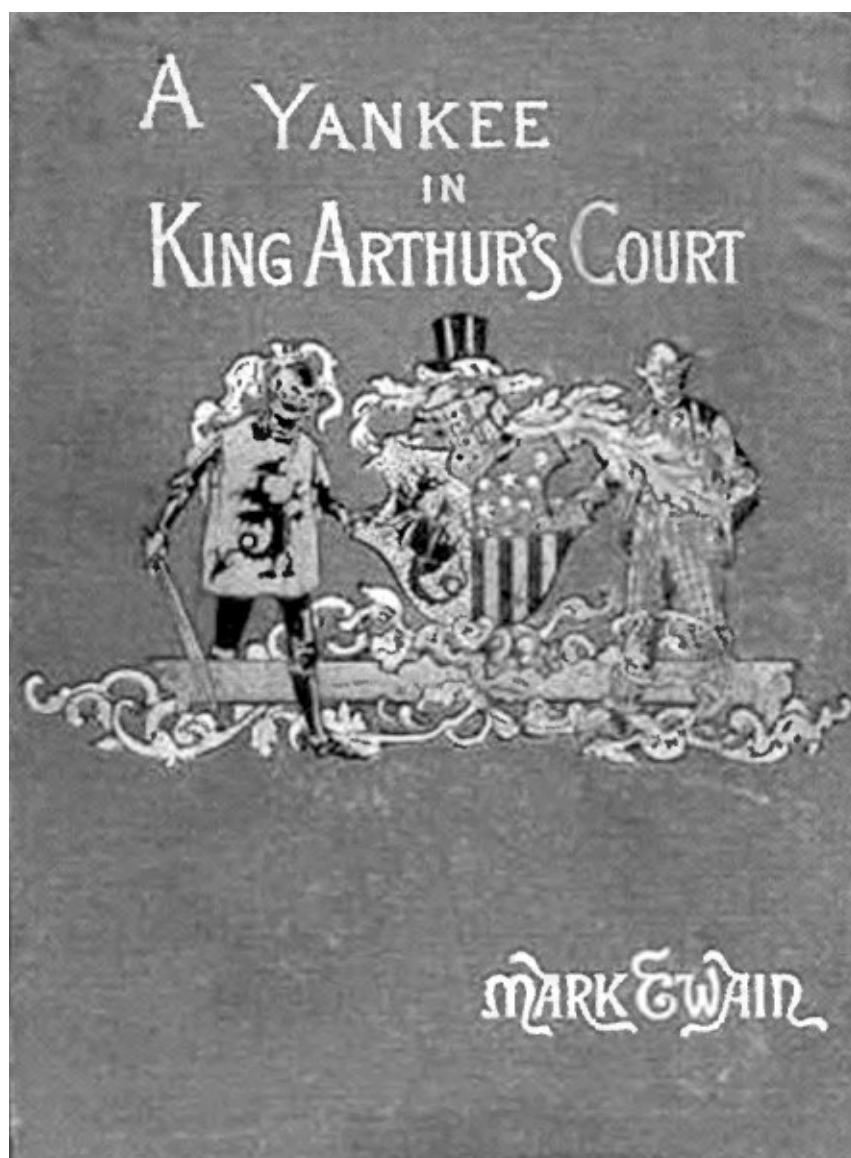
*Гек и Джим. Иллюстрация Э. Кембла. 1884 г.*



Обложка первого издания книги «Приключения Гекльберри Финна». 1884 г.



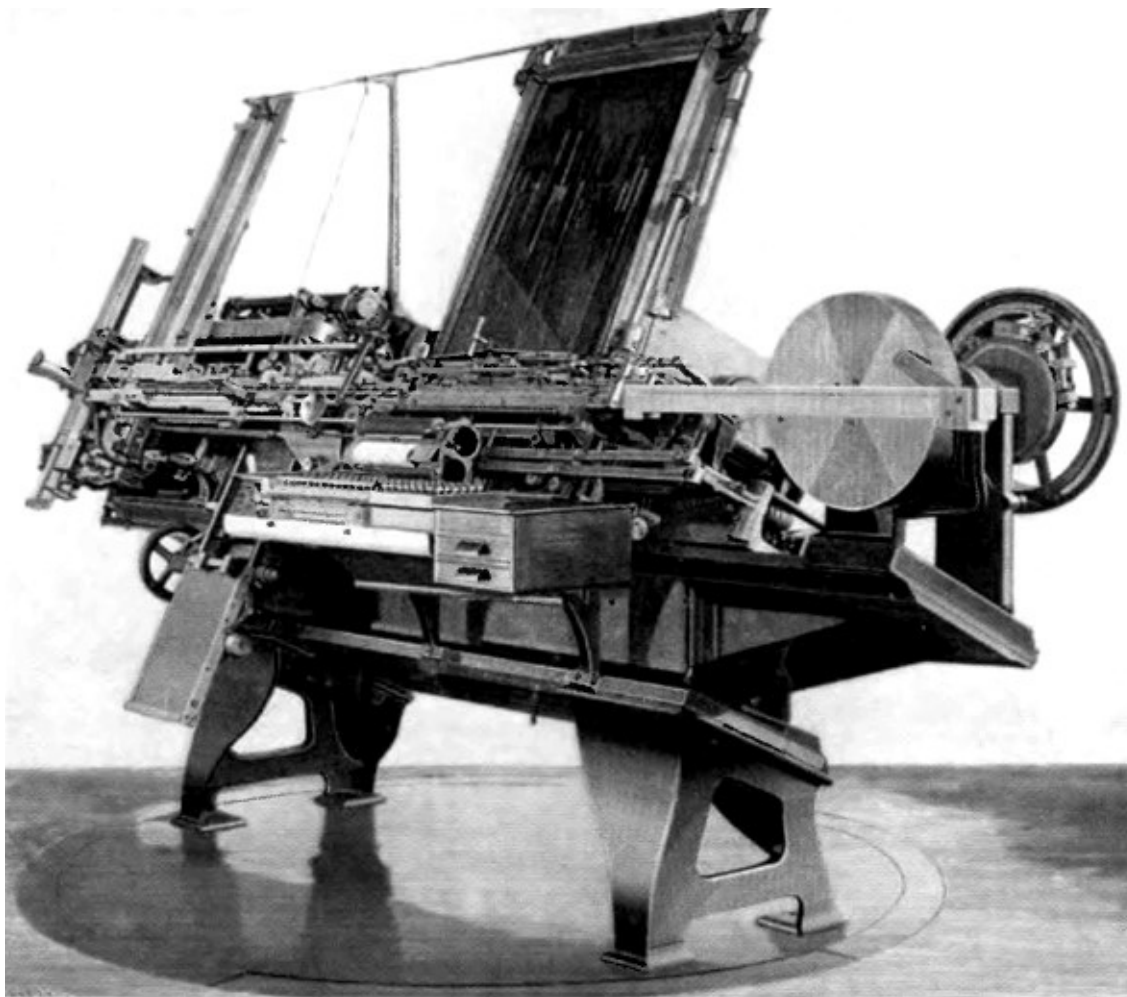
*Гекльберри Финн. Иллюстрация Э. Кембла. 1884 г.*



Обложка первого издания книги «Янки при дворе короля Артура». 1889

2.

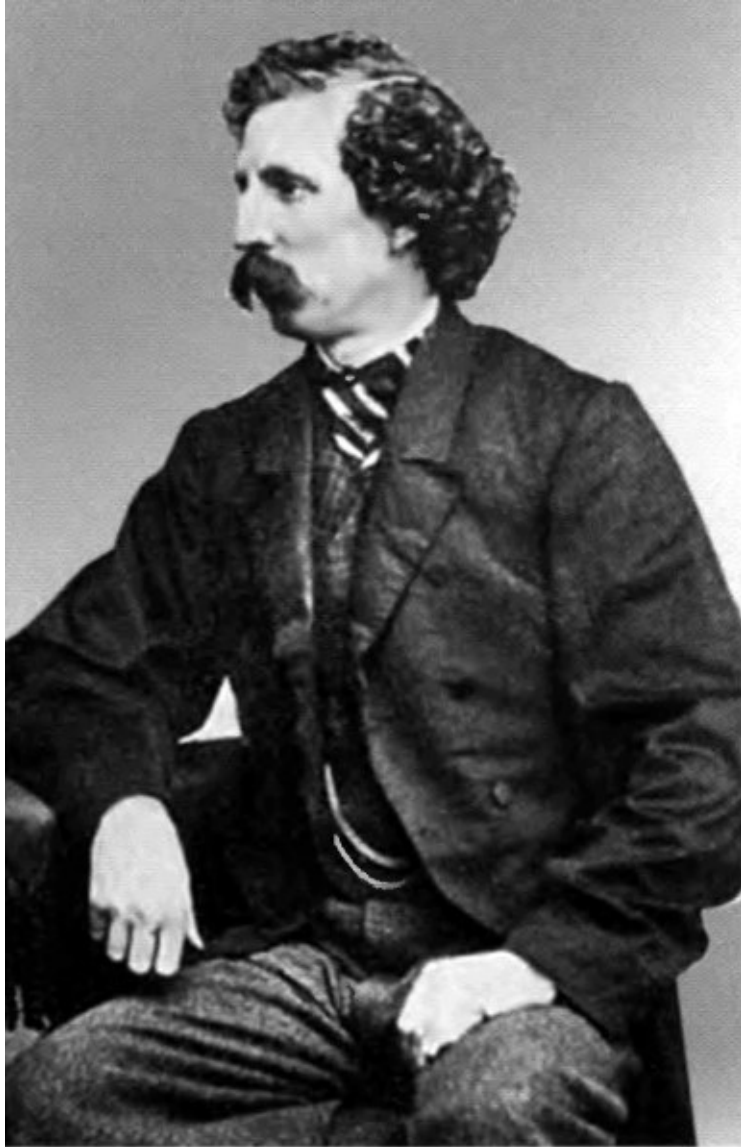




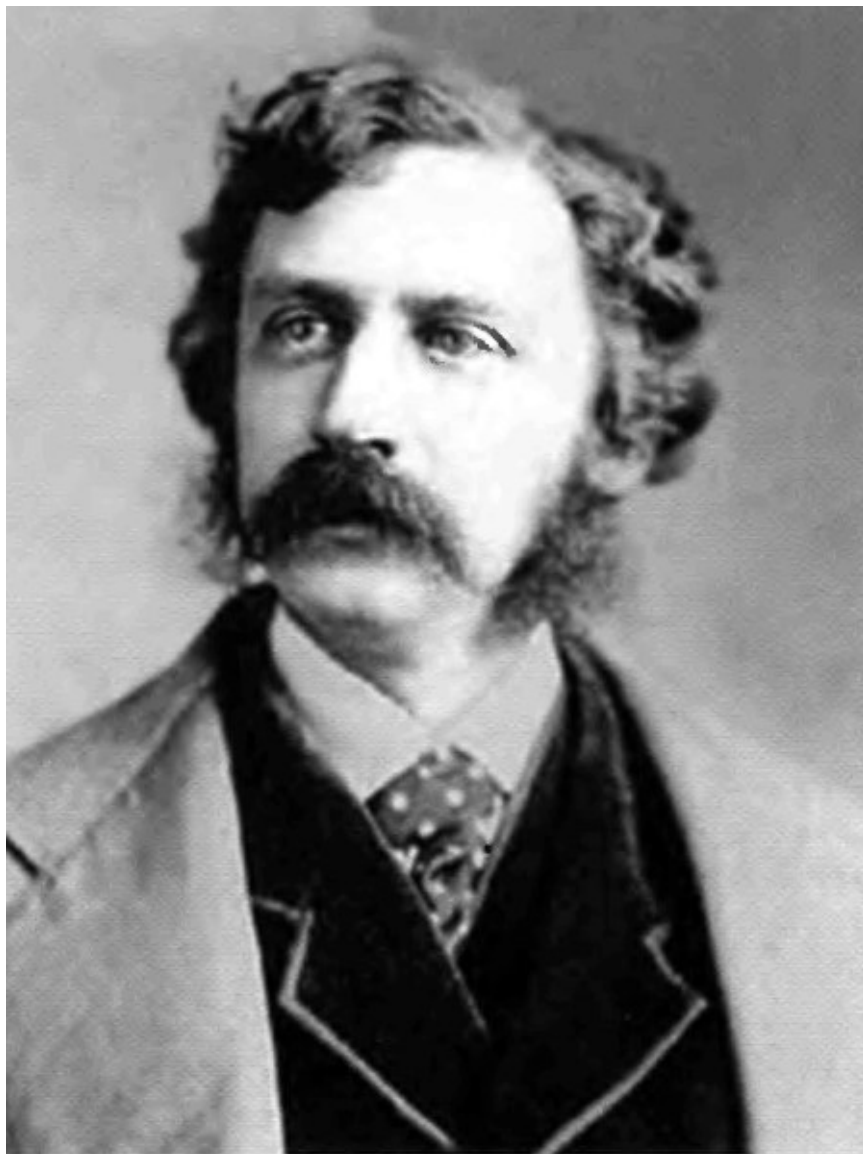
*Печатная машина Пейджа*



*Гарриет Бичер-Стоу*



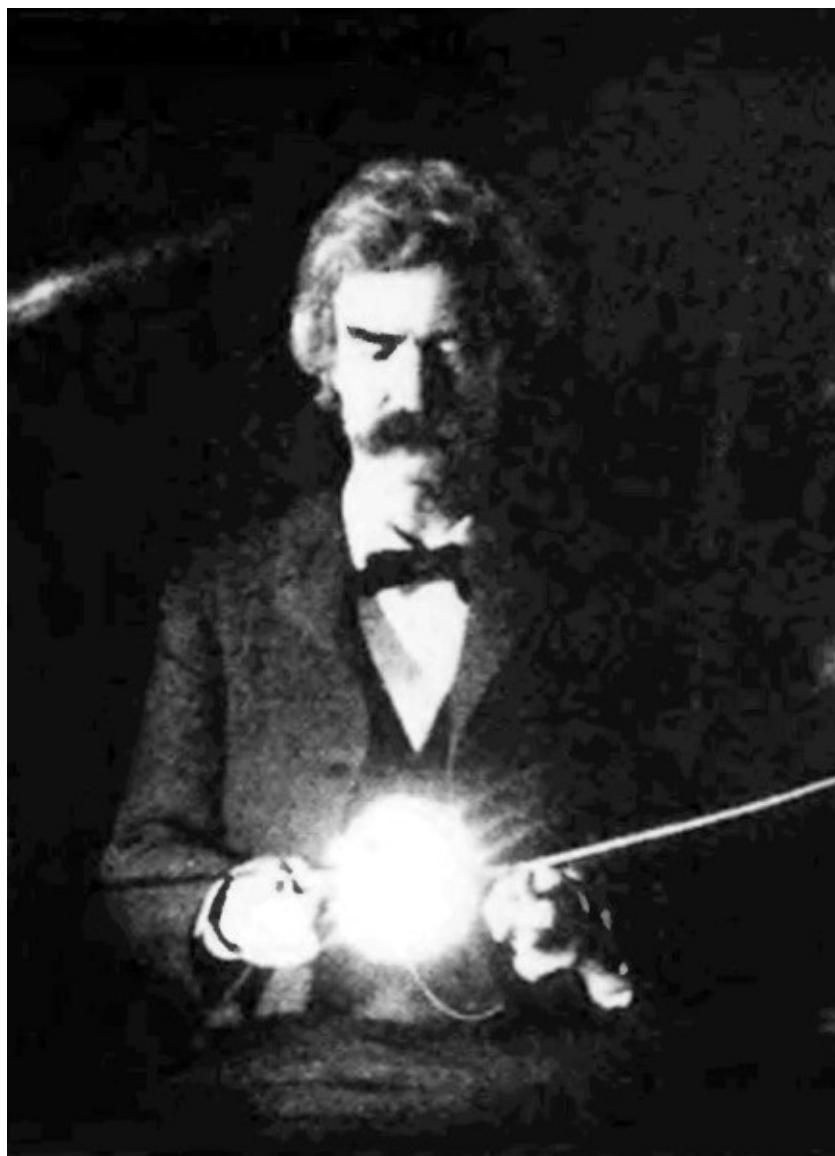
*Брет Гарт*



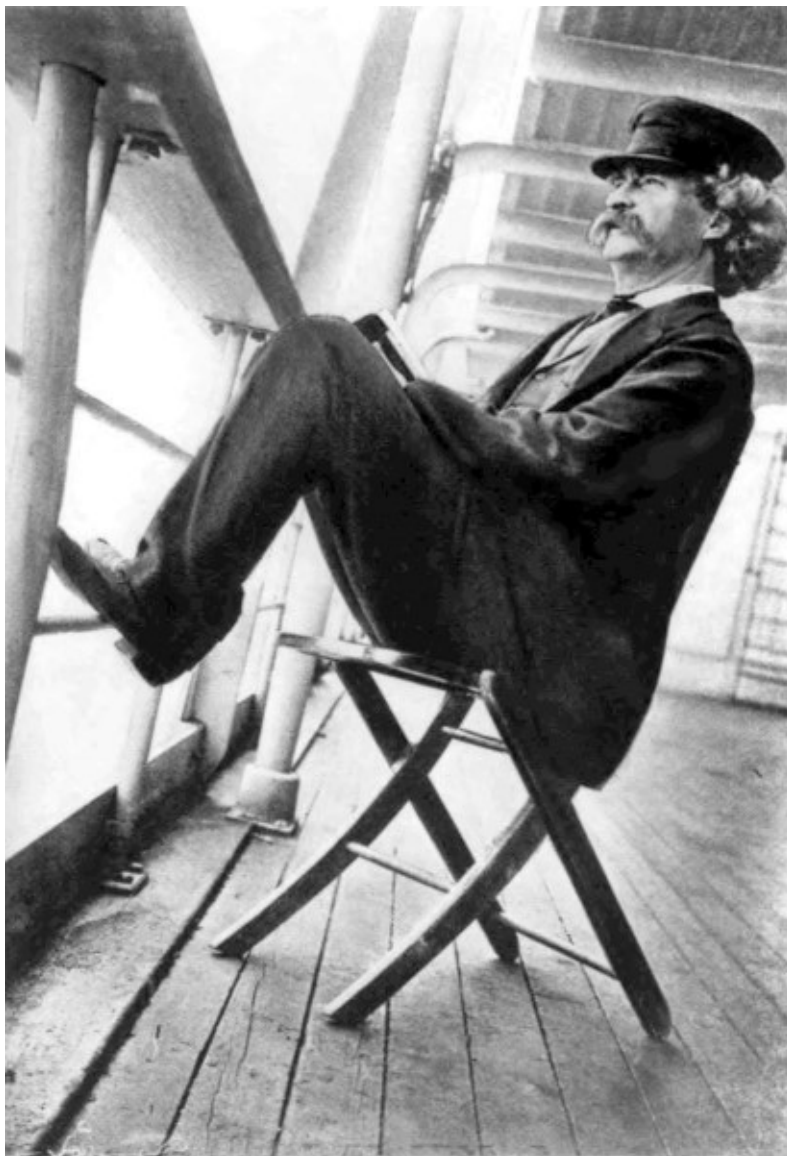
*Артемиус Уорд (Чарлз Браун)*



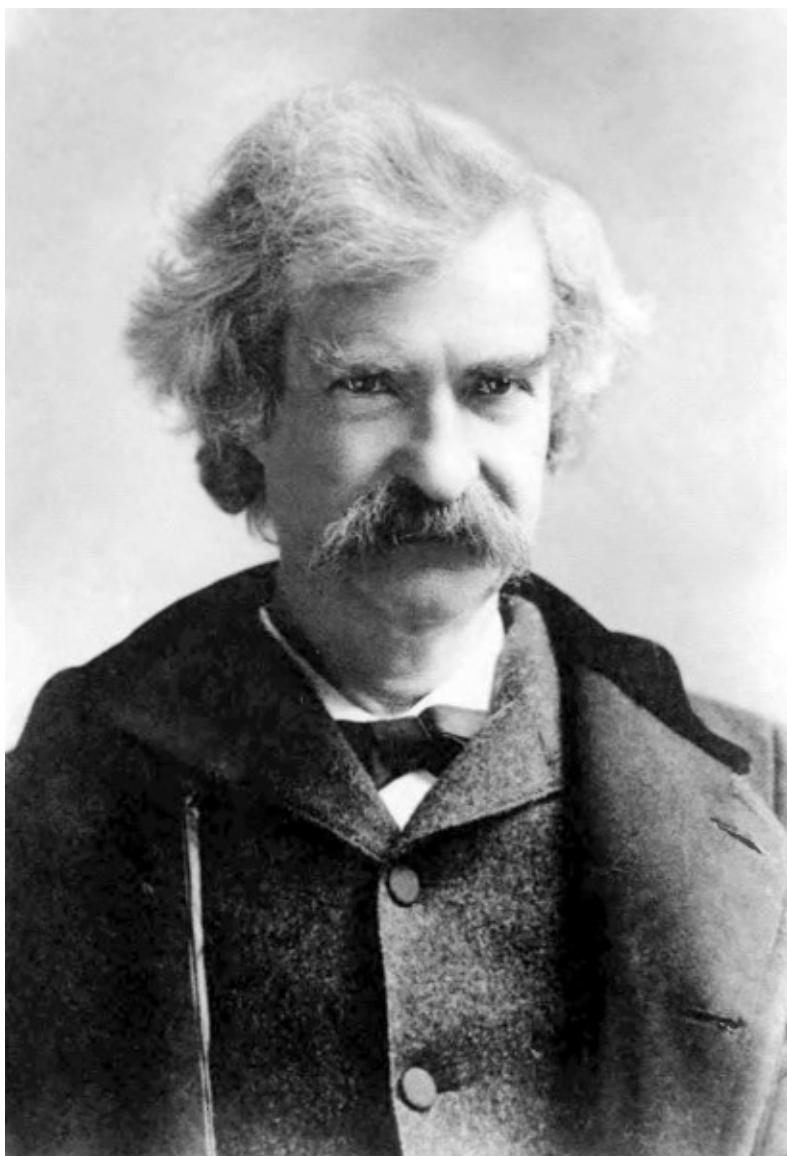
*Никола Тесла*



*Марк Твен в лаборатории Никола Теслы. 1894 г.*



*Марк Твен. 1895 г.*

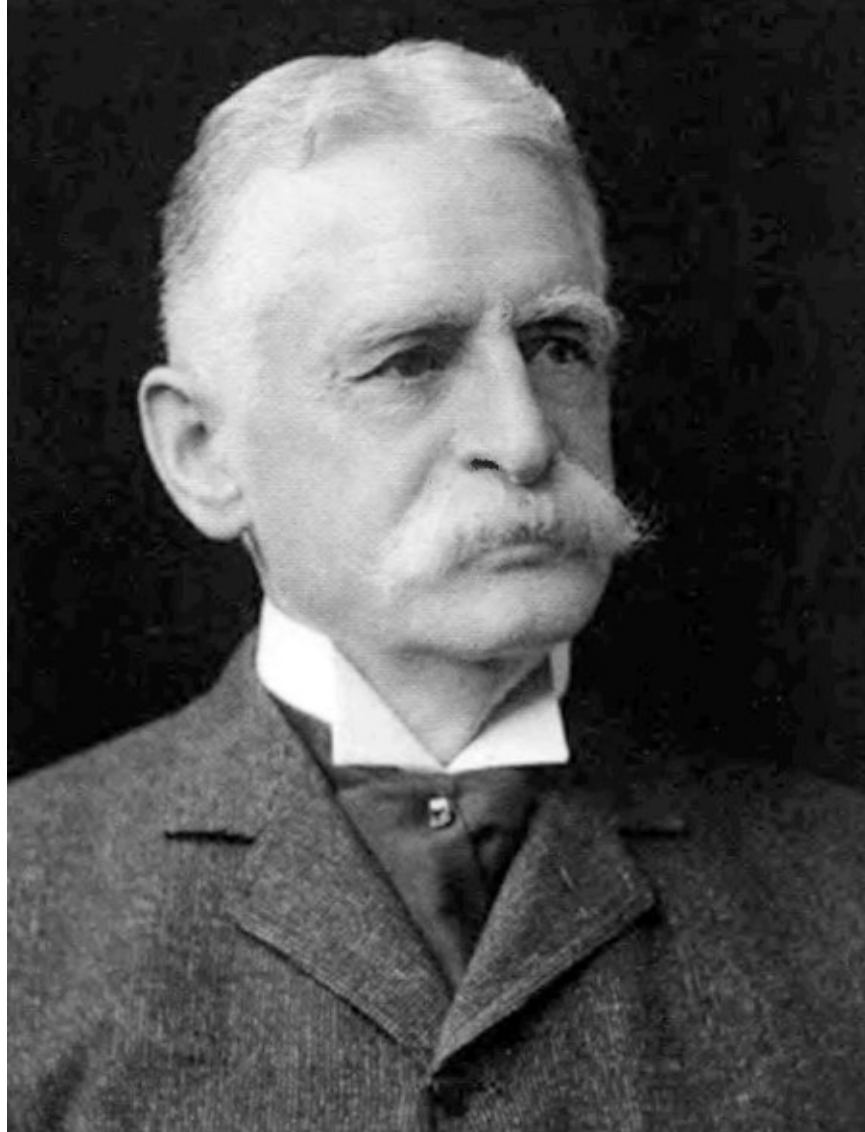


*На обороте этой фотографии Марк Твен написал: «Будьте хорошим — и будете одиноким». 1895 г.*





*Дочь Марка Твена Клара с мужем Осипом Габриловичем*



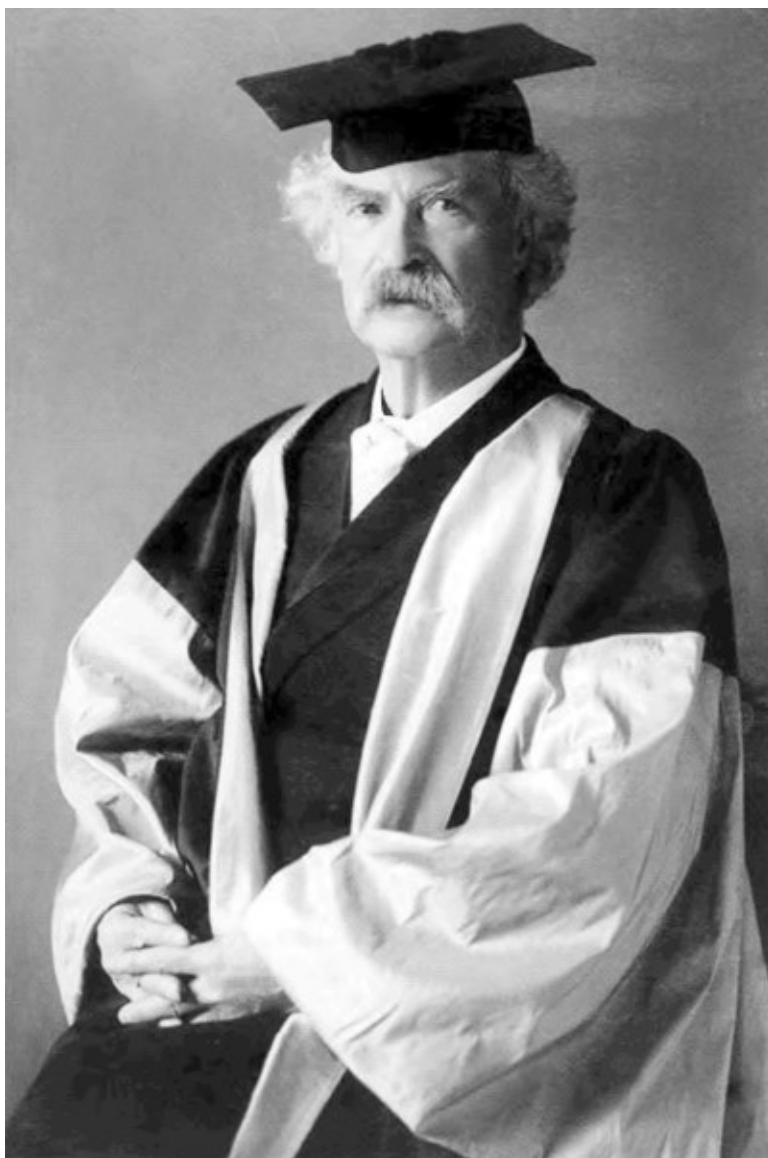
*Генри Роджерс*



*Марк Твен с женой Оливией. 1901 г.*



*70-летие Марка Твена. 1905 г.*



*Марк Твен в оксфордской мантии. 1907 г.*



*Марк Твен с секретаршей Изабел Лайон*



*С юной поэтессой Дороти Куик*



*Марк Твен. 1905 г.*

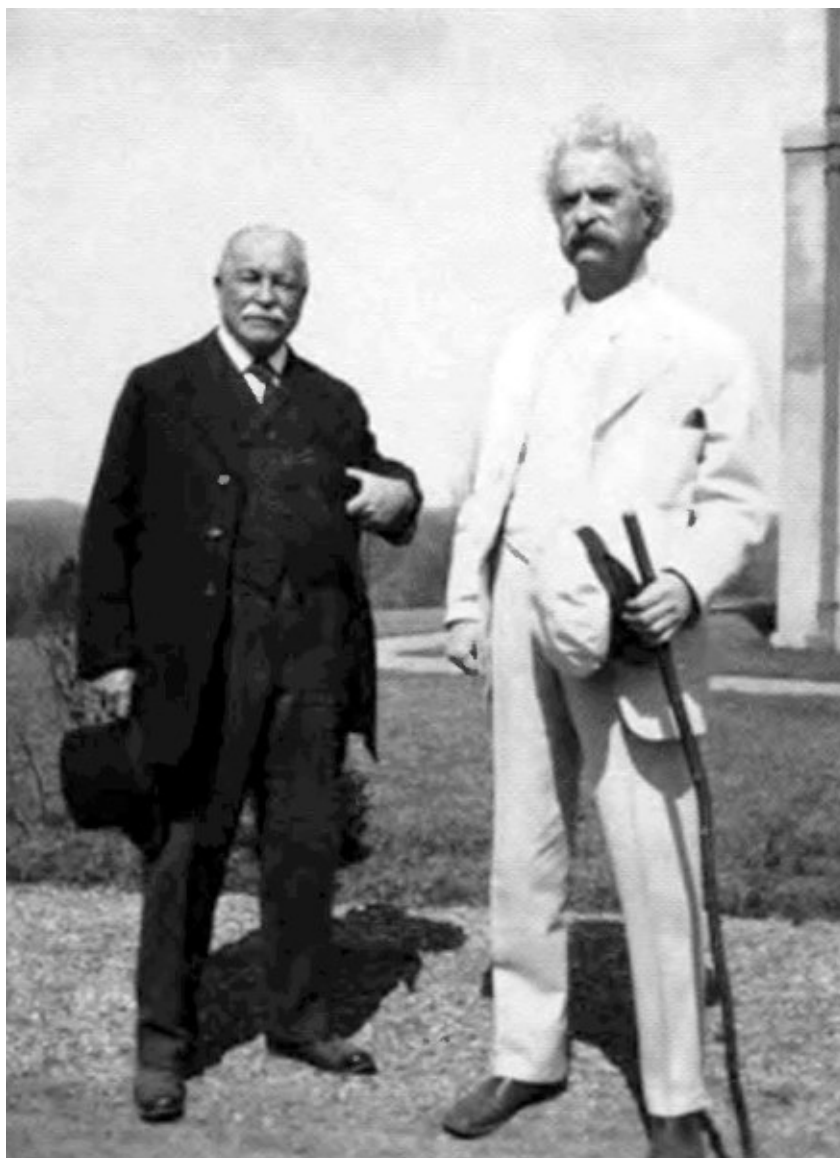




*Κlara.1908 γ.*



*Джин. 1909 г.*



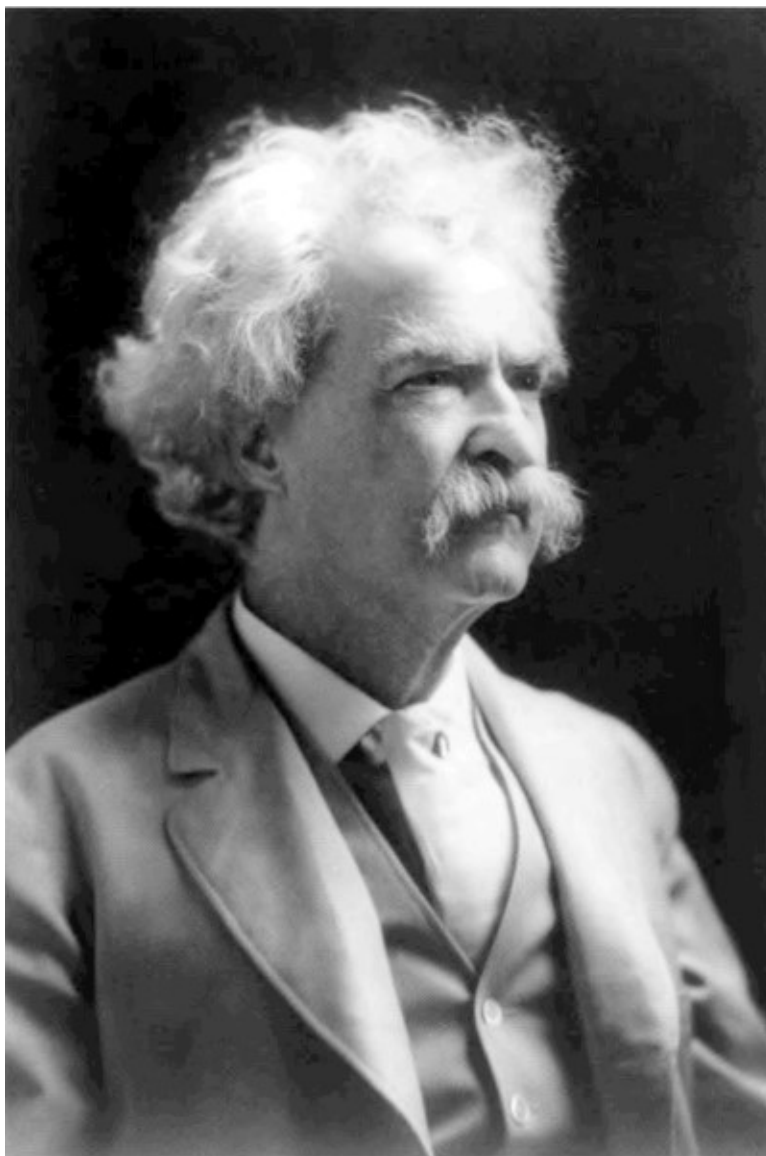
*Со старым другом Уильямом Хоуэлсом*



*Могила Марка Твена*



*Дом-музей в Хартфорде*



*Одна из последних фотографий Марка Твена*

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## Примечания

Фрагменты автобиографии Марка Твена, опубликованные на русском языке, цитируются по: Марк Твен. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Правда, 1980. В дальнейшем художественные произведения, публицистика и письма Твена, публиковавшиеся на русском языке, цитируются по изданиям, указанным в списке литературы, за исключением специально оговоренных случаев. — *Здесь и далее примечания автора.*



1 доллар США в период с 1830 по 1910 год можно приблизительно приравнять по покупательной способности к 20–25 долларам 2011 года.

Большинство ветвей протестантизма не признает верховных авторитетов, и каждый проповедник, грубо говоря, мог толковать Писание по личному усмотрению.

См., например, Послание к ефесянам святого апостола Павла (Еф. 6:5): «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу», а также весь Ветхий Завет.

Квакеры верят во «внутренний свет» Христа, находящийся в людях, он же совесть. Деисты признают существование Бога и сотворение им мира, но отрицают религиозный догматизм.

Точное количество установить не удалось: не все выпуски тогдашних газет сохранились, к тому же корреспонденции подписывались разными псевдонимами.

Архипелаг из двадцати четырех островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана.

США аннексировали острова в 1898 году, а в 1950-м Гавайи получили статус штата.

Текст с автографом Твена впоследствии попал в РГА ВМФ (Ф. 6. Оп. 1. Д. 18. Л. 26 об.) в фонд адмирала Б. А. Глазенапа.



Псевдоним писателя Мелвилла Лэндона.

Территория Вайоминг предоставила женщинам право голоса в 1869 году. Сюзанна Солтер была избрана мэром города Аргония, штат Канзас, в 1887 году.

Героиня говорит на диалекте, который русские переводчики не пытались передать, за исключением одного неграмотного слова. Это относится ко всем произведениям Твена, переведенным на русский язык.

Одно из важных сражений Войны за независимость США.

Вице-президент США в 1801–1805 годах.

Перевод В. Эрлихмана.

Чуковский последовал совету Хоуэлса, а вот у Дарузес упомянутый человек «совсем голый»; напомним также, что по-английски «человек» и «мужчина» — одно и то же слово.

Перевод И. Гуровой.



Чуковский: «...тебе зверски царапают голову гребнем»; Дарузес: «...сама причесывает, просто все волосы выдрала».

В русском переводе почему-то «Записки американского школьника».

Мендельсон М. Марк Твен. М., 1964.

Мендельсон М. Марк Твен. М., 1964.

Переводчики Роулинг частично столкнулись с теми же проблемами, что и твеновские. Ю. Мачкасов: «Правильного способа передать густой сомерсетский говор в русском языке не существует; вернее, для того, чтобы читатель получил адекватное представление, мне надо было бы заставить беднягу Хагрида обращаться к Гарри «Вах, слюшай, дарагой!», ругаться «Ах, шайтан!»...»

Известна также как «Бродяга за границей».

Перевод Н. Вольпин.

По-английски: lightning-bug к lightning.



Американцы, конечно, политкорректности привержены особо, но наши переводчики ее проявили гораздо раньше, всюду заменив слово «ниггер» на нейтральное «негр», — разница примерно как между «чучмеком» и «гражданином одной из южных республик».

Орфография и пунктуация Сюзи; перевод М. Лорие.

В Бразилии республика просуществовала до 1930 года, потом пошли военные перевороты, но особо ужасных диктатур там не было.

Группа каторжных тюрем на реке Кара — притоке реки Шилки, входила в систему Нерчинской каторги.

Л. Н. Толстой. «Не могу молчать».

Перевод М. И. Бейкер.

Перевод В. Лимановской. В подлиннике персонажи, как и в «Гекльберри Финне», используют просторечия и диалекты.

Перевод И. Семежона и Н. Тимофеевой.



Boeren (*нидерл.*) — крестьяне.

Разница между «ты» и «вы» в английской речи не всегда легко уловима. В письмах супруги Клеменс обращались друг к другу You, да и благоговейный тон их переписки требует формы «Вы»; здесь, в рабочих заметках, они писали без церемоний — you.

В русском переводе А. Старцева (1980) книга называется «Таинственный незнакомец». Более ранние переводы не соответствуют подлиннику

На русский язык до 1980 года переводилась редакция Пейна.

Щепаник умер в 1926 году; телектроскоп так и не был внедрен.

Альфред Дрейфус — офицер французского Генштаба, еврей, 22 декабря 1894 года был признан виновным в шпионаже и государственной измене. На процессе 12 июля 1906 года был полностью оправдан, восстановлен в армии и награжден орденом Почетного легиона.

В переводе В. Лимановской почему-то «ходящий», хотя Твен цитирует Евангелие: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий...» (Мф. 4:11).

Поправка Платта отменена в США при Т. Рузвельте в 1934 году, тогда же исключена из конституции Кубы в результате очередной революции.



Аарон Барр — вице-президент США в начале XIX века, обвинялся в заговоре и государственной измене. Бленнерхаст — участник заговора.

Роман переведен на русский язык в 1989 году Л. Биндеман.

Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925) — генерал от инфантерии, военный министр в 1898–1904 годах, командующий русской Маньчжурской армией.

В настоящее время Демократическая Республика Конго.

Американцы переводили псевдоним как «Bitter One» — «Ожесточенный».

Это не подтверждено никакими документами.

Архив А. М. Горького.

Перевод В. Лимановской.



Названные источники на 2011 год не опубликованы, но доступны для изучения.

Русский перевод автобиографии Твена скомпонован из версий Пейна и Де Вото — из каждой взята примерно половина.

Твен имел в виду президента США Уильяма Тафта.